

АЛЬБЕР КАМЮ

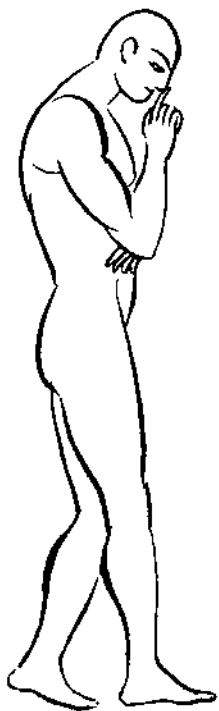




Belmont

ALBERT CAMUS

OEUVRES



АЛЬБЕР КАМЮ

СОЧИНЕНИЯ В ПЯТИ ТОМАХ

2

МИФ О СИЗИФЕ
НЕДОРАЗУМЕНИЕ
ПИСЬМА К НЕМЕЦКОМУ ДРУГУ
ЧУМА
ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Перевод с французского

Харьков «Фолио»
1997

Серия «Вершины»
основана в 1995 году

Комментарии
С. Дубина

Художники
М. Квитка, О. Квитка

Cet ouvrage, publié dans le cadre
du programme de participation à la publication,
bénéficie du Soutien du Ministère
des Affaires Etrangères, du Centre de Coopération
Culturelle et Linguistique de l'Ambassade de France
en Ukraine

Дане видання здійснено
у межах програми підтримки видавничої діяльності
за сприяння Міністерства Закордонних Справ Франції
та Центру Культури і Лінгвістичних Зв'язків
Посольства Франції в Україні

Издание осуществлено
в рамках программы поддержки издательской деятельности
при содействии Министерства Иностранных Дел Франции
и Центра Культуры и Лингвистических Связей
Посольства Франции в Украине

К 4703010100—198
97 Без об'явл.

ISBN 966-03-0279-7 (т. 2)
ISBN 966-03-0277-0

© Editions Gallimard
© М. Квитка, О. Квитка художе-
ственное оформление, 1997
© Издательство «Фолио», текст
на русском языке, марка
серии, 1997

ЭНФАНТИСМИС О СИЗИФЕ



Энфантизм — в искусстве — это не столько возвращение к детству, сколько попытка выразить то, что в детстве было скрыто. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание.

Энфантизм — это не столько возвращение к детству, сколько попытка выразить то, что в детстве было скрыто. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание.

Энфантизм — это не столько возвращение к детству, сколько попытка выразить то, что в детстве было скрыто. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание.

Энфантизм — это не столько возвращение к детству, сколько попытка выразить то, что в детстве было скрыто. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание.

Энфантизм — это не столько возвращение к детству, сколько попытка выразить то, что в детстве было скрыто. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание.

Энфантизм — это не столько возвращение к детству, сколько попытка выразить то, что в детстве было скрыто. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание. Сфинкс — это не только загадка, но и страдание.

LE MYTHE DE SISYPHE

Душа, не стремись к вечной жизни,
Но постарайся исчерпать то, что возможно.

ПИНДАР. Пифийская песня III

РАССУЖДЕНИЕ ОБ АБСУРДЕ

Страницы, следующие ниже, посвящены распыленному в воздухе нашего века абсурдному жизнечувствию, а не собственно философии абсурда, каковой наше время, по сути дела, не знает. Простейшей честностью будет поэтому оговорить с самого начала, сколь многим эти страницы обязаны ряду современных мыслителей. Скрывать это настолько не входило в мои намерения, что их высказывания будут приводиться и комментироваться на протяжении всей работы.

Полезно вместе с тем отметить, что абсурд, до сих пор служивший итогом умозаключений, в настоящем эссе принимается за отправную точку. В этом смысле можно сказать, что в моих соображениях немало предварительного: невозможно судить заранее о позиции, которая бы с неизбежностью из них вытекала. Здесь найдут лишь описание болезни духа в чистом виде. Пока что оно без примеси какой бы то ни было метафизики, каких бы то ни было верований. В этом пределы и единственная заведомая установка книги.

Абсурд и самоубийство

Есть лишь один поистине серьезный философский вопрос — вопрос о самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой или она того не стоит, — это значит ответить на основополагающий вопрос философии. Все прочие вопросы — имеет ли мир три измерения, существует ли девять или двенадцать категорий рассудка — следуют потом. Они всего лишь игра; сперва необходимо

ответить на исходный вопрос. И если верно, что философ, дабы внушить уважение к себе, должен, как хотел того Ницше, служить примером для других, нельзя не уловить важность этого ответа — ведь он предшествует бесповоротному поступку. Для сердца все это непосредственно ощутимые очевидности, однако в них надо вникнуть глубже, чтобы сделать ясными для ума.

Спросив себя, а как можно судить, какой вопрос более настоятелен, чем другие, я отвечаю: тот, который обязывает к действию. Мне неведомы случаи, когда бы шли на смерть ради онтологического доказательства. Галилей, обладавший весьма значительной научной истиной, легче легкого отрекся от нее, как только над его жизнью нависла угроза. В известном смысле он поступил правильно. Истина его не стоила того, чтобы сгореть за нее на костре. Вращается ли Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли — все это глубоко безразлично. Сказать по правде, вопрос этот просто-напросто никчемный. Зато я вижу, как много людей умирает, придя к убеждению, что жизнь не стоит труда быть прожитой. Я вижу других людей, которые парадоксальным образом умирают за идеи или иллюзии, придававшие смысл их жизни (то, что называют смыслом жизни, есть одновременно великолепный смысл смерти). Следовательно, я прихожу к заключению, что смысл жизни и есть неотложнейший из вопросов. Как на него ответить? Когда дело касается вещей сущностных — под ними я понимаю те, что чреватые угрозой смерти, как и те, что удесятерят страстную жажду жить, — у нашей мысли есть только два способа подступиться к ним: способ Ла Палиса и способ Дон Кихота. Лишь сочетание самоочевидных истин с уравнивающим их сердечным горением может открыть нам доступ одновременно и к душевному волнению, и к ясности. Раз предмет рассмотрения так скромно и вместе с тем исполнен патетики, понятно, что ученая классическая диалектика должна уступить место менее притязательной установке ума, который бы пускал в ход совместно здравомыслие и приязнь.

Самоубийство всегда истолковывалось только как явление социального порядка. Здесь, напротив, поначалу речь пойдет об отношении между индивидуальной мыслью и самоубийством. Подобно великим произведениям, оно вызревает в безмолвных недрах сердца. Сам человек

об этом не знает. Однажды вечером он вдруг стреляется или бросается в воду. Как-то мне рассказывали об одном покончившем с собой зрителе жилых домов, что за пять лет до того он потерял дочь, с тех пор сильно изменился и что эта история его «подточила». Точнее слова нечего и желать. Начать думать — это начать себя подтачивать. К началам такого рода общество не имеет касательства. Червь гнездится в сердце человека. Там-то его и надо искать. Надо проследить и понять смертельную игру, ведущую от ясности относительно бытия к бегству за грань света.

Самоубийство может иметь много разных причин, и самые явные из них чаще всего не самые решающие. Редко кончают с собой в результате размышлений (хотя исключать эту гипотезу нельзя). То, что развязывает кризис, почти никогда контролю не поддается. Газеты обычно упоминают о «душевных огорчениях» или «неизлечимой болезни». Объяснения такого рода правомерны. И все-таки надо бы знать, не разговаривал ли с отчаявшимся равнодушно в тот самый день его друг. Друг этот и виновен в случившемся. Равнодушного тона может быть достаточно, чтобы вызвать обвал накопившихся обид и усталости, которые до поры до времени пребывали как бы в подвешенном состоянии¹.

Но если трудно зафиксировать в точности миг, когда ум поставил на смерть, как и проследить сам изощенный ход мысли в этот миг, то извлечь из поступка заложенное в нем содержание сравнительно легко. Убить себя означает в известном смысле — и так, как это бывает в мелодрамах, — сделать признание. Признание в том, что жизнь тебя подавила или что ее нельзя понять. Не будем заходить в уподобления слишком далеко и прибегнем к словам расхожим. Это признание, что жить «не стоит труда». Само собой разумеется, жизнь — дело непростое. Однако по многим причинам, первая из которых — привычка, продолжаешь поступать согласно запросу жизненных обстоятельств. Умереть по своей воле означает при-

¹ Не упустим случая отметить, что утверждения настоящего эссе отнюдь не безоговорочны. Ведь самоубийство может зависеть и от соображений, заслуживающих большей почтительности. Пример: политические самоубийства в ходе китайской революции, именуемые самоубийствами из протеста.

знать, пусть и безотчетно, смехотворность этой привычки, отсутствие глубоких оснований жить, нелепицу повседневной суеты и ненужность страдания.

Что же это за нерасчетливое чувство, пробуждающее разум ото сна, необходимого ему для жизни? Когда мир поддается объяснению, хотя бы и не слишком надежному в своих доводах, он для нас родной. Напротив, человек ощущает себя чужаком во вселенной, внезапно избавленной от наших иллюзий и попыток пролить свет на нее. И это изгнанничество неизменно, коль скоро человек лишен памяти об утраченной родине или надежды на землю обетованную. Разлад между человеком и окружающей его жизнью, между актером и декорациями и дает, собственно, чувство абсурда. Все здоровые люди когда-нибудь да задумывались о самоубийстве, а потому можно без дополнительных пояснений признать, что существует прямая связь между этим чувством и тягой к небытию.

Предметом настоящего эссе как раз и является это отношение между абсурдом и самоубийством, вопрос о том, в какой именно мере самоубийство есть решение задачи, задаваемой абсурдом. Допустимо исходить из принципа, что действия человека, избегающего лукавить с самим собой, направляются истиной, в которую он верит. Вера в абсурдность существования должна, следовательно, определять его поведение. Совершенно законным любопытством будет поэтому спросить внятно и без ложного пафоса, обязывает ли упомянутое умозаключение об абсурде расстаться как можно скорее с обстоятельствами, не поддающимися пониманию. Разумеется, я веду здесь речь о людях, склонных находиться в согласии с собой.

Будучи поставлен ясно, вопрос этот может показаться одновременно простым и неразрешимым. Ошибочно полагают, однако, что на простые вопросы даются не менее простые ответы и очевидность влечет за собой такую же очевидность. Если судить априорно, похоже, что самоубийством либо кончают, либо не кончают соответственно двум возможным философским решениям самого вопроса: либо «да», либо «нет». Но это выглядело бы слишком красиво. Надо же учесть еще и тех, кто вечно вопрошает, избегая отвечать. Тут я почти не иронизирую: речь идет о большинстве людей. Я вижу также, что те, кто отвечает «нет», поступают так, будто они думают «да». И действи-

тельно, если я принимаю критерий Ницше, они так или иначе думают «да». Наоборот, среди кончающих самоубийством часто встречаются убежденные в том, что жизнь имеет смысл. И с подобными противоречиями сталкиваешься постоянно. Можно даже сказать, что они достигают крайней остроты как раз там, где логика вроде бы особенно желательна. Стало уже общим местом сопоставлять философские учения с поведением тех, кто их исповедует. Но надо сказать прямо, что за исключением Кириллова, принадлежащего литературе, Перегрин из легенды¹ и Жюля Лекье, в случае с которым довольствуются гипотезой, никто из мыслителей, отказывавших жизни в смысле, не заходил в своей логике так далеко, чтобы самому отказаться жить. Нередко шутки ради вспоминают, как Шопенгауэр расточал хвалы самоубийству, сидя за обильным столом. Но тут не повод для смеха. В таком способе не принимать трагическое всерьез особой беды нет, и тем не менее он в конце концов бросает тень на того, кто к нему прибегает.

Перед всеми этими противоречиями и темнотами следует ли думать, что не существует никакой связи между возможным мнением о жизни и тем поступком, посредством которого с ней расстаются? Не будем здесь ничего преувеличивать. В привязанности человека к жизни есть нечто превосходящее все на свете невзгоды. Суждение нашего тела ничуть не менее важно, чем суждение нашего ума, а тело избегает самоуничтожения. Привычка жить складывается раньше привычки мыслить. И в том каждодневном беге, что понемногу приближает нас к смерти, тело сохраняет это неотъемлемое преимущество. И, наконец, самая суть противоречия заключена в том, что я назвал бы уклонением, ибо оно одновременно и меньше, и больше развлечения в паскалевском смысле слова. Гибельное уклонение, составляющее третью тему нашего эссе, — это надежда. Надежда на другую жизнь, каковую надобно «заслужить», — или жульничество тех, кто живет не ради самой жизни, а ради некоей превосходящей ее идеи, возвы-

¹ Мне доводилось слышать об одном сопернике Перегрин, послевоенном писателе, который, завершив свою первую книгу, покончил с собой, чтобы привлечь к ней внимание. Внимание он и в самом деле привлек, но книгу наши плохой.

шающей эту жизнь, сообщающей ей смысл и ее предающей.

Все тогда помогает спутать карты. До сих пор отнюдь не безуспешно предавались игре в слова и делали вид, будто верят, что отказ признать жизнь имеющей смысл непременно влечет за собой заключение, согласно которому она не стоит труда быть прожитой. На самом деле нет никакой обязательной соотнесенности между этими двумя суждениями. Надо только не позволять, чтобы уже упомянутые мною неувязки, путаница, непоследовательность сбивали с толку. Надо все это устранить и обратиться впрямую к действительной сути вопроса. Убивают себя потому, что жизнь не стоит труда быть прожитой, — вот истина несомненная, однако и бесплодная, потому что она трюизм. Но разве оскорбление, наносимое тем самым существу, разве столь всеохватывающее разоблачение его проистекают из отсутствия в нем смысла? И разве абсурдность жизни требует избавления от нее при помощи надежды или самоубийства — вот на что необходимо пролить свет, вот что надо исследовать и раскрыть, отодвинув в тень все остальное. Понуждает ли абсурд к смерти — этому вопросу следует отдать предпочтение перед всеми прочими, рассмотреть его вне всех сложившихся способов мысли и вне игры непредвзятого ума. Оттенкам, противоречиям, психологическим примесям, всегда приносимым «объективным» умом в существо вопросов, нет места в этом исследовании и страстном поиске. Здесь нужна только беспощадная, то есть логичная мысль. А это непросто. Всегда легко быть логичным. И почти невозможно быть логичным до конца. Люди, накладывающие на себя руки, следуют по наклонной своих чувств до самого конца. Размышление о самоубийстве предоставляет мне в таком случае возможность поставить ту единственную проблему, которая меня занимает: логичен ли смертельный исход? Я могу это выяснить не иначе, как продолжив без вносимого страстью беспорядка, единственно в свете очевидности, то размышление, истоки которого я тут обозначил. Его-то я и называю размышлением об абсурде. Многие такое размышление предпринимали. Пока что я не знаю, удалось ли им сохранить верность отправным посылкам.

Когда Карл Ясперс, обнаруживая невозможность воссоздать бытие в его целостности, восклицает: «Это ограничение возвращает меня к самому себе, туда, где я больше не укрываюсь за объективной точкой зрения, а лишь представляюсь от нее, туда, где ни я сам, ни существование других не могут стать для меня объектом», — он вслед за множеством своих предшественников вызывает в памяти те пустынные безводные края, где мысль подходит к пределам доступного для нее. Вслед за множеством других — да, конечно же, но как все они спешили оттуда выбраться! К этому последнему повороту, где мысль колеблется в нерешительности, приближались многие, среди них и мыслители, исполненные смирения. Здесь они отрекались от самого дорогого, что у них было, — от собственной жизни. Иные, князья духа, тоже отрекались, только прибегали для этого к самоубийству мысли в разгар самого чистого бунта. Подлинное же усилие, напротив, заключается в том, чтобы как можно дольше удерживать равновесие и рассматривать вблизи причудливую растительность этих краев. Упорство и прозорливость являются привилегированными зрителями того нечеловеческого игрового действия, в ходе которого репликами обмениваются абсурд, надежда и смерть. Дух бывает способен тогда проанализировать фигуры простейшего и вместе с тем изысканного танца, прежде чем самому их воспроизвести и пережить.

Стены абсурда

Глубокие чувства подобны великим произведениям, смысл которых всегда шире высказанного в них осознанно. Постоянство движений души или ее отталкиваний воспроизводится в привычках поведения и ума, а затем преломляется и в таких следствиях, о которых сама душа ничего не ведает. Большие чувства выводят с собой в жизнь целый мир, великолепный или жалкий. Единственный в своем роде мир, где они обретают подходящий им климат, освещается страстью. Существует вселенная ревности, честолюбия, эгоизма или великодушия. Вселенная — то есть своя особая метафизика и свой духовный строй. Но верное относительно отдельных чувств тем более верно относительно переживаний с их основой столь же нео-

пределенной, смутной и одновременно столь же несомненной, столь же отдаленной и столь же «присутствующей», как и все то, чем бывает вызвано в нас ощущение прекрасного или ощущение абсурда.

Чувство абсурда может поразить в лицо любого человека на повороте любой улицы. Само по себе, в своей унылой наготе и тусклом свете, оно неуловимо. Однако сама эта трудность заслуживает обдумывания. Пожалуй, верно, что человек никогда не бывает постигнут нами до конца, в нем всегда сохраняется нечто, упрямо от нас ускользающее. Однако *практически* я знаю людей и распознаю их по поведению, по совокупности их поступков, по тем следам, какие они оставляют, проходя по жизни. И точно так же обстоит дело с теми иррациональными переживаниями, которые не поддаются анализу, — я могу их *практически* определить, *практически* оценить, свести воедино их последствия в умственной деятельности, уловить и обозначить все их обличья, очертить их вселенную. Несомненно, что лично я, скорее всего, не узнаю актера глубже оттого, что увижу его в сотый раз. Но если я соединю всех героев, в которых он перевоплощался, и скажу, что на сотой учтенной мною роли я узнал о нем немного больше, в этом будет своя доля истины. Потому что этот видимый парадокс есть вместе с тем и притча. Притча со своей моралью. Она учит, что лицедейство человека может сказать о нем ничуть не меньше, чем его искренние порывы. И точно так же обстоит дело на другом уровне — с переживаниями: нельзя постичь, каковы они в глубине человеческого сердца, однако частично их выдают и поступки, ими вызванные, и настрой ума, ими заданный. Можно, следовательно, почувствовать, как я тем самым определяю некий метод. Правда, можно почувствовать и то, что он — метод анализа, а не метод познания. Как всякий метод, он подразумевает свою метафизику и волей-неволей обнаруживает те конечные заключения, о которых поначалу он как будто и сам порой не подозревает. Так последние страницы книги уже содержатся в ее первых страницах. Узвязка такого рода неизбежна. Метод, определяемый мною здесь, откровенно признается в том, что он исходит из посылки о невозможности истинного познания. Возможно лишь перебрать видимости и ощутить климат.

В таком случае нам, быть может, окажутся доступны проявления неуловимого чувства абсурда в столь разных, хотя и родственных, областях, как интеллектуальная деятельность, искусство жить или просто искусство. Климат абсурда присутствует в них с самого начала. В конце же проступают вселенная абсурда и особая установка духа, при которой он на все вокруг проливает свой свет так, чтобы воссиял тот избранный и беспощадный лик, какой он умеет распознать.

Все великие деяния и все великие мысли восходят к ничтожно малым истокам. Великие произведения зачастую рождаются на уличном повороте или в прихожей ресторана. Так и абсурд. Мир абсурда, как никакой другой, извлекает свои достоинства из жалких обстоятельств зарождения. Когда в некоторых ситуациях на вопрос, о чем человек думает, следует ответ: «Ни о чем», — это может быть и притворством. Любящие друг друга люди хорошо об этом знают. Но если ответ искренен, если он передает то особое состояние души, когда пустота красноречива, когда цепочка повседневных поступков вдруг порвалась и сердце тщетно ищет звено, способное снова соединить оборванные концы, — в таких случаях этот ответ может оказаться и первым знаком абсурда.

Бывает, что декорации рушатся. Утреннее вставание, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, еда, трамвай, четыре часа работы, еда, сон, и так все, в том же ритме, в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу. Чаще всего этой дорогой следуют без особых затруднений. Но однажды вдруг возникает вопросительное «зачем?», и все начинается с усталости, подсвеченной удивлением. Начинается — это здесь важно. Усталость одновременно и последнее проявление жизни машинальной, и первое обнаружение того, что сознание пришло в движение. Усталость пробуждает сознание и вызывает все последующее. Последующее может быть либо возвратом к бессознательности, либо окончательным пробуждением. Со временем, на исходе пробуждения, из него вытекает либо самоубийство, либо восстановленное равновесие. В усталости как таковой есть нечто отвратительное. В нашем случае я должен заключить, что она благотворна. Ведь все начинается с осознания и только благодаря

ему обретает ценность. Во всех высказанных соображениях нет ничего оригинального. Но в них есть достоинство очевидности, а этого до поры до времени достаточно, чтобы выявить в общих чертах происхождение абсурда. Корнем всего служит простая «забота».

И точно так же в тусклой каждодневной жизни нас всегда несет поток времени. Но рано или поздно наступит момент, когда нам самим придется взвалить на себя и нести груз времени. Мы живем будущим: «завтра», «позже», «когда ты добьешься положения», «с возрастом ты поймешь». Подобная непоследовательность по-своему восхитительна, ведь в конце концов предстоит умереть. Однако настает день, когда человек говорит вслух или про себя, что ему тридцать лет. Тем самым он утверждает, что еще достаточно молод. Но вместе с тем он располагает себя относительно времени. Он занимает в нем свое место. Он признает, что находится в одной из точек кривой, каковую, по его признанию, он должен пройти. Он принадлежит времени, и по тому ужасу, который мысль об этом ему внушает, он судит, что оно его злейший враг. Завтрашнего дня, он хотел завтрашнего дня, тогда как всем своим существом он должен бы это завтра отвергнуть. В этом бунте плоти обнаруживает себя абсурд¹.

Еще ступенью ниже нас ждет ощущение нашей чужеродности в мире — мы откроем, до чего он «плотен», заметим, насколько камень нам чужд, как он неподатлив, с какой силой природа, самый пейзаж может нас отрицать. В недрах красоты залегает нечто бесчеловечное, и все вокруг — эти холмы, это ласковое небо, очертания деревьев — внезапно утрачивает иллюзорный смысл, который мы им приписывали, и вот они уже дальше от нас, чем потерянный рай. Первобытная враждебность мира доносится до нас сквозь тысячелетия. В какой-то миг мы перестаем понимать этот мир по той простой причине, что на протяжении веков нам были понятны в нем лишь образы и рисунки, которые мы сами же предварительно в него и вложили, однако с некоторых пор нам не хватает больше духу прибегать к этой противоестественной улов-

¹ Правда, не в своем собственном виде. Ведь речь идет не об определении, а о *перечислении* чувств, которые могут заключать в себе абсурд. Когда перечисление заканчивается, абсурд вовсе не исчерпан.

ке. Мир ускользает от нас, потому что снова становится самим собой. Декорации, замаскированные нашей привычкой, предстают такими, каковы они на самом деле. Они отдаляются от нас. И точно так же бывают дни, когда, увидев близко знакомое тебе лицо женщины, которую ты любил много месяцев или лет, ты вдруг находишь ее как бы совсем чужой, и тебе, быть может, даже желанно это открытие, заставляющее внезапно ощутить себя таким одиноким. Впрочем, час для этого пока что не пробил. Ясно одно: в этой плотности и этой чуждости мира обнаруживает себя абсурд.

Люди также источают нечто бесчеловечное. Иной раз, в часы особой ясности ума, механичность их жестов, их бессмысленная пантомима делает каким-то дурацким все вокруг них. Человек говорит по телефону за стеклянной перегородкой; его не слышно, зато видна его мимика, лишенная смысла, — и вдруг задаешься вопросом, зачем он живет. Тягостное замешательство перед бесчеловечным в самом человеке, невольная растерянность при виде того, чем мы являемся на самом деле, короче, «тошнота», как назвал все это один современный писатель, тоже обнаруживают абсурд. Равно как напоминает об абсурде и тот чужак, который подчас движется нам навстречу из глубины зеркала, тот родной и, однако, вызывающий в нас тревогу брат, которого мы видим на наших собственных фотографиях.

Я подхожу, наконец, к смерти и тому, как она нами переживается. По этому поводу все уже сказано, и от патетики подобает воздержаться. Тем не менее никогда не удастся в достаточной мере изумиться тому, что все живут так, как если бы они о смерти «знать не знали». Никто и в самом деле не имеет опыта смерти. Ведь опыт в собственном смысле есть то, что лично испытано и осознано. А в случае со смертью возможно говорить разве что об опыте кого-то другого. Это заменитель опыта, нечто умозрительное и никогда не убеждающее нас вполне. Условные меланхолические сетования не могут внушать доверия. В действительности источником ужаса является математическая непреложность события смерти. Если ход времени нас ужасает, так это тем, что задача сперва излагается, потом решается. Все красноречивые слова о душе получают здесь, по крайней мере на какой-то срок, под-

тверждение от противного с его новизной. Душа из вот этого недвижимого тела, на котором и пощечина не оставляет следов, куда-то исчезла. Простота и бесповоротность произошедшего и дают содержание чувству абсурда. В смертельном свете этой судьбы проступает ее бесполезность. Никакая мораль и никакие усилия заведомо не имеют оправдания перед кровавой математикой, распоряжающейся человеческим уделом.

Еще раз: все это уже было сказано, и многократно. Я ограничиваюсь здесь беглым перечнем и указанием на самые очевидные темы. Они проходят через все литературы и все философские учения. Служат они пищей и для обыденных разговоров. Не может быть и речи о том, чтобы изобретать их заново. Но следует твердо увериться в этих очевидностях, чтобы затем задать себе вопрос перво-степенной важности. Хочу повторить: меня интересуют не столько открытия абсурда, сколько их следствия. Если сами факты убедительны, то какие заключения надо из них извлечь и как далеко в этом пойти, чтобы ни от чего не уклониться? Надо ли добровольно принять смерть или вопреки всему надеяться? Но прежде всего необходимо произвести такой же беглый учет в плоскости интеллекта.

Первым делом разума является различение истинного и ложного. И, однако, как только мысль задумывается о себе самой, она в первую очередь открывает противоречие. Бесполезно стараться здесь убедительно это доказывать. На протяжении веков никто не нашел доказательств яснее и изящнее, чем Аристотель: «Со всеми подобными взглядами необходимо происходит то, что всем известно, — они сами себя опровергают. Действительно, тот, кто утверждает, что все истинно, делает истинным и утверждение, противоположное его собственному, и тем самым делает свое утверждение неистинным (ибо противоположное утверждение отрицает его истинность); а тот, кто утверждает, что все ложно, делает и это свое утверждение ложным. Если же они будут делать исключение — в первом случае для противоположного утверждения, заявляя, что только одно оно не истинно, а во втором — для собственного утверждения, заявляя, что только оно одно не ложно, — то приходится предполагать бесчисленное множество истинных и ложных утверждений, ибо утвержде-

ние о том, что истинное утверждение истинно, само истинно, и это может быть продолжено до бесконечности».

Этот порочный круг — только первый в череде подобных ему, и на каждом из них разум, всматривающийся в самого себя, теряется от головокружительной круговерти. Сама простота этих парадоксов делает их неопровержимыми. Какая бы игра слов и логическая акробатика в ход ни пускались, понять — значит прежде всего прибегнуть к единому мерилу. Глубинное желание разума даже при самых изощренных его операциях смыкается с бессознательным чувством человека перед вселенной — потребностью сделать ее близкой себе, жаждой ясности. Понять мир означает для человека свести его к человеческому, отметить своей печатью. Вселенная кошки — это не вселенная муравья. Трюизм «всякая мысль антропоморфна» не имеет никакого другого смысла. И точно так же разум, стремящийся постичь действительность, способен испытать удовлетворение только тогда, когда он сведет ее к собственным понятиям. Если бы человек узнал, что вселенная тоже может любить и страдать, он бы почувствовал себя примиренным с судьбой. Если бы мысль открыла в меняющемся зеркале явлений вечные связи, которые способны свести эти явления и одновременно самих себя к единому принципу, тогда можно было бы говорить о ее счастье, сравнительно с которым миф о райском блаженстве выглядит всего лишь смехотворной подделкой. Тоска по единству, жажда абсолюта выражают сущностное движение человеческой драмы. Однако несомненное существование этой тоски отнюдь не подразумевает, что ее надо немедленно утолить. Ведь в том случае, если мы, перенесясь через пропасть между желаемым и достигнутым, признаем вместе с Парменидом действительное бытие Единого (каким бы оно ни было), мы впадем в вызывающее улыбку противоречие разума, который утверждает полнейшее единство сущего, но уже самим этим утверждением доказывает собственное отличие от сущего и множественность мира, которую претендовал устранить. И этого другого порочного круга достаточно, чтобы заглушить наши надежды.

Все это опять-таки очевидности. И снова повторю, что сами по себе они не представляют интереса, интересны те следствия, которые можно из них извлечь. Мне изве-

стна и еще одна очевидность, она гласит, что человек смертен. Однако можно перечесать по пальцам тех, кто извлек отсюда все следствия, вплоть до самых крайних. В этом эссе следует принимать за постоянную точку отсчета неизменное расхождение между тем, что мы, как нам кажется, знаем, и тем, что мы знаем действительно, согласие на деле и притворное неведение, из-за чего мы продолжаем жить с такими идеями, которые должны были бы перевернуть всю нашу жизнь, если бы мы их по-настоящему прочувствовали. Это неустранимое противоречие духа помогает нам осознать поистине в полной мере, какой разрыв отделяет нас от наших собственных созданий. До тех пор, пока разум безмолвствует в неподвижном мире своих надежд, все взаимоперекликается и упорядочивается в столь желанном ему единстве. Но при первом же движении весь этот мир трещит и рушится: познанию предлагает себя бесконечное множество мерцающих осколков. Нужно проститься с надеждой когда-нибудь воссоздать из них воспринимаемую нами как нечто родное гладкую поверхность, которая вернула бы покой нашей душе. После стольких веков упорных поисков, после стольких отречений мыслителей мы знаем, что для познавательной деятельности такое прощание правильно. За исключением рационалистов по роду своих занятий, сегодня все отчаялись в возможностях истинного познания. Если бы понадобилось написать поучительную историю человеческой мысли, она была бы историей следующих друг за другом раскаяний и немощных потуг.

Действительно, о чем или о ком я вправе сказать: «Это я знаю»? Я могу ощутить сердце в моей груди и утверждать, что оно существует. Я могу потрогать вещи окружающего меня мира и утверждать, что он существует. Но на этом моя наука кончается, все остальное — лишь построения ума. Ведь попробуй я уловить и кратко определить то Я, в существовании которого я уверен, как оно уподобится воде, утекающей между пальцев. Я могу обрисовать один за другим все лики, какие оно принимает, равно как и все лики, какими его наделяли, полученное им воспитание, его происхождение, пыл и миги безмолвия, величие и низость. Однако нельзя сложить вместе все эти лики. Да и само принадлежащее мне сердце никогда не поддастся определению. Между моей уверенностью в собствен-

ном существовании и тем содержанием, которое я пробую в нее вложить, пролегает ров, и его во веки веков не заполнить. Я всегда пребуду чуждым самому себе. В психологии, как и в логике, существуют истины, но нет Истины. «Познай самого себя» Сократа имеет такую же ценность, как и «Будь добродетелен» в устах наших исповедников. В нем различимы одновременно и тоска по знанию, и незнание. Все это бесплодные игры по значительным поводам. Игры, оправданные в той самой мере, в какой они приближительны.

А вот еще деревья, и я знаю, как шероховата их кора, вот вода, и мне известен ее привкус. Запахи травы и звезд, темная ночь, иные вечера, когда сердце расслабляется, — разве я могу отрицать существование этого мира, силу и мощь которого я ощущаю? Однако вся земная наука не дает ничего, способного уверить меня в том, что этот мир мне принадлежит. Вы мне его описываете и учите меня, как его разложить по полочкам. Вы перечисляете его законы, и я, жаждущий знания, соглашаюсь с тем, что они верны. Вы разбираете его устройство, и моя надежда растет. В конце концов вы мне сообщаете, что этот чудесный пестрый мир может быть сведен к атому и что атом в свою очередь сводим к электрону. Все это хорошо, но я жду продолжения. А вы мне говорите о распространяющейся на всю вселенную невидимой системе электронов, которые вращаются вокруг своего ядра. Вы мне объясняете мир при помощи образа. И тогда я констатирую, что вы обратились к поэзии — выходит, у меня никогда не будет знания. Не пришло ли для меня время этим возмутиться? Но вы уже сменили теорию. Значит, наука, которая должна была мне все разъяснить, кончает тем, что выдвигает гипотезу, обещанная ясность оборачивается метафорой, неуверенность воплощается в произведении искусства. Но разве была нужда в стольких усилиях? Мягкие очертания вон тех холмов и вечер, положивший свою руку на мое возбужденное сердце, научат меня гораздо большему. Я вернулся к тому, с чего начинал. Я понимаю, что с помощью науки могу опознать и перечислить явления, но никак не могу освоить мир. Даже если я ощущаю пальцем все извивы его рельефа, я не узнаю о нем больше. Вы же предлагаете мне выбрать между описанием, которое надежно, но ничего мне не проясняет, и ги-

потезами, которые претендуют чему-то меня научить, но остаются ненадежными. Чуждый самому себе и миру, лишенный всякого подспорья, кроме мысли, которая себя отрицает в тот самый момент, когда она что-то утверждает, — так что же это за удел, при котором я могу обрести покой не иначе, как отказавшись знать и жить, и где жажда обладания наталкивается на глухие стены, бросающие вызов любой осаде? Хотеть — значит порождать парадоксы. Все устроено так, чтобы возник тот отравленный покой, который приносят беззаботность, сон души и смертельно опасное самоотречение.

Следовательно, интеллект на свой лад говорит мне, что мир абсурден. Слепой рассудок, являющий собой полную противоположность интеллекту, напрасно претендует на то, что все ясно, я ждал доказательств и хотел, чтобы он оказался прав. Несмотря на множество гордившихся собой веков, вопреки стольким красноречивым и умевшим убеждать людям я знаю, что это неправда. По крайней мере в этом отношении счастья нет, раз я не могу знать. Всеобщий разум, практический или моральный — все равно, весь детерминизм и берущиеся объяснить все на свете категории для честного человека не больше, чем повод рассмеяться. Они не имеют ничего общего с умом. Они отрицают его глубинную правду, состоящую в том, что он крепко скован. Отныне в этой необъяснимой и зажатой в собственных рамках вселенной судьба человека обретает свой смысл. Тьма иррациональных вещей громоздится вокруг и сопровождает его до конца дней. Благодаря вернувшейся к нему и теперь избавленной от противоречий прозорливости чувство абсурда проясняется и уточняется. Я говорил, что мир абсурден, но я слишком поспешил. Сам по себе этот мир неразумен — вот все, что можно сказать о нем. Абсурдно же столкновение этой иррациональности с отчаянной жаждой ясности, зов которой раздается в глубинах человеческой души. Абсурд зависит от человека в той же мере, в какой он зависит от мира. В настоящий момент он их единственная связь. Он соединяет их так, как людей может соединять одна только ненависть. И это все, что я могу внятно различить в необъятной вселенной, где протекает приключение моей жизни. Остановимся здесь. Если я принимаю за истину абсурд и он выстраивает мои отношения с жизнью, если

я проникаюсь этим чувством, которое охватывает меня перед зрелищем окружающего мира, и сохраняю ту ясность ума, которую принесли мне научные поиски, тогда я должен всем пожертвовать ради этих достоверностей и смотреть на них в упор, дабы их поддерживать. И особенно я должен выверить по ним мое поведение и извлечь из них все следствия. Я говорю сейчас о честности. Но прежде я хочу выяснить, может ли мысль жить в этих пустынных краях.

Я уже знаю, что мысль туда по крайней мере вступила. Она нашла там для себя пищу. И поняла, что до этого довольствовалась призраками. Ее пребывание там дало повод наметить некоторые темы из числа самых неотложных для человеческого осмысления.

С того момента, как абсурдность получает признание, она становится мучительнейшей из страстей. Но весь вопрос в том, чтобы уяснить, можно ли жить подобными страстями, можно ли принять глубоко заложенный в них закон, по которому они испепеляют сердце в то самое время, когда повергают его в восторг. Однако это еще не тот вопрос, которым мы сейчас займемся. Он находится в центре описываемого опыта, и у нас будет время к нему вернуться. Прежде постараемся обозреть темы и душевные порывы, рождающиеся в пустыне. Достаточно будет их перечислить. Ведь сегодня они тоже всем известны. Во все времена находились люди, отстаивавшие права иррационального. Традиция мысли, которую можно было бы назвать смиренной, никогда не прерывалась. Критика рационализма предпринималась столько раз, что, по всей видимости, к ней нет смысла возвращаться. Однако в нашу эпоху мы стали очевидцами возрождения парадоксальных философских систем, которые проявляют такую изобретательность в попытках пошатнуть разум, как будто он и впрямь всегда первенствовал. Но все это доказывает не столько действенность разума, сколько живучесть питаемых им надежд. В плане историческом постоянное соперничество двух подходов, иррационалистического и рационалистического, свидетельствует об одной из ведущих страстей человека, раздираемого между тягой к единству и ясным видением обступивших его стен.

Но еще никогда, быть может, атака на разум не была столь напористой, как в наше время. С тех пор как про-

звучал громкий возглас Заратустры: «Случайность — вот старейшее дворянство мира, я вернул его всем вещам, когда учил, что ни над ними, ни через них никакая вечная воля — не волит», после смертельной болезни Киркегора, «болезни, влекущей за собой смерть, за которой уже ничего не следует», знаменательные и мучительные темы абсурдной мысли вереницей тянулись одна за другой. Или, точнее, и этот оттенок весьма важен, мысли иррационалистической и религиозной. От Ясперса до Хайдеггера, от Киркегора до Шестова, от феноменологов до Шелера, в области логики и в области морали целое семейство умов, родственных в их ностальгии, противоположных по их методам и целям, упорствовало в том, чтобы перегордить столбовую дорогу разума и отыскать свои прямые пути к истине. Далее я буду исходить из того, что их мысли известны и пережиты. Какими бы ни были сегодня и вчера их устремления, исходной для них всех была не подающаяся словесному описанию вселенная, где царят противоречия, антиномии, тоскливые страхи и немощь. Общими для них были как раз те темы, которые мы только что выявили. И что особенно важно сказать, они сумели извлечь следствия из своих открытий. Это настолько важно, что придется рассмотреть эти следствия отдельно. Пока же речь пойдет лишь об их открытиях и отправном для них опыте, о том, чтобы установить их сходство. Было бы самонадеянно браться истолковывать здесь сами их философские учения, доступно и, во всяком случае, достаточно дать почувствовать общий для всех них климат.

Хайдеггер хладнокровно рассматривает удел человеческий и заявляет, что мы влачим унижительное существование. Единственная действительность — это «забота» на всех ступенях бытия. Для человека, затерянного в мире среди разного рода отвлекающих занятий, забота — это мимолетная и всякий раз ускользающая боязнь. Но стоит последней осознать себя, и она становится страхом, постоянным климатом ясно мыслящего человека, «в котором существование обретает себя». Бестрепетно и на самом что ни на есть отвлеченном языке этот профессор философии пишет, что «конечность и ограниченность человеческого существования предшествуют самому человеку». Он обращается к Канту, но лишь затем, чтобы признать, что «чистому Разуму» поставлены свои преде-

ды. И чтобы в конце своих анализов заключить: «Мир ничего не может предложить человеку, находящемуся во власти страха». В глазах Хайдеггера забота настолько превосходит по своей подлинности все категории мышления, что он думает и говорит только о ней. Он перечисляет ее виды: досада, когда обыкновенный человек пытается как-то ее уравновесить и заглушить в себе; ужас, когда разум созерцает смерть. Хайдеггер тоже не отделяет сознание от абсурда. Сознание смерти — это зов заботы, когда «существование обращает зов к самому себе через посредство сознания». Это голос самого страха, и голос этот заклинает существование «вернуться к самому себе после утраты себя в безымянном «Он»¹. По Хайдеггеру, тоже не следует погружаться в сон, а надо бодрствовать вплоть до израсходования себя. Он упорно пребывает в мире абсурда и обвиняет мир в тленности. Он ищет свой путь посреди развалин.

Ясперс отчаивается в какой бы то ни было онтологии, так как полагает, что мы утратили «наивность». Он знает, что нам не дано возвыситься хотя бы в чем-нибудь малом над убийственной игрой видимостей. Он знает, что разум в конце концов терпит поражение. Он подолгу проследживает те духовные приключения, которые нам поставляет история, и в любой системе безжалостно вскрывает изъяны, спасающую все иллюзию, ничего не могущее скрыть пророчество. В этом опустошенном мире, где невозможность знания доказана, где небытие выглядит единственной действительностью, а беспросветное отчаяние — единственно оправданной позицией, он пробует отыскать Ариаднину нить, которая вела бы к божественным тайнам.

Шестов со своей стороны на протяжении всего своего творчества, отличающегося великолепной монотонностью, постоянно устремленного к одним и тем же истинам, непрерывно доказывает, что и самое стройное из учений универсального рационализма всякий раз под конец упирается в иррациональность человеческой мысли. От него не ускользают ни один заслуживающий иронии очевидный просчет, ни одно самое ничтожное противоречие, которые обесценивают разум. Единственное, что его за-

¹ Он (франц.) — неопределенно-личное местоимение.

нимает, — это исключения из правил, независимо от того, принадлежат ли они к истории душевной или умственной жизни. В опыте приговоренного к смертной казни Достоевского, в отчаянных приключениях духа у Ницше, в проклятиях Гамлета или горьком аристократизме Ибсена он обнаруживает, высвечивает и возвеличивает человеческий бунт против непоправимого. Он отказывает в правах разуму и начинает сколько-нибудь уверенно направлять свои шаги, лишь очутившись посреди обесцвеченной пустыни, где все достоверности обращены в камни.

Самый, быть может, привлекательный из всех, Киркегор, по крайней мере на одном из отрезков своей биографии, не просто открывает абсурд, а больше того — им живет. Человек, написавший: «Самый надежный вид немоты — не молчание, а речь», первым делом убеждается в том, что ни одна истина не абсолютна и не в силах сделать удобоваримым существование, которое само по себе есть невозможность. Дон Жуан познания, он множит псевдонимы и противоречия, пишет «Назидательные речи» одновременно с учебником цинического спиритуализма «Дневник соблазителя». Он отвергает утешения, мораль, самые принципы душевного покоя. Он далек от того, чтобы унимать боль в сердце из-за засевшего там шипа. Напротив, он растравляет эту боль и с отчаянной радостью распятого, довольного своей казнью, постепенно выстраивает категорию демонического из ясности, отрицания, комедиантства. Этот одновременно нежный и ухмыляющийся лик, эти пируэты в сопровождении крика, исторгнутого из недр души, и являют собой дух абсурда в схватке с превосходящей его действительностью. Духовное приключение, подводящее Киркегора к столь дорогим ему скандалам бытия, тоже берет свое начало в хаосе опыта, лишённого всяких прикрас, взятого в его первоизданной бессвязности.

Совсем в другом плане, в плане метода, Гуссерль и феноменологи возвращают миру его разнообразие и отвергают трансцендирующий разум. Благодаря им духовный мир самым неожиданным образом обогащается. Лепесток розы, километровый столб у дороги или человеческая рука так же важны, как любовь, желание или как законы тяготения. Мыслить не означает пускать в ход единую мерку, делать внешний вид вещей знакомым, за-

ставляя их предстать в обликах какого-то принципа. Думать — это научиться заново видеть, быть внимательным, направить на что-то свое сознание, возвести, подобно Прусту, в разряд привилегированных каждую идею и каждый образ. Парадокс, но все на свете находится в привилегированном положении. Оправданием для мысли служит ее предельная осознанность. Хотя самый ход поисков Гуссерля более позитивен, чем у Киркегора или Шестова, тем не менее он в корне отрицает классический рационализм, подрывает надежду, открывает интуиции и сердцу доступ к разрастающемуся обилию вещей, в котором есть что-то бесчеловечное. Гуссерлианские пути ведут ко всем наукам и ни к одной из них. Другими словами, способ здесь важнее цели. Речь идет только о «познавательной установке», а не о душевном утешении. В очередной раз, по крайней мере на первых порах.

Как не почувствовать глубинное родство всех этих умов! Как не заметить, что все они расположились у того особого и горестного места, где больше нет почвы для надежды? Я хочу, чтобы мне было разъяснено все или ничего. А разум бессилён откликнуться на этот крик сердца. Дух, разбуженный запросом такого рода, ищет и находит одни только противоречия и несообразности. То, что я не понимаю, неразумно. Мир населен подобными иррациональностями. Он сам есть одна огромная иррациональность, коль скоро я не могу постичь его единый смысл. Сказать бы хоть раз: «Это ясно», — и все было бы спасено. Но эти люди наперегонки друг с другом провозглашают: ничто не ясно, все хаос, человеку не остается ничего другого, как сохранять ясность ума и точное знание обступивших его стен.

Все эти виды опыта взаимно перекликаются и соприкасаются. Достигнув последних пределов возможного для него, дух должен извлечь все выводы и вынести приговор. Тут его ждет и вопрос о самоубийстве, и ответ на него. Но я хочу опрокинуть порядок исканий и взять за исходное приключения интеллекта, с тем чтобы прийти к повседневным поступкам.

Упомянутые выше виды опыта рождены в пустыне, которую не следует покидать. По крайней мере надо знать, куда они продвинулись. На этом рубеже человек оказывается перед иррациональным. Он испытывает жела-

ние быть счастливым и постигнуть разумность жизни. Абсурд рождается из столкновения этого человеческого запроса с безмолвным неразумием мира. Вот чего нельзя забывать. Вот за что надо ухватиться, потому что отсюда может воспоследовать решимость жить. Иррациональность, человеческая ностальгия и абсурд, вытекающий из их встречи, — таковы три действующих лица той драмы, которая неминуемо должна покончить со всякой логикой, на какую бытие способно.

Философское самоубийство

Чувство абсурда — это еще не понятие абсурда. Первое служит основанием для второго, не более того. Первое несводимо ко второму, разве что в тот краткий миг, когда выносит свое суждение о вселенной. И затем чувству абсурда надлежит проследовать дальше. Оно живет своей жизнью, а значит, ему суждено рано или поздно умереть или распространиться шире прежнего. И так же обстоит дело с темами, которые были собраны нами вместе. Но повторю еще раз: меня интересуют не сами произведения или умы, критика которых потребовала бы других форм и другого места, а выявление того общего, что есть в их конечных выводах. Пожалуй, никогда еще умы не были так различны. И тем не менее мы обнаруживаем, что они получают толчок к движению в одинаковом духовном пространстве. Как ни разнятся их познания, одинаков и крик, который они издают в самом конце пройденного каждым из них пути. Отчетливо ощутимо, что существует общий для упомянутых умов климат. Не будет слишком вольной игрой слов сказать, что он смертелен. Жизнь под вызывающими удушье небесами понуждает либо с нею расстаться, либо ее продолжить. Речь идет о том, чтобы выяснить в первом случае — как с нею расстанутся, во втором — почему ее продолжают. Тем самым я ставлю вопрос о самоубийстве и том интересе, с каким можно отнестись к заключениям экзистенциалистской философии.

Но сначала я хочу ненадолго отклониться от прямой дороги. До сих пор мы описывали абсурд только извне. Можно, однако, задаться вопросом, что в этом понятии ясно, и постараться посредством прямого анализа устано-

вить, с одной стороны, каков его смысл, а с другой — каковы вытекающие из него следствия.

Если я обвиню невинного человека в чудовищном преступлении, если я стану уверять добродетельного человека в том, что он вожделеет к своей сестре, он мне ответит, что это абсурдно. Возмущение его имеет свою смешную сторону. Но оно и глубоко обоснованно. Добродетельный человек своим ответом выявляет полнейшую антиномию поступка, который я ему приписываю, и принципов всей его жизни. Слова «это абсурдно» означают: «это невозможно» и вместе с тем: «это противоречиво». Если мне случится увидеть, что человек с холодным оружием в руке нападает на отряд пулеметчиков, я расценю его действия как абсурдные. Они и являются таковыми из-за несообразности намерения с действительностью, ему уготованной, из-за улавливаемого мною противоречия между действительными силами этого человека и поставленной им перед собой целью. Так же мы сочтем абсурдным некий приговор, если найдем, что он противоположен тому приговору, который, по всей видимости, должен вытекать из наблюдаемых фактов. И точно так же доказательство от абсурда осуществляется путем сравнения следствий данного рассуждения с действительной логикой, которую нам хотелось бы утвердить. Во всех этих случаях, от простейшего до самого сложного, абсурдность будет тем разительнее, чем сильнее разница между двумя членами моего сравнения. Бывают абсурдные браки, абсурдный вызов, абсурдное молчание, абсурдные обиды, войны и даже перемирия. И всякий раз абсурдность вытекает из сравнения. Следовательно, я вправе сказать, что чувство абсурда рождается не из простого рассмотрения единичного факта и не из отдельного впечатления, а высекается при сравнении наличного положения вещей с определенным рода действительностью, действия — с превосходящим его миром. По сути своей абсурд — это разлад. Он не сводится ни к одному из элементов сравнения. Он возникает из их столкновения.

Пребывая в плоскости интеллектуальной, я могу, следовательно, сказать, что абсурд не коренится ни в человеке (если метафора такого рода имеет хоть какой-то смысл), ни в мире, а в их совместном присутствии. В настоящий

момент он единственная связующая нить между ними. Желая оставаться на почве очевидностей, я знаю, чего хочет человек, знаю, что ему предлагает мир, и теперь могу сказать, что знаю, чем они соединены. Мне нет нужды углубляться дальше в существо вопроса. Тому, кто ищет, достаточно и одной-единственной достоверности. Речь идет только о том, чтобы извлечь из нее все следствия.

Непосредственное следствие представляет собой одновременно и правило метода. Возникшее в результате триединство особого рода не имеет ничего общего с неожиданно открытой Америкой. Но у него есть сходство с данными опыта, состоящее в том, что это триединство бесконечно просто и в то же время бесконечно сложно. Отсюда первая из его характеристик: его нельзя разять на части. Убрать одно из его слагаемых — значит разрушить все целиком. Абсурд не может существовать вне человеческого сознания. И потому он, как и все на свете, подвластен гибели. Вместе с тем абсурд не может существовать вне мира. Судя по этому простейшему признаку, понятие абсурда принадлежит к числу основополагающих и может являть собой первую из имеющихся у меня истин. Упомянутое выше правило метода обнаруживает себя на этой стадии. Если я нахожу что-то истинным, я обязан его сберечь. Если я включаюсь в поиски решения какой-то задачи, мне никак нельзя устранить этим решением ни одно из ее слагаемых. Единственная данность для меня — это абсурд. Суть дела в том, чтобы выяснить, как от него избавиться и должно ли быть из него выведено самоубийство. Первое и, в сущности, единственное условие моего поиска заключается в необходимости сохранить то самое, что угрожает меня раздавить, и соответственно отнестись с уважением к тому, что я считаю основным в этой угрозе. Я только что определил это основное как столкновение и непрестанную борьбу.

Доведя логику абсурда до самого ее конца, я должен признать, что эта борьба предполагает отсутствие какой бы то ни было надежды (каковое не имеет ничего общего с отчаянием), постоянное отрицание (каковое не следует смешивать с отречением) и осознанную неудовлетворенность (каковую нельзя путать с юношеским беспокойством). Все, что уничтожает, отменяет или ловко сводит

на нет эти требования — а разлад уничтожается в первую очередь согласием, — устраняет абсурд и обесценивает подход, который мог бы быть предложен. Абсурд имеет смысл только в той мере, в какой с ним не соглашаются.

Существует одна очевидность, кажущаяся вполне нравственной, а именно: человек бывает всегда добычей исповедуемых им истин. Однажды признав их своими, он с ними уже не расстается. Ведь за все приходится платить, хотя бы немного. Человек, осознавший абсурд, навсегда к нему привязан. Человек, утративший надежду и осознавший это, перестает принадлежать будущему. И это в порядке вещей. Равно как в порядке вещей и то, что он прилагает усилия бежать из этого мира, им же самим созданного. Все сказанное ранее получает свой смысл как раз в том лишь случае, если этот парадокс принимается во внимание. Ничто не может быть более поучительно в этом отношении, чем попытка рассмотреть теперь, какие следствия извлекали люди из признания климата абсурда в результате критики рационализма.

Когда имеешь дело с философскими учениями экзистенциалистов, нельзя не заметить, что все они без исключений предлагают мне бегство от действительности. Отправляясь от абсурда, воцарившегося на развалинах разума, в мире, замкнутом и ограниченном пределами доступного человеку, они своими странными рассуждениями обожествляют то, что их подавляет, и находят пищу для надежды в том, что их обездоливает. По самой своей сути эта надсадная надежда у всех них религиозна. И заслуживает того, чтобы остановиться на ней особо.

Здесь я проанализирую для примера лишь некоторые из тем, показательных для Шестова и Киркегора. Но модель такого подхода, доведенную до карикатуры, нам предоставит Ясперс. Благодаря этому все остальное станет яснее. С Ясперсом расстаешься, будучи уверен, что он бессилён осуществить прорыв к трансцендентному, не способен исследовать глубины опыта и отчетливо сознает, насколько все в этом мире обречено на поражение. Пойдет ли он дальше или по крайней мере извлечет ли выводы из этого поражения? Ничего нового он не вносит. В своем опыте он почерпнул лишь подтверждение собственной немощи — и ни малейшего повода к обрете-

нию сколько-нибудь удовлетворительного опорного принципа. И тем не менее, хотя у него нет для этого никаких обоснований, в чем он признается сам, он одним махом приходит к утверждению сразу и трансцендентного начала, и бытийной значимости своего опыта, и сверхчеловеческого смысла жизни, когда пишет: «Разве поражение не свидетельствует, независимо от любых объяснений и любых возможных толкований, в пользу отнюдь не отсутствия, а, напротив, бытия трансцендентного?» Это бытие, внезапно и вслепую полагаемое человеческим доверием, объясняет все на свете; Ясперс определяет его как «непостижимое единство общего и частного». Так абсурд становится Богом (в самом широком смысле этого слова), а бессилие понять — освещающим все бытием. Ничто не подводит к этому умозаключению логически. Я вправе назвать его прыжком. Парадоксально, но теперь понятны упорство и бесконечное терпение, с какими Ясперс настаивает на неосуществимости опыта приобщения к трансценденции. Ибо чем мимолетнее приближение к ней, тем все более тщетными оказываются попытки ее определить и тем она сама реальнее для Ясперса — ведь страсть, вкладываемая им в утверждение трансцендентного, прямо пропорциональна разрыву между его возможностями объяснения и иррациональностью мира и опыта. В результате выясняется, что Ясперс тем ожесточеннее крушит предрассудки разума, чем радикальнее объясняет мир. Апостол смиренной мысли, он находит в самом крайнем смирении то, благодаря чему бытие возрождается во всей его глубине.

Мистическая мысль приучила нас к подобным примерам. Они так же правомерны, как и любая другая установка ума. Но сейчас я поступаю так, как если бы я принимал некую проблему всерьез. Не предрешая вопроса относительно общей ценности этого подхода, его поучительности, я хочу только рассмотреть, отвечает ли он условиям, которые я себе поставил, достоин ли занимающего меня конфликта. Так я возвращаюсь к Шестову. Один из комментаторов Шестова передает его высказывание, заслуживающее интереса: «Единственно истинный выход, — говорил он, — находится как раз там, где, согласно человеческому суждению, выхода нет. В противном

случае разве мы испытывали бы потребность в Боге? Человек вспоминает о Боге, когда хочет невозможного. За возможным он обращается к людям». Если философия Шестова существует, я могу уверенно сказать, что она вместилась целиком в это краткое высказывание. Ведь когда Шестов в итоге своих страстных разборов открывает основополагающую абсурдность всего сущего, он не говорит: «Вот абсурд», но: «Вот Бог, ему-то и надлежит вверить себя, пусть он и не соответствует ни одной из наших рациональных категорий». И чтобы исключить путаницу, русский философ внушает, что Бог может быть ненавидящим и ненавистным, непонятым и противоречивым; но он тем решительнее утверждает свое всемогущество, чем отвратительнее его лик. Его величие в его непоследовательности. Доказательство его существования — в его бесчеловечности. Надо совершить прыжок к нему и этим прыжком избавиться от рационалистических иллюзий. Так для Шестова принятие абсурда совпадает по времени с самим абсурдом. По Шестову, констатировать абсурд — значит его принять, и все логические усилия его ума сводятся к тому, чтобы пролить на это свет и тем помочь забить ключу огромной надежды. Повторю еще раз: такой подход правомерен. Но здесь я упорствую в рассмотрении одной-единственной проблемы и всех ее следствий. Я не собираюсь обсуждать патетичность чьей-то мысли или поступка во имя веры. Я могу заниматься этим весь остаток моей жизни. Я знаю, что у рационалиста подход Шестова вызывает раздражение. Но я чувствую и то, что Шестов прав в споре с рационалистом, и единственное, что мне хотелось бы выяснить, это вопрос: остается ли он верным предписаниям абсурда?

Итак, принимая во внимание противоположность абсурда и надежды, нельзя не заметить, что экзистенциалистская мысль, согласно Шестову, подразумевает абсурд, но доказывает его существование только затем, чтобы его развеять. Изошренность мысли тут не что иное, как захватывающий фокус жонглера. С другой стороны, когда Шестов противопоставляет абсурд расхожей морали и разуму, он называет его истиной и искуплением. Следовательно, в самой основе и определении абсурда у Шестова присутствует одобрение. Если признать, что все возмож-

ности этого понятия заключены в том, как оно сталкивается с нашими простейшими надеждами, если проникнуться чувством, что залогом сохранения абсурда является несогласие с ним, тогда будет видно, что он утрачивает у Шестова свой подлинный облик, свою человечность и относительность, дабы перейти в разряд вечного, которое непостижимо и вместе с тем приносит удовлетворение. Если абсурд существует, то лишь в мире человеческом. С той минуты, как это понятие превращается в трамплин для прыжка к вечности, оно теряет связь с ясным человеческим сознанием. Абсурд перестает быть очевидностью, которую человек констатирует, но с которой он не соглашается. От борьбы уклоняются. Человек вбирает абсурд в свое сознание и этим причащением устраняет из абсурда самое в нем основное — противостояние, разрыв, разлад. Прыжок такого рода есть увертка. Шестов, охотно приводящий слова Гамлета «The time is out of joint»¹, пишет их с какой-то свирепой надеждой, которую позволительно отнести на его собственный счет. Ведь ни Гамлет их так не произносит, ни Шекспир их так не написал. Опьянение иррациональным и тяга к душевным восторгам заставляют ясный ум отвернуться от абсурда. Для Шестова разум бесплоден, но есть нечто превыше разума. Для человека абсурда разум бесплоден и нет ничего превыше разума.

Упомянутый прыжок может по крайней мере немного прояснить подлинную природу абсурда. Мы знаем, что его нет без равновесия, что он заключен в сравнении, а не в одном из членов этого сравнения. Шестов же переносит упор именно на один из членов и нарушает равновесие. Наша жажда понять, наша тоска по абсолюту объяснимы лишь постольку, поскольку мы можем многое понять и объяснить. Напрасно вовсе отрицать разум. Существует круг явлений, внутри которого он действителен. Это как раз все то, что принадлежит к человеческому опыту. Именно поэтому нам хочется пролить свет на все сущее. И раз мы не можем этого сделать, то возникает абсурд; рождение его происходит при встрече действительного, однако ограниченного разума со вновь и вновь воспроизводящейся иррациональностью. Когда же Шестов сердится на Гегеля за суждения вроде следующего: «Движение солнечной

¹ Распалась связь времен (англ.).

системы происходит по неизменным законам: эти законы суть ее разум», когда он вкладывает всю свою страсть в уничтожение рационализма Спинозы, он приходит к выводу о тщете всякого разума. Отсюда естественный и безосновательный возврат к превосходству иррационального¹. Однако оправданность такого хода мысли отнюдь не очевидна. Ибо здесь-то и могут быть введены понятия предела и плана. Законы природы могут быть действительны до определенного предела, после которого они оборачиваются против самих себя и порождают абсурд. Или еще: они могут быть правомерны в плане описания без того, чтобы оказаться по этой причине истинными и в плане объяснения. Когда все приносится в жертву иррациональному и потребность в ясности незаметно устранена, абсурд исчезает вместе с одним из членов сравнения. Человек абсурда, напротив, к такому устранению не прибегает. Он признает борьбу, не относится с полным презрением к разуму и допускает иррациональное. В круге своего зрения он удерживает все данные опыта и мало расположен прыгать до того, как узнает, куда именно. Единственное его знание сводится к тому, что в рамках чутко внемлющего всему сознания нет места надежде.

То, что чувствуется у Льва Шестова, еще ощутимее, пожалуй, у Киркегора. Конечно, у столь уклончивого автора трудно нащупать отчетливые суждения. Но, несмотря на то, что его писания, по всей видимости, противоречат друг другу, за множеством псевдонимов, розыгрышей и усмешек во всем его творчестве дает о себе знать как бы предчувствие (и одновременно боязнь) истины, которая в конце концов громко прозвучит в последних работах Киркегора: он тоже делает прыжок. Христианство, так пугавшее его в детстве, под конец снова возвращает себе у Киркегора свой самый суровый облик. Для него тоже антиномия и парадокс становятся критериями религиозного. То самое, что заставляло его отчаиваться в смысле и глубине жизни, со временем превращается в источник ее истины и ясности. Христианство — это скандал, и Киркегор требует ни больше ни меньше, как третьей жертвы, на которой некогда настаивал Игнатий Лойола и которая

¹ В частности, в споре с Аристотелем по поводу понятия «исключение».

радует Бога сильнее всего: «жертвы Интеллекта»¹. Это весьма странное следствие «прыжка», но оно не должно нас больше удивлять. Киркегор делает абсурд критерием другого, потустороннего мира, тогда как это выжимка опыта, полученного в мире посюстороннем. «В своем поражении, — говорит он, — верующий обретает свое торжество». Я не собираюсь задаваться вопросом, с каким волнующим пророчеством соотносится эта позиция. Я только спрошу себя, оправдывают ли такую позицию зрелище и особенности абсурда. В том, что касается этого пункта, я знаю, что это не так, Рассматривая снова содержание абсурда, можно лучше понять метод, которым вдохновляется Киркегор. Он не поддерживает равновесия между иррациональным в мире и бунтующей ностальгией абсурда. Он не соблюдает отношения, которое и составляет чувство абсурда в собственном смысле слова. Убежденный в том, что ему не избавиться от иррационального, он хочет отделаться по крайней мере от проникнутой отчаянием ностальгии, которая представляется ему бесплодной и никчемной. Но если он может быть прав в своем суждении об этом, он никак не прав в своем отрицании. Едва он заменяет бунтарский клич неистовым приятием, как неминуемо приходит к игнорированию абсурда, который освещал ему путь до сих пор, и к обожествлению единственного, в чем он еще остается уверен, — иррациональности. Важно не столько вылечиться, говорил аббат Гальяни госпоже д'Эпине, сколько научиться жить со своими болезнями. Киркегор хочет вылечиться. Вылечиться — в этом его яростное желание, им проникнут весь его дневник. Все усилия его ума направлены на то, чтобы ускользнуть от двойственности человеческого удела. Усилия тем более отчаянные, что время от времени его озаряет мысль об их тщетности, например когда он рассказывает о себе, как ни страх перед Богом, ни благоговение пред ним не были способны принести ему душевный покой. В результате он при помощи мучительных уловок придает ирра-

¹ Можно подумать, что я пренебрег здесь самым существенным вопросом — вопросом о вере. Но я не рассматриваю философию Киркегора, или Шестова, или, дальше, Гуссерля, для этого нужно другое место и другой настрой ума, я беру у них одну тему и смотрю, может ли ее развитие отвечать обозначенным выше правилам. Речь идет только об упорстве в стремлении к цели.

циональному некую личину, а своему Богу — признаки несправедливого, непоследовательного, непостижимого абсурда. Ум пробует в одиночку задушить в Киркегоре глубинные домогательства человеческого сердца. Коль скоро ничего не доказано, может быть доказано все что угодно.

Сам Киркегор раскрывает нам пройденную им дорогу. Здесь я не хочу ничего привносить от себя, но как не заметить в его сочинениях признаки почти намеренного уродования души перед лицом уродства покорности абсурду? Это лейтмотив «Дневника». «Чего во мне недостает, так это животного начала, которое ведь составляет одно из слагаемых человеческой судьбы... Но дайте же мне наконец тело». И дальше: «О, чего бы я не отдал, особенно в юные годы, за счастье быть мужчиной хотя бы шесть месяцев... в сущности, мне не хватает тела и физических предпосылок существования». В другом месте тот же самый человек присоединяется тем не менее к великому кличу надежды, которая была пронесена через столько веков и вдохновила столько сердец, за исключением сердца человека абсурда. «Но для христианина смерть отнюдь не конец всего и предполагает гораздо большую надежду, чем та, которую дает нам жизнь, даже пышущая здоровьем и силой». Примирение через скандал — это все равно примирение. Оно позволяет, быть может, извлечь надежду, как мы это видели, из ее противоположности, каковой является смерть. Но даже и тогда, когда симпатия побуждает склониться к этой позиции, следует все же сказать, что превышение меры ничего не оправдывает. Подчас говорят: это превосходит человеческую меру, а значит, должно быть сверхчеловечно. Но это «значит» тут лишнее. Здесь нет логически выводимой уверенности. Нет даже экспериментальной вероятности. Это действительно превосходит мою меру — вот все, что я вправе сказать. И если я не вывожу отсюда отрицания, то по крайней мере не хочу и ничего основывать на непостижимом. Я хочу знать, могу ли я жить с тем, что я знаю, и только с тем, что знаю. Еще мне говорят, что интеллект должен пожертвовать своей гордыней и разум должен себя смирить. Но если я полагаю, что у разума есть свои пределы, я тем самым вовсе его не отрицаю, а признаю его относительные возможности. Я только хочу держаться того средин-

ного пути, где ум может оставаться ясным. И если в этом его гордыня, то я не вижу достаточных причин от нее отказываться. Скажем, нет ничего глубже, чем взгляд Киркегора, согласно которому отчаяние есть не событие, а состояние — само состояние греховности. Ведь грех — это то, что удаляет от Бога. Абсурд, являющийся метафизическим состоянием сознательного человека, не ведет к Богу¹. Быть может, это понятие станет яснее, если я отважусь на такое чудовищное заявление: абсурд — это грех без Бога.

Все дело в том, чтобы в состоянии абсурда жить. Я знаю, на чем оно основано: подпирающие друг друга, однако не могущие слиться в объятиях человеческий ум и мир. Я задаюсь вопросом о правилах жизни в этом состоянии, но то, что мне предлагают, пренебрегает самой их основой, отрицает один из членов мучительного противостояния, повелевает мне сдаться. Я спрашиваю, каковы следствия участи, которую я считаю моей, знаю, что она предполагает неведение и темноту, а меня уверяют, будто это неведение все объясняет и будто тьма ночная как раз и есть мой свет. Но тут нет ответа на мой вопрос, и возбужденным словоизлиянием не скрыть от меня парадокс. Надо, стало быть, отвернуться. Киркегор может сколько угодно восклицать, предупреждать: «Если бы человек не обладал сознанием вечности, если бы в глубинах всех на свете вещей не было ничего, кроме дикой бурлящей мощи, которая в вихре темных страстей производила бы все сущее, от великого до ничтожно малого, если бы за вещами пряталась ничем не заполнимая бездонная пустота, чем бы была тогда жизнь, как не отчаянием?» В этом крике нет ничего способного остановить человека абсурда. Искать истину не то же самое, что искать желательное нам. Если ради избавления от проникнутого тоскливым страхом вопроса: «Чем была бы тогда жизнь?» надо, подобно ослу, кормиться розами иллюзий, то ум человека абсурда вместо того, чтобы смириться с ложью, предпочитает бестрепетно принять ответ Киркегора: «отчаянием». Исполненная решимости душа, взвесив все как следует, всегда сумеет с этим ужиться.

¹ Я не сказал «исключает Бога», это было бы утверждением.

Я беру на себя смелость назвать здесь экзистенциалистскую позицию философским самоубийством. Но в этом нет никакой оценки. Просто это удобный способ обозначить такой ход мысли, при котором она отрицает сама себя и старается себя превзойти в том, что является ее отрицанием. Для экзистенциалистов отрицание и есть их Бог. Сказать точно, Бог этот поддерживает себя только отрицанием человеческого разума¹. Но, как и самоубийство, Бог у каждого человека свой. Есть множество способов прыгать, важен самый прыжок. Эти искупительные отрицания, эти заключительные противоречия, отрицающие не преодоленную пока преграду, с равным успехом (на этот парадокс и нацелено настоящее рассуждение) могут быть порождены как религиозным вдохновением определенного толка, так и соображениями рационального порядка. Все они претендуют на достижение вечного — собственно, в этом и состоит прыжок.

Следует снова сказать, что разворачиваемое в настоящем эссе рассуждение оставляет целиком в стороне самую распространенную в наш просвещенный век духовную позицию — ту, что исходит из принципа, согласно которому все сущее есть разум, и преследует цель объяснить мир. Естественно постараться дать о мире ясное представление, коль скоро отправляешься от допущения, что он должен быть ясен. Это было бы вполне оправданно, однако не имеет касательства к тому рассуждению, которое мы здесь продолжаем. Действительно, задача его в том, чтобы осветить ход мысли, при котором она, начав с философии отсутствия смысла в мире, в конце концов обнаруживает в нем и смысл, и глубину. Самое патетичное в этом ходе мысли имеет религиозную природу — недаром мысль эта особенно усердно разрабатывает тему иррационального. Но самое парадоксальное и самое знаменательное проступает тогда, когда мир получает разумное обоснование-оправдание, хотя поначалу его рисовали себе лишенным какого бы то ни было ведущего принципа. Во всяком случае, нельзя приступить к занимающим

¹ Уточним еще раз: под вопрос здесь поставлено не само утверждение бытия Бога, а ведущая к этому логика.

нас следствиям, не дав предварительно представления об этом новом приобретении охваченного ностальгией духа.

Я рассмотрю только тему «интенциональности», вошедшую в моду благодаря Гуссерлю и феноменологам. Намек на это был уже сделан раньше. Попросту сказать, гуссерлианский метод отвергает приемы классического рационализма. Повторим еще раз. Мыслить — не означает подводить все под единую мерку, придавать вещам знакомый вид посредством отсылки к обличью одного большого принципа. Мыслить — означает заново научиться смотреть, направлять сознание на предметы, ставить каждый очередной образ в привилегированное положение. Другими словами, феноменология отказывается объяснять мир, она хочет быть только описанием пережитого. Она присоединяется к абсурдной мысли в исходном для них обоих утверждении, что истины нет, есть только истины. У каждой вещи своя истина, будь то вечерний ветерок или чья-то рука на моем плече. Сознание и высвечивает эту истину, направив на нее внимание. Сознание не образует предмета познания, оно лишь на чем-нибудь сосредоточивается, само есть акт внимания и похоже, если позаимствовать образ у Бергсона, на проекционный фонарь, внезапно останавливающий на каком-то образе свои лучи. Разница в том, что связного сценария нет, есть лишь сменяющие один другой и лишённые последовательности кадры. Для этого волшебного фонаря все образы привилегированные. В порядке опыта сознание заставляет застыть в подвешенном состоянии предметы своего внимания. Чудом своей сосредоточенности на них оно их изолирует. И тогда они находятся вне каких бы то ни было суждений. Это и есть «интенциональность», характеризующая сознание. Только слово на сей раз не подразумевает никакой устремленности к цели; оно взято в значении «направленность на» и имеет сугубо топографический смысл.

На первый взгляд тут вроде бы ничто не противоречит духу абсурда. Явная скромность мысли, ограничивающей себя описанием того, что она отказывается объяснять, добровольная дисциплина, из которой парадоксально вытекает глубокое обогащение опыта и возрождение мира в его изобилии, — все это присуще и абсурдному подходу. По крайней мере на первый взгляд. Ведь все способы

мышления, как в данном случае, так и во всех других, имеют всегда два аспекта — психологический и метафизический¹. Тем самым за ними кроются две истины. Если тема интенциональности претендует продемонстрировать только психологическую установку, согласно которой действительность можно исчерпать, но нельзя объяснить, ничто и в самом деле не разделяет эту установку и дух абсурда. Дух этот нацелен на перебирание того, что он не в силах трансцендировать. Он утверждает только, что при отсутствии принципа единства мысль может тем не менее обрести радость в том, чтобы описывать и понимать каждое проявление опыта. Истина, о которой в таком случае заходит речь применительно к каждому из этих проявлений, — истина психологическая. Она свидетельствует о том «интересе», какой может вызывать действительность. Это способ разбудить дремлющий мир и таким ожившим явить его духу. Но если хотят распространить и рационально обосновать само понятие истины, если таким путем претендуют открыть «сущность» каждого предмета познания, то восстанавливают глубину опыта. Духу абсурда это непонятно. В результате именно колебание между скромностью и самоуверенностью ощутимо в интенциональной установке, и это мерцание феноменологической мысли может послужить лучшей иллюстрацией к рассуждению об абсурде.

Ибо Гуссерль тоже говорит о выявляемых интенцией «вневременных сущностях», и тогда кажется, что слышишь Платона. Вещи объясняются не какой-то одной сущностью, а многими. Я не вижу тут разницы. Конечно, никто не хочет, чтобы эти идеи или сущности, которым сознание помогает «состояться» к концу каждого описания, были идеальными моделями. Однако утверждается, что они прямо присутствуют в каждом слагаемом восприятия. Нет больше одной-единственной идеи, объясняющей все на свете, есть бесконечное число сущностей, придающих смысл бесконечному числу предметов. Хотя мир и освещается, он застывает в неподвижности. Платоновский

¹ Даже самые строгие эпистемологические учения предполагают всякий раз свою метафизику. И при этом настолько, что метафизика многих мыслителей нашего времени состоит в том, чтобы не иметь ничего, кроме эпистемологии.

реализм становится интуитивистским, но это по-прежнему реализм. Киркегор растворялся в Боге, Парменид низвергался мыслью в пучину Единого. Здесь же мысль ударяется в абстрактный политеизм. Больше того, галлюцинации и вымыслы тоже принадлежат к «вневременным сущностям». В этом новом мире идея категория кентавра сотрудничает с более скромной категорией столичного города.

Для человека абсурда была своя правота, как одновременно и своя горечь, в чисто психологическом мнении о том, что все лики мира привилегированны. Сказать: все привилегированно — то же самое, что сказать: все равнозначно. Однако метафизический аспект этой истины заводит так далеко, что в силу простейшей реакции чувствуешь себя, пожалуй, ближе к Платону. И действительно, преподносимый тут урок сводится к тому, что каждый образ предполагает равно привилегированную сущность. В этом идеальном мире без иерархии армия состоит из одних генералов. Конечно, трансценденция здесь упразднена. Однако резкий поворот мысли снова вносит в мир своего рода раздробленную имманентность, которая возвращает вселенной ее глубину.

Не должен ли я опасаться, что зашел слишком далеко в истолковании темы, с которой ее создатели обращаются гораздо осторожнее? Но я просто читаю следующие утверждения Гуссерля, и, хотя внешне они парадоксальны, однако, учтя сказанное выше, нельзя не почувствовать их строгую логику: «То, что истинно, истинно абсолютно, в себе; истина едина; она тождественна самой себе, кто бы ее ни воспринимал — люди, чудовища, ангелы или боги». Разум торжествует и звонко трубит здесь о своей победе — не могу этого отрицать. Но что может означать самоутверждение Разума в абсурдном мире? Восприятие, присутствующее ангелам или Богу, не имеет для меня ни малейшего смысла. Геометрическое пространство, где Божественный разум одобрял бы суждения моего разума, для меня непостижимо во веки веков. Здесь я опять распознаю прыжок, и хотя он совершается где-то среди абстракций, тем не менее он отнюдь не означает для меня забвения того, что я как раз не хочу забывать. Когда Гуссерль дальше восклицает: «Если бы все тела, подвластные закону притяжения, вдруг исчезли, закон притяжения не был бы упразд-

нен, а просто остался без возможного приложения», — я знаю, что передо мной метафизика утешения. И если я хочу обнаружить тот поворот, где мысль покидает дорогу очевидностей, мне достаточно перечитать другое подобное рассуждение Гуссерля по поводу духовной деятельности: «Если бы мы могли отчетливо наблюдать точные законы психических процессов, они бы предстали нам в равной степени вечными и неизменными, подобно фундаментальным законам теоретического естествознания. И следовательно, они остались бы в силе даже при полном отсутствии психических процессов». Даже если бы духовной деятельности не было, ее законы существовали бы! В таком случае я понимаю, что Гуссерль претендует превратить психологическую истину в рациональное правило: отвергнув объединяющую власть человеческого разума, он таким окольным путем перепрыгивает к вечному Разуму.

Гуссерлианская тема «конкретного мира» не может меня тогда удивить. Сказать мне, что не все сущности формальны, а есть среди них и материальные, что первые являются предметом логики, а вторые — предметом науки, — все это исключительно вопрос определения. Абстрактное, уверяют меня, указывает лишь на бесплотную часть конкретно универсального. Но уже отмеченное выше колебание позволяет мне прояснить путаницу этих понятий. Ведь сказанное может означать, что конкретный предмет моего внимания — вот это небо, вот эти брызги воды на поле моего пальто — сохраняют сами по себе достоинство быть той действительностью, которую мой интерес выделяет в мире. И я не стану этого отрицать. Но сказанное может также означать, что само это пальто универсально, имеет свою особую и самодостаточную сущность, принадлежит к миру форм. Тогда я понимаю, что изменен только порядок следования. Здешний мир больше не отражается в мире высшем, а небо форм запечатлелось в бесконечном множестве земных образов. Для меня тут ничего не меняется. Во всем этом я нахожу не вкус к конкретному, не ощущение удела человеческого, а довольно разнузданный интеллектуализм, превращающий само конкретное во всеобщее.

Напрасно было бы удивляться тому видимому парадоксу, что мысль приходит к самоотрицанию двумя про-

тивоположными путями — как через смиренный разум, так и через разум торжествующий. От абстрактного Бога Гуссерля до ослепительно сияющего Бога Киркегора не так уж далеко. И разум, и иррациональное ведут к одной и той же проповеди. Потому что дорога, по сути дела, не так уж важна, достаточно воли к чему-то прийти. Отвлеченный философ и философ религиозный начинают с одинакового смятения и пребывают в одинаковой тоске. Но самое главное для них обоих — объяснить. Ностальгия тут сильнее, чем наука. Знаменательно, что мысль нашей эпохи так проникнута философией отсутствия смысла в мире и вместе с тем так разорвана в своих умозаключениях. Она беспрестанно колеблется между крайней рационализацией действительности, побуждающей дробить эту действительность на рассудочные модели, и столь же крайней иррационализацией действительности, заставляющей обожествлять эту последнюю. Расхождение между этими двумя установками лишь кажущееся. В обоих случаях речь идет о примирении с бытием, а для этого достаточно прыжка. Всегда ошибочно думают, будто понятие разума однозначно. На самом деле, сколь бы строгим оно ни старалось выглядеть, оно ничуть не менее подвижно, чем любое другое. Вид у разума вполне человеческий, однако разум умеет повернуться лицом и к божественному. Со времен Плотина, который первым сумел примирить разум с климатом вечности, разум научился отворачиваться от самого дорогого ему принципа — принципа противоречия, чтобы вобрать в себя принцип самый странный, магический — принцип причастности¹. Разум — это инструмент мысли, а не сама мысль. В первую очередь мысль человека есть его ностальгия.

Точно так же, как разум сумел утолить меланхолию Плотина, он предоставляет и современному тоскливому страху средства успокоения среди знакомых декораций вечности. Духу абсурда повезло меньше. Мир для него не

¹ А. В те времена разум должен был либо приспособиться, либо умереть. Он приспособлялся. У Плотина он из логического превращается в эстетический. Метафора замещает силлогизм.

Б. Впрочем, это не единственный вклад Плотина в феноменологию. Весь этот подход был уже заключен в столь дорогом александрийскому мыслителю соображении, что существует не только идея человека, но и идея Сократа.

столь же рационален и не в такой же степени иррационален. Он не разумен, только и всего. Разум у Гуссерля, в конце концов, не ведает никаких ограничений. Напротив, абсурд устанавливает для него пределы, ибо разум не в силах унять тревогу. С другой стороны, Киркегор утверждает, что одного-единственного предела достаточно для того, чтобы отрицать разум. Но абсурд не заходит так далеко. Для него этот предел имеет в виду только притязания разума. Тема иррационального, как она понимается экзистенциалистами, — это разум, который приходит в замешательство и упраздняет себя в самоотрицании. Абсурд же — это ясный разум, осознающий свои пределы.

В самом конце своего трудного пути человек абсурда осознает свои истинные побуждения. Сравнивая свой глубокий запрос с тем, что ему предлагается, он внезапно чувствует, что вскоре от всего этого отвернется. В мире Гуссерля сущее прояснено, и владевшая человеческим сердцем жажда близкого знакомства с вещами становится бесполезной. В апокалиптической вселенной Киркегора это желание ясности должно от себя отречься ради собственного удовлетворения. Грех не столько в знании (в этом отношении невинны все), сколько в желании знать. Как раз это единственный грех, в котором человек абсурда может чувствовать себя и виноватым, и невиновным. Ему предлагается решение, при котором все былые противоречия не более чем полемические игры. Но он-то их ощутил совсем не такими. Их истина, состоящая в том, что им нет удовлетворения, должна быть сохранена. Он не желает впасть в проповедничество.

Мое рассуждение хочет остаться верным той очевидности, которой оно было разбужено. Эта очевидность — абсурд. То есть разрыв между взыскующим духом и разочаровывающим миром, между тоской по единству и распыленной вселенной и связывающее все это вместе противоречие. Киркегор устраняет мою тоску, а Гуссерль собирает мир воедино. Я ждал совсем не этого. Задача была в том, чтобы жить и думать посреди этого мучительного разлада, выяснить, следует ли его принять или отвергнуть. Не могло быть и речи о том, чтобы скрыть очевидность, устранить абсурд, убрав одно из слагаемых этого уравнения. Надо знать, можно ли в абсурде жить или логика предписывает умереть. Ведь меня занимает не фило-

софское самоубийство, а просто самоубийство. Я хочу только очистить его от содержащихся в нем эмоций и понять, в чем тут логика и в чем честность. Любая другая позиция подразумевает для абсурдного ума сокрытие правды и отступление от того, на что он сам пролил свет. Гуссерль говорит о необходимости повиноваться желанию избегать «укоренившейся привычки жить и мыслить в некоторых хорошо знакомых и удобных условиях существования», однако заключительный прыжок восстанавливает у него вечность с ее удобствами. Сам прыжок не является крайней опасностью, как на том настаивал Киркегор. Напротив, гибелью грозит трудноуловимый миг перед самым прыжком. Суметь удержаться на этой головокружительной горной гряде — вот в чем честность, все прочее — увертки. Еще я знаю, что немощь никогда не вдохновляла на столь волнующие созвучия, как у Киркегора. Но если немощи принадлежит свое место в безучастных просторах истории, то ей не найти места в рассуждении, запрос которого теперь известен.

Абсурдная свобода

Теперь главное сделано. У меня есть несколько очевидностей, с которыми я не могу расстаться. То, что я знаю, в чем твердо убежден, чего не могу ни отрицать, ни отбросить, — вот что важно. Я могу отвергнуть всю живущую смутной ностальгией часть меня самого, кроме моего желания единства, моей жажды найти решение, моего запроса в ясности и упорядоченности. Я могу все отрицать в окружающем меня мире, который меня ущемляет или приводит в восторг, кроме его хаоса, царящего в нем случая и того божественного всеуравнивания, что порождается анархией. Я не знаю, есть ли у этого мира превосходящий его смысл. Но я знаю, что мне этот смысл неведом и что сейчас у меня нет возможности его постичь. Что значит для меня это значение, находящееся за пределами того, что мне доступно? Я могу понимать не иначе, как с помощью человеческих понятий. То, к чему я прикасаюсь, что мне сопротивляется, — вот это я понимаю. И еще я знаю, что не могу примирить две моих уверенности — мою жажду абсолюта и единства, с одной стороны, и несводимость мира к рациональному и разумному прин-

ципу, с другой. Какую еще истину могу я признать, не вмешивая в дело надежду, которой у меня нет и которая ничего не означает в рамках моей участи?

Будь я деревом среди деревьев, кошкой среди животных, эта жизнь имела бы смысл или, точнее, сама эта проблема не имела бы смысла, ведь я составлял бы частицу мира. Я был бы этим миром, которому я сейчас противостою всем моим сознанием и всей моей потребностью сблизиться с сущим. Как бы смехотворно мал ни был мой разум, именно он противопоставляет меня вселенной. Я не могу ее отменить одним росчерком пера. Следовательно, я должен беречь то, что считаю истинным. Даже вопреки себе я должен поддерживать то, что нахожу столь очевидным. И что, как не мое сознание, лежит в основе этого конфликта, этой трещины между миром и моим духом? А значит, если я хочу сохранить этот конфликт, то не иначе, как благодаря постоянному осознанию, всякий раз возобновляемому, всегда пребывающему в напряженности. Вот что мне в настоящий момент надо держать в уме. В этот момент абсурд, одновременно столь очевидный и с таким трудом поддающийся попыткам им овладеть, возвращается в жизнь человека и обретает там свою родину. И еще в этот момент ум имеет возможность покинуть выжженную бесплодную дорогу своих трезво осмысленных стараний. Теперь эта дорога приводит к повседневной жизни. Она позволяет вернуться к существованию в безымянном людском множестве, только отныне человек оказывается там вместе со своим бунтом и ясным видением вещей. Он разучился надеяться. Ад настоящего — это и есть в конце концов его царство. Все проблемы снова обретают свою остроту. Отвлеченная очевидность отступает перед лиризмом форм и красок. Духовные конфликты воплощаются заново и находят себе жалкое и великодушное прибежище в сердце человеческом. Ни один из них не получил разрешения. Но все они преобразились. Предстоит ли умереть, выскользнуть благодаря прыжку, заново построить дом идей и форм по собственной мерке? Предстоит ли, наоборот, держать мучительное и дивное пари с абсурдом? Сделаем в этой связи последнее усилие и извлечем все выводы до конца. Тело, нежность, творчество, действие, человеческое благородство опять займут свое место в этом лишенном смысла мире. Чел-

веку станут, наконец, доступны вино абсурда и хлеб безучастности, которыми он вскармливает свое величие.

Настойчиво подтвердим еще раз метод: он в том, чтобы упорно стоять на своем. В определенной точке своего пути человек абсурда подвергается искусству. История не страдает от нехватки религий и пророков, даже и тех, кто без Бога. Человеку абсурда предлагают совершить прыжок. Единственно возможный для него ответ сводится к тому, что он как следует не понимает, что необходимость прыжка для него вовсе не очевидна. Он же как раз хочет делать лишь то, что хорошо понимает. Его заверяют, что это грех гордыни, — но понятие греха для него непостижимо; что в конце пути его может ждать ад, — но ему не хватает воображения, чтобы представить себе столь странное будущее; что он утрачивает право на вечную жизнь, — но это кажется ему сущим пустяком. Его хотели бы заставить признать свою вину. Он же чувствует себя невиновным. Сказать по правде, он не чувствует ничего, кроме своей неистребимой невиновности. Она-то ему все и позволяет. В результате он заставляет самого себя жить *исключительно* тем, что ему известно, обходиться тем, что есть, и не допускать вмешательства того, в чем нет уверенности. Ему отвечают, что ее ничто не внушает. Но по крайней мере существует эта достоверность. С ней он и имеет дело: он хочет знать, возможно ли жить без зова свыше.

Теперь я могу заняться впрямую понятием самоубийства. Выше уже было дано почувствовать, как мог бы решаться этот вопрос. Но сейчас сама проблема перевернута. Прежде речь шла о том, чтобы выяснить, должна ли жизнь иметь смысл, чтобы быть прожитой. Сейчас же, наоборот, обнаруживается, что она будет прожита тем лучше, чем полнее в ней будет отсутствовать смысл. Пережить и испытать то, что тебе положено судьбой, значит всецело ее принять. Но, зная, что судьба абсурдна, ее испытаний не пережить, если не сделать все возможное, чтобы поддерживать этот выявленный сознанием абсурд. Опустить одну из сторон противостояния, которым живешь, означает от него бежать. Упразднить осознанный абсурд означает уклониться от проблемы. Тема перманентной революции переносится, таким образом, в индивидуальный опыт. Жить означает поддерживать жизнь аб-

сурда. Поддерживать жизнь абсурда означает прежде всего смотреть на него в упор. В противовес Эвридике абсурд умирает только тогда, когда от него отворачиваются. Одной из самых последовательных философских установок является поэтому бунт. Он представляет собой постоянное столкновение человека с собственным неведением. Он есть требование невозможной прозрачности сущего. В каждый очередной миг он ставит мир под вопрос. Подобно тому, как опасность служит человеку незаменимым поводом уловить существо бунта, так и метафизический бунт распространяет осознание на весь опыт. Бунтом человек удостоверяет самому себе свое постоянное присутствие. Он отнюдь не упование, в нем нет надежды. Бунт есть убежденность в давящем гнете судьбы за вычетом смирения, которое должно было бы этой убежденности сопутствовать.

Здесь-то и становится видно, как далеко опыт абсурда отстоит от самоубийства. Можно подумать, что самоубийство следует за бунтом. Но это ошибка. Потому что самоубийство вовсе не является логическим следствием бунта. Оно как раз противоположно бунту, поскольку предполагает согласие. Самоубийство, как и прыжок, — это полнейшее приятие сущего. Все исчерпано до конца, человек возвращается к сути своей судьбы. Он прозревает свое будущее, свое единственное и трагическое будущее, — и устремляется ему навстречу. На свой лад самоубийство служит абсурду разрешением. Оно увлекает абсурд к той же смерти. Но я знаю, что абсурд, дабы сохранить себя, не может себе позволить разрешения. Он избегает самоубийства в той мере, в какой он одновременно и осознание смерти, и ее неприятие. Он выглядит тем самым шнурком от ботинка, который приговоренный к смерти вопреки всему вдруг замечает в нескольких метрах от себя на исходе своей самой последней мысли, перед своим головокружительным падением. Прямая противоположность самоубийцы — это как раз приговоренный к смерти.

Такой бунт придает жизни ценность. Когда он распространяется на чью-то жизнь целиком, он возвращает ей величие. Для человека без шор нет зрелища прекраснее, чем разум в схватке с превосходящей его действительностью. Зрелище человеческой гордости ни с чем не сравнимо. Тщетны попытки ее умалить. Дисциплина, ко-

тору дух предписывает себе, всецело им самим выкованная воля, поединок лицом к лицу — во всем этом есть мощь и самобытность. Обеднить действительность, которая своим бесчеловечием питает величие человека, — значит обеднить самого человека. И я понимаю, почему учения, берушиеся объяснить мне все на свете, тем самым меня ослабляют. Они облегчают груз моей жизни, тогда как необходимо, чтобы я сам его нес. Но в таком случае я никак не могу допустить, чтобы скептическая метафизика соединилась с моралью отречения.

Сознание и бунт — оба эти вида неприятия действительности противоположны отречению. Наоборот, их одухотворяет собой все то, что в сердце человеческом проникнуто непокорством и страстью. Суть дела в том, чтобы умереть непримиренным, а не по собственной воле. Самоубийство — это самоуничужение. Человек абсурда может лишь все исчерпать и исчерпать самого себя. Абсурд — это предельное напряжение, которое он постоянно поддерживает своим одиноким усилием, потому что знает: своим сознанием и бунтом изо дня в день он свидетельствует о своей единственной правде, которой является вызов. И это первое следствие.

Если я продолжаю придерживаться согласованной ранее установки на то, чтобы извлекать все следствия (и ничего, кроме них), вытекающие из открытого мною понятия, то я оказываюсь перед вторым парадоксом. Коль скоро я верен этому методу, мне нечего делать с проблемой метафизической свободы. Меня не интересует, свободен человек или нет. Мне доступен лишь опыт моей собственной свободы. О ней я не могу иметь общих понятий, а только некоторые отчетливые соображения. Проблема «свободы в себе» лишена смысла. Ибо она на свой особый лад связана с проблемой Бога. Чтобы выяснить, свободен ли человек, необходимо выяснить предварительно, может ли над ним быть хозяин. Особая абсурдность этой проблемы имеет своей причиной то обстоятельство, что само понятие, делающее возможной проблему свободы, вместе с тем лишает ее всякого смысла. Ибо перед лицом Бога существует не столько проблема свободы, сколько проблема зла. Известна альтернатива: либо мы не свободны и всемогущий Бог несет ответственность за зло, либо мы свободны и несем ответственность сами, а Бог не все-

могуш. И все ухищрения философских школ ничуть не прибавили и не убавили разительности этому парадоксу.

Вот почему я не могу позволить себе погрузиться в восхваление или просто определение понятия, которое ускользает от меня и утрачивает свой смысл, едва оно выходит за рамки лично моего опыта. Я не могу взять в толк, что такое свобода, дарованная мне высшим существом. Я потерял представление об иерархии. О свободе я могу иметь лишь то понятие, какое существует у заключенного в тюрьме или у подданного современного государства. Единственная ведомая мне свобода — это свобода мысли и действия. Абсурд сводит к нулю все мои шансы на вечную свободу, зато возвращает мне свободу поступков и на нее воодушевляет. Лишение надежды и будущего означает рост готовности человека к действию.

До встречи с абсурдом обычный человек живет, имея свои цели, свои заботы о будущем или об оправданности своего существования (сейчас вопрос не в том, по отношению к чему или к кому). Он взвешивает свои шансы, рассчитывает на будущее, на свой уход на пенсию или на работу своих сыновей. Он еще верит, что кое-что в его жизни управляемо. По сути, он поступает так, как если бы был свободен, даже тогда, когда все факты словно взялись противоречить этой свободе. После встречи с абсурдом все оказывается потрясено. Мысль, что «я есмь», мой способ действовать так, будто все имеет смысл (пусть бы я при случае и говорил, что его нет ни в чем), — все это головокружительно опровергается абсурдностью возможной смерти. Думать о завтрашнем дне, намечать себе цель, иметь предпочтения — все это подразумевает веру в свободу, даже если иной раз и утверждают, что свободными себя не чувствуют. Но в момент открытия абсурда я твердо знаю, что высшей свободы, свободы *быть*, единственно могущей послужить основанием для истины, не существует. Смерть присутствует где-то рядом как единственная действительность. После нее все будет кончено. К тому же я не волен продолжать жить, а являюсь рабом, рабом без надежды на вечную революцию, даже без возможности прибегнуть к презрению. А кто может без революции и без презрения оставаться рабом? Какая свобода в полном смысле этого слова может существовать без уверенности в вечной жизни?

Но в то же время человек абсурда понимает, что до сих пор он был связан с постулатом о свободе, иллюзией которой он жил. В известном смысле это его сковывало. В той мере, в какой он выдвигал перед своей жизнью цель, он сообразовывал свои поступки с требованиями преследуемой им цели и становился рабом своей свободы. Так, я смогу в дальнейшем поступать не иначе, как отец семейства (или инженер, или народный вождь, или сверхштатный почтовый служащий), которым я готовлюсь стать. Я верю, что могу выбрать, быть ли мне вот этим, а не тем. Правда, я верю в это бессознательно. Но одновременно я придерживаюсь моего постулата и относительно верований тех, кто меня окружает (иные из них так уверены в своей свободе, и простодушие их так заразительно!), относительно предрассудков моей среды. Как бы далеко от моральных и социальных предрассудков им ни удавалось держаться, частично их влияние испытывают, а с лучшими из них (предрассудки бывают и хорошими, и дурными) даже сообразуют свою жизнь. Так человек абсурда понимает, что в действительности он не был свободен. Сказать яснее, я втискиваю мою жизнь между изготовленными мною загородками в той мере, в какой я питаю надежду, или беспокоюсь о моей личной правде, о том или ином способе жить и творить, в той, наконец, мере, в какой я стараюсь упорядочить мою жизнь и тем самым допускаю, что у нее есть смысл. Я поступаю подобно стольким внушающим мне отвращение чиновникам сердца и ума, которые заняты, теперь я это отлично вижу, исключительно тем, что принимают свободу человека всерьез.

Абсурд просвещает меня на этот счет: завтрашнего дня нет. Вот в чем отныне причина моей внутренней свободы. Приведу здесь два сопоставления. Прежде всего сошлюсь на мистиков, которые находят свободу в отречении от себя. Растворившись в Боге, сделав своими его правила, они в свою очередь становятся тайно свободными. В произвольно принятом рабстве они обретают глубокую независимость. Но что означает эта свобода? Можно особо подчеркнуть, что они *чувствуют* себя свободными относительно самих себя и скорее освобожденными, чем свободными. Точно так же человек абсурда, всецело повернувшись лицом к смерти (понимаемой в данном слу-

чае как очевиднейший из абсурдов), чувствует себя избавленным от всего, что не есть это кристаллизующееся в нем страстное внимание. Он наслаждается свободой от общепринятых правил. Здесь видно, что исходные темы экзистенциалистской философии сохраняют всю свою ценность. Возврат к отчетливому сознанию, бегство от повседневного сна являются первоначальными посылками абсурдной свободы. Зато на прицел берутся экзистенциалистская проповедь и вместе с ней духовный прыжок, в основе своей бессознательный. Подобным же образом (и это мое второе сопоставление) рабы в древности не принадлежали самим себе. Но им был знаком тот вид свободы, который состоит в отсутствии чувства ответственности¹. У смерти тоже руки патрициев — они подавляют, но и избавляют.

Погрузиться в столь бездонную уверенность, почувствовать себя с этого момента в достаточной мере посторонним собственной жизни, чтобы укрупнить ее очертания и окинуть беглым взглядом, не страдающим близорукостью влюбленного, — тут проявляет себя принцип освобождения. Как и всякая свобода действий, эта новая независимость имеет свой временной предел. Чека на вечность у нее нет. Но она заменяет собой иллюзии свободы, которым в час смерти приходит конец. Божественная готовность ко всему, присущая осужденному на казнь, когда на рассвете перед ним открываются двери тюрьмы, его невероятное безразличие ко всему, кроме чистого пламени жизни, — смерть и абсурд предстают здесь, это отчетливо ощутимо, принципами единственно разумной свободы: той, которую дано испытать сердцу человеческому и которой оно может жить. Таково второе следствие. В результате взору человека абсурда открывается обьятая огнем и скованная льдом, прозрачная и ограниченная в своих пределах вселенная, где все невозможно, однако все дано и вне которой нет ничего, кроме гибели и небытия. И тогда он может решиться принять существование в такой вселенной и черпать в этом свои силы, свой отказ от надежды и упрямое свидетельство жизни без утешения.

¹ Речь идет о действительном сходстве, а не о хвалах покорности. Человек абсурда противоположен человеку покорному.

Но что означает жить в такой вселенной? Пока что ничего, кроме безразличия к будущему и страстной жажды исчерпать все, что дано. Вера в смысл жизни всегда предполагает иерархию ценностей, выбор, наши предпочтения одного другому. Вера в абсурд, как он был нами определен, учит обратному. Но на этом стоит остановиться особо.

Выяснить, возможно ли жить без зова свыше, — вот все, что меня занимает. Я вовсе не хочу выходить за границы этой площадки. Могу ли я приспособиться к жизни в том ее виде, в каком она мне дана? В свете этой особой заботы вера в абсурд равносильна замене качества опыта его количеством. Если я убежден, что эта жизнь есть не что иное, как абсурд, если я испытал, что все ее равновесие держится на постоянном противоборстве между моим осознанным бунтом и той темнотой, где он барахтается, если я согласился с тем, что моя свобода имеет смысл лишь относительно своей ограниченной участи, — в таком случае я должен сказать, что важно не прожить как можно лучше, а пережить как можно больше. Мне нет необходимости задаваться вопросом, вульгарно это или отвратительно, изящно или достойно сожалений. Ценностные суждения тут раз и навсегда вытеснены суждениями констатирующими. Я должен лишь извлекать следствия из того, что сумел увидеть, и ни в чем не полагаться на то, что гипотетично. Если же предположить, что так жить нечестно, то подлинная честность предписывала бы мне быть бесчестным.

Пережить как можно больше — при широком толковании этого жизненного правила оно ничего не означает. Нужно его уточнить. И прежде всего кажется, что в само понятие количества вникли недостаточно глубоко. Ведь посредством этого понятия возможно дать отчет о весьма значительной части человеческого опыта. Нравственность человека, его шкала ценностей получают свой смысл лишь благодаря количеству и разнообразию опыта, который ему довелось накопить. Условия современной жизни таковы, что большинство людей наделено одинаковым количеством опыта и, стало быть, опытом одинаковой глубины. Конечно, следует также принять в расчет произвольный вклад самого индивида, то, что ему «даровано». Но судить об этом я не могу, а мое правило здесь, напомню еще раз,

состоит в том, чтобы довольствоваться непосредственными очевидностями. И в таком случае я вижу, что свойства общепринятой морали зависят не столько от идеальной значимости питающих ее принципов, сколько от нормы поддающегося измерению опыта. Слегка заостряя, допустимо сказать, что у древних греков существовала мораль досуга так же, как у нас существует мораль восьмичасового рабочего дня. Но уже многие из людей весьма трагической судьбы заронили в нас предчувствие, что более обширный опыт меняет и саму таблицу ценностей. Они побуждают нас вообразить себе некоего авантюриста повседневности, который по количеству своего опыта побил бы все рекорды (я намеренно употребляю спортивный термин) и тем самым заполучил выигрыш в виде своей собственной морали¹. Будем, однако, держаться подальше от романтизма и только спросим себя, что может означать этот подход для человека, исполненного решимости не отступаться от заключенного им пари и строго соблюдать то, что он считает правилом игры.

Побить все рекорды — это прежде всего и единственно противостоять миру как можно чаще. Как этого достичь, не впадая в противоречия и не прибегая к игре слов? Ведь абсурд, с одной стороны, учит, что все виды опыта равнозначны, а с другой — побуждает иметь как можно больше опыта. Как в таком случае не поступить подобно стольким людям, о которых шла речь выше, не выбрать себе образ жизни так, чтобы она приносила как можно больше человеческого опыта, и тем самым не ввести снова ту самую иерархию ценностей, которую претендовали, наоборот, отбросить?

Но и тут абсурд и его противоречивое бытие в очередной раз преподают нам свои уроки. Ибо ошибочно думать, будто количество опыта зависит от обстоятельств нашей жизни, тогда как оно зависит исключительно от нас самих. Тут надо подойти к делу упрощенно. Двум людям, живущим одинаковое число лет, мир всегда пре-

¹ Иногда количество дает качество. Согласно последним заключениям научной теории, всякая материя образована энергетическими центрами. Больше или меньше их количество сказывается в ее более или менее отчетливой специфичности. Разница между миллиардом ионов и одним ионом не только количественная, но и качественная. Легко подобрать аналогии этому в человеческом опыте.

доставляет возможности получить одинаковый по своим размерам опыт. И кому, как не нам, следует отдавать себе в этом твердый отчет. Прочувствовать свою жизнь, свой бунт, свою свободу, и как можно сильнее, — значит пережить как можно больше. Там, где царит ясность, иерархия ценностей бесполезна. Еще упростим и скажем, что единственное препятствие, единственный «упущенный выигрыш» имеют своей причиной преждевременную смерть. Намеченный здесь в своих очертаниях мир живет лишь своей противоположностью тому постоянному исключению из правил, каким является смерть. В результате никакая глубина испытанного, никакие треволения, никакая страсть или жертва не могут уравнивать в глазах человека абсурда (даже если бы он того захотел) сорок лет осмысленной жизни и продлившуюся шестьдесят лет ясность ума¹. Что, по его мнению, действительно непоправимо, так это безумие и смерть. Сам человек не выбирает. Абсурд и то, что дополнительно привносится им в жизнь, *зависят, следовательно, не от воли человека, а от противостоящей ей смерти*². Как следует взвесив слова, скажем, что речь идет исключительно о везении. Надо уметь с этим смириться. Двадцать лет жизни и опыта никогда не будут возмещены.

Со странной для столь искушенного народа непоследовательностью древние греки уверяли, что люди, умирающие молодыми, любимы богами. И это верно только в том случае, если хотят убедить, что вступить в ничтожный до смешного мир богов означает утратить навсегда самую чистую радость, состоящую в том, чтобы чувствовать — и чувствовать себя находящимся на этой земле. Настоящий момент и непрерывное следование настоящих моментов перед постоянно бодрствующей душой — вот идеал человека абсурда. Впрочем, само слово «идеал» зву-

¹ То же размышление приложимо и к совсем другому понятию — к идее небытия. Оно ничего не добавляет к действительности и ничего от нее не убавляет. В психологическом переживании небытия наше собственное небытие обретает свой истинный смысл лишь в зависимости от соображений о том, что случится в ближайшие две тысячи лет. Одна из граней небытия образована как раз совокупностью будущих жизней, среди которых нет нашей жизни.

² Воля здесь лишь движущая сила: она тяготеет к тому, чтобы поддерживать ясное сознание. Она вносит в жизнь дисциплину, а это весьма ценно.

чит здесь ложно. Это даже не призвание человека абсурда, а лишь третье следствие, извлекаемое из рассуждения о нем. Отправляясь от проникнутого тоскливыми страхами осознания бесчеловечности мира, раздумье об абсурде завершает свой путь в самом средоточии полыхающего страстью человеческого бунта¹.

Таким образом, я извлекаю из абсурда три следствия — мой бунт, мою свободу и мою страсть. Посредством одной только работы ума я обращаю в правило жизни то, что было приглашением к смерти, — и отвергаю самоубийство. Разумеется, мне знаком смутный зов, которым пронизаны наши дни. По этому поводу могу сказать лишь одно: его не избежать. Когда Ницше пишет: «Представляется ясным, что самое главное в небесах и на земле состоит в долгом и однонаправленном *повиновении*: со временем это дает нечто, ради чего стоит жить на белом свете, например добродетель, искусство, музыку, танец, разум, дух, нечто, могущее преобразить жизнь, нечто изысканное, безумное или божественное», — он выявляет правило морали самой высокой пробы. Но он же указывает и дорогу человеку абсурда. Повиноваться пламени — это одновременно и крайне легко, и крайне трудно. Тем не менее хорошо, что человек иногда, чтобы вынести суждение о себе, поверяет себя трудностями. Он единственное существо на земле, способное это делать.

«Молитва, — говорит Ален, — это когда на мысль опускается ночь». «Дух должен, однако, встречаться с ночью», — отвечают мистики и экзистенциалисты. Да, конечно, но только не с той ночью, что возникает исключительно по воле самого человека в зажмуренных им глазах, — мрачной беспросветной ночью, которую порождает дух, чтобы в ней же и потеряться. Если он должен встретиться с ночью, то пусть это будет ночь сохраняющего

¹ Что важно, так это последовательность. Тут за отправную точку было взято согласие с мироустройством. Однако восточная мысль учит, что те же логические выкладки могут исходить из выбора в пользу *противостояния* миру. Это ничуть не менее правомерно и задает настоящему эссе как возможные перспективы, так и пределы. Но когда отрицание мира проводится столь же строго, то зачастую (как в некоторых ведических учениях) получают похожие результаты в том, что касается, например, равнозначности действий. В своей весьма значительной книге «Выбор» Жан Гренье обосновывает таким путем настоящую «философию безразличия».

ясность отчаяния, полярная ночь, бодрствование духа, могущее стать источником чистого белого сияния, которое обрисует очертания всех предметов в свете разума. На этой стадии всеобщая равноценность вызывает страстное понимание. В таком случае больше не ставится даже вопрос об оценке экзистенциалистского прыжка. Последний занимает принадлежащее ему место в многовековой фреске установок человеческого ума. Для зрителя, если он наделен ясным сознанием, такой прыжок в свою очередь абсурден. В той мере, в какой он думает, будто ему удалось разрешить парадокс, он этот парадокс всецело восстанавливает. В этом отношении он по-своему трогателен. В этом отношении все возвращается на свои места, и абсурдный мир возрождается во всем его великолепии и разнообразии.

Однако было бы дурно на этом и остановиться, трудно довольствоваться одним-единственным срезом рассмотрения, лишиться себя противоречия — самого, быть может, изощренного орудия духа. Все предшествующее определяет только способ мышления. Теперь речь пойдет о жизни.

ЧЕЛОВЕК АБСУРДА

Ставрогин если верует, то не верует,
что он верует. Если же не верует,
то не верует, что не верует.

«Бесы»

«Мое поприще, — сказал Гёте, — это время». Вот истине слова человека абсурда. В самом деле, кто он такой? Он тот, кто ничего не делает ради вечности, хотя и не отрицает ее. Не то чтобы тоска по вечному была ему чужда. Но он предпочитает ей мужество и здравомыслие. Первое учит его жить без зова свыше и довольствоваться тем, что у него есть, второе уведомляет о поставленных ему пределах. Убежденный в том, что его свобода ограничена во времени, что у его бунта нет будущего и его сознание бrenно, он проживает приключение своей жизни в отпущенные на нее сроки. Тут его поприще, тут поле его деятельности, изъятой им из-под чьего бы то ни было суда, кроме его собственного. Жизнь более долгая не может означать для него другой жизни. Это было бы нечестно. Я уж не говорю о той смехотворной вечности, кото-

рую именуют жизнью в памяти потомков. Госпожа Ролан вверяла себя этой памяти. За такую опрометчивость ей был преподан урок. Потомки охотно приводят ее слова, но забывают высказать о них свое суждение. Память потомков равнодушна к госпоже Ролан.

Не может быть и речи о том, чтобы рассуждать здесь о морали. Я видел, как люди, преисполненные моральных добродетелей, поступают дурно, и я ежедневно убеждаюсь, что порядочность не нуждается в правилах. Существует только одна мораль, которую человек абсурда мог бы принять, — та, что неотделима от Бога, что продиктована свыше. Но он как раз живет без Бога. Что же касается других видов морали (я подразумеваю также и имморализм), то человек абсурда не усматривает в них ничего, кроме различных способов самооправдания, а ему не в чем оправдываться. Я исхожу из посылки о его невинности.

Это грозная невинность. «Все позволено», — восклицает Иван Карамазов. Его слова в свою очередь отдают абсурдом. Правда, при условии, что их не воспринимают вульгарно. Не знаю, было ли толком замечено: речь идет не о возгласе освобождения и радости, а о горькой констатации? Уверенность в Боге, придающая жизни смысл, намного привлекательней безнаказанной возможности поступать дурно. Тут выбирать нетрудно. Но ведь выбора нет, отсюда и горечь. Абсурд не освобождает, он связывает. Он не дает разрешения на любые поступки. «Все позволено» не означает, будто ничто не запрещено. Абсурд только делает равноценными последствия поступков. Он не советует поступать преступно, это было бы ребячеством, однако он обрекает на бесполезность угрызения совести. И к тому же, если все виды опыта равноценны, исполнение своего долга столь же законно, как и все прочее. Можно быть добродетельным из прихоти.

Любая мораль основывается на мысли, что поступок имеет свои последствия, которые его оправдывают или перечеркивают. Дух, проникнутый абсурдом, ограничивается мнением, что об этих последствиях надлежит судить спокойно. Он готов за все расплачиваться. Другими словами, для него нет виновных, есть только несущие ответственность. Самое большее, на что он согласен, так это использовать прошлый опыт при обосновании будущих поступков. Время вызывает к жизни время, жизнь

служит жизни. На попроще одновременно ограниченном и избыточном возможностями, все, кроме собственной ясности, кажется ему непредвиденным. Какое правило может быть выведено из этого неразумного порядка? Единственная истина, могущая показаться поучительной, ни в каком случае не умозрительна: она зарождается и раскрывает себя в людях. Поэтому дух абсурда стремится к тому, чтобы его рассуждения увенчивались в конце не правилами нравственности, а иллюстрациями и чтобы от них веяло дыханием человеческих жизней. Несколько примеров, приводимых далее, принадлежат к таким иллюстрациям. Они продолжают рассуждение об абсурде, придавая отвлеченным выкладкам наглядность и жизненное тепло.

Нужно ли мне было останавливаться на том, что пример — не обязательно образец для подражания, тем паче в мире абсурда, и что приводимые мною иллюстрации вовсе не являются такими образцами? Превращают себя в посмешище, когда, невзирая на необходимость иметь соответствующее призвание и при всех оговорках, черпают у Руссо совет ходить на четвереньках, а из Ницше — призыв грубо обходиться с собственной матерью. «Надо быть абсурдным, не надо быть одураченным», — пишет один из современных авторов. Установки, о которых пойдет речь, могут обрести весь свой смысл лишь тогда, когда учитываются противоположные им установки. Сверхштатный служащий почтового ведомства равен завоевателю, если у них одинаковое сознание. В этом отношении все виды опыта равнозначны. Есть среди них такие, что служат человеку, есть и такие, что причиняют ему ущерб. Они ему служат, если у него ясное сознание. В противном случае все это неважно: за поражения человека суду подлежат не обстоятельства, а он сам.

Мой выбор приходится только на людей, которые преследуют цель исчерпать себя до конца или относительно которых я уверен, что они стараются себя исчерпать. Дальше этого дело не заходит. Пока что разговор коснется лишь такого мира, где мысли, как и жизни, лишены будущего. Все то, что побуждает человека работать и действовать, использует надежду. Поэтому единственная мысль, свободная от лжи, — это мысль бесплодная. В мире абсурда ценность любого понятия и любой жизни измеряется их бесплодием.

Если бы можно было довольствоваться любовью, все было бы слишком просто. Чем больше любят, тем прочнее утверждается абсурд. Дон Жуан переходит от женщины к женщине вовсе не из-за недостатка любви. Смешно представлять его себе искателем совершенной любви, вдохновленным чудесным озарением. Как раз потому, что он их любит всегда с одинаковой страстью и ото всей души, ему приходится вновь и вновь повторять это принесение себя в дар и погружаться в глубины чувств. Потому-то каждая из его возлюбленных надеется дать ему то, чего никогда и никто ему не доставлял. Каждый раз они глубоко заблуждаются и им удается лишь внушить ему потребность в таком повторении. «Наконец-то, — восклицает одна из них, — я принесла тебе любовь». Стоит ли удивляться, что у Дон Жуана это вызывает смех: «Наконец-то? — говорит он. — Нет, в очередной раз». И почему, собственно, надо влюбляться редко, чтобы любить сильно?

Печален ли Дон Жуан? На правду это не похоже. Достаточно хотя бы мельком обратиться к самой хронике. Его смех, его победная дерзость, озорные выходки и вкус к театральности — все это светло и радостно. Каждое здоровое существо тяготеет к тому, чтобы умножить самого себя. Таков Дон Жуан. Кроме того, печали предаются по двум причинам: по неведению или из надежды. Дон Жуан знает и не надеется. Он наводит на мысль о тех художниках, которым известны пределы доступного им, и они никогда их не переступают, а в тот не слишком надежный промежуток времени, когда их дух обретает устойчивость, привлекают чудесной непринужденностью мэтров. В этом-то и состоит талант: ум, знающий свои границы. Вплоть до самого порога своей физической смерти Дон Жуан не испытывает печали. С той минуты, когда к нему пришло знание, он громко смеется, и за это ему все прощается. Печальным он бывал тогда, когда питал надежду. Ныне же он снова ощущает на губах очередной женщины горьковатый живительный привкус единственно подлинной науки. Горьковатый? Чуть-чуть: то самое необходимое несовершенство, без которого счастья не прочувствуешь.

Весьма обманчивы попытки усмотреть в Дон Жуане человека, вскормленного мудростью Экклесиаста. Ибо для него ничто не суетно, кроме надежд и на загробную жизнь. И он это доказывает тем, что ставит ее на карту в игре против самих небес. Сожаления об утрате желания в ходе его утоления, эта расхожая банальность людей бессильных, ему совсем не присущи. Скорее уж они свойственны Фаусту, который в достаточной мере верил в Бога, чтобы продать свою душу дьяволу. Для Дон Жуана все гораздо проще. «Озорник» Тирсо де Молины, когда ему угрожают алом, неизменно отвечает: «Да будет мне дана отсрочка подольше». То, что случится после смерти, совершенно неважно, зато какая длинная вереница дней впереди у того, кто умеет быть в живых. Фауст настойчиво просил о благах мира сего — несчастный, ему было достаточно протянуть руку. Не уметь возвеселиться душой уже само по себе значит ее продать. Напротив, Дон Жуан наводит порядок и в самом пресыщении. И если он бросает женщину, так это совсем не потому, что больше не испытывает к ней желания. Красивая женщина всегда желанна. Просто он желает теперь другую, а это совсем не одно и то же.

Посюсторонняя жизнь удовлетворяет его полностью, нет ничего хуже, чем ее потерять. Этот безумец — великий мудрец. Но люди, живущие надеждой, плохо приноравливаются к этому миру, где доброта уступает место великодушию, нежность — мужественному безмолвию, общность — одинокой отваге. А все только и твердят: «Это был слабый человек, или идеалист, или святой». Надо же как-то проглотить оскорбляющее тебя величие другого.

Достаточно много возмущались (или пускали в ход особую заговорщическую усмешку, предназначенную унижить то самое, чем восторгаются) речами Дон Жуана и вечно одной и той же его фразой, которой он пользуется в разговоре со всеми женщинами. Но для того, кто гонится за количеством радостей, в счет идет только действительность. Какой смысл усложнять слова, доказавшие, что они и так служат надежным пропуском? Никто — ни мужчина, ни женщина — в них не вслушивается, а вслушивается скорее в произносящий их голос. Они одновременно и правило, и условность, и проявление вежливости. Их проговаривают, а после этого остается сделать самое главное. Дон Жуан к этому уже готовится. С какой стати будет он

выдвигать перед собой проблему морали? Ведь он навлекает на себя проклятие не из-за желания сделаться святым, как Маньяра у Милоша. Ад для него — это результат брошенного небесам вызова. Есть только один ответ на гнев Божий: он в утверждении человеческой чести. «Я человек чести, — говорит он Командору, — и выполню мое обещание, потому что я рыцарь». Но было бы большой ошибкой и делать из него имморалиста. В этом отношении он «похож на всех»: его мораль коренится в его симпатиях и антипатиях. Дон Жуана можно толком понять, лишь имея постоянно в виду то, что он символизирует в расхожем мнении: обыкновенный соблазнитель и поклонник женского пола. Да, он обыкновенный соблазнитель¹. С той только разницей, что он отчетливо это сознает, и как раз поэтому он человек абсурда. Но когда соблазнитель обретает ясность ума, он не так уж меняется. Соблазнять — в этом его всегдашнее состояние. Ведь это только в романах изменяют свое жизненное состояние и делаются лучше. Однако можно сказать и так: ничего не изменилось и в то же время все преобразилось. Дон Жуан претворяет в поступки этику количественную в противовес святому, тяготеющему к качеству. Человеку абсурда свойственно не верить в глубокий смысл вещей. Он окидывает беглым взглядом все эти излучающие тепло или восхищенные лица, складывает их про запас и без задержки спешит дальше. Время движется вместе с ним. Человек абсурда не отделяет себя от времени. Дон Жуан помышляет не о том, чтобы «коллекционировать» женщин. Он старается исчерпать их множество и тем самым исчерпывает свои собственные шансы на жизнь. Коллекционировать — это быть способным жить своим прошлым. Он же отвергает сожаления как другой вид все той же надежды. Он не умеет разглядывать портреты.

Такой ли уж он эгоист? На свой лад — пожалуй. Но и тут надо договориться, что понимать под этим словом. Есть люди, созданные для жизни, и люди, созданные для любви. Во всяком случае, Дон Жуан охотно бы так сказал. Но сделать свой выбор он может не иначе, как избегая вникать в частности. Потому что любовь, о которой здесь

¹ В полном смысле слова и со всеми подобающими недостатками. Здоровая жизненная позиция всегда имеет *также* и свои недостатки.

речь, разукрашена иллюзиями вечности. А все знатоки страсти учат нас, что любовь бывает вечной только тогда, когда ей чинят препятствия. Страсть без борьбы почти не встречается. Подобная любовь приходит к своему концу, лишь сталкиваясь с самым последним своим препятствием — со смертью. Надо быть Вертером — или ничем. Да и тогда существует множество способов покончить с собой, один из которых заключается в самозабвенном принесении себя в жертву. Дон Жуан, как и все, знает, что это может быть трогательно. Но он один из немногих, знающих, что не в этом самое существенное. И еще он твердо знает: те, кого великая любовь заставляет отвернуться от их собственной жизни, быть может, обогащают себя, однако наверняка обедняют тех, кто оказался избранником их любви. У матери, у страстной женщины сердце непременно иссушено, ибо оно отвернулось от мира. Одно-единственное чувство, одно-единственное живое существо, одно-единственное лицо, а все остальное истреблено. Дон Жуан потрясен совсем другой любовью — любовью-освободительницей. Она приносит с собой все лики мира, и ее трепет проистекает из того, что она знает о своей смертности. Дон Жуан выбрал быть ничем.

Для него все дело в том, чтобы видеть ясно. Нашу привязанность к некоторым людям мы называем любовью только потому, что тем самым отсылаем к определенному коллективному видению вещей, за которое ответственность несут книги и легенды. Сам же я знаю о любви лишь то, что она есть связывающая меня с таким-то существом смесь желания, нежности и взаимного понимания. С другими меня может связывать совсем другая по своему составу смесь. Я не вправе охватывать одним и тем же словом столь разные чувства. И это избавляет меня от необходимости вкладывать их в одинаковые поступки. Человек абсурда и тут умножает разнообразие всего того, что он не может подогнать под одну мерку. Так он открывает другой способ жить, освобождающий его самого по крайней мере в той же степени, в какой он освобождает тех, кто с ним сближается. Великодушна только та любовь, которая знает о себе, что она преходяща и неповторима. Все эти умирания и все эти возрождения собираются в пучок жизни Дон Жуана. Это его способ давать

и побуждать жить. Судите сами, можно ли в данном случае говорить об эгоизме.

Я думаю теперь о всех тех, кто хочет, чтобы Дон Жуан был непременно наказан. И не только в загробной жизни, а еще и в этой, земной. Я думаю о множестве сказаний, легенд и насмешек над постаревшим Дон Жуаном. Но Дон Жуан к этому уже готов. Для человека с ясным сознанием ни старость, ни то, что она предвещает, не являются неожиданностью. Он обладает таким сознанием как раз в той мере, в какой не скрывает от себя предстоящего ему ужаса. В Афинах был храм, посвященный старости. Туда водили детей. Что же касается Дон Жуана, то чем больше над ним смеются, тем четче вырисовывается его облик. И тем самым отвергается облик, приписанный ему романтиками. Над Дон Жуаном, измученным и жалким, никто не захочет смеяться. Его жалеют, вопрошая: уж не искупит ли его грехи само небо? Но все тут совсем по-другому. Во вселенной, которая открывается взору Дон Жуана, смешное *тоже* встречает понимание. Он счел бы естественными ниспосланные ему кары. Это правило игры. А его великодушие в том и состоит, чтобы принять все правила игры. Он-то знает, что он прав и что не должно быть и речи о карах. Судьба — это ведь не наказание.

Таково его преступление, и понятно, что приверженцы вечного призывают на его голову кары. Он овладел знанием, свободным от иллюзий, и оно отрицает все, что они исповедуют. Любить и обладать, завоевывать и исчерпывать — вот его способ познавать (среди значений этого излюбленного Писанием слова есть и такое, согласно которому «познать» — это совершить любовный акт). Он худший их враг постольку, поскольку он о них ведать не ведает. Один из летописцев рассказывает, что настоящий «Обольститель» был убит монахами-францисканцами, решившими «положить конец бесчинствам и нечестивым выходкам Дон Жуана, которому его происхождение обеспечивало безнаказанность». Потом они заявили, что он был сражен молнией небесной. Никто не доказал, что у него действительно был столь странный конец. Но никто не доказал и обратного. Однако, не задаваясь вопросом о правдоподобии такого конца, могу сказать, что он вполне логичен. Хочу только выделить слово «происхож-

дение» и обыграть сходство звучаний: само прохождение по жизни обеспечивало ему невинность. В одной лишь смерти почерпнул он чувство вины, вошедшей ныне в легенду.

Что, как не это, знаменует собой каменный Командор — холодная статуя, пришедшая в движение, чтобы покарать кровь и мужество, осмелившиеся мыслить? В нем сжато воплощены все силы вечного Разума, порядка, общезначимой морали, все отчужденное величие Бога, подверженного приступам гнева. Этот громадный бездушный камень символизирует могущество, власть которого Дон Жуан навсегда отринул. Но на этом миссия Командора кончается. Гром и молния могут вернуться на поддельное небо, откуда их призвали. Подлинная трагедия разыгрывается без них. Нет, Дон Жуан принял смерть не от каменной руки. Я охотно верю в его легендарную браваду, в безумный смех здорового человека, бросающего вызов Богу, которого не существует. Но особенно я верю, что в тот вечер, когда Дон Жуан ждал у доньи Анны, Командор так и не пришел и что после того, как пробило полночь, нечестивец испытал ужасную горечь тех, кто оказывается прав. Еще охотнее я принимаю рассказ, согласно которому он под конец жизни удалился в монастырь. Не то чтобы назидательный поворот этой истории был правдоподобен. Какого убежища идти просить у Бога? Но такой конец скорее всего мог бы вполне логично увенчать собой жизнь, насквозь проникнутую абсурдом, послужить суровой развязкой существования, обращенного к радостям жизни, у которых нет завтрашнего дня. Наслаждение завершается тут аскезой. Надо понять, что они могут быть как бы двумя ликами одной и той же обездоленности. Какого еще более жуткого образа можно пожелать: человека предательски не слушается его тело, и он, не сподобившись умереть вовремя, в ожидании конца доигрывает комедию перед лицом Бога, которого не чтит, однако служит ему так же, как до этого служил жизни; он преклонил колена перед пустотой и простер руки к немощующему небу, еще и лишенному, как он знает, глубины.

Я вижу Дон Жуана в келье одного из затерянных среди холмов испанских монастырей. И если он во что-нибудь всматривается через раскаленную прорезь в стене, то это не призраки канувших в прошлое возлюбленных,

а, быть может, замершая в молчании равнина Испании, великолепная и бездушная земля, в которой он распознает сходство с ним самим. Да, на этом печальном и лучезарном образе и следует остановиться. Самым же концом, ожидаемым, но никогда не желанным, самым последним концом можно пренебречь.

Театральное представление

«Зрелище — петля, — говорит Гамлет, — чтобы поймать сознание короля». Отлично сказано: поймать. Ведь сознание либо стремительно движется, либо замыкается в себе. Его приходится ловить на лету, в тот едва различимый миг, когда оно окидывает самого себя беглым взглядом. Обыкновенный человек не очень-то любит медлить. Напротив, его все торопит. Но, с другой стороны, ничто не занимает его больше, чем он сам, в особенности то, кем он мог бы быть. Отсюда его пристрастие к театру, к зрелищу, где ему предлагается столько судеб, поэзию которых он вбирает в себя, не страдая при этом от заключенной в них горечи. По крайней мере в таких случаях можно наблюдать бессознательно живущего человека и то, как он спешит навстречу невесте какой надежде. Человек абсурда начинается там, где кончается человек, питающий надежды, где дух, перестав восхищаться игрой со стороны, хочет сам в нее вступить. Проникнуть в чужие жизни, самому испытать все их разнообразие — это и есть, собственно, их сыграть. Я не утверждаю, что актеры обычно повинуются этому зову, что они люди абсурда, но я полагаю, что их судьба абсурдна и может соблазнить и привлечь к себе прозорливые души. Необходимо сказать об этом твердо, чтобы дальнейшее воспринималось без недоразумений.

Актер царит в мире преходящего. Известно, что из всех видов славы его слава самая эфемерная. Во всяком случае, это признают даже в разговорах. Однако и все другие виды славы эфемерны. Если взирать с Сириуса, произведения Гёте через десять тысяч лет будут лежать во прахе, а его имя забыто. Какие-нибудь археологи, возможно, будут искать «свидетельства» о нашем времени. Мысль эта всегда была поучительна. Если хорошенько ее обдумать, она обращает все наши тревожения в глубокое достоинство.

обретаемое в безразличии. И в особенности она направляет нашу озабоченность на самое надежное, то есть на данное нам непосредственно. Из всех видов славы наименее обманчива та, которая переживается сейчас.

Следовательно, актер выбрал многоликую славу, славу, которая сама себя признает и подвергает проверке. Он лучше других извлек следствия из того факта, что рано или поздно все должно погибнуть. Актер либо имеет успех, либо нет. Писатель сохраняет надежду, даже если он не добился признания. Он предполагает, что его сочинения послужат свидетельствами того, каким он был. Актер оставляет после себя в лучшем случае фотографию, и до нас не доходит ничего из того, что было им самим, его жестами и паузами молчания, дыханием затрудненным и дыханием во время любовных признаний. Пребывать в неизвестности означает для него не играть, а не играть — это стократно умереть вместе со всеми существами, которых бы он одухотворил или воскресил.

Стоит ли удивляться, обнаруживая, что преходящая слава имеет своей опорой самые эфемерные из человеческих творений? У актера есть три часа на то, чтобы быть Яго или Альцестом, Федрой или Глостером. В этот краткий отрезок времени, на площадке в пятьдесят квадратных метров он вызывает их к жизни и заставляет умереть. Никогда еще абсурд не демонстрировался так хорошо и так долго. Поразительные жизни, неповторимые и вполне законченные судьбы, которые развертываются и завершаются за несколько часов в замкнутом стенами пространстве — какого еще более показательного изображения в миниатюре можно желать? Сойдя с подмостков, Сехисмундо больше ничего собой не представляет. Два часа спустя его можно видеть ужинающим в городе. Тогда-то, пожалуй, жизнь и становится сном. Но после Сехисмундо приходит другой. Страдающий от неуверенности герой сменяет человека, вопящего после свершения мести. Так, переносясь из века в век и перевоплощаясь из одного действующего лица в другое, представляя человека таким, каким он должен быть, или таким, каков он есть, актер бывает близок другому персонажу абсурда — путешественнику. Как и путешественник, он исчерпывает очередную задачу и непрестанно пребывает в дороге. Он путешественник во времени и преимущественно путешественник

в погоне за душами. И если количественной морали удавалось где-нибудь находить себе пищу, то прежде всего на этой странной сцене. Трудно сказать, какую пользу для себя извлекает актер из своих персонажей. Но не это важно. Суть только в том, чтобы выяснить, в какой мере он отождествляет собственную жизнь с этими неповторимыми жизнями. Случается и в самом деле, что он носит их в себе, и тогда они легко выходят за рамки времени и места своего рождения. Они сопровождают актера, которому не так-то просто расстаться с самим собой, каким он был однажды. Бывает, что он, собираясь выпить рюмку, воспроизводит жест Гамлета, подносящего к губам чашу. Нет, совсем не велико расстояние, отделяющее его от существ, в которых он вдохнул жизнь. И тогда он на протяжении многих дней и месяцев щедро подтверждает ту весьма плодотворную истину, что нет жесткой границы между тем, чем человек хочет быть, и тем, что он есть. Неизменно озабоченный тем, чтобы как можно лучше изображать других, он наглядно свидетельствует, в какой мере казаться — это быть. Ведь его искусство в том-то и состоит, чтобы полностью притвориться, как можно глубже погрузиться в жизни, не являющиеся его собственной жизнью. К концу этих усилий проясняется его призвание: постараться ото всей души быть ничем или быть многоликим. Чем уже пределы, поставленные ему, чтобы воссоздать внутри них тот или иной характер, тем больше необходимость иметь для этого талант. Через три часа он умрет в том облике, который на сегодня стал его собственным. За три часа надо пережить и выразить исключительную судьбу. Это и называется потерять себя, чтобы себя обрести. В эти три часа он пройдет до конца безысходный путь, на который зрителю из партера нужна целая жизнь.

Подражатель преходящего, актер осуществляет и совершенствует себя в том, что относится к внешнему облику. Условность театра сводится к тому, что сердце в нем выражает и раскрывает себя не иначе, как через жест и тело, — или посредством голоса, который принадлежит душе в той же мере, что и телу. Закон этого искусства требует, чтобы все в нем было укрупнено и пропущено через плоть. Если бы на сцене любили так же, как в жизни, изъяснялись единственным в своем роде голосом сер-

дца, взирали на все так же, как рассматривают обычно, наш язык остался бы зашифрован. Само молчание тут должно быть слышным. Любовь же высказана громче, и даже неподвижность зрелищна. Во всем тут царствует тело. Не все то «театрально», что хочет таковым считаться, и само это слово, напрасно лишенное уважительного оттенка, включает в себе целую эстетику и целую мораль. Половина жизни человека приходится на время, когда он что-то подразумевает, от чего-то намеренно отворачивается, о чем-то умалчивает. Актер во все это своевольно вторгается. Он снимает заклятие со скованной души, и страсти наконец-то выплескиваются на подмостки. Они сквозят в каждом жесте, обретают жизнь не иначе, как в крике. Так актер создает своих персонажей, чтобы выставить их напоказ. Он их рисует или лепит. Он вливает себя в воображаемые формы и отдает этим призракам собственную кровь. Разумеется, я веду речь о великом театре — о том, где актеру предоставлена возможность физически воплотить свою судьбу. Возьмите Шекспира. В этом театре непосредственных порывов всем заправляют неистовые вожеления тела. Они все объясняют. Без них все рушится. Король Лир ни в коем случае не отправится на свидание с безумием, не сделав предварительно грубого жеста, изгоняющего Корделию и осуждающего Эдгара. И тогда вполне оправданно, что эта трагедия разворачивается под знаком безумия. Души служат добычей для демонов и вовлечены в их пляску. По крайней мере четверо безумцев: один в силу своего ремесла шута, второй по собственной воле, двое остальных из-за перенесенных мук, — четыре беспорядочно ведущих себя тела, четыре неопишуемых обличья одной и той же участи.

Самого по себе человеческого тела бывает недостаточно. Маска и котурны, грим, который сводит лицо к самым существенным чертам и их заостряет, преувеличивающие и упрощающие костюмы — в этом мире все приносится в жертву внешности и предназначено для глаз. Благодаря абсурдному чуду тело тоже поставляет знание. Я никогда не пойму по-настоящему Яго, пока его не сыграю. Мало слышать его, я улавливаю, каков он, только тогда, когда вижу. Следовательно, от персонажа абсурда актеру досталась монотонность — проступающий во всех его героях неповторимый, упрямо напоминающий о себе, одновре-

менно странный и знакомый силуэт. Крупное театральное произведение еще и благодаря этому достигает единства тона¹. И здесь актер сам себе противоречит: один и тот же и, однако, такой разный, множество душ в одном теле. Но этот индивид, желающий всего достичь и все пережить, это тщетное старание и безуспешное упорство и есть само абсурдное противоречие. Вещи, всегда противостоящие друг другу, в нем тем не менее соединены. Соединение происходит там, где дух и тело встречаются и тесно прижимаются друг к другу, где дух, устав от неудач, снова обращается к своему самому верному союзнику. «Благословен, чьи кровь и разум так отрадно слиты, — говорит Гамлет, — что он не дудка в пальцах у Фортуны, на нем играющей».

Разве церковь могла не осудить подобное занятие в лице актера? Она отвергала в этом искусстве еретическое умножение душ, разгул чувств, скандальное домогательство духа, который отказывается иметь лишь одну судьбу и предается всяческой распушенности. Она подвергала гонениям вкус к настоящему и торжество Протея, которые были отрицанием всего, чему она учила. Вечность не игра. Дух, настолько безумный, чтобы предпочесть вечности театр, теряет надежду на спасение. Между «везде» и «всегда» компромисс невозможен. Отсюда и происходит, что столь мало ценимое занятие смогло послужить почвой для безмерного духовного конфликта. «Важна, — говорит Ницше, — не вечная жизнь, но вечное упоение жизнью». Вся драма и впрямь в этом выборе.

Адриенна Лекуврер на смертном одре пожелала исповедоваться и причаститься, но отказалась отречься от своей профессии. Она утратила тем самым блага, приносимые исповедью. В самом деле, чем, собственно, был этот выбор, как не предпочтением, оказанным своей глубокой страсти перед Богом? И эта женщина в агонии, отказывающаяся со слезами на глазах отречься от того, что она называла своим искусством, свидетельствовала о таком величии, какого она никогда не достигала перед рампой.

¹ Тут я думаю об Альцесте у Мольера. Все там просто, очевидно, крупно, Альцест против Филинта, Селимена против Элианты. весь сюжет сводится к абсурдным последствиям характера, во всем идущего до конца, и даже самый стих, «плохой стих», с едва обозначенным размером, подобен монотонности характера.

То была ее лучшая роль — и самая трудная для исполнения. Выбрать между небом и смехотворной верностью, предпочесть себя вечности или самоотвержению в Боге — это вековая трагедия, в которой каждому надлежит отстаивать свое место.

Актеры в те времена знали о своем отлучении от церкви. Посвятить себя их профессии означало выбрать ад. И церковь усматривала в них своих худших врагов. Иные литераторы негодовали: «Как, отказать Мольеру в обряде соборования!» Но это было справедливо, в особенности по отношению к тому, кто умер на сцене и загримированным закончил жизнь, всецело посвященную рассеиванию единого. По поводу Мольера взывают еще к гениальности, которая будто бы все извиняет. Но она ничего не извиняет как раз потому, что отказывается просить об извинениях.

Актер тогда знал, какое наказание его ждет. Но разве могли иметь значение столь неопределенные угрозы сравнительно с последним возмездием, уготованным ему самой жизнью? Тем самым, которое он испытывал заранее и всецело принимал. Для актера как человека абсурда преждевременная смерть непоправима. Ничто не может возместить множество веков и лиц, которые он перебрал бы в противном случае. Но ведь все равно предстоит умереть. Несомненно, где бы ни находился актер, его увлекает за собой время и накладывает на него свой отпечаток.

Достаточно в таком случае немного воображения, чтобы почувствовать, что знаменует собой судьба актера. Своих персонажей он создает и располагает во времени. Во времени же он учится над ними властвовать. Чем больше различных жизней он прожил, тем легче он с ними расстается. Приходит время умереть на сцене или где-нибудь еще. Прожитое им находится перед ним. Он ясно все видит. Он чувствует, сколь мучительно и неповторимо приключение его жизни. Он это знает и теперь может принять смерть. Для престарелых актеров существуют дома призрения.

Завоевание

«Нет, — говорит завоеватель, — не думайте, будто из-за любви к действию я разучился мыслить. Напротив, я прекрасно могу определить, во что я верю. Потому что

моя вера крепка, а зрение надежно и ясно. Не слушайте тех, кто говорит: «Вот это я знаю слишком хорошо, чтобы суметь выразить». Если они этого не могут, так это оттого, что не знают или из лени не пошли дальше поверхности вещей.

У меня не так уж много мнений по разным поводам. К концу жизни человек замечает, что он потратил долгие годы на то, чтобы убедиться в одной-единственной истине. Но и одной истины, если она очевидна, достаточно, чтобы направлять наше существование. Что касается меня, то мне решительно есть что сказать о человеке. Говорить о нем следует жестко, а если понадобится, то и с подобающим презрением.

Человек является человеком в большей степени благодаря тому, о чем он умалчивает, чем тому, что он высказывает. О многом я промолчу. Но я твердо верю, что все выносившие свои суждения об индивиде опирались на гораздо меньший опыт, чем тот, что служит основой для моих суждений. Ум, трогательный ум уже угадывает, вероятно, то, что следует засвидетельствовать. Однако наша эпоха с ее развалинами и кровопролитиями поставляет нам достаточно примеров. У древних народов, как и народов сравнительно недавних, однако живших до наших механических времен, была возможность взвешивать для сравнения добродетели индивида и общества, выясняя, что чему должно служить. Это было возможно прежде всего по причине прочно укоренившегося в душах заблуждения, согласно которому живые существа появились на свет для того, чтобы находиться в услужении или иметь в услужении других. Это было возможно еще и потому, что ни общество, ни индивид пока не обнаружили до конца, на что они способны.

Мне случалось видеть, как простодушные умы восхищались шедеврами голландской живописи, созданными в разгар кровопролитных войн во Фландрии, или как они взволнованно воспринимали моления силезских мистиков времен ужасной Тридцатилетней войны. В их изумленных глазах вечные ценности парят над мирской суетой. Но с тех пор время ушло вперед. Сегодняшние живописцы лишены той безмятежности. Даже если у них в груди сердце, какое и должны иметь творцы, я хочу сказать — сердце бесстрастное, оно им ни к чему, ибо все, в том

числе и сами святые, ныне призваны под знамена. Вот, пожалуй, то, что я прочувствовал глубже всего. Вечное утрачено по крайней мере частично всем тем, что недоношенным появилось на свет в окопах, каждым расплюснутым под тяжестью железа мазком кисти, метафорой или молитвой. Осознавая, что я не могу отделить себя от моего времени, я решил слиться с ним воедино. Вот почему я дорожу индивидом, коль скоро он до смешного мал и унижен. Зная, что не существует сражений выигранных, я обзавелся вкусом к сражениям проигранным: они требуют от нас всей души, умеющей подняться вровень и с поражениями, и с преходящими победами. Для того, кто чувствует себя солидарным с судьбой этого мира, в столкновениях цивилизаций есть нечто устрашающее. Я сделал моим собственным этот страх, и одновременно я решил включиться в происходящее вокруг меня. Между историей и вечностью я выбрал историю, потому что люблю иметь дело с тем, что внушает уверенность. В существовании истории я по крайней мере уверен, да и как отрицать силу, которая тебя подавляет?

Рано или поздно приходит время, когда надо выбирать между созерцанием и действием. Это и называется стать мужчиной. Душевные терзания в таких случаях бывают ужасны. Но для гордого человека не существует среднего пути. Бог или время, этот вот крест или этот меч. Либо у мира есть смысл, превосходящий повседневные треволнения, либо нет ничего истинного, кроме этих треволнений. Надо или жить во времени и в нем умирать, или изъять себя из него ради жизни, над ним возвышающейся. Я знаю, что возможно вступить с ним в сделку, жить в своем веке и веровать в вечное. Это называется смириться с положением вещей. Но мне этот выход внушает отвращение, я хочу иметь все или не иметь ничего. Если я выбираю действие, не подумайте, будто созерцание мне вовсе неведомо. Но оно не может дать всего, и, будучи лишен вечного, я желаю вступить в союз со временем. Я не хочу обременять себя ни тоской по вечности, ни горечью — я только хочу смотреть на все ясно. Я уже сказал вам: завтра вас призовут под знамена. И для вас, и для меня это освобождение. Индивид не может ничего, и, однако, он может все. Имея в виду такую его чудесную готовность ко всему, вы поймете, почему я одновременно

и восхищаюсь им, и его подавляю. Но это сам мир наваливается на него своим гнетом, я же его освобождаю. Я предоставляю ему все права.

Завоеватели знают, что действие само по себе бесполезно. Существует лишь один вид полезного действия — действие, которое переделало бы человека и жизнь на земле. Я никогда не переделаю людей. Но надо поступать «как если бы...» Ибо дорога борьбы подводит меня ко встрече с плотью. Плоть, пусть униженная, — это единственное, в чем я уверен. Только благодаря ей я могу жить. Тварное бытие — такова моя родина. Вот почему я выбрал абсурдные безрезультатные усилия. Вот почему я принял сторону борющихся. Эпоха, как я уже сказал, к этому предрасполагает. До сих пор величие завоевателя зависело от географической стороны дела. Оно измерялось размерами покоренной территории. Недаром теперь само это слово изменило свой смысл и перестало обозначать победителя-военачальника. Величие перешло из одного стана в другой. Оно теперь в протесте и безысходной жертве. Только и на сей раз вовсе не из вкуса к поражению. Победа по-прежнему желательна. Но есть лишь один вид победы — победа навеки. Ее-то мне и не суждено добиться. Здесь я во что-то упираюсь и за что-то цепляюсь. Революция всегда, начиная с первого из современных завоевателей, Прометея, бывала направлена против богов. Она есть протест человека против своей судьбы — протест бедноты бывал тут лишь предлогом. Я могу уловить дух протеста лишь в его историческом самоосуществлении, и именно здесь я к протесту присоединяюсь. Не думайте, однако, что я нахожу в этом особое удовольствие: перед лицом противоречия сущностного я поддерживаю мое человеческое противоречие. Я располагаюсь с моей ясностью среди того, что ее отрицает. Я превозношу человека вопреки тому, что его подавляет, и тогда моя свобода, мой бунт и моя страсть соединяются в этой напряженности, прозорливости и бессчетном повторении себя.

Да, человек для себя есть самоцель. Единственная цель. И если он хочет кем-нибудь стать, то в посюсторонней жизни. Теперь я твердо это знаю. Завоеватели иногда говорят о том, чтобы победить и превзойти. Под этим они всегда подразумевают «превзойти себя». Вы прекрасно знаете, что это значит. Каждый человек в какие-то мо-

менты своей жизни чувствует себя богоравным. Во всяком случае, именно так принято говорить. Но это происходит оттого, что однажды в каком-то озарении он ощутил поразительное величие человеческого духа. К завоевателям относятся только те из людей, кто чувствует достаточно сил, чтобы быть уверенным в своей способности жить постоянно на этих высотах и полностью осознавать свое величие. Вопрос этот сугубо арифметический — в большей или меньшей степени. Завоеватели могут особенно много. Однако не больше того, что может человек, когда он того хочет. Потому-то они не перестают быть людьми и тогда, когда попадают в раскаленное пекло революций.

Там они встречаются изуродованную человеческую породу, но там же находят и единственные ценности, которые ими любимы и вызывают их восхищение, — человека и его безмолвие. В этом одновременно и их нищета, и их богатство. Для них существует только одна роскошь — роскошь человеческих взаимоотношений. Разве можно не понять, что в этом уязвимом мире все, что человечно и только человечно, обретает еще более жгучий смысл? Напряженно застывшие лица, братство под угрозой, такая крепкая и такая целомудренная мужская дружба — вот они, подлинные богатства, подверженные гибели. Среди них дух лучше всего чувствует и свои возможности, и свои пределы. То есть свою действительность. Кое-кто заговорил бы о гении. Однако «гений» — это сказано слишком поспешно, я предпочитаю говорить «ум». Надо признать, что он бывает великолепен. Он освещает пустыню окрест себя и над ней господствует. Он знает о своей несвободе и ее не скрывает. Он умрет вместе с телом. Но знание об этом и есть свобода.

Для нас не секрет, что все церкви против нас. Сердце, пребывающее в таком настрое, избегает вечного, а все церкви, вероисповедные или политические, претендуют на обладание вечным. Счастье и мужество, воздаяние и справедливость — все это для них второстепенные цели. Они выдвигают свои учения, и этих учений надлежит придерживаться. Мне же нечего делать ни с идеями, ни с вечностью. До истин, соразмерных со мною, можно дотронуться рукой. Вот почему я не могу закладывать основы чего бы то ни было: от завоевателя не остается ничего, даже его учений.

В конце же, несмотря ни на что, нас ждет смерть. Мы это знаем. И мы знаем также, что с ней все кончается. Вот почему так отвратительны кладбища, разбросанные по всей Европе и ставшие для некоторых из нас неотвязным наваждением ума. Украшают только то, что любят, а смерть нас отталкивает и утомляет. Ее тоже приходится завоевывать. Последний из рода Каррара, пленник в Падуге, опустошенной чумой и осажденной венецианцами, со стенаниями метался по залам своего пустынного дворца, призывая дьявола и прося у него смерти. То был один из способов ее превозмочь. И признаком отваги, присущей Западу, является то, что он придал столь уродливый вид тем местам, где смерть вроде бы окружена почитанием. В мире бунтаря смерть усугубляет несправедливость. Она есть худшее из злоупотреблений.

Другие столь же безоговорочно сделали выбор в пользу вечного и изобличили мир в том, что он призрачен. Их кладбища излучают улыбки посреди изобилия цветов и птиц. Завоевателю это подходит и дает ясное представление о том, что он отверг. Он же, напротив, выбрал себе черную чугунную ограду или безымянный ров. Лучшие из приверженцев вечного иной раз чувствуют, как их охватывает проникнутый уважением и жалостью ужас перед людьми, способными жить с такими представлениями о своей смерти. И тем не менее эти люди извлекают отсюда свою силу и свое оправдание. Наша судьба перед нами, и ей мы бросаем вызов. Не столько из гордыни, сколько из сознания бесплодности нашего удела. Порой мы тоже испытываем жалость к себе: Это единственный вид сострадания, представляющийся нам приемлемым, — чувство, которое вы, пожалуй, едва ли поймете и которое покажется вам не очень-то мужественным. Однако оно ведомо как раз самым отважным из нас. Но ведь мы называем мужественными тех, чей ум ясен, и нам не нужна сила, разлученная с проницательностью.

* * *

Еще раз повторю: все эти образы не предлагают кодексов морали и не обязывают выносить о них суждение — нет, это всего только зарисовки. Они лишь изображают в лицах определенный стиль жизни. Любовник, актер или авантюрист разыгрывают представление об абсурде.

Но с таким же успехом это могли бы быть при желании девственник, чиновник или президент республики. Достаточно знать и ничего не скрывать. В итальянских музеях иногда можно увидеть разрисованные дощечки — священник держал их перед глазами осужденных на казнь, чтобы заслонить от них эшафот. Прыжок во всех его видах, стремительное погружение в божественное или вечное, бегство в иллюзии повседневности или какой-то идеи — все эти дощечки заслоняют от нас абсурд. Однако существуют ведь и чиновники без дощечек, о них-то я и намерен вести разговор.

Я отобрал крайние случаи. На этом уровне абсурд дает царскую власть. Правда, цари тут без царств. Но у них есть то преимущество перед другими, что они знают: все царства призрачны. Они знают — в этом все их величие, и было бы тщетно говорить в связи с ними о затаенном горе или о прахе утраченных иллюзий. Лишиться надежды еще не значит отчаяться. Языки земного пламени ничуть не хуже небесных благовоний. Ни я, ни кто бы то ни было не вправе здесь их судить. Они не стремятся быть лучше, чем они есть, они пробуют быть последовательными. Если слово «мудрец» приложимо к человеку, живущему тем, что у него есть, и не предающемуся умствованиям о том, чего у него нет, — в таком случае они мудрецы. Один из них, завоеватель — но в области духа, Дон Жуан — но в области познания, актер — но в области интеллекта, знает все это лучше других. «Не заслужил никакой привилегии ни на земле, ни на небесах тот, кто довел до совершенства свою драгоценную баранью кротость: ведь он тем не менее продолжает быть всего лишь милым смешным барашком с рогами, и никем больше, — даже если предположить, что он не лопаются при этом от тщеславия и не вызывает скандала попытками встать в позу судьи».

Во всяком случае, нужно было воплотить рассуждение об абсурде в лицах, от которых исходило бы больше тепла. Воображение может добавить к тем, что уже есть, множество других, не отделимых от их времени и места изгнания и тоже умеющих жить, без будущего и без уступок, в лад со вселенной. Этот лишенный Бога мир абсурда населен людьми ясно мыслящими и ни на что не возлагающими надежд. Но я еще не говорил о самом абсурдном из персонажей — о творце.

Философия и роман

Все эти жизни, протекающие в разреженном воздухе абсурда, угасли бы, не вдохни в них свою силу какая-нибудь глубокая и постоянная мысль. На сей раз это не что иное, как особое чувство верности. Бывали ясно мыслящие люди, которые выполняли свою задачу посреди самых нелепых войн, и при этом им в голову не приходило, что они вступают в противоречие с самими собой. Потому что для них было важно ни от чего не уклониться. Подобным же образом метафизическое счастье состоит в том, чтобы поддерживать абсурдность мира. Завоевание или игра, бесчисленные любовные увлечения, абсурдный бунт — все это почести, которые человек воздает собственному достоинству в ходе войны, заведомо несущей ему поражение.

Важно только не нарушать правил сражения. Мысли этой может быть достаточно, чтобы напитать дух, ведь на ней держались и держатся целые цивилизации. Войну невозможно отрицать. На войне либо гибнут, либо выживают. Так и с абсурдом: приходится им дышать, признавать его уроки и облекать их в плоть. В этом смысле творчество есть наивысшая радость абсурда. «Искусство, и ничего, кроме искусства, — говорит Ницше. — Искусство дано нам, чтобы мы не умерли от правды».

В опыте, который я пытаюсь описать и на разные лады передать, несомненно одно: очередная мука возникает в тот самый миг, когда кончается предыдущая. Ребяческий поиск забвения, призыв довольствоваться тем, что есть, отныне остаются без отклика. Но постоянное напряжение, поддерживающее человека в его противостоянии миру, упорядоченная горячка, побуждающая его все принимать, повергают его в другую лихорадку. И тогда произведение искусства оказывается единственной в этом мире возможностью утвердить свое сознание и зафиксировать его приключения. Творить — это жить дважды. Тревожный поиск на ощупь, ведущийся Прустом, кропотливое собирание им цветов, рисунков на обоях и тоскливых наваждений не означает ничего другого. И в то же время этот поиск дает ничуть не больше, чем то постоянное

и бесценное творчество, какому на протяжении всей их жизни каждодневно предаются актер, завоеватель и все другие люди абсурда. Все они стараются изобразить, повторить и воспроизвести действительность, в которой живут. В конце концов мы всегда принимаем облик наших истин. Человеком, отвернувшимся от вечности, существе воспринимается как нескончаемая грандиозная пантомима, исполняемая в маске абсурда. Творчество — это великое мимическое представление.

Прежде всего эти люди обладают знанием, и все их последующие усилия сводятся к тому, чтобы обследовать, увеличить и обогатить тот остров без будущего, к которому они только что причалили. Но сначала надо знать. Ибо открытие абсурда по времени совпадает с передышкой, когда вырастают и подбирают себе оправдание грядущие страсти. Даже у людей, живущих без Евангелия, бывает своя Масличная гора. И на ней тоже не следует спать. Задача человека абсурда не в том, чтобы находить объяснения и решения, а в том, чтобы самому испытать и описать. Все начинается с прозорливого безразличия.

Описывать — устремления абсурдной мысли дальше этого не простираются. Ведь и наука, покончив со своими парадоксами, перестает что бы то ни было предлагать и довольствуется тем, что наблюдает и обрисовывает вечно девственный внешний вид явлений. Тогда-то сердце и узнает, что волнение, охватывающее нас при созерцании ликов земли, зависит не от глубины нашего проникновения, а от их разнообразия. Объяснение тщетно, зато ощущение остается, а с ним и беспрестанные зовы, исходящие от количественно неисчерпаемого мира. Понятно в таком случае место, принадлежащее произведениям искусства.

Каждое из них знаменует собой одновременно смерть определенного опыта и его преумножение. Произведение является как бы повторением, однообразным и страстным, уже оркестрованным миром мотивов: тело, без конца воспроизводимое на фронтонах храмов, формы и краски, число и скорбь. Поэтому, завершая настоящее эссе, не лишено смысла проследить основные его темы в великолепном и по-детски наивном мире творца. Было бы ошибкой усматривать в произведении искусства символ и полагать, будто оно может в конечном счете рассматри-

ваться как убежище от абсурда. Оно само по себе есть феномен абсурда, и задача сводится лишь к его описанию. Произведение не служит отдушиной для болезни духа. Напротив, оно один из признаков этой болезни, накладывающей свой отпечаток на все мышление человека. Но оно впервые выводит дух вовне и помещает его перед другими людьми — не для того, чтобы повергнуть его в растерянность, а чтобы точно указать тот безысходный путь, по которому все мы движемся. В ходе рассуждения об абсурде творчество следует за безразличием и открытиями. Оно отмечает точку, откуда берут начало абсурдные страсти и где рассуждение останавливается. Так получает оправдание место абсурдного творчества в настоящем эссе.

Достаточно будет пролить свет на некоторые общие для творца и для мыслителя темы, чтобы обнаружить в произведении искусства все противоречия мысли, вовлеченной в абсурд. Умы роднит не столько тождество выводов, сколько общность противоречий. Именно так обстоит дело с мыслью и творчеством. Вряд ли мне надо задерживаться на том, что в обоих случаях к этим занятиям человека подталкивает одно и то же страдание. В этом они и совпадают на первых порах. Но я уже видел, что из всех направлений мысли, принимающих абсурд за отправную точку, немногие удерживаются в заданных им пределах. Как раз по отклонениям и непоследовательностям я лучше всего выявлял то, что принадлежит только абсурду. А вместе с тем мне следует поставить перед собой вопрос: возможно ли вообще абсурдное произведение?

Не будет излишним подчеркнуть: давнее противопоставление искусства и философии произвольно. В строгом смысле слова оно наверняка ошибочно. Если же хотят сказать, что у каждого из этих видов человеческой деятельности есть свой особый климат, это, разумеется, верно, однако чересчур расплывчато. Единственно приемлемый довод состоит в ссылке на разницу между философом, пребывающим *внутри* своего учения, и художником, находящимся *перед* своим произведением. Однако это справедливо лишь относительно искусства и философии определенного рода, каковой мы здесь считаем второстепенным. Представление, согласно которому искусство отделено от своего творца, не просто старомодно. Оно

ложно. Обычно указывают на то, что ни один философ, в отличие от художника, не создавал несколько учений. Но это верно в той самой мере, в какой допустимо сказать, что никто из художников никогда не выходил за рамки выражения одного и того же в различных обличьях. Совершенствование искусства раз от разу, необходимость его обновления — все эти истины основаны на предрассудке. Ведь произведение искусства — это тоже сооружение, и каждый знает, насколько однообразными могли быть великие творцы. Художник так же, как и мыслитель, вкладывает себя в свое произведение и в нем самоосуществляется. Это взаимопроникновение выдвигает перед нами одну из самых существенных эстетических проблем. Да и кроме того, для тех, кто убежден в единстве целей духа, нет ничего бесполезнее различений в зависимости от его предметов и методов достижения этих целей. Нет перегородок между теми видами умственной деятельности, к которым человек прибегает ради понимания и любви. Все эти виды взаимно переплетены, и их объединяет общая тревога.

Необходимо сказать это с самого начала. Чтобы абсурдное произведение стало возможно, должна быть приведена в действие предельно ясная мысль. Но вместе с тем нужно, чтобы она проявила себя исключительно как упорядочивающий интеллект. Этот парадокс объясним в свете абсурда. Произведение искусства рождается из отказа разума предаваться рассуждениям о конкретном. Оно знаменует собой торжество плотского начала. К жизни оно вызвано ясной мыслью, но, сделав это, мысль тем самым себя же и отвергает. Она не поддается искушению добавить к описанному более глубокий смысл, не считая такой смысл правомерным. Произведение искусства воплощает драму интеллекта, однако свидетельствует о ней окольно. Абсурдное произведение предполагает художника, осознающего пределы своих возможностей, и искусство, в котором конкретное не означает ничего, кроме самого себя. Такое произведение не может служить для жизни целью, смыслом и утешением. Творить или не творить — это ничего не меняет. Абсурдный творец не дорожит своим произведением. Он мог бы от него отречься — и иногда отрекается. Достаточно отправиться в Абиссинию.

А вместе с тем можно усмотреть во всем этом еще и правило эстетики. Подлинное произведение искусства

всегда скроено по мерке человеческой. По существу в нем высказывается меньше, чем подразумевается. Есть определенная связь между всем опытом художника и отражающим его произведением, между «Вильгельмом Мейстером» и зрелостью Гёте. Когда весь опыт хотят уместить на узорчатой бумаге, образчике объясняющей литературы, — это дурная связь, а добротная связь — это когда произведение представляет собой только вырезку из опыта, грань алмаза, внутреннее свечение которого присутствует в ее вспышках сжато, но нестесненно. В первом случае лицо излишек и претензия на вечность. Во втором случае произведение щедро плодоносит благодаря подразумеваемому в нем опыту, богатство которого угадывается. Задача абсурдного художника в том, чтобы умение жить превосходило у него умение писать. В конечном счете великий художник с этой точки зрения есть прежде всего мастер жить, если под словом «жить» разумеется способность самому испытывать, равно как и размышлять. Произведение воплощает, следовательно, драму интеллекта. Абсурдное произведение свидетельствует об отказе мысли от ее преимуществ и ее согласии быть лишь интеллектуальной силой, которая приводит в действие внешний вид вещей и претворяет в образы то, в чем нет смысла. Будь мир ясен, искусства могло бы не быть.

Я уж не говорю здесь об искусстве пластических форм и красок, где безраздельно царит описание во всем его скромном великолепии¹. Выразительность начинается там, где кончается мысль. Вся философия этих юношей с пустыми глазами, населяющих храмы и музеи, вложена в жесты. Для человека абсурда она более поучительна, чем целые библиотеки. На свой лад, но, в сущности, так же обстоит дело и с музыкой. Если какое-нибудь искусство свободно от назидательности, то прежде всего это музыка. Она слишком близка к математике, чтобы не позаимствовать у нее бесцельность. Эта игра духа с самим собой согласно условным и тщательно взвешенным правилам протекает в принадлежащем нам звуковом пространстве, вне которого звуковые колебания сопрягаются друг с дру-

¹ Любопытно заметить что самая интеллектуальная живопись, то есть живопись, старающаяся свести действительность к самым основным первоэлементам, в пределе своем есть просто наслаждение для глаз. От мира в ней сохранены одни краски.

гом уже в какой-то бесчеловечной вселенной. Нет ощущений чище. Подобрать тут примеры — дело слишком легкое. Человек абсурда признает своими эти формы и созвучия.

Но мне хотелось бы здесь поговорить о произведениях, в которых особенно велик соблазн объяснений, где иллюзия есть нечто само собой разумеющееся, а умозаключения почти неминуемы. Я имею в виду романное повествование. И задаюсь вопросом, может ли абсурд найти там себе надежное место.

Мыслить означает в первую очередь хотеть создать некий мир (или отграничить свой собственный мир, что то же самое). Это означает отправляться от основополагающего разрыва между человеком и его опытом, чтобы найти площадку для их взыскуемого согласия, отыскать мир, затянутый в одежды вразумительных причин и высеченный подобиями, — тот мир, где дано преодолеть невыносимый разлад. Философ, даже если это Кант, выступает как творец. У него есть свои персонажи, свои символы и свое скрытое действие. Он находит свои развязки. И наоборот, главенство романа над поэзией и эссеистикой свидетельствует, как далеко, вопреки всем внешним приметам, продвинулась интеллектуализация искусства. Договоримся: речь пойдет только о самых великих книгах. О плодотворности и достоинствах жанра иной раз судят по его неудачным образцам. Нельзя из-за плохих романов забывать о ценности лучших. В них-то как раз и возникают целые миры. В романе есть своя логика, своя цепь рассуждений, свои интуитивные прозрения и свои постулаты. Ему присуща также своя потребность в ясности¹.

Классическое противопоставление, о котором я говорил выше, еще менее правомерно в этом особом случае.

¹ Здесь стоит поразмыслить: ведь это объясняет и появление худших романов. Почти все люди считают себя способными мыслить и в известной мере действительно мыслят, хорошо или плохо. Напротив, очень немногие могут представить себя поэтами и мастерами слова. Но с того момента, как мысль сделалась важнее стиля, роман подвергся нашествию толпы.

Это не такое уж большое зло, как о том говорят. Лучшие вынуждены предъявлять к себе более строгие требования. Что же касается тех, кто этих требований не выдерживает, они и не заслуживают выживания.

Оно было оправданно в те времена, когда не составляло труда отделить философское учение от его создателя. Сегодня же, когда мысль больше не претендует на универсальность, когда лучшей историей философии была бы история ее раскаяний, мы знаем, что любое стоящее учение неотделимо от своего создателя. В известном смысле сама «Этика» есть не что иное, как долгая последовательная исповедь. Отвлеченная мысль наконец-то соединяется со своей телесной опорой. И точно так же романическая игра страстей и плоти все жестче подчиняется императивам того или иного видения мира. Сейчас больше не рассказывают «историй», а создают собственную вселенную. Великие романисты — это романисты-философы, то есть противоположность сочинителям тенденциозных повествований, иллюстрирующих какую-нибудь идею. Таковы среди многих других Бальзак, Сад, Мелвилл, Стендаль, Достоевский, Пруст, Мальро, Кафка.

Но как раз предпочтение, отданное ими письму в образах перед письмом в рассуждениях, показательны для общей им всем убежденности в том, что установка на объяснение бесполезна и урок сам собой вытекает из чувственно осязаемого внешнего обличья вещей. Все они рассматривают произведение одновременно и как конец, и как начало. Оно является завершением зачастую не высказанной прямо философии, ее зримым подтверждением и увенчанием. Но оно состоялось лишь благодаря этой подразумеваемой философии. И тем самым доказывает правоту одной из версий старинного утверждения о том, что размышления удаляют от действительности, когда их мало, и приближают к ней, когда их много. Не будучи в силах возвысить жизнь, мысль довольствуется тем, что ее изображает. Роман, о котором ведется речь, есть инструмент познания, относительного и одновременно неисчерпаемого — и тем похожего на любовь. Романическое творчество роднит с любовью и первоначальное восхищение сущим, и плодотворное вынашивание замысла.

По крайней мере таковы достоинства, которые я с самого начала признаю за этим творчеством. Но я признавал их и за теми князьями смиренной мысли, чье самоубийство я мог затем наблюдать. Что меня действительно занимает, так это постижение и описание той силы, ко-

торая толкает их на проторенную дорогу иллюзий. Поэтому все тот же метод послужит мне и здесь. То обстоятельство, что я им уже пользовался, позволит мне сделать мое рассуждение короче и сжато изложить самую суть, не задерживаясь на примерах. Я хочу знать, возможно ли, согласившись жить без зова свыше, точно так же без зова свыше работать и творить и какой путь ведет к подобной свободе. Я хочу избавить мой мир от призрачных теней и населить его истинами во плоти, чье присутствие отрицать невозможно. Я могу создавать абсурдное произведение, предпочесть творческую установку всем прочим установкам. Но для того, чтобы абсурдная установка таковой и осталась, в ней должно быть сохранено сознание своей бесцельности. Так и с произведением. Если предписания абсурда в нем не соблюдены, если оно не свидетельствует о разладе и бунте, если в нем приносятся жертвы иллюзиям и оно пробуждает надежду, оно не бесцельно. И я не могу отделить от него самого себя. Моя жизнь может обрести в нем свой смысл, а это смехотворно. Оно перестает быть тем проявлением отрешенности и страсти, каким увенчивается великолепие и бесполезность человеческой жизни.

В том виде творчества, где соблазн заняться объяснениями особенно силен, можно ли с ним все-таки справиться? В вымышленном мире, где особенно сильно сказывается осознание мира действительного, могу ли я сохранить верность абсурду, не поддавшись желанию сделать конечные выводы? Вот сколько вопросов нужно рассмотреть напоследок. Сразу же понятно, что они означают. Это последние сомнения ума, которому страшно поступиться своим трудным первоначальным заветом ради заключительной иллюзии. Что верно применительно к творчеству, понятому как *одна* из возможных установок человека, осознавшего абсурд, верно и применительно ко всем другим доступным ему стилям жизни. Завоеватель или актер, творец или Дон Жуан могут и забыть, что невозможно вести их жизнь без осознания ее нелепости. Ведь привыкают так быстро. Кто-то хочет подзаработать денег, чтобы стать счастливым, и все силы, лучшая часть жизни отводятся зарабатыванию денег. И вот уже о счастье забыто, средство принимается за цель. Точно так же все старания завоевателя могут быть поставлены на службу честолюбию, которое изначально было лишь путем

к более полной жизни. Со своей стороны Дон Жуан тоже примиряется с выпавшей ему судьбой, довольствуется своим существованием, которому только бунт придает величие. У одного все дело в сознании, у другого — в бунте, но в обоих случаях абсурд исчезает. Упрямая надежда пустила корни в человеческом сердце. Даже самые обездоленные люди порой кончают тем, что предаются иллюзиям. Подобное одобрение жизни, внушенное потребностью в душевном покое, является внутренним двойником экзистенциалистского приятия мира. Существуют, стало быть, боги света и идолы грязи. Но важно найти тот срединный путь, что ведет к лицам человеческим.

До сих пор о том, что такое абсурдный запрос, нас лучше всего осведомляли его неудачи. Подобным же образом, чтобы составить представление о писательском творчестве, достаточно заметить, что оно может являть собой такую же двусмыслицу, как и иные философские учения. Я могу, следовательно, выбрать в качестве примера произведение, где были бы соединены все особенности абсурдного сознания, включая ясность отправных посылок и прозрачность всей атмосферы. Результаты разбора скажут нам о многом. Если требования абсурда там не соблюдены, мы узнаем, каким путем туда проникает иллюзия. Это будет такой же анализ, какой однажды уже был проделан более пространно.

Я рассмотрю одну излюбленную тему Достоевского. С тем же успехом я мог бы остановиться на других произведениях¹. Но у Достоевского проблема обсуждается впрямую, величественно и взволнованно, как и в экзистенциалистских учениях, о которых шла речь выше. И это сходство служит моей цели.

Кириллов

Все герои Достоевского задаются вопросом о смысле жизни. Как раз в этом они современны — они не боятся выглядеть смешными. Жизнечувствие современное тем

¹ Например, на произведениях Мальро. Но тогда пришлось бы затронуть еще и социальную проблему, которая и в самом деле не может быть обойдена абсурдной мыслью (хотя последняя может предложить ряд весьма различных ее решений). Однако следует себя ограничивать.

и отличается от жизнечувствия классического, что пищей последнему служат проблемы моральные, тогда как пища первого — проблемы метафизические. В романах Достоевского вопросы ставятся с такой степенью напряженности, что неизменно влекут за собой крайние решения. Жизнь являет собой ложь — или она вечна. Довольствуясь Достоевский рассмотрением этого вопроса, он был бы философом. Но он изображает, какие следствия в жизни человека могут иметь такие игры ума, и в этом он художник. Среди подобных следствий он особенно сосредоточен на самом крайнем — на том, которое он в «Дневнике писателя» назвал «логическим самоубийством». Действительно, в декабрьском выпуске 1876 года он мысленно выстраивает рассуждения, ведущие к «логическому самоубийству». Убедившись в том, что человеческое существование есть полнейший абсурд для того, кто не верит в бессмертие души, отчаявшийся человек приходит к следующим заключениям:

«Так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе, как в гармонии целого, которой я не понимаю и, очевидно для меня, и понять никогда не в силах...

Так как, наконец, при таком порядке я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупую, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унижительным...

То, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, — вместе со мною к уничтожению...»

В этой позиции есть и своя малая доля юмора. Самоубийца кончает с собой потому, что он в метафизическом плане *уязвлен*. В известном смысле он мстит за себя. Это его способ доказать, что «с ним это не пройдет». Известно вместе с тем, что тот же мотив воплощен, на сей раз с восхитительной полнотой, в Кириллове, одном из действующих лиц «Бесов», приверженном в свою очередь к логическому самоубийству. Инженер Кириллов где-то провозглашает, что он хочет лишиться себя жизни, потому что «такая у него мысль». Понятно, что слова эти следует

воспринимать буквально. Он готовится к смерти именно ради идеи, ради некоей мысли. Это самоубийство высшего порядка. Постепенно, по мере следования сцен, в которых мало-помалу освещается маска Кириллова, раскрывается и чреватая смертью мысль, которая его воодушевляет. Инженер действительно делает своими рассуждения из «Дневника». Он чувствует, что Бог необходим и надо, чтобы он существовал. Но он знает, что Бога нет и не может быть. «Неужели ты не понимаешь, — восклицает он, — что из-за этого только одного можно застрелить себя». Из безразличия он соглашается с тем, чтобы его самоубийство было использовано во благо презируемому им делу. «Я определил в эту ночь, что мне все равно». В конечном счете он готовит свой поступок со смешанным чувством бунта и свободы. «Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою». Тут уже не месть, тут бунт. Следовательно, Кириллов — это персонаж абсурда, с той только существенной разницей, что он себя убивает. Однако он сам объясняет это противоречие, да так, что одновременно раскрывает тайну абсурда во всей ее чистоте. В самом деле, он добавляет к своей смертоносной логике еще и выходящее из ряда вон домогательство, в свете которого нам и явлен этот персонаж: он хочет себя убить, чтобы стать богом.

Умозаключение классически ясное. Если Бога нет, Кириллов — бог. Если Бога нет, Кириллов должен себя убить. Следовательно, Кириллов должен себя убить, чтобы стать богом. Логика абсурдна, но это и требовалось. Однако интересно установить, в чем смысл этого низведенного на землю божества. А это значит прояснить посылку «Если Бога нет, то я бог», которая пока что продолжает быть достаточно темной. Важно прежде всего заметить, что человек, выдвигающий столь безумное домогательство, вполне от мира сего. По утрам он делает гимнастику, чтобы поддержать свое здоровье. Он взволнован радостью Шатова, который снова обретает жену. На листке бумаги, который обнаружат после его смерти, Кириллову хочется намалевать рожу, показывающую «им» язык. Он по-детски простодушен и гневлив, страстен, последователен и чувствителен. От сверхчеловека у него только логика и навязчивая идея, весь остальной набор свойств — от человека. Однако это он сам говорит о сво-

ем божественном достоинстве. Он не безумец — либо безумен сам Достоевский. И, следовательно, он движим не бредом, вызванным манией величия. На сей раз буквально воспринимать слова было бы смешно.

Сам Кириллов помогает нам лучше его понять. В ответ на вопрос Ставрогина он уточняет, что ведет речь не о богочеловеке. Можно было бы подумать, что он заботится о том, чтобы отличаться от Христа. Но на самом деле он помышляет присоединить Христа к себе. Действительно, Кириллов в какой-то миг мысленно представляет себе, что умерший Христос *не очутился в раю*. Он узнал тогда, что муки его были напрасны. «Законы природы, — говорит инженер, — заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь». Только в этом смысле Иисус служит воплощением всей человеческой трагедии. Он совершеннейший из людей, ибо он тот, кто своей жизнью осуществил самый абсурдный удел. Он не Богочеловек, а человекобог. Подобно ему, каждый из нас может быть распят и обманут, а в какой-то степени это с каждым и случилось.

Божество, о котором идет речь, является, следовательно, вполне земным. «Я три года искал атрибут божества моего, — говорит Кириллов, — и нашел: атрибут божества моего — Своеволие». Теперь проступает смысл посылки Кириллова «Если Бога нет, то я бог». Стать богом — это просто-напросто быть свободным на земле, а не находиться в услужении у бессмертного существа. И в особенности, разумеется, извлечь все заключения из этого мучительного своеволия. Если Бог существует, все зависит от него и против его воли мы не можем ничего. Если же его нет, то все зависит от нас самих. Для Кириллова, как и для Ницше, умертвить Бога означает самому стать богом, на самой земле осуществить ту вечную жизнь, о которой сказано в Евангелии¹.

Но если метафизического преступления человеку достаточно, чтобы вполне состояться самому, то зачем добавлять к этому еще и самоубийство? Зачем кончать с собой, покидать здешний мир после того, как свобода завоевана? Тут есть противоречие. Кириллов хорошо это знает, недаром он добавляет: «Если сознаешь — ты царь

¹ Ставрогин: «Вы стали верить в будущую вечную жизнь?» Кириллов: «Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную».

и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе». Но люди этого не ведают. Они «этого» не чувствуют. Как и во времена Прометея, они питают слепые надежды¹. Они нуждаются в том, чтобы им указали путь, и не могут обойтись без проповеди. Следовательно, Кириллов должен убить себя из любви к человечеству. Он должен указать братьям трудный царский путь, пройти по нему первым. Это педагогическое самоубийство. В результате Кириллов приносит себя в жертву. Но если он распят, то не обманут. Он остается человекобогом и убежден, что после смерти ничего нет, проникнут евангельской печалью. «Я несчастен, — говорит он, — ибо *обязан* заявить своеволие». Но когда он будет мертв и люди наконец просветятся, землю населят цари и воссияет слава человека. Своим выстрелом из пистолета Кириллов подаст сигнал к самой последней революции. Таким образом, к смерти его толкает не отчаяние, а бескорыстная любовь к ближним. Перед кровавым завершением своего неслыханного духовного приключения Кириллов произносит слова столь же древние, как и сами человеческие страдания: «Все хорошо».

Тема самоубийства у Достоевского является, следовательно, одной из тем абсурда. Заметим только, прежде чем пойти дальше, что Кириллов проступает в других персонажах, которые в свою очередь влекут за собой другие темы абсурда. Ставрогин и Иван Карамазов применяют в своих жизненных поступках истины абсурда. Они и есть те, кого освобождает смерть Кириллова. Они пробуют быть царями. Ставрогин ведет «насмешливую» жизнь — какую именно, хорошо известно. Вокруг себя он сеет ненависть. И однако ключевые слова к его жизни содержатся в его прощальном письме: «Я ничего не мог возненавидеть». Он царь безразличия. Иван, со своей стороны, отказывается отречься от царственной власти разума. Тем, кто, подобно его брату, доказывают собственной жизнью, что вера нуждается в смирении, Иван мог бы ответить, что находит это условие недостойным. Его ключевые слова — «все позволено», произносимые с подобающим оттенком печали. Понятно, что он кончает безумием, подобно Ниц-

¹ «Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы не убить себя; в этом вся всемирная история до сих пор».

ше, самому прославленному из убийц Бога. Но это неизбежный риск, и перед столь трагическим завершением самое главное для абсурдного разума сводится к тому, чтобы спросить: «И что это доказывает?»

Итак, романы, как и «Дневник писателя», ставят вопрос об абсурде. Они учреждают логику, ведущую вплоть до самой смерти, и еще восторг, «ужасающую» свободу, славу царей, ставшую славой людей. «Все хорошо», «все позволено», «ничто не заслуживает презрения» — все это суждения абсурдного толка. Но какое же творческое чудо заставило выглядеть эти существа из пламени и льда такими нам близкими! Страстный мир равнодушия, громышающий в их сердцах, ничуть не кажется нам чудовищным. Мы встречаем там наши повседневные страхи. И никто, конечно же, не сумел придать абсурдному миру таких знакомых нам и таких мучительных достоинств, как это сделал Достоевский.

Каково же, однако, заключение? Две выдержки покажут метафизическое опрокидывание, которое ведет писателя к другим откровениям. Умозаключения логического самоубийцы вызвали протесты критиков, и Достоевский в последующих выпусках «Дневника» развивает свои мысли, приходя в конце концов к следующему: «Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого (что без него человек приходит к мысли о самоубийстве), то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и само бессмертие души человеческой *существует несомненно*. С другой стороны, на последних страницах последнего романа Достоевского, к самому концу этого грандиозного сражения с Богом, дети спрашивают у Алеши: «Карамазов, неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга?» И Алеша отвечает: «Неприменно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было».

Стало быть, Кириллов, Ставрогин и Иван потерпели поражение. «Братья Карамазовы» отвечают «Бесам». И это действительно конечный вывод. Случай с Алешей не так двусмыслен, как случай с князем Мышкиным. Больной князь живет в вечном настоящем, то расцветенном улыбками, то источающем безразличие, и это блаженное состояние могло бы быть той вечной жизнью, о которой он

говорит. Напротив, Алеша высказывается определенно: «непременно встретимся». Больше нет речи о самоубийстве и безумии. Зачем они тому, кто уверен в бессмертии души и его радостях? Человек обменивает свое божественное достоинство на счастье. «Весело, радостно расскажем друг другу все, что было». Значит, пистолетный выстрел Кириллова раздался где-то в России, но мир продолжал тешиться своими слепыми надеждами. Люди «этого» не поняли. Выходит, с нами ведет разговор романист не абсурдный, а экзистенциалистский. И здесь тоже прыжок нас волнует, придает величие вдохновившему на него искусству. Приятие сущего здесь трогательно, проникнуто сомнениями и неуверенностью, но пылко. По поводу «Карамазовых» Достоевский писал: «Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно или бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие». Трудно поверить, чтобы одного романа оказалось достаточно для претворения муки всей жизни в радостную несомненность. Один из комментаторов¹ справедливо замечает: у Достоевского немало общего с Иваном Карамазовым, недаром утверждающие по своему духу главы потребовали от него трех месяцев упорной работы, тогда как то, что он называл «богохульством», написано за три недели в порыве вдохновения. У Достоевского нет ни одного персонажа, в ком не засела бы эта заноза, кто бы не растревал себя ею или не искал спасения в чувственности или безнравственности². Во всяком случае, останемся при этой догадке. Вот перед нами творчество, в светотени которого сражение человека с собственными надеждами вырисовывается еще более выпукло, чем при дневном свете. Подойдя к концу, творец делает свой выбор в противовес своим же героям. И это противоречие позволяет нам уточнить: в данном случае мы имеем дело не с абсурдным творчеством, а с творчеством, в котором ставится вопрос об абсурде.

Ответ Достоевского — уничижение, «стыд» согласно Ставрогину. Напротив, абсурдное произведение не дает никакого ответа. Заметим под конец: абсурду в этом твор-

¹ Борис Шлёцер.

² Любопытное и пронизательное наблюдение Андре Жида: почти все персонажи Достоевского полигамны.

честве противостоит не христианский дух, а то, что здесь провозглашается вера в загробную жизнь. Можно быть христианином и человеком абсурда. Встречаются христиане, не верящие в загробную жизнь. Есть возможность, следовательно, уточнить одно из направлений анализа художественного произведения с позиций абсурда, нащупанное уже на предыдущих страницах. Оно ведет к постановке вопроса относительно «абсурдности Евангелия». Оно проливает свет на ту плодотворную в своих последующих преломлениях мысль, что твердость убеждений безверию не помеха. Напротив, мы видим, что автор «Бесов», которому пути абсурда близко знакомы, в конце концов предпочитает совсем другую дорогу. Поразительный ответ творца своим героям, Достоевского — Кириллову, можно и на самом деле вкратце выразить следующими словами: жизнь есть ложь, и она вечна.

Творчество без будущего

Итак, здесь я замечаю, что надежду нельзя устранить навсегда и что она может осаждать именно тех, кто хотел бы от нее избавиться. В этом причина моего интереса к произведениям, о которых шла речь до сих пор. Я мог бы перечислить немало произведений действительно абсурдных, во всяком случае из числа тех, что относятся к разряду художественных¹. Но все должно иметь свое начало. Предметом настоящего исследования является определенного рода верность. Церковь обходилась так жестоко с еретиками потому, что считала худшими врагами своих заблудших детей. Правда, история гностических дерзаний и живучесть манихейских течений дали больше для выработки ортодоксальной догматики, чем все молитвы вместе взятые. При всех необходимых оговорках, можно тем не менее сказать, что так же обстоит дело и с абсурдом. Нужный путь распознают, обследуя дороги, уводящие от него в сторону. К самому концу рассуждения об абсурде, приняв одну из установок, подсказанных его логикой, вовсе не безразлично снова обнаружить надежду, возвращающуюся в одном из самых своих волнующих обликов. Это показывает, как трудна абсурдная аскеза. И в особен-

¹ «Моби Дик» Мелвилла, например.

ности это показывает, как необходимо сознанию быть постоянно в работе, а следовательно, вписывается в общие рамки настоящего эссе.

Но если вопрос о перечне произведений абсурдного толка пока что не стоит, можно тем не менее позволить себе вывод относительно творческой установки — одной из тех, что могут сделать абсурдное существование полнее. Столь добрую службу искусству способна сослужить лишь негативная мысль. Вникнуть в ее таинственный и смиренный ход так же необходимо для понимания крупных произведений, как белое необходимо для понимания черного. Трудиться и творить «ни для чего», ваять из праха, знать, что у созданного тобой нет будущего, видеть, как в один прекрасный день оно подвергнется разрушению, и сознавать при этом, что, в сущности, это так же неважно, как и строить на века, — вот трудная мудрость, одобряемая абсурдной мыслью. Преследовать две цели сразу, отвергать, с одной стороны, и славить — с другой, — таков путь, открывающийся перед абсурдным творцом. Он должен придать окраску пустоте.

Сказанное ведет к особой концепции произведения искусства. Творчество художника слишком часто рассматривают как ряд изолированных друг от друга свидетельств. Но в таком случае смешивают художника и литератора. Глубокая мысль пребывает в постоянном становлении, проникается жизненным опытом и его лепит. И точно так же единое творчество человека крепнет в чреде своих многочисленных проявлений — отдельных произведений. Они дополняют, поправляют и возмещают упущения друг друга, а то и вступают между собой в противоречия. Если у творчества бывает завершение, то это вовсе не лжепобедный возглас ослепленного художника: «Я все сказал!», — а смерть самого творца, которая кладет конец его опыту и книге, куда он вложил свой дар.

Усилия творца, его сверхчеловеческое самосознание не обязательно видны читателю. В человеческом творчестве нет никакой тайны. Чудо свершается благодаря воле. И все-таки нет настоящего творчества без своего секрета. Разумеется, ряд произведений может быть не чем иным, как вереницей приближений к одной и той же мысли. Но можно себе представить и творцов иного склада, больше тяготеющих к сопоставлению. Может показаться, что меж-

ду их произведениями нет связи, что в известной степени они даже противоположны друг другу. Но, будучи помещены в общую последовательность, они выдают соединяющий их подспудный порядок. Окончательный смысл им придает, следовательно, смерть их создателя. А самый яркий свет на них проливает его жизнь. К часу его смерти ряд его произведений есть не что иное, как собрание поражений. Но если у всех этих поражений одинаковый отзвук, значит, творец сумел многократно повторить образ собственного удела, заставил звучать ту бесплодную тайну, которой он владел.

Усилия властвовать над материалом и собой здесь значительны. Но человеческий ум способен и на гораздо большее. Он демонстрирует лишь волевой аспект творчества. В другом месте я уже высказал мысль о том, что у человеческой воли нет другой задачи, кроме поддержки сознания в деятельном настрое. Но это невозможно без дисциплины. Творчество — самая результативная школа терпения и ясности. Оно является к тому же потрясающим свидетельством единственного достоинства человека — его упрямого бунта против своего удела, постоянства в усилиях, полагаемых бесплодными. Творчество требует повседневного труда, самообладания, точной оценки пределов истинного, меры и силы. Оно представляет собой аскезу. И все это «ни для чего», чтобы повторяться и топтаться на месте. Но, может быть, великое произведение искусства значимо не столько само по себе, сколько тем испытанием, которому оно подвергает человека, и предоставляемым человеку случаем возобладать над своими наваждениями и немного приблизиться к голой действительности.

Не ошибемся в выборе эстетики. Разговор здесь вовсе не о терпеливой передаче сведений, не о нескончаемом и бесплодном иллюстрировании какого-нибудь тезиса. Нет, о прямо противоположном, если я объяснился внятно. Роман, доказывающий тезис, самое ненавистное из всех произведений, чаще всего имеет источником вдохновения самодовольную мысль. Когда бывают уверены, что обладают истиной, ее просто-напросто демонстрируют. Но в таких случаях в ход идут идеи, а они есть нечто противоположное мысли. Их создатели — стыдливые филосо-

фы. Те же, о ком я веду речь или кого рисую себе в воображении, — это, напротив, ясные умом мыслители. Там, где мысль отказывается от себя самой, они воздвигают образы своих произведений как очевидные символы ограниченной, смертной и бунтующей мысли.

Возможно, эти образы что-то доказывают. Но романисты приводят подобные доказательства скорее себе, чем другим. Главное же в том, что поприщем их торжества служит конкретное, и в этом их величие. Торжество сугубо плотского начала подготовлено мыслью, абстрагирующие возможности которой приглушены. Когда же они упраздняются вовсе, плоть помогает творению озариться всем своим абсурдным светом. Произведения, исполненные страсти, создаются ироническими философами.

Всякая мысль, отвергающая единство, превозносит многообразие. А многообразие — это почва искусства. Дух освобождает только та мысль, которая оставляет его наедине с самим собой, убежденным в своей ограниченности, в предстоящей ему смерти. Никакая доктрина его не соблазняет. Он ждет, чтобы созрели и произведение, и жизнь. Отделившись от него, произведение позволит расслышать еще раз слегка приглушенный голос души, навеки избавившейся от надежды. Или оно ничего не позволит расслышать, если творец, устав от своего занятия, захочет отвернуться. Но это все равно.

Таким образом, я жду от абсурдного творчества того же самого, чего я требовал от мысли, — бунта, свободы и многообразия. Затем оно обнаружит свою полнейшую бесполезность. В том повседневном усилии, при котором ум и страсть соединяются и поддерживают друг друга, человек абсурда открывает дисциплину как свою главную силу. Нужные для этого усердие, упорство и прозорливость близки в результате установкам завоевателя. Следовательно, творить — значит придавать форму своей судьбе. Все упоминавшиеся персонажи определяются творчеством по меньшей мере настолько же, насколько они его определяют. Актер уже научил нас: между «быть» и «казаться» нет границы.

Повторим. Ничто из всего сказанного не имеет реального смысла. И есть куда продвинуться дальше по пути свободы. Последнее усилие родственных умов, творца или завоевателя, состоит в том, чтобы суметь освободиться еще

и от дела своей жизни: допустить, что созданного ими — в завоевании ли, в любви или в творчестве — могло бы и не существовать, проникнуться мыслью о полной бесплезности любой отдельной жизни. Им самим это даже придает большую легкость при осуществлении задуманного, подобно тому, как открытие абсурдности жизни позволяет окунуться в нее со всей безудержностью.

Что остается, так это судьба, в которой фатально только одно — исход. Вне этой единственной фатальности смерти все — радость или счастье — являет собой свободу. Остается мир, единственный хозяин которого — человек. Раньше его сковывала иллюзия потустороннего мира. Назначение его мысли больше не в том, чтобы отречься от себя, а в том, чтобы вспыхнуть россыпью образов. Мысль резвится, конечно же, в мифах — но в тех мифах, у которых нет другой глубины, кроме глубины человеческого страдания, и столь же неисчерпаемых. Нет, это не та божественная притча, что тешит нас и ослепляет, а земные лик, жест, драма, и в них вложена трудная мудрость и страсть без будущего.

МИФ О СИЗИФЕ

Боги обрекли Сизифа вечно вкатывать на вершину горы огромный камень, откуда он под собственной тяжестью вновь и вновь низвергался обратно к подножию. Боги не без оснований полагали, что нет кары ужаснее, чем нескончаемая работа без пользы и без надежд впереди.

Если верить Гомеру, Сизиф был мудрейшим и осторожнейшим из смертных. Согласно другому преданию, он, напротив, был склонен к разбойным делам. Лично я не вижу здесь противоречия. Просто различны взгляды на причины, из-за которых он оказался бесполезным тружеником преисподней. Его винят прежде всего в непозволительно вольном обращении с богами. Он будто бы разглашал их тайны. Эгина, дочь Асопа, была похищена Зевсом. Отец, ошеломленный ее исчезновением, рассказал о своем горе Сизифу. Последний, зная о похищении, пообещал Асопу раскрыть секрет, если тот пустит воду в крепость Коринф. Грому и молниям небесным Сизиф предпочел благословение водой. За это он был наказан в преисподней. Гомер также повествует, что Сизиф заковал

Смерть. Плутон не мог вынести зрелища своего опустевшего безмолвного царства мертвых. Он послал бога войны, который освободил Смерть из-под власти ее победителя.

А еще рассказывают, что Сизиф перед самой смертью неосторожно захотел подвергнуть испытанию любовь своей жены. Он велел ей бросить его тело прямо на городской площади, без погребальных обрядов. Вскоре Сизиф очутился в подземном царстве теней. Рассерженный послушанием, столь противным человеческой любви, он получил от Плутона разрешение вернуться на землю, чтобы покарать супругу. Но когда он снова увидел дневной мир, снова отведал воды, насладился сиянием солнца, теплом нагретых камней и свежестью моря, он не пожелал возвратиться во мрак преисподней. Напоминания, гнев, угрозы — ничто не помогало. Еще много лет прожил он у сверкающего морского залива, посреди улыбок прибрежной земли. Понадобилось особое постановление богов. Гермес спустился, чтобы схватить строптивца за шиворот и, оторвав его от радостей, насильно доставить в преисподнюю, где Сизифа ждал уготованный ему обломок скалы.

Довольно сказанного, чтобы уже понять: Сизиф и есть герой абсурда. По своим пристрастиям столь же, сколь и по своим мучениям. Презрение к богам, ненависть к смерти, жажда жизни стоили ему несказанных мук, когда человеческое существо заставляют заниматься делом, которому нет конца. И это расплата за земные привязанности. Никаких рассказов о Сизифе в преисподней нет. Но ведь мифы и складываются для того, чтобы их оживило наше воображение. Что до мифа о Сизифе, то можно лишь представить себе предельное напряжение мышц, необходимое, чтобы сдвинуть огромный камень, покатить его вверх и карабкаться вслед за ним по склону, стократ все повторяя сызнова; можно представить себе застывшее в судороге лицо, щеку, прилипшую к камню, плечо, которым подперта глыба, обмазанная глиной, ногу, поставленную вместо клина, перехватывающие ладони, особую человеческую уверенность двух рук, испачканных землей. В самом конце долгих усилий, измеряемых пространством без неба над головой и временем без глубины, цель достигнута. И тогда Сизиф видит, как камень за несколько мгнове-

ний пролетает расстояние до самого низа, откуда надо снова поднимать его к вершине. Сизиф спускается в долину.

Как раз во время спуска, этой краткой передышки, Сизиф меня и занимает. Ведь застывшее от натуги лицо рядом с камнем само уже камень! Я вижу, как этот человек спускается шагом тяжелым, но ровным навстречу мукам, которым не будет конца. Час, когда можно вздохнуть облегченно и который возобновляется столь же неминуемо, как и само страдание, есть час просветления ума. В каждое из мгновений после того, как Сизиф покинул вершину и постепенно спускается к обиталищам богов, он возвышается духом над своей судьбой. Он крепче обломка скалы.

Если этот миф трагичен, то все дело в сознательности героя. Действительно, разве его тяготы были бы такими же, если бы его при каждом шаге поддерживала надежда когда-нибудь преуспеть? Сегодня рабочий ради того же самого трудится каждодневно на протяжении всей жизни, и его судьба ничуть не менее абсурдна. Но он трагичен только в редкие минуты, когда его посещает ясное сознание. Сизиф, пролетарий богов, бессильный и возмущенный, знает сполна все ничтожество человеческого удела — именно об этом он думает, спускаясь вниз. Ясность ума, которая должна бы стать для него мукой, одновременно обеспечивает ему победу. И нет такой судьбы, над которой нельзя было бы возвыситься с помощью презрения.

Итак, если в иные дни спуск происходит в страдании, он может происходить и в радости. Слово это вполне уместно. Я воображаю себе Сизифа, когда он возвращается к обломку скалы. Вначале было страдание. Когда воспоминания о земной жизни слишком сильны, когда зов счастья слишком настойчив, тогда, случается, печаль всплывает в сердце этого человека, и это — победа камня, тогда человек сам — камень. Скорбь слишком огромна и тягостна, невыносима. У каждого из нас бывает своя ночь в Гефсиманском саду. Но гнетущие истины рассеиваются, когда их опознают и признают. Так, Эдип сперва повиновался судьбе, сам того не ведая. Трагедия его начинается лишь с момента прозрения. Но в тот же самый момент он, ослепший и повергнутый в отчаяние, узнает, что един-

ственная нить между ним и миром — это прохладная ручонка дочери. И тогда он произносит из ряда вон выходящие слова: «Моя старость и величие моего духа побуждают меня, невзирая на столькие испытания, признать, что все — хорошо». Эдип Софокла, подобно Кириллову Достоевского, находит формулу абсурдной победы. Древняя мудрость смыкается с новейшим героизмом.

Открытию абсурда непременно сопутствует искус написать учебник счастья. «Позвольте, столь узкими тропами?..» Но ведь существует только один мир. Счастье и абсурд — дети одной и той же матери-земли. Они неразлучны. Ошибочно было бы утверждать, будто счастье обязательно вытекает из открытия абсурда. Тем не менее бывает, что чувство абсурда рождается от полноты счастья. «Я признаю, что все — хорошо», — говорит Эдип, и эти слова священны. Они отдаются эхом в суровой и замкнутой вселенной человека. Они учат, что не все исчерпано, не все было исчерпано. Они изгоняют из здешнего мира Бога, который сюда проник вместе с неудовлетворенностью и вкусом к бесполезному страданию. Они обращают судьбу в дело сугубо человеческое, которое людям и надлежит улаживать самим.

Здесь-то и коренится молчаливая радость Сизифа. Его судьба принадлежит ему самому. Обломок скалы — его собственная забота. Созерцая свои терзания, человек абсурда заставляет смолкнуть всех идолов. И тогда-то во вселенной, которая внезапно обрела свое безмолвие, становятся различимыми тысячи тонких чудесных земных голосов. Загадочные невнятные зовы, приветы, излучаемые каждым лицом, — все это неизбежно приносит с собой победу, есть награда за нее. Нет солнечного света без мрака, и ночь надо изведать. Человек абсурда говорит «да», и отныне его усилиям несть конца. Если существует личная судьба, то высшей судьбы не существует, или в крайнем случае существует только одна судьба, которую человек абсурда полагает неизбывной и презренной. В остальном он ощущает себя хозяином своих дней. В тот мимолетный миг, когда человек окидывает взглядом все им прожитое, Сизиф, возвращаясь к своему камню, созерцает чреду бессвязных действий, которая и стала его судьбой, сотворенной им самим, спаянной воедино его собственной памятью и скрепленной печатью его слишком быст-

ро наступившей смерти. И так, уверенный в человеческом происхождении всего человеческого, подобный слепцу, жаждущему прозреть и твердо знающему, что его ночь бесконечна, Сизиф шагает во веки веков. Обломок скалы катится по сей день.

Я покидаю Сизифа у подножия горы. От собственной ноши не отделаешься. Но Сизиф учит высшей верности, которая отрицает богов и поднимает обломки скал. Сизиф тоже признает, что все — хорошо. Отныне эта вселенная, где нет хозяина, не кажется ему ни бесплодной, ни никчемной. Каждая песчинка камня, каждый вспыхивающий в ночи отблеск руды, вкрапленной в гору, сами по себе образуют целые миры. Одного восхождения к вершине достаточно, чтобы наполнить до краев сердце человека. Надо представлять себе Сизифа счастливым.

НАДЕЖДА И АБСУРД В ТВОРЧЕСТВЕ КАФКИ

Мастерство Кафки — в умении заставлять перечитывать. Его развязки — или отсутствие таковых — подсказывают толкование, но не выражают его однозначно, и, чтобы убедиться в том, что вы поняли правильно, приходится перечитывать всю историю сначала под новым углом зрения. Иногда возникает возможность двойного понимания — а с нею опять же необходимость второго прочтения. К чему и стремился автор. Однако было бы ошибкой пытаться объяснить все до мелочей в произведениях Кафки. Только целое передает символ, и, каким бы точным ни было его выражение, художником задан лишь импульс: дословного перевода быть не может. Нет ничего труднее, чем истолковать символическое произведение. Символ всегда ускользает из-под власти того, кто его использует, и заставляет автора в действительности сказать гораздо больше, чем он намеревался. Поэтому самый надежный способ понять символ — это не провоцировать его, приступать к чтению непредвзято, не высматривать подводных течений. В случае Кафки, в частности, надо честно принять его правила игры, подходить к драме со стороны изображения, а к роману — со стороны формы.

На первый взгляд для читателя беспристрастного это тревожные приключения испуганных, но упрямых персонажей, втянутых в разгадку тайн, которые никогда не

выражены ясно. В «Процессе» Йозеф К. является обвиняемым. Но суть обвинения ему неизвестна. Он, разумеется, хочет оправдаться, но не знает в чем. Адвокаты считают его дело трудным. При этом герой не пренебрегает любовью, едой и чтением газет. Его судят. В зале суда темно. Ему мало что удается понять. Он предполагает, что осужден, но почти не задумывается о том, к чему же его приговорили. Он даже сомневается иногда в существовании приговора и продолжает жить как обычно. Спустя много времени два господина, очень вежливых и хорошо одетых, приходят к нему и предлагают последовать за ними. С величайшей учтивостью они приводят его на глухую окраину, укладывают головой на камень и закалывают. Умирая, осужденный произносит лишь два слова: «как собака».

Конечно, трудно говорить о символе применительно к повествованию, самой заметной особенностью которого является будничность. Но будничность можно понимать по-разному. События воспринимаются читателем как заурядные во многих произведениях. Но бывает (правда, реже) и так, что сам герой находит естественным то, что с ним происходит. И здесь возникает своеобразный парадокс: чем фантастичнее приключения героя, тем будничнее тон рассказа, что вполне адекватно передает несоответствие между странностью самой человеческой жизни и простотой, с которой человек это принимает. Думается, именно таков смысл будничного тона Кафки. Мы прекрасно понимаем, что он хочет сказать «Процессом». Не раз шла речь о том, что это образ человеческого удела. Несомненно, так оно и есть. Но все одновременно и сложнее, и проще. Я имею в виду, что смысл романа для самого Кафки более личный, в нем много его собственных переживаний. В какой-то мере это и наша исповедь, но голос — его. Он живет, и он приговорен. Он узнает об этом с первых же страниц романа, неуклонное развитие которого есть его жизнь, и хотя он противится такому исходу, ничего удивительного в нем не видит. Этому отсутствию удивления он никогда не перестанет удивляться. Такого рода противоречия — первые признаки абсурдного творчества. Трагедия духа переносится в плоскость конкретного бытия. Это достижимо лишь благодаря неизменному парадоксу, который позволяет с помощью кра-

сок передавать пустоту, а через повседневные поступки — вечные устремления человека.

Точно так же «Замок» есть, вероятно, теология в действии, но прежде всего это индивидуальный путь души в поисках благодати, путь человека, который вопрошает предметы этого мира о тайне тайн, а в женщинах ищет проявлений дремлющего в них Бога. Бесспорно, в образной системе «Превращения» отразилась этика потери веры. Но вместе с тем это и выражение безмерного удивления, с каким человек вдруг ощущает в себе зверя, в которого ему ничего не стоит превратиться. В этой основополагающей двойственности и кроется секрет Кафки. Безостановочное балансирование между естественностью и невероятностью происходящего, трагизмом и обыденностью, абсурдом и логикой, личным и общим обнаруживает себя во всем его творчестве и придает ему особое звучание и значимость. Только выявив все эти парадоксы и противоречия, можно понять абсурдное произведение.

В самом деле, символ предполагает два плана, мир идей и мир ощущений, плюс словарь соответствий между ними. Такой словарь составить труднее всего. Но сам факт, что мы осознаем наличие этих двух миров, сведенных вместе, выводит нас на путь их тайных соотношений. У Кафки это мир обыденной жизни, с одной стороны, и сверхбытийного беспокойства — с другой¹. Здесь как бы непрерывно оправдывается фраза Ницше: «Все великие вопросы — на улице».

В уделе человеческом — это общее место всех литератур — заключена изначальная абсурдность и в то же время неотъемлемое величие. Они совпадают, естественно. И вместе проявляются в смехотворном несоответствии между ненасытностью притязаний души и бренными радостями тела. Абсурд в том, что душа принадлежит телу, неизмеримо превосходя его. Выразить этот абсурд можно в игре контрастов. Так Кафка выражает трагизм через будничность и абсурд через логику.

¹ Я хочу подчеркнуть, что можно с полным основанием толковать произведения Кафки как социальную критику (например, «Процесс»). Вероятно, и не следует выбирать непременно что-то одно. Оба толкования имеют право на существование. В системе абсурдных отношений, как мы видим, бунт против людей — это одновременно и бунт против Бога: все великие революции были метафизическими.

Чем сдержаннее исполнение трагической роли, тем сильнее производимое впечатление. Если актер соблюдает в игре меру, то ужас, который он вызывает у зрителя, беспределен. В этом смысле есть чему поучиться у греческой трагедии. Трагизм произведения наиболее ощутим, когда судьба выступает под видом логики и естественного порядка вещей. Судьба Эдипа известна заранее. Свыше предрешено, что он совершит убийство и кровосмешение. Вся трудность в том, чтобы показать логическую систему, которая от закономерности к закономерности ведет героя к трагическому исходу. Сообщение об этой из ряда вон выходящей судьбе само по себе не ужасно, ибо оно неправдоподобно. Но если неотвратимость рока продемонстрирована в рамках повседневной жизни, общества, государства, знакомых нам переживаний, то ужас становится почти священным. Бунт потрясенного человека, восклицающего: «Это невозможно», уже заключает в себе безнадежную уверенность, что «это» возможно.

Таков секрет греческой трагедии или, по крайней мере, одного из ее аспектов. Ибо есть и другой, позволяющий по принципу «от противного» лучше понять Кафку. Человеческое сердце имеет досадную склонность именовать судьбой лишь то, что его сокрушает. Но ведь и счастье лишено логики, ибо оно тоже неизбежно. Современный человек, однако, ставит себе его в заслугу — в тех случаях, когда сознает, что счастлив. Однако можно вспомнить об избранниках судьбы в греческой трагедии и легендарных счастливицах вроде Одиссея, к которым среди ужаснейших приключений спасение вдруг приходит само собой.

Но главное — увидеть тайное сообщничество, связывающее трагизм с логикой и будничностью. Вот почему Замза, герой «Превращения», — коммивояжер. Вот почему единственное, что удручает его в столь необыкновенном положении, это то, что хозяин будет недоволен его отсутствием. У него вырастают лапки и усики, спина становится выпуклой, на животе выступают белые крапинки, и все это его не то чтобы не удивляет — это звучит недостаточно выразительно, — а «немного смущает». Весь Кафка в этом оттенке. В главном его произведении — «Замке» — преобладают мелочи повседневной жизни, и, однако, в этом странном романе, где ни одно действие не достигает цели и всякий раз возвращает героя к исходной

точке, изображены приключения души в поисках благодати. Перевод проблемы в плоскость действия, совпадение общего и частного — уловки мастерства, свойственные, впрочем, всякому великому творцу. Герой «Процесса» мог бы зваться Шмидт или Франц Кафка. Но его зовут Йозеф К. Это не Кафка, и все-таки это он. Это средний европеец. Он как все. Но это еще и сущность К., неизвестное в живом уравнении из плоти.

Подобным же образом, желая выразить абсурд, Кафка прибегает к логике. Все знают анекдот про то, как сумасшедший удит рыбу в ванне. Врач из каких-то медицинских соображений спрашивает: «Клюет?», на что тот отвечает с неукоснительной логикой: «Ты что, дурак! В ванне?» Этот анекдот относится к разряду «абстрактных». Но в нем отчетливо видна связь абсурда с избытком логики. Невыразимый мир Кафки, в сущности, тот самый, где человек позволяет себе мучительную роскошь удить рыбу в ванне, заведомо зная, что ничего не поймает.

Таким образом, я признаю творчество Кафки абсурдным в его основных принципах. Относительно «Процесса», например, можно сказать, что успех полный. Плоть торжествует. Все налицо: и бунт (невыраженный, хотя это он диктует), и отвергающее самообман отчаяние (немое, хотя это оно творит), и эта удивительная свобода повествования, воздух, которым персонажи романа дышат вплоть до смерти в финале.

Однако мир Кафки не такой замкнутый, как кажется. В эту не знающую прогресса Вселенную он вводит надежду в необычной форме. В этом смысле «Процесс» и «Замок» имеют разную направленность. Они дополняют друг друга. Едва заметный шаг от одного к другому оказывается колоссальным продвижением. Ибо если «Процесс» ставит проблему, то «Замок» ее в известной степени разрешает. «Процесс» дает описание, почти научное, и не делает выводов. «Замок» объясняет. «Процесс» ставит диагноз, «Замок» предлагает лечение. Но прописанное им лекарство не исцеляет. Оно лишь возвращает больного к нормальной жизни. Помогает смириться с болезнью. В каком-то смысле (вспомним Киркегора) заставляет ее полюбить. Землемер К. не в состоянии вообразить иной заботы, кроме той, которая его гложет. Даже окружающие начинают любить вместе с ним эту пустоту и не имеющее названия

страдание, словно оно является знаком избранности. «Как ты нужен мне! — говорит Фрида землемеру К. — С тех пор как мы познакомились, мне так одиноко, когда тебя нет рядом». Это хитроумное лекарство, помогающее полюбить то, что нас убивает, и рождающее надежду в безысходном мире, этот внезапный «прыжок», меняющий все, и есть суть экзистенциальной революции и секрет самого «Замка».

Мало есть произведений столь неукоснительно последовательных в своем развитии, как «Замок». К. назначен землемером при Замке и приезжает в деревню. Но между Деревней и Замком сообщения нет. На протяжении сотен страниц К. будет упорно искать туда дорогу, пускаться на всевозможные ухищрения, лукавить, пробовать окольные пути и, ни на минуту не отчаиваясь, с обескураживающей верой добиваться права вступить в свою должность. В каждой главе он терпит очередную неудачу. И — возобновляет попытки. Здесь нет логики, а есть только дух последовательности. Неодолимая сила этого упорства и составляет трагизм романа. К. звонит в Замок и слышит лишь невнятный гул голосов, едва различимый смех, какое-то далекое гудение. Этого довольно, чтобы поддержать в нем надежду, — так некие знаки в летнем небе или вечера, полные неясных обещаний, наполняют смыслом нашу жизнь. Здесь кроется разгадка особой грусти, свойственной Кафке. Впрочем, не только Кафке, ибо та же самая грусть дышит в произведениях Пруста или в плотиновском пейзаже: это тоска по утраченному раю. «Мне делается очень грустно, — рассказывает Ольга, — когда Варнава говорит мне с утра, что идет в Замок: путь, вероятно, будет проделан зря, день, вероятно, потерян и надежда — напрасна». «Вероятно» — на этом оттенке у Кафки строится все. Но его рвение в поисках вечного не ослабевает. Персонажи Кафки, эти вдохновенные автоматы, дают нам образ того, чем были бы мы сами без наших развлечений¹, полностью предоставленные самоуничтожению перед божественным.

¹ В «Замке», очевидно, «развлечения» — в паскалевском смысле слова — воплощены в Помощниках, которые «отвлекают» К. от его заботы. И то, что Фрида становится в конце концов любовницей одного из Помощников, означает, что она предпочитает видимость истине и повседневность — разделенному беспокойству духа.

В «Замке» подчинение повседневности превращается в своего рода этику. Вся жизнь К. — в надежде быть принятым в Замке. Добиться своего в одиночку он не может и употребляет все усилия на то, чтобы заслужить эту благодать, сделавшись жителем Деревни и перестав быть в ней чужаком, которому чуть что — напоминают об этом. Он хочет работать, иметь семью, вести жизнь нормального здорового человека. К. уже не выдерживает своего безумия. Ему хочется образумиться, избавиться от проклятия, мешающего ему стать в Деревне своим. В этом смысле линия Фриды очень знаменательна. Эта женщина была когда-то любовницей одного из чиновников замка, и К. вступает с нею в связь из-за ее прошлого. Он обретает рядом с ней нечто, недоступное его пониманию, хотя прекрасно видит все, что делает ее навеки недостойной Замка. Здесь приходит на память странная любовь Киркегора к Регине Ольсен. Вселпоглощающий огонь вечности в некоторых людях настолько силен, что сжигает и сердца тех, кто рядом. Роковая ошибка, заключающаяся в том, что Богу отдается не Божие, предстает и в истории с Фридой. Но для Кафки это явно не есть ошибка. Это концепция и «прыжок». Нет ничего, что было бы не Божиим.

Еще более показателен тот факт, что землемер отдаляется от Фриды и сближается с сестрами Варнавы. Ведь семейство Варнавы — единственное в Деревне, которое полностью покинуто и Замком, и самой Деревней. Амалия, старшая сестра, отвергла домогательства одного из чиновников Замка. Постыдное проклятие, последовавшее за этим, навсегда лишило ее надежды на Божественную любовь. Если человек не способен поступиться честью во имя Бога, значит, он недостойн благодати. Известная тема экзистенциальной философии: истина в противоречии с моралью. Но Кафка не ограничивается констатацией. Ибо путь его героя — от Фриды к сестрам Варнавы — ведет от веры и любви к обожествлению абсурда. Здесь Кафка опять сближается с Киркегором. Вполне понятно, почему тема семьи Варнавы разворачивается в конце. Землемер делает последнюю попытку обрести Бога — обрести через то, что его отрицает, узнать его не в привычном для нас облике добра и красоты, а в пустых и уродливых ликах его равнодушия, его несправедливости и ненависти. К концу

своего пути этот пришелец, требующий, чтобы Замок принял его в свое лоно, оказывается еще дальше от цели, ибо на сей раз он изменил самому себе, отвернулся от морали, логики и истин разума ради попытки, не располагая ничем, кроме безрассудной надежды, вступить в пустыню Божественной благодати¹.

Слово «надежда» применительно к творчеству Кафки вовсе не кажется мне неуместным. Напротив, чем трагичнее предстает в его изображении человеческий удел, тем более вызывающей и непреклонной оказывается надежда. На фоне подлинно абсурдного «Процесса» вдохновенный «прыжок» «Замка» еще сильнее захватывает и потрясает, ибо в нем нет логики. Это в чистом виде знакомый нам парадокс экзистенциальной мысли, выраженный, к примеру, Киркегором: «Надо нанести смертельный удар земной надежде, и лишь тогда найдешь спасение в надежде истинной»². Это можно перевести так: «Надо было написать „Процесс“, чтобы взяться за „Замок“».

Большинство авторов, писавших о Кафке, определяли его творчество именно как крик отчаяния, не оставляющего человеку никакого прибежища. Но такой подход нуждается в пересмотре. Надежда надежде рознь. Оптимистическое творчество Анри Бордо мне представляется в высшей степени безысходным. Потому что все прихоти сердца здесь под запретом. Мысль Мальро, напротив, всегда живительна. Но и в том, и в другом случае речь идет об иной надежде и ином отчаянии. Я говорю лишь о том, что абсурдное творчество может само по себе привести к подмене, которой хотелось бы избежать. Воссоздание бесплодного бытия без претензий на выводы, отвергающее самообман воспевание тленной жизни неожиданно оказываются колыбелью иллюзий, превращаются в попытку объяснения, в обоснование надежды. И писатель уже не может без этого обойтись. Его творчество больше не является трагической игрой, каковой оно должно быть, а становится для него смыслом жизни.

Знаменательно, во всяком случае, что писатели, родственные по природе своего вдохновения, такие, как Каф-

¹ Это верно, разумеется, лишь для неоконченного варианта «Замка», который оставил нам Кафка. Но маловероятно, чтобы в последних главах писатель решился нарушить единство тона.

² «Чистота сердца».

ка, Киркегор или Шестов, — словом, романисты и философы экзистенциального направления, чья мысль полностью устремлена к абсурду и его следствиям, — завершают свой путь неудержимым криком надежды.

Они обнимают Бога, который их пожирает. Надежда вкрадывается через самоуничтожение. Ибо абсурд земного существования в известном смысле подтверждает для них наличие высшей сущности. Если путь земной жизни приводит к Богу, значит, безысходности нет. И то упорство, та одержимость, с которыми Киркегор, Шестов или герои Кафки повторяют один и тот же маршрут, свидетельствуют на свой лад об огромной вдохновляющей силе подобной уверенности¹.

Кафка отказывает своему Богу в великодушии, в доброте, последовательности и прямоте, — но лишь затем, чтобы с большим жаром броситься в его объятия. Абсурд признан, принят, человек смиряется с ним, и с этой минуты абсурд перестает быть абсурдом. Есть ли для человека более заманчивая надежда, чем ускользнуть от своего удела? Я в очередной раз убеждаюсь в том, что экзистенциальная философия, вопреки расхожему мнению, пронизана безмерной надеждой, родственной той, которая всколыхнула древний мир, провозгласив для ранних христиан благую весть. Но как не увидеть в этом упрямстве, в «прыжке», характеризующем экзистенциальную мысль, в этом межевании Божественной пустоты капитуляцию мысли перед ясностью? Это пытаются представить как отречение от гордыни во имя спасения. Такое отречение было бы плодотворным. Но одно не мешает другому. Для меня нравственная ценность отказа от самообмана не уменьшается оттого, что этот отказ объявляют бесплодным, как и всякую гордыню. Ибо истина тоже, по определению, бесплодна. Все истины таковы. В мире, где есть лишь данность и нет объяснений, плодотворность идеи или метафизики — понятие, лишенное смысла.

Во всяком случае, нам ясно, в какую философскую традицию вписывается творчество Кафки. Было бы неразумно считать переход от «Процесса» к «Замку» заранее

¹ Единственный персонаж «Замка», кому в надежде отказано, — это Амалия. Против нее землемер ополчается наиболее резко.

заданным. Йозеф К. и землемер К. для Кафки два полюса притяжения¹. Используя его любимое слово, я скажу, что, вероятно, его творчество не абсурдно. Но это не должно нам мешать видеть его величие и универсальность. Он сумел с поразительным мастерством передать повседневный переход от надежды к отчаянию и от мудрости вне надежды к намеренной слепоте. Его произведения универсальны (произведение подлинно абсурдным не является), потому что в них проступает потрясающее лицо человека, который отворачивается от своей природы, черпает в собственной противоречивости основания для веры, в плодотворном отчаянии — основания для надежды и именуется жизнью страшный путь ученичества у смерти. Произведения Кафки универсальны, потому что они по духу религиозны. Как во всех религиях, человек у него освобожден от тяжелого груза собственной жизни. И хотя я все это понимаю и восхищаюсь Кафкой, для меня важнее не универсальность, а истина. Одно с другим не обязательно совпадает.

Моя точка зрения будет понятнее, если я скажу, что подлинная безнадежность определяется как раз критериями прямо противоположными и повесть о человеке счастливом — если из нее изгнана надежда на потустороннее — вполне может звучать трагически. Чем более захватывающей кажется жизнь, тем абсурднее мысль об ее утрате. Тут, быть может, и кроется секрет горделивой бесплодности, явленной в творчестве Ницше. Ницше, вероятно, единственный среди близких ему по мысли художников, кто вывел крайние следствия из эстетики Абсурда: суть его последнего обращения к нам основана на бесплодном и всепобеждающем отрицании иллюзий и упрямом отказе от какого бы то ни было потустороннего утешения.

Всего сказанного, я думаю, достаточно, чтобы понять капитальную важность творчества Кафки. Он переносит нас на крайние рубежи человеческой мысли. Можно в полном смысле слова сказать, что в его творчестве существенно все. Кафка ставит проблему абсурда во всей пол-

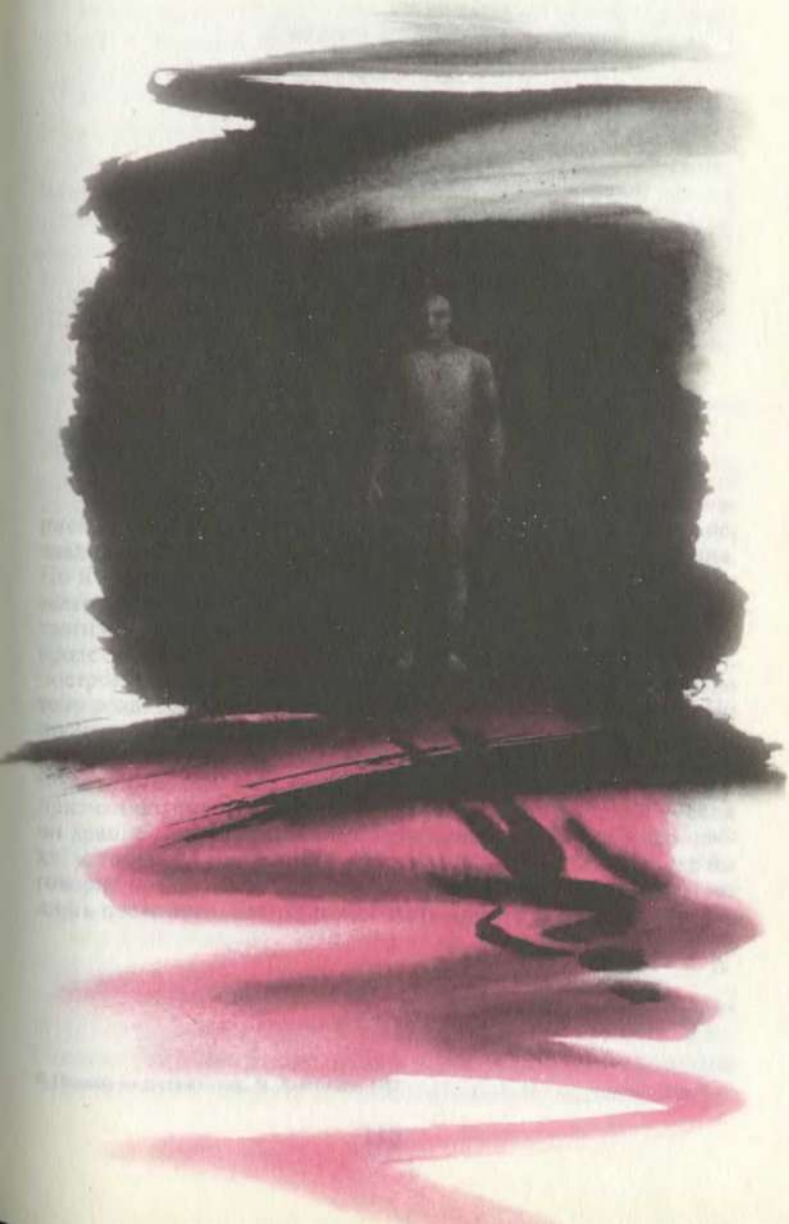
¹ Эти два аспекта мысли Кафки видны в сравнении: «Винность человека всегда несомненна» («В исправительной колонии») и «Винность землемера К. установить трудно» (Протокол Мома, фрагмент «Замка»).

ноте. И если мы теперь сопоставим эти выводы с тем, о чем говорилось вначале, подоплеку с формой, скрытый смысл «Замка» с натурализмом стиля, несущего этот смысл, страстные и самонадеянные поиски К. — с повседневной обстановкой, в которой они ведутся, мы поймем, сколь Кафка велик. Ибо если ностальгическая тоска есть отличительный признак человека, то никто, быть может, кроме Кафки, не сумел придать такой выразительности и достоверности фантомам сожаления. И в то же время мы поймем, в чем состоит особое величие, которого требует абсурдное творчество и которого, быть может, у Кафки нет. Поскольку искусству свойственно выражать всеобщее через конкретное, брэнную вечность капли воды через игру света в ней, постольку величие абсурдного писателя следует оценивать по степени разобщенности между этими двумя мирами в его изображении. Его секрет — в умении найти ту единственную точку, где они смыкаются во всей их несопоставимости.

Впрочем, это геометрическое место человека и нечеловеческого чистые сердца умеют видеть повсюду. Фауст и Дон Кихот обрели свою значимость благодаря тому безмерному величию, на которое они указывают нам земными руками. Но рано или поздно неизбежно наступает момент, когда разум начинает отрицать истины, которых эти руки могут коснуться. Наступает момент, когда творение уже не воспринимается трагически: оно воспринимается просто всерьез. Тогда человек обращается к надежде. Но надежда не его дело. Его дело — отвернуться от уловок сознания. Однако именно такую уловку и являет собою итог бурного процесса, затеянного Кафкой против мироздания. Его невероятный вердикт оправдывает в конечном счете этот уродливый и потрясающий мир, где даже кроты осмеливаются надеяться¹.

¹ Нами предложено, несомненно, одно из возможных толкований творчества Кафки. Однако ничто не мешает исследовать его, не вдаваясь ни в какие толкования, под углом зрения чисто эстетическим. Например, Б. Гретюизен в своем замечательном предисловии к «Процессу» поступает благоразумнее, чем мы, и ограничивается рассмотрением — как он блистательно выражается — мучительных фантазий бодрствующего сновидца. Судьба и, быть может, величие Кафки в том, что он располагает к любому толкованию и ни одно из них не подтверждает.

НЕДОРАЗУМЕНИЕ



LE MALENTENDU

Действующие лица:

Марта

Мария

Мать

Ян

Старый слуга

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Недоразумение», бесспорно, пьеса мрачная. Она была написана в 1943 году, в окруженной и оккупированной стране, вдали от всего, что я любил. Она окрашена в цвета изгнания. Но я не считаю, что она внушает безнадежность. У несчастья всего одно средство перебороть самое себя, и это средство — трагизм. «Трагизм, — говорит Лоуренс, — должен быть чем-то вроде хорошего пинка под зад несчастью». «Недоразумение», построенное на современном материале, подхватывает древнюю тему рока. Удалась ли такая перестановка — судить публике. Но прочтя эту трагедию, было бы неверно делать вывод, что она учит смириться с судьбой. Пьеса зовет к бунту, а кроме того, может преподать урок искренности. Если человек стремится к признанию, ему нужно просто признаться, кто он такой. А если он хранит молчание или лжет, ему суждено умирать в одиночку, и тогда всё вокруг него обречено на несчастье. Если же он говорит правду, ему, безусловно, тоже приходится умирать, но лишь после того, как он помог жить другим и самому себе.

А. К.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Полдень. Зала в гостинице, светлая и чистая.
В обстановке ничего лишнего.

Сцена первая

Мать. Он вернется.

Марта. Он вам это сказал?

Мать. Да. Когда ты вышла.

Марта. Вернется один?

Мать. Не знаю.

Марта. Он богат?

Мать. О цене он не спрашивал.

Марта. Что ж, если богат, тем лучше. Но нужно еще, чтобы он был одинок.

Мать (*устало*). Одинок и богат, да-да. И нам надо будет опять приниматься за старое.

Марта. Конечно. Мы и примемся. И получим сполна за свой труд. (*Пауза. Смотрит на мать.*) Вы какая-то странная, мать. Я с трудом узнаю вас последнее время.

Мать. Дочь моя, я устала, больше ничего. Мне хочется отдохнуть.

Марта. Я могу взять на себя работу по дому, которая еще осталась за вами. И вы сможете полностью распоряжаться своим временем.

Мать. Я не о таком отдыхе говорю. Нет, это просто мечта старой женщины. Я стремлюсь только к покою, к тому, чтобы хоть ненадолго избавиться от забот. (*Едва слышно смеется.*) Это звучит глупо, Марта, но бывают вечера, когда я чувствую в себе чуть ли не склонность к религии.

Марта. Вы еще не настолько одряхлели, чтобы думать об этом. У вас есть дела и поважнее.

Мать. Ты ведь понимаешь, что я шучу. Да и какая в этом беда? К концу жизни можно себе позволить немного расслабиться. Негоже быть всегда сухарем, Марта, и веч-

но держать себя в узде, как это делаешь ты. Я знаю многих девушек, твоих сверстниц, у которых на уме одни безрассудства.

Марта. Все их безрассудства — сущий пустяк по сравнению с нашими, вы это сами отлично знаете.

Мать. Не будем об этом.

Марта (*медленно*). Можно подумать, что некоторые слова обжигают теперь вам рот.

Мать. Почему это так тебя заботит? Я ведь не отказываюсь от наших дел. Что тут такого? Я только хотела сказать, что была бы рада увидеть хоть раз, как ты улыбаешься.

Марта. Клянусь вам, это со мною бывает.

Мать. Я никогда не видела тебя улыбающейся.

Марта. Потому что я улыбаюсь у себя в комнате, когда бываю одна.

Мать (*пристально вглядываясь в нее*). Какое суровое у тебя лицо, Марта!

Марта (*подходя ближе, спокойно*). Значит, оно не нравится вам?

Мать (*так же вглядываясь. После паузы*). Нет, пожалуй, все-таки нравится.

Марта (*возбужденно*). Ах, мать! Когда мы накопим много денег и сможем покинуть эти убогие земли, когда позади останется и эта жалкая гостиница, и этот пасмурный город, и мы забудем этот дождливый край, — в день, когда мы окажемся наконец перед морем, о котором я столько мечтала, — в этот день вы увидите, что я улыбаюсь. Но нужны немалые деньги, чтобы жить безбедно у моря. Вот почему не надо бояться слов. Вот ради чего нам нужно заняться человеком, который сейчас придет. Если он достаточно богат, моя свобода начнется, быть может, с него. Он долго говорил с вами, мать?

Мать. Нет, фразы две, не больше.

Марта. Какой у него был вид, когда он просил у вас комнату?

Мать. Не знаю. Я плохо вижу и не рассмотрела его. Я по опыту знаю, что лучше на них не смотреть. Легче убивать тех, кого ты не знаешь. (*Пауза.*) Ну вот, можешь радоваться, я не боюсь теперь слов.

Марта. Так оно лучше. Терпеть не могу недомолвок. Убийство есть убийство, надо знать, чего хочешь. И мне кажется, что вы тоже это знали, что вы сами об этом подумали, когда ответили путнику.

Мать. Нет, об этом я не подумала. Я ответила по привычке.

Марта. По привычке? Но ведь удобные случаи выпадали так редко!

Мать. Конечно. Но привычка начинается уже со второго убийства. С первым убийством еще ничего не начинается, с ним только что-то заканчивается. И потом, если удобные случаи выпадали и редко, они растягивались на долгие годы, и привычка укреплялась за счет воспоминания. Да, привычка, это она заставила меня ответить, это она мне шепнула, чтобы я не глядела на этого человека, это она подтвердила мне, что у него лицо жертвы.

Марта. Мать, его надо убить.

Мать (*немного тише*). Разумеется, его надо убить.

Марта. Вы как-то странно говорите об этом.

Мать. Я в самом деле устала, и мне бы хотелось, чтобы этот человек оказался последним. Ужасно утомительно — убивать. Мне все равно, где я умру, возле моря или среди этих равнин, но я очень хочу, чтобы мы уехали отсюда вместе с тобой.

Марта. Мы уедем вместе отсюда, и это будет наш звездный час! Соберитесь с силами, мать, осталось сделать немного. Вы ведь знаете, речь даже не о том, чтобы его убивать. Он выпьет свой чай и уснет, и еще живого мы отнесем его к реке. Его отыщут нескоро, он прибьется к плотине вместе с другими горемыками, кому в жизни тоже не повезло и кто с открытыми глазами бросается в воду. В тот день, когда мы с вами смотрели, как чистят плотину, вы мне сами сказали, мать, что наши страдают меньше других и что жизнь еще более жестока, чем мы. Так соберитесь же с силами, вы обретете желанный покой, и мы наконец убежим отсюда.

Мать. Да, я соберусь с силами. Иногда меня и вправду утешает мысль, что наши совсем не страдали. Это даже не убийство, а просто вмешательство, небольшая помощь, которую мы оказываем незнакомым нам жизням. В самом деле, жизнь гораздо более жестока, чем мы. Должно быть, потому-то мне и трудно считать себя виноватой.

Входит старый слуга. Он молча садится за конторкой.
До конца сцены он ни разу не шевельнется.

Марта. В какой комнате мы его поселим?

Мать. Неважно в какой, лишь бы только не высоко.

Марта. Да, в последний раз мы намаялись из-за этих двух этажей. *(Впервые за все время садится.)* Мать, а правда, что там на пляжах песок обжигает ноги?

Мать. Я никогда там не была, ты ведь знаешь. Но мне говорили, что солнце там сжигает все вокруг.

Марта. В одной книге я прочитала, что оно пожирает в человеке все, даже душу, и тело становится сверкающим, легким, но внутри пустым.

Мать. Об этом ты и мечтаешь, Марта?

Марта. Да, мне надоело все время носить в себе душу, я хочу найти поскорее страну, где солнце убивает сомнения и вопросы. Мой дом не здесь.

Мать. Но прежде нам, увы, предстоит еще многое сделать. Если все сойдет благополучно, я, конечно, отправлюсь вместе с тобой. И все же у меня нет ощущения, что это будет путь к моему дому. Когда ты стар, на земле уже нет жилища, где бы ждал тебя отдых; хорошо уже то, что я сумела своими руками сложить из кирпичей этот жалкий, захламленный воспоминаниями дом, в котором мне иногда удается заснуть. Было бы, однако, еще лучше, если бы вместе с забвением я обрела бы и сон. *(Встает и направляется к двери.)* Подготовь все, что нужно, Марта. *(Пауза.)* Если это дело вообще стоит труда.

Марта смотрит ей вслед. Потом уходит в другую дверь.

Сцена вторая

Старый слуга идет к окну, замечает Яна и Марию и встает так, чтобы они его не увидели. Несколько секунд старик остается на сцене один. Входит Ян. Он останавливается, оглядывает залу, замечает старика, стоящего у окна.

Ян. Есть тут кто-нибудь?

Старик глядит на него, идет через сцену и уходит.

Сцена третья

Входит Мария. Ян резко оборачивается.

Ян. Ты следила за мной.

Мария. Прости, но я не могла по-другому. Может быть, я сразу же и уйду. Но позволь мне увидеть место, где я тебя оставляю.

Ян. Сюда могут войти, и то, что я хочу сделать, окажется невозможным.

Мария. Тогда, по крайней мере, мы используем шанс: вдруг кто-то входит, и я делаю так, что тебя узнают, хоть ты этого и не хочешь.

Он отворачивается. Пауза.

Мария (оглядывая залу). Это здесь?

Ян. Да, это здесь. В эту дверь я ушел двадцать лет назад. Моя сестра была маленькой девочкой. Она играла в этом углу. Моя мать не пришла обнять меня на прощание. Тогда мне казалось, что мне это безразлично.

Мария. Ян, я не могу поверить, что они тебя сейчас не узнали. Мать всегда узнаёт своего сына.

Ян. Она не видела меня двадцать лет. Я был подростком, можно сказать, ребенком. Мать постарела, зрение у нее ослабло. Я сам с трудом ее узнал.

Мария (нетерпеливо). Все это я уже знаю: ты вошел, поздоровался, сел. И ничего вокруг не узнавал.

Ян. Моя память оказалась неточной. Женщины не проронили ни слова. Они подали мне пиво, когда я его заказал. Они на меня смотрели, но меня не видели. Все получилось гораздо сложнее, чем я думал.

Мария. Ты прекрасно знаешь, что ничего сложного не было и что тебе достаточно было заговорить. В таких случаях говорят: «Это я», и все становится на свои места.

Ян. Да, конечно, но меня подвело воображение. В глубине души я все время надеялся, что они устроят пир по случаю возвращения блудного сына, а мне подали пиво за мои же деньги. Я был так потрясен, что ничего не мог сказать.

Мария. Хватило бы одного только слова.

Ян. Я его не нашел. Но все это пустяки, мне некуда торопиться. Я пришел сюда, чтобы поделиться с ними своим богатством, а если смогу, дать им счастье. Когда я узнал о смерти отца, я понял, что на мне — ответственность за этих женщин, а поняв это, я делаю то, что должен делать. Но оказалось, возвратиться в свой дом вовсе не просто, и требуется время, чтобы посторонний стал сыном.

Мария. Но почему ты не объявил им о своем возвращении? Бывают обстоятельства, когда мы обязаны поступать, как все люди. Если хочешь, чтобы тебя узнали, ты себя называешь, это же очевидно! А начнешь выдавать себя за кого-то другого — неизбежно все испортишь. Как они могут не считать тебя посторонним, если ты ведешь себя в доме как посторонний? Нет, нет, это все ненормально.

Ян. Ну, полно, Мария, ничего ужасного не произошло. К тому же это на руку моим планам. Я смогу увидеть их со стороны. И мне будет легче понять, как устроить их счастье. А позже я придумаю какой-нибудь способ, чтобы они узнали меня. Главное — найти нужное слово.

Мария. Есть один только способ: сделать так, как сделал бы каждый на твоём месте, — сказать: «Вот и я», а дальше пусть говорит твое сердце.

Ян. Сердце — тоже вещь не очень простая.

Мария. Но слова у него простые. И было совсем не трудно сказать: «Я ваш сын, вот моя жена. Я жил с ней в стране, которую мы любили, в краю моря и солнца. Но там я не был полностью счастлив, и для полного счастья нуждаюсь сегодня в вас».

Ян. Это не так, Мария. Я в них не нуждаюсь, но я понял, что они, наверно, нуждаются во мне и что человек не должен жить в отрыве от своих корней.

Пауза. Мария отворачивается.

Мария. Должно быть, ты прав, прости меня. Но мне повсюду чудится угроза — с первого часа, как я ступила на землю этой страны, где я тщетно пытаюсь найти хотя бы одно счастливое лицо. Европа оказалась такой унылой! С той поры, как мы здесь, я уже не слышу твоего смеха, да и сама начинаю на все смотреть с подозрением.

О, зачем ты заставил меня покинуть мой край? Ян, уедем отсюда, нам не видать здесь счастья.

Ян. Мы не за счастьем сюда явились. Счастье у нас есть.

Мария (*с горячностью*). Почему же нам не довольствоваться им?

Ян. Счастье — это не все, у каждого есть еще долг. Мой состоит в том, чтобы обрести свою мать, свою родину..

Мария делает движение к нему. Ян останавливает ее. Слышатся шаги. Перед окном проходит старый слуга.

Ян. Сюда идут. Уходи, Мария, прошу тебя.

Мария. Но только не так. Так — невозможно.

Ян (*шаги тем временем приближаются*). Укройся вот здесь.

Подталкивает ее к задней двери.

Сцена четвертая

Задняя дверь открывается. Старик пересекает залу, не замечая Марии, и выходит в наружную дверь.

Ян. А теперь быстрее уходи. Видишь, фортуна на моей стороне.

Мария. Я хочу остаться. Я буду молча сидеть рядом и ждать, когда тебя узнают.

Ян. Нет, ты меня выдашь.

Она отворачивается, потом снова подходит к нему и смотрит в лицо.

Мария. Пять лет, как мы женаты, Ян.

Ян. Скоро пять лет.

Мария (*опустив голову*). В эту ночь мы впервые будем не вместе. (*Он молчит, она опять глядит на него.*) Я всегда в тебе все любила, даже то, чего я не понимала, и, если говорить честно, мне и не хотелось, чтобы ты был другим. Я не из тех жен, которые перечат мужьям. Но тут мне страшно, я боюсь одинокой постели, в которую ты выпроваживаешь меня, боюсь, когда ты меня покидаешь.

Я н. Ты не должна сомневаться в моей любви.

Мария. О, в ней я не сомневаюсь! Но, кроме твоей любви, у тебя еще есть твои мечты — или твой долг, что то же самое. Ты так часто от меня ускользаешь. Как будто тебе надо от меня отдохнуть. А я не хочу от тебя отдыхать, и нынешний вечер (*она с плачем бросается к нему*), нынешний вечер... я не вынесу его.

Я н. (*прижимая ее к себе*). Это ребячество.

Мария. Конечно, ребячество. Но там мы с тобой были счастливы, и моя ли вина, если в этой стране вечера внушают мне страх. Не хочу, чтобы ты оставлял меня одну.

Я н. Я оставлю тебя ненадолго. Пойми, Мария, я должен сдержать слово.

Мария. Какое слово?

Я н. Которое я дал себе в тот день, когда понял, что мать нуждается во мне.

Мария. Ты должен сдержать и другое слово.

Я н. Какое?

Мария. Которое ты дал мне в тот день, когда обещал жить со мной вместе.

Я н. Я надеюсь, что смогу все это примирить. Ведь то, о чем я тебя прошу, — такая малость. Пойми, это не каприз. Дай мне один вечер и одну ночь, чтобы я попытался себе уяснить, на каком я свете, и лучше понял этих двух женщин, которых люблю, и узнал, как мне сделать их счастливыми.

Мария (*качая головой*). Разлука всегда удручает того, кто по-настоящему любит.

Я н. Дикарка! Ты прекрасно знаешь, что я тебя по-настоящему люблю.

Мария. Нет, мужчины никогда не знают, как нужно любить. Они ничем не бывают довольны. Единственное, что они умеют, это витать в облаках, придумывать себе все время новые обязанности и долги, стремиться на поиски новых стран и новых жилищ. Но мы, женщины, знаем, что в любви ничего нельзя откладывать на завтра, нужно делить с любимым ложе, крепко держаться за руки, остерегаться разлук. Когда любишь, ни о чем другом не мечтаешь.

Я н. Ну чего ты добиваешься? Речь идет лишь о том, чтобы я встретился с родной своей матерью, помог ей, сделал ее счастливой. А что до моих мечтаний или моих

обязанностей, нужно принимать их такими, каковы они есть. Без них я ничего бы не стоил, и ты сама бы меня меньше любила, если б у меня их не было.

Мария (*резко поворачивается к нему спиной*). Я знаю, что твои доводы всегда один лучше другого и тебе ничего не стоит меня убедить. Но я тебя больше не слушаю, я затыкаю уши, когда ты начинаешь говорить этим голосом. Я хорошо его знаю. Это голос твоего одиночества, это не голос любви.

Ян (*встает позади нее*). Довольно об этом, Мария. Я хочу, чтобы ты меня оставила здесь одного. Мне нужно как следует во всем разобраться. В этом нет ничего страшного, не такое уж большое дело — переночевать под одной крышей с собственной матерью. Остальное решит Господь. Но Господу ведомо и то, что за всеми этими заботами я не забываю о тебе. Только не может человек быть счастливым в изгнании или в забвении. Нельзя всегда быть посторонним. Я хочу вновь обрести свою родину, дать счастье всем, кого я люблю. О дальнейшем я пока не задумываюсь.

Мария. Ты бы мог все это сделать, если бы заговорил с ними простым языком. А твой способ вряд ли хорош.

Ян. Он хорош, поскольку благодаря ему я узнаю, обманули меня мои мечты или нет.

Мария. Я от души желаю, чтобы они тебя не обманули и чтобы ты оказался прав. А у меня одна только мечта — о стране, где мы с тобой были счастливы, и один только долг — ты.

Ян (*прижимая ее к себе*). Позволь мне пойти. Я найду в конечном счете слова, которые все уладят.

Мария (*оттаивая*). О, продолжай же и дальше мечтать. Ничто мне не страшно, если со мною твоя любовь! Обычно я не могу быть несчастлива, когда я с тобой. Я набираюсь терпения, жду, когда ты устанешь витать в облаках, — тогда начинается мое время. А сегодня я несчастлива лишь потому, что я уверена в твоей любви, а ты меня гонишь. Вот почему любовь мужчин надрывает нам сердце. Они не в силах совладать с искушением отказаться от того, что им дорого.

Ян (*берет ее лицо в ладони и улыбается*). Это правда, Мария. Но посмотри на меня, мне не грозит никакая опас-

ность. Я действую по своей воле и с чистым сердцем. Ты на одну ночь вверяешь меня моей матери и сестре, это вовсе не так страшно.

Мария (*отрываясь от него*). Что ж, прощай, и да хранит тебя моя любовь. (*Идет к двери и показывает ему свои пустые руки.*) Гляди, у меня ничего больше нет. Ты отправляешься на разведку и оставляешь меня в мучительном ожидании.

Она стоит в нерешительности. Потом уходит.

Сцена пятая

Ян садится. Входит старый слуга, оставляя дверь открытой, чтобы пропустить Марту, и выходит.

Ян. Добрый день. Я пришел по поводу комнаты.

Марта. Я знаю. Ее для вас готовят. Я должна записать вас в реестр.

Она идет за регистрационной книгой и возвращается.

Ян. У вас очень странный слуга.

Марта. К нам до сих пор никто еще не обращался с жалобой на него. Он всегда аккуратно выполняет всю то, что ему положено выполнять.

Ян. О, это не жалоба. Просто он не похож на других, ничего больше. Он что, немой?

Марта. Нет, здесь другое.

Ян. Значит, он все же говорит?

Марта. Очень мало и только самое главное.

Ян. Во всяком случае, он как будто не слышит, что ему говорят.

Марта. Нельзя сказать, что совсем не слышит. Слышит, но плохо. Однако мне нужно записать вашу фамилию и имя.

Ян. Гашек, Карл.

Марта. Карл — и все?

Ян. И все.

Марта. Дата и место рождения?

Ян. Мне тридцать восемь лет.

Марта. Где вы родились?

Ян. В Богемии.

Марта. Ваша профессия?

Ян. У меня нет профессии.

Марта. Нужно быть или очень богатым, или очень бедным, чтобы жить, не имея в руках ремесла.

Ян *(улыбается)*. Не могу сказать, что я очень беден, но в силу ряда причин меня это радует.

Марта *(другим тоном)*. Вы, разумеется, чех?

Ян. Разумеется.

Марта. Ваше постоянное место жительства?

Ян. Богемия.

Марта. Вы и приехали оттуда?

Ян. Нет, я приехал из Африки. *(Она как будто не понимает)*. С другой стороны моря.

Марта. Я знаю. *(Пауза.)* Вы туда ездите часто?

Ян. Довольно часто.

Марта *(несколько мгновений грезит наяву, потом спохватывается)*. Куда вы направляетесь?

Ян. Не знаю. Это будет зависеть от целого ряда вещей.

Марта. Вы намереваетесь здесь остаться?

Ян. Не знаю. Смотря по тому, что я здесь найду.

Марта. Впрочем, это не имеет значения. Но никто вас не ждет?

Ян. Нет, в принципе никто.

Марта. Полагаю, у вас есть какой-нибудь документ?

Ян. Да, могу вам его предъявить.

Марта. Спасибо, не беспокойтесь. Мне достаточно указать, паспорт это или удостоверение личности.

Ян *(колеблется)*. Паспорт. Вот он. Хотите взглянуть?

Она берет паспорт и собирается его прочесть, но в раме дверей возникает старый слуга.

Марта. Нет, я тебя не звала. *(Старик выходит. Марта рассеянно возвращает Яну паспорт, так и не прочитав его.)* Когда вы туда приезжаете, вы живете у моря?

Ян. Да.

Она встает и как будто собирается закрыть тетрадь; потом, спохватившись, оставляет ее открытой.

Марта (*неожиданно строго*). Да, забыла! У вас есть семья?

Ян. Была. Но я давно покинул ее.

Марта. Нет, я хочу спросить — вы женаты?

Ян. Почему вы об этом спрашиваете? Ни в одной гостинице мне не задавали такого вопроса.

Марта. Он значится в вопроснике, который раздает нам администрация нашего кантона.

Ян. Очень странно. Да, я женат. Вы должны были, впрочем, заметить мое обручальное кольцо.

Марта. Я его не заметила. Можете ли вы дать мне адрес вашей жены?

Ян. Она осталась на родине.

Марта. Что ж, прекрасно. (*Закрывает реестр.*) Может быть, я предложу вам что-нибудь выпить, пока вам готовят комнату?

Ян. Нет, я лучше просто здесь подожду. Надеюсь, я вас не стесню.

Марта. Как вы можете меня стеснить? Эта зала для того и существует, чтобы принимать в ней клиентов.

Ян. Да, но когда клиент всего лишь один, он стесняет порою больше, чем толпа посетителей.

Марта (*приводя залу в порядок*). Отчего ж? Я думаю, вы не собираетесь морочить мне голову всякими глупостями. Я ничего не могу предложить тем, кто приходит сюда позубоскалить. Это давно уже поняли в нашей округе. И вы скоро увидите, что остановились в спокойной гостинице. Сюда мало кто заходит.

Ян. Вряд ли это способствует успеху в ваших делах.

Марта. Какую-то долю выручки мы на этом теряем, но зато обретаем покой. А покой никакими деньгами не купишь. К тому же, один хороший клиент куда лучше шумной компании. Хороший клиент — вот что в сущности нам нужно.

Ян. Но... (*колеблется*) но, должно быть, жизнь здесь у вас у обеих не слишком веселая. Вы не чувствуете себя одинокими?

Марта (*резко поворачивается к нему лицом*). Послушайте, я вижу, пора вас предостеречь. Так вот, войдя сюда, вы пользуетесь только правами клиента. Пользуетесь ими в полной мере. Вы будете хорошо обслужены, и, могу вас заверить, вам не придется жаловаться на наш прием. Но

вам не следует беспокоиться по поводу нашего одиночества, равно как не стоит заботиться о том, чтобы нас не стеснить или чтобы ваше появление в зале не застало нас врасплох. Вам предоставлено место клиента, располагайтесь в нем как можно удобнее, оно ваше по праву. Но не выходите за эти рамки.

Я н. Прошу меня простить. Я хотел выразить вам свою симпатию, в мои намерения не входило вас сердить. Просто мне показалось, что мы с вами не совсем посторонние друг другу люди.

М а р т а. Вижу, мне снова придется повторить вам, что речь вообще не о том, сержусь я или не сержусь. Мне кажется, вы упорно стремитесь продолжать разговор в тоне, который явно вам не подходит, что я и пытаюсь вам показать. И делаю это, поверьте, без всякого раздражения. Ведь нам обоим будет только на пользу, если ни вы, ни я не станем допускать фамильярности. Если же вы по-прежнему намерены говорить языком, не подобающим клиенту, все решится довольно просто: мы откажемся вас принять. Но если вы, на что я надеюсь, поймете, что две женщины, которые сдали вам комнату, ничуть не обязаны при этом допускать более близкие отношения с вами, тогда все будет в полном порядке.

Я н. Ничуть в этом не сомневаюсь. С моей стороны было непростительно дерзко дать вам повод подумать, что я заблуждаюсь на сей счет.

М а р т а. Невелика беда. Не вы первый пытаетесь перейти на такой тон. Но я всегда выражаюсь достаточно ясно, чтобы с самого начала исключить возможность ошибки.

Я н. Вы в самом деле выражаетесь ясно, и я признаю, что мне нечего больше сказать... пока что.

М а р т а. Почему нечего? Вам ничто не мешает перейти на язык наших клиентов.

Я н. Что же это за язык?

М а р т а. Большинство из них беседовало с нами о своих путешествиях, о политике — словом, обо всем, но только не обо мне и не о моей матери. Именно об этом мы вас и просим. Бывало даже, некоторые нам рассказывали про свою собственную жизнь, про то, кто они такие. Все это в порядке вещей. В круг обязанностей, за которые мы получаем деньги, входит в конечном счете и обязанность

выслушивать клиента. Но плата за пансион не может, разумеется, включать в себя обязанность хозяев гостиницы отвечать на вопросы клиентов. Моя мать иногда отвечает — по причине своего полного безразличия, но я отказываюсь — из принципа. Если вы это хорошо себе уясните, мы не только придем к согласию, но вы скоро обнаружите, что еще обо многом можете нам рассказать и что человек получает порой удовольствие оттого, что его кто-то слушает, когда он начинает говорить о себе.

Я н. К сожалению, я не умею интересно рассказывать о себе. Да это, впрочем, и ни к чему. Если я остановлюсь у вас на короткое время, зачем вам знать обо мне? А если останусь надолго, у вас и без моих рассказов будет возможность понять, кто я такой.

Марта. Надеюсь только, что вы не станете таить на меня обиду за то, что я вам сейчас сказала. Я всегда считала полезным показывать вещи такими, каковы они есть, и не могла позволить вам продолжать разговор в манере, которая в конце концов испортила бы наши отношения. Мои слова продиктованы здравым смыслом. Поскольку до этого дня у нас не было ничего общего с вами, нет никаких оснований и для того, чтобы между нами сразу возникла душевная близость.

Я н. Я уже все вам простил. В самом деле, я и сам знаю, что близость не возникает внезапно.

Входит мать.

Сцена шестая

Мать. Здравствуйте, сударь. Комната для вас готова.

Я н. Весьма вам благодарен, сударыня.

Мать садится.

Мать (*Марте*). Ты заполнила регистрационный лист?
Марта. Да.

Мать. Можно взглянуть? Прошу извинить меня, сударь, полиция на сей счет очень придирчива. Да вот, пожалуйста, моя дочь не указала причину вашего прибытия — состояние здоровья, деловая цель или туристическая поездка.

Ян. Скорее всего, речь здесь может идти о туризме.

Мать. Вероятно, из-за монастыря? О нашем монастыре говорят много хорошего.

Ян. Да, я об этом, действительно, слышал. Но мне захотелось еще раз увидеть край, который я некогда знал и о котором у меня сохранились самые теплые воспоминания.

Марта. Вы тут жили?

Ян. Нет, но когда-то, очень давно, я случайно оказался здесь проездом. И не забыл об этом.

Мать. Но у нас ведь просто крохотная деревенька.

Ян. Конечно. Но мне она очень нравится. С первых минут я чувствую себя так, будто оказался в родном доме.

Мать. Вы собираетесь остаться надолго?

Ян. Не знаю. Это может, наверно, показаться странным. Но я в самом деле не знаю. Чтобы где-то остаться, нужны серьезные поводы, нужно, чтобы отыскиались друзья, чтобы какие-то люди питали к вам нежные чувства. Без этого нет никаких причин оставаться именно здесь, а не в любом другом месте. И поскольку трудно заранее знать, как тебя примут, вполне естественно, что мне и самому неизвестно, как я поступлю.

Марта. Все это не слишком понятно.

Ян. Да, но я не умею объяснить вам понятнее.

Мать. Помилуйте, да вам здесь все быстро наскучит.

Ян. Нет, у меня верное сердце, и я быстро могу все вспомнить — если представится случай.

Марта (с раздражением). Сердце тут ни при чем.

Ян (как будто не слышит; обращаясь к матери). У вас очень утомленный вид. Стало быть, вы давно поселились в этой гостинице?

Мать. С той поры прошли годы и годы. Столько лет уткло, что я уж больше не знаю, когда это все началось, и даже забыла, какой тогда я была. А это моя дочь.

Марта. Мать, вам незачем толковать об этих вещах.

Мать. Ты права, Марта.

Ян (очень живо). Почему же? Я очень хорошо понимаю ваши чувства, сударыня. Чувства, к которым человек приходит в конце долгой жизни, наполненной непрерывным трудом. Но, может быть, все бы переменялось, будь вам оказана поддержка, какую надлежит оказывать всякой женщине, поддержка сильной мужской руки.

Мать. Ах, когда-то она поддерживала меня, но работы было все равно слишком много. Мы с мужем едва с ней справлялись. У нас даже не было времени друг о друге подумать, и мне кажется, я забыла о нем еще до того, как он умер.

Ян. Да, мне понятно все это. Но... *(на мгновение он в нерешительности замолкает)*... но если бы руку помощи протянул вам сын... уж его-то, наверно, вы не забыли?

Марта. Мать, нам еще многое надо сделать.

Мать. Сын! Ах, я очень старая женщина! Старые женщины разучаются любить даже сына! Сердце, сударь, дряхлеет.

Ян. Это правда. Но я знаю, что сын никогда не может забыть.

Марта *(встает между ними; решительно)*. Сын, который вошел бы сюда, был бы здесь встречен точно так же, как и всякий другой клиент: с доброжелательным равнодушием. Все, кого мы у себя принимали, с этим свыкались. Они оплачивали стоимость комнаты и получали ключ от нее. О своем сердце они не рассуждали. *(Пауза.)* Это облегчало нам нашу работу.

Мать. Довольно об этом.

Ян *(размышляя)*. И надолго они у вас оставались?

Марта. Некоторые очень надолго. Мы делали все необходимое, чтобы они остались. Другие же, те, что были не слишком богаты, съезжали на следующий день. Для них мы не делали ничего.

Ян. У меня много денег, и я желаю задержаться в этой гостинице на какое-то время, если вы готовы меня принять. Забыл вам сказать, что мог бы оплатить все заранее.

Мать. О, нам нужно другое!

Марта. Если вы богаты, это хорошо. Только не говорите больше о своем сердце. Ему мы ничем не можем помочь. Еще немного, и я попросила бы вас уйти, настолько утомил меня ваш тон. Возьмите свой ключ, удостоверьтесь, что комната устраивает вас. Но знайте, что вы находитесь в доме, который не обладает никакими средствами для помощи сердцу. Слишком много томительных лет пролетело над этой захолустной деревней и над нами. Они постепенно выстудили этот дом. Они отняли у нас охоту к сочувствию. Еще раз говорю вам, вы не най-

дете здесь ничего, что походило бы на задушевность. Вы найдете здесь только то, что мы всегда припасаем для своих постояльцев, а то, что мы припасаем для них, не имеет ничего общего с порывами сердца. Берите ваш ключ (*протягивает ему ключ*) и не забывайте: мы принимаем вас лишь ради выгоды, спокойно и тихо. И если мы оставим вас у себя надолго, это будет тоже сделано ради выгоды — и тоже спокойно и тихо.

Он берет ключ, она выходит, он смотрит ей вслед.

М а т ь. Не обращайтесь внимания, сударь. И впрямь есть сюжеты, которые всегда были ей ненавистны. (*Она встает, и он хочет ей помочь.*) Не надо, мой сын, я не калека. Взгляните на эти руки, они еще сильные. Они могли бы поддерживать ноги мужчины. (*Пауза. Он смотрит на ключ.*) Это из-за моих слов вы задумались?

Я н. Нет, простите меня. Я их даже почти не слышал. Но почему вы назвали меня «мой сын»?

М а т ь. О, я весьма смущена. Поверьте, это не было фамильярностью с моей стороны. Я просто неудачно выразилась.

Я н. Понимаю. (*Пауза.*) Могу ли я подняться в свою комнату?

М а т ь. Ступайте, сударь. Наш старый слуга ждет вас в коридоре. (*Он смотрит на нее. Он хочет все ей сказать.*) Вам что-нибудь нужно?

Я н (*в нерешительности*). Нет, сударыня. Но... я благодарен вам за радушный прием.

Сцена седьмая

Мать одна. Она снова садится, кладет руки на стол и смотрит на них.

М а т ь. Зачем было говорить ему про свои руки? А ведь если бы он на них посмотрел, он, возможно бы, понял, о чем ему толковала Марга.

Он бы понял, он бы ушел. Но он не понимает. Он хочет умереть. А я бы одного лишь хотела: чтобы он ушел, и тогда я могла бы еще вечером лечь и уснуть. Слишком стара! Я слишком стара, чтобы снова сцеплять свои руки

у него на лодыжках и не давать его телу раскачиваться, пока мы будем нести его по этой долгой дороге, ведущей к реке. Я слишком стара для последнего усилия, которое потребуется от меня, чтобы бросить его в воду, после чего я буду стоять с повисшими, как плети, руками и лоя ртом воздух, стоять со сведенными мышцами, не имея даже сил вытереть с лица воду, когда она плеснет на берег под тяжестью спящего человека. Я слишком стара! Да полно мне, полно! Жертва просто отборная! Ей-то я и отдам свой собственный сон, ночной сон, о котором я так мечтала. И это...

Входит порывисто Марта.

Сцена восьмая

Марта. О чем вы опять размечтались? Вы забыли, что нам еще надо многое сделать?

Мать. Я думала об этом человеке. А вернее сказать, о себе.

Марта. Лучше бы подумали о завтрашнем дне. Будьте благоразумны.

Мать. Узнаю словечко твоего отца, Марта. Но мне хотелось бы верить, что сегодня в последний раз нам нужно заботиться о благоразумии. Как странно! Твой отец говорил мне про благоразумие, чтобы развеять свой страх перед жандармом, а ты употребляешь его словечко, чтобы развеять желание быть честной, которое вдруг неожиданно нашло на меня.

Марта. То, что вы называете желанием быть честной, не что иное, как просто желание спать. Отложите усталость на завтра, а там расслабляйтесь себе на здоровье.

Мать. Я знаю, что ты права. Но все же признайся, что этот путешественник не похож на других.

Марта. Да, он слишком рассеян, слишком подчеркивает свое простодушие. Во что превратится мир, если приговоренные к смерти начнут поверять палачам свои сердечные горести? В этом есть что-то порочное. Кроме того, меня раздражает его болтливость. Я хочу положить этому конец.

М а т ь. Вот тут-то как раз и есть что-то порочное. Раньше мы не вкладывали в нашу работу ни гнева, ни сострадания; мы действовали с полным равнодушием. Сегодня я устала, а ты раздражена. И если обстоятельства складываются неблагоприятно, нужно ли так упорствовать и лезть на рожон ради того, чтобы добыть еще немного денег?

М а р т а. Нет, не ради денег, а ради того, чтобы навсегда забыть эту страну, и ради дома у моря. Если вы просто устали от своей жизни, то лично мне до смерти надоел этот угрюмый горизонт, я чувствую, что не смогу здесь прожить и месяцем дольше. Мы обе сыты по горло этой гостиницей. Но вам, женщине старой, хотелось бы только закрыть глаза и обо всем забыть. А у меня в сердце еще живы желания моих двадцати лет, я хочу сделать так, чтобы можно было навсегда отсюда уйти, даже если для этого надо еще глубже погрязнуть в той самой жизни, которую мы хотим забыть и отринуть. И вы должны мне в этом помочь, ибо вы моя мать, вы произвели меня на свет в стране серых туч, а не на залитой солнцем земле!

М а т ь. Не знаю, Марта, быть может, для меня было бы даже лучше оказаться забытой, как забыл меня твой брат, чем слушать разговоры в таком тоне.

М а р т а. Вы прекрасно знаете, что я не хотела вас огорчить. *(После паузы, с горячностью.)* Что я делала бы, если б вас не было рядом, чем бы я стала вдали от вас? Уж я-то, во всяком случае, вас не могла бы забыть, и если под бременем этой жизни я не оказываю вам порой должного уважения, прошу вас, простите меня.

М а т ь. Ты хорошая дочь, и я вполне могу себе представить, что старую женщину бывает трудно понять. Но пользуясь случаем, я хочу наконец сказать тебе, что я вот уже час безуспешно пытаюсь тебе сказать: только не в этот вечер...

М а р т а. Как! Ждать до завтра? Вам отлично известно, что мы никогда так не делали, что нельзя оставлять ему время повидаться с людьми и что нужно действовать незамедлительно, пока он тут, под рукой.

М а т ь. Не знаю, не знаю. Но только не в этот вечер. Дадим ему эту ночь. Предоставим ему отсрочку. Быть может, благодаря ему мы спасемся.

Марта. Мы как раз все и делаем ради этого, чтобы спастись. Ваши речи просто смешны. Вам можно надеяться лишь на одно: потрудившись как следует в сегодняшней вечер, получить потом право спокойно уснуть.

Мать. Когда я говорила «спастись», я именно это имела в виду: уснуть.

Марта. Тогда, клянусь вам, спасение в наших руках. Мать, нам нужно решиться. Это будет нынешним вечером — или не будет уже никогда.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена первая

Гостиничный номер. В комнату начинают вползать сумерки.
Ян смотрит в окно.

Ян. Мария права, это тяжелый час. *(Пауза.)* Что она сейчас делает, о чем думает у себя в номере, со стесненным сердцем, с сухими глазами, съездившись в кресле? Там, у нас, вечера — это всегда обещание счастья. А здесь все наоборот... *(Оглядывается комнату.)* Ну, ну, не надо, моя тревога беспочвенна. Человек должен знать, чего хочет. В этой комнате будет все решено.

Внезапный стук в дверь. Входит Марта.

Марта. Сударь, надеюсь, я не потревожила вас. Я хотела сменить вам полотенца и воду.

Ян. Я полагал, что все уже сделано.

Марта. Нет, наш старый слуга иногда довольно забывчив.

Ян. Не имеет значения. Но я теперь уже боюсь вам сказать, что вы ничуть меня не потревожили.

Марта. Почему?

Ян. Я не уверен, что это будет соответствовать нашему уговору.

Марта. Теперь вы сами видите, что не можете ответить, как все люди.

Я н (улыбаясь). Я непременно привыкну. Дайте мне какое-то время.

Марта (работая). Вы скоро уйдете отсюда. У вас не будет времени уже ни на что. (Он отворачивается и смотрит в окно. Она внимательно глядит на него. Он по-прежнему стоит к ней спиной. Она говорит, продолжая работать.) Я сожалею, сударь, что эта комната не обладает удобствами, на которые вы, должно быть, рассчитывали.

Я н. Она чистая, это самое главное. Впрочем, вы недавно ее переделали, правда?

Марта. Да. Как вы это заметили?

Я н. По некоторым мелочам.

Марта. Во всяком случае, многие постояльцы жаловались на отсутствие водопровода, и, честно говоря, их нельзя за это винить. Мы давно собирались повесить и лампочку над кроватью. Тем, кто читает в постели, не слишком приятно вставать, когда надо выключить свет.

Я н (поворачиваясь к ней). Да, в самом деле, а я и не заметил. Но это не столь уж большая беда.

Марта. Вы очень неприхотливы. Я рада, что недостатки нашей гостиницы, а их здесь довольно много, вас не трогают. Я знаю немало людей, для кого все эти неудобства послужили поводом отсюда сбежать.

Я н. Позвольте мне вам сказать, несмотря на наш уговор, что вы поступаете довольно странно. Мне, право же, кажется, что в амплуа владельцев гостиницы не входит реклама изъянов собственного заведения. Можно подумывать, будто вы стараетесь убедить меня отсюда уйти.

Марта. Это не входит в мои намерения. (Приняв решение.) Но моя мать и я, мы в самом деле долго колебались, принимать ли вас.

Я н. Во всяком случае я мог заметить, что вы не прилагали слишком больших усилий, чтобы меня удержать. Но мне непонятно, почему. В моей платежеспособности вы можете не сомневаться, и, как мне кажется, я не произвожу впечатление человека, чья совесть отягощена злодеяниями.

Марта. Нет, дело не в этом. На злоумышленника вы не похожи. Здесь причина в другом. Нам нужно покинуть эту гостиницу, и с недавнего времени мы чуть ли не каждый день собираемся закрыть наконец наше заведение

и начать готовиться к отъезду. Это довольно легко: клиенты у нас появляются редко. Но только с вашим приходом мы окончательно поняли, как чужда нам теперь мысль заниматься прежним своим ремеслом.

Я н. Значит, вы бы хотели, чтоб я ушел?

Марта. Я вам уже сказала, мы обе колеблемся, и колеблюсь главным образом я. Все, в сущности, зависит от меня, а я так и не знаю, на что мне решиться.

Я н. Я не хочу быть вам в тягость; прошу вас, не забывайте об этом; я поступлю так, как вы захотите. Должен, однако, сказать, что меня бы устроило остаться еще на один-два дня. У меня есть дела, которые, прежде чем снова отправиться в путь, мне надо уладить, и я надеюсь найти у вас мир и покой, в которых я так нуждаюсь.

Марта. Поверьте, ваше желание мне понятно, и если вы хотите, я еще немного подумаю. (*Пауза. Делает неуверенный шаг к двери.*) Значит, вы снова вернетесь в страну, из которой вы к нам приехали?

Я н. Очень возможно.

Марта. И это прекрасная страна, ведь правда?

Я н. (*смотрит в окно*). Да, это прекрасная страна.

Марта. Говорят, в тех краях есть совсем пустынные пляжи?

Я н. Да, это верно. Ничто не напоминает там о присутствии человека. Ранним утром можно увидеть на песке следы, оставленные лапами морских птиц. Это единственные признаки жизни. А вечера там...

Он умолкает.

Марта (*мягко*). А вечера там, сударь?

Я н. Они переворачивают вам душу. Да, это прекрасная страна.

Марта (*с новой интонацией*). Я про нее часто думала. Мне говорили о ней путешественники, и, что могла, я про нее прочитала. Часто, вот так, как сегодня, в самый разгар здешней унылой весны, я думаю о тамошнем море и о цветах. (*Пауза, потом глухо.*) И эти картины делают меня слепой ко всему, что меня здесь окружает.

Он внимательно на нее смотрит, тихо садится перед ней.

Я н. Мне это понятно. Весна там хватает тебя за сердце, тысячи цветов распускаются над белыми стенами. Стоит хотя бы час погулять по холмам, окружающим город, и в складках своей одежды ты приносишь медвяные запахи желтых роз.

Она тоже садится.

Марта. Удивительно! А то, что мы здесь называем весной, это всего одна роза да две почки, которые проклюнулись в монастырском саду. (*Презрительно.*) Чего, однако, вполне достаточно, чтобы местные жители пришли в сильное возбуждение. Но их сердце похоже на эту чахлую розу. Под дуновением более сильным они увядают. Они имеют весну, которую заслужили.

Я н. Вы не совсем справедливы. Ибо у вас бывает еще и осень.

Марта. При чем тут осень?

Я н. Вторая весна, когда все листья словно превращаются в цветы. (*В упор глядит на нее.*) Быть может, то же произойдет и с людьми, и вы увидите, как они расцветают. Вам только нужно помочь им своим терпением.

Марта. У меня уже истощились все запасы терпения в этой Европе, где осень напяливает на себя маску весны, а от весны отдает нищетой. Но я с радостью думаю про ту, про другую страну, где лето испепеляет все живое, где зимним дождем затопляются города и где, наконец, вещи представляют собой то, что они в самом деле собой представляют.

Пауза. Он глядит на нее с возрастающим интересом.

Она замечает это и резко встает.

Марта. Почему вы так смотрите на меня?

Я н. Прошу меня простить, но поскольку мы сейчас оставили в стороне параграфы нашего уговора, я могу вам вот что сказать: мне кажется, вы впервые заговорили со мной человеческим языком.

Марта (*с необузданной силой*). Вы наверняка ошибаетесь. Но даже если то, что вы сказали, было бы верно, у вас нет никаких причин этому радоваться. То человеческое, что во мне еще есть, — оно далеко не самое лучшее.

То человеческое, что во мне еще есть, это то, чего я хочу, а чтобы добиться того, чего я хочу, я все на своем пути уничтожу.

Я н (*улыбаясь*). Вашу неистовость можно понять. Мне нечего ее бояться, поскольку я на вашем пути не препятствие. Ничто не побуждает меня противиться вашим желаниям.

Марта. У вас нет никаких оснований противиться им, это верно. Но точно так же у вас нет оснований идти им навстречу, а это в некоторых случаях ускоряет ход событий.

Я н. Но кто вам сказал, что у меня нет оснований идти им навстречу?

Марта. Мой здравый смысл и мое намерение держать вас в стороне от моих замыслов.

Я н. Если я правильно понял, вот мы и вернулись к тем же параграфам нашего уговора.

Марта. Да, и мы неправильно поступили, когда от них отошли, теперь вы сами в этом убедились. И все же я вам благодарна, что вы рассказали мне о краях, где вы побывали, и я прошу меня извинить, что я отняла у вас время. (*Она уже у двери.*)

Должна вам, однако, сказать, что лично для меня это время не прошло даром. Оно пробудило во мне желания, которые, быть может, дремали. Если вам действительно нужно здесь задержаться, вы, сами о том не подозревая, выиграли свое дело. Я уже почти решила просить вас уйти, но видите, вы обратились к моим человеческим чувствам, и теперь мне желательно, чтобы вы остались. Мое пристрастие к морю и к солнечным берегам в конечном счете взяло верх.

Он молча смотрит на нее.

Я н (*медленно*). Вы изъясняетесь очень странно. Но я останусь у вас, если вы мне разрешите и если ваша матушка тоже не станет против этого возражать.

Марта. Моя матушка не может обладать желаниями столь же властными, как мои, это естественно. Поэтому у нее нет тех оснований, которые есть у меня, чтобы желать вашего присутствия здесь. Ее тяга к морю и к диким пля-

жам не так уж сильна, чтобы она согласилась вас здесь оставить. Это основание имеет цену лишь для меня. Но в то же время у нее нет сколько-нибудь серьезных причин мне противиться, и этого достаточно, чтобы вопрос был улажен.

Я н. Насколько я понимаю, одна из вас готова принять меня из корысти, а другая — из равнодушия?

Марта. Может ли путешественник требовать большего?

Она открывает дверь.

Я н. Значит, мне нужно всему этому радоваться. Но вы, я надеюсь, понимаете, что здесь мне все кажется необычным — и язык, и люди. Этот дом в самом деле какой-то странный.

Марта. Может быть, это происходит потому, что вы сами ведете себя в нем странно.

Она уходит.

Сцена вторая

Я н (*глядя на дверь*). Может быть, в самом деле... (*Подходит к кровати и садится на нее.*) Но при виде этой девушки мне одного только хочется — уйти, обрести поскорее Марию и снова почувствовать себя счастливым. Все получается как-то глупо. Что я вообще тут делаю? Но нет, на мне лежит ответственность за мать и сестру. Я их слишком надолго забыл. (*Встает.*) Да, в этой комнате все решится.

Но как в ней холодно! Я уже ничего тут не узнаю, все переделано заново. Она похожа теперь на все гостиничные номера в чужих городах, куда каждую ночь приходят одинокие мужчины. Я тоже изведаль такое. Мне казалось тогда, что я непременно должен найти там ответ на свои вопросы. Возможно, я получу его здесь. (*Смотрит в окно.*) Небо хмурится. И опять она тут как тут, моя давняя тоска, она сидит у меня где-то здесь, в глубине тела, как незажившая рана, и ноет при каждом моем движении. Я знаю ее имя. Это — боязнь вечного одиночества, страх,

что ответа нет и не будет. Да и кто тебе может ответить в гостиничном номере?

Он подходит к звонку. Колеблется, потом звонит. Никакого ответа. Несколько секунд тишина, потом шаги. Один удар в дверь. Дверь распахивается. В ней возникает старый слуга. Он застыл неподвижно и молчит.

Я н. Нет-нет, ничего. Извините меня. Я только хотел узнать, отзовется ли кто-нибудь, работает ли звонок.

Старик глядит на него, потом затворяет дверь. Шаги удаляются.

Сцена третья

Я н. Звонок работает, но старик молчит. Это не ответ. (*Глядит на небо.*) Что же мне делать?

Два удара в дверь. Входит Марта с подносом в руках.

Сцена четвертая

Я н. Что это у вас?

Марта. Чай, который вы просили.

Я н. Я ничего не просил.

Марта. Да? Старик не расслышал. Он часто понимает лишь наполовину. (*Ставит поднос на стол. Ян делает неопределенный жест.*) Должна ли я унести его обратно?

Я н. Нет-нет, напротив, я вам благодарен.

Она глядит на него и уходит.

Сцена пятая

Он берет чашку, смотрит на нее, ставит обратно на поднос.

Я н. стакан пива, но за мои деньги; чашка чаю, но по ошибке. (*Берет чашку и молча держит ее в руке. Потом говорит глухим голосом.*) О мой Боже! Помогите мне найти нужные слова или сделайте, Господи, так, чтобы я отказался от этой напрасной затеи и снова обрел любовь Марии. И дайте мне тогда силу выбрать то, что я пред-

почту, и силу до конца держаться этого выбора. (*Смеется.*) Что ж, воздадим должное пиршеству в честь возвращения блудного сына!

Пьет. Сильный стук в дверь.

Я н. Ну что там еще?

Дверь открывается. Входит мать.

Сцена шестая

Мать. Простите, сударь, дочь мне сказала, что она подала вам чай.

Я н. Как видите.

Мать. Вы его выпили?

Я н. Да, но почему вы спрашиваете?

Мать. Извините меня, я хочу убрать поднос.

Я н (*улыбается*). Жаль, что мне пришлось вас побеспокоить.

Мать. Какое уж тут беспокойство. На самом-то деле этот чай предназначался не вам.

Я н. Ах вот, значит, как! Ваша дочь принесла мне его, хотя я ничего не заказывал.

Мать (*с некоторой долей усталости*). Да, именно так. Было бы, наверно, лучше...

Я н (*удивленно*). Поверьте, я весьма сожалею, но ваша дочь несмотря ни на что захотела мне его оставить, и я не подумал...

Мать. Я тоже об этом сожалею. Но вам не за что извиняться. Речь идет всего лишь о маленькой ошибке.

Она забирает поднос и собирается выйти.

Я н. Сударыня!

Мать. Слушаю вас.

Я н. Я только что принял решение: вечером, сразу после ужина, я уйду. За комнату я, разумеется, уплачу. (*Она молча смотрит на него.*) Понимаю, вас это должно удивить. Но главное, не считайте себя ни в чем виноватой. Я испытываю к вам только симпатию, даже большую симпатию.

Но если говорить откровенно, тут мне как-то не по себе, я предпочел бы больше у вас не задерживаться.

М а т ь (*медленно*). Это пустяки, сударь. В принципе, вы совершенно свободны. Но после ужина ваши намерения могут перемениться. Мы повинuemся порой первому впечатлению, а потом все само собою улаживается, и в конце концов мы привыкаем...

Я н. Вряд ли, сударыня. Но мне бы, однако, не хотелось, чтобы вы думали, будто я ухожу недовольным. Напротив, я вам очень признателен за то, как вы меня приняли. (*Колелеблется.*) Мне показалось, что я чувствую ваше доброе ко мне отношение.

М а т ь. Это вполне естественно, сударь. У меня не было никаких причин выказывать вам враждебность.

Я н (*стараясь сдержать свои чувства*). В самом деле, так оно, наверно, и есть. Но я вам об этом говорю только лишь потому, что хочу с вами расстаться по-доброму. Быть может, через какое-то время я снова сюда вернусь. Я даже в этом уверен. Но у меня сейчас такое ощущение, что я ошибся и что мне здесь нечего делать. Если быть до конца откровенным, я охвачен сейчас мучительным чувством, что это не мой дом.

Она по-прежнему глядит на него.

М а т ь. Да, разумеется. Но обычно такие вещи мы чувствуем с первого взгляда.

Я н. Вы правы. Но, видите ли, я немного рассеян. И потом, ведь не так это просто — вернуться в страну, которую ты давно покинул. Надеюсь, вы понимаете это.

М а т ь. Я понимаю вас, сударь, и очень хотела бы, чтобы у вас все уладилось. Но тут мы, пожалуй, бессильны что-либо сделать.

Я н. О, несомненно, и я вас ни в чем не упрекаю. Просто вы оказались первыми, с кем я встретился в этих краях сразу после своего возвращения, и совершенно естественно, что именно у вас в доме я ощутил все те трудности, которые меня тут ожидают. Дело, разумеется, только во мне, я еще не освоился с обстановкой.

М а т ь. Когда в делах что-то начинает не ладиться, с этим невозможно бороться. Мне тоже в каком-то смысле досадно, что вы решили от нас уйти. Но я утешаюсь тем,

что не следует придавать этому слишком большого значения.

Я н. Для меня ценно уже то, что вы разделяете со мною мою досаду и делаете усилие, чтобы меня понять. Не знаю, смогу ли я выразить вам, до какой степени меня обрадовали и тронули ваши слова. *(Делает движение к ней.)* Видите ли...

М а т ь. Наша профессиональная обязанность — быть любезными со всеми клиентами.

Я н *(упавшим голосом)*. Вы правы. *(Пауза.)* Короче говоря, мне остается лишь принести вам свои извинения, а также, если вы сочтете это уместным, возместить понесенные вами убытки. *(Проводит рукою по лбу. Он выглядит более утомленным. И говорит с некоторым трудом.)* Вам, должно быть, пришлось сделать какие-то приготовления, произвести дополнительные траты, и будет совершенно справедливым, если...

М а т ь. Мы, разумеется, не станем требовать от вас никакого возмещения. Выражая сожаление по поводу вашей нерешительности, я имела в виду не наши интересы, а ваши.

Я н *(опираясь о стол)*. Ах, все это пустяки. Главное — что мы с вами пришли к доброму согласию и что вы не станете поминать меня лихом. Я не забуду вашего дома, можете мне поверить, и надеюсь, что в тот день, когда я приду сюда снова, я предстану перед вами в более ровном расположении духа.

Ни слова не говоря, она идет к двери.

Я н. Сударыня!

Она оборачивается. Он говорит с трудом, но завершает свои слова более непринужденно, чем начал.

Я н. Мне бы хотелось... *(Замолкает.)* Прошу меня простить, но путешествие утомило меня. *(Садится на кровать.)* Мне бы хотелось, по крайней мере, поблагодарить вас... Мне очень важно, чтобы вы знали, что не как равнодушный постоялец покидаю я этот дом.

М а т ь. Всегда к вашим услугам, сударь.

Уходит.

Сцена седьмая

Он смотрит ей вслед. Делает неопределенный жест, выказывая при этом признаки сильного утомления. Не в силах бороться с усталостью, облакачивается на подушку.

Ян. Я вернусь завтра вместе с Марией и скажу: «Это я». Я сделаю их счастливыми. Все это естественно и очевидно. Мария была права. *(Вздыхает, откидывается полужа на кровать.)* Ох, не по себе мне в этот вечер, все словно уходит куда-то вдаль. *(Вытягивается на кровати и продолжает что-то говорить еле слышным голосом, но слов разобрать нельзя.)* Да или нет?

Он еще немного ворочается и засыпает. На сцене почти полная тьма. Долгая пауза. Дверь открывается. Входят обе женщины с лампой. Следом за ними — старый слуга.

Сцена восьмая

Марта *(освещает лампой тело и говорит приглушенным голосом)*. Он спит.

Мать *(таким же голосом, но постепенно все громче и громче)*. Нет, Марта! Мне такая манера не нравится, я не люблю, когда меня принуждают. Ты насильно втягиваешь меня в это дело. Ты все начинаешь сама в расчете на то, что заканчивать буду я. Я продолжаю еще колебаться, но тебе на это плевать. Мне такая манера не нравится.

Марта. Но зато это все упрощает. При том смятении, в котором вы пребывали, действовать пришлось мне.

Мать. Я прекрасно знаю, что с этим надо было как-то кончать. И тем не менее. Я этого не люблю.

Марта. Да полно вам! Подумали бы лучше про завтрашний день. Нам нужно поторапливаться.

Она шарит в пиджаке, вынимает бумажник и пересчитывает находящиеся там банкноты. Опустошает карманы спящего.

Во время этой операции за кровать падает паспорт.

Старый слуга незаметно для женщин подбирает его и уходит.

Марта. Так. Все готово. Через минуту вода начнет прибывать. Спустимся вниз. Мы вернемся за ним, когда услышим, как вода хлынула через плотину. Пошли!

Мать (*спокойно*). Нет, нам и здесь хорошо.

Она садится.

Марта. Но... (*Смотрит на мать, потом с вызовом.*) Не думайте, что меня это пугает. Подождем здесь.

Мать. Конечно, подождем. Ждать — хорошо, ждать — успокаивает. Сейчас нам придется тащить его по дороге до самой реки. И я заранее от этого устала, устала такой давней усталостью, что моя кровь уже больше не в силах ее выносить. (*Покачивается, словно засыпает.*) А он сейчас ни о чем не подозревает. Он спит. Он с этим миром покончил. Отныне для него все будет легко и просто. Он лишь перейдет из сна, полного смутных образов, в сон без сновидений. И то, что для других — ужас, ужас быть насильственно выдернутым из жизни, для него обернется лишь долгим сном.

Марта (*с вызовом*). Так будем же этому рады! У меня нет никаких причин его ненавидеть, и я счастлива, что он не страдал. Но... вода как будто уже начала подниматься. (*Слушает, потом с улыбкой.*) Мать, скоро все будет кончено.

Мать (*с той же игрой*). Да, все будет кончено. Вода уже поднимается. А он ни о чем не подозревает. Он спит. Он больше не будет знать усталости от работы, на которую надо решиться, от работы, которую надо довести до конца. Он спит, ему больше не нужно собираться с силами, заставлять себя, требовать от себя сделать то, чего он сделать не может. Он больше не несет на своих плечах крест прозябания в четырех стенах, когда человек запрещает себе малейшую слабость... Он спит и ни о чем больше не думает, у него больше нет ни долгов, ни обязанностей, у него их нет, нет, и я, усталая старая женщина, ему завидую, потому что он сейчас спит и скоро умрет. (*Пауза.*) Ты что-то сказала, Марта?

Марта. Нет. Я слушаю. Я слышу, как шумит вода.

Мать. Через мгновенье. Не раньше, чем через мгновенье. Да, еще одно мгновенье. В этих пределах времени счастье еще возможно.

Марта. Счастье станет возможным после. Не до, а после.

Мать. Марта, ты знала, что он хотел уйти сегодня вечером?

Марта. Нет, этого я не знала. Но даже если бы знала, поступила бы так же. Я так решила.

Мать. Он мне только что об этом сказал, и я не знала, что ему ответить.

Марта. Значит, вы его видели?

Мать. Я поднялась сюда, чтобы помешать ему выпить. Но было уже поздно.

Марта. Да, было уже поздно! И я вам даже скажу, что он сам заставил меня решиться. Я колебалась. Но он стал говорить мне о странах, которые я так жажду увидеть, и, затронув во мне эти струны, вложил мне в руки оружие против него. И мое нежелание совершить зло было вознаграждено.

Мать. И все-таки, Марта, он в конце концов понял. Он мне сказал: он чувствует, что это — не его дом.

Марта (*нетерпеливо и яростно*). И это, действительно, не его дом, но этот дом в то же время — ничей. И никто никогда не обретет в нем тепла и покоя. Пойми он это раньше, он и себя бы сберег, и нас бы избавил от необходимости втолковывать ему, что эта комната сотворена для того, чтобы в ней спали, а весь этот мир — для того, чтобы в нем умирали. А теперь довольно об этом, мы... (*Вдалеке слышен шум воды.*) Прислушайтесь, вода хлынула через плотину. Идемте, мать, и ради любви к Господу, к которому вы порою взываете, покончим скорей с этим делом.

Мать делает шаг к кровати.

Мать. Пойдем! Но мне кажется, что рассвет никогда не наступит.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена первая

На сцене мать, Марта и старый слуга. Старик метет и прибирает залу. За конторкой Марта стягивает на затылке волосы в пучок. Мать пересекает сцену, направляясь к двери.

Марта. Видите, рассвет наступил.

Мать. Да. Завтра я, наверно, смогу ощутить, как это прекрасно, что мы довели дело до конца. Сейчас я не чувствую ничего, кроме усталости.

Марта. Нынче утром я впервые за долгие годы дышу. Мне даже кажется, что я уже слышу, как рокочет море. Во мне поселилась огромная радость, от которой мне хочется кричать.

Мать. Тем лучше, Марта, тем лучше. Но я чувствую себя сейчас такой старой, что ничего не могу с тобой разделить, даже твою радость. Завтра, должно быть, у меня все пойдет веселее.

Марта. Да, завтра пойдет веселее, я на это надеюсь. Но прекратите, прошу вас, бесконечные ваши сетования, дайте мне насладиться моим счастьем. Я опять становлюсь молодой, как когда-то. Тело опять пылает огнем, мне хочется взапуски бегать. О, скажите мне только...

Она замолкает.

Мать. Что с тобой, Марта? Я тебя просто не узнаю.

Марта. Мать... *(Коледается, потом с воодушевлением.)* Я все еще красивая?

Мать. Да, ты сегодня красивая. Убийство красит человека.

Марта. Плевать мне теперь на убийство! Я второй раз рождаюсь на свет, я поеду в страну, где буду счастливой.

Мать. Прекрасно. Я иду отдыхать. Но мне приятно знать, что для тебя начнется наконец жизнь.

Старый слуга, спускается по лестнице к Марте, протягивает ей паспорт и молча уходит. Марта раскрывает паспорт и читает его; на ее лице ничего не отражается.

Мать. Чего там у тебя?

Марта (*спокойным голосом*). Его паспорт. Прочтите.

Мать. Ты знаешь, что у меня слабые глаза.

Марта. Прочтите! Вы узнаете его имя.

Мать берет паспорт, садится у стола, раскрывает паспорт и читает. Потом долго смотрит на него.

Мать (*тусклым голосом*). Ведь я же знала, что в один прекрасный день все именно так обернется и надо будет с этим кончать.

Марта (*она зашла за конторку*). Мать!

Мать (*так же*). Оставь, Марта, я достаточно пожила на этом свете. Гораздо дольше, чем мой сын. Я его не узнала, и я его убила. Теперь я могу лечь с ним рядом на дно этой реки, где водоросли уже покрывают его лицо.

Марта. Мать! Вы же не оставите меня одну?

Мать. Ты в самом деле помогла мне, Марта, и мне жаль тебя покидать. Если в этом есть еще какой-то смысл, я должна признать, что на свой лад ты была хорошей дочерью. Ты всегда оказывала мне уважение, какое подобает оказывать матери. Но теперь я устала, и мое старое сердце, которому казалось, что оно уже от всего отрешилось, вновь познало великую скорбь. С нею я уже не смогу совладать. Во всяком случае, если мать неспособна узнать своего собственного сына, значит, окончена ее роль на этой земле.

Марта. Нет, не окончена, если ей еще предстоит создать счастье собственной дочери. До меня не доходит то, что вы мне сейчас говорите. Я не узнаю ваших слов. Разве вы не учили меня ни с чем не считаться, ничего не шадить?

Мать (*тем же равнодушным тоном*). Да, но теперь мне открылось, что я была не права и что на этой земле, где все так зыбко и шатко, у каждого человека все же есть нечто такое, в чем он твердо уверен. (*С горечью.*) Любовь матери к сыну — вот в чем сегодня я твердо уверена.

Марта. А в том, что мать может любить свою дочь, вы уже не уверены?

Мать. Мне бы сейчас не хотелось причинять тебе боль, Марта, но это действительно разные вещи. Это менее сильно. Как я могла жить без любви моего сына?

Марта (с яростью). Прекрасная любовь, которая забыла вас на целых двадцать лет!

Мать. Да, прекрасная любовь, которая осталась жива после целых двадцати лет молчания. Но что мне до всего этого! Эта любовь для меня прекрасна, поскольку я не могу без нее жить.

Она встает.

Марта. Возможно ли, чтобы вы говорили это без малейшего возмущения и вовсе не думали о своей дочери?

Мать. Я уже не в состоянии вообще о чем-либо думать, и уж меньше всего возмущаться. Это мне наказание, Марта, и, наверно, для всех убийц наступает когда-нибудь час, когда они оказываются опустошенными, ненужными, лишенными всякого будущего. И их уничтожают, потому что они ни на что не пригодны.

Марта. Вы заговорили языком, который для меня ненавистен, мне невыносимо слышать, как вы рассуждаете о преступлении и наказании.

Мать. Я говорю только то, что срывается с языка, и ничего больше. О, я утратила свою свободу, для меня начался уже ад!

Марта (подходит к ней, с яростью). Раньше вы так не говорили. И все эти годы вы продолжали быть рядом со мной, и ваши руки, не дрогнув, продолжали придерживать за ноги тех, кто должен был умереть. Тогда вы не думали ни про свободу, ни про ад. Вы свое продолжали. Что же изменилось с приходом вашего сына?

Мать. Я продолжала, что верно, то верно. Но как мертвая, по привычке. Достаточно было почувствовать боль, чтобы все сразу стало другим. Вот что изменилось с приходом моего сына. (Марта пытается что-то сказать.) Я знаю, Марта, что это неблагоприятно. Разве может преступница чувствовать боль? А ведь это еще не настоящая боль, я ведь ни разу пока не закричала. Это всего лишь страдание, охватывающее тебя оттого, что ты снова можешь любить. Но даже на это мне уже не хватает сил. Я знаю, даже и эта боль — она тоже неблагоприятна. (С новой интонацией.) Но неблагоприятен вообще весь наш мир, я могу утверждать это с полной уверенностью, ибо я в этой жизни извела все — и творение, и разрушение.

Она решительно направляется к выходу, но Марта опережает ее и встает перед дверью.

Марта. Нет, мать, не покидайте меня. Не забывайте, что я осталась, а он уехал, что я всю жизнь была с вами рядом, а он вас бросил и не подавал о себе вестей. Это должно быть оплачено. Это должно быть поставлено в счет. И вернуться вы должны ко мне.

Мать (*тихо*). Все это верно, Марта, но его я убила!

Марта слегка отворачивается и, откинув голову назад, будто смотрит на дверь.

Марта (*после паузы, со все возрастающей страстностью*). Все, что жизнь может дать человеку, было ему дано. Он покинул эту страну. Он узнал другие края, море, свободных людей. А я осталась здесь. Осталась, маленькая и угрюмая, в тоске и скуке, увязнувшая в самой сердцевине континента, в душной тесноте обступивших меня земель. Никто не целовал моих губ, и даже вы не видели меня без одежды. Мать, клянусь вам, это должно быть оплачено. И вы не должны, под ничтожным предлогом, что какой-то человек мертв, малодушно уйти именно тогда, когда все, что мне причиталось, уже само идет мне в руки. Поймите, что человеку, который пожил в свое удовольствие, не страшно умереть. Мы можем забыть про моего брата и вашего сына. То, что произошло с ним, не имеет никакого значения: он все в жизни испробовал и познал. А меня вы лишаете буквально всего, отбираете у меня то, чем он сполна наслаждался. Значит, нужно, чтобы он отнял у меня еще и любовь моей матери, чтобы он навсегда утащил вас в свою холодную реку?

Они молча глядят друг на друга. Марта опускает глаза.

Марта (*очень тихо*). Я бы удовольствовалась совсем малым. Мать, есть слова, которых я никогда не умела произнести, но мне кажется, было бы так славно, если бы мы с вами опять смогли зажечь нашей обычной, будничной жизнью.

Мать подошла к ней ближе.

Мать. Ты его узнала?

Марта (*резко вскидывая голову*). Нет! Я его не узнала. У меня не сохранилось о нем никаких воспоминаний, все произошло так, как должно было произойти. Вы ведь сами мне говорили: этот мир лишен благоразумия. Но вы не так уж неправы, задавая мне этот вопрос. Ибо если б я даже его и узнала, я понимаю теперь, что это бы равным счетом ничего не изменило.

Мать. Мне хотелось бы думать, что это неправда. Даже у самого закоренелого убийцы бывают минуты, когда он чувствует себя неспособным убить.

Марта. У меня они тоже бывают. Но уж не перед братом, мне совсем незнакомым и ко мне безразличным, склонила бы я голову.

Мать. Перед кем же тогда?

Марта склоняет голову.

Марта. Перед вами.

Пауза.

Мать (*медленно*). Слишком поздно, Марта. Я уже больше ничего не могу для тебя сделать. (*Поворачивается к дочери лицом.*) Ты плачешь, Марта? Нет, ты не умеешь плакать. Помнишь ли ты, чтоб я когда-нибудь тебя обняла?

Марта. Нет, мать, не помню.

Мать. Ты права. Это было давно, и я очень быстро отвыкла протягивать к тебе руки. Но я не переставала тебя любить. (*Она мягко теснит Марту, которая постепенно освобождает ей проход.*) Я это знаю теперь, потому что мое сердце заговорило; я снова живу — когда я больше не могу выносить жизнь.

Проход свободен.

Марта (*пряча лицо в ладони*). Но что же может для вас быть сильнее, чем отчаянье собственной дочери?

Мать. Быть может, усталость и стремление отдохнуть.

Она уходит, и дочь не препятствует ей.

Сцена вторая

Марта подбегает к двери, захлопывает ее, прижимается к ней.
И раздражается дикими воплями.

Марта. Нет! Я не обязана была сидеть нянькой при своем брате, и все же я теперь изгнанница в своей собственной стране; моя мать сама отвергла меня. Но я не обязана была сидеть нянькой при своем брате, это несправедливо, я ни в чем не виновата. И вот он теперь добился того, чего он хотел, а я осталась одна, вдали от желанного моря, к которому так стремилась. О, как я его ненавижу, этого брата! Вся моя жизнь прошла в ожидании волны, которая бы меня унесла, и вот я знаю теперь, что она уже не придет! Я должна оставаться здесь, где справа и слева, сзади и спереди несметной толпой обступают меня племена и народы, равнины и горы, преграждая дорогу ветрам, прилетающим с моря, и заглушая своим гулом и своей болтовней его многократный призыв. (*Чуть тише.*) Другим-то больше везет. Есть места, хоть и отстоящие далеко от моря, но вечерний ветер приносит туда временами запахи водорослей. Он рассказывает там о влажных пляжах, звенящих криками чаек, о золотистом песке на морском берегу под бескрайним вечерним небом. Но ветер выдыхается и теряет силу, не успев долететь сюда к нам; никогда уж не получить мне того, что мне причиталось. Если я даже приникну ухом к земле, я все равно не услышу, как бьются о берег холодные волны или как дышит спокойно и мерно счастливое море. Я живу чересчур далеко от всего, что люблю, и эту мою удаленность уже не уменьшить. Я ненавижу его, я ненавижу его, он добился, чего он хотел! А мне на долю досталась моя неизбывная родина — это глухое, тоскливое захолустье, где под небом нет горизонта, где я свой голод могу утолить только местными кислыми сливами, а жажду свою — только кровью, которую я пролила. Вот цена, какую надо платить за ласковость матери!

Так пусть же она умирает, если не любит меня! Пусть захлопнутся передо мною все двери! Пусть она оставляет меня в лапах праведного моего гнева! Ибо я, умирая, не обращаю к небесам умоляющих взоров. Там, в том дальнем

краю, где можно спастись, избавиться от всех пут, прижать свое тело к другому, прыгнуть в волну, в той защищенной морем стране, боги на берег не выходят. Но здесь, где на каждом шагу взгляд всякий раз во что-то упрется, здесь вся земля расчерчена так, что лицо невольно обращается к небу и взгляд выражает мольбу. О, ненавижу я этот мир, где мы все в подчинении у Бога. Но я, жертва вопиющей несправедливости, я, чьей просьбой пренебрегли, на колени не встану. И, лишенная места на этой земле, отвергнутая собственной матерью, я покину сей мир, не примиренная с ним.

В дверь стучат.

Сцена третья

Марта. Кто там?

Мария. Путешественница.

Марта. Мы больше не принимаем постояльцев.

Мария. Я пришла к своему мужу.

Она входит.

Марта (*смотрит на нее*). Кто ваш муж?

Мария. Он прибыл сюда вчера и должен был присоединиться ко мне сегодня утром. Меня удивляет, что его до сих пор нет.

Марта. Он сказал, что его жена за границей.

Мария. У него есть причины так говорить. Но мы должны были встретиться в этот час.

Марта (*по-прежнему не спуская с нее глаз*). Вам будет трудно это сделать. Вашего мужа больше здесь нет.

Мария. Что вы хотите этим сказать? Разве он не снял у вас комнату?

Марта. Комнату он снял, но ночью покинул ее.

Мария. Я не могу в это поверить, мне известны все те причины, из-за которых он должен остаться в этом доме. Но ваш тон меня встревожил. Скажите мне все начистоту.

Марта. Мне нечего вам сказать кроме того, что вашего мужа больше здесь нет.

Мария. Он не мог уехать без меня, я вас не понимаю. Он вас окончательно покинул или сказал, что еще вернется?

Марта. Он покинул нас окончательно.

Мария. Послушайте. Со вчерашнего дня я нахожусь в этой чужой мне стране в непрерывном ожидании, и у меня нет больше сил это выдерживать. Меня привела к вам ужасная тревога, и я отсюда не уйду, пока не увижу своего мужа или пока не узнаю, где мне его найти.

Марта. Мне до этого нет никакого дела.

Мария. Вы заблуждаетесь. Это и ваше дело. Не знаю, одобрит ли мой муж то, что я вам сейчас скажу, но все эти сложности мне уже надоели. Человек, который пришел к вам вчера утром, это ваш брат, в течение долгих лет не подававший о себе вестей.

Марта. Ничего нового вы мне не сообщили.

Мария (*гневно*). В таком случае что же произошло? Почему вашего брата нет в этом доме? Вы с матерью его не узнали и не были рады его возвращению?

Марта. Вашего мужа больше здесь нет, потому что он умер.

Мария вздрагивает и, ничего не говоря, секунду смотрит на Марту. Потом делает движение, словно собираясь подойти к ней поближе, и улыбается.

Мария. Вы ведь шутите, правда? Ян часто говорил мне, что еще девочкой вы любили озадачить людей. Мы почти сестры, и я...

Марта. Не прикасайтесь ко мне. Стойте там, где стоите. У меня с вами нет ничего общего. (*Пауза.*) Ваш муж этой ночью умер. Можете мне поверить, что я не шучу. Вам здесь больше нечего делать.

Мария. Вы просто сумасшедшая. Вас нужно связать! На меня все это свалилось слишком внезапно, я не могу вам поверить. Где он? Дайте мне увидеть его мертвым, только тогда я поверю в то, о чем даже помыслить не в силах.

Марта. Это невозможно. Там, где он сейчас находится, его никто увидеть не может. (*Мария делает движение в ее сторону.*) Не прикасайтесь ко мне и оставайтесь там, где стоите... Он на дне реки, куда мы с матерью от-

несли его этой ночью, после того как усыпили его. Он не мучился, но тем не менее он мертв, и именно мы, моя мать и я, убили его.

Мария (*плетется назад*). Нет, нет... это я сошла с ума и слышу слова, которые еще никогда не раздавались на этой земле. Я знала, что ничего хорошего меня здесь не ждет, но к такому безумию я не готова. Я не понимаю, я вас не понимаю...

Марта. В мою задачу не входит вас убеждать, я вас только информирую. Вы сами придете к признанию этой очевидности.

Мария (*с некоторой долей рассеянности*). Почему, почему вы это сделали?

Марта. Во имя чего задаете вы мне этот вопрос?

Мария (*кричит*). Во имя своей любви!

Марта. Что означает это слово?

Мария. Оно означает все то, что рвет сейчас мою душу, что кусает и жалит меня, оно означает весь этот бред, который толкает меня на убийство. Если бы не мое упорное нежелание вам поверить, за которое еще цепляется мое сердце, вы бы у меня быстро поняли, безумная вы баба, что означает это слово, чувствуя, как мои ногти вонзаются вам в лицо.

Марта. Определенно вы прибегаете к языку, которого я не понимаю. Слова о любви, о радости или муке — для меня пустой звук.

Мария (*с большим усилием*). Послушайте, пора прекратить эту игру, если это, конечно, игра. Мы заблудились в бесплодных словесах. Прежде чем бросить меня на произвол судьбы, скажите мне четко и ясно все то, что я хочу четко и ясно знать.

Марта. Трудно сказать яснее, чем я уже вам сказала. Этой ночью мы убили вашего мужа, чтобы завладеть его деньгами, как мы не раз уже делали с другими постояльцами.

Мария. Значит, его мать и сестра были преступницы?

Марта. Да.

Мария (*так же с усилием*). Вы уже знали, что он ваш брат?

Марта. Могу вам признаться, произошло недоразумение. И если вам довелось хоть немного соприкоснуться с жизнью, вас это не удивит.

Мария (*повернувшись к столу, прижав кулаки к груди, глухим голосом*). О, Боже, я знала, что эта комедия обернется кровавым финалом и что мы оба с ним будем наказаны за то, что ввязались в нее. Несчастье было предначертано небесами. (*Останавливается перед столом и говорит, не глядя на Марту.*) Он хотел, чтобы вы его узнали, хотел обрести родной дом, хотел принести вам счастье, но он не умел найти нужных слов. И пока он эти слова искал, его убили. (*Начинает плакать.*) А вы, две полоумные, стояли точно слепые перед удивительным сыном, который к вам возвратился... ибо он был удивительным сыном, и вам невдомек, какое благородное сердце, какую чистую душу вы сегодня убили! Он бы мог стать вашей гордостью, как он был и моей. Но, к сожалению, вы оказались ему недругом, вы и сейчас его недруг, если можете с таким ледяным спокойствием говорить о том, что должно было исторгнуть звериные вопли из вашей груди!

Марта. Не судите о том, чего вы не знаете. В этот час моя мать присоединилась к своему сыну. Волны уже начинают глотать их тела. Скоро их обнаружат, и они снова встретятся в одной и той же земле. Но я и здесь не вижу причины для воплей. У меня совсем иное представление о человеческом сердце, и, если говорить все до конца, ваши слезы мне просто противны.

Мария (*повернувшись к ней, с ненавистью*). Это слезы навеки утраченной радости. Они для вас все-таки лучше, чем то горе без слез, которое скоро охватит меня, и тогда я без колебания вас убью.

Марта. Нашли чем пугать. Поверьте, для меня это сущий пустяк. Я тоже навидалась и наслушалась такого, что в свой черед решила умереть. Но путаться с ними двумя не желаю. Что мне в их компании делать? Пусть уж милуются без меня, пусть без меня предаются своим унылым нежностям. Ни вам и ни мне места возле них уже не найдется, они останутся нам навсегда неверны. К счастью, у меня еще есть моя комната, где я смогу умереть без свидетелей.

Мария. Ах, умирайте, если вам нужно, и пускай весь мир летит в тартарары — я потеряла того, кого я люблю.

Мне предстоит теперь жить в одиночестве, и память в этом кошмаре — еще одна пытка.

Марта подходит к ней сзади и говорит поверх ее головы.

Марта. Не будем преувеличивать. Вы потеряли мужа, а я потеряла мать. Так что мы квиты. Но вы его потеряли всего только раз, после долгих лет обладания им, и он вас никогда не отвергал. А меня мать отвергла. Теперь она мертва, и я потеряла ее дважды.

Мария. Он хотел отдать вам свое состояние, сделать вас обеих счастливыми. Об этом он думал, один в своем номере, в ту минуту, когда вы готовили ему смерть.

Марта (*внезапно тоном безнадежности*). Я сквиталась и с вашим мужем, ибо я познала его тоску. Я, как и он, полагала, что у меня есть дом. Я воображала, что злодеяние было нашим семейным очагом и что оно соединило нас обеих, мать и меня, навсегда. К кому в целом свете я могла обратиться, если не к ней, убивавшей одновременно со мной? Но я ошиблась. Преступление — тоже одиночество, даже если ты вступаешь в сговор с другими, чтобы его совершить. И вполне справедливо, что я умираю одна, после того, как жила и убивала одна.

Мария, вся в слезах, оборачивается к ней.

Марта (*отступая и вновь жестким тоном*). Не прикасайтесь ко мне, я вам уже говорила. При одной только мысли, что человеческая рука может навязать мне, прежде чем я умру, ненавистное мне тепло, при одной только мысли, что нечто, не знаю, что именно, но похожее на отвратительную нежность людей, может преследовать меня до самого порога смерти, — я чувствую, как кровь с неистовой яростью приливает у меня к вискам.

Они стоят вплотную, лицом друг к другу.

Мария. Не бойтесь. Я предоставлю вам умереть, как вы того хотите. Я ослепла, я вас больше не вижу! И ваша мать, и вы сами останетесь для меня лишь мимолетными ликами, промелькнувшими и сгинувшими в ходе бесконечной, неизбывной трагедии. Я к вам не чувствую ни злобы, ни сострадания. Я никого больше не могу ни любить, ни ненавидеть. (*Прячет лицо в ладони*.) Ведь у меня

даже не было времени ощутить боль или возмутиться. Несчастье оказалось большим, чем я сама.

Марта, которая повернулась спиной и сделала уже несколько шагов к двери, возвращается вновь к Марии.

Марта. Но еще не настолько большим, чтобы отнять у вас слезы. И прежде чем покинуть вас навсегда, мне остается, я вижу, еще кое-что сделать. Мне остается привести вас в отчаяние.

Мария (*с ужасом глядя на нее*). О, оставьте меня, уберите прочь и оставьте меня в покое!

Марта. Я вас, конечно, оставлю, это будет облегчением и для меня, я плохо переношу вашу любовь и ваши рыдания. Но я не могу умереть, оставив вас в убеждении, что вы правы и что любовь не напрасна и все случившееся с вами — случайность. Ибо теперь все встало на свои места, и вновь восстановился порядок. Нужно вас в этом убедить.

Мария. Какой порядок?

Марта. Тот, при котором никто никогда не бывает признан.

Мария (*плохо соображая*). Какое мне до всего этого дело! Я вас едва понимаю. Мое сердце разрывается от боли. Все мои мысли стремятся только к нему, к тому, кого вы убили.

Марта (*яростно*). Замолчите! Я больше не желаю про него слышать, я ненавижу его. Он для вас уже ничто. Он вошел-таки в горестный дом, из которого его навсегда изгнали. Глупец! Он имеет то, чего хотел, он обрел ту, кого искал. И все мы в полном порядке. Поймите же, что ни для него, ни для нас, ни в жизни, ни в смерти нет ни отечества, ни покоя. (*С презрительным смехом.*) Не называть же отечеством эту плотную, лишенную света землю, куда все мы уходим на прокорм слепым тварям.

Мария (*в слезах*). О Боже, я не могу, не могу вынести этот язык. Он тоже не мог бы его вынести. Ради другого отечества пустился он в путь.

Марта (*уже дойдя до дверей, она резко оборачивается*). За это свое безумие он уже заплатил. Скоро и вы заплатите за свое. (*С тем же презрительным смехом.*) Мы обворованы, я вам говорю. К чему этот великий порыв человеческого существа, это смятение душ? Зачем взы-

вать к морю или к любви? Это все смехотворно. Ваш муж теперь знает ответ, он теперь знает этот внушающий ужас дом, куда мы все в конечном счете сойдем, тесно прижавшись друг к другу. (*Со злобой.*) Вы его тоже узнаете, и тогда будете, если сможете, с величайшей отрадой вспоминать этот день, который сегодня представляется вам вратами мучительного изгнания. Поймите же, ваша боль ничто в сравнении с несправедливостью, которая учиняется над человеком, и вот вам в заключение мой совет. Я ведь должна дать вам совет, не правда ли, поскольку я убила вашего мужа.

Молитесь же вашему Богу, чтобы он сделал вас подобием камня. Это — счастье, которое он приберегает для себя самого, единственное подлинное счастье. Поступайте, как он, станьте глухой ко всяким призывам, сделайте каменной, пока есть время. Но если вы слишком трусливы, чтобы войти в это царство безмолвия и покоя, тогда милости просим к нам, в наш общий дом. Прощайте, сестра моя! Все очень легко, вы увидите. Вам только следует выбрать: или безмозглое счастье булыжников — или липкое ложе, на котором мы будем вас ждать.

Она выходит, и Мария, в замешательстве слушавшая ее, стоит, раскачиваясь, с протянутыми вперед руками.

Мария (*кричит*). О Боже! Я не могу жить в этой пустыне. Я к вам обращаюсь, к вам, и я сумею найти слова. (*Падает на колени.*) Да, я полагаюсь только на вас. Имейте жалость ко мне, обратите ко мне свой лик. Услышьте меня, дайте мне вашу руку! Имейте жалость, Господи, к тем, кто любит друг друга и кого разлучили.

Распахивается дверь, появляется старый слуга.

Сцена четвертая

Старик (*голосом отчетливым и непреклонным*). Вы меня звали?

Мария (*поворачивается к нему*). О, я не знаю! Но помогите же мне, ибо мне нужна помощь. Имейте жалость и согласитесь помочь мне!

Старик (*тем же голосом*). Нет!

Занавес.

ПИСЬМА К НЕМЕЦКОМУ ДРУГУ

Впервые в СССР опубликованы письма
русских писателей к немецкому другу
Людвигу Гейке.

ПИСЬМА

ПРЕДИСЛОВИЕ



*LETTRES
À UN AMI ALLEMAND*

Величие души проявляют не в одной крайности, но лишь когда коснутся обеих разом.

ПАСКАЛЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИТАЛЬЯНСКОМУ ИЗДАНИЮ

«Письма к немецкому другу» вышли во Франции после Освобождения очень малым тиражом и с тех пор не переиздавались ни разу. Я всегда был против их появления за границей по причинам, которые изложу ниже.

И вот теперь письма впервые изданы за рубежом; меня подвигло на это решение единственно желание всеми своими слабыми силами содействовать тому, чтобы нелепая стена, разделяющая наши страны, когда-нибудь рухнула.

Но я не могу позволить переиздать эти страницы, не объяснив предварительно, что они собой представляют. Они были написаны и изданы в подполье с целью хоть немного прояснить смысл той слепой борьбы, которую мы вели тогда, и тем самым сделать эту борьбу более эффективной. Эти письма написаны под давлением определенных обстоятельств и, следовательно, сейчас могут показаться субъективно несправедливыми. И в самом деле: если бы речь шла о Германии побежденной, следовало взять немного иной тон. Но я хотел бы только избежать недоразумения. Когда автор этих строк пишет «вы», он имеет в виду не «вы, немцы», а «вы, нацисты». Когда он говорит «мы», это не всегда означает «мы, французы», но «мы, свободные европейцы». Я противопоставляю две позиции, а не две нации, даже если в какой-то исторический момент эти две нации олицетворяли собою враждебные позиции. Хочу повторить изречение, не мне принадлежащее: «Я слишком люблю мою страну, чтобы быть националистом». И я уверен, что ни Франция, ни Италия не только ничего не потеряют, но, напротив, многое приобретут, открывшись для более широкого сообщества. А пока мы еще далеки от желанной цели, и Европу по-прежнему терзают распри. Вот отчего мне было бы ныне стыдно, если бы кто-нибудь счел, что французский писатель способен стать врагом какой-нибудь одной нации. Я ненавижу только палачей. И всякий человек, пожелавший прочесть «Письма к немецкому другу» именно под этим углом зрения, то есть как документальный рассказ о борьбе против насилия, признает, что сегодня я с полным правом могу подписаться здесь под каждым своим словом.

© Перепод на русский язык. Политиздат, 1990.

Письмо первое

Вы говорили мне: «Величие моей страны поистине бесценно. И все, что способствует ему, — благо. В мире, где уже ничто не имеет смысла, те, кому, подобно нам, молодым немцам, посчастливилось обрести его в судьбе своей нации, должны принести ему в жертву все до конца». В ту пору я любил вас, но уже эти слова поселили во мне отчуждение. «Нет, — возражал я вам, — не могу поверить, что необходимо все подчинять цели, к которой стремишься. Есть средства, которые извинить нельзя. И мне хотелось бы любить свою страну, не изменяя в то же время и справедливости. Я не желаю родине величия, достигнутого любимыми средствами, замешенного на крови и лжи. Нет, я хочу помочь ей жить, помогая жить справедливости». И тогда вы мне сказали: «Значит, вы не любите свою родину».

С тех пор прошло пять лет, все это время мы не виделись, но могу с уверенностью сказать, что не было ни одного дня за эти долгие годы (такие короткие, такие молниеносные для вас!), когда я не вспоминал бы эту вашу фразу: «Вы просто не любите свою родину!» Когда сегодня я размышляю над этими словами, сердце сжимается у меня в груди. Да, я не любил ее, если «не любить» означает осуждать все, что несправедливо в любимых нами вещах, если «не любить» — значит требовать, чтобы любимое существо достигло того наивысшего совершенства, какого мы для него жаждем. Пять лет назад многие во Франции думали, как я. Но иным из них пришлось взглянуть в двенадцать пустых черных зрачков немецкой судьбы. И эти люди, которые, по вашему мнению, не любили свою отчизну, сделали для нее неизмеримо больше, чем вы — для вашей, даже будь вам дано сотни раз пожертвовать для нее жизнью. Ибо они должны были сперва победить самих себя, и вот в этом их героизм. Но здесь я имею в виду два разных вида величия и говорю о противоречии, которое чувствую себя обязанным разъяснить вам.

Мы скоро увидимся вновь, если судьбе будет угодно свести нас. Но к тому времени нашей дружбе придет конец. Вы станете упиваться своим поражением, и вы не будете стыдиться прежних побед, напротив, тоскуя о них изо всех своих раздавленных сил. Сегодня я еще мыслен-

но с вами, — ваш враг, разумеется, но в какой-то мере пока и друг, поскольку все мои мысли здесь обращены к вам. Завтра с этим будет покончено. Все, чему ваша победа не смогла положить начало, довершит ваше поражение. Но, по крайней мере, на прощание, перед тем как мы впадем во взаимное безразличие, я хочу дать вам ясное представление о том, что ни война, ни мир так и не научили вас понимать судьбу моей страны.

В первую очередь я хочу рассказать вам, какого рода величие движет нами. Тем самым я объясню, в чем заключается мужество, которое восхищает нас, но чуждо вам. Ибо мало заслуги в том, чтобы суметь броситься в огонь, когда к этому готовишься загодя и когда для тебя порыв более естествен, нежели зрелое размышление. И напротив, велика заслуга человека, смело идущего навстречу пыткам, навстречу смерти и притом абсолютно убежденного в том, что ненависть и жестокость сами по себе бесплодны. Велика заслуга людей, которые сражаются, при этом презирая войну, соглашаются все потерять, при этом дорожа счастьем, прибегают к разрушению, лелея при этом идею цивилизации высшего порядка. Вот в чем мы добились большего, чем вы, ибо вынуждены были бороться в первую очередь с самими собой. Вам ничего не пришлось побеждать ни в собственном сердце, ни в образе мыслей. А у нас оказалось два врага; и мало было восторжествовать с помощью оружия, подобно вам, которым не потребовалось ничего преодолевать в самих себе.

Нам же пришлось переступить через слишком многое, и в первую очередь через извечный наш соблазн — уподобиться вам. Ибо таится и в нас нечто, уступающее низменным инстинктам, противящееся интеллекту, в культ возводящее только успех. Наши возвышенные добродетели в конце концов утомляют нас, разум внушает стыд, и временами нам случается возмечтать о некоем блаженном состоянии варварства, в коем истина постигалась бы без всяких усилий. Впрочем, от этого исцелиться нетрудно: стоит лишь поглядеть на вас, чтобы убедиться, к чему приводят подобные мечтания, и тотчас образумишься. Если бы я верил в некую фатальную предопределенность истории, я бы заподозрил, что она сделала вас нашими соседями специально нам, рабам разума, в назидание. Ваш

пример заставляет нас возродиться для умственной деятельности, где нам дышится легче.

Но нам предстояло победить в себе еще одну малость — ту, что зовется героизмом. Я знаю: вы уверены, что нам героизм чужд. Вы ошибаетесь. Просто мы одновременно и исповедуем и побаиваемся его. Исповедуем, поскольку десять веков истории научили нас тому, что есть благородство. И побаиваемся, ибо десять веков разума преподали нам красоту и все преимущества естественности и простоты. Чтобы противостоять вам, нам пришлось проделать долгий и трудный путь. Вот потому-то мы и отстали от всей остальной Европы, ибо всякий раз, как чья-нибудь злая воля ввергала ее в ложь, мы незамедлительно брались отыскивать истину. Вот потому-то мы и начали войну с поражения, что были озабочены донельзя — пока вы завоевывали нас — задачей определить в сердце своем, на нашей ли стороне истина и справедливость.

Нам пришлось также побороть свою любовь к человеку и представление о мирной, миролюбивой судьбе; нам пришлось преодолеть глубокое убеждение в том, что ни одна победа не приносит добрых плодов, так как любое насилие над человеком непоправимо. Нам пришлось отказаться разом и от нашей науки, и от нашей надежды, от причин для любви и от ненависти, которую мы питали ко всякой войне. Короче сказать, — и, я надеюсь, вы поймете мысль человека, которому охотно пожимали руку, — мы должны были убить в себе любовь к дружбе.

Теперь это сделано. Путь был окольным и долгим, и мы пришли к цели с большим опозданием. Это тот самый кружной путь, на который сомнение в истине толкает разум, сомнение в дружбе — сердце. Это тот кружной путь, который защитил и спас справедливость, поставил правду на сторону тех, кто терзался сомнениями. Да, мы, без сомнения, заплатили за него дорогой ценой. Нашей платой были унижения и немота, горечь побежденных, тюрьмы и казни на заре, одиночество, разлуки, ежедневный голод, изможденные дети и, что хуже всего, вынужденное раскаяние. Но это было в порядке вещей. Нам понадобилось все это время, чтобы понять наконец, имеем ли мы право убивать людей, дозволено ли нам добавлять страданий этому и без того исстрадавшемуся миру. И именно

это потерянное и наवरстанное время, это принятое и преодоленное нами поражение, эти сомнения, оплаченные кровью, дают право нам, французам, думать сегодня, что мы вошли в эту войну с чистыми руками — то была чистота жертв, чистота побежденных — и что мы выйдем из нее также с чистыми руками, но на сей раз то будет чистота великой победы, одержанной над несправедливостью и над самими собой.

Ибо мы станем победителями, и вы это знаете. Но победим мы именно благодаря тому поражению, тем долгим блужданиям во мраке, которые помогли нам постичь свою правоту, благодаря тому страданию, чью несправедливость испили полной чашей, сумев извлечь из него нужный урок. В нем нашли мы секрет нашей победы и если не утеряем его когда-нибудь, то станем победителями навек. Через страдание мы постигли, что, вопреки нашим прежним убеждениям, разум бессилен перед мечом, но что разум в союзе с мечом всегда возьмет верх над мечом, вынутым из ножен с одной лишь целью — убивать. Вот отчего теперь мы взяли на вооружение и меч, убедившись в том, что разум — на нашей стороне. Для этого нам понадобилось увидеть, как умирают, самим прикоснуться к смерти, для этого понадобилась утренняя прогулка на гильотину французского рабочего, проходящего на рассвете по коридорам тюрьмы и призывающего своих товарищей, от камеры к камере, показать врагам свое мужество. И, наконец, для того, чтобы подчинить себе разум, нам понадобилась физическая пытка. Поистине прочно владеешь лишь тем, за что дорого уплачено. Мы дорого заплатили за свое знание, и нам предстоит еще платить и платить за него. Но зато теперь за нами наша уверенность, наши убеждения, наша справедливость — и поражение ваше неизбежно.

Я никогда не верил в торжество правды, ничем другим не подкрепленной. Но очень важно знать, что при равной энергии правда одерживает верх над ложью. Вот к какому трудному равновесию мы пришли. И сражаемся сегодня, помня об этом нюансе. У меня есть даже искушение сказать вам, что мы боремся именно за нюансы, но за такие, которые в своей значимости не уступают ценности самого человека. Мы боремся за нюанс, отличающий жерт-

венность от мистики, энергию от насилия, силу от жестокости, за еще более тонкий, неуловимый нюанс, отличающий фальшь от правды, а человека, на которого уповаем,— от коварных богов, которым поклоняетесь вы.

Вот то, что я хотел вам сказать, притом не над схваткой, а в разгаре самой схватки. Вот то, что я хотел ответить на ваше «вы не любите свою родину», которое до сих пор преследует меня. Но я хочу быть до конца откровенен с вами. Я думаю, что Франция надолго утратила свою мощь и величие, и ей понадобятся долгие годы отчаянного терпения, отчаянной упорной борьбы, чтобы вернуть себе хоть часть того престижа, который необходим для любой культуры. Но я полагаю также, что она утратила все это по благородным причинам. Вот потому-то надежда и не покидает меня. И в этом весь смысл моего письма. Тот же человек, которого пять лет назад вы жалели за то, что он столь сдержан в своих чувствах к родине, сегодня может сказать вам — вам лично и всем нашим ровесникам в Европе и во всем мире: «Я принадлежу к замечательной, стойкой нации, которая, невзирая на тяжкий груз заблуждений и слабостей, смогла сохранить и уберечь то главное, что составляет ее величие и что ее народ постоянно — а его избранники временами — пытается выразить все четче и яснее. Я принадлежу к нации, которая четыре года назад начала пересмотр всей своей истории и которая нынче среди развалин спокойно и уверенно готовится переписать эту историю заново, попытав счастья в игре, где у нее нет козырей. Моя страна стоит того, чтобы любить ее трудной и требовательной любовью — моей любовью. Моя страна, я уверен, теперь стоит того, чтобы за нее бороться, ибо она заслуживает высшей любви. И я говорю: ваша нация, в противоположность моей, удостоилась от своих сынов той любви, какую заслужила,— любви слепцов. Такой любовью ей не оправдаться. Вот что вас погубило. И если вы были побеждены уже в разгаре самых триумфальных ваших побед, то что же станет с вами теперь, в поражении, которое близится так неотвратимо?»

Июль 1943

Письмо второе

Я уже писал вам, и писал тоном, исполненным уверенности. Пять лет спустя после нашей последней встречи я объяснял вам, отчего мы сильнее вас: из-за того окольного пути, на котором искали подтверждения своим принципам; из-за опоздания, виной которому было сомнение в правоте; из-за безумного в своей нелепости желания примирить меж собою все, что мы любили. Это настолько важно, что стоит еще раз вернуться к этой теме. Как я уже говорил, мы дорого заплатили за свои метания. Мы так страшились запятнать себя несправедливостью, что предпочли ей хаос сомнений. Но именно этот груз сомнений стал сегодня нашей силой, и именно благодаря ему мы близимся к победе.

Да, я все это высказал вам, и притом тоном, исполненным уверенности, единым духом, как сказалоcь. Видите ли, у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить надо всем этим. Размышлять ведь лучше всего ночью. А уже три года, как вы повергли во мрак ночи наши города и наши сердца. Три года, как мы блуждаем в потемках, в поисках той самой идеи, которая сегодня встает перед вами, облаченная в доспехи. И теперь я могу говорить с вами о разуме. Ибо уверенность, которую обрели мы сегодня, есть чувство, которым все окупается, и проясненный разум протягивает руку отваге. И, мне кажется, для вас, так легковерно рассуждавшего передо мной о разуме, явилось большой неожиданностью то, что он вернулся из такого далека, внезапно решив вновь занять свое место в истории. Но здесь я хочу снова поговорить о вас.

Ниже я объясню вам подробнее, что уверенность отнюдь не порождает ликования в сердце. Это придает определенный смысл всему, что я пишу. Но прежде я хочу закрыть наш с вами счет, подвести итог нашим воспоминаниям, нашей дружбе. Пока у меня еще есть возможность, я хочу сделать то единственное, что можно совершить для умирающей дружбы: объясниться. Я уже отвечал вам на брошенную некогда фразу «вы не любите свою родину», — воспоминание о ней мучит меня до сих пор. Сегодня же я хочу ответить на ту нетерпеливую пренебрежительную улыбку, какой вы встречали слово «разум». «Во всех своих интеллектуальных проявлениях, — гово-

рили вы, — Франция отрекается от самой себя. Ваши интеллектуалы предпочитают своей стране, в зависимости от обстоятельств, либо отчаяние, либо погоню за некой туманной истиной. Мы же, немцы, ставим Германию впереди истины, превыше отчаяния». На первый взгляд вы были как будто правы. Но, я уже говорил, если мы временами предпочитали родине справедливость, это означало лишь то, что мы хотели любить родину в справедливости, как хотели бы любить ее в истине и надежде. Вот в чем заключалось наше отличие от вас: мы были требовательны к отчизне. С вас хватало умножать мощь нации, мы же мечтали даровать своей истину. С вас было довольно служить реальной политике, мы, в самых тяжелых своих заблуждениях, бессознательно держались идеи политики чести — именно той, какую вновь обрели сегодня. Когда я говорю «мы», я не имею в виду наших правителей. В конце концов, что такое правитель?!

Мне опять вспоминается ваша улыбка. Вы всегда остерегались громких слов. Я также, но еще больше я остерегался самого себя. Вы пытались увлечь меня на тот путь, куда вступили сами и где разум стыдится разума. Уже тогда я не шел по вашим стопам. Но сегодня мои ответы будут еще более твердыми. Что есть истина? — спрашивали вы. Этого, без сомнения, никто не знает, зато нам, по крайней мере, известно, что есть ложь: это именно то, чему вы научили нас. А что есть дух? Мы знаем лишь его противоположность, имя которой — убийство. И что есть человек? Но нет, здесь я вас остановлю, это мы уже знаем. Он есть та сила, которая в конечном счете перевешивает и тиранов, и богов. Он есть сила очевидности. Именно эту, человеческую очевидность обязаны мы охранять, и наша сегодняшняя уверенность основана на понимании того, что судьба человека и судьба нашей страны слиты ныне воедино. Будь все лишено смысла, вы оказались бы правы. Но в мире осталось нечто сохранившее смысл.

Я не устану повторять вам, что мы расходимся именно в этом пункте. Мы воплотили свою родину в идее, которую ставили в ряд с другими великими представлениями: о дружбе, о человеке, о счастье, о нашей жажде справедливости. И это побуждало нас строго взыскивать с нее. Так вот, в конечном счете оказались правыми мы. Ибо

мы не захватывали для своей родины рабов, мы ничего не растоптали во имя ее. Мы терпеливо ожидали проблеска истины и обрели, посреди горя и страданий, радость готовности к бою разом за все, что нам дорого. Вы же, напротив, боретесь именно с той частью человека, которая не принадлежит родине. Вашим жертвам для отчизны грош цена, ибо ложна ваша иерархия ценностей, и ценности эти несоизмеримы с общепринятыми. Там, у себя, вы предали не только человеческое сердце. И теперь разум берет реванш за все. Вы не заплатили цены, которой он стоит, отдав положенную ему тяжкую дань ясному взгляду на мир. Из бездны нашего поражения говорю вам: именно это вас и сгубит.

Позвольте лучше рассказать вам следующее. Это случилось во Франции, неважно, где именно. Однажды на заре грузовик с вооруженными солдатами увозит из одной известной мне тюрьмы одиннадцать французов на кладбище, где вы должны расстрелять их. Из этих одиннадцати лишь пятеро или шестеро действительно что-то сделали для этого: листовки, несколько тайных встреч и — самое тяжкое — неповиновение. Эти неподвижно сидят в глубине кузова; их гложет страх, конечно, но, осмелюсь сказать, страх обычный, тот, что всегда леденит человека перед лицом неизвестности, — страх, который соседствует с мужеством. Остальные не совершили ровно ничего. И сознание того, что они умрут по ошибке, падут жертвой чьего-то безразличия, делает для них этот миг еще более мучительным. Среди них находится шестнадцатилетний мальчик. Вам знакомы лица наших подростков, и я не стану описывать вам его. Мальчика терзает ужас, он мается им, позабыв стыд. Оставьте свою презрительную улыбку: у него зуб на зуб не попадает от страха. Но вы посадили рядом с ним немецкого духовника, чья задача — облегчить этим людям близящийся конец. Могу сказать с полным правом: людям, которых сейчас станут убивать, разговоры о будущей жизни совершенно безразличны. Слишком уж трудно поверить, что общая могила — не конец всему, и пленники в грузовике упорно молчат. Поэтому исповедник занялся мальчиком, забившимся, как зверек, в угол машины. Этот поймет его легче, чем взрослые. Мальчик отвечает, он цепляется за этот утешающий

голос, надежда забрезжила ему. В самом немом из всех ужасов бывает иногда достаточно, чтобы кто-нибудь подал голос: а вдруг все уладится?! «Я ничего не сделал», — говорит мальчик. «Да-да, — отвечает священник, — но не об этом речь. Ты должен подготовиться достойно принять смерть». — «Да не может же так быть, чтобы они не поняли!» — «Я твой друг, и я, конечно, тебя понимаю. Но теперь слишком поздно. Я не оставлю тебя до конца, и наш добрый Господь также. Ты увидишь, это будет легко». Мальчик отвернулся. Тогда священник заговаривает о Боге. Веруешь ли ты в него? Да, он верует. Ну тогда ты должен знать, что жизнь не имеет значения перед вечным покоем, который тебя ожидает. Но мальчику внушает ужас именно этот вечный покой. «Я твой друг», — повторяет исповедник.

Остальные по-прежнему молчат. Надо подумать и о них тоже. Священник приближается к их немой кучке и на минуту отворачивается от подростка. Грузовик с мягким чавканьем катит по влажной от ночной росы дороге. Представьте себе этот серый предрассветный час, запах немых тел в кузове, невидимые пленникам поля, которые угадываются лишь по звукам: звяканью упряжи, птичьему вскрику. Подросток прислоняется к брезентовому чехлу, и тот слегка поддается, открыв щель между бортом грузовика и брезентом. При желании в нее можно протиснуться и спрыгнуть с машины. Священник сидит спиной к нему, солдаты впереди зорко вглядываются в дорогу, чтобы не заплутаться в предутреннем сумраке. Мальчик, не раздумывая, приподнимает брезент, проскальзывает в щель, спрыгивает вниз. Еле слышный звук падения, за ним — шорох поспешных шагов на шоссе, дальше — тишина. Беглец оказался в поле, где вспаханная земля приглушает шум. Но хлопанье брезента и резкий, влажный, утренний холодок, ворвавшийся в кузов, заставляет обернуться и священника, и приговоренных. С минуту священник оглядывает людей, которые в свою очередь молча смотрят на него. Один короткий миг, и в течение его слуга божий должен решить, с кем он — с палачами или с мучениками. Но он не раздумывает, он уже заколотил в заднюю стенку кабины. «Achtung!» Тревога поднята. Два солдата врываются в кузов и берут пленников на мушку.

Двое других спрыгивают наземь и бегут через поле. В нескольких шагах от грузовика священник, застыв как изваяние, пытается разглядеть сквозь туманное марево, что происходит. Люди в кузове молча прислушиваются: шум преследования, сдавленные крики, выстрел, тишина, потом приближающиеся голоса и, наконец, глухой топот. Мальчик пойман. Пуля пролетела мимо, но он остановился сам, внезапно обессилев, испугавшись этого ватного, непроницаемого тумана. Он не может идти сам, солдаты волокут его. Они не били беглеца, ну разве что слегка. Главное ведь впереди. Мальчик не глядит ни на священника, ни на остальных. Священник садится в кабину рядом с шофером. Его место в кузове занимает вооруженный солдат. Мальчик, брошенный в угол, не плачет. Он молча глядит на дорогу, мелькающую между брезентовым чехлом и бортом машины. Занимается рассвет.

* * *

Насколько я вас знаю, вам легко будет домыслить конец. Но вы должны узнать, от кого мне стала известна эта история. Ее рассказал французский священник. Он говорил: «Я стыжусь за этого человека, и мне приятно думать, что ни один священник-француз не согласился бы заставить своего Бога служить убийству». И он сказал правду. Тот исповедник просто-напросто думал, как вы. Ему казалось вполне естественным отдать своей стране все, вплоть до веры в Бога. И так, у вас даже боги мобилизованы. Они, конечно, с вами, как вы любите выражаться, но с вами поневоле. Вы ничего больше не хотите видеть и понимать, вы целиком воплотились в единый безумный порыв. И сражаетесь теперь, заручившись одним лишь оружием слепого гнева, предпочтя громы и молнии порядку идей, с упорством маньяков стремясь все обратить в хаос. Мы же исходили из законов разума и неизбежно вытекающих оттуда сомнений. И перед лицом слепого гнева мы оказались слабы. Но вот теперь долгий кружной путь преодолен. Достаточно было того убитого мальчика, чтобы к разуму нашему мы присоединили гнев: отныне мы вдвое сильнее вас. И я хочу поговорить с вами о гневе.

Вспомните. На мое удивление внезапной вспышкой гнева одного из ваших начальников вы откликнулись так: «Но это тоже очень хорошо. Просто вы не понимаете. Французы лишены этой добродетели — способности гневаться». Нет, это не так, просто французы не любят щеголять своими добродетелями. Они вспоминают о них лишь в случае крайней необходимости. И это свойство придает нашему гневу ту силу молчания, которую вы начинаете чувствовать лишь сейчас. Именно с таким гневом в душе — единственным, какой мне ведом, — я буду напоследок говорить с вами.

Ибо, как я уже писал, уверенность не порождает сердечного ликования. Нам известно, что мы утратили на нашем долгом пути, и мы знаем, какой ценой заплатили за горькую радость сражаться, будучи в мире с самими собой. И именно оттого, что мы испытываем это пронзительное ощущение непоправимости, борьба наша исполнена как горечи, так и уверенности в будущем. Обычная война не удовлетворяла нас. Ибо доводы наши еще не созрели. Наш народ выбрал другое: гражданскую войну, всеобщую упорную борьбу, самопожертвование без лишних слов. Эту войну он объявил сам, ему не навязывали ее глупые или трусливые правители, и в ней он обрел свою душу, и в ней он отстаивает то представление, которое сложилось у него о себе самом. Но за эту роскошь ему пришлось заплатить ужасную цену. Вот почему этот народ имеет больше заслуг, чем ваш. Ибо лучшим из его сынов суждено было пасть на поле этой битвы: вот самая жестокая моя мысль. Есть в нелепости войны преимущество нелепости. Смерть разит повсюду и — наугад. В войне, которую мы ведем, мужество вызывает огонь на себя: это наш самый чистый, самый возвышенный дух расстреливаете вы каждодневно. Ибо ваша наивность не обделена даром предвидения. Вы никогда не знали, что следует избирать, но всегда твердо знали, что необходимо разрушить. Мы же, нарекшие себя защитниками духа, знаем при этом, что дух может погибнуть, когда сила, обрушившаяся на него, достаточно велика. Но мы веруем в иную силу. Вы воображаете, что в этих немых уже отрешившихся от земного лицах вы сможете обезобразить лицо нашей правды. Но вы не принимаете в расчет упорство,

которое заставляет Францию бороться не торопясь. В самые тяжкие минуты нас поддерживает эта приводящая в отчаяние надежда: наши товарищи окажутся терпеливее своих палачей и многочисленнее, чем их пули. И вы убедитесь: французы способны на гнев.

Декабрь 1943

Письмо третье

До сих пор я говорил с вами о моей родине, и вначале вы, вероятно, подумали о том, как изменился за эти годы мой язык. На самом деле это не так. Просто мы с вами вкладываем разный смысл в одно и то же слово, мы говорим на разных языках.

Слова всегда принимают оттенок тех действий или жертвоприношений, к которым они побуждают. И если у вас слово «родина» окрашено в кровавые глухие цвета, которые мне отвратительны, то для нас оно озарено сиянием разума, при котором труднее проявляется мужество, но где человек зато полностью выражает самого себя. Короче сказать, мой язык — и вы, вероятно, это уже поняли — не менялся никогда. Им я говорил с вами до 1939 года, им же говорю и сейчас.

Сделаю вам одно признание, которое, несомненно, лучше всего докажет вам это. Во все то время, что мы скрытно, упорно и терпеливо служили своей отчизне, мы никогда не теряли из виду главную идею, главную надежду, вечно живущую у нас в душе, — и это была Европа. Вот уже пять лет, как мы не говорили о ней. Хотя вы-то поминали ее даже слишком часто. Но и здесь мы говорили на разных языках: наша Европа не была вашей.

Перед тем как объяснить, что она представляет для нас, я хотел заверить вас хотя бы в одном: среди причин, по которым мы должны сражаться с вами (и разбить вас!), самая, быть может, глубокая — это обретенное сознание того, что нас не только раздавили в нашей собственной стране, поразив в самое сердце, но еще и обокрали, отняв самые прекрасные представления о Франции, мерзкую карикатуру на которую вы предъявили всему миру. Самое жгучее страдание — видеть то, что любишь, в шутовском

колпаке. И нам понадобится вся сила разумной, терпеливой любви, чтобы сохранить в своих сердцах ту идею новой могучей Европы, которую вы отняли у лучших из нас, придав ей избранный вами оскорбительный смысл. Есть одно такое прилагательное, которое мы перестали писать с тех пор, как вы назвали «европейской» армию рабов, — перестали именно для того, чтобы любовно сохранить для себя сокровенный, изначальный смысл этого слова, каким он пребудет для нас вечно; сейчас я объясню вам его.

Вы говорите о Европе, но разница состоит в том, что для вас она — собственность, тогда как мы чувствуем себя ее детьми. Впрочем, вы заговорили так о Европе лишь с того дня, как потеряли Африку. Такой вид любви — порочен. На эту землю, где столько веков оставили свой благородный отпечаток, вы смотрите как на место вынужденной отставки, а мы — как на сокровеннейшую из надежд. Ваша внезапная страсть к ней родилась из разочарования и необходимости. Подобное чувство никого не украшает, и теперь вам должно быть понятно, отчего всякий европеец, достойный этого имени, с презрением отряхнул от него.

Вы говорите «Европа», а думаете «полигон, хлебные закрома, прибранные к рукам заводы, послушный приказу разум». Может быть, я преувеличиваю? Но, по крайней мере, я знаю, что, говоря «Европа», даже в лучшие моменты вашей жизни, когда вам удастся искренне поверить в собственные домыслы, вы поневоле думаете о колоннах рабски покорных наций, ведомых Германией господ к сказочному и кровавому будущему. Мне бы очень хотелось заставить вас ясно почувствовать эту разницу: для вас Европа — это пространство, окруженное морями и горами, прорезанное плотинами, изрытое шахтами, покрытое колоссящими полями, пространство, на котором Германия разыгрывает партию, где ставкой служит одна только ее судьба. Но для нас Европа — заповедная обитель, где на протяжении двадцати веков разыгрывалась самая удивительная мистерия человеческого духа. Она — та избранная арена, на которой борьба человека Запада против всего мира, против богов, против себя самого ныне достигла трагического апогея. Как видите, мы подходим к Европе с разными мерками.

Не бойтесь, я не стану выдвигать против вас каноны старой пропаганды, взывая к христианской традиции. Это совсем другая проблема. Вы также слишком много говорили о ней и, изображая из себя защитников Рима, не убоились сделать Христу рекламу, к которой ему пришлось начать привыкать еще в тот день, когда он получил пощелуд, пославший его на Голгофу. Но в то же время христианская традиция — всего лишь одна из тех, что создала эту Европу, и не мне, недостойному, защищать ее перед вами. Здесь потребны вкусы и склонности сердца, отверженного Господу. А вам известно, что я к этому отношения не имею. Но когда я позволяю себе думать, что моя страна говорит от имени Европы и что, защищая первую, мы защищаем их обе, то и я тоже придерживаюсь определенной традиции. Это одновременно и традиция немногих великих людей и всего вечного, неистребимого народа. Она — эта моя традиция — имеет две элиты: избранных разума и избранных мужества, у нее есть свои властители духа и свои бесчисленные подданные. Судите сами, отличается ли эта Европа, чьи границы — плод гения некоторых из ее народов, эта Европа, чьим вечным духом осенены все ее сыновья, от того пестрого пятна, которое вы заштриховали черным на своих временных военных картах.

Вспомните, что вы сказали мне в тот день, когда смеялись над моим возмущением: «Дон Кихот не осилит Фауста, если тот захочет победить его». Я тогда ответил вам, что ни Фауст, ни Дон Кихот не созданы для борьбы и победы друг над другом, что не для того возникло искусство, чтобы нести в мир зло. Но вам нравилось утрировать образы, и вы продолжили эту игру. Теперь нужно было выбрать между Гамлетом и Зигфридом. Мне вовсе не хотелось выбирать, а главное, я был твердо уверен в том, что Запад может существовать не иначе как в хрупком равновесии силы и знания. Но вы насмеялись над знанием, вы говорили об одном лишь могуществе. Сегодня я понимаю себя куда лучше и знаю, что даже Фауст вам ныне не помощник. Ибо мы и в самом деле освоились с мыслью, что в некоторых случаях выбор неизбежен. Но наш выбор будет иметь так же мало значения, как и ваш, если он не будет делаться с ясным сознанием того, что он бесчеловечен и не имеет ничего общего с ин-

теллектуальными ценностями. Мы-то сумеем впоследствии возродить их, а вы не умели этого никогда. Как видите, я повторяю ту же мысль: мы возвращаемся издалека. Но за эту мысль мы заплатили достаточно дорого, и теперь имеем на нее право. Это побуждает меня сказать вам, что ваша Европа не годится для нас. В ней нет ничего способного объединять или воспламенять сердца. Наша же — это общее дело, которое мы продолжим вопреки вам в духе разума.

Я не стану заходить слишком далеко. Иногда мне случается на каком-нибудь повороте улицы, в тот короткий миг, что оставляют мне долгие часы общей борьбы, подумать обо всех тех уголках Европы, которые я так хорошо знаю. Это поистине чудесная земля, сотворенная трудной, порой трагической историей. И я мысленно совершаю вновь все паломничества, в какие пускались обычно интеллигенты Запада: розы в монастырских двориках Флоренции, золотые купола Кракова, Градшин с его мертвым дворцом, судорожно скорченные статуи на Карловом мосту через Влтаву, аккуратные сады Зальцбурга. О, эти цветы и камни, эти холмы и равнины, эти пейзажи, где люди и эпохи смешали воедино старые деревья и древние памятники! Память моя переплавил в своем горниле эти бесчисленные образы, соединив их в единый лик — лик моей общеевропейской родины. И сердце сжимается при мысли о том, что вот уже много лет на этот вдохновенный измученный лик падает ваша черная тень. А ведь некоторые из тех мест мы с вами повидали вместе. Мог ли я тогда предположить, что однажды нам придется избавлять их от вас! И скажу еще: бывают часы, исполненные ярости и отчаяния, когда мне случается жалеть о том, что розы по-прежнему цветут в монастыре Святого Марка, что голуби по-прежнему стайками взлетают над Зальцбургским собором, а на маленьких силезских кладбищах по-прежнему мирно алеют герани.

Но бывают и другие минуты — моменты истины, — когда я этому рад. Ибо все эти пейзажи, эти цветы и пашни на нашей древней земле каждую весну доказывают вам, что есть в мире вещи, которые вам не под силу утопить в крови. Этим образом я и хотел бы закончить свое письмо. Мне мало того, что все великие тени Запада, все тридцать народов Европы на нашей стороне: я не могу обойтись

и без ее земли. И я знаю, уверен, что все в Европе — и природа, и дух — отрицает вас, отрицает спокойно, бесстрастно, без яростной ненависти, но с твердой уверенностью победителя. Оружие, которым европейский дух сражается с вами, — то же самое, каким располагает эта земля, непрерывно возрождающаяся в налившихся колосьях, в пышных венчиках цветов. Борьба, которую мы ведем, преисполнена веры в победу, поскольку она обладает неотвратимым упорством весны.

И наконец, я знаю, что с вашим поражением далеко не все придет в норму. Европу нужно будет создавать заново. Ее всегда нужно создавать. Но, по крайней мере, она останется Европой, то есть тем, что я описал вам выше. Не все еще будет потеряно. И напоследок попробуйте представить себе нас нынешних — уверенных в своей правоте, влюбленных в свою страну, осененных духом матери-Европы, обретших себя в строгом равновесии между разумом и мечом. Я повторяю вам это еще раз, потому что должен высказать все, потому что это правда — правда, которая покажет вам тот путь, который прошли моя страна и я со времен нашей с вами дружбы: отныне живет в нас превосходство, которое вас погубит.

Апрель 1944

Письмо четвертое

Человек смертен? Возможно, но давайте умирать сопротивляясь, и если уж нам суждено небытие, то не станем соглашаться, что это справедливо.

ОБЕРМАНН, (письмо 90)

Вот и наступил день вашего поражения. Я пишу вам из всемирно известного города, который, вам на погибель, готовит завтрашнюю свободу. Он знает, что это не так-то легко и что до победы ему придется побороть ночь еще более мрачную, чем та, которая началась четыре года назад с вашим приходом. Я пишу вам из города, лишённого самого необходимого — света, топлива, продуктов,

но непобежденного. Скоро, очень скоро овеет его дыхание свежего ветра, вам еще неизвестного. И, если нам повезет, мы встанем с вами лицом к лицу. И тогда сможем сразиться с полным знанием дела — я, досконально знающий ваши доводы, и вы, так же хорошо понимающий мои.

Эти июльские ночи одновременно и легки и невыносимо тяжелы. Легки на берегах Сены, под деревьями, тяжелы — в сердцах тех, кто терпеливо ждет того единственно нужного им отныне рассвета. Я тоже жду, и я думаю о вас: мне хочется сказать вам еще одну вещь, теперь уже последнюю. Я хочу рассказать вам, как стало возможным то, что мы, некогда такие похожие, ныне стали врагами, как я мог бы оказаться на вашей стороне и отчего теперь все кончено между нами.

Мы оба долгое время полагали, что в этом мире нет высшего разума и что все мы обмануты. В какой-то мере это убеждение живет во мне и сейчас. Но я сделал из этого и другие выводы, отличающиеся от тех, которыми вы оперировали тогда и которыми вот уже столько лет пытаетесь насильно обогатить Историю. Сегодня я говорю себе, что, прими я эти ваши мысли, я вынужден был бы оправдать все, что вы сейчас творите. А это настолько серьезно, что лучше уж мне остаться навсегда здесь, в самом сердце летней ночи, столь богатой надеждами для нас и угрозами для вас.

Вы никогда не верили в осмысленность этого мира, а вывели отсюда идею о том, что все в нем равноценно, что добро и зло определяются желанием человека. Вы решили, что, за неимением какой бы то ни было человеческой или божественной морали, единственные ценности — это те, которые управляют животным миром, а именно: жестокость и хитрость. Отсюда вы вывели, что человек — ничто и можно убить его душу; что в самой бессмысленной из историй задача индивидуума состоит лишь в демонстрации силы, а его мораль — в реализме завоеваний. По правде сказать, я, думавший, казалось бы, точно так же, не находил контраргументов, ощущая в себе разве лишь жадное желание справедливости, которое, признаться, выглядело в моих глазах столь же необоснованным, как и самая бурная из страстей.

В чем же заключалось различие? А вот в чем: вы легко отказались от надежды найти смысл жизни, а я никогда в этом не отчаивался. Вы легко смирились с несправедливостью нашего, людского, положения, а потом решились еще и усугубить его, тогда как мне, напротив, казалось, что человек именно для того и обязан утверждать справедливость, созидать счастье, чтобы противостоять миру несчастий. Именно оттого, что вы обратили свое отчаяние в род опьянения, что вы освободились от него, возведя в принцип, вам так легко разрушать творения человеческих рук и духа и бороться с человеком, стараясь довести до предела извечное его страдание. Я же, отказавшись смириться с этим отчаянием, с этим истерзанным миром, хотел только, чтобы люди вновь обрели солидарность, а затем вместе, сообща начали борьбу со своим жалким уделом.

Как видите, из одного и того же принципа мы извлекли разную мораль. Ибо в пути вы отказались от ясности видения, найдя более удобным (или, по вашему выражению, вполне безразличным), чтобы кто-то другой думал за вас и за миллионы прочих немцев. Оттого что вы устали бороться с небом, вы нашли себе отдохновение в этой изнурительной авантюре, где ваша задача — изуродовать души и разрушить землю. Короче говоря, вы избрали несправедливость, вы уподобили себя богам. А ваши логические выкладки были всего лишь маскировкой.

Я же, напротив, избрал для себя справедливость, чтобы сохранить верность земле. Я продолжаю думать, что мир этот не имеет высшего смысла. Но я знаю также, что есть в нем нечто, имеющее смысл, и это — человек, ибо человек — единственное существо, претендующее на постижение смысла жизни. Этот мир украшен, по крайней мере, одной настоящей истиной — истиной человека, и наша задача — вооружить его убедительными доводами, чтобы он с их помощью мог бороться с самой судьбой. А человек не имеет иных доводов, кроме того единственного, что он — человек, вот почему нужно спасать человека, если хочешь спасти то представление, которое люди составили себе о жизни. Ваша пренебрежительная улыбка скажет мне: «Что это означает — спасти человека?» Но ведь я всем своим существом давно уже кричу вам: это значит не калечить его, это значит дать ему шансы на

справедливость, которую он один в целом мире исповедует.

Вот почему мы стоим по разные стороны баррикады. Вот почему мы должны были сперва последовать за вами по тому пути, который нам чужд и который в результате завершился для нас поражением. Ибо вы были сильны своим отчаянием. С того момента, как оно становится одиноким, чистым, уверенным в себе, неумолимым в своих последствиях, отчаяние обретает безжалостную, несокрушимую силу. И эта сила раздавила нас, пока мы колебались, все еще в нерешительности оглядываясь назад, в счастливые прошлые времена. Нам казалось, что счастье — величайшая из побед, что оно — то оружие, которым сражаются с неумолимой судьбой. И даже в крахе разгрома сожаление о нем не оставляло нас.

Но вы свершили предначертанное: мы вошли в Историю. И в течение пяти лет никому больше не было дозволено наслаждаться птичьими трелями в вечерней прохладе. Пришлось поневоле погрузиться в отчаяние. Мы были отрезаны от мира, ибо каждый миг добавлял к этому миру очередной легион смертельных образов. Вот уже пять лет, как на нашей земле не проходит утра без агонии, вечера без ареста, дня без пыток. Да, нам пришлось последовать за вами. Но наш нелегкий подвиг сводился к тому, чтобы, следуя за вами в войне, не забывать при этом о счастье. И сквозь вопли жертв и торжествующий рев жестокости мы пытались уберечь в своих сердцах воспоминание о ласковом море, о незабываемом холме, об улыбке любимой. И вот это было нашим надежнейшим оружием, тем, которое мы никогда не выпустим из рук. Ибо в тот день, когда мы выроним его, мы станем такими же мертвецами, как вы. Просто мы знаем теперь, что оружие счастья требует слишком много времени дляковки и слишком много крови для закалки.

Нам пришлось вникнуть в вашу философию, согласиться слегка походить на вас. Вы избрали для себя бесцельный, слепой героизм — единственную ценность, имеющую хождение в мире, потерявшем смысл. И вот, избрав его для себя, вы принялись навязывать его всему миру, и нам в первую очередь. И мы вынуждены были подражать вам, чтобы не погибнуть. Но тут мы заметили, что наше превосходство над вами заключается как раз в наличии

цели. Теперь, когда близится конец, мы можем сказать вам, чему научились: героизм не стоит ровно ничего — счастье завоевать гораздо труднее.

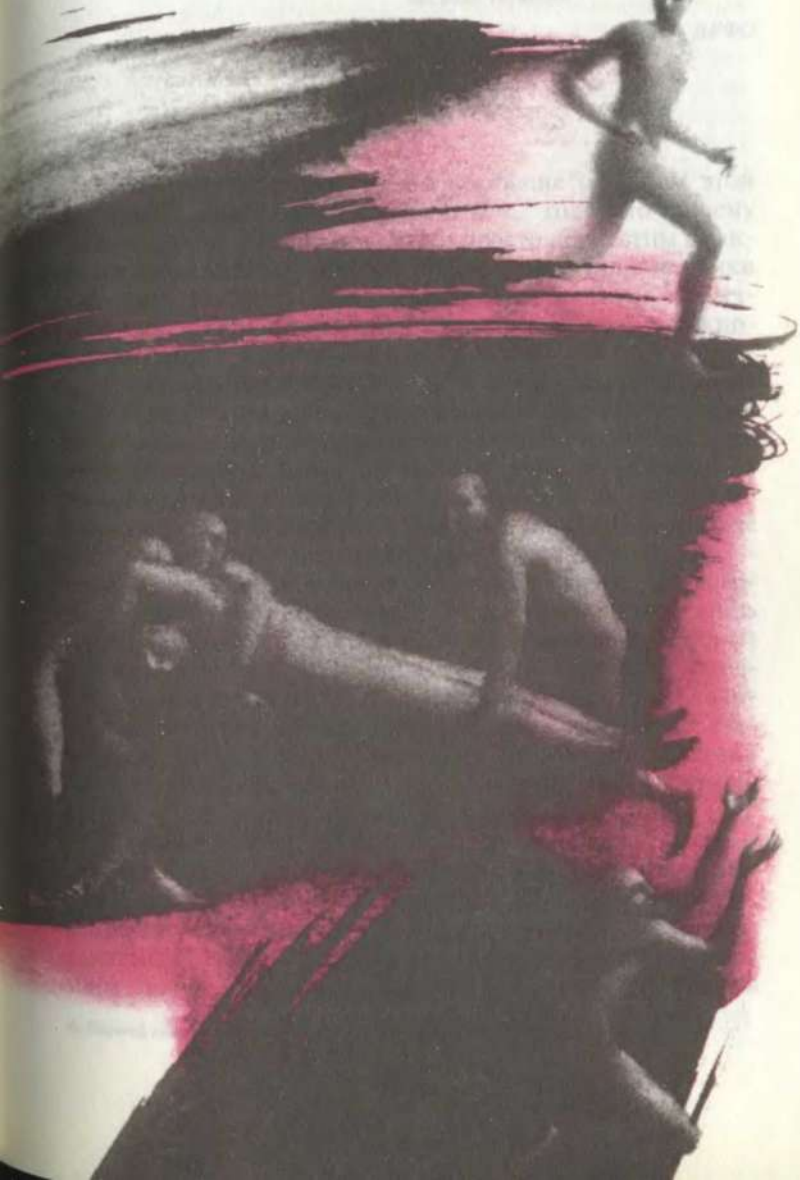
Вот теперь вам все должно быть ясно, и вы знаете, что мы враги. Вы люди, держащиеся несправедливости, а для меня нет на свете ничего, что я так сильно ненавидел бы. Раньше то было бурное, но неосознанное чувство, ныне я знаю причины. Я побеждаю вас потому, что ваша логика так же преступна, как сердце. И тот ужас, в который вы повергали нас целых четыре года, замешен поровну на разуме и на инстинкте. Вот почему приговор мой окончателен, и вы уже мертвы в моих глазах. Но даже в тот миг, когда я начну судить вас за тяжкие преступления, я вспомню, что и вы и мы изошли из одного и того же одиночества, что и вы и мы, вместе со всей Европой, участвовали в одной и той же трагедии разума. И, несмотря на вас самих, я сохраню за вами звание людей. Чтобы сохранить верность нашей вере, мы принуждены уважать в вас то, чего вы не уважали в других. Долго, очень долго это было вашим решающим преимуществом, поскольку вы убивали куда легче, чем мы. И до скончания веков это будет преимуществом всех вам подобных. Но до скончания веков мы, которые на вас не походим, будем свидетельствовать в пользу человека, чтобы он, невзирая на тягчайшие свои грехи, получил оправдание и доказательства своей невиновности.

Вот почему на исходе этой битвы из самого сердца города, принявшего адский облик смерти, через все муки, принесенные вами, несмотря на наших изуродованных мертвецов и осиротевшие деревни, я могу вам сказать, что в тот самый миг, как мы без всякой жалости уничтожим вас, мы все-таки не будем питать к вам ненависти. И даже если завтра нам, подобно многим другим, придется умирать, мы все-таки умрем без ненависти в душе. Мы не можем ручаться, что не испытаем страха, мы только попытаемся сохранить благоразумие. Но в одном можем поручиться наверняка: ненависти не будет. Есть одно лишь в мире, что я способен сегодня презирать и ненавидеть, но, говорю вам, с этим у нас все улажено, и мы хотим уничтожить вас, раздавив вашу мощь, но не топча вашу душу.

Итак, вы продолжаете сохранять то, прежнее преимущество над нами. Но в нем же заключается сегодня и наше превосходство. Вот что делает эту ночь такой легкой для меня. Вот в чем наша сила: размышлять, как и вы, о бездонной, бесконечной мудрости мира, не отказываться ни от чего в пережитой нами трагедии и в то же время сознавать, что на самом краю мировой катастрофы, угрожавшей разуму, спасена идея человека, и черпать из этого сознания неустанное мужество и волю к возрождению. Разумеется, обвинение, которое мы несем миру, от этого не становится менее тяжким. Мы слишком дорого заплатили за это новое знание, чтобы наше положение перестало казаться нам отчаянным. Сотни тысяч людей, казненных на рассвете, мрачные стены тюрем, земля Европы, смердящая от миллионов трупов тех, что были ее детьми; и все это — плата за разъяснение двух-трех нюансов, от которых, может быть, только и будет пользы, что они позволят некоторым из нас достойнее умереть. Да, это может привести в отчаяние. Но нам предстоит доказать, что мы не заслужили столь тяжелой, несправедливой доли. Мы поставили себе такую задачу и завтра же начнем решать ее. В этой европейской ночи, пронизанной дыханием лета, миллионы вооруженных или безоружных людей готовятся к бою. И скоро встанет рассвет — тот, на котором вы будете наконец побеждены. Я знаю, что небо, столь безразличное к вашим чудовищным победам, останется еще более безразличным к вашему справедливому поражению. Сегодня я еще ничего не жду от него. Но мы хотя бы помогли спасти человека от бездны одиночества, в которую вы хотели ввергнуть его. А вам в наказание за то, что вы изменили вере в человека, предстоит тысячами умирать в этом одиночестве. И теперь я могу сказать вам: прощайте!

Июль 1944

ЧУМА



LA PESTE

Если позволительно изобразить тюремное заключение через другое тюремное заключение, то позволительно также изобразить любой действительно существующий в реальности предмет через нечто вообще несуществующее.

Даниель ДЕФО

Часть первая

Любопытные события, послужившие сюжетом этой хроники, произошли в Оране в 194... году. По общему мнению, они, эти события, были просто неуместны в данном городе, ибо некоторым образом выходили за рамки обычного. И в самом деле, на первый взгляд Оран — обычный город, типичная французская префектура на алжирском берегу.

Надо признать, что город как таковой достаточно уродлив. И не сразу, а лишь по прошествии известного времени замечаешь под этой мирной оболочкой то, что отличает Оран от сотни других торговых городов, расположенных под всеми широтами. Ну как, скажите, дать вам представление о городе без голубей, без деревьев и без садов, где не услышишь ни хлопанья крыльев, ни шелеста листвы, — словом, без особых примет. О смене времени года говорит только небо. Весна извещает о своем приходе лишь новым качеством воздуха и количеством цветов, которые в корзинах привозят из пригородов розничные торговцы, — короче, весна, продающаяся вразнос. Летом солнце сжигает и без того прокаленные дома и покрывает стены сероватым пеплом; тогда жить можно лишь в тени наглухо закрытых ставен. Зато осень — это потопаы грязи. Погожие дни наступают только зимой.

Самый удобный способ познакомиться с городом — это попытаться узнать, как здесь работают, как здесь любят и как здесь умирают. В нашем городке — возможно, таково действие климата — все это слишком тесно переплетено и делается все с тем же лихорадочно-отсутствующим видом. Это значит, что здесь скучают и стараются

обзавестись привычками. Наши обыватели работают много, но лишь ради того, чтобы разбогатеть. Все их интересы вращаются главным образом вокруг коммерции, и прежде всего они заняты, по их собственному выражению, тем, что «делают дела». Понятно, они не отказывают себе также и в незатейливых радостях — любят женщин, кино и морские купания. Но, как люди рассудительные, все эти удовольствия они приберегают на субботний вечер и на воскресенье, а остальные шесть дней недели стараются заработать побольше денег. Вечером, покинув свои конторы, они в точно установленный час собираются в кафе, прогуливаются все по тому же бульвару или восседают на своих балконах. В молодости их желания неистовы и скоротечны, в более зрелом возрасте пороки не выходят за рамки общества игроков в шары, банкетов в складчину и клубов, где ведется крупная азартная игра.

Мне, разумеется, возразят, что все это присуще не только одному нашему городу и что таковы в конце концов все наши современники. Разумеется, в наши дни уже никого не удивляет, что люди работают с утра до ночи, а затем сообразно личным своим вкусам убивают остающееся им для жизни время на карты, сидение в кафе и на болтовню. Но есть ведь такие города и страны, где люди хотя бы временами подозревают о существовании чего-то иного. Вообще-то говоря, от этого их жизнь не меняется. Но подозрение все-таки мелькнуло, и то слава Богу. А вот Оран, напротив, город, по-видимому никогда и ничего не подозревающий, то есть вполне современный город. Поэтому нет надобности уточнять, как у нас любят. Мужчины и женщины или слишком быстро взаимно пожирают друг друга в том, что зовется актом любви, или же у них постепенно образуется привычка быть вместе. Между двумя этими крайностями чаще всего середины нет. И это тоже не слишком оригинально. В Орানে, как и повсюду, за неимением времени и способности мыслить люди хоть и любят, но сами не знают об этом.

Зато более оригинально другое — смерть здесь связана с известными трудностями. Впрочем, трудность — это не то слово, правильное было бы сказать некомфортность. Болеть всегда неприятно, но существуют города и страны, которые поддерживают вас во время недуга и где в известном смысле можно позволить себе роскошь поболеть. Больной нуждается в ласке, ему хочется на что-то

опереться, это вполне естественно. Но в Ороне все требует крепкого здоровья: и капризы климата, и размах деловой жизни, серость окружающего, короткие сумерки и стиль развлечений. Больной там по-настоящему одинок... Каково же тому, кто лежит на смертном одре, в глухом капкане, за сотнями потрескивающих от зноя стен, меж тем как в эту минуту целый город по телефону или за столиками кафе говорит о коммерческих сделках, коносаментах и учете векселей. И вы поймете тогда, до чего же некомфортабельна может стать смерть, даже вполне современная, когда она приходит туда, где всегда сушь.

Будем надеяться, что эти беглые указания дадут достаточно четкое представление о нашем городе. Впрочем, не следует ничего преувеличивать. Надо бы вот что особенно подчеркнуть — банальнейший облик города и банальный ход тамошней жизни. Но стоит только обзавестись привычками, и дни потекут гладко. Раз наш город благоденствует именно приобретению привычек, следовательно, мы вправе сказать, что все к лучшему. Конечно, под этим углом жизнь здесь не слишком захватывающая. Зато мы не знаем, что такое беспорядок. И наши прямодушные, симпатичные и деятельные сограждане неизменно вызывают у путешественника вполне законное уважение. Этот отнюдь не живописный город, лишенный зелени и души, начинает казаться градом отдохновения и под конец усыпляет. Но справедливости ради добавим, что привили его к ни с чем не сравнимому пейзажу, он лежит посреди голого плато, окруженного лучезарными холмами, у самой бухты совершенных очертаний. Можно только пожалеть, что строился он спиной к бухте, поэтому моря ниоткуда не видно, вечно его приходится отыскивать.

После всего вышесказанного читатель без труда согласится, что происшествия, имевшие место весной нынешнего года, застали наших сограждан врасплох и были, как мы поняли впоследствии, провозвестниками целой череды событий чрезвычайных, рассказ о коих излагается в этой хронике. Некоторым эти факты покажутся вполне правдоподобными, зато другие могут счесть их фантазией автора. Но в конце концов летописец не обязан считаться с подобными противоречиями. Его задача — просто сказать «так было», если он знает, что так оно и было в дей-

ствительности, если случившееся непосредственно коснулось жизни целого народа и имеются, следовательно, тысячи свидетелей, которые оценят в душе правдивость его рассказа.

К тому же рассказчик, имя которого мы узнаем в свое время, не позволил бы себе выступать в этом качестве, если бы волею случая ему не довелось собрать достаточное количество свидетельских показаний и если бы силою событий он сам не оказался замешанным во все, что намерен изложить. Это и позволило ему выступить в роли историка. Само собой разумеется, историк, даже если он дилетант, всегда располагает документами. У рассказывающего эту историю, понятно, тоже есть документы: в первую очередь его личное свидетельство, потом свидетельства других, поскольку в силу своего положения ему пришлось выслушивать доверительные признания всех персонажей этой хроники, наконец, бумаги, попавшие в его руки. Он намерен прибегать к ним, когда сочтет это необходимым, и использовать их так, как ему это удобно. Он намерен также... Но, видимо, пора уже бросить рассуждения и недомолвки и перейти к самому рассказу. Описание первых дней требует особой тщательности.

Утром шестнадцатого апреля доктор Бернар Риэ, выйдя из квартиры, споткнулся на лестничной площадке о дохлую крысу. Как-то не придав этому значения, он отшвырнул ее носком ботинка и спустился по лестнице. Но уже на улице он задал себе вопрос, откуда бы взяться крысе у него под дверь, и он вернулся сообщить об этом происшествии привратнику. Реакция старого привратника мсье Мишеля лишь подчеркнула, сколь необычным был этот случай. Если доктору присутствие в их доме дохлой крысы показалось только странным, то в глазах привратника это был настоящий позор. Впрочем, мсье Мишель занял твердую позицию: в их доме крыс нет. И как ни уверял его доктор, что сам видел крысу на площадке второго этажа, и, по всей видимости, дохлую крысу, мсье Мишель стоял на своем. Раз в доме крыс нет, значит, кто-нибудь подбросил ее нарочно. Короче, кто-то просто подшутил.

Вечером того же дня Бернар Риэ, прежде чем войти к себе, остановился на площадке и стал шарить по карма-

нам ключи, как вдруг он заметил, что в дальнем, темном углу коридора показалась огромная крыса с мокрой шерсткой, двигавшаяся как-то боком. Грызун остановился, словно стараясь удержаться в равновесии, потом двинулся к доктору, снова остановился, перевернулся вокруг собственной оси и, слабо пискнув, упал на пол, причем из его мордочки брызнула кровь. С минуту доктор молча смотрел на крысу, потом вошел к себе.

Думал он не о крысе. При виде брызнувшей крови он снова вернулся мыслью к своим заботам. Жена его болела уже целый год и завтра должна была уехать в санаторий, расположенный в горах. Как он и просил уходя, она лежала в их спальне. Так она готовилась к завтрашнему утомительному путешествию. Она улыбнулась.

— А я чувствую себя прекрасно, — сказала она.

Доктор посмотрел на повернутое к нему лицо, на которое падал свет ночника. Лицо тридцатилетней женщины казалось Риэ таким же, каким было в дни первой молодости, возможно из-за этой улыбки, возмещавшей все, даже пометы тяжелого недуга.

— Постарайся, если можешь, заснуть, — сказал он. — В одиннадцать придет сиделка, и я отвезу вас обеих на вокзал к двенадцатичасовому поезду.

Он коснулся губами чуть влажного лба. Жена проводила его до дверей все с той же улыбкой.

Наутро, семнадцатого апреля, в восемь часов привратник остановил проходящего мимо доктора и пожаловался ему, что какие-то злые шутники подбросили в коридор трехдохлых крыс. Должно быть, их захлопнула особенно мощная крысоловка, потому что они все были в крови. Привратник еще с минуту постоял в дверях, держа крыс за лапки, он, видимо, ожидал, что злоумышленники выдадут себя какими-нибудь ядовитыми шутками. Но ровно ничего не произошло.

— Ладно, погодите, — пообещал мсье Мишель, — я их непременно поймаю.

Заинтригованный этим происшествием, Риэ решил начать визиты с внешних кварталов, где жили самые бедные его пациенты. Мусор оттуда вывозили обычно много позже, чем из центра города, и автомобиль, кативший по прямым и пыльным улицам, чуть не задевал своими боками стоявшие на краю тротуара ящики с отбросами. Толь-

ко на одной из улиц, по которой ехал доктор, он насчитал с десяток дохлых крыс, валявшихся на гудах очистков и грязного тряпья.

Первого больного, к которому он заглянул, он застал в постели в комнате, выходящей окнами в переулок, которая служила и спальней и столовой. Больной был старик испанец с грубым изможденным лицом. Перед ним на одеяле стояли две кастрюльки с горошком. Когда доктор входил, больной, полусидевший в постели, откинулся на подушки, стараясь справиться с хриплым дыханием, выдававшим застарелую астму. Жена принесла тазик.

— А вы видели, доктор, как они лезут, а? — спросил старик, пока Риэ делал ему укол.

— Верно, — подтвердила жена, — наш сосед трех подобрал.

Старик потер руки.

— Лезут, во всех помойках их полно! Это к голоду!

Риэ понял, что о крысах говорит уже весь квартал. Покончив с визитами, доктор возвратился домой.

— Вам телеграмма пришла, — сказал мсье Мишель.

Доктор осведомился, не видал ли он еще крыс.

— Э-э, нет, — ответил привратник. — Я теперь в оба гляжу, сами понимаете. Ни один мерзавец не сунется.

Телеграмма сообщала, что завтра прибывает мать Риэ. В отсутствие больной жены дом будет вести она. Доктор вошел к себе в квартиру, где уже ждала сиделка. Жена была на ногах, она надела строгий английский костюм, чуть подкрасилась. Он улыбнулся ей.

— Вот и хорошо, — сказал он, — очень хорошо.

На вокзале он посадил ее в спальный вагон. Она оглядела купе.

— Пожалуй, слишком для нас дорого, а?

— Так надо, — ответил Риэ.

— А что это за история с крысами?

— Сам еще не знаю. Вообще-то странно, но все обойдется.

И тут он, комкая слова, попросил у нее прощения за то, что недостаточно заботился о ней, часто бывал невнимателен. Она покачала головой, словно умоляя его замолчать, но он все-таки добавил:

— Когда ты вернешься, все будет по-другому. Начнем все сначала.

— Да, — сказала она, и глаза ее заблестели. — Начнем.

Она повернулась к нему спиной и стала смотреть в окно. На перроне суетились и толкались пассажиры. Даже в купе доходило приглушенное пыхтение паровоза. Он окликнул жену, и, когда она обернулась, доктор увидел мокрое от слез лицо.

— Не надо, — нежно проговорил он.

В глазах ее еще стояли слезы, но она снова улыбнулась, вернее, чуть скривила губы. Потом прерывисто вздохнула.

— Ну иди, все будет хорошо.

Он обнял ее и теперь, стоя на перроне по ту сторону вагонного окна, видел только ее улыбку.

— Прощу тебя, — сказал он, — береги себя.

Но она уже не могла слышать его слов.

При выходе на вокзальную площадь Риэ заметил господина Отона, следователя, который вел за ручку своего сынишку. Доктор осведомился, не уезжает ли он. Господин Отон, длинный и черный, похожий на человека светского, как некогда выражались, и одновременно на факельщика из похоронного бюро, ответил любезно, но немногословно:

— Я встречаю мадам Отон, она ездила навестить моих родных.

Засвистел паровоз.

— Крысы... — начал следователь.

Риэ шагнул было в сторону поезда, но потом снова повернул к выходу.

— Да, но это ничего, — проговорил он.

Все, что удержала его память от этой минуты, был железнодорожник, несший ящик сдохлыми крысами, прижимая его к боку.

В тот же день после обеда, еще до начала вечернего приема, Риэ принял молодого человека — ему уже сообщили, что это журналист и что он заходил утром. Звался он Раймон Рамбер. Невысокий, широкоплечий, с решительным лицом, светлыми умными глазами, Рамбер, носивший костюм спортивного покроя, производил впечатление человека, находящегося в ладах с жизнью. Он сразу же приступил к делу. Явился он от большой парижской газеты взять у доктора интервью по поводу условий жизни арабов и хотел бы также получить материалы о сани-

тарном состоянии коренного населения. Риэ сказал, что состояние не из блестящих. Но он пожелал узнать, прежде чем продолжать беседу, может ли журналист написать правду.

— Ну ясно, — ответил журналист.

— Я имею в виду, будет ли ваше обвинение безоговорочным?

— Безоговорочным, скажу откровенно, — нет. Но хочу надеяться, что для такого обвинения нет достаточных оснований.

Очень мягко Риэ сказал, что, пожалуй, и впрямь для подобного обвинения оснований нет; задавая этот вопрос, он преследовал лишь одну цель — ему хотелось узнать, может ли Рамбер свидетельствовать, ничего не смягчая.

— Я признаю только свидетельства, которые ничего не смягчают. И поэтому не считаю нужным подкреплять ваше свидетельство данными, которыми располагаю.

— Язык, достойный Сен-Жюста, — улыбнулся журналист.

Не повышая тона, Риэ сказал, что в этом он ничего не смыслит, а говорит он просто языком человека, уставшего жить в нашем мире, но, однако, чувствующего влечение к себе подобным и решившего для себя лично не мириться со всяческой несправедливостью и компромиссами. Рамбер, втянув голову в плечи, поглядывал на него.

— Думаю, что я вас понял, — проговорил он не сразу и поднялся.

Доктор проводил его до дверей.

— Спасибо, что вы так смотрите на вещи.

Рамбер нетерпеливо повел плечом.

— Понимаю, — сказал он, — простите за беспокойство.

Доктор пожал ему руку и сказал, что можно было бы сделать любопытный репортаж о грызунах: повсюду в городе валяются десяткидохлых крыс.

— Ого! — воскликнул Рамбер. — Действительно интересно!

В семнадцать часов, когда доктор снова отправился с визитами, он встретил на лестнице довольно еще молодого человека, тяжеловесного, с большим, массивным, но худым лицом, на котором резко выделялись густые бро-

ви. Доктор изредка встречал его у испанских танцовщиков, живших в их подъезде на самом верхнем этаже. Жан Тарру сосредоточенно сосал сигарету, глядя на крысу, которая корчилась в агонии на ступеньке у самых его ног. Тарру поднял на доктора спокойный, пристальный взгляд серых глаз, поздоровался и добавил, что все-таки нашествие крыс — любопытная штука.

— Да, — согласился Риэ, — но в конце концов это начинает раздражать.

— Разве что только с одной точки зрения, доктор, только с одной. Просто мы никогда ничего подобного не видели, вот и все. Но я считаю этот факт интересным, да, да, весьма интересным.

Тарру провел ладонью по волосам, отбросил их назад, снова поглядел на переставшую корчиться крысу и улыбнулся Риэ.

— Вообще-то говоря, доктор, это уж забота привратника.

Доктор как раз обнаружил привратника у их подъезда, он стоял, прислонясь к стене, и его обычно багровое лицо выражало усталость.

— Да, знаю, — ответил старик Мишель, когда доктор сообщил ему о новой находке. — Теперь их сразу по две, по три находят. И в других домах то же самое.

Вид у него был озабоченный, пришибленный. Машинальным жестом он тер себе шею. Риэ осведомился о его самочувствии. Нельзя сказать, чтобы он окончательно расклеился. А все-таки как-то ему не по себе. Очевидно, это его заботы точат. Совсем сбили с панталыку эти крысы, а вот когда они уберутся прочь, ему сразу полегчает.

Но на следующее утро, восемнадцатого апреля, доктор, ездивший на вокзал встречать мать, заметил, что мсье Мишель еще больше осунулся: теперь уж с десятков крыс карабкались по лестницам, видимо, перебирались из подвала на чердак. В соседних домах все баки для мусора полны дохлых крыс. Мать доктора выслушала эту весть, не выказав ни малейшего удивления.

— Такие вещи случаются.

Была она маленькая, с серебристой сединой в волосах, с кроткими черными глазами.

— Я счастлива повидать тебя, Бернар, — твердила она. — И никакие крысы нам не помешают.

Сын кивнул: и впрямь с ней всегда все казалось легким.

Все же Риэ позвонил в городское бюро дератизации, он был лично знаком с директором. Слышал ли директор разговоры о том, что огромное количество крыс вышли из нор и подымают? Мерсье, директор, слышал об этом, и даже в их конторе, расположенной неподалеку от набережной, обнаружено с полсотни грызунов. Ему хотелось знать, насколько положение серьезно. Риэ не мог решить этот вопрос, но он считал, что контора обязана принять меры.

— Конечно, — сказал Мерсье, — но только когда получим распоряжение. Если ты считаешь, что дело стоит труда, я могу попытаться получить соответствующее распоряжение.

— Все всегда стоит труда, — ответил Риэ.

Их служанка только что сообщила ему, что на крупном заводе, где работает ее муж, подобрали несколько сотен дохлых крыс.

Во всяком случае, примерно в это же время наши сограждане стали проявлять первые признаки беспокойства. Ибо с восемнадцатого числа и в самом деле на всех заводах и складах ежедневно обнаруживали сотни крысиных трупиков. В тех случаях, когда агония затягивалась, приходилось грызунов приканчивать. От окраин до центра города, словом везде, где побывал доктор Риэ, везде, где собирались наши сограждане, крысы будто бы поджидали их, густо набившись в мусорные ящики или же вытянувшись длинной цепочкой в сточных канавах. С этого же дня за дело взялись вечерние газеты и в упор поставили перед муниципалитетом вопрос — намерен или нет он действовать и какие срочные меры собирается принять, дабы оградить своих подопечных от этого омерзительного нашествия. Муниципалитет ровно ничего не намеревался делать и ровно никаких мер не предпринимал, а ограничился тем, что собрался с целью обсудить положение. Службе дератизации был отдан приказ: каждое утро на рассвете подбирать дохлых крыс. А потом оба конторских грузовика должны были отвозить трупы животных на мусоросжигательную станцию для сожжения.

Но в последующие дни положение ухудшилось. Число дохлых грызунов все возрастало, и каждое утро работни-

ки конторы собирали еще более обильную, чем накануне, жатву. На четвертый день крысы стали группами выходить на свет и околевали кучно. Из всех сараев, подвалов, погребов, сточных канав вылезали они длинными расслабленными шеренгами, неверными шажками выбирались на свет, чтобы, покружившись вокруг собственной оси, подохнуть поближе к человеку. Ночью в переулках, на лестничных клетках был отчетливо слышен их корогкий предсмертный писк. Утром в предместьях города их обнаруживали в сточных канавах с венчиком крови на остренькой мордочке — одни раздутые, уже разложившиеся, другие окоченевшие, с еще воинственно взъерошенными усами. Даже в центре города можно было наткнуться на трупы грызунов, валявшихся кучками на лестничных площадках или во дворах. А некоторые одиночные экземпляры забирались в вестибюли казенных зданий, на школьные дворики, иной раз даже на террасы кафе, где и подыхали. Наши сограждане с удивлением находили их в самых людных местах города. Порой эта мерзость попадалась на Оружейной площади, на бульварах, на Приморском променаде. На заре город очищали от падали, но в течение дня крысиные трупы накапливались вновь и вновь во все возрастающем количестве. Бывало не раз, что ночной прохожий случайно с размаху наступал на пружинящий под ногой еще свежий трупик. Казалось, будто сама земля, на которой были построены наши дома, очищалась от скопившейся в ее недрах скверны, будто оттуда изливалась наружу сукровица и взбухали язвы, разъедавшие землю изнутри. Вообразите же, как опешил наш доселе мирный городок, как потрясли его эти несколько дней; так здоровый человек вдруг обнаруживает, что его до поры до времени неспешно текущая в жилах кровь внезапно взбунтовалась.

Дошло до того, что агентство Инфдок (информация, документация, справки по любым вопросам) в часы, отведенные для бесплатной информации, довело до сведения радиослушателей, что за одно только двадцать пятое апреля была подобрана и сожжена 6231 крыса. Цифра эта обобщила и прояснила смысл уже ставшего будничным зрелища и усугубила общее смятение. До этой передачи люди сетовали на нашествие грызунов как на мало аппетитное происшествие. Только теперь они осознали, что

это явление несет с собой угрозу, хотя никто не мог еще ни установить размеры бедствия, ни объяснить причину, его породившую. Один только старик испанец, задыхавшийся от астмы, по-прежнему потирал руки и твердил в упоении: «Лезут! Лезут!»

Двадцать восьмого апреля агентство Инфдок объявило, что подобрано примерно 8000 крысиных трупов, и городом овладел панический страх. Жители требовали принятия радикальных мер, обвиняли власти во всех смертных грехах, и некоторые владельцы вилл на побережье заговорили уже о том, что пришло время перебираться за город. Но на следующий день агентство объявило, что нашествие внезапно кончилось и служба очистки подобрала только незначительное количество дохлых крыс. Город вздохнул с облегчением.

Однако в тот же день около полудня доктор Риз, остановив перед домом машину, заметил в конце их улицы привратника, который еле передвигался, как-то нелепо растопырив руки и ноги и свесив голову, будто деревянный паяц. Старика привратника поддерживал под руку священник, и доктор сразу его узнал. Это был отец Панлю, весьма ученый и воинствующий иезуит; они не раз встречались, и Риз знал, что в их городе преподобный отец пользуется большим уважением даже среди людей, равнодушных к вопросам религии. Доктор подождал их. У старика Мишеля неестественно блестели глаза, дыхание со свистом вырывалось из груди. Вдруг что-то занемог, объяснил Мишель, и решил выйти на воздух. Но во время прогулки у него начались такие резкие боли в области шеи, под мышками и в паху, что пришлось повернуть обратно и попросить отца Панлю довести его до дома.

— Там набрякло, — пояснил он. — Не мог до дому добраться.

Высунув руку из окна автомобиля, доктор провел пальцем по шее старика возле ключиц и нащупал твердый, как деревянный, узелок.

— Идите ложитесь, смеряйте температуру, я загляну к вам под вечер.

Привратник ушел, а Риз спросил отца Панлю, что он думает насчет нашествия грызунов.

— Очевидно, начнется эпидемия, — ответил святой отец, и в глазах его, прикрытых круглыми стеклами очков, мелькнула улыбка.

После завтрака Риэ перечитывал телеграмму, где жена сообщала о своем прибытии в санаторий, как вдруг раздался телефонный звонок. Звонил его старый пациент, служащий мэрии. Он уже давно страдал сужением аорты, и, так как человек он был малоимущий, Риэ лечил его бесплатно.

— Да, это я, вы меня, наверно, помните, — сказал он. — Но сейчас речь не обо мне. Приходите поскорее, с моим соседом неладно.

Голос его прерывался. Риэ подумал о привратнике и решил заглянуть к нему попозже. Через несколько минут он уже добрался до одного из внешних кварталов и открыл дверь низенького домика по улице Федерб. На середине сырой и вонючей лестницы он увидел Жозефа Грана, служащего мэрии, который вышел его встретить. Узкоплечий, длинный, сутулый, с тонкими ногами и руками, прокуренными желтыми усами, он казался старше своих пятидесяти лет.

— Сейчас чуть получше, — сказал он, шагнув навстречу Риэ, — а я уж испугался, что он кончается.

Он высморкался. На третьем, то есть на самом верхнем, этаже Риэ прочел на двери слева надпись, сделанную красным мелом: «Входите, я повесился».

Они вошли. Веревка свисала с люстры над опрокинутым стулом, стол был задвинут в угол. Но в петле никого не оказалось.

— Я его вовремя успел вынуть из петли, — сказал Гран, который, как и всегда, с трудом подбирал слова, хотя лексикон его был и без того небогат. — Я как раз выходил и вдруг услышал шум. А когда увидел надпись, решил, что это розыгрыш, что ли. Но он так странно, я бы сказал даже зловеще, застонал...

Он поскреб себе затылок.

— По моему мнению, это должно быть крайне мучительно. Ну, понятно, я вошел.

Толкнув дверь, они очутились в светлой, бедно обставленной спальне. На кровати с медными шишечками лежал низкорослый толстячок. Дышал он громко и смотрел на вошедших воспаленными глазами. Доктор остановился на пороге. Ему почудилось, будто в паузах между двумя вздохами он слышит слабый крысиный писк. Но в углах комнаты ничто не копошилось. Риэ подошел к крова-

ти. Пациент, очевидно, упал с небольшой высоты, и упал мягко — позвонки были целы. Само собой разумеется, небольшое удушье. Не мешало бы сделать рентгеновский снимок. Доктор впрыснул больному камфару и сказал, что через несколько дней все будет в порядке.

— Спасибо, доктор, — глухо пробормотал больной.

Риэ спросил Грана, сообщил ли он о случившемся полицейскому комиссару, и тот смущенно взглянул на него.

— Нет, — сказал он, — нет. Я решил, что важнее...

— Вы правы, — подтвердил Риэ, — тогда я сам сообщу.

Но тут больной беспокойно шевельнулся, сел на кровати и заявил, что он чувствует себя прекрасно и не стоит поэтому никому ничего сообщать.

— Успокойтесь, — сказал Риэ. — Поверьте мне, все это пустяки, но я обязан сообщать о таких происшествиях.

— Ох, — простонал больной.

Он откинулся на подушку и тихонько заснул. Гран, молча пощипывавший усы, приблизился к постели.

— Ну-ну, мсье Коттар, — проговорил он. — Вы сами должны понимать. Ведь доктор, надо полагать, за такие вещи отвечает. А что, если вам в голову придет еще раз...

Но Коттар, всхлипывая, заявил, что не придет, то была просто минутная вспышка безумия и он лишь одного хочет — пускай его оставят в покое. Риэ написал рецепт.

— Ладно, — сказал он. — Не будем об этом. Я найду дня через два-три. Только смотрите снова не наделайте глупостей.

На лестничной площадке Риэ сказал Грану, что обязан заявить о происшедшем, но что он попросит комиссара начать расследование не раньше, чем дня через два.

— Ночью за ним стоило бы приглядеть. Семья у него есть?

— Во всяком случае, я никого не знаю, но могу сам за ним присмотреть. — Он покачал головой. — Признаться, я и его самого-то не так уж хорошо знаю. Но нужно ведь помогать друг другу.

Проходя по коридору, Риэ машинально посмотрел в угол и спросил Грана, полностью ли исчезли крысы из их квартала. Чиновник не мог сообщить по этому поводу

ничего. Правда, ему рассказывали о крысином нашествии, но он обычно не придает значения болтовне соседей.

— У меня свои заботы, — сказал он.

Риэ поспешно пожал ему руку. Нужно было еще написать жене, а перед тем навестить привратника.

Газетчики, продающие вечерний выпуск, громкими криками возвещали, что нашествие грызунов пресечено. Но, едва переступив порог каморки привратника, доктор увидел, что тот лежит, наполовину свесившись с кровати над помойным ведром, схватившись одной рукой за живот, другой за горло, и его рвет мучительно, с потугами, розовой желчью. Ослабев от этих усилий, еле дыша, привратник снова улегся. Температура у него поднялась до 39,5°, железы на шее и суставы еще сильнее опухли, на боку выступили два черных пятна. Теперь он жаловался, что у него ноет все нутро.

— Жжет, — твердил он, — ух как жжет, сволочь!

Губы неестественно темного цвета еле шевелились, он бормотал что-то неразборчивое и все поворачивал к врачу свои рачьи глаза, на которые от нестерпимой головной боли то и дело наворачивались слезы. Жена с тревогой смотрела на упорно молчавшего Риэ.

— Доктор, — спросила она, — что это с ним такое?

— Может быть любое. Пока ничего определенного сказать нельзя. До вечера подержите его на диете, дайте слабительное. И пусть побольше пьет.

И впрямь, привратника все время мучила жажда.

Вернувшись домой, Риэ позвонил своему коллеге Ришару, одному из самых авторитетных врачей города.

— Нет, — ответил Ришар, — за последнее время никаких экстраординарных случаев я не наблюдал.

— Ни одного случая высокой температуры, лихорадки с локальным воспалением?

— Ах да, пожалуй, в двух случаях лимфатические узлы были сильно воспалены.

— Сверх нормы?

— Ну-у, — протянул Ришар, — норма, знаете ли...

Но так или иначе, к вечеру у привратника температура поднялась до 40°, он бредил и жаловался на крыс. Риэ решил сделать ему фиксирующий абсцесс. Почувствовав жжение от терпентина, больной завопил: «Ох, сволочи!»

Лимфатические узлы еще сильнее набрякли, затвердели и на ощупь казались жесткими, как дерево. Жена больного совсем потеряла голову.

— Не отходите от него, — посоветовал доктор. — Если понадобится, позвоните меня.

На следующий день, тридцатого апреля, с влажно-голубого неба повеял уже по-весеннему теплый ветер. Он принес из отдаленных пригородов благоухание цветов. Утренние шумы казались звонче, жизнерадостнее обычного. Для всего нашего небольшого городка, сбросившего с себя смутное предчувствие беды, под тяжестью которого мы прожили целую неделю, этот день стал подлинным днем прихода весны. Даже Риэ, получивший от жены бодрое письмо, спустился к привратнику с ощущением какой-то душевной легкости. И в самом деле, температура к утру упала до 38°. Больной слабо улыбнулся, не поднимая головы с подушки.

— Ему лучше, да, доктор? — спросила жена.

— Подождем еще немного.

Но к полудню температура сразу поднялась до 40°, больной не переставая бредил, приступы рвоты участились. Железы на шее стали еще болезненнее на ощупь, и привратник все закидывал голову, как будто ему хотелось держать ее как можно дальше от тела. Жена сидела в изножье постели и через одеяло легонько придерживала ноги больного. Она молча взглянула на врача.

— Вот что, — сказал Риэ, — его необходимо изолировать и провести специальный курс лечения. Я позвоню в госпиталь, и мы перевезем его в карете «скорой помощи».

Часа через два, уже сидя в машине «скорой помощи», доктор и жена больного склонились над ним. С обметанных, распухших губ срывались обрывки слов: «Крысы! Крысы!» Лицо его позеленело, губы стали как восковые, веки словно налились свинцом, дышал он прерывисто, поверхностно и, как бы распятый разбухшими железами, все жался в угол откидной койки, будто хотел, чтобы она захлопнулась над ним, будто какой-то голос, идущий из недр земли, не переставая звал его, задыхающегося под какой-то невидимой тяжестью. Жена плакала.

— Значит, доктор, надежды уже нет?

— Он скончался, — ответил Риэ.

Смерть привратника, можно сказать, подвела черту под первым периодом зловещих предзнаменований и положила начало второму, относительно более трудному, где первоначальное изумление мало-помалу перешло в панику. Прежде никто из наших сограждан даже мысли никогда не допускал — они поняли это только сейчас, — что именно нашему городку предназначено стать тем самым местом, где среди белого дня околевают крысы, а привратники гибнут от загадочных недугов. С этой точки зрения мы, следовательно, заблуждались, и нам пришлось срочно пересматривать свои представления о мире. Если бы дело тем и ограничилось, привычка взяла бы верх. Но еще многим из нас — причем не только привратникам и беднякам — пришлось последовать по пути, который первым проложил мсье Мишель. Вот с этого-то времени и возник страх, а ему сопутствовали раздумья.

Однако, прежде чем приступить к подробному описанию дальнейших событий, рассказчик считает полезным привести суждение другого свидетеля касательно этого этапа. Жан Тарру, с которым читатель уже встречался в начале этого повествования, осел в Оране за несколько недель до чрезвычайных событий и жил в одном из самых больших отелей в центре города. Судя по всему, жил он безбедно, на свои доходы. Но хотя город постепенно привык к нему, никто не знал, откуда он взялся, почему живет здесь. Его встречали во всех общественных местах. С первых весенних дней его чаще всего можно было видеть на пляже, где он с явным удовольствием нырял и плавал. Жизнерадостный, с неизменной улыбкой на губах, он, казалось, отдавался всем развлечениям, но отнюдь не был их рабом... И в самом деле, можно назвать только одну его привычку — усердные посещения испанских танцовщиков и музыкантов, которых в нашем городе немало.

Так или иначе, его записные книжки тоже содержат хронику этого трудного периода. Но тут, в сущности, мы имеем дело с совсем особой хроникой, словно автор заведомо поставил себе целью все умять. На первый взгляд кажется, будто Тарру как-то ухитряется видеть людей и предметы в перевернутый бинокль. Среди всеобщего смятения он, по сути дела, старался стать историографом того, что вообще не имеет истории. Разумеется, можно только пожалеть об этой предвзятости и заподозрить душевную

черствость. Но при всем том его записи могут пополнить хронику этого периода множеством второстепенных деталей, имеющих, однако, свое значение; более того, сама их своеобразность не позволяет нам судить с налету об этом безусловно занятом персонаже.

Первые записи Жана Тарру относятся ко времени его прибытия в Оран. С самого начала в них чувствуется, что автор до странности доволен тем обстоятельством, что попал в такой уродливый город. Там мы находим подробное описание двух бронзовых львов, украшающих подъезд мэрии, вполне благодушные замечания насчет отсутствия зелени, насчет неприглядного вида зданий и нелепой планировки города. Эти замечания Тарру перемежает диалогами, подслушанными в трамваях и на улицах; причем автор избегает любых комментариев, за исключением — но это уже позднее — одного разговора, касающегося некоего Кана. Тарру довелось присутствовать при беседе двух трамвайных кондукторов.

— Ты Кана знал? — спросил первый.

— Какого Кана? Высокого такого, с черными усами?

— Его самого. Он еще работал стрелочником.

— Ну конечно, знал.

— Так вот, он умер.

— Ага, а когда?

— Да после этой истории с крысами.

— Смотри-ка! А что с ним такое было?

— Не знаю, говорят, лихорадка. Да и вообще он слабого здоровья был. Сделались у него нарывы под мышками. Ну, он и не выдержал.

— А ведь с виду был вроде как все.

— Нет, у него грудь была слабая, да еще он играл в духовом оркестре. А знаешь, как вредно дудеть на корнет-а-пистоне.

— Да, — заключил второй, — когда у человека плохое здоровье, нечего ему дудеть на корнете.

Взвесив эти факты, Тарру задумывается над тем, с какой стати Кан явно во вред своим собственным интересам вступил в духовой оркестр и какие скрытые причины побудили его рисковать жизнью ради сомнительного удовольствия участвовать в воскресных шествиях.

Далее Тарру отмечает благоприятное впечатление, которое произвела на него сцена, почти ежедневно разыг-

рывавшаяся на балконе прямо напротив его окна. Его номер выходил в переулок, где в тени, отбрасываемой стенами, мирно дремали кошки. Но ежедневно после второго завтрака, в те часы, когда сморенный зноем город впадал в полусон, на балконе напротив окна Тарру появлялся старичок. Седовласый, аккуратно причесанный, в костюме военного покроя, старичок, держащийся по-солдатски прямо и строго, негромко скликал кошек ласковым «кис-кис». Кошки, еще не трогаясь с места, подымали на него обесцвеченные сном глаза. Тогда старичок разрывал лист бумаги на маленькие клочки и сыпал их вниз, на улицу и на кошек, а те, соблазнившись роем беленьких бабочек, ступали на мостовую и нерешительно тянулись лапкой к обрывкам бумаги. Тут старичок смачно и метко плевал на кошек. Если хотя бы один плевок достигал цели, он разражался хохотом.

Наконец, нашего Тарру, по-видимому, совсем покорила торговый облик города, где все — и самое оживление, и даже удовольствия — как бы подчинено нуждам коммерции. Эта особенность (именно такой термин мы встречаем в его записях) заслужила одобрение автора, и одна из хвалебных записей даже кончается словами: «Вот оно как!» Только в этих записях и проскальзывают личные нотки. Трудно вполне оценить значение и важность этих заметок. Рассказав историю о том, как кассир отеля, обнаружив дохлую крысу, допустил ошибку в счете, Тарру добавляет менее четким, чем обычно, почерком: «Вопрос: как добиться того, чтобы не терять зря времени? Ответ: прочувствовать время во всей его протяженности. Средства: проводить дни в приемной зубного врача на жестком стуле; сидеть на балконе в воскресенье после обеда; слушать доклады на непонятном для тебя языке; выбирать самые длинные и самые неудобные железнодорожные маршруты и, разумеется, ездить в поездах стоя; торчать в очереди у театральной кассы и не брать билета на спектакль и т. д. и т. п.». Но непосредственно после таких скачков мысли и стиля в записных книжках идут подробнейшие описания наших городских трамваев, формы вагонов, отмечается то, что окрашены они в неопределенно-бурый цвет, что в них всегда грязно, и кончаются эти соображения словами: «Это обращает на себя внимание!», что, в сущности, ничего не объясняет.

Во всяком случае, в записных книжках Тарру есть упоминание об истории с крысами, приводим его слова.

«Сегодня старичок, что живет напротив, явно расстроен. Не стало кошек. Они действительно куда-то испарились, обеспокоенные зрелищем дохлых крыс, которые сотнями валяются на улицах. По-моему, кошки, вообще-то, дохлых крыс не едят. Во всяком случае, помнится, мои категорически отказывались от этого угощения. Так или иначе, они, должно быть, носятся по подвалам, а старичку от этого одно расстройство. Он даже не так аккуратно причесан, как-то сразу сдал. Чувствуется, что ему не по себе. Постояв с минуту, он ушел в комнаты. Но на прощание все-таки плюнул разок — в пустоту.

Сегодня в городе остановили трамвай, так как обнаружили там дохлую крысу, непонятно откуда взявшуюся. Две-три женщины тут же вылезли. Крысу выбросили. Трамвай пошел дальше.

В нашем отеле ночной сторож — а он человек, вполне заслуживающий доверия, — сообщил мне, что ждет от крысиного нашествия всяческих бед. «Когда крысы покидают корабль...» Я возразил, что в случае с кораблем это, может, и верно, но в отношении городов это еще не доказано. Однако разубедить его не удалось. Я спросил, какая же беда, по его мнению, грозит нам. Он и сам не знает; беду, по его словам, заранее не угадаешь. Но ничего удивительного нет, если произойдет землетрясение. Я согласился, что это возможно, и он спросил, не пугает ли меня такая перспектива.

— Единственное, что мне важно, — сказал я, — обрести внутренний мир.

И сторож прекрасно меня понял.

В ресторане нашего отеля я не раз встречал весьма примечательное семейство. Отец — высокий, тощий, в черной паре, в туго накрахмаленном воротничке. На макушке у него плешь, а над ушами справа и слева торчат два кустика седых волос. Глазки у него маленькие, круглые и жесткие, нос тонкий, рот неестественно растянут, что придает ему сходство с благовоспитанным филином. Каждый раз он распахивает дверь ресторана, потом прижимается к косяку, пропуская жену, маленькую, как черная мышка, входит сам, а за ним семянт мальчик и девочка, наряженные, как цирковые собачонки. У столика

он стоит, пока жена не займет место, садится сам, а потом уже оба пуделька могут вскарабкаться на стулья. К жене и детям он обращается на «вы», отпускает своей половине всяческие колкости и безапелляционным тоном говорит своим отпрыскам:

— Николь, на вас в высшей степени неприятно смотреть.

Девочка еле удерживает слезы. А ему только этого и надо.

Нынче утром мальчик не мог усидеть на месте, так взбудоражила его история с крысами. Он не вытерпел и начал было свой рассказ.

— За обедом о крысах не говорят, Филипп. Запрещаю вам раз и навсегда даже произносить слово «крыса».

— Ваш отец совершенно прав, — подхватила черная мышка.

Оба пуделька уткнули носы в тарелку с паштетом, а филин поблагодарил жену кивком головы, который можно было истолковать как угодно.

Пример, достойный подражания, а между тем весь город говорит о крысах. Даже газета вмешалась в это дело. Отдел городской хроники, обычно составленный из самых разных материалов, ведет теперь упорную кампанию против муниципалитета. «Отдают ли себе отчет отцы города, какую опасность представляют разлагающиеся на улицах трупы грызунов?» Директор отеля ни о чем, кроме этих крыс, говорить не может. И неудивительно, для него это зарез. То обстоятельство, что в лифте столь respectable отеля обнаружили крысу, кажется ему непостижимым. Желая его утешить, я сказал: «Но у всех сейчас крысы».

— Вот именно, — ответил он, — теперь мы стали как все.

Это он сообщил мне о первых случаях лихорадки непонятого происхождения, которая вызывает в городе тревогу. Одна из его горничных тоже заболела.

— Но ясно, болезнь не заразная, — поспешил заверить он.

Я сказал, что мне это безразлично.

— О, понимаю. Мсье вроде меня, мсье тоже фаталист.

Ничего подобного я не говорил, и к тому же я вовсе не фаталист. Так я ему и сказал...»

С этого дня в записных книжках Тарру появляются более или менее подробные сведения об этой таинственной лихорадке, уже посеявшей в публике тревогу. После записи о старичке, который терпеливо продолжает совершенствовать свое прицельное плевание, так как после исчезновения крыс снова появились кошки, Тарру добавляет, что уже можно привести десяток случаев этой лихорадки, обычно приводящей к смертельному исходу.

Документальную ценность имеет портрет доктора Риэ, очерченный Тарру в нескольких строках. Поскольку может судить сам рассказчик, портрет этот достаточно верен.

«На вид лет тридцати пяти. Рост средний. Широкоплечий. Лицо почти квадратное. Глаза темные, взгляд прямой, скулы выдаются. Нос крупный, правильной формы. Волосы темные, стрижется очень коротко. Рот четко обрисован, губы пухлые, почти всегда плотно сжаты. Похож немного на сицилийского крестьянина — такой же загорелый, с иссиня-черной щетиной и к тому же ходит всегда в темном, впрочем, ему это идет.

Походка быстрая. Переходит через улицу, не замедляя шага, и почти каждый раз не просто ступает на противоположный тротуар, а легко вспрыгивает на обочину. Машину водит рассеянно и очень часто забывает отключить стрелку поворота, даже свернув в нужном направлении. Ходит всегда без шляпы. Вид человека, хорошо осведомленного».

Цифры, приведенные Тарру, полностью соответствовали истине. Уж кто-кто, а доктор Риэ это знал. После того как труп привратника перевезли в изолятор, Риэ позвонил Ришару, чтобы посоветоваться с ним насчет паховых опухолей.

— Сам ничего не понимаю, — признался Ришар. — У меня двое тоже умерли, один через двое суток, другой на третий день. А ведь я еще утром его посетил и нашел значительное улучшение.

— Предупредите меня, если у вас будут подобные случаи, — попросил Риэ.

Он позвонил еще и другим врачам. В результате проведенного опроса выяснилось, что за несколько последних дней отмечено примерно случаев двадцать анало-

гичного заболевания. Почти все они привели к смертельному исходу. Тогда Риэ опять позвонил Ришару, секретарю общества врачей Орана, и потребовал, чтобы вновь заболевшие были изолированы.

— Что же я-то могу? — сказал Ришар. — Тут должны принять меры городские власти. А откуда вы взяли, что это болезнь заразная?

— Ниоткуда. Просто симптомы слишком уж тревожные.

Однако Ришар заявил, что в этом вопросе он, мол, «недостаточно компетентен». Все, что он может сделать, — это поговорить с префектом.

Пока шли переговоры, погода испортилась. На следующий день после смерти привратника все небо затянуло густым туманом. На город обрушивались бурные, быстропроходящие дожди. Эти шумные ливни сменялись жарой, как в предгрозье. Даже море утратило свой темно-лазурный цвет и отливало под серым небом серебром, вернее сталью так, что глазам было больно. По сравнению с влажной жарой нынешней весны даже летний зной казался желанным. В городе, лежащем в виде улитки на плоскогорье и только слегка открытом морю, царило угрюмое оцепенение. Люди, зажатые между бесконечными рядами ветхих стен, в лабиринте улиц с пыльными витринами, в грязно-желтых трамваях, чувствовали себя в плену у этого неба. Один только старик, пациент доктора Риэ, ликовал — в такую погоду астма его оставляла.

— Печет, — твердил он, — для бронхов оно самое полезное.

И в самом деле пекло, но не просто пекло, пекло и жгло, как при лихорадке. Весь город лихорадило, такое по крайней мере впечатление не оставляло доктора Риэ в то утро, когда он отправился на улицу Федерб, чтобы присутствовать при расследовании дела о покушении Коттара на самоубийство. Но он тут же счел свое впечатление несуразным. Он приписал это нервному переутомлению, множеству навалившихся на него забот и подумал, что следовало бы взять себя в руки и привести свои мысли в порядок.

До улицы Федерб он добрался раньше полицейского комиссара. Гран уже ждал его на лестнице, и оба решили посидеть пока у него, а дверь на площадку оставить от-

крытой. Служащий мэрии жил в двухкомнатной, довольно убого обставленной квартире. В глаза бросалась только деревянная некрашенная полка, на которой стояли два-три словаря, да грифельная доска на стене, где можно было еще разобрать полустертые слова «цветущие аллеи». По уверению Грана, Коттар провел ночь спокойно. Но утром он пожаловался на головную боль и вообще показался Грану каким-то безучастным. Сам Гран выглядел усталым и нервничал; он шагал взад и вперед по комнате, то открывая на ходу, то захлопывая лежавшую на столе толстую папку, набитую исписанными листками.

Расхаживая по комнате, он сообщил доктору, что, в сущности, почти не знает Коттара, но предполагает, что у того есть небольшое состояние. Вообще-то Коттар — человек странный. Живут они рядом давно, но, встречаясь в подъезде, только раскланиваются.

— Фактически и разговаривал я с ним всего раза два. Несколько дней назад я уронил на площадке коробку с мелками. Там были красные и синие мелки. Как раз вышел Коттар и помог мне их собрать. Он спросил, для чего нужны разноцветные мелки.

Гран тогда объяснил ему, что намерен восстановить в памяти латынь. Латынь он учил в лицее, но порядком ее позабыл.

— Кстати, меня уверяли, — добавил он, обращаясь к доктору, — что знание латыни помогает глубже проникать в смысл французских слов.

На доске он пишет несколько латинских слов. Синим мелком те части слова, которые изменяются, согласно правилам склонения и спряжения, а красным — те, что остаются неизменными.

— Не знаю, понял ли меня Коттар или нет, во всяком случае, внешне он как будто заинтересовался и попросил у меня красный мелок. Я, конечно, удивился, но в конце концов... Не мог же я предвидеть, что мелок ему понадобится для осуществления своего замысла.

Риз спросил, о чем шла у них речь во второй раз. Но тут в сопровождении секретаря явился полицейский комиссар и пожелал сначала выслушать показания Грана. Доктор отметил про себя, что Гран, говоря о Коттаре, называет его «человеком отчаявшимся». Он употребил даже слова «роковое решение». Речь шла о мотивах самоубий-

ства, и Гран проявлял крайнюю щепетильность в выборе терминов. Наконец сообща выработали формулировку: «Огорчения интимного характера». Комиссар осведомился, было ли в поведении Коттара что-либо позволявшее предвидеть то, что он называл «его решение».

— Вчера он постучался ко мне, — сказал Гран, — и попросил спичек. Я дал ему коробок. Он извинился, что побеспокоил меня, но раз уж мы соседи... Потом стал уверять, что сейчас же вернет спички. Я сказал, пускай оставит коробок себе.

Комиссар спросил Грана, не показалось ли ему поведение Коттара странным.

— Одно мне показалось странным — то, что он вроде бы намеревался вступить со мной в беседу. Но мне как раз надо было работать.

Гран обернулся к Риэ и смущенно пояснил:

— Личная работа.

Комиссар выразил желание повидать больного, но Риэ решил, что разумнее будет сначала подготовить Коттара к этому визиту. Когда он вошел к нему в комнату, Коттар в серой фланелевой пижаме приподнялся на постели и тревожно оглянулся на дверь:

— Полиция, да?

— Да, — ответил Риэ, — но волноваться не следует. Всего две-три формальности — и вас оставят в покое.

Но Коттар возразил, что все это ни к чему, а главное, он видеть не может полицию. Риэ не сдержал нетерпеливого жеста.

— Я тоже ее не обожаю. Но с этим делом надо покончить как можно скорее, поэтому отвечайте на вопросы быстро и точно.

Коттар замолчал, и доктор направился к двери. Но больной тут же окликнул его и, когда Риэ подошел, схватил его за руку:

— Скажите, доктор, ведь правда нельзя забирать больного или того, кто хотел повеситься, а?

С минуту Риэ смотрел на Коттара, а потом заверил его, что и речи не было ни о чем подобном, да он и сам явился сюда затем, чтобы защищать интересы своего пациента. Больной, видимо, успокоился, и Риэ позвал комиссара.

Коттару зачитали показания Грана и спросили, может ли он уточнить мотивы своего поступка. Не глядя на комиссара, он подтвердил только, что «огорчения интимного характера — очень хорошо сказано». Комиссар тогда и спросил, не вздумает ли Коттар повторить свою попытку. Коттар с воодушевлением заверил, что не вздумает и желает только одного — чтобы его оставили в покое.

— Разрешите заметить, — раздраженно сказал комиссар, — что в данном случае именно вы нарушаете чужой покой.

Риэ незаметно махнул ему рукой, и комиссар замолчал.

— Нет, вы только подумайте, — вздохнул комиссар, когда они вышли на площадку, — у нас и без того хлопот по горло, особенно сейчас, с этой лихорадкой...

Он осведомился у доктора, серьезно ли это, и Риэ сказал, что сам не знает.

— Тут главное — погода, в ней вся беда, — заключил комиссар.

Разумеется, во всем виновата была погода. День становился все жарче и жарче, вещи, казалось, липнут к рукам, и Риэ с каждым новым визитом укреплялся в своих опасениях. К вечеру того же дня он, попав в предместье, заглянул к соседу своего старого пациента-астматика и увидел, что тот лежит в бреду, схватившись за больной пах, и мучается неукротимой рвотой. Лимфатические узлы опухли у него еще сильнее, чем у их привратника. Один гнойник уже созрел и на глазах врача открылся, как гнилой плод. Вернувшись домой, Риэ позвонил в аптечный склад департамента. В его врачебных заметках под этой датой есть только одна запись: «Ответ отрицательный». А его вызывали уже к новым пациентам с тем же заболеванием. Ясно было одно — гнойники необходимо вскрывать. Два крестообразных надреза ланцетом — и из опухоли вытекала гнойная масса с примесью сукровицы. Больные исходили кровью, лежали как распятые. На животе и на ногах появлялись пятна, истечение из гнойников прекращалось, потом они снова набухали. В большинстве случаев больной погибал среди ужасающего зловония.

Газеты, размазывавшие на все лады историю с крысами, теперь словно в рот воды набрали. Оно и понятно:

крысы умирали на улицах, а больные — у себя дома. А газеты интересуются только улицей. Однако префектура и муниципалитет призадумались. Пока каждый врач сталкивался в своей практике с двумя-тремя случаями непонятного заболевания, никто и пальцем не шевельнул. Но достаточно было кому-то сделать простой подсчет, и полученный итог ошеломил всех. За несколько дней смертельные случаи участились, и тем, кто сталкивался с этим загадочным недугом, стало ясно, что речь идет о настоящей эпидемии. Именно в это время доктор Кастель, человек уже пожилой, зашел побеседовать к своему коллеге Риэ.

— Надеюсь, Риэ, вы уже знаете, что это? — спросил он.

— Хочу дождаться результата анализов.

— А я так знаю. И никакие анализы мне не требуются. Я много лет проработал в Китае, да, кроме того, лет двадцать назад наблюдал несколько случаев в Париже. Только тогда не посмели назвать болезнь своим именем. Общественное мнение — это же святая святых: никакой паники, главное — без паники. К тому же один врач мне сказал: «Но это немыслимо, всем известно, что на Западе она полностью исчезла». Знать-то все знали, кроме тех, кто от нее погиб. Да и вы, Риэ, тоже знаете это не хуже меня.

Риэ задумчиво молчал. Из окна кабинета был виден каменистый отрог прибрежных скал, смыкавшихся вдалеке над бухтой. И хотя небо было голубое, сквозь лазурь пробивался какой-то тусклый блеск, меркнувший по мере того, как близился вечер.

— Да, Кастель, — проговорил он, — а все-таки не верится. Но по всей видимости, это чума.

Кастель поднялся и направился к двери.

— Вы сами знаете, что нам ответят, — сказал старик доктор. «Уже давным-давно она исчезла в странах умеренного климата».

— А что, в сущности, значит «исчезла»? — ответил Риэ, пожимая плечами.

— Да, представьте, исчезла. И не забудьте: в самом Париже меньше двадцати лет назад...

— Ладно, будем надеяться, что у нас обойдется так же благополучно, как и там. Но просто не верится.

Слово «чума» было произнесено впервые. Оставим на время доктора Риэ у окна его кабинета и позволим себе отступление с целью оправдать в глазах читателя колебания и удивление врача, тем более что первая его реакция была точно такой же, как у большинства наших сограждан, правда с некоторыми нюансами. Стихийное бедствие и на самом деле вещь довольно обычная, но верится в него с трудом, даже когда оно обрушится на вашу голову. В мире всегда была чума, всегда была война. И однако ж, и чума и война, как правило, заставляли людей врасплох. И доктора Риэ, как и наших сограждан, чума застала врасплох, и поэтому давайте постараемся понять его колебания. И постараемся также понять, почему он молчал, переходя от беспокойства к надежде. Когда раздражается война, люди обычно говорят: «Ну, это не может продлиться долго, слишком это глупо». И действительно, война — это и впрямь слишком глупо, что, впрочем, не мешает ей длиться долго. Вообще-то глупость — вещь чрезвычайно стойкая, это нетрудно заметить, если не думать все время только о себе. В этом отношении наши сограждане вели себя, как и все люди, — они думали о себе, то есть были в этом смысле гуманистами: они не верили в бич Божий. Стихийное бедствие не по мерке человеку, потому-то и считается, что бедствие — это нечто ирреальное, что оно — дурной сон, который скоро пройдет. Но не сон кончается, а от одного дурного сна к другому кончаются люди, и в первую очередь гуманисты, потому что они пренебрегают мерами предосторожности. В этом отношении наши сограждане были повинны не больше других людей, просто они забыли о скромности и полагали, что для них еще все возможно, тем самым предполагая, что стихийные бедствия невозможны. Они по-прежнему делали дела, готовились к путешествиям и имели свои собственные мнения. Как же могли они поверить в чуму, которая разом отменяет будущее, все поездки и споры? Они считали себя свободными, но никто никогда не будет свободен, пока существуют бедствия.

И даже когда сам доктор Риэ признался своему другу Кастелю, что в разных частях города с десятков больных без всякого предупреждения взяли и скончались от чумы, опасность по-прежнему казалась ему нереальной. Просто, если ты врач, у тебя составилось определенное пред-

ставление о страдании и это как-то подхлестывает твое воображение. И, глядя в окно на свой город, который ничуть не изменился, вряд ли доктор почувствовал, как в нем зарождается то легкое отвращение перед будущим, что зовется тревогой. Он попытался мысленно свести в одно все свои сведения об этом заболевании. В памяти беспорядочно всплывали цифры, и он твердил про себя, что истории известно примерно три десятка больших эпидемий чумы, унесших сто миллионов человек. Но что такое сто миллионов мертвецов? Пройдя войну, с трудом представляешь себе даже, что такое один мертвец. И поскольку мертвый человек приобретает в твоих глазах весомость, только если ты видел его мертвым, то сто миллионов трупов, рассеянных по всей истории человечества, в сущности, дымка, застилающая воображение. Доктор припомнил, что, по утверждению Прокопия, чума в Константинополе уносила ежедневно десять тысяч человек. Десять тысяч мертвецов — это в пять раз больше, чем, скажем, зрителей крупного театра. Вот что следовало бы сделать. Собрать людей при выходе из пяти театров, свести их на городскую площадь и умертвить всех разом — тогда можно было бы себе все это яснее представить, можно было бы различить в этой безликой толпе знакомые лица. Но проект этот неосуществим, да и кто знает десять тысяч человек? К тому же люди, подобные Прокопию, как известно, считать не умели. Семьдесят лет назад в Кантоне сдохло от чумы сорок тысяч крыс, прежде чем бедствие обратилось на самих жителей. Но и в 1871 году не было возможности точно подсчитать количество крыс. Подсчитывали приблизительно, скопом и, конечно, допускали при этом ошибки. Между тем если одна крыса имеет в длину сантиметров тридцать, то сорок тысяч дохлых крыс, положенные в ряд, составят...

Но тут доктору изменило терпение. Он слишком дал себе волю, а вот этого-то и не следовало допускать. Несколько случаев — это еще не эпидемия, и, в общем-то, достаточно принять необходимые меры. Следовало держаться того, что уже известно, например, ступор, прострация, покраснение глаз, обметанные губы, головные боли, бубоны, мучительная жажда, бред, пятна на теле, ощущение внутренней распятости, а в конце концов... А в конце концов доктор Риз мысленно подставлял фразу, которой

в учебнике завершается перечисление симптомов: «Пuls становится нитеобразным, и любое, самое незначительное движение влечет за собой смерть». Да, в конце концов все мы висим на ниточке, и три четверти людей — это уж точная цифра — спешат сделать то самое незначительное движение, которое их и сразит.

Доктор все еще смотрел в окно. По ту сторону стекла — ясное весеннее небо, а по эту — слово, до сих пор звучавшее в комнате: «чума». Слово это содержало в себе не только то, что пожелала вложить в него наука, но и бесконечную череду самых необычных картин, которые так не вязались с нашим желто-серым городом, в меру оживленным в этот час, скорее приглушенно жужжащим, чем шумным, в сущности-то счастливым, если можно только быть одновременно счастливым и угрюмым. И это мирное и такое равнодушное ко всему спокойствие одним росчерком, без особого труда зачеркивало давно известные картины бедствий: зачумленные и покинутые птицами Афины, китайские города, забитые безгласными умирающими, марсельских каторжников, скидывающих в ров сочащиеся кровью трупы, постройку великой провансальской стены, долженствующей остановить яростный вихрь чумы, Яффу с ее отвратительными нищами, сырые и прогнившие подстилки, валяющиеся прямо на земляном полу константинопольского лазарета, зачумленных, которых тащат крючьями, карнавал врачей в масках во время Черной чумы, соитие живых на погостах Милана, повозки для мертвецов в сраженном ужасом Лондоне и все ночи, все дни, звенящие нескончаемым людским воплем. Нет, даже все это было не в силах убить покой сегодняшнего дня. По ту сторону окна вдруг протренькал невидимый отсюда трамвай и сразу же опроверг жестокость и боль. Разве что море там, за шахматной доской тусклых зданий, свидетельствовало, что в мире есть нечто тревожащее, никогда не знающее покоя. И доктор Риэ, глядя на залив, вспомнил о кострах, о них говорил Лукреций, — испуганные недугом афиняне раскладывали костры на берегу моря. Туда ночью сносили трупы, но берега уже не хватало, и живые дрались, пуская в ход факелы, лишь бы отвоевать место в огне тому, кто был им дорог, готовы были выдержать любую кровопролитную схватку, лишь бы не бросить на произвол судьбы своего покойни-

ка... Без труда представлялось багровое пламя костров рядом со спокойной темной гладью вод, факельные битвы, потрескивание искр во мраке, густые клубы ядовитого дыма, который подымался к строго внимающему небу. Трудно было не содрогнуться...

Но все это умопомрачение рушилось перед доводами разума. Совершенно верно, слово «чума» было произнесено, совершенно верно, как раз в ту самую минуту просвистел бич и сразил одну или две жертвы. Ну и что же — еще не поздно остановить его. Главное — это ясно осознать то, что должно быть осознано, прогнать прочь бесплодные видения и принять надлежащие меры. И тогда чума остановится: ведь человек не может представить себе чуму или представляет ее неверно. Если она остановится, что всего вероятнее, тогда все образуется. В противном случае люди узнают, что такое чума и нет ли средства сначала ужиться с ней, чтобы уж затем одолеть.

Доктор отворил окно, в комнату ворвался шум города. Из соседней мастерской долетал короткий размеренный визг механической пилы. Риэ встряхнулся. Да, вот что дает уверенность — повседневный труд. Все прочее держится на ниточке, все зависит от того самого незначительного движения. К этому не прилепишься. Главное — это хорошо делать свое дело.

Вот о чем думал доктор Риэ, когда ему доложили, что пришел Жозеф Гран. Хотя Гран служил чиновником в мэрии и занимался там самыми разнообразными делами, время от времени ему, уже в качестве частного лица, поручали составлять статистические таблицы. Так, сейчас он вел подсчет смертных случаев. И, будучи человеком обязательным, охотно согласился лично занести доктору копию своих подсчетов.

Вместе с Граном явился и его сосед Коттар. Чиновник еще с порога взмахнул листком бумаги.

— Цифры растут, доктор, — объявил он, — одиннадцать смертей за последние сорок восемь часов.

Риэ поздоровался с Коттаром, осведомился о его самочувствии. Гран объяснил, что Коттар сам напросился прийти с ним, хотел поблагодарить доктора и принести извинения за доставленные хлопоты. Но Риэ уже завладел списком.

— Н-да, — протянул он, — возможно, пришла пора назвать болезнь ее настоящим именем. До сих пор мы тянули. Пойдемте со мной, мне нужно заглянуть в лабораторию.

— Верно, верно, — твердил Гран, спускаясь вслед за доктором по лестнице. — Необходимо называть вещи своими именами. А как прикажете называть эту болезнь?

— Пока еще я не могу вам ее назвать, впрочем, это вам ничего не даст.

— Вот видите, — улыбнулся Гран. — Не так-то это легко.

Они направились к Оружейной площади. Коттар упорно молчал. На улицах начал появляться народ. Быстротечные сумерки — других в нашем краю и не бывает — уже отступали перед ночным мраком, а на еще светлом небосклоне зажглись первые звезды. Через несколько секунд вспыхнули уличные фонари, и сразу же все небо затянуло черной пеленой и громче стал гул голосов.

— Простите, но я поеду на трамвае, — сказал Гран, когда они добрались до угла Оружейной площади. — Вечера для меня священны. Как говорят у нас на родине: «Никогда не откладывай на завтра...».

Уже не в первый раз Риэ отметил про себя эту страсть Грана, уроженца Монтелимара, ссылаться в разговоре кста-ти и некстати на местные речения, да еще непременно добавлять повсеместно бытующие банальные фразы, вроде «волшебная погода» или «феерическое освещение».

— Правильно, — подхватил Коттар. — После обеда его из дому не вытащишь.

Риэ спросил Грана, работает ли он вечерами для мэрии. Гран ответил — нет, работает для себя.

— А-а, — протянул Риэ, просто чтобы сказать что-то, — ну и как, идет дело?

— Я работаю уже много лет, значит, как-то идет... Хотя, с другой стороны, особых успехов не заметно.

— А чем, в сущности, вы занимаетесь? — спросил доктор, останавливаясь.

Гран, пробормотав что-то невнятное, нахлобучил на свои оттопыренные уши круглую шляпу... Риэ смутно догадался, что речь идет о каком-то личном самоусовершенствовании. Но Гран уже распрощался и засеменял под фикусами бульвара Марны. У дверей лаборатории Коттар

сказал доктору, что очень бы хотел с ним повидаться еще раз и попросить совета. Риэ, нервно скручивая лежавшую в кармане таблицу, пригласил Коттара зайти к нему на прием, но тут же спохватился и сказал, что послезавтра будет в их квартале и под вечер сам заглянет к нему.

Расставшись с Коттаром, доктор поймал себя на том, что все это время думает о Гране. Он представлял его в самом пекле чумной эпидемии — не такой, конечно, как нынешняя, не слишком грозной, а во время какого-нибудь мора, вошедшего в историю. «Он из тех, кого чума шадит». И тут же Риэ припомнил вычитанное где-то утверждение, будто чума шадит людей тщедушных и обрушивается в первую очередь на людей могучей комплекции. И, продолжая размышлять об этом, доктор решил, что, судя по виду Грана, у него есть своя маленькая тайна.

На первый взгляд Жозеф Гран был самым типичным мелким служащим. Длинный, тощий, в широком не по мерке костюме, очевидно, нарочно покупает на номер больше, надеется, такой дольше будет носиться. В нижней челюсти еще сохранилось несколько зубов, зато в верхней не осталось ни единого. Когда он улыбался, верхняя губа уползала к носу и зияла черная дыра рта. Если добавить к этому портрету походку семинариста, неподражаемое искусство скользить вдоль стен и незаметно протискиваться в двери, да еще застарелый запах подвала и табачного дыма, все повадки личности незначительной, то, согласитесь сами, трудно представить себе такого человека иначе как за письменным столом, сверяющего тариф для городских банно-душевых заведений или подготавливающего для доклада молодому делопроизводителю материалы, касающиеся новой таксы на вывоз мусора и домовых отбросов. Даже самый непредвзятый наблюдатель решил бы, что и родился-то он на свет лишь для того, чтобы выполнять скромную, но весьма полезную работу в качестве сверхштатного служащего мэрии за шестьдесят два франка тридцать сантимов в день.

И действительно, именно такое определение, по словам Грана, фигурировало в его личном деле в графе «квалификация». Когда двадцать два года назад он из-за отсутствия средств вышел из учебного заведения, не получив диплома, и согласился занять эту должность, ему, по его словам, намекнули, что аттестация не за горами. Следует

только в течение некоторого времени проявлять свою компетентность в щекотливых проблемах, которые возникают перед нашей городской администрацией. А потом, уверили его, он непременно дослужится до делопроизводителя, и это позволит ему жить безбедно. Впрочем, не тщеславие владело Жозефом Граном, как он и заверил с грустной улыбкой. Но перспектива обеспеченного и честного существования весьма его манила, тем более что он мог бы тогда с чистой совестью отдаваться любимому занятию. Если он согласился на эту должность, то из самых благородных побуждений и, если так можно выразиться, во имя верности некоему идеалу.

Это неопределенное положение длилось уже долгие годы, жизнь непомерно дорожала, а оклад Грана оставался по-прежнему мизерным, хотя за это время оклады несколько раз повышали. Он пожаловался на это Риэ, ведь никто вроде бы не замечает его положения. Вот здесь-то и коренится самобытность Грана, или, во всяком случае, таков один из ее признаков. Он и в самом деле мог бы сослаться если не на свои права, в которых не был особенно уверен, то, во всяком случае, на данные ему вначале заверения. Но во-первых, начальник канцелярии, пригласивший его на работу, давно умер, да и сам Гран не помнил, в каких именно выражениях ему посулили повышение. А главное, и, пожалуй, самое главное, было то, что Жозеф Гран не умел находить нужных слов.

Вот эта характерная черта, насколько мог заметить Риэ, особенно ярко рисовала нашего Грана. Именно это и мешало ему всякий раз написать давно задуманную докладную или предпринять другие, соответствующие обстоятельствам шаги. Если верить ему, он чувствовал себя окончательно не способным употребить как слово «право», ибо сам не был уверен в значении этого понятия, так и слово «обещание», ибо оно прозвучало бы как прямое требование воздать ему должное и, следовательно, граничило бы с дерзостью, не слишком-то уместной для человека, занимающего столь скромное положение. С другой стороны, он наотрез отказывался употреблять такие слова, как «благосклонность», «ходатайство», «признательность», так как считал, что это унижает его человеческое достоинство. Так вот из-за невозможности найти точное выражение наш Гран продолжал выполнять самые скром-

ные функции чуть не до седых волос. Впрочем, как опять-таки Гран сам сообщил доктору Риз, он постепенно стал замечать, что с материальной стороны жизнь его так или иначе обеспечена, в основном потому, что он научился приспособливать свои потребности к своим ресурсам. Тем самым он признавал справедливость любимого изречения нашего мэра, крупного оранского промышленника, который настойчиво уверял, что в конце концов (при этом мэр особенно налегал на слова «в конце концов», ибо на них фактически базировалось все его рассуждение), итак, в конце концов никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь умер с голоду. Во всяком случае, чуть ли не аскетическое существование, которое вел Жозеф Гран, и в самом деле в конце концов освободило его от всех забот такого рода. Он продолжал подыскивать слова.

Скажем прямо, что в известном смысле жизнь его могла служить примером. Он принадлежал к числу людей, достаточно редких как в нашем городе, так и за его пределами, которые имеют мужество отдаваться своим добрым чувствам. То малое, что он поведал о себе доктору, и впрямь свидетельствовало о наличии доброты и сердечных привязанностях, о чем в наши дни не каждый решится сказать вслух. Без краски стыда говорил он, что любит племянников и сестру, единственную оставшуюся у него в живых родственницу, и каждые два года ездит во Францию с ней повидаться. Он не скрывал, что до сих пор воспоминания о родителях, которых он потерял еще в молодости, причиняют ему боль. Признавался, что ему особенно мил один колокол в их квартале — каждый день ровно в пять часов он звонил как-то необыкновенно приятно. Но для выражения даже столь простых чувств он с превеликой мукой подбирал нужные слова. Так что в конце концов именно этот труд по подбору слов стал главной его заботой. «Ах, доктор, — говорил он, — как бы мне хотелось научиться выражать свои мысли!» И при каждой встрече с Риз он повторял эту фразу.

В этот вечер, глядя вслед удалявшемуся Грану, Риз вдруг понял, что тот имел в виду: без сомнения, чиновник пишет книгу или что-нибудь в этом роде. Всю дорогу до самой лаборатории, куда он наконец добрался, мысль эта почему-то поддерживала Риз. Он знал, что это глупо, но он не в состоянии был поверить в то, что чума и в самом

деле может обосноваться в городе, где встречаются скромные чиновники, культивирующие какую-нибудь почтенную манию. Точнее говоря, не знал, какое место отвести подобным маниям в условиях чумы, и вывел отсюда заключение, что практически чуме не разгуляться среди наших сограждан.

Назавтра, проявив незаурядную настойчивость, которая многим казалась просто неуместной, доктор Риэ добился от префектуры согласия на созыв санитарной комиссии.

— Что верно, то верно, население встревожено, — признался Ришар — А главное, еще эта болтовня, все эти преувеличения. Префект мне лично сказал: «Если угодно, давайте действовать быстро, только не подымайте шума». Кстати, он уверен, что это ложная тревога.

Бернар Риэ довез Кастеля в своей машине до префектуры.

— Вам известно, что в департаменте нет сыворотки? — спросил старик.

— Известно. Я звонил на склад. Директор точно с неба свалился. Придется выписывать сыворотку из Парижа.

— Надеюсь, что хоть волокиты не будет.

— Я уже телеграфировал, — ответил Риэ.

Префект встретил членов комиссии хотя и любезно, но не без нервозности.

— Приступим, господа, — сказал он, — Должен ли я резюмировать создавшееся положение?

Ришар считал, что это лишнее. Врачам и так известно положение в городе. Главное, пора уяснить себе, какие меры следует принять.

— Главное, — грубо перебил Ришара старик Кастель, главное, уяснить себе — чума это или нет.

Кто-то из врачей изумленно ахнул. Остальные, видимо, колебались. А префект даже подскочил на стуле и машинально оглянулся на дверь, как бы желая удостовериться, что это невероятное сообщение не просочилось в коридор. Ришар заявил, что, по его мнению, не следует поддаваться панике: речь идет о лихорадке, правда осложненной воспалением паховых желез, это все, что можно сказать в данный момент; а в науке, как и в жизни, гипотезы всегда опасны. Старик Кастель, спокойно покусыв-

вавший желтый от никотина кончик уса, вскинул на Риэ светлые глаза. Потом благодушным взглядом обвел присутствующих и заметил, что, по его твердому убеждению, как раз это и есть чума. Но ежели признать этот факт официально, то придется принимать драконовские меры. В сущности, он уверен, что именно это пугает его уважаемых коллег, а раз так, он ради их спокойствия охотно готов согласиться, что это не чума. Префект нервно заерзал на стуле и сказал, что при всех условиях такие рассуждения неправильны.

— Важно не то, правильные или нет, важно, чтобы они заставили задуматься.

Так как Риэ молчал, его попросили высказать свое мнение.

— Речь идет о лихорадке тифозного характера, но сопровождаемой образованием бубонов и осложненной рвотами. Я произвел надсечку бубонов. Таким образом я смог сделать анализы, и лаборатория предполагает, что обнаруженный ею микроб, очевидно, чумной. Но ради полной объективности следует добавить, что найденный микроб имеет известные отклонения от классического описания чумного микроба.

Ришар подчеркнул, что именно это обстоятельство и должно насторожить врачей, что необходимо поэтому дожидаться результатов целой серии анализов, благо они производятся уже несколько дней.

— Раз микроб способен в течение трех суток в четыре раза увеличить объем селезенки, — после короткой паузы заговорил Риэ, — провоцировать воспаление лимфатических желез брыжейки, причем они достигают размера апельсина и наполнены кашеобразной материей, тут, по моему, не может быть места для колебаний. Очаги заразы непрестанно множатся. Если не остановить болезнь, принявшую такие размеры, она вполне способна убить половину города в течение двух, а то и меньше месяцев. И стало быть, не так уж важно, как вы будете величать эту болезнь — чумой или лихорадкой. Важно одно — помешать ей убить половину города.

Ришар возразил, что не следует сгущать краски, что заразность болезни к тому же еще не установлена, коль скоро родные заболевших живы и здоровы.

— Но больные-то умирают, — заметил Риэ. — Разумеется, риск заражения — величина не абсолютная, в противном случае болезнь возрастала бы с угрожающей прогрессией и привела бы к молниеносной гибели всего населения. Правильно, не надо сгущать краски. А принимать соответствующие меры надо.

Ришар позволил себе подытожить прения, напомнив присутствующим, что если только эпидемия сама не перестанет расти, придется пресечь ее распространение, применяя строгие меры профилактики, предписанные законом, а чтобы сделать это, нужно официально признать, что речь идет о чуме; но, поскольку пока что нет полной уверенности, надо еще и еще раз все продумать.

— Вопрос не в том, — возразил Риэ, — каковы меры, предписываемые законом, строги они или нет, дело в другом — следует ли прибегнуть к ним, чтобы предотвратить гибель половины города. Все прочее — дело администрации, и не случайно в нашем законодательстве предусмотрены префекты, которым надлежит решать подобные вопросы.

— Бесспорно, — подтвердил префект, — но для этого необходимо, чтобы вы официально признали, что идет речь об эпидемии чумы.

— Если мы и не признаем, — сказал Риэ, — она все равно уничтожит половину города.

Тут заговорил явно нервничавший Ришар:

— Все дело в том, что наш коллега верит, будто это чума. Это видно хотя бы из его описаний синдрома заболевания.

Риэ возразил, что он описывал вовсе не синдром, а лишь то, что наблюдал своими собственными глазами. А наблюдал он бубоны, пятна на теле, высокую температуру, бред, летальный исход в течение двух суток. Решится ли господин Ришар со всей ответственностью утверждать, что эпидемия прекратится сама собой без принятия строгих профилактических мер?

Ришар замялся и взглянул на Риэ:

— Ответьте мне положе руку на сердце, вы действительно считаете, что это чума?

— Вы не так ставите вопрос. Дело не в терминах, дело в сроках.

— Значит, по вашему мнению, — сказал префект, — чума это, нет ли, все равно следует принять профилактические меры, предписываемые на случай чумных эпидемий.

— Если вам необходимо знать мое мнение, считаю, что это так.

Врачи посоветовались, и Ришар в конце концов заявил:

— Следовательно, нам придется взять на себя ответственность и действовать так, словно болезнь эта и есть чума.

Эта формулировка была горячо поддержана всеми присутствующими.

— А ваше мнение, дорогой коллега? — спросил Ришар.

— Формулировка мне безразлична, — ответил Риэ. — Скажем проще, мы не вправе действовать так, будто половине жителей нашего города не грозит гибель, иначе они и в самом деле погибнут.

Риэ уехал, оставив своих коллег в состоянии раздражения. И вскоре где-то в предместье, пропахшем салом и мочой, истошно вопившая женщина с кровоточащими бубонами в паху повернула к нему свое изглоданное болезнью лицо.

На следующий день после совещания болезнь сделала еще один небольшой скачок. Сведения о ней просочились даже в газеты, правда пока еще в форме вполне безобидных намеков. А еще через день Риэ прочитал одно из маленьких беленьких объявлений, которые префектура спешно расклеила в самых укромных уголках города. Из них никак уж нельзя было заключить, что власти отдадут себе ясный отчет в серьезности создавшегося положения. Предлагаемые меры были отнюдь не драконовскими, и создавалось впечатление, будто власти готовы пожертвовать многим, лишь бы не встревожить общественное мнение. Во вступительной части распоряжения сообщалось, что в коммуне Оран было зарегистрировано несколько случаев злокачественной лихорадки, но пока еще рано говорить о ее заразности. Симптомы заболевания недостаточно характерны, дабы вызвать серьезную тревогу, и нет никакого сомнения, что население сумеет сохранить спокойствие. Тем не менее по вполне понятным сообра-

жениям благоразумия префект все же решил принять кое-какие превентивные меры. Эти меры при условии, что они будут правильно поняты и неукоснительно выполняться населением, помогут в корне пресечь угрозу эпидемии. Поэтому префект ни на минуту не сомневается, что среди вверенного ему населения он найдет преданнейших помощников, которые охотно поддержат его личные усилия.

Затем в объявлении приводился список мер, среди коих предусматривалась борьба с грызунами, поставленная на научную ногу: уничтожение крыс с помощью ядовитых газов в водостоках, неусыпный надзор за качеством питьевой воды. Далее гражданам рекомендовалось всячески следить за чистотой, а в конце всем оранцам — разносчикам блох предлагалось явиться в городские диспансеры. С другой стороны, родные обязаны немедленно сообщать о всех случаях заболевания, установленного врачами, и не препятствовать изоляции больных в специальных палатах больницы. Оборудование палат обеспечивает излечение больных в минимальные сроки с максимальными шансами на полное выздоровление. В дополнительных параграфах говорилось об обязательной дезинфекции помещения, где находился больной, а также перевозочных средств. А во всем прочем власти ограничились тем, что рекомендовали родственникам больных проходить санитарный осмотр.

Доктор Риэ резко отвернулся от афишки и направился к себе домой; там его уже ждал Жозеф Гран и, заметив врача, взмахнул руками.

— Знаю, знаю, — сказал Риэ, — цифры растут.

Накануне в городе умерло около десяти больных. Доктор сказал Грану, что, возможно, вечером они увидятся, так как он собирается навестить Коттара.

— Прекрасная мысль, — одобрил Гран. — Ваши визиты явно идут ему на пользу, он кое в чем переменялся.

— В чем же?

— Вежливый стал.

— А раньше не был?

Гран замялся. Сказать прямо, что Коттар невежливый, он не мог — выражение казалось ему неточным. Просто он замкнутый, молчаливый, прямо дикий вепрь какой-то. Да и вся жизнь Коттара ограничивается сидением

у себя в комнате, посещением скромного ресторанчика и какими-то таинственными вылазками. Официально он числился комиссионером по продаже вин и ликеров. Время от времени к нему являлись посетители, два-три человека, очевидно, клиенты. Иногда вечерами ходит в кино напротив их дома. Гран заметил даже, что Коттар отдает явное предпочтение гангстерским фильмам. В любых обстоятельствах комиссионер держался замкнуто и недоверчиво.

Теперь, по словам Грана, все изменилось.

— Боюсь, я не сумею выразиться точно, но у меня, видите ли, создалось впечатление, будто он хочет примириться, что ли, с людьми, завоевать их симпатию. Стал со мной заговаривать, как-то даже предложил пойти вместе погулять, и я не сумел отказаться. Впрочем, он меня интересуется, ведь, в сущности, я спас ему жизнь.

После попытки к самоубийству Коттара еще никто не посещал. Он главным образом старался заслужить расположение и соседей, и лавочников. Никогда еще никто так мягко не говорил с бакалейщиками, никогда с таким интересом не выслушивал рассказов хозяйки табачной лавочки.

— Кстати, хозяйка эта чистая ехидна, — добавил Гран. — Я сказал об этом Коттару, а он ответил, что я ошибаюсь, что и в ней тоже есть много хорошего, надо только уметь приглядеться.

Наконец, раза два-три Коттар водил Грана в самые шикарные рестораны и кафе. Он просто стал их завсегда-таем. «Там приятно посидеть, — говорил он, — да и общество приличное». Гран заметил, что весь обслуживающий персонал относится к Коттару с преувеличенным вниманием, и разгадал причину — комиссионер раздавал непомерно крупные чаевые. По всей видимости, Коттар был весьма чувствителен к изъявлениям благодарности со стороны обласканных им официантов. Как-то, когда сам метрдотель проводил их до вестибюля и даже подал ему пальто, Коттар сказал Грану:

— Славный парень и может при случае засвидетельствовать.

— Как засвидетельствовать, что?..

Коттар замялся.

— Ну... ну что я, скажем, неплохой человек.

Впрочем, изредка он еще взрывался по-прежнему. Недавно, когда лавочник был с ним не так любезен, как обычно, он вернулся домой, не помня себя от гнева.

— Экая гадина! С другими снюхался, — твердил он.

— С кем это с другими?

— Да со всеми.

Гран сам присутствовал при нелепейшей сцене, разыгравшейся в табачной лавочке. Коттар с хозяйкой вели оживленную беседу, но вдруг она почему-то заговорила об аресте, происшедшем недавно и на шумевшем на весь Алжир. Речь шла о молодом служащем торговой конторы, который убил на пляже араба.

— Запрятать бы всю эту шваль за решетку, — сказала хозяйка, — тогда бы честные люди могли хоть свободно вздохнуть...

Но фразы своей она кончить не успела, потому что Коттар как оглашенный бросился прочь из лавчонки и даже не извинился. Гран и хозяйка обомлели от удивления.

Впоследствии Гран счел необходимым сообщить Риэ еще о кое-каких переменах, происшедших с Коттаром. Тот обычно придерживался весьма либеральных убеждений. Например, любимым его присловьем было: «Большие всегда пожирают малых». Но с некоторых пор он покупает только самую благомыслящую оранскую газету, и невольно создается впечатление, будто он с неким умыслом садится читать ее в общественных местах. Или вот несколько дней назад, уже после выздоровления, он, узнав, что Гран идет на почту, попросил его перевести сто франков сестре — каждый месяц он переводил ей эту сумму. Но когда Гран уже собрался уходить, Коттар его окликнул:

— Пошлите-ка лучше двести франков, — сказал он, — то-то удивится и обрадуется. Она небось считает, что я о ней и думать забыл. Но на самом деле я к ней очень привязан.

Наконец, у них с Граном произошла любопытная беседа. Коттар, которого уже давно интриговали вечерние занятия Грана, насел на него с вопросами, и тому пришлось дать ответ.

— Значит, вы пишете книгу? — сказал Коттар.

— Если угодно, да, но это, пожалуй, более сложно!

— Ох, — воскликнул Коттар, — как бы мне тоже хотелось заняться писанием!

Гран не мог скрыть своего удивления, и Коттар смущенно пробормотал, что, мол, с художника все взятки гладки.

— Но почему же? — спросил Гран.

— Просто потому, что художнику дано больше прав, чем всем прочим. Каждому это известно. Ему все с рук сходит.

— Ну что ж, — сказал Риэ Грану в то самое утро, когда он впервые прочел объявление префектуры, — эта история с крысами сбила его с толку, как, впрочем, и многих других. А может, он просто боится заразы.

— Не думаю, — отозвался Гран, — и если, доктор, вы хотите знать мое мнение...

Под окнами, оглушая выхлопами, прошла машина службы дератизации. Риэ молчал и, только когда грохот утих вдаль, рассеянно спросил Грана, что же он думает о Коттаре. Гран многозначительно поглядел на доктора.

— У этого человека, — проговорил он, — что-то на совести.

Доктор пожал плечами. Правильно сказал тогда полицейский комиссар — дел без того хватает.

К вечеру у Риэ состоялся разговор с Кастелем. Сыворотка еще не прибыла.

— Да и поможет ли она? — спросил Риэ. — Бацилла необычная.

— Ну, знаете, я придерживаюсь иного мнения, — возразил Кастель. — У этих тварей почему-то всегда необычный вид. Но в сущности, это одно и то же.

— Вернее, это ваше предположение. Ведь на самом деле мы ничего толком не знаем.

— Понятно, предположение. Но и другие тоже только предполагают.

В течение всего дня доктор ощущал легкое головокружение, оно охватывало его всякий раз при мысли о чуме. В конце концов он вынужден был признать, что ему страшно. Дважды он заходил в переполненное кафе. И он, как Коттар, нуждался в человеческом тепле. Риэ считал, что это глупо, но именно поэтому вспомнил, что обещал нынче навестить комиссионера.

Когда вечером доктор вошел к Коттару, тот стоял в столовой около стола. На столе лежал раскрытый детективный роман. Между тем уже вечерело и читать в сгущавшейся темноте было трудновато. Вернее всего, Коттар еще за минуту до того сидел у стола и размышлял в наступивших сумерках. Риэ осведомился о его самочувствии. Коттар, усаживаясь, буркнул, что ему лучше и было бы совсем хорошо, если бы им никто не занимался. Риэ заметил, что не может человек вечно находиться в одиночестве.

— Да нет, я не о том. Я о тех людях, которые занимаются только одним — как бы всем причинить побольше неприятностей.

Риэ промолчал.

— Заметьте, я не о себе говорю. Я вот тут читал роман. Однажды утром ни с того ни с сего хватают одного бедолагу. Оказывается, им интересовались, а он и не знал. Говорили о нем во всяких бюро, заносили его имя в карточки. Что ж по-вашему, это справедливо? Значит, по-вашему, люди имеют право проделывать такое с человеком?

— Это уж зависит от обстоятельств, — сказал Риэ. — В известном смысле вы правы, не имеют. Но это вопрос второстепенный. Нельзя вечно сидеть взаперти. Надо почаще выходить.

Коттар, явно нервничая, ответил, что он выходит каждый день и что, если понадобится, весь квартал может за него свидетельствовать. У него даже за пределами их квартала есть знакомые.

— Знаете господина Риго, архитектора? Мы с ним приятели.

В комнате постепенно сгущались сумерки. Окраинная улица оживала, и там, внизу, глухой возглас облегчения приветствовал свет вдруг вспыхнувших фонарей. Риэ вышел на балкон, и Коттар поплелся за ним. Со всех окрестных кварталов, как и ежевечерне в нашем городе, легкий ветерок гнал перед собой шорохи, запах жареного мяса, радостный и благоуханный бормот свободы, до краев переполнявший улицу, где весело шумела молодежь. Еще совсем недавно Риэ любил этот милый час — ночную мглу, хриплые крики невидимых отсюда кораблей, гул, идущий от моря, от растекающейся по улицам тол-

пы. Но сегодня, когда он уже знал все, его не покидало гнетущее чувство.

— Может, зажжем свет? — предложил он Коттару.

Вспыхнул электрический свет, и Коттар, ослепленно моргая, взглянул на врача.

— Скажите, доктор, если я заболел, вы возьмете меня к себе в больницу?

— Почему бы и нет...

Тут Коттар спросил, бывают ли такие случаи, чтобы человека, находящегося на излечении в клинике или в больнице, арестовывали. Риэ ответил, что такое иной раз бывает, но при этом учитывается состояние больного.

— Я вам доверяю, — сказал Коттар.

Потом он спросил, не может ли доктор довезти его до центра на своей машине...

В центре толпа на улицах была уже не такая густая, да и свету поубавилось. Но у подъездов домов еще шумела детвора. По просьбе Коттара доктор остановил машину около стайки ребятишек. Они с громкими криками играли в классы. Один из них, с безупречным пробором в гладко прилизанных волосах, но с чумазой физиономией, вперил в Риэ упорный, смущающий взгляд своих светлых глаз. Риэ потупился. Коттар вышел из машины и, стоя на обочине тротуара, пожал доктору руку. Он заговорил хриплым, сдавленным голосом. При разговоре он то и дело оглядывался.

— Вот люди болтают об эпидемии. Это правда, доктор?

— Люди всегда болтают, оно и понятно, — отозвался доктор.

— Вы правы. Самое большее помрет десяток-другой, подумаешь, невидаль! Нет, нам не это нужно.

Мотор приглушенно взревел. Риэ держал ладонь на рукоятке переключения скоростей. А сам снова взглянул на мальчика, который по-прежнему рассматривал его степенно и важно. И вдруг, без всякого перехода, мальчик улыбнулся ему во весь рот.

— А что, по-вашему, нам нужно? — спросил доктор, улыбаясь в ответ.

Коттар вдруг ухватился за дверцу машины и, прежде чем уйти, крикнул злобным голосом, в котором дрожали слезы:

— Землетрясение, вот что! Да посильнее.

Однако назавтра никакого землетрясения не произошло, и Риэ провел весь день в бесконечных разъездах по городу, в переговорах с родными пациентов и спорах с самими пациентами. Никогда еще профессия врача не казалась Риэ столь тяжелой. До сих пор получалось так, что сами больные облегчали его задачу, полностью ему вверялись. А сейчас, впервые в своей практике, доктор наталкивался на непонятную замкнутость пациентов, словно бы забившихся в самую глубину своего недуга и глядевших на него с недоверием и удивлением. Начиналась борьба, к которой он еще не привык. И когда около десяти вечера машина остановилась перед домом старика астматика — визит к нему Риэ отложил напоследок, — он с трудом поднялся с сиденья. Он медлил, вглядываясь в темную улицу, черное небо, на котором то вспыхивали, то гасли звезды. Старик астматик ждал его, сидя на постели. Дышал он полегче и, как обычно, считал горошины, перекладывая их из одной кастрюли в другую. На доктора он взглянул даже весело:

— Значит, доктор, холера началась?

— Откуда вы взяли?

— В газете прочел, да и по радио тоже объявляли.

— Нет, это не холера.

— Опять наши умники все раздули, — возбужденно отозвался старик.

— А вы не верьте, — посоветовал доктор.

Он уже осмотрел больного и сидел теперь посреди этой жалко обставленной столовой. Да, ему было страшно. Он знал, что вот здесь, в пригороде, его будут ждать завтра утром с десятков больных, не отрывающих глаз от своих бубонов. Только в двух-трех случаях рассечение бубонов принесло положительные результаты. Но для большинства больных единственная перспектива — больница, а он, врач, знал, что такое больница в представлении бедноты. «Не желаю, чтобы они на нем опыты делали», — заявила ему жена одного больного. Никаких опытов они на нем делать не будут, он умрет, и все. Принятые меры недостаточны, это более чем очевидно. А что такое «специально оборудованные палаты», кто-кто, а Риэ знал отлично: два корпуса наспех освободят от незаразных больных, окна законопатят, вокруг поставят санитарный

кордон. Если эпидемия не угаснет стихийно, ее не одолеть административными мерами такого порядка.

Однако вечерние официальные сообщения были все еще полны оптимизма. Наутро агентство Инфдок объявило, что распоряжение префектуры было встречено населением весьма благожелательно и что уже сообщено о тридцати случаях заболевания. Кагель позвонил Риэ:

— Сколько коек в корпусах?

— Восемьдесят.

— А в городе, надо полагать, больше тридцати больных?

— Да, многие напуганы, а о других, их, верно, гораздо больше, просто еще не успели сообщить.

— А погребение не контролируется?

— Нет. Я звонил Ришару, сказал, что необходимо принять строжайшие меры, а не отыгрываться пустыми фразами и что необходимо воздвигнуть против эпидемии настоящий барьер или вообще тогда уж лучше ничего не делать.

— Ну и что?

— Он не имеет соответствующих полномочий. А по моему мнению, болезнь будет прогрессировать.

И в самом деле, уже через три дня оба корпуса были забиты больными. По сведениям Ришара, собирались закрыть школу и устроить в ней вспомогательный лазарет. Риэ ждал сыворотки и тем временем вскрывал бубоны. Кагель вытащил на свет божий все свои старые книги и часами сидел в библиотеке.

— Крысы дохли от чумы или от какой-то другой болезни, весьма с ней схожей, — пришел он к выводу. — Они распустили блох, десятки тысяч блох, которые, если не принять вовремя мер, будут разносить заразу в геометрической прогрессии.

Риэ молчал.

В эти дни погода, по-видимому, установилась. Солнце выпило последние лужи, стоявшие после недавних ливней. Все располагало к безмятежности — и великолепная голубизна неба, откуда лился желтый свет, и гудение самолетов среди нарождающейся жары. А тем временем за последние четыре дня болезнь сделала четыре гигантских скачка: шестнадцать смертных случаев, двадцать четыре, двадцать восемь и тридцать два. На четвер-

тый день было объявлено об открытии вспомогательного лазарета в помещении детского сада. Наши сограждане, которые раньше старались скрыть свою тревогу под веселой шуткой, ходили теперь пришибленные, как-то сразу примолкли.

Риэ решил позвонить префекту.

— Принятые меры недостаточны.

— Мне дали цифры, — сказал префект, — они и в самом деле тревожные.

— Они более чем тревожны, они не оставляют сомнения.

— Запрошу приказа у генерал-губернатора.

Риэ тут же позвонил Каstellю.

— Приказы! Тут не приказы нужны, а воображение!

— Что слышно насчет сыворотки?

— Прибудет на той неделе.

Через посредство доктора Ришара префектура попросила Риэ составить доклад, который намеревались переслать в столицу колонии, чтобы затребовать распоряжений. Риэ привел в докладе цифры, а также клиническое описание болезни. В тот же день было зарегистрировано около сорока смертных случаев. Префект на свой, как он выражался, риск решил со следующего же дня ввести более строгие меры. По-прежнему горожанам вменялось в обязанность заявлять о всех случаях заболевания, а больные в обязательном порядке подлежали изоляции. Дома, где обнаруживались больные, предписывалось очистить и продезинфицировать; люди, находившиеся в контакте с больными, обязаны были пройти карантин; похоронами займутся городские власти, согласно особым указаниям префектуры. А еще через день самолетом прибыла сыворотка. Для лечения заболевших ее хватало. Но если эпидемии суждено распространиться, ее явно не хватит. На телеграфный запрос доктору Риэ ответили, что запасы сыворотки кончились и что приступили к изготовлению новой партии.

А тем временем из всех предместий на рынки пришла весна. Тысячи роз увядали в корзинах, расставленных вдоль тротуаров, и над всем городом веял леденцовый запах цветов. Внешне ничего словно бы не изменилось. По-прежнему в часы пик трамваи были набиты битком, а днем ходили пустые и грязные. Тарру по-прежнему вел наблю-

дение над старичком, и по-прежнему старичок плевал в кошек. Как и всегда, Гран вечерами спешил домой к своим загадочным трудам. Коттар кружил по городу, а господин Отон, следователь, дрессировал свой домашний зверинец. Старик астматик, как обычно, перекладывал свой горошек, и изредка на улицах встречали журналиста Рамбера, спокойно и с любопытством озиравшегося по сторонам. Вечерами все та же толпа высыпала на тротуары, и перед кинотеатрами выстраивались очереди. Впрочем, эпидемия, казалось, отступила, за последние дни насчитывалось только с десяток смертных случаев. Потом вдруг кривая смертности резко пошла вверх. В тот день, когда снова было зарегистрировано тридцать смертей, Бернар Риэ перечитывал официальную депешу, лично врученную ему префектом со словами: «Перетрусили». Депеша гласила: «Официально объявить о чумной эпидемии. Город считать закрытым».

Часть вторая

Можно смело сказать, что именно с этого момента чума стала нашим общим делом. До этого каждый из наших сограждан, несмотря на тревогу и недоумение, порожденные этими из ряда вон выходящими событиями, продолжал как мог заниматься своими делами, оставаясь на своем прежнем месте. И разумеется, так оно и должно было идти дальше. Но как только ворота города захлопнулись, все жители, вдруг и все разом, обнаружили, и сам рассказчик в том числе, что угодили в одну и ту же западню и что придется как-то к ней приспособливаться. Вообразите себе, к примеру, что даже такое глубоко личное чувство, как разлука с любимым существом, неожиданно с первых же недель стало всеобщим, всенародным чувством и наряду с чувством страха сделалось главным терзанием этой долгосрочной ссылки.

И действительно, одним из наиболее примечательных последствий объявления нашего города закрытым было это внезапное разъединение существ, отнюдь к разлуке не подготовленных. Матери и дети, мужья и жены, любовники, которые совсем недавно полагали, что расстаются со своими близкими на короткий срок, обменивались на перроне нашего вокзала прощальными поцелуями, обычными при отъездах советами, будучи в полной уверенности, что увидятся через несколько дней или же несколько недель, погрязшие в глупейшем человеческом легковерии, не считавшие нужным из-за обычного отъезда пренебречь будничными заботами, — внезапно все они осознали, что разлучены бесповоротно, что им заказано соединиться или сообщаться. Ибо фактически город был закрыт за несколько часов до того, как опубликовали приказ префекта, и, естественно, нельзя было принимать

в расчет каждый частный случай. Можно даже сказать, что первым следствием внезапного вторжения эпидемии стало то, что наши сограждане вынуждены были действовать так, словно они лишены всех личных чувств. В первые же часы, когда приказ вошел в силу, префектуру буквально осадила целая толпа просителей, и кто по телефону, кто через служащих выдвигал равно уважительные причины, но вместе с тем равно не подлежащие рассмотрению. По правде говоря, только через много дней мы отдали себе отчет в том, что в нашем положении отпадают всяческие компромиссы и что такие слова, как «договориться», «в порядке исключения», «одоление», уже потеряли всякий смысл.

Нам было отказано даже в таком невинном удовольствии, как переписка. С одной стороны, наш город и на самом деле уже не был связан с остальной страной обычными средствами сообщения, а с другой — еще один приказ категорически запрещал любой вид корреспонденции ввиду того, что письма могли стать разносчиками инфекции. Поначалу кое-кто из привилегированных лиц еще как-то ухитрялся сговариваться с солдатами кордона, и те брались переправить врученные им послания. Однако это имело место лишь в самом начале эпидемии, когда стража еще позволяла себе поддаваться естественному голосу жалости. Но через некоторое время, когда тем же самым стражам разъяснили всю серьезность положения, они наотрез отказывались брать на себя ответственность, так как не могли предвидеть всех последствий своего попустительства. Сначала междугородные разговоры были разрешены, но из-за перегрузки телефонных линий и толчеи в переговорных кабинках они в течение нескольких дней были полностью запрещены, потом стали делать исключения в «особых случаях», например, сообщений о смерти, рождении, свадьбе. Нашим единственным прибежищем остался, таким образом, телеграф. Люди, связанные между собой узами духовными, сердечными и родственными, вынуждены были искать знаков выражения своей прежней близости в простой депеше, в крупных буквах лаконичного телеграфного текста. И так как любые штампы, употребляемые при составлении телеграмм, не могут не иссякнуть, все — и долгая совместная жизнь, и мучительная страсть вскоре свелось к периодическому обмену

готовыми штампами: «Все благополучно. Думаю о тебе. Целую».

Однако некоторые из нас не сдавались, упорно продолжали писать, дено и ношно изобретали всевозможные хитроумные махинации, чтобы как-то связаться с внешним миром, но их планы кончались ничем. Если даже кое-какие из задуманных нами комбинаций случайно удавались, мы все равно ничего об этом не знали, так как не получали ответа. Поэтому-то в течение многих недель мы вынуждены были вновь и вновь садиться все за одно и то же письмо, сообщать все те же сведения, все так же взывать об ответе, так что через некоторое время слова, которые вначале писались кровью сердца, лишались всякого смысла. Мы переписывали письмо уже машинально, стараясь с помощью этих мертвых фраз подать хоть какой-то знак о нашей трудной жизни. Так что в конце концов мы предпочли этому упрямому и бесплодному монологу, этой выхолощенной беседе с глухой стеной условные символы телеграфных призывов.

Впрочем, через несколько дней, когда уже стало ясно, что никому не удастся выбраться за пределы города, кто-то предложил обратиться к властям с запросом, могут ли вернуться обратно выехавшие из Орана до начала эпидемии. После нескольких дней раздумья префектура ответила утвердительно. Но она уточнила, что вернувшиеся обратно ни в коем случае не смогут вновь покинуть город и ежели они вольны вернуться к нам, то не вольны снова уехать. И даже тогда кое-кто из наших сограждан, впрочем, таких было мало, отнесся к создавшейся ситуации чересчур легкомысленно и, откинув благоразумие ради желания повидаться с родными, предложил этим последним воспользоваться предоставившейся возможностью. Но очень скоро узники чумы поняли, какой опасности они подвергают своих близких, и подчинились необходимости страдать в разлуке. В самый разгар этого ужасного мора мы были свидетелями лишь одного случая, когда человеческие чувства оказались сильнее страха перед мучительной смертью. И вопреки ожиданиям это были вовсе не влюбленные, те, что, забыв о самых страшных страданиях, рвутся друг к другу, одержимые любовью. А были это супруги Кастель, состоявшие в браке уже долгие годы. За несколько дней до эпидемии госпожа Кастель уехала

в соседний город. Да и брак их никогда не являл миру примера образцового супружеского счастья, и рассказчик с полным правом может сказать, что каждый из них до сих пор был не слишком уверен, что счастлив в супружеской жизни. Но эта грубо навязанная, затянувшаяся разлука со всей очевидностью показала им, что они не могут жить вдаль друг от друга, и в свете этой неожиданно прояснившейся истины чума выглядела сущим пустяком.

Но их случай был исключением. Для большинства разлука, очевидно, должна была кончиться только вместе с эпидемией. И для всех нас чувство, проходившее красной нитью через всю нашу жизнь и, по видимости, столь хорошо нам знакомое (мы уже говорили, что страсти у наших сограждан самые несложные), оборачивалось новым своим ликом. Мужья и любовники, которые свято верили своим подругам, вдруг обнаружили, что способны на ревность. Мужчины, считавшие себя легкомысленными в любовных делах, вдруг обрели постоянство. Сын, почти не замечавший жившую с ним рядом мать, теперь с тревогой и сожалением мысленно вглядывался в каждую морщинку материнского лица, не выходившего из памяти. Эта грубая разлука, разлука без единой лазейки, без реально представимого будущего повергла нас в растерянность, лишила способности бороться с воспоминаниями о таком еще близком, но уже таком далеком видении, и воспоминания эти наполняли теперь все наши дни. В сущности, мы мучились дважды — нашей собственной мукой и затем еще той, которой в нашем воображении мучились отсутствующие — сын, жена или возлюбленная.

Впрочем, при иных обстоятельствах наши сограждане сумели бы найти какой-то выход, могли бы, скажем, вести более деятельный и открытый образ жизни. Но беда в том, что чума обрекала их на ничегонеделание и приходилось день за днем кружить по безотрадно унылому городу, предаваясь разочаровывающей игре воспоминаний. Ибо в своих бесцельных блужданиях мы вынуждены были бродить по одним и тем же дорогам, а, так как наш городок невелик, дороги эти оказывались в большинстве случаев как раз теми самыми, по которым мы ходили в лучшие времена с теми, с отсутствующими.

Итак, первое, что принесла нашим согражданам чума, было заточение. И рассказчик считает себя вправе от имени

всех описать здесь то, что испытал тогда он сам, коль скоро он испытывал это одновременно с большинством своих сограждан. Ибо именно чувством изгнанника следует назвать то состояние незаполненности, в каком мы постоянно пребывали, то отчетливо ощущаемое, безрассудное желание повернуть время вспять или, наоборот, ускорить его бег, все эти обжигающие стрелы воспоминаний. И если иной раз мы давали волю воображению и тешили себя ожиданием звонка у входной двери, возвещающего о возвращении, или знакомых шагов на лестнице, если в такие минуты мы готовы были забыть, что поезда уже не ходят, старались поскорее справиться с делами, очутиться дома в тот час, в какой обычно пассажир, прибывший с вечерним экспрессом, уже добирался до нашего квартала, — все это была игра, и она не могла длиться долго. Неизбежно наступала минута, когда мы ясно осознали, что поезд не придет. И тогда мы понимали, что нашей разлуке суждено длиться и длиться, что нам следует попробовать приспособиться к настоящему. И, поняв, мы окончательно убеждались, что, в сущности, мы самые обыкновенные узники и одно лишь нам оставалось — прошлое, и если кто-нибудь из нас пытался жить будущим, то такой смельчак спешил отказаться от своих попыток, в той мере, конечно, в какой это удавалось, до того мучительно ранило его воображение, неизбежно ранящее всех, кто доверяется ему.

В частности, все наши сограждане очень быстро отказались от появившейся было у них привычки подсчитывать даже на людях предполагаемые сроки разлуки. Почему? Если самые заядлые пессимисты определяли этот срок, скажем, в полгода, если они уже заранее вкусили горечь грядущих месяцев, если они ценою огромных усилий старались поднять свое мужество до уровня выпавшего на их долю испытания, крепились из последних сил, лишь бы не падать духом, лишь бы удержаться на высоте этих страданий, растянутых на многие месяцы, то иной раз встреча с приятелем, заметка в газете, мимолетное подозрение или внезапное прозрение приводили их к мысли, что нет, в сущности, никаких оснований надеяться, что эпидемия затихнет именно через полгода — а почему бы и не через год или еще позже.

В такие минуты полный крах их мужества, воли и терпения бывал столь внезапен и резок, что, казалось, никогда им не выбраться из ямы, куда они рухнули. Поэтому-то они принуждали себя ни при каких обстоятельствах не думать о сроках освобождения, не обращать свой взгляд к будущему и жить с опущенными, если так можно выразиться, глазами. Но, естественно, эти благие порывы, это старание обмануть боль — спрятать шпагу в ножны, чтобы отказаться от боя, — все это вознаграждалось весьма и весьма скудно. И если им удавалось избежать окончательного краха, а они любой ценой хотели его предотвратить, они тем самым лишали себя минут, и нередких, когда картины близкого воссоединения с любимым существом заставляют забыть о чуме. И, застряв где-то на полпути между этой бездной и этими горными вершинами, они не жили, их несло волною вырвавшихся из повиновения дней и бесплодных воспоминаний — они, беспокойные, блуждающие тени, которые могли обрести плоть и кровь, лишь добровольно укоренившись в земле своих скорбей.

Таким образом, они испытывали исконную муку всех заключенных и всех изгнанников, а мука эта вот что такое — жить памятью, когда память уже ни на что не нужна. Само прошлое, о котором они думали не переставая, и то приобретало привкус сожаления. Им хотелось бы присовокупить к этому прошлому все, что, к величайшему своему огорчению, они не успели сделать, перечувствовать, когда еще могли, вместе с тою или с тем, кого они теперь ждали, и совершенно так же ко всем обстоятельствам, даже относительно благополучным, их теперешней жизни узников они постоянно примешивали отсутствующих, и то, как они жили ныне, не могло их удовлетворить. Нетерпеливо подгонявшие настоящее, враждебно косящиеся на прошлое, лишённые будущего, мы были подобны тем, кого людское правосудие или людская злоба держат за решеткой. Короче, единственным средством избежать эти непереносимо затянувшиеся каникулы было вновь пустить, одною силою воображения, поезда по рельсам и заполнить пустые часы ожиданием, когда же затренькает звонок у входной двери, впрочем, упорно молчавший.

Но если это и была ссылка, то в большинстве случаев мы были ссылкой у себя дома. И хотя рассказчик знал

лишь одну, общую для всех нас ссылку, он обязан не забывать таких, как, скажем, журналист Рамбер, и других, для которых, напротив, все муки нашего отъединения от остального мира усугублялись еще и тем, что они, путешественники, застигнутые врасплох чумой и не имевшие права покинуть город, находились далеко и от близких, с которыми не могли воссоединиться, и от страны, которая была их родной страной. Среди нас, ссыльных, они были вдвойне ссыльными, ибо если бег времени неизбежно вызывал у них, как, впрочем, и у всех, тоскливый страх, то они сверх того ощущали еще себя привязанными к определенному месту и беспрерывно натыкались на стены, отделявшие их зачумленный загон от утраченной ими родины. Это они, конечно, в любое время дня шатались по нашим пыльным улицам, молча взывая к лишь одним им ведомым закатам и рассветам своей отчизны. Они растревали свою боль по любому поводу: полет ласточки, вечерняя роса на траве, причудливое пятно, оставленное на тротуаре пустынной улицы лучом, — все было в их глазах неуловимым знамением, разочаровывающей вестью оттуда. Они закрывали глаза на внешний мир, извечный целитель всех бед, и, упрямцы, лелеяли слишком реальные свои химеры, изо всех сил цеплялись за знакомые образы — земля, где льется совсем особый свет, два-три пригорка, любимое дерево и женские лица составляли ту особую атмосферу, которую ничем не заменишь.

И наконец, если остановиться именно на влюбленных, на самой примечательной категории изгнанников, о которых рассказчик может, пожалуй, говорить с наибольшим основанием, их терзала еще и иная тоска, где важное место занимали угрызения. В теперешнем нашем положении они имели полную возможность увидеть свои чувства взглядом, равно объективным и лихорадочным. И чаще всего в этих случаях их собственные слабости выступали тогда перед ними во всей своей наготе. И в первую очередь потому, что они относили за счет собственных недостатков невозможность с предельной точностью представить себе дела и дни своих любимых. Они скорбели оттого, что не знают, чем заполнено их время, они корили себя за легкомыслие, за то, что прежде не удосуживались справиться об этом, и притворялись, будто не понимают, что для любящего знать в подробностях, что

делает любимое существо, есть источник величайшей радости. И таким образом им уже было легче вернуться к истокам своей любви и шаг за шагом обследовать все ее несовершенство. В обычное время мы все, сознавая это или нет, понимаем, что существует любовь, для которой нет пределов, и тем не менее соглашаемся, и даже довольно спокойно, что наша-то любовь, в сущности, так себе, второго сорта. Но память человека требовательнее. И в силу железной логики несчастье, пришедшее к нам извне и обрушившееся на весь город, принесло нам не только незаслуженные мучения, на что еще можно было бы понегодовать. Оно принуждало нас также терзать самих себя и тем самым, не протестуя, принять боль. Это был один из способов, которым эпидемия отвлекала внимание от себя и путала все карты.

Итак, каждый из нас вынужден был жить ото дня ко дню один, лицом к лицу с этим небом. Эта абсолютная всеобщая заброшенность могла бы со временем закалить характеры, но получилось иначе, люди становились как-то суетнее. Многие из наших сограждан, к примеру, подпали под ярмо иного рабства, эти, что называется, находились в прямой зависимости от ведра или ненастья. При виде их начинало казаться, будто они впервые и непосредственно замечают стоящую на дворе погоду. Стоило пробежать по тротуару незамысловатому солнечному зайчику — и они уже расплывались в довольной улыбке, а в дождливые дни их лица да и мысли тоже окутывало густой пеленой. А ведь несколькими неделями раньше они умели не поддаваться этой слабости, этому дурацкому порабошению, потому что тогда они были перед лицом вселенной не одни и существо, бывшее с ними раньше, в той или иной степени заслоняло их мир от непогоды. Теперь же они, по всей видимости, оказались во власти небесных капризов, другими словами, мучились, как и все мы, и, как все мы, питали бессмысленные надежды.

И наконец, в этом обострившемся до пределов одиночестве никто из нас не мог рассчитывать на помощь соседа и вынужден был оставаться наедине со всеми своими заботами. Если случайно кто-нибудь из нас пытался довериться другому или хотя бы просто рассказать о своих чувствах, следовавший ответ, любой ответ, обычно воспринимался как оскорбление. Тут только он замечал, что

он и его собеседник говорят совсем о разном. Ведь он-то вещал из самых глубин своих бесконечных дум все об одном и том же, из глубины своих мук, и образ, который он хотел открыть другому, уже давно томился на огне ожидания и страсти. А тот, другой, напротив, мысленно рисовал себе весьма банальные эмоции, обычную расхожую боль, стандартную меланхолию. И каков бы ни был ответ — враждебный или вполне благожелательный, он обычно не попадал в цель, так что приходилось отказываться от попытки задушевных разговоров. Или, во всяком случае, те, для которых молчание становилось мукой, волей-неволей прибегали к расхожему жаргону и тоже пользовались штампованным словарем, словарем простой информации из рубрики происшествий — словом, чем-то вроде газетного репортажа, ведь никто вокруг не владел языком, идущим прямо от сердца. Поэтому-то самые доподлинные страдания стали постепенно и привычно выражаться системой стертых фраз. Только такой ценой узники чумы могли рассчитывать на сочувственный вздох привратника или надеяться завоевать интерес слушателей.

Однако, и, пожалуй, это самое существенное, как бы мучительны ни были наши страхи, каким бы до странности тяжелым камнем ни лежало в груди это пустое сердце, можно смело сказать, что изгнанники этой категории были в первый период мора как бы привилегированными. И в самом деле, когда жители были охвачены смятением, у изгнанников этого сорта все помыслы без остатка были обращены к тем, кого они ждали. Среди всеобщего отчаяния их хранил эгоизм любви, и, если они вспоминали о чуме, то всегда лишь в той мере, в какой она угрожала превратить их временную разлуку в вечную. В самом пекле эпидемии они находили это спасительное отвлечение, которое можно было принять за хладнокровие. Безнадежность спасала их от паники, самое горе шло им во благо. Если, скажем, такого человека уносила болезнь, то почти всегда больной даже не имел времени опомниться. Его грубо отрывало от бесконечного внутреннего диалога, который он вел с любимой тенью, и без всякого перехода погружало в нерушимейшее молчание земли. А он и не успевал этого заметить.

Пока наши сограждане старались сжиться с этой неожиданной-негаданной ссылкой, чума выставила у ворот го-

рода кордоны и сворачивала с курса суда, шедшие к Орану. С того самого дня, когда Оран был объявлен закрытым городом, ни одна машина не проникла к нам. И теперь нам стало казаться, будто автомобили бессмысленно кружат все по одним и тем же улицам. Да и порт тоже представлял собой странное зрелище, особенно если смотреть на него сверху, с бульваров. Обычное оживление, благодаря которому он по праву считался первым портом на побережье, вдруг сразу стихло. У пирса стояло лишь с пяток кораблей, задержанных в связи с карантином. Но у причалов огромные, ненужные теперь краны, перевернутые набок вагонетки, какие-то удивительно одинокие штабеля бочек или мешков — все это красноречиво свидетельствовало о том, что коммерция тоже скончалась от чумы.

Вопреки этой непривычной картине наши сограждане лишь с трудом отдавали себе отчет в том, что с ними приключилось. Конечно, существовали общие для всех чувства, скажем, разлуки или страха, но для многих на первый план властно выступали свои личные заботы. Фактически никто еще не принимал эпидемии. Большинство страдало, в сущности, от нарушения своих привычек или от ущемления своих деловых интересов. Это раздражало или злило, а раздражение и злость не те чувства, которые можно противопоставить чуме. Так, первая их реакция была — во всем винить городские власти. Ответ префекта этим критикам, к которым присоединилась и пресса («Нельзя ли рассчитывать на смягчение принимаемых мер?»), был прямо-таки неожиданным. До сих пор ни газеты, ни агентство Инфдок не получали официальных статистических данных о ходе болезни. Теперь префект ежедневно сообщал эти данные агентству, но просил, чтобы публиковали их в виде еженедельной сводки.

Но и тут еще публика опомнилась не сразу. И впрямь, когда на третью неделю появилось сообщение о том, что эпидемия унесла триста два человека, эти цифры ничего не сказали нашему воображению. С одной стороны, может, вовсе не все они умерли от чумы. И с другой — никто в городе не знал толком, сколько человек умирает за неделю в обычное время. В городе насчитывалось двести тысяч жителей. А может, этот процент смертности вполне нормален? И хотя такие данные представляют несом-

ненный интерес, обычно никого они не трогают. В известном смысле публике недоставало материала для сравнения. Только много позже, убедившись, что кривая смертности неуклонно ползет вверх, общественное мнение осознало истину. И на самом деле, пятая неделя эпидемии дала уже триста двадцать один смертный случай, а шестая — триста сорок пять. Вот этот скачок оказался весьма красноречивым. Однако он был еще недостаточно резок, и наши сограждане, хоть и встревожились, все же считали, что речь идет о довольно досадном, но в конце концов преходящем эпизоде.

По-прежнему они бродили по улицам, по-прежнему часами просиживали на террасах кафе. На людях они не праздновали труса, не жаловались, а прибегали к шутке и делали вид, будто все эти неудобства, явно временного порядка, не могут лишить их хорошего настроения. Приличия были, таким образом, соблюдены. Однако к концу месяца, примерно в молитвенную неделю (речь о ней пойдет позже), более серьезные изменения произошли во внешнем облике нашего города. Сначала префект принял меры, касающиеся движения транспорта и снабжения. Снабжение было лимитировано, а продажа бензина строго ограничена. Предписывалось даже экономить электроэнергию. В Оран наземным транспортом и с воздуха поступали лишь предметы первой необходимости. Таким образом, движение транспорта уменьшалось со дня на день, пока не свелось почти к нулю, роскошные магазины закрывались один за другим, в витринах менее роскошных красовались объявления, сообщающие, что таких-то и таких-то товаров в продаже нет, между тем как у дверей выстраивались длинные очереди покупателей.

В общем, Оран приобрел весьма своеобразный вид. Значительно возросло число пешеходов, даже в те часы, когда улицы обычно пустовали, множество людей, вынужденных бездействовать в связи с закрытием магазинов и контор, наводняли бульвары и кафе. Пока что они считались не безработными, а были, так сказать, в отпуску. Итак, в три часа дня под прекрасным южным небом Оран производил обманчивое впечатление города, где начался какой-то праздник, где нарочно заперли все магазины и перекрыли автомобильное движение, чтобы не

мешать народной манифестации, а жители высыпали на улицы с целью принять участие во всеобщем веселье.

Понятно, кинотеатры широко пользовались этими всеобщими каникулами и делали крупные дела. Но распространение фильмов в нашем департаменте прекратилось. Через две недели кинотеатры уже вынуждены были обмениваться друг с другом программами, а вскоре на экранах шли бесменно все одни и те же фильмы. Однако сборы не падали.

Точно так же и кафе благодаря тому, что наш город вел в основном торговлю вином и располагал солидными запасами алкоголя, могли бесперебойно удовлетворять запросы клиентов. Откровенно сказать, пили крепко. Одно кафе извещало публику, что «чем больше пьешь, тем скорее микроба убьешь», и вера в то, что спиртное предохраняет от инфекционных заболеваний — мысль, впрочем, вполне естественная, — окончательно окрепла в наших умах. После двух часов ночи пьяницы, в немалом количестве изгнанные из кафе, до рассвета толклись на улицах и делали оптимистические прогнозы.

Но все эти перемены в каком-то смысле были столь удивительны и произошли они так молниеносно, что нелегко было считать их нормальными и прочными. В результате для нас на первом плане по-прежнему стояли личные чувства.

Через два дня после того, как город был объявлен закрытым, Риэ, выйдя из лазарета, наткнулся на Коттара, который поднял на него сияющее радостью лицо. Риэ поздравил его с полным выздоровлением, если, конечно, судить по виду.

— Верно, верно, я себя прекрасно чувствую, — подтвердил Коттар. — Скажите-ка, доктор, а ведь эта сволочная чума начинает всерьез забирать, а?

Доктор признал это. А Коттар не без удовольствия заметил:

— И причин-то вроде нет, чтобы эпидемия прекратилась. Все пойдет шиворот-навыворот.

Часть пути они прошли вместе. Коттар рассказал, что владелец большого продовольственного магазина в их квартале скупал направо и налево продукты, надеясь потом перепродать их по двойной цене, когда же за ним пришли санитары и повезли его в лазарет, они обнаружили

под кроватью целый склад консервов. «Ясно, помер, нет, на чуме не наживешься». Вообще у Коттара имелась в запасе целая серия рассказов об эпидемии, и правдивых, и выдуманных. Например, ходила легенда, что какой-то человек, заметив первые признаки заражения, выскочил в полубреду на улицу, бросился к проходившей мимо женщине и крепко прижал ее к себе, вопя во все горло, что у него чума.

— Чудесно! — заключил Коттар любезным тоном, не вязавшимся с его дальнейшими словами. — Скоро все мы с ума посходим, уж поверьте!

В тот же день, ближе к вечеру, Жозеф Гран наконец-то набрался решимости и пустился с Риэ в откровенности. Началось с того, что он заметил на письменном столе доктора фотографию мадам Риэ и вопросительно взглянул на своего собеседника. Риэ ответил, что жена его находится не в городе, она лечится. «В каком-то смысле, — сказал Гран, — это скорее удача». Доктор ответил, что это, безусловно, удача и остается только надеяться, что его жена окончательно выздоровеет.

— А-а, — протянул Гран, — понимаю, понимаю.

И впервые со дня их знакомства Гран разразился многословной речью. Правда, он еще подыскивал нужные слова, но почти тут же их находил, будто уже давным-давно все это обдумал.

Женился он совсем молодым на юной небогатой девушке, их соседке. Ради этого пришлось бросить учение и поступить на работу. Ни он, ни Жанна никогда не переступали рубежа их родного квартала. Он повадился ходить к Жанне, и ее родители подсмеивались над нескладным и на редкость молчаливым ухажером. Отец Жанны был железнодорожником. В свободные часы он обычно сидел в уголку у окна и задумчиво смотрел на спящий по улицам народ, положив на колени свои огромные лапищи. Мать с утра до ночи возилась по хозяйству, Жанна ей помогала. Была она такая маленькая и тоненькая, что всякий раз, когда она переходила улицу, у Грана от страха замирало сердце. Все машины без исключения казались ему тогда опасными мастодонтами. Как-то раз перед Рождеством Жанна в восхищении остановилась перед празднично украшенной витриной и, подняв на своего спутни-

ка глаза, прошептала: «До чего ж красиво!» Он сжал ее запястье. Так было решено пожениться.

Конец истории, по словам Грана, был весьма прост. Такой же, как у всех: женятся, еще любят немножко друг друга, работают. Работают столько, что забывают о любви. Жанна тоже вынуждена была поступить на службу, поскольку начальник не сдержал своих обещаний. Тут, чтобы понять дальнейший рассказ Грана, доктору пришлось призвать на помощь воображение. Гран от неизбывной усталости как-то сник, все реже и реже говорил с женой и не сумел поддержать ее в убеждении, что она любима. Муж, поглощенный работой, бедность, медленно закрывавшиеся пути в будущее, тяжелое молчание, нависавшее вечерами над обеденным столом, — нет в таком мире места для страсти. Очевидно, Жанна страдала. Однако она не уходила. Так бывает нередко — человек мучается, мучается и сам того не знает. Шли годы. Потом она уехала. Не одна, разумеется. «Я очень тебя любила, но я слишком устала... Я не так уж счастлива, что уезжаю, но ведь для того, чтобы заново начать жизнь, обязательно быть счастливой». Вот примерно, что она написала.

Жозеф Гран тоже немало страдал. И он бы мог начать новую жизнь, как справедливо заметил доктор. Только он уже не верит в такие вещи.

Просто-напросто он все время думает о ней. Больше всего ему хотелось бы написать Жанне письмо, чтобы как-то оправдать себя в ее глазах. «Только трудно очень, — добавил он. — Я уже давным-давно об этом думаю. Пока мы друг друга любили, мы обходились без слов и так все понимали. Но ведь любовь проходит. Мне следовало бы тогда найти нужные слова, чтобы ее удержать, а я не нашел». Гран вытащил из кармана похожий на салфетку носовой платок в клеточку и шумно высморкался, потом обтер усы. Риэ молча смотрел на него.

— Простите меня, доктор, — сказал старик, — но как бы получше выразиться... Я чувствую к вам доверие. Вот с вами я могу говорить. Ну и, конечно, волнуюсь.

Было ясно, что мыслями Гран за тысячу верст от чумы.

Вечером Риэ послал жене телеграмму и сообщил, что город объявлен закрытым, что он здоров, что пусть она

и впредь получше следит за собой и что он все время о ней думает.

Через три недели после закрытия города Риэ, выходя из лазарета, наткнулся на поджидавшего его молодого человека.

— Надеюсь, вы меня узнаете, — сказал тот.

И Риэ почудилось, будто он где-то его видел, но не мог вспомнить где.

— Я приходил к вам еще до всех этих событий, — проговорил незнакомец, — просил у вас дать мне сведения относительно условий жизни арабов. Меня зовут Раймон Рамбер.

— Ах да, — вспомнил Риэ. — Ну что ж, теперь у вас богатый материал для репортажа.

Рамбер явно нервничал. И ответил, что речь идет не о репортаже и что пришел он к доктору просить содействия.

— Я должен перед вами извиниться, — добавил он, — но я никого в городе не знаю, а корреспондент нашей газеты, к несчастью, форменный болван.

Риэ предложил Рамберу дойти с ним вместе до центра, доктору надо было заглянуть по делам в диспансер. Они зашагали по узким улочкам негритянского квартала. Спускался вечер, но город, когда-то шумный в этот час, казался теперь удивительно пустынным. Только звуки труб, взлетавшие к позлащенному закату небу, свидетельствовали о том, что военные еще выполняют свои обязанности, вернее, делают вид, что выполняют. Пока они шли по крутым улицам между двух рядов ярко-синих, желтых и фиолетовых домов в мавританском стиле, Рамбер все говорил, и говорил очень возбужденно. В Париже у него осталась жена. По правде сказать, не совсем жена, но это неважно. Когда город объявили закрытым, он ей телеграфировал. Сначала он думал, что все это не затянется надолго, и стал искать способ наладить с ней регулярную переписку. Его коллеги, оранские журналисты, прямо так и сказали, что ничего сделать не могут, на почте его просто прогнали, секретарша в префектуре нагло расхохоталась ему в лицо. В конце концов, простояв на телеграфе два часа в длиннейшей очереди, он послал депешу следующего содержания: «Все благополучно. До скорого».

Но на другое утро, поднявшись с постели, он вдруг подумал, что в конце концов никто не знает, как долго

все это продлится. Поэтому он решил уехать. Так как у него было рекомендательное письмо, он сумел пройти к начальнику канцелярии префектуры (журналисты все-таки пользуются кое-какими поблажками). Рамбер лично явился к нему и сказал, что никакого отношения к Орану не имеет, что нечего ему здесь торчать зря, что очутился он здесь чисто случайно и будет справедливо, если ему разрешат уехать, пусть даже придется пройти полагающийся карантин. Начальник канцелярии ответил, что прекрасно его понимает, но ни для кого исключения сделать не может, что он посмотрит, но, в общем-то, положение достаточно серьезное и что он сам ничего не решает.

— Но ведь я в вашем городе чужой, — добавил Рамбер.

— Совершенно верно, но все же будем надеяться, что эпидемия не затянется.

Желая подбодрить Рамбера, доктор заметил, что в Оране сейчас уйма материала для интереснейшего репортажа и что, по здравому рассуждению, нет ни одного даже самого прискорбного события, в котором не было бы своих хороших сторон. Рамбер пожал плечами. Они уже подходили к центру города.

— Но поймите меня, доктор, это же глупо. Я родился на свет не для того, чтобы писать репортажи... А может, я родился на свет, чтобы любить женщину. Разве это не в порядке вещей?

Риз ответил, что такая мысль, по-видимому, вполне разумна.

На центральных бульварах не было обычной толпы. Им попалось только несколько пешеходов, торопившихся к себе домой на окраину города. Ни одного улыбающегося лица. Риз подумалось, что, очевидно, таков результат сводки, опубликованной как раз сегодня агентством Инфдок. Через сутки наши сограждане снова начнут питать надежду. Но сегодняшние цифры, опубликованные днем, были еще слишком свежи в памяти.

— Дело в том, — без перехода сказал Рамбер, — дело в том, что мы с ней встретились совсем недавно и, представьте, прекрасно ладим.

Риз промолчал.

— Впрочем, я вам, очевидно, надоел, — продолжал Рамбер. — Я хотел вас только вот о чем попросить: не могли бы вы выдать мне удостоверение, где бы офици-

ально подтверждалось, что у меня нет этой чертовой чумы. Думаю, такая бумажка пригодилась бы.

Риэ молча кивнул и как раз успел подхватить мальчугана, с размаху ткнувшегося головой в его колени, и осторожно поставил его на землю. Они снова тронулись в путь и очутились на Оружейной площади. Понурые, словно застывшие, фикусы и пальмы окружали серым пыльным кольцом статую Республики, тоже пыльную и грязную. Они остановились у постамента. Риэ постучал о землю ногой, сначала правой, потом левой, надеясь стряхнуть беловатый налет. Украдкой он взглянул на Рамбера. Тот стоял, сбив на затылок фетровую шляпу, небритый, обиженно надув губы, даже пуговку на воротничке — ту, что под галстуком, — не удосужился застегнуть, а в глазах застыло упрямое выражение.

— Поверьте, я вас отлично понимаю, — наконец проговорил Риэ, — но в ваших рассуждениях вы исходите из неправильных посылок. Я не могу выдать вам справку, потому что и в самом деле не знаю, больны вы этой болезнью или нет, и, даже если вы здоровы, я не могу поручиться, что как раз в ту долю минуты, когда вы выберетесь из моего кабинета и войдете в префектуру, вы не подхватите инфекцию. А впрочем, даже если...

— Что даже если? — переспросил Рамбер.

— Даже если бы я дал такую справку, она все равно вам бы не пригодилась.

— Почему это?

— Потому что в нашем городе есть тысячи людей, находящихся в таком же положении, как и вы, и, однако, мы не имеем права их отсюда выпускать.

— Но ведь они-то чумой не больны!

— Это недостаточно уважительная причина. Согласен, положение дурацкое, но мы все попали в ловушку. И приходится с этим считаться.

— Но ведь я не здешний.

— С известного момента, увы, вы тоже станете здешним.

Рамбер разгорячился:

— Но клянусь честью, это же вопрос человечности! Возможно, вы не отдаете себе отчет в том, что означает такая разлука для двух людей, которые прекрасно ладят друг с другом.

Риэ ответил не сразу. Потом сказал, что, очевидно, все-таки отдает. Больше того, всеми силами души он желает, чтобы Рамбер воссоединился со своей женой, чтобы вообще все любящие поскорее были вместе, но существуют, к сожалению, вполне определенные распоряжения и законы, а главное, существует чума; его же личная роль сводится к тому, чтобы делать свое дело.

— Нет, — с горечью возразил Рамбер, — вам этого не понять. Вашими устами вещает разум, вы живете в мире абстракций.

Доктор вскинул глаза на статую Республики и ответил, что вряд ли его устами вещает разум, в этом он не уверен, скорее уж голая очевидность, а это не всегда одно и то же. Журналист поправил галстук.

— Иными словами, придется изворачиваться как-нибудь иначе, так я вас понял? Все равно, — с вызовом заключил он, — я из города уеду.

Доктор сказал, что он опять-таки понимает Рамбера, но такие вещи его не касаются.

— Нет, касаются, — внезапно взорвался Рамбер, — я потому и обратился к вам, что, по слухам, именно вы настаивали на принятии драконовских мер. Ну я и подумал, что хотя бы в виде исключения, хотя бы только раз вы могли бы отменить подсказанные вами же решения. Но, видно, вам ни до чего нет дела. Вы ни о ком не подумали. Отмахнулись от тех, кто в разлуке.

Риэ согласился, в каком-то смысле Рамбер прав, он действительно отмахнулся.

— Знаю, знаю, — воскликнул Рамбер, — сейчас вы заговорите об общественной пользе! Но ведь общественное благо как раз и есть счастье каждого отдельного человека.

— Ну, знаете, — отозвался доктор не так рассеянно, как прежде, — счастье счастьем, но существует и нечто другое. Никогда не следует судить с налета. И зря вы сердитесь. Если вам удастся выпутаться из этой истории, я буду от души рад. Просто существуют вещи, которые мне запрещено делать по характеру моей работы.

Журналист нетерпеливо мотнул головой:

— Вы правы, зря я сержусь. Да еще отнял у вас уйму времени.

Риэ попросил Рамбера держать его в курсе своих дел и не таить против него зла. Очевидно, у Рамбера имеется план действий, и, пожалуй, в каком-то смысле они могут сойтись. Рамбер растерянно взглянул на врача.

— Я тоже в это верю, — сказал он, помолчав, — верю вопреки самому себе, вопреки тому, что вы здесь мне говорили. — Он запнулся. — Но все равно я не могу одобрить ваши действия.

Он нахлобучил шляпу на лоб и быстро пошел прочь. Риэ проследил за ним взглядом и увидел, что журналист вошел в подъезд отеля, где жил Жан Тарру.

Доктор задумчиво покачал головой. Журналист был прав в своем нетерпеливом стремлении к счастью. Но вот когда он обвинял его, Риэ, был ли он и тогда прав? «Вы живете в мире абстракций». Уж не были ли миром абстракций дни, проведенные в лазарете, где чума с удвоенной алчностью заглатывала свои жертвы, унося за неделю в среднем по пятьсот человек? Да, несомненно, в бедствии была своя доля абстракции, было в нем и что-то нереальное. Но когда абстракция норовит вас убить, приходится заняться этой абстракцией. И Риэ знал только одно — не так-то это легко. Не так-то легко, к примеру, руководить подсобным лазаретом (теперь их насчитывалось уже три), ответственность за который возложили на него. В комнатке, примыкавшей к врачебному кабинету, устроили приемный покой. В полу сделали углубление, где стояло целое озерцо крезола, а посередине выложили из кирпичей нечто вроде островка. Больного укладывали сначала на этот островок, затем быстро раздевали донага, и одежда падала в раствор крезола. И только потом, когда больного обмывали с ног до головы, насухо вытирали и одевали в шершавую больничную рубаху, он переходил в руки Риэ, а после его направляли в одну из палат. Пришлось использовать внутренние школьные крытые дворики, так как в лазарете число коек доходило уже до пятисот и почти все они были заняты. После утреннего обхода, который проводил сам Риэ, когда всем больным вводили вакцину, вскрывали бубоны, доктор еще просматривал бумаги, содержащие статистические данные, а после обеда снова начинался обход. Наконец, вечерами он ездил с визитами к своим пациентам и возвращался домой только поздно ночью... Как раз накануне мать, вру-

чая Риэ телеграмму от жены, заметила, что руки у него трясутся.

— Да, — согласился он, — трясутся. Но это нервное, я за собой послежу.

Натура у него была могучая, стойкая. Он и на самом деле пока еще не успел устать. Но ездить по визитам ему было невмоготу. Ставить диагноз «заразная лихорадка» означало немедленную изоляцию больного. Вот тут-то и впрямь начинались трудности, тут начинался мир абстракций, так как семья больного отлично знала, что увидит его или выздоровевшим, или в гробу. «Пожалейте нас, доктор», — твердила мадам Лоре, мать горничной, работавшей в том отеле, где жил Тарру. Но что значит жалеть? Ясно, он жалел. Но это ничего не меняло. Приходилось звонить. Через несколько минут раздавалась сирена машины «скорой помощи». Вначале соседи распахивали окна и выглядывали на улицу. А со временем, наоборот, стали спешно закрывать все ставни. И вот тогда-то, в сущности, и начинались борьба, слезы, уговоры, в общем абстракция. В комнатах, где, казалось, сам воздух пылал от лихорадки и страха, разыгрывались сцены, граничившие с безумием. Но больного все равно увозили. Риэ мог отправляться домой.

В первые дни эпидемии он ограничивался звонком по телефону и спешил к следующему больному, не дожидаясь кареты «скорой помощи». Но после его ухода родные наглухо запирали двери, они предпочитали оставаться лицом к лицу с заразой, лишь бы не выпускать из дому больного, так как знали, чем все это кончается. Крики, приказания, вмешательство полиции, а потом и военных — словом, больного брали приступом. В первые недели приходилось сидеть и ждать, пока не придет «скорая». А потом, когда с врачом стал приезжать санитарный инспектор, которых вербовали из добровольцев, Риэ мог сразу бежать от одного больного к другому. Но тогда, в самом начале, все вечера, проведенные у больного в ожидании «скорой», походили на тот вечер, когда он явился к мадам Лоре в ее квартирку, щедро украшенную бумажными веерами и букетиками искусственных цветов, и мать, встретив его на пороге, проговорила с вымученной улыбкой:

— Надеюсь, у нее не та лихорадка, о которой все говорят?

А он, подняв простыни и подол ночной рубашки, молча смотрел на багровые пятна, покрывавшие живот и пах, на набрякшие железы. Мать тоже взглянула на обнаженный пах дочери и, не сдержавшись, крикнула во весь голос. Каждый вечер точно так же вопили матери, бессмысленно уставившись на обнаженный живот своего ребенка, уже отмеченный багровыми пятнами смерти; каждый вечер чьи-нибудь руки судорожно цеплялись за руки Риэ, слезы сменялись бесплодными мольбами и клятвами, каждый вечер на сирену «скорой помощи» отвечали истерические рыдания, столь же бесполезные, как сама боль. И к концу этой бесконечной череды вечеров, неотличимо похожих друг на друга, Риэ понял, что его ждет все та же череда одинаковых сцен, повторявшихся вновь и вновь, и ни на что другое уже не надеялся. Да, чума как абстракция оказалась более чем монотонной. Изменилось, пожалуй, лишь одно — сам Риэ. Он осознал это у статуи Республики, в тот вечер, когда глядел на двери отеля, поглотившие Рамбера, только одно ощутил он: его постепенно захватывает свинцовое безразличие.

К концу этих изнуряющих недель, когда все в тех же сумерках весь город выплескивался наружу и бессмысленно кружил по улицам, Риэ вдруг отдал себе отчет, что ему не требуется больше защищаться от жалости. Очень уж утомительна жалость, когда жалость бесполезна... И, поняв, как постепенно замыкается в самом себе его сердце, доктор впервые ощутил облегчение, единственное за эти навалившиеся на него, как бремя, недели. Он знал, что отныне его задача станет легче. Вот почему он и радовался. Когда мать доктора, встречая его в два часа ночи и ловя его пустой взгляд, огорчалась, она как раз и сожалела о том, что сын ее лишается единственного отпущенного ему утешения. Чтобы бороться с абстракцией, надо хоть отчасти быть ей сродни. Но как мог это почувствовать Рамбер? Абстракция в глазах Рамбера — это все то, что препятствует его счастью. И, положив руку на сердце, Риэ признавал, что в известном смысле журналист прав. Но он знал также, что бывают случаи, когда абстракция сильнее человеческого счастья, и тогда нужно отдавать себе в этом отчет. Только тогда. Вероятно, это и произошло

с Рамбером, и доктор понял это много позднее из отдельных признаний журналиста. Он мог, таким образом, следить с новой позиции за мрачной битвой между счастьем каждого отдельного человека и абстракциями чумы, — битвой, которая составляла весь смысл жизни нашего города в течение долгого времени.

Но там, где одни видели абстракцию, другие видели истину. Конец первого месяца чумы был и впрямь омрачен новым явным ростом эпидемии и пылкой проповедью отца Панлю, иезуита, того, который помог добраться до дому заболевшему старику Мишелю. Отец Панлю был уже достаточно известен благодаря постоянному сотрудничеству в «Оранском географическом бюллетене», где он завоевал немалый авторитет трудами по расшифровке древних надписей. Но еще более широкую аудиторию он приобрел не как специалист-ученый, а как лектор, прочитавший серию докладов о современном индивидуализме. В своих лекциях он выступал в качестве пламенного поборника непримиримого христианства, равно далекого и от новейшего попустительства, и от обскурантизма минувших веков. По этому случаю он не скупился высказывать аудитории самые жесткие истины. Отсюда-то и пошла его репутация.

К концу первого месяца церковные власти города решили бороться против чумы собственными методами, объявив наступающую неделю неделей общих молений. Эти публичные манифестации благочестия должны были завершиться в воскресенье торжественной мессой в честь святого Роха, заступника зачумленных, ибо его также поразила чума. По этому случаю обратились к отцу Панлю с просьбой прочитать проповедь. На целые две недели этот последний оторвался от своих трудов, посвященных святому Августину и африканской церкви, снискавших ему почетное место в их иезуитском ордене. Будучи натурой пламенной и страстной, он сразу согласился принять возложенную на него миссию. Еще задолго до того, как проповедь была произнесена, о ней много говорили в городе, и в известном смысле она тоже стала значительной вехой в истории этого периода.

Неделя молебствий собрала много народу. И вовсе не потому, что в обычное время наши оранцы отличались особой религиозностью. Воскресными утрами, например,

морские пляжи являлись серьезными конкурентами церковным службам. И вовсе не потому, что наши сограждане во внезапном озарении обратились к Богу. Но раз город был объявлен закрытым и вход в порт воспрещен, морские купания, естественно, отпадали — это с одной стороны, а с другой, оранцы находились в несколько необычном умонастроении, они не принимали душой свалившиеся на них неожиданные события, и все же они смутно ощущали, что многое изменилось. Правда, кое-кто все еще надеялся, что эпидемия пойдет на спад и пощадит их самих и их близких. А следовательно, они пока еще считали, что никому ничем не обязаны. Чума в их глазах была не более чем непрошеной гостьей, которая как пришла, так и уйдет прочь. Они были напуганы, но не отчаялись, поскольку еще не наступил момент, когда чума предстанет перед ними как форма их собственного существования и когда они забудут ту жизнь, что вели до эпидемии. Короче, они находились в ожидании. Чума довольно-таки причудливым образом изменила их обычные взгляды на религию, как, впрочем, и на множество иных проблем, и это новое умонастроение было равно далеко и от безразличия, и от страстей и лучше всего определялось словом «объективность». Большинство участвовавших в неделе молений могли бы с полным основанием подписаться под словами, сказанными одним из верующих доктору Риэ: «Во всяком случае, вреда от этого не будет». Сам Тарру записал в своем дневнике, что китайцы в аналогичных случаях бьют в барабаны, надеясь умиротворить духа чумы, и заметил, что абсолютно невозможно доказать, действительно ли барабан эффективнее профилактических мер. Он добавлял, что разрешить этот вопрос можно было бы, лишь располагая данными о существовании духа чумы, и что наше невежество в этой области сводит на нет все имеющиеся на сей счет мнения.

Так или иначе, наш кафедральный собор в течение недели почти всегда был заполнен молящимися. В первые дни многие из наших сограждан предпочитали толпиться у ворот собора под сенью пальм и гранатовых деревьев, куда волнами докатывались церковные песнопения и молитвы — отголоски их слышны были даже на улице. Но чужой пример заразителен, и мало-помалу те же самые слушатели входили, набравшись смелости, в собор

и присоединяли свой робкий голос к общему хору голосов. А в воскресенье огромная толпа затопила весь неф, заняла всю паперть, даже на ступеньках лестницы стояли люди. Накануне, в субботу, небо начало хмуриться, разразился ливень. Не попавшие в храм открыли зонтики. Когда на кафедру поднялся отец Панлю, в храме реял аромат ладана и запах волглого шелка.

Отец Панлю был невысок ростом, но коренаст. Когда он ухватился крупными руками за край кафедры, молящимся было видно лишь что-то черное и широкое, а выше два красных пятна его щек, а еще над ними — очки в металлической оправе. Голос у него был сильный, страстный, разносившийся далеко; и когда святой отец обрушил на собравшихся свою первую фразу, пылкую и чеканную: «Братья мои, вас постигла беда, и вы ее заслужили, братья», по храму прошло движение, докатившееся до паперти.

Последующие фразы логически не особенно-то вязались с пафосом этой посылки. Только к середине речи наши сограждане уразумели, что преподобный отец ловким ораторским приемом вложил в первую фразу основной тезис своей проповеди, словно плетью ударил. Сразу же вслед за посылкой отец Панлю и впрямь привел стих из Исхода о египетской чуме и добавил: «Вот когда впервые в истории появился бич сей, дабы сразить врагов Божьих. Фараон противился замыслам Предвечного, и чума вынудила его преклонить колена. С самого начала истории человечества бич Божий смирял жестоководных и слепцов. Поразмыслите над этим хорошенько и преклоните колена».

Дождь снова припустил, и последняя фраза проповеди, произнесенная среди всеобщего молчания, подчеркнутого нудным стуком капель по витражам, прозвучала с такой силой, что кое-кто из молящихся после секундного колебания соскользнул со стула и преклонил колена на скамеечке. Остальные решили, что нужно последовать этому примеру, и мало-помалу в полном безмолвии, нарушаемом лишь скрипом стульев, вся аудитория опустилась на колени. Тут отец Панлю выпрямил свой стан, судорожно перевел дыхание и заговорил, выделяя голосом каждое слово: «Ежели чума ныне коснулась вас, значит, пришло время задуматься. Праведным нечего бояться, но

нечестивые справедливо трепещут от страха. В необозримой житнице вселенной неумолимый бич будет до той поры молотить зерно человеческое, пока не отделит его от плевел. И мы увидим больше плевел, чем зерна, больше званых, чем избранных, и не Бог возжелал этого зла. Долго, слишком долго мы мирились со злом, долго, слишком долго уповали на милосердие Божье. Достаточно было покаяться во грехах своих, и все становилось нам дозволенным. И каждый смело каялся в прегрешениях своих. Но настанет час — и спросится с него. А пока легче всего жить как живется, с помощью милосердия Божьего, мол, все уладится. Так вот, дальше так продолжаться не могло. Господь Бог, так долго склонявшийся над жителями города свой милосердный лик, отвратил ныне от него взгляд свой, обманутый в извечных своих чаяниях, устав от бесплодных ожиданий. И, лишившись света Господня, мы очутились, и надолго, во мраке чумы!»

Кто-то из слушателей издал странный звук, похожий на лошадиное фырканье. Помолчав немного, преподобный отец снова заговорил, но тоном ниже: «В «Золотой легенде» мы читали, что во времена короля Умберто Ломбардского Италия была опустошена чумой столь свирепой, что живые не успевали хоронить мертвецов своих, особенно же чума свирепствовала в Риме и Павии. И на глазах у всех явился добрый ангел и повелел злому ангелу, державшему в деснице охотничье копье, разить дома; и каждый раз, когда копье вонзалось в дом, любой, кто выходил из него, падал мертвым».

Здесь отец Панлю простер свои коротенькие руки к паперти, словно там, за трепетной завесой дождя, притаилось что-то. «Братья мои! — возгласил он с силой. — Эта смертоносная охота идет ныне на наших улицах. Смотрите, смотрите, вот он, ангел чумы, прекрасный, как Люцифер, и сверкающий, как само зло, вот он, грозно встающий над вашими кровлями, вот заносит десницу с окровавленным копьем над главою своею, а левой рукой указывает на дома ваши. Быть может, как раз сейчас он простер перст к вашей двери, и копье с треском вонзается в дерево, и еще через миг чума входит к вам, усаживается в комнате вашей и ждет вашего возвращения. Она там, терпеливая и зоркая, неотвратимая, как сам порядок мироздания. И руку, что она протянет к вам, ни одна сила зем-

ная, ни даже — запомните это хорошенько! — суетные человеческие знания не отведут от вас. И поверженные на обгаренное кровью гумно страданий, вы будете отброшены вместе с плевелами».

Здесь преподобный отец, не жалея красок, нарисовал ужаснувшую всех картину бича Божьего. По его словам, огромное деревянное копьё кружит над городом, бьет влепую и вновь, окровавленное, вздымается вверх, разбрызгивая кровь и болезни людские, «и из такого посева взрастет урожай истины».

Закончив этот длинный период, отец Панлю замолк, волосы упали ему на лоб, все тело сотрясалось, и дрожь сообщилась даже кафедре, в которую он вцепился обеими руками; потом он заговорил глуше, но все тем же обличительным тоном: «Да, пришел час размышлений. Вы полагали, что достаточно один раз в неделю, в воскресенье, зайти в храм Божий, дабы в остальные шесть дней у вас были развязаны руки. Вы полагали, что, преклонив десяток раз колена, вы искупите вашу преступную беспечность. Но Бог, он не тепел. Эти редкие обращения к небу не могут удовлетворить его ненасытную любовь. Ему хочется видеть вас постоянно, таково выражение его любви к вам, и, по правде говоря, единственное ее выражение. Вот почему, уставши ждать ваших посещений, он позволил бичу обрушиться на вас, как обрушивался он на все погрязшие во грехах города с тех пор, как ведет свою историю род человеческий. Теперь вы знаете, что такое грех, как знали это Каин и его сыновья, как знали это до потопа, как знали жители Содома и Гоморры, как знали фараон и Иов, как знали все, кого проклял Бог. И, подобно всем им, вы с того самого дня, как город замкнул в свое кольцо и вас, и бич Божий, вы иным оком видите все живое и сущее. Вы знаете теперь, что пора подумать о главном».

Влажный ветер ворвался под своды собора и пригнул потрескивавшие огоньки свечей. Вязкий запах воска, смешанный с дыханием кашлявших, чихавших людей, подступил к кафедре, и отец Панлю, вновь вернувшись к своей посылке, с ловкостью, высоко оцененной слушающими, заговорил спокойным голосом: «Знаю, многие из вас спрашивают себя, к чему я, в сущности, веду. Я хочу привести вас к истине и научить вас радоваться вопреки всему, что

я здесь сказал. Ныне уже не те времена, когда человека ведут к добру благие советы и рука брата. Ныне указывает истина. И путь к спасению указывает вам также багровое копьё, и оно же подталкивает вас к Богу. Вот в этом-то, братья мои, проявляет себя небесное милосердие, вложившее во все сущее и добро и зло, и гнев и жалость, и чуму и спасение. Тот самый бич, что жестоко разит вас, возносит каждого и указывает ему путь... Еще в давние времена абиссинцы христианского вероисповедания видели в чуме вернейшее средство войти в Царство Небесное и приписывали ей Божественное происхождение. Тот, кого пощадил недуг, укутывался в полотнища, которыми укрывали зачумленных, дабы наверняка умереть той же смертью. Разумеется, столь яростное стремление к спасению души мы рекомендовать не можем. Тут проявляет себя прискорбное поспешательство, граничащее с гордыней. Не следует опережать Господа своего и тщиться ускорить ход незыблемого порядка, установленного Творцом раз и навсегда. Это прямым путем ведет к ереси. Но так или иначе, пример сей поучителен. Самым проницательным умам он показывает лучезарный свет вечности в недрах любого страдания. Он, этот свет, озаряет сумеречные дороги, ведущие к освобождению... Он, этот свет, есть проявление Божественной воли, которая без устали претворяет зло в добро. Даже ныне он, этот свет, ведет нас путем смерти, страха и кликов ужаса к последнему безмолвию и к высшему принципу всей нашей жизни. Вот, братья, то несказанное утешение, которое мне хотелось бы вам дать, и пусть то, что вы слышали здесь, будет не просто карающими словами, но несущим умиротворение глаголом».

По всему чувствовалось, что проповедь отца Панлю подходит к концу. Дождь прекратился. С неба сквозь влажную дымку лился на площадь новорожденный свет. С улицы долетал гул голосов, шуршание автомобильных шин — обычный язык пробуждающегося города. Стараясь не производить шума, слушатели потихоньку стали собираться, в храме началась тихая возня. Однако преподобный отец снова заговорил, он заявил, что, доказав Божественное происхождение чумы и карающую миссию бича Божьего, он больше не вернется к этой теме и, заканчивая свое слово, поостережется прибегать к красотам красноречия, что было бы неуместно, коль скоро речь идет

о событиях столь трагических. По его мнению, всем и так все должно быть ясно. Он хочет лишь напомнить слушателям, что летописец Матье Марэ, описывая великую чуму, обрушившуюся на Марсель, жаловался, что живет он в аду, без помощи и надежды. Ну что ж, Матье Марэ был жалкий слепец! Наоборот, отец Панлю решится утверждать, что именно сейчас каждому человеку дана Божественная подмога и извечная надежда христианина. Он надеется вопреки всем надеждам, вопреки ужасу этих дней и крикам умирающих, он надеется, что сограждане наши обратят к небесам то единственное слово, слово христианина, которое и есть сама любовь. А Господь довершит остальное.

Трудно сказать, произвела ли эта проповедь впечатление на наших сограждан. Например, мсье Отон, следовательно, заявил доктору Риэ, что, на его взгляд, основной тезис отца Панлю «абсолютно неопровержим». Однако не все оранцы придерживались столь категорического мнения. Проще говоря, после проповеди они острее почувствовали то, что до сего дня виделось им как-то смутно, — что они осуждены за неведомое преступление на заточение, которое и представить себе невозможно. И если одни продолжали свое скромное существование, старались приспособиться к заключению, то другие, напротив, думали лишь о том, как бы вырваться из этой тюрьмы.

Поначалу люди безропотно примирились с тем, что отрезаны от внешнего мира, как примирились бы они с любой временной неприятностью, угрожавшей лишь кое-каким их привычкам. Но когда они вдруг осознали, что попали в темницу, когда над головой, как крышка, круглилось летнее небо, коробившееся от зноя, они стали смутно догадываться, что заключение угрожает всей их жизни, и вечерами, когда спускавшаяся прохлада подстегивала их энергию, они совершали порой самые безрассудные поступки.

Сначала — трудно сказать, было ли то простым совпадением, но только после этого вышеупомянутого воскресенья в нашем городе поселился страх; и по глубине его, и по охвату стало ясно, что наши сограждане действительно начали отдавать себе отчет в своем положении. Так что с известной точки зрения атмосфера в нашем городе чуть изменилась. Но вот в чем вопрос — произошли

ли эти изменения в атмосфере самого города или в человеческих сердцах?

Через несколько дней после воскресной проповеди доктор Риэ вместе с Граном отправились на окраину города, обсуждая достославное событие, как вдруг путь им преградил какой-то человек: он неуклюже топтался перед ними, но почему-то не двигался с места. Как раз в эту минуту вспыхнули уличные фонари, теперь их зажигали все позже и позже. Свет фонаря, подвешенного к высокой мачте, стоявшей у них за спиной, вдруг осветил этого человека, и они увидели, что незнакомец беззвучно хохочет, плотно зажмурив глаза. По его бледному, искаженному ухмылкой безмолвного веселья лицу крупными каплями катился пот. Они прошли мимо.

— Сумасшедший, — проговорил Гран.

Риэ, взявший своего спутника под руку, чтобы поскорее увести его подальше от этого зрелища, почувствовал, как тело Грана бьет нервическая дрожь.

— Скоро у нас в городе все будут сумасшедшие, — заметил Риэ.

Горло у него пересохло, очевидно, сказывалась многодневная усталость.

— Зайдем выпьем чего-нибудь.

В тесном кафе, куда они зашли, освещенном единственной лампой, горящей над стойкой и разливавшей густо-багровый свет, посетители почему-то говорили вполголоса, хотя, казалось бы, для этого не было никаких причин. Гран, к великому изумлению доктора, заказал себе стакан рому, выпил одним духом и заявил, что это здорово крепко. Потом направился к выходу. Когда они очутились на улице, Риэ почудилось, будто ночной мрак густо пронизан стенаниями. Глухой свист, шедший с черного неба и вьющийся где-то над фонарями, невольно напомнил ему невидимый бич Божий, неумоимо рассекавший теплый воздух.

— Какое счастье, какое счастье, — твердил Гран.

Риэ старался понять, что, собственно, он имеет в виду.

— Какое счастье, — сказал Гран, — что у меня есть моя работа.

— Да, — подтвердил Риэ, — это действительно огромное преимущество.

И, желая заглушить этот посвист, он спросил Грана, доволен ли тот своей работой.

— Да как вам сказать, думается, я на верном пути.

— А долго вам еще трудиться?

Гран воодушевился, голос его зазвучал громче, словно согретый парами алкоголя.

— Не знаю, но вопрос в другом, доктор, да-да, совсем в другом.

Даже в темноте Риэ догадался, что его собеседник размахивает руками. Казалось, он готовит про себя речь, и она и впрямь вдруг вырвалась наружу и полилась без запинок:

— Видите ли, доктор, чего я хочу — я хочу, чтобы в тот день, когда моя рукопись попадет в руки издателя, издатель, прочитав ее, поднялся бы с места и сказал своим сотрудникам: «Господа, шапки долой!»

Это неожиданное заявление удивило Риэ. Ему почудилось даже, будто Гран поднес руку к голове жестом человека, снимающего шляпу, а потом выкинул руку вперед. Там наверху, в небе, с новой силой зазвенел странный свист.

— Да, — проговорил Гран, — я обязан добиться совершенства.

При всей своей неискушенности в литературных делах Риэ, однако, подумал, что, очевидно, все происходит не так просто и что, к примеру, вряд ли издательские работники сидят в своих кабинетах в шляпах. Но кто его знает — и Риэ предпочел промолчать. Вопреки воле он прислушивался к таинственному рокоту чумы. Они подошли к кварталу, где жил Гран, и, так как дорога слегка поднималась вверх, на них повеяло свежим ветерком, унесшим одновременно все шумы города. Гран все продолжал говорить, но Риэ улавливал только половину его слов. Он понял лишь, что произведение, о котором идет речь, уже насчитывает сотни страниц и что самое мучительное для автора — это добиться совершенства...

— Целые вечера, целые недели бьешься над одним каким-нибудь словом... а то и просто над согласованием.

Тут Гран остановился и схватил доктора за пуговицу пальто. Из его почти беззубого рта слова вырывались с трудом.

— Поймите меня, доктор. На худой конец, не так уж сложно сделать выбор между «и» и «но». Уже много труднее отдать предпочтение «и» или «потом». Трудности возрастают, когда речь идет о «потом» и «затем». Но, конечно, самое трудное определить, надо ли вообще ставить «и» или не надо.

— Да, — сказал Риэ, — понимаю.

Он снова зашагал вперед. Гран явно сконфузился и догнал доктора.

— Простите меня, — пробормотал он. — Сам не знаю, что это со мной нынче вечером.

Риэ ласково похлопал его по плечу и сказал, что он очень хотел бы ему помочь, да и все, что он рассказывал, его чрезвычайно заинтересовало. Гран, по-видимому, успокоился, и, когда они дошли до подъезда, он, поколебавшись, предложил доктору подняться к нему на минутку. Риэ согласился.

Гран усадил гостя в столовой у стола, заваленного бумагами, каждый листок был сплошь покрыт микроскопическими буквами, чернел от помарок.

— Да, она самая, — сказал Гран, поймав вопросительный взгляд Риэ. — Может, выпьете чего-нибудь? У меня есть немного вина.

Риэ отказался. Он глядел на листки рукописи.

— Да не глядите так, — попросил Гран. — Это только первая фраза. Ну и повозился же я с ней, ох и повозился.

Он тоже уставился на разбросанные по столу листки, и рука его, повинувшись неодолимому порыву, сама потянулась к странице, поднесла ее поближе к электрической лампочке без абажура. Листок дрожал в его руке. Риэ заметил, что на лбу Грана выступили капли пота.

— Садитесь, — сказал он, — и почитайте.

Гран вскинул на доктора глаза и благодарно улыбнулся.

— Верно, — сказал он, — мне и самому хочется вам почитать.

Он подождал с минуту, не отрывая взгляда от страницы, потом сел. А Риэ вслушивался в невнятное бормотание города, которое как бы служило аккомпанементом к свисту бича. Именно в этот миг он необычайно остро ощутил весь город, лежавший внизу, превратившийся в наглухо замкнутый мирок, раздираемый страшными воплями, которые поглощал ночной мрак. А рядом глухо буб-

нил Гран: «Прекрасным утром мая элегантная амазонка на великолепном гнедом коне скакала по цветущим аллеям Булонского леса...» Затем снова наступила тишина и принесла с собой невнятный гул города-мученика. Гран положил листок, но глаз от него не отвел. Через минуту он посмотрел на Риэ:

— Ну как?

Риэ ответил, что начало показалось ему занимательным и интересно было бы узнать, что будет дальше. На это Гран горячо возразил, что такая точка зрения неправомочна. И даже прихлопнул листок ладонью.

— Пока что все это еще очень приблизительно. Когда мне удастся непогрешимо точно воссоздать картину, живущую в моем воображении, когда у моей фразы будет тот же аллюр, что у этой четкой рыси — раз-два-три, раз-два-три, — все остальное пойдет легче, а главное, иллюзия с первой же строчки достигнет такой силы, что смело можно будет сказать: «Шапки долой!»

Но пока что работы у него непочатый край. Ни за какие блага мира он не согласится отдать вот такую фразу в руки издателя. Хотя временами эта фраза и дает ему чувство авторского удовлетворения, он отлично понимает, что пока еще она полностью не передает реальной картины, написана как-то слишком легковесно и это, пусть отдаленно, все-таки роднит ее со штампом. Примерно таков был смысл его речей, когда за окном вдруг раздался топот ног бегущих людей. Риэ поднялся.

— Вот увидите, как я ее поверну, — сказал Гран и, оглянувшись на окно, добавил: — Когда все это будет кончено...

Тут снова послышались торопливые шаги. Риэ поспешно спустился на улицу, и мимо прошли два человека. Очевидно, они направлялись к городским воротам. И действительно, кое-кто из наших сограждан, потеряв голову от зноя и чумы, решил действовать силой и, попытавшись обмануть бдительность кордона, выбраться из города.

Другие, как, скажем, Рамбер, тоже пытались вырваться из атмосферы нарождающейся паники, но действовали если не более успешно, то упорнее и хитрее. Для начала Рамбер проделал все официальные демарши. По его словам, он всегда считал, что настойчивость рано или поздно

восторжествует, да и с известной точки зрения умение выпутываться из любых положений входило в его профессию. Поэтому он посетил множество канцелярий и людей, чья компетенция обычно не подлежала сомнению. Но в данном случае вся их компетенция оказалась ни к чему. Как правило, это были люди, обладавшие вполне точными и упорядоченными представлениями обо всем, что касалось банковских операций, или экспорта, или цитрусовых, или виноторговли, люди, имевшие неоспоримые знания в области судебных разбирательств или страхования, не говоря уже о солидных дипломах и немалом запасе доброй воли. Как раз и поражало в них наличие доброй воли. Но во всем касающемся чумы их знания сводились к нулю.

И тем не менее Рамбер каждый раз излагал каждому из них свое дело. Его аргументы в основном сводились к тому, что он, мол, чужой в нашем городе и поэтому его случай требует особого рассмотрения. Как правило, собеседники охотно соглашались с этим доводом. Но почти все давали ему понять, что в таком точно положении находится немало людей и поэтому случай его не такой уж исключительный, как ему кажется. На что Рамбер возражал, что если даже так, суть его доводов от этого не меняется, а ему отвечали, что все-таки меняется, так как власти чинят в таких случаях препятствия, боятся любых поблажек, не желая создать так называемый прецедент, причем последнее слово произносилось с нескрываемым отвращением. Рамбер как-то сообщил доктору Риз, что таких субъектов по созданной им классификации он заносит в графу «бюрократы». А кроме бюрократов, попадались еще и краснобаи, уверявшие просителя, что все это долго не протянется, а когда от них требовали конкретного решения, не скупилась на добрые советы, даже пытались утешать Рамбера, твердя, что все это лишь скоропроходящие неприятности. Попадались также сановитые, эти требовали, чтобы проситель подал им бумагу с изложением просьбы, а они известят его о своем решении; попадались пустозвоны, предлагавшие ему ордер на квартиру или сообщавшие адрес недорогого пансиона; попадались педанты, требовавшие заполнить по всей форме карточку и тут же приобщавшие ее к делу; встречались неврастеники, вздымавшие к небу руки; встречались не-

сговорчивые, отводившие глаза; и наконец, и таких было большинство, встречались формалисты, отсылавшие по привычке Рамбера в соседнюю канцелярию или подсаживавшие какой-нибудь новый ход.

Журналист издергался от всех этих хождений, зато сумел составить себе достаточно ясное представление, что такое мэрия или префектура, еще и потому, что вынужден был сидеть часами в ожидании на обитой молескином скамейке напротив огромных плакатов — одни призывали подписываться на государственный заем, не облагаемый налогами, другие — вступить в колониальные войска; а потом еще топтался в самих канцеляриях, где на лицах служащих можно прочесть не больше, чем на скоросшивателях и полках с папками. Правда, было тут одно преимущество, как признался не без горечи Рамбер доктору Риэ: все эти хлопоты заслонили от него истинное положение дел. Фактически он даже не заметил, что эпидемия растет. Не говоря уже о том, что дни в этой бесполезной беготне проходили быстрее, а ведь можно, пожалуй, считать, что в том положении, в котором находился весь город, каждый прошедший день приближает каждого человека к концу его испытаний, если, понятно, он до этого доживет. Риэ вынужден был признать, что такая точка зрения не лишена логики, но заключенная в ней истина, пожалуй, чересчур обща.

Наконец наступила минута, когда для Рамбера забрезжила надежда. Из префектуры он получил анкету с просьбой заполнить ее как можно точнее. Пославших анкету интересовало: его точные имя и фамилия, его семейное положение, его доходы прежние и настоящие, словом, то, что принято называть *curriculum vitae*¹. В первые минуты ему показалось, будто эту анкету разослали специально тем лицам, которых можно отправить к месту их обычного жительства. Кое-какие сведения, полученные в канцелярии, правда, довольно туманные, подтвердили это впечатление. Но после решительных шагов Рамберу удалось обнаружить отдел, рассылающий анкеты, и там ему сообщили, что сведения собирают «на случай».

— Какой случай? — спросил Рамбер.

¹ Жизнеописание (*лат.*).

Тогда ему объяснили, что на тот случай, если он заразится чумой и умрет, и тогда, с одной стороны, отдел сможет сообщить об этом прискорбном факте его родным, а с другой — установить, будет ли оплачиваться содержание его, Рамбера, в лазарете из городского бюджета, или же можно будет надеяться, что родные покойного покроют эту сумму. Конечно, это доказывало, что он не окончательно разлучен с той, что ждет его, — раз их судьбой занимается общество. Но утешение было довольно жалкое. Более примечательно то — и Рамбер не преминул это заметить, — что в самый разгар сурового бедствия некая канцелярия хладнокровно занималась своим делом, проявляла инициативу в дочумном стиле, подчас даже не ставя в известность начальство, и делала это лишь потому, что была специально создана для подобной работы.

Последующий период оказался для Рамбера и самым легким, и одновременно самым тяжелым. Это был период оцепенения. Журналист уже побывал во всех канцеляриях, предпринял все необходимые шаги и понял, что с этой стороны, по крайней мере на данное время, выход надежно забаррикадирован. Тогда он стал бродить из кафе в кафе. Утром усаживался на террасе кафе перед кружкой тепловатого пива и листал газеты в надежде обнаружить в них хоть какой-то намек на близкий конец эпидемии, разглядывал прохожих, с неприязнью отворачивался от их невеселых лиц и, прочитав десятки, сотни раз вывески расположенных напротив магазинов, а также рекламу знаменитых аперитивов, которые уже не подавали, поднимался с места и шел по желтым улицам города куда глаза глядят. Так и проходило время до вечера, от одинокого утреннего сидения в кафе до ужина в ресторане. Именно вечером Риэ заметил Рамбера, стоявшего в нерешительной позе у дверей кафе. Наконец он, видимо, преодолев колебания, вошел и сел в дальнем углу зала. Близился тот час — по распоряжению свыше он с каждым днем наступал все позже и позже, — когда в кафе и ресторанах дают свет. Зал заволакивали сумерки, водянистые, мутно-серые, розоватость закатного неба отражалась в оконных стеклах, и в сгущающейся темноте слабо поблескивал мрамор столиков. Здесь, среди пустынной залы, Рамбер казался заблудшей тенью, и Риэ подумалось, что для журналиста это час отрешенности. Но и все прочие пленни-

ки зачумленного города проходили так же, как и он, свой час отрешенности, и надо было что-то делать, чтобы поторопить минуту освобождения. Риэ отвернулся.

Целые часы Рамбер проводил также и на вокзале. Выход на перрон был запрещен. Но в зал ожидания, куда попадали с площади, дверей не запирали, и иногда в знойные дни там укрывались нищие — в залах было свежо, как в тени. Рамбер приходил на вокзал читать старые расписания поездов, объявления, запрещающие плевать на пол, и распорядок работы железнодорожной полиции. Потом он садился в уголок. В зале было полутемно. Бока старой чугунной печки, не топленной уже многие месяцы, были все в разводах от поливки дезинфицирующими средствами. Со стены десятков плакатов вешал о счастливой и свободной жизни где-нибудь в Бандоле или Каннах. Здесь на Рамбера накатывало ощущение пугающей свободы, которое возникает, когда доходишь до последней черты. Из всех зрительных воспоминаний самыми мучительными были для него картины Парижа, так по крайней мере он уверял доктора Риэ. Париж становился его наваждением, и знакомые пейзажи — вода и старые камни, голуби на Пале-Рояль, Северный вокзал, пустынные кварталы вокруг Пантеона и еще кое-какие парижские уголки — убивали всякое желание действовать, а ведь раньше Рамбер даже не подозревал, что любит их до боли. Риэ подумал только, что журналист просто отождествляет эти образы со своей любовью. И когда Рамбер сказал ему как-то, что любит просыпаться в четыре часа утра и думать о своем родном городе, доктор без труда сопоставил эти слова со своим сокровенным опытом — ему тоже приятно было представлять себе как раз в эти часы свою уехавшую жену. Именно в этот час ему удавалось ощутить ее взаправду. До четырех часов утра человек, в сущности, ничего не делает и спит себе спокойно, если даже ночь эта была ночью измены. Да, человек спит в этот час, и очень хорошо, что спит, ибо единственное желание измученного тревогой сердца — безраздельно владеть тем, кого любишь, или, когда настал час разлуки, погрузить это существо в сон без сновидений, дабы продлился он до дня встречи.

Вскоре после проповеди наступил период жары. Подходил к концу июнь. На следующий день после запозда-

лых ливней, отметивших собой пресловутую проповедь, — лето вдруг расцвело в небе и над крышами домов. Приход его начался с горячего ураганного ветра, утихшего только к вечеру, но успевшего высушить все стены в городе. Солнце, казалось, застряло посредине неба. В течение всего дня зной и яркий свет заливали город. Едва человек покидал дом или выходил из-под уличных аркад, как сразу же начинало казаться, будто во всем городе не существует уголка, защищенного от этого ослепляющего излучения. Солнце преследовало наших сограждан даже в самых глухих закоулках, и стоило им остановиться хоть на минуту, как оно обрушивалось на них. Так как первые дни жары совпали со стремительным подъемом кривой смертности — теперь эпидемия уносила за неделю примерно семьсот жертв, — в городе воцарилось уныние. В предместьях, где на ровных улицах стоят дома с террасами, затихло обычное оживление, и квартал, где вся жизнь проходит у порога, замер; ставни были закрыты. Но никто не знал, что загнало людей в комнаты — чума или солнце. Однако из некоторых домов доносились стоны. Раньше, когда случалось нечто подобное, на улице собирались зеваки, прислушивались, судачили. Но теперь, когда тревога затянулась, сердца людей, казалось, очерствели, и каждый жил или шагал где-то в стороне от этих стонов, как будто они стали естественным языком человека.

Схватка у городских ворот, когда жандармам пришлось пустить в ход оружие, вызвала глухое волнение. Были, конечно, раненые, но в городе, где все и вся преувеличивалось под воздействием жары и страха, утверждали, что были и убитые. Во всяком случае, верно одно — недовольство не переставало расти, и, предвидя худшее, наши власти всерьез начали подумывать о мерах, которые придется принять в том случае, если население города, смирившееся было под бичом, вдруг взбунтуется. Газеты печатали приказы, где вновь и вновь говорилось о категорическом запрещении покидать пределы города, нарушителям грозила тюрьма. Город прочесывали патрули. По пустынным, раскаленным зноем улицам, между двух рядов плотно закрытых ставен, то и дело проезжал конный патруль, предупреждавший о своем появлении звонким цоканьем копыт по мостовой. Патруль скрывался за углом, и глухая, настороженная тишина вновь окутывала бедствующий

город. Временами раздавались выстрелы — это специальный отряд, согласно полученному недавно приказу, отстреливал бродячих собак и кошек, возможных переносчиков блох. Эти сухие хлопки окончательно погружали город в атмосферу военной тревоги.

Все приобретало несуразно огромное значение в испуганных душах наших сограждан, и виной тому были жара и безмолвие. Впервые наши сограждане стали замечать краски неба, запахи земли, возвещавшие смену времен года. Каждый со страхом понимал, что зной будет способствовать развитию эпидемии, и в то же время каждый видел, что наступало лето. Крики стрижей в вечернем небе над городом становились особенно ломкими. Но июньские сумерки, раздвигавшие в наших краях горизонт, были куда шире этого крика. На рынки вывозили уже не первые весенние бутоны, а пышно распустившиеся цветы, и после утренней распродажи разноцветные лепестки густо устилали пыльные тротуары. Все видели воочию, что весна на исходе, что она расточила себя на эти тысячи и тысячи цветов, сменявших друг друга, как в хороводе, и что она уже чахнет под душившим ее исподволь двойным грузом — чумы и зноя. В глазах всех наших сограждан это по-летнему яркое небо, эти улицы, принявшие белесую окраску пыли и скуки, приобретали столь же угрожающий смысл, как сотни смертей, новым бременем ложившихся на плечи города. Безжалостное солнце, долгие часы с привкусом дремоты и летних вакаций уже не звали, как раньше, к празднествам воды и плоти. Напротив, в нашем закрытом притихшем городе они звучали глухо, как в подземелье. Часы эти утратили медный лоск загара счастливых летних месяцев. Солнце чумы приглушало все краски, гнало прочь все радости.

Вот в этом-то и сказался один из великих переворотов, произведенных чумой. Обычно наши сограждане весело приветствовали приход лета. Тогда город весь раскрывался навстречу морю и выплескивал все, что было в нем молодого, на пляжи. А нынешним летом море, лежавшее совсем рядом, было под запретом, и тело лишалось права на свою долю радости. Как жить в таких условиях? И опять-таки Тарру дал наиболее верную картину нашего существования в те печальные дни. Само собой разумеется, он следил лишь в общих чертах за развитием

чумы и справедливо отметил в своей записной книжке как очередной этап эпидемии то обстоятельство, что радио отныне уже не сообщает, сколько сотен человек скончалось за неделю, а приводит данные всего за один день — девяносто два смертных случая, сто семь, сто двадцать. «Пресса и городские власти стараются перехитрить чуму. Воображают, будто выигрывают очко только потому, что сто тридцать, конечно, меньше, чем девятьсот десять». Запечатлел он также трогательные или просто эффектные аспекты эпидемии — рассказал о том, как шел по пустынному кварталу мимо наглухо закрытых ставен, как вдруг над самой его головой широко распахнулись обе створки окна и какая-то женщина, испустив два пронзительных крика, снова захлопнула ставни, отрезав густой мрак комнаты от дневного света. А в другом месте он записал, что из аптеки исчезли мятные лепешечки, потому что многие сосут их непрерывно, надеясь уберечься от возможной заразы.

Продолжал он также наблюдать за своими любимыми персонажами. В частности, убедился, что кошачий старичок тоже переживает трагедию. Как-то утром на их улице захопала выстрелы, и, судя по записям Тарру, свинцовые плевки уложили на месте большинство кошек, а остальные в испуге разбежались. В тот же день старичок вышел в обычный час на балкон, недоуменно передернул плечами, перевесился через перила, зорко оглядел всю улицу из конца в конец и, видимо, решил покориться судьбе и ждать. Пальцы его нервно выбивали дробь по металлическим перилам. Он еще подождал, побросал на тротуар бумажки, вошел в комнату, вышел снова, потом вдруг исчез, злобно хлопнув балконной дверью. В последующие дни сцена эта повторялась в точности, но теперь на лице старичка явно читались все более и более глубокие грусть и растерянность. А уже через неделю Тарру напрасно поджидал этого ежедневного появления, окна упорно оставались закрытыми, за ними, видимо, царил вполне объяснимая печаль. «Запрещается во время чумы плевать на котов» — таким афоризмом заканчивалась эта запись.

Зато Тарру, возвращаясь к себе по вечерам, мог быть уверен, что увидит в холле мрачную физиономию ночного сторожа, без усталости шагнувшего назад и вперед. Сторож

напоминал всем и каждому, что он, мол, предвидел теперешние события. Когда же Тарру, подтвердив, что сам слышал это пророчество, позволил себе заметить, что предсказывал тот скорее землетрясение, старик возразил: «Эх, кабы землетрясение! Тряхнет хорошенько — и дело с концом... Сосчитают мертвых, живых — и все тут. А вот эта стерва чума! Даже тот, кто не болен, все равно носит болезнь у себя в сердце».

Директор отеля был удручен не меньше. В первое время путешественники, застрявшие в Ороне, вынуждены были жить в отеле в связи с тем, что город был объявлен закрытым. Но эпидемия продолжалась, и многие постояльцы предпочли поселиться у своих друзей. И по тем же самым причинам, по каким все номера гостиницы раньше были заняты, — теперь они пустовали, — новых путешественников в наш город не пускали. Тарру оставался в числе нескольких последних жильцов, и директор при каждой встрече давал ему понять, что он давным-давно уже закрыл бы отель, но не делает этого ради своих последних клиентов. Нередко он спрашивал мнение Тарру насчет возможной продолжительности эпидемии. «Говорят, — отвечал Тарру, — холода препятствуют развитию бактерий». Тут директор окончательно терял голову: «Да здесь же никогда настоящих холодов не бывает, мсье. Так или иначе, это еще на много месяцев!» К тому же он был убежден, что и после окончания эпидемии путешественники долго еще будут обходить наш город стороной. Эта чума — гибель для туризма.

В ресторане после недолгого отсутствия вновь появился господин Отон, человек-филин, но в сопровождении только двух своих дрессированных собачек. По наведенным справкам, его жена ухаживала за больной матерью и теперь, похоронив ее, находилась в карантине.

— Не нравится мне это, — признался директор Тарру. — Карантин карантин, а все-таки она на подозрении, а значит, и они тоже.

Тарру заметил, что с такой точки зрения все люди подозрительны. Но директор стоял на своем, и, как оказалось, у него на сей счет было вполне определенное мнение.

— Нет, мсье, мы с вами, например, не подозрительные. А они — да.

Но господин Отон ничуть не собирался менять свои привычки из-за таких пустяков, как чума, в данном случае чума просчиталась. Все так же входил он в зал ресторана, садился за столик первым, по-прежнему вел со своими отпрысками неприязненно-изысканные разговоры. Изменился один только мальчуган. Весь в черном, как и его сестренка, он как-то съезжился и казался миниатюрной тенью отца. Ночной сторож, не выносивший господина Отона, ворчал:

— Этот-то и помрет одетым. И обрывать его не придется. Так и отправится прямехонько на тот свет.

Нашлось в дневнике место и для записи о проповеди отца Панлю, но со следующими комментариями: «Мне понятен, даже симпатичен этот пыл. Начало бедствий, равно как и их конец, всегда сопровождается небольшой дозой риторики. В первом случае еще не утрачена привычка, а во втором она уже успела вернуться. Именно в разгар бедствий привыкаешь к правде, то есть к молчанию. Подождем».

Записал Тарру также, что имел с доктором Риз продолжительную беседу, но не изложил ее, а отметил только, что она привела к положительным результатам, упомянул по этому поводу, что глаза у матери доктора карие, и вывел отсюда довольно-таки странное заключение, что взгляд, где читается такая доброта, всегда будет сильнее любой чумы, и, наконец, посвятил чуть ли не страницу старому астматику, пациенту доктора Риз.

После их беседы он увязался за доктором, отправившимся навестить больного. Старик приветствовал гостей своим обычным ядовитым хихиканьем и потиранием рук. Он лежал в постели, под спину у него была подсунута подушка, а по бокам стояли две кастрюли с горошком.

— Ага, еще один, — сказал он, заметив Тарру. — Все на свете шиворот-навыворот, докторов стало больше, чем больных. Ну как, быстро дело пошло, а? Кюре прав, получили по заслугам.

На следующий день Тарру снова явился к нему без предупреждения. Если верить его записям, старик астматик, галантерейщик по роду занятий, достигнув пятидесяти лет, решил, что достаточно потрудился на своем веку. Он слег в постель и уже не вставал. Однако в стоячем положении астма его почти не мучила. Так и дожил он на

небольшую ренту до своего семидесятипятилетия и легко нес бремя лет. Он не терпел вида любых часов, и в доме у них не было даже будильника. «Часы, — говаривал он, — и дорого, да и глупость ужасная». Время он узнавал, особенно время приема пищи, единственно для него важное, с помощью горошка, так как при пробуждении у его постели уже стояли две кастрюли, причем одна полная доверху. Так, горошина за горошиной, он наполнял пустую кастрюлю равномерно и прилежно. Кастрюли с горошком были, так сказать, его личными ориентирами, вполне годными для измерения времени. «Вот переложу пятнадцать кастрюль, — говорил он, — и закусить пора будет. Чего же проще».

Если верить его жене, он еще смолоду проявлял странности. И впрямь, никогда ничто его не интересовало — ни работа, ни друзья, ни кафе, ни музыка, ни женщины, ни прогулки. Он и города-то ни разу не покидал; только однажды, когда по семейным делам ему пришлось отправиться в Алжир, он вылез на ближайшей от Орана станции — дальнейшее странствие оказалось ему не по силам — и первым же поездом вернулся домой.

Старик объяснил господину Тарру, который не сумел скрыть своего удивления перед этим добровольным затворничеством, что, согласно религии, первая половина жизни человека — это подъем, а вторая — спуск, и, когда начинается этот самый спуск, дни человека принадлежат уже не ему, они могут быть отняты в любую минуту. С этим ничего поделать нельзя, поэтому лучше вообще ничего не делать. Впрочем, явная нелогичность этого положения, видно, нисколько его не смущала, так как почти тут же он заявил Тарру, что Бога не существует, будь Бог, к чему бы тогда нужны попы. Но из дальнейшей беседы Тарру стало ясно, что философская концепция старика прямо объяснялась тем недовольством, которое вызывали у него благотворительные поборы в их приходе. В качестве последнего штриха к его портрету необходимо упомянуть о самом заветном желании старика, которое он неоднократно высказывал собеседнику: он надеялся умереть в глубокой старости.

«Кто он, святой? — спрашивал себя Тарру. И отвечал: — Да, святой, если только святость есть совокупность привычек».

Но в то же самое время Тарру затеял описать во всех подробностях один день зачумленного города и дать точное представление о занятиях и жизни наших сограждан этим летом. «Никто, кроме пьяниц, здесь не смеется, — записал Тарру, — а они смеются слишком много и часто». Затем шло само описание.

«На заре по городу проносится легкое веяние. В этот час, час между теми, кто умер ночью, и теми, кто умрет днем, почему-то чудится, будто мор на миг замирает и набирается духу. Все магазины еще закрыты. Но объявления, выставленные кое-где в витринах: «Закрыто по случаю чумы», свидетельствуют, что эти магазины не откроются в положенное время. Не совсем еще проснувшиеся продавцы газет не выкрикивают последних известий, а, прислонясь к стенке на углу улицы, молча протягивают фонарям свой товар жестом лунатика. Еще минута-другая, и разбуженные звоном первых трамваев газетчики рассыплются по всему городу, держа в вытянутой руке газетный лист, где чернеет только одно слово: «Чума». «Продолжится ли чума до осени? Профессор Б. отвечает: „Нет!“». «Сто двадцать четыре смертных случая — таков итог девяносто четвертого дня эпидемии».

Несмотря на бумажный кризис, который становится все более ощутимым и в силу которого многие издания сократили свой объем, стала выходить новая газета «Вестник эпидемии», задача коей «информировать наших граждан со всей возможной объективностью о прогрессе или затухании болезни; давать им наиболее авторитетную информацию о дальнейшем ходе эпидемии; предоставлять свои страницы всем тем, известным или неизвестным, кто намерен бороться против бедствия; поддерживать дух населения, печатать распоряжения властей, — словом, собрать воедино, в один кулак добрую волю всех и каждого, дабы успешно противостоять постигшему нас несчастью». В действительности же газета буквально через несколько дней ограничила свою задачу публикацией сообщений о новых и надежных профилактических средствах против чумы.

Часов в шесть утра газеты успешно раскупаются очередями, уже выстроившимися у дверей магазинов за час до открытия, а потом и в трамваях, которые приходят с окраин, переполненные до отказа. Трамваи стали теперь

единственным нашим транспортом, и продвигаются они с трудом, так как все площадки и подножки облеплены пассажирами. Любопытная деталь — пассажиры стараются стоять друг к другу спиной, конечно, насколько это возможно при такой давке, — во избежание взаимного заражения. На остановках трамвай выбрасывает из себя партию мужчин и женщин, которые спешат разбежаться в разные стороны, чтобы остаться в одиночестве. Нередко в трамвае разыгрываются скандалы, что объясняется просто дурным настроением, а оно стало теперь хроническим.

После того как пройдут первые трамваи, город постепенно начинает просыпаться, открываются первые пивные, где на стойках стоят объявления вроде: «Кофе нет», «Сахар приносите с собой» и т. д. и т. п. Потом открываются лавки, на улицах становится шумнее. Одновременно весь город заливают солнечные лучи, и жара обволакивает июльское небо свинцовой дымкой. В этот час люди, которым нечего делать, отваживаются пройти по бульварам. Создается впечатление, будто многие во что бы то ни стало хотят заковать чуму с помощью выставленной напоказ роскоши. Каждый день, часам к одиннадцати, на главных улицах города происходит как бы парад молодых людей и молодых дам, и, глядя на них, понимаешь, что в лоне великих катастроф зреет страстное желание жить. Если эпидемия пойдет вширь, то рамки морали, пожалуй, еще раздвинутся. И мы увидим тогда миланские сатурналии у разверстых могил.

В полдень, как по мановению волшебного жезла, наполняются все рестораны. А уже через несколько минут у двери топчутся маленькие группки людей, которым не хватило места. От зноя небо постепенно тускнеет. А в тени огромных маркиз чающие еды ждут своей очереди на улице, которую вот-вот растопит солнце. Рестораны потому так набиты, что они во многом упрощают проблему питания. Но не снимают страха перед заражением. Обедающие долго и терпеливо перетирают приборы и тарелки. С недавнего времени в витринах ресторанов появились объявления: «У нас посуду кипятят». Но потом владельцы ресторанов отказались от всякой рекламы, поскольку публика все равно придет. К тому же клиент перестал скупиться. Самые тонкие или считающиеся таковыми вина,

самые дорогие закуски — с этого начинается неистовое состязание пирующих. Говорят также, что в одном ресторане поднялась паника: один из обедающих почувствовал себя плохо, встал из-за столика, побледнел и, шатаясь, поспешно направился к выходу.

К двум часам город постепенно пустеет, в эти минуты на улицах сходятся вместе пыль, солнце, чума и молчание. Зной без передышки стекает вдоль стен высоких серых зданий. Эти долгие тюремные часы переходят в пламенеющие вечера, которые обрушиваются на людный, стрекочущий город. В первые дни жары, неизвестно даже почему, на улицах и вечерами никого не было. Но теперь дыхание ночной свежести приносит с собой если не надежду, то хоть разрядку. Все высыпают тогда из домов. Стараются оглушить себя болтовней, громкими спорами, вожделеют, и под алым июльским небом весь город, с его парочками и людским говором, дрейфует навстречу одышливой ночи. И тщетно каждый вечер какой-то вдохновенный старец в фетровой шляпе и в галстук бабочкой расталкивает толпу со словами: «Бог велик, придите к нему»: все, напротив, спешат к чему-то, чего они, в сущности, не знают, или к тому, что кажется им важнее Бога. Поначалу, когда считалось, что разразившаяся эпидемия — просто обычная эпидемия, религия была еще вполне уместна. Но когда люди поняли, что дело плохо, все разом вспомнили, что существуют радости жизни. Тоскливый страх, уродующий днем все лица, сейчас, в этих пыльных, пылающих сумерках, уступает место какому-то неопределенному возбуждению, какой-то неуклюжей свободе, воспламеняющей весь город.

И я, я тоже, как они. Да что там! Смерть для таких людей, как я, — ничто. Просто событие, доказывающее нашу правоту!»

Это сам Тарру попросил доктора Риэ о свидании, упомянутом в его дневнике. В вечер условленной встречи Риэ ждал гостя и глядел на свою мать, чинно сидевшую на стуле в дальнем углу столовой. Это здесь, на этом самом месте, она, покончив с хлопотами по хозяйству, проводила все свое свободное время. Сложив руки на коленях, она ждала. Риэ был даже не совсем уверен, что ждет она именно его. Но когда он входил в комнату, лицо матери

менялось. Все то, что долгой трудовой жизнью было сведено к немоте, казалось, разом в ней оживало. Но потом она снова погружалась в молчание. Этим вечером она глядела в окно на уже опустевшую улицу. Уличное освещение теперь уменьшилось на две трети. И только редкие слабенькие лампочки еще прорезали ночной мрак.

— Неужели во время всей эпидемии так и будет электричество гореть вполнакала? — спросила госпожа Риэ.

— Вероятно.

— Хоть бы до зимы кончилось. А то зимой будет совсем грустно.

— Да, — согласился Риэ.

Он заметил, что взгляд матери скользнул по его лбу. Да и сам Риэ знал, что тревога и усталость последних дней не красят его.

— Ну как сегодня, не ладилось? — спросила госпожа Риэ.

— Да нет, как всегда.

Как всегда! Это означало, что новая сыворотка, присланная из Парижа, оказалась, по-видимому, менее действительна, чем первая, и что цифры смертности растут. Но по-прежнему профилактическую вакцинацию приходится делать только в семьях, где уже побывала чума. А чтобы впрыскивать вакцину в нужных масштабах, необходимо наладить ее массовое производство. В большинстве случаев бубоны упорно отказывались вскрываться, они почему-то стали особенно твердыми, и больные страдали вдвойне. Со вчерашнего дня в городе зарегистрировано два случая новой разновидности заболевания. Теперь к бубонной чуме присоединилась еще и легочная. И тогда же окончательно сбившиеся с ног врачи потребовали на заседании у растерявшегося префекта — и добились — принятия новых мер с целью избежать опасности заражения, так как легочная чума разносится дыханием человека. И как обычно, никто ничего не знал.

Он посмотрел на мать. Милый взгляд карих глаз всколыхнул в нем сыновнюю нежность, целые годы нежности.

— Уж не боишься ли ты, мать?

— В мои лета особенно бояться нечего.

— Дни длинные, а меня никогда дома не бывает.

— Раз я знаю, что ты придешь, я могу тебя ждать сколько угодно. А когда тебя нет дома, я думаю о том, что ты делаешь. Есть известия?

— Да, все благополучно, если верить последней телеграмме. Но уверен, что она пишет так, только чтоб меня успокоить.

У двери продребезжал звонок. Доктор улыбнулся матери и пошел открывать. На лестничной площадке было уже темно, и Тарру походил в сером своем костюме на огромного медведя. Риэ усадил гостя в своем кабинете у письменного стола. А сам остался стоять, держась за спинку кресла. Их разделяла лампа, стоявшая на столе, только она одна и горела в комнате.

— Я знаю, — без обиняков начал Тарру, — что могу говорить с вами откровенно.

Риэ промолчал, подтверждая слова Тарру.

— Через две недели или через месяц вы будете уже бесполезны, события вас обогнали.

— Вы правы, — согласился Риэ.

— Санитарная служба организована из рук вон плохо. Вам не хватает ни людей, ни времени.

Риэ подтвердил и это.

— Я узнал, префектура подумывает об организации службы из гражданского населения с целью побудить всех годных мужчин принять участие в общей борьбе по спасению людей.

— Ваши сведения верны. Но недовольство и так уж велико, и префект колеблется.

— Почему в таком случае не обратиться к добровольцам?

— Пробовали, но результат получился жалкий.

— Пробовали официальным путем, сами почти не веря в успех. Им не хватает главного — воображения. Поэтому они и отстают от масштабов бедствия. И воображают, что борются с чумой, тогда как средства борьбы не поднимаются выше уровня борьбы с обыкновенным насморком. Если мы не вмешаемся, они погибнут, да и мы вместе с ними.

— Возможно, — согласился Риэ. — Должен вам сказать, что они подумывают также о привлечении на черную работу заключенных.

— Я предпочел бы, чтобы работу выполняли свободные люди.

— Я тоже. А почему, в сущности?

— Ненавижу смертные приговоры.

Риэ взглянул на Тарру.

— Ну и что же? — сказал он.

— А то, что у меня есть план по организации добровольных дружин. Поручите мне заняться этим делом, а начальство давайте побоку. У них и без того забот по горло. У меня повсюду есть друзья, они-то и будут ядром организации. Естественно, я тоже вступлю в дружину.

— Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я лично соглашусь с радостью, — сказал Риэ. — Человек всегда нуждается в помощи, особенно при нашем ремесле. Беру на себя провести ваше предложение в префектуре. Впрочем, иного выхода у них нет. Но...

Риэ замолчал.

— Но эта работа, вы сами отлично знаете, сопряжена со смертельной опасностью. И во всех случаях я обязан вас об этом предупредить. Вы хорошо обдумали?

Тарру поднял на доктора спокойные серые глаза:

— А что вы скажете, доктор, о проповеди отца Панлю?

Вопрос этот прозвучал так естественно, что доктор Риэ ответил на него тоже вполне естественно:

— Я слишком много времени провел в больницах, чтобы меня соблазняла мысль о коллективном возмездии. Но знаете ли, христиане иной раз любят поговорить на эту тему, хотя сами по-настоящему в это не верят. Они лучше, чем кажутся на первый взгляд.

— Значит, вы, как и отец Панлю, считаете, что в чуме есть свои положительные стороны, что она открывает людям глаза, заставляет их думать?

Доктор нетерпеливо тряхнул головой:

— Как и все болезни мира. То, что верно в отношении недугов мира сего, верно и в отношении чумы. Возможно, кое-кто и станет лучше. Однако, когда видишь, сколько горя и беды приносит чума, надо быть сумасшедшим, слепцом или просто мерзавцем, чтобы примириться с чумой.

Риэ говорил, почти не повышая голоса. Но Тарру взмахнул рукой, как бы желая его успокоить. Он улыбнулся.

— Да, — сказал Риэ, пожав плечами. — Но вы мне еще не ответили. Вы хорошенько все продумали?

Тарру удобнее устроился в кресле и потянулся к лампе.

— А в Бога вы верите, доктор?

И этот вопрос прозвучал тоже вполне естественно. Но на сей раз Риэ ответил не сразу.

— Нет, но какое это имеет значение? Я нахожусь во мраке и стараюсь разглядеть в нем хоть что-то. Уже давно я не считаю это оригинальным.

— Это-то и отделяет вас от отца Панлю?

— Не думаю. Панлю — кабинетный ученый. Он видел недостаточно смертей и поэтому вещает от имени истины. Но любой сельский попик, который отпускает грехи своим прихожанам и слышит последний вздох умирающего, думает так же, как и я. Он прежде всего попытается помочь беде, а уж потом будет доказывать ее благодетельные свойства.

Риз поднялся, свет лампы сполз с его лица на грудь.

— Раз вы не хотите ответить на мой вопрос, — сказал он, оставим это.

Тарру улыбнулся, он по-прежнему удобно, не шевелясь, сидел в кресле.

— Можно вместо ответа задать вам вопрос?

Доктор тоже улыбнулся.

— А вы, оказывается, любите таинственность, — сказал он. — Валяйте.

— Так вот, — сказал Тарру. — Почему вы так самоотверженно делаете свое дело, раз вы не верите в Бога? Быть может, узнав ваш ответ, и я сам смогу ответить.

Стоя по-прежнему в полутени, доктор сказал, что он уже ответил на этот вопрос и что, если бы он верил во всемогущего Бога, он бросил бы лечить больных и передал их в руки Господни. Но дело в том, что ни один человек на всем свете, да-да, даже и отец Панлю, который верит, что верит, не верит в такого Бога, поскольку никто полностью не полагается на его волю, он, Риз, считает, что, во всяком случае, здесь он на правильном пути, борясь против установленного миропорядка.

— А-а, — протянул Тарру, — значит, так вы себе представляете вашу профессию?

— Примерно, — ответил доктор и шагнул в круг света, падавшего от лампы.

Тарру тихонько присвистнул, и доктор внимательно взглянул на него.

— Да, — проговорил Риз, — вы, очевидно, хотите сказать, что тут нужна гордыня. Но у меня, поверьте, гордыни ровно столько, сколько нужно. Я не знаю ни что меня ожидает, ни что будет после всего этого. Сейчас есть боль-

ные и их надо лечить. Размышлять они будут потом, и я с ними тоже. Но самое насущное — это их лечить. Я как умею защищаю их, и все тут.

— Против кого?

Риэ повернулся к окну. Вдалеке угадывалось присутствие моря по еще более плотной и черной густоте небосклона. Он ощущал лишь одно — многодневную усталость и в то же самое время боролся против внезапного и безрассудного искушения исповедоваться перед этим странным человеком, в котором он, однако, чувствовал братскую душу.

— Сам не знаю, Тарру, клянусь, сам не знаю. Когда я только еще начинал, я действовал в известном смысле отвлеченно, потому что так мне было нужно, потому что профессия врача не хуже прочих, потому что многие юноши к ней стремятся. Возможно, еще и потому, что мне, сыну рабочего, она далась исключительно трудно. А потом пришлось видеть, как умирают. Знаете ли вы, что существуют люди, не желающие умирать? Надеюсь, вы не слышали, как кричит умирающая женщина: «Нет, нет, никогда!» А я слышал. И тогда уже я понял, что не смогу к этому привыкнуть. Я был еще совсем юнец, и я перенес свое отвращение на порядок вещей как таковой. Со временем я стал поскромнее. Только так и не смог привыкнуть к зрелищу смерти. Я больше и сам ничего не знаю. Но так или иначе...

Риэ спохватился и замолчал. Он вдруг почувствовал, что во рту у него пересохло.

— Что так или иначе?.. — тихо переспросил Тарру.

— Так или иначе, — повторил доктор и снова замолчал, внимательно приглядываясь к Тарру, — впрочем, такой человек, как вы, поймет, я не ошибся?.. Так вот, раз порядок вещей определяется смертью, может быть, для Господа Бога вообще лучше, чтобы в него не верили и всеми силами боролись против смерти, не обращая взоры к небесам, где царит молчание.

— Да, — подтвердил Тарру, — понимаю. Но любые ваши победы всегда были и будут только преходящими, вот в чем дело.

Риэ помрачнел.

— Знаю, так всегда будет. Но это еще не довод, чтобы бросать борьбу.

— Верно, не довод. Но представляю себе, что же в таком случае для вас эта чума.

— Да, — сказал Риэ. — Нескончаемое поражение.

Тарру с минуту пристально смотрел на доктора, потом поднялся и тяжело зашагал к двери. Риэ пошел за ним. Когда он догнал его, Тарру стоял, уставившись себе под ноги, и вдруг спросил:

— А кто вас научил всему этому, доктор?

Ответ последовал незамедлительно:

— Человеческое горе.

Риэ открыл дверь кабинета, а в коридоре сказал Тарру, что тоже выйдет с ним, ему необходимо заглянуть в предместье к одному больному. Тарру предложил его проводить, и доктор согласился. В самом конце коридора им встретилась госпожа Риэ, и доктор представил ей гостя.

— Познакомься, это мой друг, — сказал он.

— Очень рада с вами познакомиться, — проговорила госпожа Риэ.

Когда она отошла, Тарру оглянулся ей вслед. На площадке доктор тщетно попытался включить электричество. Лестничные марши были погружены во мрак. Доктор решил, что это действует новый приказ об экономии электроэнергии. Но впрочем, кто знает. С недавних пор все как-то разладилось и в городе, и в домах. Возможно, это был просто недосмотр привратников, а большинство наших сограждан сами уже ни о чем не заботились. Но доктор не успел додумать этой мысли, так как за спиной у него прозвучал голос Тарру:

— Еще одно замечание, доктор, пусть даже оно покажется вам смешным: вы абсолютно правы.

Риэ пожал плечами, хотя в темноте Тарру не мог видеть его жеста.

— Откровенно говоря, я и сам не знаю. Но вы-то, вы знаете?

— Ну-ну, — бесстрастно протянул Тарру, — я человек ученый.

Риэ остановился, и шедший за ним следом Тарру споткнулся в темноте на ступеньке. Но удержался на ногах, схватив доктора за плечо.

— Стало быть, по-вашему, вы все знаете о жизни? — спросил доктор.

Из темноты донесся ответ, произнесенный все тем же спокойным тоном:

— Да, знаю.

Только выйдя на улицу, они сообразили, что уже поздно, очевидно, около одиннадцати. Город был тихим, в нем все смолкло, кроме шорохов. Где-то очень далеко раздался сигнал «скорой помощи». Они сели в машину, и Риэ завел мотор.

— Зайдите-ка завтра в лазарет, — сказал он, — вам надо сделать предохранительный укол. Но чтобы покончить с этим и прежде чем вы ввяжетесь в эту историю, вспомните, что у вас только один шанс из трех выпутаться.

— Такие подсчеты не имеют никакого смысла, и вы сами, доктор, это прекрасно знаете. Сто лет назад во время чумной эпидемии в Персии болезнь убила всех обитателей города, кроме как раз одного человека, который обмывал трупы и ни на минуту не прекращал своего дела.

— Значит, ему выпал третий шанс, вот и все, — сказал Риэ, и голос его прозвучал неожиданно глухо. — Но ваша правда, мы еще не слишком осведомлены насчет чумы.

Теперь они ехали по предместью. Автомобильные фары ярко сверкали среди пустынных улиц. Доктор остановил машину. Закрывая дверцу, он спросил Тарру, желает ли тот зайти к больному, и Тарру ответил, что желает. Их лица освещал только отблеск, шедший с ночного неба. Внезапно Риэ дружелюбно расхохотался.

— Скажите, Тарру, — спросил он, — а вас-то что понуждает впутываться в эту историю?

— Не знаю. Очевидно, соображения морального порядка.

— А на чем они основаны?

— На понимании.

Тарру повернул к дому, и Риэ снова увидел его лицо, только когда они уже вошли к старику астматику.

На следующий же день Тарру взялся за работу и создал первую добровольную дружину, по образцу которой скоро должны были создаваться и другие.

В намерение рассказчика отнюдь не входит придавать слишком большое значение этим санитарным ячейкам. Правда, большинство наших сограждан, будь они на месте рассказчика, поддались бы искушению преувеличить

роль этих дружин. Но рассказчик скорее склонен поддаться искушению иного порядка, он считает, что, придавая непомерно огромное значение добрым поступкам, мы в конце концов возносим косвенную, но неумеренную хвалу самому злу. Ибо в таком случае легко предположить, что добрые поступки имеют цену лишь потому, что они явление редкое, а злоба и равнодушие куда более распространенные двигатели людских поступков. Вот этой-то точки зрения рассказчик ничуть не разделяет. Зло, существующее в мире, почти всегда результат невежества, и любая добрая воля может причинить столько же ущерба, что и злая, если только эта добрая воля недостаточно просвещена. Люди — они скорее хорошие, чем плохие, и, в сущности, не в этом дело. Но они в той или иной степени пребывают в неведении, и это-то зовется добродетелью или пороком, причем самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему все ведомо, и разрешающее себе посему убивать. Душа убийцы слепа, и не существует ни подлинной доброты, ни самой прекрасной любви без абсолютной ясности видения.

Вот почему, одобряя создание наших санитарных дружин, возникших по почину Тарру, следует сохранять объективность. Вот почему рассказчик не намерен выступать в роли чересчур красноречивого рапсода и воспевать добрую волю и героизм, хотя вполне отдает им должное. Он и в дальнейшем останется историком растерзанных и непримиримых сердец наших сограждан, ибо такими нас сделала чума.

Не так уж велика заслуга тех, кто самоотверженно взялся за организацию санитарных дружин, они твердо знали, что ничего иного сделать нельзя, и, напротив, было бы непостижимым, если бы они не взялись. Эти дружины помогли нашим согражданам глубже войти в чуму и отчасти убедили их, что, раз болезнь уже здесь, нужно делать то, что нужно, для борьбы с ней. Ибо чума, став долгом для нескольких людей, явила собою то, чем была в действительности, а была она делом всех.

И это очень хорошо. Но ведь никому же не придет в голову хвалить учителя, который учит, что дважды два — четыре. Возможно, его похвалят за то, что он выбрал себе прекрасную профессию. Скажем так, весьма похвально, что Тарру и прочие взялись доказать, что дважды два —

четыре, а не наоборот, но скажем также, что их добрая воля роднит их с тем учителем, со всеми, у кого такое же сердце, как у вышеупомянутого учителя, и что, к чести человека, таких много больше, чем полагают, по крайней мере рассказчик в этом глубоко убежден. Правда, он понимает, какие могут воспоследовать возражения, главное из них, что эти люди, мол, рисковали жизнью. Но в истории всегда и неизбежно наступает такой час, когда того, кто смеет сказать, что дважды два — четыре, карают смертью. Учитель это прекрасно знает. И вопрос не в том, чтобы знать, какую кару или какую награду влечет за собой это рассуждение. Вопрос в том, чтобы знать, составляют ли или нет дважды два четыре. Тем из наших сограждан, которые рисковали тогда жизнью, приходилось решать первое — чума это или не чума, и второе — нужно или не нужно бороться с ней.

Многие оранские новоявленные моралисты утверждали, что, мол, ничего сделать нельзя и что самое разумное — это стать на колени. И Тарру, и Риэ, и их друзья могли возразить на это кто так, кто эдак, но вывод их всегда диктовался тем, что они знали: необходимо бороться теми или иными способами и никоим образом не становиться на колени. Все дело было в том, чтобы уберечь от гибели как можно больше людей, не дать им познать горечь бесповоротной разлуки. А для этого существовало лишь одно средство — побороть чуму. Сама по себе эта истина не способна вызвать восхищение, скорее уж она просто логична.

Вот почему вполне естественно, что старик Кастель вложил всю свою веру и всю свою энергию в производство сыворотки здесь, на месте, из имеющихся под рукой материалов. И они с Риэ надеялись, что сыворотка, изготовленная из культур микроба, которым был поражен город, окажется более действенной, нежели сыворотка, полученная со стороны, ибо местный микроб слегка отличался от чумной бациллы, вернее, от классического ее описания. Кастель рассчитывал получить первую партию сыворотки в ближайшие же дни.

Именно поэтому также вполне естественно, что Гран — вот уж действительно личность не героическая — стал в эти дни как бы административным центром дружин. Часть дружин, созданных Тарру, взяла на себя работу по оказа-

нию превентивной помощи в перенаселенных кварталах. Члены дружины пытались внедрить здесь необходимую гигиену, вели учет чердаков и подвалов, еще не прошедших дезинфекции. Остальные дружины помогали непосредственно врачам — выезжали с ними по вызовам на квартиры, обеспечивали перевозку больных и даже со временем при отсутствии специального персонала сами водили машины «скорой помощи» или фургоны для перевозки трупов. Все это требовало статистического учета, который и взял на себя Гран.

С известной точки зрения рассказчик склонен считать, что Гран даже в большей степени, чем Риэ или, скажем, Тарру, являлся подлинным представителем того спокойного мужества, какое вдохновляло дружины в их работе. Он сказал «да» не колеблясь, с присущей ему доброй волей... Только он попросил, чтобы его использовали на несложной работе, для сложной он уже стар. Между восемнадцатью и двадцатью часами его время в распоряжении доктора. И когда Риэ горячо поблагодарил его, он даже удивился: «Это же не самое трудное. Сейчас чума, ну ясно, надо с ней бороться. Ах, если бы все на свете было так же просто!» И он возвращался к своей недописанной фразе. Иногда вечерами, когда статистические подсчеты были кончены, Риэ беседовал с Граном. Мало-помалу к этим вечерним беседам они привлекли и Тарру, и Гран с явным удовольствием открывал свою душу перед двумя приятелями. А они с неослабевающим интересом следили за кропотливыми трудами Грана, которые он не бросил даже в разгар чумы. В конце концов это стало для них обоих своего рода разрядкой.

«Ну как амазонка?» — нередко спрашивал Тарру. И Гран с вымученной улыбкой всякий раз отвечал одним и теми же словами: «Скачет себе, скачет!» Как-то вечером Гран сообщил, что он окончательно убрал эпитет «элегантная» применительно к своей амазонке и что отныне она будет фигурировать как «стройная». «Так точнее», — пояснил он. В другой раз он прочел своим слушателям первую фразу, переделанную заново: «Однажды, прекрасным майским утром, стройная амазонка на великолепном гнедом коне скакала по цветущим аллеям Булонского леса».

— Ведь правда, так лучше ее видишь? — спросил он. — И потом, я предпочел написать «майским утром» потому, что «утро мая» отчасти замедляет скок лошади.

Затем он занялся эпитетом «великолепный». По его словам, это не звучит, а ему требуется термин, который с фотографической точностью сразу обрисовал бы роскошного о коня, существующего в его воображении. «Откормленный» не пойдет, хоть и точно, зато чуточку пренебрежительно. Одно время он склонялся было к «ухоженный», но эпитет ритмически не укладывался во фразу. Однажды вечером он торжественно возвестил, что нашел: «гнедой в яблоках». По его мнению, это, не подчеркивая, передает изящество животного.

— Но так же нельзя, — возразил Риэ.

— А почему?

— Потому что в яблоках — это тоже масть лошади, но не гнедая.

— Какая масть?

— Неважно какая, во всяком случае, в яблоках — это не гнедой.

Гран был поражен до глубины души.

— Спасибо, спасибо, — сказал он, — как хорошо, что я вам прочел. Ну, теперь вы сами убедились, как это трудно.

— А что, если написать «роскошный», — предложил Тарру.

Гран взглянул на него. Он размышлял.

— Да, — наконец проговорил он, — именно так!

И постепенно губы его сложились в улыбку.

Через несколько дней он признался друзьям, что ему ужасно мешает слово «цветущий». Так как сам он нигде дальше Орана и Монтелимара не бывал, он приступил с расспросами к своим друзьям и требовал от них ответа — цветущие ли аллеи в Булонском лесу или нет. Откровенно говоря, ни на Риэ, ни на Тарру они никогда не производили впечатления особенно цветущих, но убедительные доводы Грана поколебали их уверенность. А он все дивился их сомнениям. «Лишь одни художники умеют видеть!» Как-то доктор застал Грана в состоянии неестественного возбуждения. Он только что заменил «цветущие» на «полные цветов». Он радостно потирал руки. «Наконец-то их увидят, почувствуют. А ну-ка, шапки до-

лой, господа!» И он торжественно прочел фразу: «Однажды, прекрасным майским утром, стройная амазонка неслась галопом на роскошном гнедом коне среди полных цветов аллей Булонского леса». Но прочитанные вслух три родительных падежа, заканчивающих фразу, звучали назойливо, и Гран запнулся. Он удрученно сел на стул. Потом попросил у доктора разрешения уйти. Ему необходимо подумать на досуге.

Как раз в это время — правда, узналось об этом позже — на работе он стал проявлять недопустимую рассеянность, что было воспринято как весьма прискорбное обстоятельство, особенно в те дни, когда мэрии с меньшим наличным составом приходилось справляться с множеством тяжелейших обязанностей. Работа явно страдала, и начальник канцелярии сурово отчитал Грана, заметив, что ему платят жалованье за то, что он выполняет работу, а он ее как раз и не выполняет. «Я слышал, — добавил начальник, — что вы на добровольных началах работаете для санитарных дружин в свободное от службы время. Это меня не касается. Единственное, что меня касается, — это ваша работа здесь, в мэрии. И тот, кто действительно хочет приносить пользу в эти ужасные времена, в первую очередь обязан образцово выполнять свою работу. Иначе все прочее тоже ни к чему».

— Он прав, — сказал Гран доктору.

— Да, прав, — подтвердил Риэ.

— Я действительно стал рассеянным и не знаю, как распутаться с концом фразы.

Он решил вообще вычеркнуть слово «Булонский», полагая, что и так все будет понятно. Но тогда во фразе стало непонятно, что приписывается «цветам», а что «аллеям». Он подумывал было написать: «Аллеи леса, полные цветов». Но тогда лес получался между существительным и прилагательным, и эпитет, который он сознательно отрывал от существительного, торчал, как заноза. Но что правда, то правда, в иные вечера вид у него был еще более утомленный, чем у Риэ.

Да, Грана утомили эти поглощавшие его с головой поиски нужного слова, но тем не менее он не прекращал делать подсчеты и собирать статистические данные, необходимые санитарным дружинам. Каждый вечер он терпеливо вытаскивал свои карточки, выводил кривую и изо

всех сил старался дать по возможности наиболее точную картину. Нередко он заходил к Риэ в лазарет и просил, чтобы ему выделили стол в каком-нибудь кабинете или в приемной. Потом располагался со своими бумагами, совсем так, как у себя за столом в мэрии, и спокойно помахивал листком, чтобы поскорее высохли чернила, не замечая, что воздух вокруг словно бы сгушался от запаха дезинфицирующих средств и самой болезни. В такие часы он честно старался выкинуть из головы свою амазонку и делать только то, что положено.

И если люди действительно хотят, чтобы им давали некие возвышенные примеры и образцы, которые обычно именуют героическими, и если уж так необходимы нашей истории свои герои, рассказчик предлагает вниманию читателя совсем незначительного и бесцветного героя, у которого только и есть что сердечная доброта да идеал, на первый взгляд смехотворный. Таким образом, каждый получает свое: истина то, что ей положено по праву, два, умноженные на два, — свою вечную четверку, а героизм — второстепенное и от века полагающееся ему место, как раз «за» и никогда не «перед» требованием всеобщего счастья. Да и нашей хронике благодаря этому придается вполне определенный характер, какой и должен быть у любого рассказа о подлинных фактах, предпринятого с добрыми чувствами, то есть с чувствами, которые ни слишком явно плохи, ни слишком экзальтированы в дурном театральном смысле этого слова.

Таково по крайней мере было мнение доктора Риэ, когда он читал газеты или слушал по радио слова призыва и ободрения, которые слал зачумленному городу мир, лежащий вовне. Одновременно с помощью, посылаемой по суше или по воздуху, радиоволны или печатное слово каждый божий день обрушивали на город, отныне такой одинокий, потоки трогательных или восторженных комментариев. И всякий раз самый стиль и тон их, эпический или риторический, выводил доктора из себя. Конечно, он понимал, что эти знаки внимания вовсе не притворство. Но они могли выразить себя только на том условном языке, которым люди пытаются выразить то, что связывает их с человечеством. И язык этот не мог быть применим к незначительным каждодневным трудам, скажем, того же

Грана, поскольку не мог дать представления о том, что значил Гран в разгар эпидемии.

Иной раз в полночь, среди великого молчания опустевшего ныне города, доктор, ложась в постель для короткого сна, настраивал радиоприемник. И из дальних уголков земли, через тысячи километров незнакомые братские голоса пытались неуклюже выразить свою солидарность, говорили о ней, но в то же самое время в них чувствовалось трагическое бессилие, так как не может человек по-настоящему разделить чужое горе, которое не видит собственными глазами. «Оран! Оран!» Напрасно призыв этот перелетал через моря, напрасно настораживался Риэ, вскоре волна красноречия разбухала и еще ярче подчеркивала главное различие, превращавшее Грана и оратора в двух посторонних друг другу людей. «Оран! Да, Оран!» «Но нет, — думал доктор, — есть только одно средство — это любить или умереть вместе. А они чересчур далеко».

Прежде чем перейти к рассказу о кульминации чумы, когда бедствие, собрав в кулак все свои силы, бросило их на город и окончательно им завладело, нам осталось еще рассказать о тех отчаянных, бесконечных и однообразных попытках, которые предпринимали отдельные люди, такие, как Рамбер, лишь бы вновь обрести свое счастье и отстоять от чумы ту часть самих себя, какую они упрямо защищали против всех посягательств. Таков был их метод отвергать грозившее им порабощение, и, хотя это неприятие внешне было не столь действенное, как иное, рассказчик убежден, что в нем имелся свой смысл и оно свидетельствовало также при всей своей бесплодности и противоречиях о том, что в каждом из нас живет еще гордость.

Рамбер бился, не желая, чтобы чума захлестнула его с головой. Убедившись, что легальным путем покинуть город ему не удастся, он намеревался, о чем и сообщил Риэ, использовать иные каналы. Журналист начал с официантов из кафе. Официант кафе всегда в курсе всех дел. Но первый же, к кому он обратился, оказался как раз в курсе того, какая суровая кара полагается за подобные авантюры. А в одном кафе его приняли без дальних слов за провокатора. Только после случайной встречи с Коттаром у доктора Риэ дело сдвинулось с мертвой точки. В тот день

Риз с Рамбером говорили о бесплодных хлопотах, принятых журналистом в административных учреждениях. Через несколько дней Коттар столкнулся с Рамбером на улице и любезно поздоровался с ним, с недавних пор при общении со знакомыми он был особенно обходителен.

— Ну как, по-прежнему ничего? — осведомился Коттар.

— Ничего.

— Да разве можно рассчитывать на чиновников. Не затем они сидят в канцеляриях, чтобы понимать людей.

— Совершенно верно. Но я пытаюсь найти какой-нибудь другой ход. А это трудно.

— Еще бы, — подтвердил Коттар.

Но оказалось, ему известны кое-какие обходные пути, и на недоуменный вопрос Рамбера он объяснил, что уже давным-давно считается своим в большинстве оранских кафе, что там у него повсюду друзья и что ему известно о существовании организации, занимающейся делами такого рода. Истина же заключалась в том, что Коттар, трагивший больше, чем зарабатывал, был причастен к контрабанде нормированных товаров. Он перепродавал сигареты и плохонькие алкогольные напитки, цены на которые росли с каждым днем, и уже сколотил себе таким образом небольшое состояние.

— А вы в этом уверены? — спросил Рамбер.

— Да, мне самому предлагали.

— И вы не воспользовались?

— Грешно не доверять ближнему, — благодушно произнес Коттар, — я не воспользовался потому, что я лично не хочу отсюда уезжать. У меня на то свои причины.

И после короткого молчания добавил:

— А вас не интересует, какие именно причины?

— По-моему, это меня не касается, — ответил Рамбер.

— В каком-то смысле правильно, не касается. А с другой стороны... Ну, словом, для меня одно ясно: с тех пор как у нас чума, мне как-то вольготнее стало.

Выслушав слова Коттара, Рамбер спросил:

— А как связаться с этой организацией?

— Дело трудное, — вздохнул Коттар, — идите со мной.

Было уже четыре часа. Под тяжело нависшим раскаленным небом город пекся, как на медленном огне. Вит-

рины магазинов были прикрыты шторами. На улицах ни души. Коттар с Рамбером свернули под аркады и долго шагали молча. Был тот час, когда чума превращалась в невидимку. Эта тишина, эта мертвенность красок и движений в равной мере могли быть приметой и оранского лета, и чумы. Попробуй угадай, чем насыщен неподвижный воздух — угрозами или пылью и зноем. Чтобы постичь чуму, надо было наблюдать, раздумывать. Ведь она проявляла себя лишь, так сказать, негативными признаками. Так, Коттар, у которого были с нею особые контакты, обратил внимание Рамбера на отсутствие собак — в обычное время они валялись бы у порога, судорожно лоя раскрытой пастью горячий воздух, в поисках несуществующей прохлады.

Они прошли Пальмовым бульваром, пересекли Оружейную площадь и очутились во Флотском квартале. На лево кафе, выкрашенное в зеленую краску, пыталось укрыться под косыми шторами из плотной желтой ткани. Очутившись в помещении, оба одинаковым жестом утерли взмокшие лбы. Потом уселись на складных садовых стульчиках перед столиком, крытым железным листом, тоже выкрашенным зеленой краской. В зале не было ни души. Под потолком гудели мухи. Облезлый попугай, сидевший в желтой клетке, водруженной на колченогий прилавок, уныло цеплялся за жердочку. По стенам висели старые картины на батальные сюжеты, и все вокруг было покрыто налетом грязи и густо оплетено паутиной. На всех столиках и даже под самым носом Рамбера лежали кучки куриного помета, и журналист никак не мог понять, откуда бы взяться тут помету, но вдруг в темном углу что-то зашевелилось, завозилось и, подрагивая на голенастых лапах, в середину зала вышел роскошный петух.

С его появлением зной, казалось, еще усилился. Коттар снял пиджак и постучал по столику. Какой-то коротышка, путаясь в длинном не по росту синем переднике, вышел из заднего помещения, заметив Коттара, поклонился еще издали и направился к их столику, по пути отшвырнув петуха свирепым пинком ноги, и под негодуемый клеткот кочета спросил у господ, чем может им служить. Коттар заказал себе стакан белого и осведомился о каком-то Гарсиа. По словам официанта-карлика, Гарсиа уже несколько дней в их кафе не появлялся.

— А вечером он, по-вашему, придет?

— Поди знай, — ответил официант. — Вам же известно, в какие часы он бывает.

— Да, но, в сущности, дело терпит. Я только хотел познакомить его с моим приятелем.

Официант вытер взмокшие ладони о передник.

— Мсье тоже делами занимается?

— Ясно, — ответил Коттар.

Карлик шумно втянул воздух:

— Тогда приходите вечером. Я мальчика за ним пошлю.

На улице Рамбер спросил, о каких делах шла речь.

— Понятно, о контрабанде. Они провозят товары через городские ворота. И продают их по высоким ценам.

— Чудесно, — сказал Рамбер. — Значит, у них есть сообщники?

— А как же!

Вечером штора кафе оказалась поднятой, попугай без умолку трещал что-то в своей клетке, а вокруг железных столиков, сняв пиджаки, сидели посетители. Один из них, лет тридцати, в сбитом на затылок соломенном канотье, в белой рубашке, распахнутой на бурой груди, поднялся с места при появлении Коттара. Лицо у него было с правильными чертами, сильно загорелое, глаза черные, маленькие, на пальцах сидело несколько перстней, белые зубы поблескивали.

— Привет, — сказал он, — пойдем к стойке, выпьем.

Они молча выпили, угощали по очереди все трое.

— А что, если выйдем? — предложил Гарсиа.

Они направились к порту, и Гарсиа спросил, что от него требуется. Коттар сказал, что он хотел познакомить с ним Рамбера не совсем по их делу, а по поводу того, что он деликатно назвал «вылазкой». Зажав сигарету в зубах, Гарсиа шагал, не глядя на своих спутников. Задавал вопросы, говорил о Рамбере «он» и, казалось, вообще не замечал его присутствия.

— А зачем? — спросил он.

— У него жена во Франции.

— А-а!

И после паузы:

— Чем он занимается?

— Журналист.

— При ихнем ремесле язык за зубами держать не умеют. Рамбер промолчал.

— Он друг, — сказал Коттар.

Снова они зашагали в молчании. Наконец добрались до набережной, вход туда был перекрыт высокими воротами. Но они направились прямо к ларьку, где торговали жареными сардинками, далеко распространявшими аппетитный аромат.

— Вообще-то, — заключил Гарсиа, — это не по моей части, этим Рауль занимается. А его еще найти надо. Дело сложное.

— Значит, он скрывается? — взволнованно осведомился Коттар.

Гарсиа не ответил. У ларька он остановился и впервые поглядел в лицо Рамберу.

— Послезавтра в одиннадцать часов на углу, у таможенной казармы в верхней части города.

Он сделал вид, что уходит, но вдруг повернулся к своим собеседникам.

— Расходы будут, — сказал он.

Прозвучало это как нечто само собой подразумевающееся.

— Ясно, — поспешил согласиться Рамбер.

Когда несколько минут спустя журналист поблагодарил Коттара, тот весело ответил:

— Да не за что. Мне просто приятно оказать вам услугу. И к тому же вы журналист, при случае сквитаемся.

А еще через день Рамбер с Коттаром шли по широким улицам, не знавшим зелени и тени, к верхней части города. Одно крыло казармы превратили в лазарет, и перед воротами стояла толпа: кто надеялся, что его пропустят внутрь, хотя посещения были строжайше запрещены, кто хотел навести справку о состоянии больного, забывая, что сведения почти всегда запаздывают. Так или иначе, увидев эту толпу и непрерывное хождение взад и вперед, Рамбер понял, что, назначая свидание, Гарсиа учел эту толчею.

— Странно все-таки, — начал Коттар, — почему вам так приспичило уехать? Ведь сейчас в городе творятся интересные вещи.

— Только не для меня, — ответил Рамбер.

— Ну ясно, все-таки известный риск есть. Но в конце концов и до чумы риск был, попробуйте-ка перейти бойкий перекресток.

В эту минуту рядом с ними остановился автомобиль Риэ. За рулем сидел Тарру, а доктор, казалось, дремлет. Однако он проснулся и представил журналиста Тарру.

— Мы уже знакомы, — сказал Тарру, — в одном отеле живем.

Он предложил Рамберу довезти его до центра.

— Нет, спасибо, у нас здесь назначено свидание.

Риэ взглянул на Рамбера.

— Да, — подтвердил тот.

— Ого, — удивился Коттар, — значит, доктор тоже в курсе дела?

— А вот и следователь идет, — заметил Тарру и посмотрел на Коттара.

Коттар даже побледнел. И верно, по улице шествовал господин Отон, шагал он энергично, но размеренно. Поравнявшись с машиной, он приподнял шляпу.

— Добрый день, господин следователь! — сказал Тарру.

Следователь в свою очередь пожелал доброго дня сидящим в машине и, оглядев стоявших поодаль Коттара и Рамбера, важно наклонил голову. Тарру представил ему рантье и журналиста. Следователь вскинул на миг глаза к небу и, вздохнув, заявил, что настали печальные времена.

— Мне сообщили, господин Тарру, что вы взялись за внедрение профилактических мер. Не могу не выразить своего восхищения. Как по-вашему, доктор, эпидемия еще распространится?

Риэ выразил надежду, что нет, и следователь повторил, что никогда не нужно терять надежды, ибо пути Господни неисповедимы. Тарру осведомился, не повлияли ли последние события на объем работы.

— Напротив, дел, которые мы называем уголовными, стало меньше. В основном приходится рассматривать дела о серьезном нарушении последних распоряжений. Никогда еще так не чтили старых законов.

— А это значит, — улыбнулся Тарру, — что по сравнению с новыми они оказались хороши.

Со следователя мигом слетел подчеркнуто мечтательный вид, даже отрешенный взор оторвался от созерцания небес. И он холодно посмотрел на Тарру.

— Ну и что ж из этого? — сказал он. — Важен не закон, а наказание. Следствие здесь ни при чем.

— Вот вам враг номер один, — проговорил Коттар, когда следователь скрылся в толпе.

Машина отъехала от тротуара.

Через несколько минут Рамбер и Коттар увидели направляющегося к ним Гарсиа. Он подошел вплотную и вместо приветствия бросил: «Придется подождать».

Вокруг них толпа, состоявшая главным образом из женщин, ждала в полном молчании. Почти все принесли с собой корзиночки, питая несбыточную надежду как-нибудь передать их своим больным и еще более безумную мысль, что тому нужна эта передача. Вход охраняли часовые при оружии; время от времени со двора, отделявшего здание казармы от улицы, долетал странный крик. И сразу же вся толпа поворачивала к лазарету встревоженные лица.

Трое мужчин молча глядели на это зрелище, когда за их спиной вдруг раздалось отрывистое и важное «здрасьте», и они, как по команде, обернулись. Несмотря на жару, Рауль был одет, как будто собрался на прием. Двубортный темный костюм ладно облегал его высокую, сильную фигуру, а на голове красовалась фетровая шляпа с загнутыми сверху полями. Лицо у него было бледное, глаза темные, губы плотно сжаты, говорил он быстро и четко.

— Идите по направлению к центру, — приказал он, — а ты, Гарсиа, можешь уйти.

Гарсиа закурил сигарету и остался стоять на месте. Все трое шли быстро, и Рамбер с Коттаром старались приноровиться к шагу Рауля, который шествовал в середине.

— Гарсиа мне сказал, — проговорил Рауль. — Сделать можно. Во всяком случае, потянет десять тысяч франков.

Рамбер сказал, что согласен.

— Позавтракаем завтра в испанском ресторане на Флотской.

Рамбер снова сказал, что согласен, и Рауль, пожав ему руку, впервые улыбнулся. После его ухода Коттар извинился, завтра он занят, впрочем, Рамбер обойдется и без его содействия.

Когда на следующий день журналист вошел в испанский ресторан, все головы повернулись в его сторону. Этот тенистый погребок, куда приходилось спускаться по не-

скольким ступеням, был расположен на желтой, иссушенной зноем улочке, и посещали его только мужчины, в основном испанского типа. Но когда Рауль, сидевший за дальним столиком, махнул журналисту, приглашая его подойти, и Рамбер направился к нему, все присутствующие сразу утратили к нему интерес и уткнулись в тарелки. За столиком рядом с Раулем восседал какой-то длинный небритый субъект с неестественно широкими при такой худобе плечами, с лошадиной физиономией и сильно поредевшей шевелюрой. Рукава рубашки были засучены и открывали длинные тонкие руки, густо обросшие черной шерстью. Рауль представил ему журналиста, и незнакомец трижды мотнул головой. Имя его Рамберу не назвали, и Рауль, говоря с ним, называл его просто «наш друг».

— Наш друг надеется, что сможет вам помочь. Он вас...

Рауль замолчал потому, что к Рамберу подошла официантка принять заказ.

— Он вас сейчас сведет с двумя нашими друзьями, а те в свою очередь познакомят со стражниками, с которыми мы связаны. Но это еще не все. Стражники сами должны выбрать наиболее удобное время. Самое, по-моему, простое — это переночевать две-три ночи у кого-нибудь из стражников, живущих поблизости от ворот. Но предварительно наш друг обеспечит вам несколько необходимых контактов. Когда все будет улажено, деньги передадите ему.

«Наш друг» снова качнул своей лошадиной головой, не переставая жевать салат из помидоров и сладкого перца, на который он особенно налегал. Потом он заговорил с легким испанским акцентом. Он предложил Рамберу встретиться послезавтра в восемь утра на паперти собора.

— Еще два дня, — протянул Рамбер.

— Дело нелегкое, — сказал Рауль. — Надо ведь людей найти.

«Наш друг» Конь энергично подтвердил эти слова кивком головы, и Рамбер вяло согласился. Завтрак проходил в непрерывных поисках темы для разговора. Но когда Рамберу удалось обнаружить, что Конь еще и футболист, все чрезвычайно упростилось. В свое время и он сам усердно занимался футболом. Разговор, естественно, перешел на чемпионат Франции, на достоинства английских про-

фессиональных команд и тактику «дубль ве». К концу завтрака Конь совсем разошелся, обращался к Рамберу уже на «ты», старался убедить его, что в любой команде «выгоднее всего играть в полузащите». «Пойми ты, — твердил он, — ведь как раз полузащита определяет игру. А это в футболе главное». Рамбер соглашался, хотя сам всегда играл в нападении. Но тут их спору положило конец радио, несколько раз подряд повторившее под сурдинку позывные — какую-то сентиментальную мелодию, — вслед за чем было сообщено, что вчера чума унесла сто тридцать семь жертв. Никто из присутствующих даже не оглянулся. Конь пожал плечами и встал. Рауль с Рамбером последовали его примеру.

На прощание полузащитник энергично потряс руку Рамберу и заявил:

— Меня зовут Гонсалес.

Два последующих дня показались Рамберу нескончаемо долгими. Он отправился к Риэ и во всех подробностях рассказал ему о предпринятых шагах. Потом увязался за доктором и распрощался с ним у дверей дома, где лежал больной с подозрением на чуму. В коридоре слышался топот ног и голоса: это соседи пришли предупредить семью больного о прибытии врача.

— Только бы Тарру не запоздал, — пробормотал Риэ.

Вид у него был усталый.

— Эпидемия, видно, набирает темпы, — сказал Рамбер.

Риэ ответил, что не в этом главное, что кривая заболеваний даже медленнее, чем раньше, ползет вверх. Просто нет еще достаточно эффективных средств борьбы с чумой.

— Нам не хватает материалов, — пояснил он. — В любой армии мира недостаток материальной части обычно восполним людьми. А у нас и людей тоже не хватает.

— Но ведь в город прибыли врачи и санитары.

— Верно, прибыли, — согласился Риэ. — Десять врачей и примерно сотня санитаров. На первый взгляд вроде как бы и много. Но этого едва хватает на данной стадии эпидемии. А если эпидемия усилится, тогда совсем уж не хватит.

Риэ прислушался к суматохе в доме и затем улыбнулся Рамберу.

— Да, — проговорил он, — советую вам не мешкать на пути к удаче.

По лицу Рамбера прошла тень.

— Ну вы же знаете, — глухо произнес он, — я вовсе не потому стремлюсь отсюда вырваться.

Риз подтвердил, что знает, но Рамбер не дал ему договорить:

— Полагаю, что я не трус, во всяком случае трушу редко. У меня было достаточно случаев проверить это. Но есть мысли, для меня непереносимые.

Доктор взглянул ему прямо в лицо.

— Вы с ней встретитесь, — сказал он.

— Возможно, но я физически не могу переносить мысль, что все это затянется и что она тем временем будет стариться. В тридцать лет человек уже начинает стариться, и поэтому надо пользоваться каждой минутой... Не знаю, поймете ли вы меня?

Риз пробормотал, что поймет, но тут появился весьма оживленный Тарру.

— Только что говорил с отцом Панлю, предложил ему вступить в дружину.

— Ну и что же он? — спросил доктор.

— Сначала подумал, потом согласился.

— Очень рад, — сказал доктор. — Рад, что он лучше, чем его проповеди.

— Все люди таковы, — заявил Тарру. — Надо только дать им подходящий случай. — Он улыбнулся и подмигнул Риз: — Видно, у меня такая специальность — давать людям подходящие случаи.

— Простите меня, — сказал Рамбер, — но мне пора.

В назначенный четверг Рамбер явился на паперть собора без пяти восемь. Было еще довольно свежо. По небу расплывались белые круглые облачка, но скоро нарождающийся зной поглотит их без остатка. Волна влажных запахов еще долетала с лужаек, уже порядком выжженных зноем. Солнце, скрывавшееся за домами восточной части города, успело коснуться только каски Жанны д'Арк, ее позолоченная с головы до ног статуя была главным украшением площади. Часы пробили восемь. Рамбер прошелся взад и вперед под сводами пустынной паперти. Из собора долетали обрывки песнопений вместе с застарелым запахом ладана и подвальной сырости. Вдруг песно-

пения прекратились. Дюжина маленьких человечков в черном высыпала из храма и затопала по улицам. Рамбера взяло нетерпение. Тут новые черные фигурки поднялись по высоким ступеням и направились к паперти. Он зажег было сигарету, но тут же спохватился: место для курения выбрано не совсем удачно.

В восемь пятнадцать потихоньку, под сурдинку, заиграл соборный орган. Рамбер вошел под темные своды. Сначала он различил только маленькие черные фигурки, которые прошли мимо него к нефу. Они струдились в углу перед импровизированным алтарем, где недавно водрузили статую святого Роха, выполненную по срочному заказу в одной из скульптурных мастерских нашего города. Теперь коленопреклоненные фигурки, казалось, совсем сжались и здесь, среди этой извечной серости, были словно комочки сгустившейся тени, разве что чуть-чуть плотнее и подвижнее, чем поглошавшая их дымка. А над их головами орган без передышки играл все одну и ту же тему с вариациями.

Когда Рамбер вышел, Гонсалес уже спускался с лестницы, очевидно, направляясь к центру.

— А я думал, ты уже ушел, — сказал он журналисту. — И правильно бы сделал.

В пояснение своих слов он сообщил, что ждал друзей, с которыми у него было назначено свидание неподалеку отсюда в семь пятьдесят пять. Но только зря прождал целых двадцать минут.

— Что-то им помешало, это ясно. В нашем деле не все идет гладко.

Он предложил встретиться завтра в то же время у памятника павшим. Рамбер со вздохом сдвинул фетровую шляпу на затылок.

— Ничего, ничего, — смеясь, проговорил Гонсалес. — Сам знаешь, сколько приходится делать пасов, комбинаций, финтов, прежде чем забьешь гол.

— Разумеется, — согласился Рамбер. — Но ведь матч длится всего полтора часа.

Памятник павшим стоит как раз на том единственном в Оране месте, откуда видно море, на коротком променаде, идущем вдоль отрогов гор над портом. На следующий день Рамбер — на свидание он опять явился первым — внимательно прочитал список погибших на поле брани.

Через несколько минут появились еще какие-то двое, равнодушно взглянули на Рамбера, отошли, оперлись о балюстраду, огораживавшую променад, и, казалось, погрузились в созерцание пустых и безлюдных набережных. Оба были одинакового роста, оба одеты в одинаковые синие брюки и морские тельняшки с короткими рукавами. Журналист отошел от памятника, присел на скамью и от нечего делать стал разглядывать незнакомцев. Тут только он заметил, что с виду им было не больше чем по двадцати. Но в эту минуту он увидел Гонсалеса, который еще на ходу извинялся за опоздание.

— Вот они, наши друзья, — сказал он, подведя Рамбера к молодым людям, и представил их — одного под именем Марсель, а другого под именем Луи. Они и лицом оказались похожи, и Рамбер решил, что это родные братья.

— Ну вот, — сказал Гонсалес. — Теперь вы познакомились. Осталось только обговорить дело.

Марсель, а может, Луи, сказал, что их смена в карауле начинается через два дня, что продлится она неделю и важно выбрать наиболее подходящий день. Их пост из четырех человек охраняет западные ворота, и двое из постовых — кадровые военные. И речи быть не может о том, чтобы посвятить их в операцию. Во-первых, это народ ненадежный, а во-вторых, в таком случае вырастут расходы. Но иногда их коллеги проводят часть ночи в заднем помещении одного знакомого им бара. Марсель, а может, Луи, предложил поэтому Рамберу поселиться у них — это рядом с воротами — и ждать, когда за ним придут. Тогда выбраться из города будет несложно. Но следует поторопиться, потому что поговаривают, будто в ближайшие дни установят усиленные наряды с наружной стороны.

Рамбер одобрил план действий и угостил братьев своими последними сигаретами. Тот из двух, который пока еще не раскрывал рта, вдруг спросил Гонсалеса, улажен ли вопрос с вознаграждением и нельзя ли получить аванс.

— Не надо, — ответил Гонсалес, — это свой парень. Когда все будет сделано, тогда и заплатит.

Договорились о новой встрече. Гонсалес предложил послезавтра пообедать в испанском ресторане. А оттуда можно будет отправиться домой к братьям-стражникам.

— Первую ночь, хочешь, я тоже там переночую, — предложил он Рамберу.

На следующий день Рамбер, поднимавшийся в свой номер, столкнулся на лестнице с Тарру.

— Иду к Риэ, — сообщил Тарру. — Хотите со мной?

— Знаете, мне всегда почему-то кажется, будто я ему мешаю, — нерешительно отозвался Рамбер.

— Не думаю, он мне часто о вас говорил.

Журналист задумался.

— Послушайте-ка, — сказал он. — Если у вас к вечеру, пусть даже совсем поздно, выпадет свободная минутка, лучше приходите оба в бар, сюда, в отель.

— Ну, это уж будет зависеть от него и от чумы, — ответил Тарру.

Однако в одиннадцать часов оба — и Риэ и Тарру — входили в узкий, тесный бар отеля. Человек тридцать посетителей толклись в маленьком помещении, слышался громкий гул голосов. Оба невольно остановились на пороге — после гробовой тишины зачумленного города их даже ошеломил этот шум. Но они сразу догадались о причине такого веселья — здесь еще подавали алкогольные напитки. Рамбер, сидевший на высоком табурете в дальнем углу перед стойкой, помахал им рукой. Они подошли, и Тарру хладнокровно отодвинул в сторону какого-то не в меру расшумевшегося соседа.

— Алкоголь вас не пугает?

— Нет, напротив, — ответил Тарру.

Риэ втягивал ноздрями горьковатый запах трав, идущий из стакана. Разговор в таком шуме не клеился, да и Рамбер, казалось, интересуется не ими, а алкоголем. Доктор так и не мог решить, пьян журналист или еще нет. За одним из двух столиков, занимавших все свободное пространство тесного бара, сидел морской офицер с двумя дамами — по правую и левую руку — и рассказывал какому-то краснолицему толстяку, четвертому в их компании, об эпидемии тифа в Каире.

— Лагеря! — твердил он. — Там устроили для туземцев специальные лагеря, разбили палатки и вокруг выставили военный кордон, которому был дан приказ стрелять в родных, когда они пытались тайком передать больному снадобье от знахарки. Конечно, мера, может, суровая, но справедливая.

О чем говорили за другим столиком чересчур элегантные молодые люди, разобрать было нельзя — и без того непонятные отдельные фразы терялись в рубленном ритме «Saint James Infirmary»¹, рвавшемся из проигрывателя, вознесенного над головами посетителей.

— Ну как, рады? — спросил Риэ, повысив голос.

— Теперь уже скоро, — ответил Рамбер. — Возможно, даже на этой неделе.

— Жаль! — крикнул Тарру.

— Почему жаль?

Тарру оглянулся на Риэ.

— Ну, знаете, — сказал доктор. — Тарру считает, что вы могли бы быть полезным здесь, и потому так говорит, но я лично вполне понимаю ваше желание уехать.

Тарру заказал еще по стакану. Рамбер прыгнул с табуретки и впервые за этот вечер посмотрел прямо в глаза Тарру:

— А чем я могу быть полезен?

— Как это чем? — ответил Тарру, неторопливо беря стакан. Ну хотя бы в наших санитарных дружинах.

Рамбер задумался и молча взобрался на табуретку, лицо его приняло обычное для него упрямое и хмурое выражение.

— Значит, по-вашему, наши дружины не приносят пользы? — спросил Тарру, ставя пустой стакан и пристально глядя на Рамбера.

— Конечно, приносят, и немалую, — ответил журналист и тоже выпил.

Риэ заметил, что рука у него дрожит. И решил про себя: да, действительно, Рамбер сильно на взводе.

На следующий день, когда Рамбер во второй раз подошел к испанскому ресторану, ему пришлось пробираться среди стульев, стоявших прямо на улице у входа, их вытащили из помещения посетители, чтобы насладиться золотисто-зеленым вечером, уже приглушавшим дневную жару. Курили они какой-то особенно едкий табак. В самом ресторане было почти пусто. Рамбер выбрал тот самый дальний столик, за которым они впервые встретились с Гонсалесом. Официантке он сказал, что ждет знакомого. Было уже семь тридцать. Мало-помалу сидев-

¹ Больница Сент-Джеймс (англ.).

шие снаружи возвращались в зал и устраивались за столиками. Официантки разносили еду, и под низкими сводами ресторана гулко отдавался стук посуды и приглушенный говор. А Рамбер все ждал, хотя было восемь. Наконец дали свет. Новые посетители уселись за его столик. Рамбер тоже заказал себе обед. И кончил обедать в половине девятого, так и не увидев ни Гонсалеса, ни братьев-стражников. Он закурил. Ресторан постепенно обезлюдел. Там, за его стенами, стремительно сгущалась тьма. Теплый ветерок с моря ласково вздувал занавески на окнах. В девять часов Рамбер заметил, что зал совсем опустел и официантка с удивлением поглядывает на него. Он расплатился и вышел. Напротив ресторана еще было открыто какое-то кафе. Рамбер устроился у стойки, откуда можно было видеть вход в ресторан. В девять тридцать он отправился к себе в отель, стараясь сообразить, как бы найти Гонсалеса, не оставившего ему адреса, и сердце его шемило при мысли, что придется начинать все заново.

Как раз в эту минуту во мраке, исполосованном фарами санитарных машин, Рамбер вдруг отдал себе отчет — и впоследствии сам признался в этом доктору Риэ, — что за все это время ни разу не вспомнил о своей жене, поглощенный поисками щелки в глухих городских стенах, отделявших их друг от друга. Но в ту же самую минуту, когда все пути снова были ему заказаны, он вдруг ощутил, что именно она была средоточием всех его желаний, и такая внезапная боль пронзила его, что он сломя голову бросился в отель, лишь бы скрыться от этого жестокого ожога, от которого нельзя было убежать и от которого ломило виски.

Однако на следующий день он с самого утра зашел к Риэ спросить, как увидиться с Коттаром.

— Единственное, что мне остается, — признался он, — это начать все заново.

— Приходите завтра вечером, — посоветовал Риэ, — Тарру попросил меня зачем-то позвать Коттара. Он придет часам к десяти. А вы загляните в половине одиннадцатого.

Когда на следующий день Коттар явился к доктору, Тарру и Риэ как раз говорили о неожиданном случае выздоровления, происшедшем в лазарете Риэ.

— Один из десяти. Повезло человеку, — заметил Тарру.

— Значит, у него не чума была, — объявил Коттар.

Его поспешили заверить, что была как раз чума.

— Да какая там чума, раз он выздоровел. Вы не хуже меня знаете, что чума пощады не дает.

— В общем-то, вы правы, — согласился Риэ. — Но если очень налечь, могут быть и неожиданности.

Коттар хихикнул:

— Ну это как сказать. Последнюю вечернюю сводку слышали?

Тарру, благожелательно поглядывавший на Коттара, ответил, что слышал, что положение действительно очень серьезное, но что это, в сущности, доказывает? Доказывает лишь то, что необходимо принимать сверх меры.

— Э-э! Вы же их принимаете!

— Принимать-то принимаем, но пусть каждый тоже принимает.

Коттар тупо уставился на Тарру. А Тарру сказал, что большинство людей сидит сложа руки, что эпидемия — дело каждого и каждый обязан выполнять свой долг. В санитарные дружины принимают всех желающих.

— Что ж, это правильно, — согласился Коттар, — только все равно зря. Чума сильнее.

— Когда мы испробуем все, тогда увидим, — терпеливо договорил Тарру.

Во время этой беседы Риэ сидел за столом и переписывал набело карточки. А Тарру по-прежнему в упор смотрел на Коттара, беспокожно ерзавшего на стуле.

— Почему бы вам не поработать с нами, мсье Коттар?

Коттар с оскорбленной миной вскочил со стула, взял шляпу:

— Это не по моей части.

И добавил вызывающим тоном:

— Впрочем, мне чума как раз на руку. И с какой это стати я буду помогать людям, которые с ней борются.

Тарру хлопнул себя ладонью по лбу, будто его внезапно осенила истина:

— Ах да, я забыл: не будь чумы, вас бы арестовали.

Коттар даже подскочил и схватился за спинку стула, будто боялся рухнуть на пол. Риэ отложил ручку и кинул на него внимательный, серьезный взгляд.

— Кто это вам сказал? — крикнул Коттар.

Тарру удивленно поднял брови и ответил:

— Да вы сами. Или, вернее, мы с доктором так вас поняли.

И пока Коттар в приступе неодолимой ярости лопотал что-то невнятное, Тарру добавил:

— Да не нервничайте вы так. Уж во всяком случае, мы с доктором на вас доносить не пойдем. Ваши дела нас не касаются. И к тому же мы сами не большие любители полиции. А ну, присядьте-ка.

Коттар недоверчиво покосился на стул и не сразу решил сесть. Он помолчал, потом глубоко вздохнул.

— Это уже старые дела, — признался он, — но они вытаскивали их на свет божий. А я надеялся, что все уже забыто. Но кто-то, видать, постарался. Они меня вызвали и велели никуда не уезжать до конца следствия. Тут я понял, что рано или поздно они меня зацапают.

— Дело-то серьезное? — спросил Тарру.

— Все зависит от того, что понимать под словом «серьезное». Во всяком случае, не убийство...

— Тюрьма или каторжные работы?

Коттар совсем приуныл:

— Если повезет — тюрьма...

Но после короткой паузы он живо добавил:

— Ошибка вышла. Все ошибаются. Только я не могу примириться с мыслью, что меня схватят, все у меня отнимут: и дом, и привычки, и всех, кого я знаю.

— А-а, — протянул Тарру, — значит, поэтому вы и решили повеситься?..

— Да, поэтому. Глупо, конечно, все это.

Тут поднял голос молчавший до сих пор Риэ и сказал, что он вполне понимает тревогу Коттара, но, возможно, все еще образуется.

— Знаю, знаю, в данный момент мне бояться нечего.

— Итак, я вижу, вы в дружину поступать не собираетесь, — заметил Тарру.

Коттар судорожно мял в руках шляпу и вскинул на Тарру боязливый взгляд:

— Только вы на меня не сердитесь...

— Господь с вами, — улыбнулся Тарру. — Но хотя бы постарайтесь не распространять ради вашей же пользы чумного микроба.

Коттар запротестовал: вовсе он чумы не хотел, она сама пришла, и не его вина, если чума его устраивает. И когда на пороге появился Рамбер, Коттар энергично добавил:

— Впрочем, я убежден, все равно ничего вы не добьетесь.

От Коттара Рамбер узнал, что тому тоже не известен адрес Гонсалеса, но можно попытаться снова сходить в первое кафе, то, маленькое. Решили встретиться завтра. И так как Риэ выразил желание узнать результаты переговоров, Рамбер пригласил их с Тарру зайти в конце недели прямо к нему в номер в любой час ночи.

Наутро Коттар и Рамбер отправились в маленькое кафе и велели передать Гарсиа, что будут ждать его нынче вечером, а в случае какой-либо помехи завтра... Весь вечер они прождали зря. Зато на следующий день Гарсиа явился. Он молча выслушал рассказ о злоключениях Рамбера. Лично он не в курсе дел, но слышал, что недавно оцепили несколько кварталов и в течение суток прочесывали там все дома подряд. Очень возможно, что Гонсалесу и братьям не удалось выбраться из оцепления. Все, что он может сделать, — это снова свести их с Раулем. Ясно, на встречу раньше, чем через день-другой, рассчитывать не приходится.

— Видно, надо начинать все сначала, — заметил Рамбер.

Когда Рамбер встретился с Раулем на условленном месте, на перекрестке, тот подтвердил предположения Гарсиа — все нижние кварталы города действительно оцеплены. Надо бы попытаться восстановить связь с Гонсалесом. А через два дня Рамбер уже завтракал с футболистом.

— Вот ведь глупость какая, — твердил Гонсалес. — Мы должны были договориться, как найти друг друга.

Того же мнения придерживался и Рамбер.

— Завтра утром пойдем к мальчикам, попытаемся что-нибудь устроить.

На следующий день мальчиков не оказалось дома. Им назначили свидание на завтра в полдень на Лицейской площади. И Тарру, встретивший после обеда Рамбера, был поражен убитым выражением его лица.

— Не ладится? — спросил Тарру.

— Да. Вот тебе и начали сначала, — ответил Рамбер.

И он повторил свое приглашение:

— Заходите сегодня вечером.

Вечером, когда гости вошли в номер Рамбера, хозяин лежал на постели. Он поднялся и сразу же налил приго-

товленные заранее стаканы. Риэ, взяв свой стакан, осведомился, как идут дела. Журналист ответил, что он уже заново проделал весь круг, что опять вернулся к исходной позиции и что скоро у него будет еще одна встреча, последняя. Выпив, он добавил:

— Только опять они не придут.

— Не следует обобщать, — сказала Тарру.

— Вы ее еще не раскусили, — ответил Рамбер, пожимая плечами.

— Кого ее?

— Чуму.

— А-а, — протянул Риэ.

— Нет, вы не поняли, что чума — это значит начинать все сначала.

Рамбер отошел в угол номера и завел небольшой патефон.

— Что это за пластинка? — спросил Тарру. — Что-то знакомое.

Рамбер сказал, что это «Saint James Infirmary».

Пластинка еще продолжала вертеться, когда вдали слышалось два выстрела.

— По собаке или по беглецу бьют, — заметил Тарру.

Через минуту патефон замолчал, и совсем рядом прогудел клаксон санитарной машины, звук окреп, пробежал под окнами номера, ослаб и наконец затих вдали.

— Занудная пластинка, — сказал Рамбер. — И к тому же я прослушал ее сегодня раз десять.

— Она вам так нравится?

— Да нет, просто другой нету.

И добавил, помолчав:

— Говорю же вам, что это значит начинать все сначала...

Он осведомился у Риэ, как работают санитарные дружины. Сейчас насчитывается уже пять дружин. Есть надежда сформировать еще несколько. Журналист присел на край кровати и с подчеркнутым вниманием стал рассматривать свои ногти. Риэ приглядывался к коренастой сильной фигуре Рамбера и вдруг заметил, что Рамбер тоже смотрит на него.

— А знаете, доктор, — проговорил журналист, — я много думал о ваших дружинах. И если я не с вами, то у меня на то есть особые причины. Не будь их, думаю,

я охотно рискнул бы своей шкурой — я ведь в Испании воевал.

— На чьей стороне? — спросил Тарру.

— На стороне побежденных. Но с тех пор я много размышлял.

— О чем? — осведомился Тарру.

— О мужестве. Теперь я знаю, человек способен на великие деяния. Но если при этом он не способен на великие чувства, он для меня не существует.

— Похоже, что человек способен на все, — заметил Тарру.

— Нет-нет, он не способен долго страдать или долго быть счастливым. Значит, он не способен ни на что дельное.

Рамбер посмотрел поочередно на своих гостей и спросил:

— А вот вы, Тарру, способны вы умереть ради любви?

— Не знаю, но думаю, что сейчас нет, не способен...

— Вот видите. А ведь вы способны умереть за идею, это невооруженным глазом видно. Ну, а с меня хватит людей, умирающих за идею. Я не верю в героизм, я знаю, что быть героем легко, и я знаю теперь, что этот героизм губителен. Единственное, что для меня ценно, — это умереть или жить тем, что любишь.

Риэ внимательно слушал журналиста. Не отводя от него глаз, он мягко проговорил:

— Человек — это не идея, Рамбер.

Рамбер подскочил на кровати, он даже покраснел от волнения.

— Нет, идея, и идея не бог вещь какая, как только человек отворачивается от любви. А мы-то как раз не способны любить. Примиримся же с этим, доктор. Будем ждать, пока не станем способны, и, если и впрямь это невозможно, положим всеобщего освобождения, не играя в героев. Дальше этого я не иду.

Риэ поднялся со стула, лицо его вдруг приняло усталое выражение.

— Вы правы, Рамбер, совершенно правы, и ни за какие блага мира я не стал бы вас отговаривать сделать то, что вы собираетесь сделать, раз я считаю, что это и справедливо и хорошо. Однако я обязан вам вот что сказать: при чем тут, в сущности, героизм. Это не героизм, а обык-

новенная честность. Возможно, эта мысль покажется вам смехотворной, но единственное оружие против чумы — это честность.

— А что такое честность? — спросил Рамбер совсем иным, серьезным тоном.

— Что вообще она такое, я и сам не знаю. Но в моем случае знаю: быть честным — значит делать свое дело.

— А вот я не знаю, в чем мое дело, — яростно выдохнул Рамбер. — Возможно, я не прав, выбрав любовь.

Риэ обернулся к нему.

— Нет, не думайте так, — с силой произнес он, — вы правы!

Рамбер поднял на них задумчивый взгляд:

— По-моему, вы оба ничего в данных обстоятельствах не теряете. Легко быть на стороне благого дела.

Риэ допил вино.

— Пойдем, — сказал он Тарру, — у нас еще много работы.

Он первым вышел из номера.

Тарру последовал за ним до порога, но, видимо, спохватился, обернулся к журналисту и сказал:

— А вы знаете, что жена Риэ находится в санатории в нескольких сотнях километров отсюда?

Рамбер удивленно развел руками, но Тарру уже вышел из номера.

Назавтра рано утром Рамбер позвонил доктору:

— Вы не будете возражать, если я поработаю с вами, пока мне не представится случай покинуть город?

На том конце провода помолчали, а затем:

— Конечно, Рамбер. Спасибо вам.

Часть третья

Так в течение долгих недель пленники чумы бились как умели и как могли. А ведь кое-кто из них воображал, как, например, Рамбер, в чем мы имели возможность убедиться выше, что они еще действовали как люди свободные, что им еще дано было право выбора. Но тем не менее в этот момент, к середине августа, можно было смело утверждать, что чума пересилила всех и вся. Теперь уже не стало отдельных, индивидуальных судеб — была только наша коллективная история, точнее, чума и порожденные ею чувства разделялись всеми. Самым важным сейчас были разлука и ссылка со всеми вытекающими отсюда последствиями — страхом и возмущением. Вот почему рассказчик считает уместным именно сейчас, в разгар зноя и эпидемии, описать хотя бы в общих чертах и в качестве примера ярость наших оставшихся в живых сограждан, похороны мертвых и страдания влюбленных в разлуке.

Как раз в этом году, середине лета, поднялся ветер и несколько дней подряд хлестал по зачумленному городу. Жители Орана вообще имели все основания недолюбливать ветер: на плато, где возведен город, ветер не встречает естественных препятствий и без помех, как оголтелый, прорывается за городские стены. Ни одна капля влаги не освежила Оран, и после месяцев засухи он весь оброс серым налетом, лупившимся под порывами ветра. Ветер подымал тучи пыли и бумажек, с размаху льнувших к ногам прохожих, которых становилось все меньше. Те немногие, кого гнала из дома нужда, торопливо шагали, согнувшись чуть ли не вдвое, прикрыв рот ладонью или носовым платком. Теперь вечерами на улицах уже не толпился народ, стараясь продлить прожитый день, который

мог оказаться последним, теперь чаще попадались лишь отдельные группки людей, люди торопились вернуться домой или заглянуть в кафе, так что в течение недели с наступлением рано спускавшихся сумерек в городе стало совсем пусто, и только ветер протяжно и жалобно завывал вдоль стен. От беспокойного и невидимого отсюда моря шел запах соли и водорослей. И наш пустынный город, весь побелевший от пыли, перенасыщенный запахами моря, весь гулкий от вскриков ветра, стенал, как проклятый Богом остров.

До сих пор чума косила людей чаще всего не в центре, а в более населенных и не столь комфортабельных окраинных районах. Но вдруг оказалось, что она одним скачком приблизилась к деловым кварталам и прочно там воцарилась. Жители уверяли, что это ветер разносит семена инфекции. «Все карты смешал», — жаловался директор отеля. Но что бы там ни было, центральные кварталы поняли, что наступил их час, ибо теперь все чаще и чаще раздавался в ночи прерывистый гудок машин «скорой помощи», бросавших под самые окна унылый и бесстрастный зов чумы.

Кто-то додумался оцепить даже в самом городе несколько особенно пораженных чумой кварталов и выпускать оттуда только тех, кому это необходимо по соображениям работы. Те, кто попали в оцепление, естественно, рассматривали эту меру как выпад лично против них; во всяком случае, они в силу контраста считали жителей других кварталов свободными людьми. А эти свободные в свою очередь находили в трудную минуту некое утешение в сознании, что другие еще менее свободны, чем они. «Они еще покрепче под замком сидят» — вот в этой-то фразе выражалась тогда единственно доступная нам надежда.

Приблизительно в это же время началась серия пожаров, особенно в веселых кварталах у западных ворот Орана. Расследования показали, что по большей части это было делом рук людей, вернувшихся из карантина и потерявших голову от утрат и бед; они поджигали свои собственные дома, вообразив, будто в огне чума умрет. Приходилось вести нелегкую борьбу с этой усилившейся манией поджогов, представлявших серьезную опасность для целых кварталов, особенно при теперешнем шкваль-

ном ветре. После многочисленных, но, увы, бесполезных разъяснений, что дезинфекция, мол, произведенная по приказу городских властей, исключает всякую возможность заражения, пришлось прибегнуть к более крутым мерам в отношении этих без вины виноватых поджигателей. И без сомнения, не сама мысль попасть за решетку испугала этих горемык, а общая для всех жителей города уверенность, что приговоренный к тюремному заключению фактически приговаривается к смертной казни, так как в городской тюрьме смертность достигала неслыханных размеров. Безусловно, убеждение это имело кое-какие основания. По вполне понятным причинам чума особенно бушевала среди тех, кто в силу привычки или необходимости жил кучно, то есть среди солдат, монахов и арестантов. Ибо, несмотря на то что некоторые заключенные были изолированы, тюрьма все же является своеобразной общиной, и доказать это нетрудно — в нашей городской тюрьме стражники платили дань эпидемии наравне с арестованными. С точки зрения самой чумы, с ее олимпийской точки зрения, все без изъятия, начиная с начальника тюрьмы и кончая последним заключенным, были равно обречены на смерть, и, возможно, впервые за долгие годы в узилище царила подлинная справедливость.

И напрасно городские власти пытались ввести некие иерархические различия в это всеобщее уравнительство, возымев мысль награждать стражников, погибших от чумы при выполнении служебных обязанностей. Так как город был объявлен на осадном положении, можно было считать с известной точки зрения, что стражники мобилизованы, поэтому их посмертно награждали воинской медалью. Но если арестанты безропотно примирились с таким положением, то военные власти, напротив, взглянули на дело иначе и объявили не без основания, что эта мера способна внести прискорбную путаницу в умы оранцев. Просьбу военачальников уважили и решили было, что проще всего награждать погибших от чумы стражников медалью за борьбу с эпидемией. Но зло уже совершилось — нечего было и думать о том, чтобы отбирать воинские медали у стражников, погибших первыми, а военные власти продолжали отстаивать свою точку зрения. С другой стороны, медаль за борьбу с эпидемией имела

существенный недостаток: она не производила столь впечатляющего морального эффекта, как присвоение воинской награды, коль скоро в годину эпидемии получить медаль за борьбу с ней — дело довольно-таки обычное. Словом, все оказались недовольны.

К тому же тюремное начальство не могло действовать наподобие духовных властей и тем более военных. Монахи обоих имеющихся в городе монастырей были и в самом деле временно расселены по благочестивым семьям. И точно так же при первой возможности из казармы небольшими соединениями выводили солдат и ставили их на постой в школы или другие общественные здания. Получилось, что эпидемия, которая, казалось бы, должна была сплотить жителей города, как сплачиваются они во время осады, разрушала традиционные сообщества и вновь обрекала людей на одиночество. Все это вносило замешательство.

Мы не ошибемся, если скажем, что все эти обстоятельства плюс шквальный ветер и в иных умах тоже раздули пламя пожара. Снова ночью на городские ворота было совершено несколько налетов, но на сей раз небольшие группки атакующих были вооружены. С обеих сторон поднялась перестрелка, были раненые, и несколько человек сумели вырваться на свободу. Но караульные посты были усилены, и все попытки к бегству вскоре прекратились. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы по городу пронесся мятежный вихрь, в результате чего то там, то здесь разыгрывались бурные сцены. Люди бросались грабить горящие или закрытые по санитарным соображениям дома. Откровенно говоря, трудно предположить, что делалось это с заранее обдуманном намерением. По большей части люди, причем люди до того вполне почтенные, силою непредвиденных обстоятельств совершали неблагоприятные поступки, тут же вызывавшие подражание. Так, находились одержимые, которые врывались в охваченное пламенем здание на глазах оцепеневшего от горя владельца. Именно полное его безразличие побуждало зевак следовать примеру зачинщиков, и тогда можно было видеть, как по темной улице, освещенной лишь отблесками пожарища, разбегаются во все стороны какие-то тени, неузнаваемо искаженные последними вспышками пожара,

горбатые от взваленного на плечи кресла или тюка с одеждой. Именно из-за этих инцидентов городские власти вынуждены были приравнять состояние чумы к состоянию осады и прибегать к вытекающим отсюда мерам. Двух мародеров расстреляли, но сомнительно, произвела ли эта расправа впечатление на остальных, так как среди стольких смертей какие-то две казни прошли незамеченными — вот уж воистину капля в море. И по правде говоря, подобные сцены стали повторяться вновь, а власти делали вид, что ничего не замечают. Единственной мерой, которая, по-видимому, произвела впечатление на всех наших сограждан, было введение комендантского часа. После одиннадцати наш город, погруженный в полный мрак, словно окаменевал.

Под лунным небом он выставлял напоказ свои белевые стены и свои прямые улицы, нигде не перечеркнутые темной тенью дерева, и ни разу тишину не нарушили шаги прохожего или лай собаки. Огромный безмолвствующий город в такие ночи становился просто скоплением массивных и безжизненных кубов, а среди них лишь одни немотствующие статуи давно забытых благодетелей рода человеческого или навек загнанные в бронзу бывшие великие мира сего пытались своими лицами-масками, выполненными в камне или металле, воссоздать искаженный образ того, что было в свое время человеком. Эти кумиры средней руки красовались под густым августовским небом на обезлюдевших перекрестках, эти бесчувственные чурбаны достаточно полно олицетворяли собой то царство неподвижности, куда мы попали все скопом, или в крайнем случае — последний его образ, образ некрополя, где чума, камень и мрак, казалось, наконец-то задушили живой человеческий голос.

Но мрак царил также во всех сердцах; и легенды, и правда насчет практикуемой церемонии похорон вряд ли вселяли особую бодрость в наших сограждан. Ибо хочешь не хочешь, а надо рассказать о похоронах, и рассказчик заранее просит за это прощение. Он безропотно готов принять вполне законные упреки, но единственное его оправдание в том, что были же в течение всего этого периода похороны и что в какой-то мере он вынужден был,

как и все наши сограждане, заниматься похоронами. Во всяком случае, он вовсе не такой уж любитель подобных церемоний, напротив, он предпочитает общество живых, к примеру, пляж, морские купания. Но морские купания были запрещены, и общество живых с утра до ночи пребывало в страхе, как бы их не вытеснило общество мертвецов. Такова очевидность. Разумеется, можно было бы попытаться не видеть ее, закрыть глаза и начисто ее отрицнуть, но очевидность обладает чудовищной силой и всегда в конце концов восторжествует. Ну скажите сами, как можно отринуть похороны в тот день, когда те, которых вы любите, должны быть похоронены.

Так вот, самой характерной чертой нашего погребального обряда была поначалу быстрота. Все формальности упростились, и траурная церемония как таковая была отменена. Больные умирали не дома, не на глазах у близких, традиционные ночные бдения были запрещены, так что тот, кто, скажем, умирал к вечеру, проводил ночь в полном одиночестве, а того, кто умирал днем, старались поскорее зарыть. Семью, понятно, извещали, но в большинстве случаев родные не могли свободно передвигаться по городу, так как сидели в карантине, если они находились в контакте с больным. В тех же случаях, если покойный жил отдельно от родных, они являлись в указанный час, то есть к моменту отъезда на кладбище, когда тело было уже обмыто и положено в гроб.

Предположим, что подобная церемония происходила во вспомогательном лазарете, которым ведал доктор Риэ. Вход в школу находился позади главного здания. В большом подсобном помещении, выходящем в коридор, хранились гробы. В коридоре же семья обнаруживала один уже заколоченный гроб. И тут же переходили к основной части обряда, другими словами, давали главе семьи подписать нужные бумаги. Затем гроб ставили в закрытый автомобиль, иной раз это был самый обыкновенный фургон, иной раз специально оборудованная машина «скорой помощи». Родные рассаживались в такси, тогда еще не упраздненные, и весь кортеж галопом несся к кладбищу по окраинным улицам. У городских ворот жандармы останавливали кортеж, шлепали печать на официальный пропуск, без чего отныне не стало доступа к «последнему

месту упокоения», как выражались наши сограждане, пропускали машины, и они останавливались у четырехугольной площадки, изрытой многочисленными рвами, ожидавшими загрузки. Священник выходил встречать покойника, так как отпевание в церкви было отменено. Под чтение молитв из машины вытаскивали гроб, обвязывали его веревками, волокли волоком, и он, скользя в ров, стучался о дно; священник размахивал кадилом, и вот уже первые комья земли начинали барабанить по крышке. Фургон уезжал сразу же, так как ему полагалось пройти дезинфекцию; комья глины, падавшие с лопаты, звучали все глуше, а родственники тем временем уже рассаживались в такси. И через четверть часа они были дома.

Таким образом, все происходило поистине с максимальной быстротой и минимальным риском. И разумеется, по крайней мере в начале эпидемии, родные бывали оскорблены в своих самых естественных чувствах. Но во время чумы такие соображения в расчет не принимаются: жертвуют всем ради пользы дела. Впрочем, если поначалу дух нашего населения пострадал от подобной практики, поскольку желание быть похороненным прилично распространено гораздо шире, чем принято считать, то вскоре, к счастью, начались затруднения с продуктами питания, и жителей отвлекли более насущные заботы... Нас настолько поглощало многочасовое стояние в очередях, различные хлопоты и различные формальности, которые приходилось выполнять, ежели ты хочешь кушать, что у людей просто не оставалось времени размышлять о том, как умирают вокруг них и как сам ты умрешь, когда наступит твой час. Таким образом, материальные трудности, которые, вообще-то, сами по себе зло, обернулись, как это ни странно, благом. И все было бы к лучшему, если бы, как мы уже видели, эпидемия не распространилась столь широко.

Ибо гробы становились редкостью, для саванов не хватало полотна, на кладбище не хватало мест. Приходилось что-то предпринимать. Самое простое — все по тем же соображениям пользы — было объединять несколько похоронных церемоний в одну и, раз уж возникла такая необходимость, участить рейсы между лазаретом и погостом. Так, в распоряжении лазарета, руководимого доктором

Риэ, в наличии имелось к этому времени всего пять гробов. Когда все они бывали заполнены, их грузили в машину. На кладбище гробы опорожняли, трупы цвета ржавого железа клали на носилки и ставили в специально оборудованный сарай. Затем гробы обливали дезинфицирующим раствором, отвозили обратно в лазарет, и вся операция повторялась столько раз, сколько требовалось. Так что дело было поставлено образцово, и префект неоднократно выказывал свое удовлетворение. Он даже сказал Риэ, что видел в старинных летописях, посвященных чуме, рисунки, изображающие негров, которые отвозят на погост груды трупов в простых тележках, и что наша организация похорон куда совершеннее.

— Верно, — согласился Риэ, — похороны такие же, только нам-то еще приходится заполнять карточки. Так что прогресс налицо.

Несмотря на все достижения администрации в этой области, префектуре пришлось запретить родственникам присутствовать при погребении, так как со временем похоронный обряд превратился в довольно-таки неприглядную формальность. Родным разрешалось доходить только до кладбищенских ворот, да и то неофициально. И произошло это потому, что перемена коснулась в основном заключительной части погребения. В дальнем конце кладбища, на пустом еще пространстве, поросшем мастиковым деревом, вырыли два огромных рва. Один ров предназначался для мужчин, второй для женщин. Администрация в данном вопросе старалась еще придерживаться правил приличия и только уже значительно позже, силою обстоятельств, отказалась от последней попытки соблюдать благопристойность, и мертвецов стали хоронить кучно, вповалку, не разбирая мужчин и женщин, отбросив все заботы о целомудрии. К счастью, этот апокалипсический хаос был характерен только для последних этапов бедствия. В тот период, о котором идет речь, еще существовали отдельные могильные рвы, и префектура очень гордилась этим обстоятельством. На дне каждого из рвов булькала и шипела негашеная известь, налитая толстым слоем. На краю рвов лежали кучки такой же извести, и вздувавшиеся на них пузырьки лопались под воздействием свежего воздуха. Когда рейсы заканчивались, из сарая

выносили носилки, выстраивали их бок о бок, потом сбрасывали в ров почти вплотную друг к другу голые, чуть скрюченные тела и тут же заливали их новым слоем извести; потом довольно скупно засыпали ров землей, чтобы оставить место для будущих гостей. На следующий день вызывали родственников и предлагали им расписаться в книге регистраций, что подчеркивало разницу, существующую между людьми, которых всегда можно было контролировать, и, скажем, собаками.

Для всех этих операций требовался персонал, и каждый день возникала опасность, что его вот-вот не хватит. Большинство санитаров и могильщиков, в первое время профессионалов, а потом взятых со стороны, погибали от чумы. Зараза все равно брала свое, какие бы меры предосторожности ни принимались. Но если хорошенько вдуматься, самое удивительное было то, что во время всей эпидемии охотники все-таки находились. Критический период наступил незадолго до того, как кривая заболевания достигла потолка, и тревога доктора Риэ была тогда вполне законной. Рук не хватало ни для квалифицированной работы, ни, как он выражался, для черной. Но с той поры, когда чума по-хозяйски расположилась в городе, даже ее крайности в конечном счете пошли на пользу — из-за эпидемии разладилась вся экономическая жизнь Орана, а это, естественно, увеличило число безработных. Пополнять ими ряды специалистов в большинстве случаев не удавалось, но для черной работы они вполне годились. И в самом деле, именно в эти дни нищета оказалась сильнее страха, тем более что труд оплачивался в зависимости от степени риска. Санитарные службы располагали списками, куда были занесены ждущие работы, и, как только освобождалась вакансия, извещали первых, стоявших на очереди, и они неукоснительно являлись на вызов, если только за это время не исчезали из списка живых. Поэтому-то префекту, долго не решавшемуся использовать на подсобных работах заключенных пожизненно или на срок, удалось обойтись без этой крайней меры. Он считал, что, пока есть и будут безработные, вполне можно ждать.

Худо ли, хорошо ли, но до конца августа наши сограждане отходили в свое последнее жилище если не со-

всем как положено, зато в атмосфере образцового порядка, и власти, таким образом, пребывали в убеждении, что свой долг они выполняют. Но тут уместно немного опередить события и рассказать, к каким мерам вынуждена была прибегать под занавес служба, ведающая похоронами. Начиная с августа при тогдашнем взлете эпидемии количество жертв значительно превосходило возможности нашего скромного по размерам кладбища. И хотя часть ограды сняли, отдав в распоряжение мертвецов прилегающие участки, пришлось срочно изыскивать какие-то иные выходы. Поначалу решено было устраивать похороны ночью, что на первых порах избавляло персонал от излишней щепетильности — можно было набивать машины до отказа. И кое-кто из замешкавшихся горожан, после наступления комендантского часа находившихся на окраине вопреки запрету (или же вынужденных передвигаться ночью по роду своих занятий), нередко становились свидетелями того, как длинные, выкрашенные в белый цвет машины мчатся во весь опор и глухие гудки их будят эхо в черных провалах улиц. Затем трупы наспех бросали в ров. Они еще подпрыгивали от толчка, а шлепки извести уже расплывались по их лицам; земля покрывала без разбора всех этих безымянных, и их навсегда поглощали рвы, которые теперь рыли как можно глубже.

Спустя некоторое время пришлось, однако, искать новые пути и выйти на новые рубежи. По приказу префектуры были потревожены старые захоронения и останки бывших владельцев свезены к печам. Вскоре начали сжигать и трупы погибших от чумы. Для этой цели приспособили мусоросжигательную печь, находившуюся в восточной части города, уже за воротами. Посты отнесли дальше, а какой-то служащий мэрии значительно облегчил задачу администрации, присоветовав использовать для перевозки трупов трамваи, которые ходили раньше по горной дороге над морем, а сейчас стояли без употребления. Для этой цели в прицепах и моторных вагонах сняли сиденья и пустили трамваи до мусоросжигательной станции, которая и стала конечной остановкой на этой линии.

И в конце лета, и в самый разгар осенних ливней ежедневно можно было видеть, как глубокой ночью катит по

горной дороге страшный кортеж трамваев без пассажиров и побрякивает, позвякивает себе над морем. В конце концов жители пронюхали, в чем тут дело. И несмотря на то что патрули запрещали приближаться к карнизу, отдельным группам лиц все же удавалось, и удавалось часто, пробраться по скалам, о которые бились волны, и бросить цветы в прицепной вагон проходившего мимо трамвая. Тогда летними ночами до нас докатывалось лязганье трамвайных вагонов, груженных трупами и цветами.

А к утру, во всяком случае в первое время, густой тошнотворный дым окутывал восточные кварталы города. По единодушному утверждению врачей, эти испарения, пусть даже весьма неприятные, не приносили никакого вреда. Но обитатели этих кварталов немедленно объявили, что покидают насиженные места, так как верили, будто чума валится на них с неба; пришлось поэтому воздвигнуть сложную систему дымоуловителей, и люди тогда успокоились. Только в дни шквальных ветров зловонная волна, идущая с востока, напоминала нам, что теперь все мы живем при новом порядке и что пламя чумы ежевечерне требует своей дани.

Таковы были последствия чумы в ее апогее. Но к счастью, эпидемия стабилизировалась, ибо, надо думать, фантазия отцов города, изобретательность префектуры, издающей приказы, и даже пропускная способность печи уже истощились. Риэ слышал, что выдвигаются еще новые проекты, продиктованные отчаянием, например кто-то предложил бросать трупы в море, и воображение доктора без труда нарисовало страшную пену, вскипавшую на синих водах. Знал он также, что если число смертных случаев будет расти, любая, даже самая безупречная организация окажется бессильной, люди станут умирать кучно, а трупы вопреки всем ухищрениям префектуры будут разлагаться прямо на улицах, и город увидит еще, как на площадях и бульварах умирающие будут цепляться за живых, движимые вполне объяснимой ненавистью и глупейшей надеждой.

Во всяком случае, вот эта-то очевидность или опасения поддерживали в наших согражданах ощущение изгнания и отъединения. С этой точки зрения очень при-
скорбно — и рассказчик сам прекрасно это понимает, —

что ему не удалось украсить свою хронику достаточно эффектными страницами, например, нарисовать всееляющий бодрость образ героя или какой-нибудь из ряда вон выходящий поступок, вроде тех, что встречаются в старинных хрониках. Ибо нет ничего менее эффектного, чем картина бедствия, и самые великие беды монотонны именно в силу своей протяженности. В памяти тех, кто пережил страшные дни чумы, они остались не в образе грозного и беспощадного пожара, а скорее уж как нескончаемое топтание на месте, все подминающее под себя.

Нет, чума не имела ничего общего с теми впечатляющими картинками, которые преследовали доктора Риэ в самом начале эпидемии. Прежде всего чума была неким административным механизмом, осмотрительным, безупречным, во всяком случае функционирующим безукоризненно. Рассказчик, заметим в скобках, боясь погрешить против истины, а главное — погрешить против самого себя, стремился в первую очередь к объективности. Почти ничем не поступился он ради красот стиля, если, конечно, не считать примитивных требований связности изложения. И как раз объективность велит ему сейчас сказать, что если самым великим страданием этой эпохи, самым общим для всех и самым глубоким была разлука, если необходимо дать с полной чистосердечностью новое описание этой стадии чумы, то все же не надо скрывать, что страдания эти уже теряли свой первоначальный пафос.

Уж не начали ли привыкать наши сограждане, хотя бы те, что сильнее всего страдали от этой беды, к своему положению? Было бы несправедливо утверждать это со всей категоричностью. Куда точнее будет сказать, что не только в физическом, но и моральном смысле они страдали в первую очередь от бесплотности своих представлений. В начале эпидемии воображение четко рисовало себе близкое существо, с которым они расстались и о котором тосковали. Но если они ясно помнили любимое лицо, знакомый смех, тот или иной день, впоследствии осознанный как день счастья, то они с трудом представляли себе, что могут любимые делать там, в таком далеком краю, как раз в ту минуту, когда о них думают. В общем, в этот период у них работала память, но славало воображение. А на второй стадии чумы угасла и память. Не то чтобы

они забыли дорогое лицо, нет, но образ стал бесплотным, что, в сущности, одно и то же, и они уже не находили его в глубинах своей души. В первые недели эпидемии они жаловались, что их любовь со всем ее многообразием обращена к теням, а потом вдруг убедились, что и тени-то могут, оказывается, стать еще более бесплотными, что тускнеет все, вплоть до мельчайших оттенков, свято хранимых памятью. Так что к концу этой бесконечной разлуки они уже не в силах были представить себе ни былой близости, ни того, как они жили раньше подле милого существа, которого в любую минуту можно было коснуться рукой.

Если смотреть на дело с этой точки зрения, они включились в распорядок чумы, вполне будничной и поэтому особенно действенный. Ни у кого из нас уже не сохранилось великих чувств. Зато все в равной мере испытывали чувства бесцветные. «Скорее бы все это кончилось», — говорили наши сограждане, потому что в период бедствий вполне естественно желать конца общих страданий, а еще и потому, что они действительно хотели, чтобы это кончилось. А говорилось это без прежнего пыла и без прежней горечи, и обосновывалось это мотивами, уже малоубедительными, но пока еще понятными. На смену яростному порыву первых недель пришло тупое оцепенение, которое не следует путать с покорностью, хотя оно все же было чем-то вроде временного принятия.

Наши сограждане подчинились или, как принято говорить, приспособились, потому что иного выхода не было. Понятно, внешне они выглядели людьми, сраженными горем и страданиями, но уже не чувствовали первоначальной их остроты. Впрочем, доктор Риз, например, считал, что именно это-то и есть главная беда и что привычка к отчаянию куда хуже, чем само отчаяние. Раньше жившие в разлуке были несчастны не до конца, в их муках было какое-то озарение, ныне уже угасшее. А теперь где бы их ни встречали: на перекрестке, у друзей или в кафе, невозмутимых и немного рассеянных, взгляд у них был такой скучающий, что весь наш город казался сплошным залом ожидания. Те, у которых были какие-то занятия, выполняли их в ритме самой чумы — тщательно и без блеска. Все стали скромниками. Впервые разлученные без всяко-

го неприятного осадка беседовали со знакомыми о своем отсутствующем, пользовались стертыми словами, оценивали свою разлуку под тем же углом, что и цифры смертности. Даже те, кто до сих пор яростно старался не смешивать своих страданий с общим горем, даже те шли теперь на это уравнительство. Лишенные памяти и надежды, они укоренялись в настоящем, в сегодняшнем дне. По правде говоря, все в их глазах становилось сегодняшним. Надо сказать, что чума лишила всех без исключения способности любви и даже дружбы. Ибо любовь требует хоть капельки будущего, а для нас существовало только данное мгновение.

Само собой разумеется, все это несколько огрублено. Ибо если верно, что все тоскующие в разлуке дошли до этого состояния, то справедливости ради добавим, что дошли не все в одно и то же время, что, хотя они сжились со своим новым положением, порой внезапные озарения, неожиданные возвраты, случайные просветления вновь и вновь возрождали всю свежесть и ранимость чувств. Им необходимы были эти минуты, когда, отвлекшись от злобы дня, они строили планы так, словно чума уже прекратилась. Необходимы были внезапные уколы беспредметной ревности, и это было благодеянием. Да и другие тоже переживали эту неожиданную полосу возрождения, скидывали с себя оцепенелость, хотя бы в известные дни недели, конечно в первую очередь в воскресенье и в субботний вечер, потому что дни эти во времена отсутствующего были связаны с каким-нибудь семейным ритуалом. Или, случалось, тоска, охватывавшая их к вечеру, давала им надежду, впрочем не всегда оправдывавшуюся, что к ним вернется память. Тот вечерний час, когда верующие католики придиричиво вопрошают свою совесть, этот вечерний час тяжел для узника или изгнанника, которым некого вопрошать, кроме пустоты. На какой-то миг они воспряли, но затем они снова впадали в состояние бесчувственности, замыкались в чуме.

Читатель, очевидно, уже догадался, что это означало полный отказ от самого личного. Тогда, в первые дни эпидемии, их уязвляли какие-нибудь пустяки, не имевшие для других никакого смысла, и именно благодаря сумме этих пустяков, столь важных для них, они накап-

дивали опыт личной жизни, а теперь, напротив, их интересовало лишь то, что интересовало всех прочих, они вращались в круге общих идей и даже сама любовь приобрела абстрактное обличье. Они до такой степени предали себя в руки чумы, что подчас, случалось, надеялись только на даруемый ею сон и ловили себя на мысли: «Пусть бубоны, только бы все кончилось». Но они уже и так спали, и весь этот долгий этап был фактически долгим сном. Город был заселен полупроснувшимися сонями, которым удавалось вырваться из пут судьбы лишь изредка, обычно ночью, когда их с виду затянувшиеся раны вдруг открывались. И грубо пробужденные, они как-то рассеянно касались воспаленных губ, обнаруживая, словно при вспышке молнии, свое омоложенное страдание, а вместе с ним растревоженный лик своей любви. А поутру они покорно подставляли шею бедствию, то есть рутине.

Но, спросит читатель, как выглядели эти мученики разлуки? Да очень просто — никак. Или, если угодно, как и все, приобрели некий общий для нас вид. Они, как и весь город, жили в состоянии ребячливого благодушия и суеты. Они утратили видимость критического чувства, приобретя при этом видимость хладнокровия. Например, нередко можно было наблюдать, как самые, казалось бы, светлые головы притворялись, будто по примеру всех прочих ищут в газетах или в радиопередачах обнадеживающие намеки на близкое окончание эпидемии, загорались химерическими надеждами или же, напротив, испытывали ни на чем не основанный страх, читая рассуждения какого-нибудь досужего журналиста, написанные просто так, с зевком на губах. А во всем остальном они пили свое пиво или выхаживали своих больных, ленились или лезли вон из кожи, составляя статистические таблицы, или ставили пластинки и только этим отличались друг от друга. Иными словами, они уже ничего не выбирали. Чума лишила их способности оценочных суждений. И это было видно хотя бы по тому, что никто уже не интересовался качеством покупаемой одежды или пищи. Принимали все без разбора.

Чтобы покончить с этим вопросом, добавим, что мученики разлуки лишились любопытной привилегии, поначалу служившей им защитой. Они утратили эгоизм

любви и все вытекающие отсюда преимущества. Зато теперь положение стало ясным, бедствие касалось всех без изъятия. Все мы под стрельбу, раздававшуюся у городских ворот, под хлопанье штемпелей, определяющих ритм нашей жизни и наших похорон, среди пожаров и регистрационных карточек, ужаса и формальностей, осужденные на постыдную, однако зарегистрированную по всей форме кончину, среди зловещих клубов дыма и невозмутимых сирен «скорой помощи», — все мы в равной степени вкушали хлеб изгнания, ожидая неведомо для себя потрясающего душу воссоединения и умиротворения. Понятно, наша любовь была по-прежнему с нами, только она была ни к чему не приложима, давила всех нас тяжелым бременем, вяло гнездилась в наших душах, бесплодная, как преступление или смертный приговор. Наша любовь была долготерпением без будущего и упрямым ожиданием. И с этой точки зрения поведение кое-кого из наших сограждан приводило на память длинные очереди, собиравшиеся во всех концах города перед продовольственными магазинами. И тут и там — та же способность смиряться и терпеть, одновременно беспредельная и лишенная иллюзий. Надо только умножить это чувство в тысячу раз, ибо здесь речь идет о разлуке, об ином голоде, способном пожрать все.

Во всяком случае, если кто-нибудь захочет иметь точную картину умонастроения наших мучеников разлуки, проще всего вновь вызвать в воображении эти пыльно-золотые нескончаемые вечера, спускавшиеся на лишенный зелени город, меж тем как мужчины и женщины растекались по всем улицам. Ибо как это ни странно, но из-за отсутствия городского транспорта и автомобилей вечерами к еще позлащенным солнцем террасам подымался уже не прежний шорох шин и металлическое треньканье — обычная мелодия городов, — а равномерный, нескончаемый шорох шагов и приглушенный гул голосов, скорбное шарканье тысяч подбшв в ритм свисту бича в душном небе, непрерывное, хватающее за горло топтанье, которое мало-помалу заполняло весь Оран и которое вечер за вечером становилось голосом, точным и унылым голосом слепого упорства, заменившего в наших сердцах любовь.

Часть четвертая

В течение сентября и октября чума по-прежнему подминала под себя город. Поскольку мы уже упоминали о топтании, следует заметить, что многие сотни тысяч людей топтались так в течение бесконечно долгих недель. Небо слало то туман, то жару, а то дождевые тучи. Безмолвные стаи дроздов и скворцов, летевших с юга, проносились где-то высоко-высоко, но упорно обходили стороной наш город, словно тот самый бич, о котором говорил отец Панлю, это деревянное копье, со свистом крутящееся над крышами домов, держало их на почтительном расстоянии от Орана. В начале октября ливневые дожди начисто смыли пыль с улиц. И в течение всего этого периода ничего существенного не произошло, если не считать тупого, неутраченного топтания.

Тут только обнаружилось, до какой степени устали Риэ и его друзья. И в самом деле, члены санитарных дружин уже не в силах были справиться с этой усталостью. Доктор Риэ заметил это, наблюдая, как прогрессирует в нем самом, да и во всех его друзьях, какое-то странное безразличие. Так, к примеру, эти люди, которые раньше с живейшим интересом прислушивались ко всем новостям касательно чумы, вовсе перестали интересоваться этим. Рамбер — ему временно поручили один из карантинных, расположенный в их отеле, — с закрытыми глазами мог назвать число своих подопечных. Мог он также в мельчайших подробностях рассказать о системе экстренной перевозки, организованной им для тех, у кого внезапно обнаруживались симптомы заболевания. Статистические данные о действии сыворотки на людей, содержащихся в карантине, казалось, навсегда врезались в его память. Но

он не был способен назвать ежедневную цифру жертв, унесенных чумой, он действительно не имел представления, идет ли болезнь на убыль или нет. И вопреки всему этому он лелеял надежду на побег из города в самые ближайшие дни.

Что касается других, отдававших работе и дни и ночи, то они уже не читали газет, не включали радио. И если им сообщали очередные статистические данные, они притворялись, что слушают с интересом, на самом же деле принимали эти сведения с рассеянным безразличием, какое мы обычно числим за участниками великих войн, изнуренных бранными трудами, старающихся только не ослабеть духом при выполнении своего ежедневного долга и уже не надеющихся ни на решающую операцию, ни на скорое перемирие.

Гран, продолжавший вести столь важные во время чумы подсчеты, был явно не способен назвать общие итоги. В отличие от Тарру, Рамбера и Риэ, еще не окончательно поддавшихся усталости, здоровьем Гран никогда похвастаться не мог. А ведь он совмещал свои функции в мэрии с должностью секретаря у Риэ да еще трудился ночью для себя самого. Поэтому он находился в состоянии полного упадка сил, и поддерживали его две-три почти маниакальные идеи, в частности, он решил дать себе после окончания эпидемии полный отдых хотя бы на неделю и трудиться только ради своего «шапки долой» — по его словам, дело уже идет на лад. Временами на него накатывало необузданное умиление, и в этих случаях он долго и много говорил с доктором Риэ о своей Жанне, старался догадаться, где она может находиться сейчас и думает ли она о нем, читая газеты. Именно беседуя с ним, доктор Риэ поймал себя на том, что и сам говорит о своей жене какими-то удивительно пошлыми словами, чего за ним до сих пор не водилось... Не слишком доверяя успокоительным телеграммам жены, он решил протелеграфировать непосредственно главному врачу санатория, где она находилась на излечении. В ответ он получил извещение, что состояние больной ухудшилось, и одновременно главный врач заверял супруга, что будут приняты все меры, могущие приостановить развитие болезни. Риэ хранил эту весть про себя и только состоянием крайней усталости мог объяс-

нить то, что решился рассказать о телеграмме Грану. Сначала Гран многословно говорил о своей Жанне, потом спросил Риэ о его жене, и тот ответил. «Знаете, — сказал Гран, — в наше время такие болезни прекрасно лечат». И Риэ подтвердил, что лечат действительно прекрасно, и добавил, что разлука, по его мнению, слишком затянулась и что его присутствие, возможно, помогло бы жене успешнее бороться с недугом, а что теперь она, должно быть, чувствует себя ужасно одинокой. Потом он замолк и уклончиво отвечал на дальнейшие расспросы Грана.

Другие находились примерно в таком же состоянии. Тарру держался более стойко, чем остальные, но его записные книжки доказывают, что если его любознательность и не потеряла своей остроты, то, во всяком случае, круг наблюдений сузился. Так, в течение всего этого периода он интересовался, пожалуй, одним лишь Коттаром. Вечерами у доктора — Тарру пришлось переселиться к Риэ после того, как их отель отвели под карантин, только из вежливости он слушал Грана или доктора, сообщающих о результатах своей работы. И старался поскорее перевести разговор на незначительные факты оранской жизни, которые обычно его интересовали.

В тот день, когда Кагель пришел к Риэ объявить, что сыворотка готова, и они после обсуждения решили испробовать ее впервые на сынишке следователя Отона, только что доставленном в лазарет, — хотя Риэ лично считал, что случай безнадежный, хозяин дома, сообщая своему престарелому другу последние статистические данные, вдруг заметил, что его собеседник забылся глубоким сном, привалившись к спинке кресла. И, вглядываясь в эти черты, вдруг утратившие обычное выражение легкой иронии, отчего Кагель казался не по возрасту молодым, заметив, что из полуоткрытого рта стекает струйка слюны, так что на этом сразу обмякшем лице стали видны пометы времени, старость, Риэ почувствовал, как болезненно сжалось его горло.

Именно такие проявления слабости показывали Риэ, до чего он сам устал. Чувства выходили из повиновения. Туго стянутые, зачерствевшие и иссохшие, они временами давали трещину, и он оказывался во власти эмоций, над которыми уже не был хозяином. Надежным способом

защиты было укрыться за этой броней очерствелости и потуже стянуть этот давящий где-то внутри узел. Он отлично понимал, что это единственная возможность продолжать. А что касается всего прочего, то у него уже почти не оставалось иллюзий, и усталость разрушала те, что еще сохранялись. Ибо он сознавал, что на данном этапе, границ которого и сам не сумел бы установить, он покончил с функцией целителя. Теперь его функцией стала диагностика. Определять, видеть, описывать, регистрировать, потом обрекать на смерть — вот какое у него было сейчас занятие. Жены хватали его за руки, вопили: «Доктор, спасите его!» Но он приходил к больному не затем, чтобы спасти его жизнь, а чтобы распорядиться о его изоляции. И ненависть, которую он читал на лицах, ничего не могла изменить. «У вас нет сердца!» — однажды сказали ему. Да нет же, сердце у него как раз было. И билось оно затем, чтобы помогать ему в течение двадцати часов в сутки видеть, как умирают люди, созданные для жизни, и назавтра начинать все сначала. Отныне сердца только на это и хватало. Как же могло его хватить на спасение чьей-то жизни?

Нет, в течение дня не помощь он давал, а справки. Разумеется, трудно назвать такое занятие ремеслом человека. Но кому в конце концов среди этой запуганной, изрядно поредевшей толпы дана была роскошь заниматься своим человеческим ремеслом? Счастье еще, что существовала усталость. Будь Риэ не так замотан, этот запах смерти, разлитый повсюду, возможно, способен был пробудить в нем сентиментальность. Но когда спишь по четыре часа в сутки, тут уж не до сантиментов. Тогда видишь вещи в их истинном свете, иными словами, в свете справедливости, этой мерзкой и нелепой справедливости. И те, другие, обреченные, те тоже хорошо это чувствовали. До чумы люди встречали его как спасителя. Сейчас он даст пяток пилюль, сделает укол — и все будет в порядке, и, провожая доктора до дверей, ему благодарно жали руку. Это было лестно, однако чревато опасностями. А теперь, напротив, он являлся в сопровождении солдат, и приходилось стучать в двери прикладом, чтобы родные больного решились наконец отпереть. Им хотелось бы его, да и все человечество, утащить с собой в могилу. Ох! Совер-

шенно верно, не могут люди обходиться без людей, верно, что Риэ был так же беспомощен, как эти несчастные, и что он вполне заслуживал того же трепета жалости, который беспрепятственно рос в нем после ухода от больных.

Таковы, по крайней мере в течение этих бесконечно долгих недель, были мысли, которым предавался доктор Риэ, перемежая их другими, порожденными состоянием разлуки. Отблески тех же мыслей он читал на лицах своих друзей. Однако самым роковым следствием истощения и усталости, завладевшей постепенно всеми, кто боролся против бедствия, было даже не безразличие к событиям внешнего мира и к эмоциям других, а общее для всех небрежение, какому они поддавались. Ибо все они в равной степени старались не делать ничего лишнего, а только самое необходимое и считали, что даже это выше их сил. Поэтому-то борцы с чумой все чаще и чаще пренебрегали правилами гигиены, которую сами же ввели, по забывчивости манкировали дезинфицирующими средствами, подчас мчались, не приняв мер предосторожности против инфекции, к больным легочной чумой, только потому, что их предупредили в последнюю минуту, а им казалось утомительным заворачивать по дороге еще и на медицинский пункт, где бы им сделали необходимое вливание. Именно здесь таилась подлинная опасность, так как сама борьба с чумой делала борцов особенно уязвимыми для заражения. В сущности, они ставили ставку на случай, а случай он и есть случай.

И все же в городе оставался один человек, который не выглядел ни усталым, ни унылым и скорее даже являл собой олицетворенный образ довольства. И человеком этим был Коттар. Он по-прежнему держался в стороне, но отношений с людьми не порывал. Особенно он привязался к Тарру и при первой же возможности, когда тот бывал свободен от своих обязанностей, старался его повидать, потому что, с одной стороны, Тарру находился в курсе всех его дел и, с другой, потому что Тарру умел приветить комиссионера своей неистощимой сердечностью. Пожалуй, это было чудо, и чудо не кончавшееся, но Тарру, несмотря на свой адов труд, был, как всегда, доброжелателен и внимателен к собеседнику. Если даже иной

раз к вечеру он буквально валился с ног от усталости, то утрами просыпался с новым запасом энергии. «С ним, — уверял Коттар Рамбера, — можно говорить, потому что он настоящий человек. Все всегда понимает».

Вот почему в этот период в записных книжках Тарру все чаще и чаще возвращается к Коттару. Тарру пытался воспроизвести полную картину переживаний и размышлений Коттара в том виде, как Коттар ему их поведал, или так, как сам Тарру их воспринял. Под заголовком «Заметки о Коттаре и о чуме» эти описания заняли несколько страниц записной книжки, и рассказчик считает небесполезным привести их здесь в выдержках. Свое общее мнение о Коттаре Тарру сформулировал так: «Вот человек, который растет». Впрочем, рос не столько он, сколько его бодрость духа. Он был даже доволен поворотом событий. Нередко он выражал перед Тарру свои заветные мысли в следующих словах: «Конечно, не все идет гладко. Но зато хоть все мы в одной яме сидим».

«Разумеется, — добавлял Тарру, — ему грозит та же опасность, что и другим, но, подчеркиваю, именно что и другим. И к тому же он вполне серьезно считает, что зараза его не возьмет. По-видимому, он, что называется, живет идеей, причем не такой уж глупой, что человек, больной какой-нибудь опасной болезнью или находящийся в состоянии глубокого страха, в силу этого защищен от других недугов или от страхов. «А вы заметили, — как-то сказал он, — что болезни вместе не уживаются? Предположим, у вас серьезный или неизлечимый недуг, ну рак, что ли, или хорошенький туберкулез, так вот, вы никогда не подцепите чумы или тифа — это исключено. Впрочем, можно пойти еще дальше: видели ли вы хоть раз в жизни, чтобы больной раком погибал в автомобильной катастрофе!» Ложная эта идея или верная, но она неизменно поддерживает в Коттаре бодрое расположение духа. Единственное, чего он хочет, — это не отделяться от людей. Он предпочитает жить в осаде вместе со всеми, чем стать арестантом в единственном числе. Во время чумы не до секретных расследований, досье, тайных инструкций и неизбежных арестов. Собственно говоря, полиции больше не существует, нет старых или новых преступлений, нет виновных, а есть только осужденные на смерть, неиз-

вестно почему ожидающие помилования, в том числе сами полицейские». Таким образом, по словам Тарру, Коттар склонен смотреть на симптомы страха и растерянности, пример коих являли наши сограждане, с каким-то снисходительным пониманием и удовлетворением, которое можно бы выразить следующей формулой: «Что ни говори, а я еще до вас все эти удовольствия имел».

«Напрасно я ему твердил, что единственный способ не отделяться от людей — это прежде всего иметь чистую совесть. Он злобно взглянул на меня и ответил: «Ну, знаете, если так, то люди всегда врозь». И добавил: «Говорите что хотите, но я вам вот что скажу: единственный способ объединить людей — это наслать на них чуму. Да вы оглянитесь вокруг себя!» И, откровенно говоря, я прекрасно понимаю, что он имеет в виду и какой, должно быть, удобной кажется ему наша теперешняя жизнь. Он на каждом шагу видит, что реакция других на события вполне совпадает с тем, что пережил он сам; так, каждому хочется, чтобы все были с ним заодно; отсюда любезность, с какой подчас объясняешь дорогу заблудившемуся прохожему, и неприязнь, какую проявляешь к нему в других случаях, и толпы, спешащие попасть в роскошные рестораны, и удовольствие сидеть и сидеть себе за столиком; беспорядочный наплыв публики в кино, бесконечные очереди за билетами, переполненные залы театров и даже дансингов. Одним словом, девятый вал во всех увеселительных заведениях; боязнь любых контактов и жажда человеческого тепла, толкающая людей друг к другу, локоть к локтю, один пол к другому. Ясно, Коттар испытал все это раньше прочих. За исключением, пожалуй, женщин, потому что с таким лицом, как у него... Я подозреваю даже, что ему не раз приходила охота отправиться к девочкам, но он отказывал себе в этом удовольствии потому, что все это, мол, неблагоприятно и может сослужить ему впоследствии плохую службу.

Короче, чума ему на руку. Человека одинокого и в то же время тяготящегося своим одиночеством она превращает в сообщника. Ибо он явный сообщник, сообщник, упивающийся своим положением. Он соучастник всего, что попадает в поле его зрения: суеверий, непозволительных страхов, болезненной уязвимости встревоженных душ,

их маниакального нежелания говорить о чуме и тем не менее говорить только о ней, их почти панического ужаса и бледности при пустяковой мигрени, потому что всем уже известно, что чума начинается с головной боли, и, наконец, их повышенной чувствительности, раздражительной, переменчивой, истолковывающей забывчивость как кровную обиду, а потерю пуговицы от брюк чуть ли не как катастрофу».

Теперь Тарру часто случалось проводить вечера с Коттаром. Потом он записывал, как они вдвоем ныряли в толпу, обесцвеченную сумерками или мраком, зажатые чужими плечами, погружались в эту бело-черную массу, лишь кое-где прорезанную светом фонарей, и шли вслед за человеческим стадом к жгучим развлечениям, защищающим от могильного холода чумы. Те мечты, которые лелеял Коттар всего несколько месяцев назад и не мог их удовлетворить, то, чего он искал в общественных местах, а именно роскошь и широкую жизнь, возможность предаваться необузданным наслаждениям, — как раз к этому и стремился сейчас целый город. И хотя теперь цены буквально на все неудержимо росли, у нас никогда еще так не швыряли деньгами, и, хотя большинству не хватало предметов первой необходимости, никто не жалел средств на различные ненужности и пустяки. Широко распространились азартные игры, на которые так падка праздность. Однако в нашем случае праздность была просто безработицей. Иной раз Тарру с Коттаром долго шагали за какой-нибудь парочкой, которая раньше пыталась бы скрыть свои чувства, а теперь и он и она упорно шли через весь город, тесно прижавшись друг к другу, не видя окружающей толпы, с чуточку маниакальной рассеянностью, свойственной великим страстям. Коттар умилялся. «Ну и штукар!» — говорил он. Он повышал голос, весь расцветал среди этой всеобщей лихорадки, королевских чаевых, звенящих вокруг, и интрижек, завязывающихся на глазах у всех.

Между тем Тарру отмечал, что в поведении Коттара никакой особой злобности не чувствовалось. Его «Я все это еще до них знал» — свидетельство скорее о несчастье, чем о торжестве. «Думаю даже, — писал Тарру, — что он постепенно начинает любить этих людей, заточенных меж-

ду небом и стенами их родного города. К примеру, он бы охотно объяснил им, конечно если бы мог, что вовсе это не так уж страшно. «Нет, вы только их послушайте, — говорил он мне, — после чумы я, мол, то-то и то-то сделаю... Сидели бы спокойно, не отравляли бы себе жизнь. Своей выгоды не понимают. Вот я, разве я говорил: «После ареста сделаю то-то и то-то»? Арест — это самое начало, а не конец. Зато чума... Хотите знать мое мнение? Они несчастливы потому, что не умеют плыть по течению. Я-то знаю, что говорю».

И в самом деле, он знает, — добавлял Тарру. — Он совершенно правильно оценивает противоречия, раздражающие наших оранцев, которые ощущают глубочайшую потребность в человеческом тепле, сближающем людей, и в то же самое время не могут довериться этому чувству из-за недоверия, отдаляющего их друг от друга. Слишком нам хорошо известно, что не следует чересчур полагаться на соседа, который, того гляди, наградит вас чумой, воспользуется минутой вашей доверчивости и заразит вас. Если проводить время так, как проводил его Коттар, то есть видеть потенциальных осведомителей во всех тех людях, общества которых ты сам добивался, то можно понять это состояние. Нельзя не сочувствовать людям, живущим мыслью, что чума не сегодня завтра положит руку тебе на плечо и что, может, как раз в эту самую минуту она готовится к прыжку, а ты вот радуешься, что пока еще цел и невредим. В той мере, в какой это возможно, он чувствует себя вполне уютненько среди всеобщего ужаса. Но так как все это он перечувствовал задолго до нас, думаю, он не способен в полной мере осознать вместе с нами всю жестокость этой неуверенности. Короче, в обществе всех нас, пока еще не умерших от чумы, он прекрасно ощущает, что его свобода и жизнь ежедневно находятся накануне гибели. Но коль скоро он сам прошел через это состояние ужаса, он считает вполне естественным, чтобы и другие тоже узнали его. Или, точнее, если бы он был один в таком положении, переносить это состояние ужаса ему было бы куда мучительнее. Тут он, конечно, не прав, и понять его труднее, чем прочих. Но именно в этом пункте он больше, чем прочие, заслуживает труда быть понятым».

Записи Тарру оканчиваются рассказом, ярко иллюстрирующим это особое умонастроение, которое возникало одновременно и у Коттара, и у зачумленных. Рассказ этот в какой-то мере воссоздает тяжкую атмосферу этого периода, и вот почему рассказчик считает его важным.

Оба они отправились в городской оперный театр, где давали глюковского «Орфея». Коттар пригласил с собой Тарру. Дело в том, что весной, перед самым началом эпидемии, в наш город приехала оперная труппа, рассчитывавшая дать несколько спектаклей. Отрезанная чумой от мира, труппа, по согласованию с дирекцией нашей оперы, вынуждена была давать спектакль раз в неделю. Таким образом, в течение нескольких месяцев каждую пятницу наш городской театр оглашали мелодичные жалобы Орфея и бессильные призывы Эвридики. Однако спектакль неизменно пользовался успехом у зрителей и давал полные сборы. Усевшись на самые дорогие места в бенуаре, Тарру с Коттаром могли сверху любоваться переполненным партером, где собрались наиболее элегантные наши сограждане. Входящие явно старались как можно эффектнее обставить свое появление. В ослепительном свете рампы, пока музыканты под сурдинку настраивали свои инструменты, четко вырисовывались силуэты,двигающиеся от ряда к ряду, грациозно раскланивающиеся со знакомыми. Под легкий гул светских разговоров мужчины разом обретали уверенность, какой им так не хватало всего час назад на темных улицах города. Чума отступала перед фраком.

Все первое действие Орфей легко, не форсируя голоса, жаловался на свой удел, несколько девиц в античных туниках изящными жестами комментировали его злосчастье, и любовь воспевалась в ариеттах. Зал реагировал тепло, но сдержанно. Вряд ли публика заметила, что в арию второго действия Орфей вводит не предусмотренное композитором тремоло и с чуть повышенным пафосом молит владыку Аида тронуться его слезами. Кое-какие чересчур судорожные жесты знатоки сочли данью стилизации, что, по их мнению, обогащало интерпретацию певца.

Только во время знаменитого дуэта Орфея с Эвридикой в третьем акте (когда Эвридика ускользает от своего возлюбленного) легкий трепет удивления прошел по залу.

И словно певец специально ждал этого тревожного шевеления в публике, или, вернее, невнятный рокот голосов, дошедший из партера до сцены, внезапно подтвердил то, что он смутно чувствовал, только выбрал этот момент, чтобы нелепейшим образом шагнуть к рампе, растопырив под своей античной туникой руки и ноги, и рухнуть среди пасторальных декораций, которые и всегда-то казались анахронизмом, но сейчас в глазах зрителей впервые стали по-настоящему зловеще анахроничными. Ибо в то же самое время оркестр вдруг смолк, зрители партера, поднявшись с мест, стали медленно и молча выходить из зала, как выходят после мессы из церкви или из комнаты, где лежит покойник, к которому приходят отдать последний долг: дамы — подобрав юбки, опустив головы, а кавалеры — поддерживая своих спутниц за локоть, чтобы уберечь их от толчков откидных стульев. Но мало-помалу движение ускорилося, шепот перешел в крик, и толпа хлынула к запасным выходам. У дверей началась давка, послышались вопли. Коттар и Тарру только поднялись и стояли теперь лицом к лицу с тем, что было одним из аспектов нашей теперешней жизни: чума на сцене в облике бившегося в судорогах лицедея, а в зале вся ненужная теперь роскошь в образе забытых вееров и кружевных косынок, цеплявшихся за алый бархат кресел.

В течение первой недели сентября Рамбер всерьез впрягся в работу и помогал Риэ. Он только попросил доктора дать ему выходной в тот день, на который была назначена встреча у здания мужского лицея с Гонсалесом и братьями.

В полдень Гонсалес и журналист еще издали увидели братьев, чему-то на ходу смеявшихся. Братья заявили, что в прошлый раз им ничего не удалось сделать, что, впрочем, не было неожиданным. Так или иначе, на этой неделе они не дежурят. Придется подождать следующей. Тогда и начнем все сначала. Рамбер сказал, что вот именно сначала. Тут Гонсалес предложил встретиться в будущий понедельник. Но тогда уж Рамбера поселят у Марсея и Луи. «Мы с тобой только вдвоем встретимся. Если я почему-либо не приду, топай прямо к ним. Сейчас тебе объяснят, куда идти». Но Марсель, а может, Луи, сказал,

что проще всего отвести сейчас же их приятеля к ним. Если Рамбер не слишком переборчивый, его там и накормят, еды хватит на четверых. А он таким образом войдет в курс дела. Гонсалес подтвердил: мысль и в самом деле блестящая, и все четверо двинулись к порту.

Марсель и Луи жили в самом конце Флотского квартала, возле ворот, выходявших на приморское шоссе. Домик у них был низенький, в испанском стиле, с толстыми стенами, с ярко раскрашенными деревянными ставнями, а в комнатах было пусто и прохладно. Мать мальчиков, старуха испанка, с улыбочатым, сплошь морщинистым лицом, подала им вареный рис. Гонсалес удивился: в городе рис уже давно пропал. «У ворот всегда чего-нибудь добудешь», — пояснил Марсель. Рамбер ел и пил. Гонсалес твердил, что это свой парень, а свой парень слушал и думал только о том, что ему придется торчать здесь еще целую неделю.

На самом же деле пришлось ждать не одну, а две недели, так как теперь сократили число караулов и стражники сменялись раз в полмесяца. И в течение этих двух недель Рамбер работал не щадя сил, работал как заведенный, с зари до ночи, закрыв на все глаза. Ложился он поздно и сразу забывался тяжелым сном. Резкий переход от безделья к изнурительной работе почти лишил его сновидений и сил. О своем скором освобождении он не распространялся. Примечательный факт: к концу первой недели он признался доктору, что впервые за долгий срок прошлой ночью здорово напился. Когда он вышел из бара, ему вдруг померещилось, будто железы у него в паху распухли и что-то под мышками мешает свободно двигать руками. Он решил, что это чума. И единственной его реакцией — он сам согласился с Риэ, весьма безрассудной реакцией, — было то, что он бросился бежать к возвышенной части города, и там, стоя на маленькой площади, откуда и моря-то не было видно, разве что небо казалось пошире, он громко крикнул, призывая свою жену через стены замурованного города. Вернувшись домой и не обнаружив ни одного симптома заражения, он устыдился своего внезапного порыва. Риэ сказал, что он отлично понимает такой поступок. «Во всяком случае, — добавил доктор, — желание так поступить вполне объяснимо».

— Кстати, сегодня утром мсье Отон говорил со мной о вас, — вдруг добавил Риэ, когда Рамбер с ним прощался. — Спросил, знаю ли я вас. «А раз знаете, — это он мне сказал, — так посоветуйте ему не болтаться среди контрабандистской братии. Его засекли».

— Что все это значит?

— Значит, что вам следует поторопиться.

— Спасибо, — сказал Рамбер, пожимая доктору руку.

Уже стоя на пороге, он неожиданно обернулся. Риэ отметил про себя, что впервые с начала эпидемии Рамбер улыбается.

— А почему бы вам не помешать моему отъезду? У вас же есть такая возможность.

Риэ характерным своим движением покачал головой и сказал, что это дело его, Рамбера, что он, Рамбер, выбрал счастье и что он, Риэ, в сущности, не имеет в своем распоряжении никаких веских аргументов против этого выбора. В таких делах он чувствует себя не способным решать, что худо и что хорошо.

— Почему же в таком случае вы советуете мне поторопиться?

Тут улыбнулся Риэ:

— Возможно потому, что и мне тоже хочется сделать что-нибудь для счастья.

На другой день они уже не возвращались к этой теме, хотя работали вместе. На следующей неделе Рамбер перебрался наконец в испанский домик. Ему устроили ложе в общей комнате. Так как мальчики не приходили домой обедать и так как Рамбера просили не выходить без крайней нужды, он целыми днями сидел один или болтал со старухой испанкой, матерью Марсея и Луи. Эта худенькая старушка, вся в черном, со смуглым морщинистым лицом под белоснежными, до блеска промытыми седыми волосами, была на редкость деятельна и подвижна. Она обычно молчала, и, только когда она смотрела на Рамбера, в глазах ее расцветала улыбка.

Иногда она спрашивала его, не боится ли он занести заразу жене, Рамбер отвечал, что имеется, конечно, некоторый риск, но он не так уж велик, а если ему оставаться в городе, они, чего доброго, вообще никогда не увидятся.

— А она милая? — улыбаясь, спросила старуха.

— Очень.

— Хорошенькая?

— По-моему, да.

— Ага, значит, поэтому, — сказала старуха.

Рамбер задумался. Конечно, и поэтому, но невозможно же, чтобы только поэтому.

— Вы в Господа Бога не верите? — спросила старуха, она каждое утро аккуратно ходила к мессе.

Рамбер признался, что не верит, и старуха добавила, что и поэтому тоже.

— Тогда вы правы, поезжайте к ней. Иначе что же вам остается?

Целыми днями Рамбер кружил среди голых стен, побеленных известкой. Трогал по дороге прибитые к стене веера или же считал помпоны на шерстяном коврике, покрывавшем стол. Вечером возвращались мальчики. Разговорчивостью они не отличались, сообщали только, что еще не время. После обеда Марсель играл на гитаре и все пили анисовый ликер. Казалось, Рамбер все время о чем-то думает.

В среду Марсель, вернувшись, сказал: «Завтра в полночь, будь готов заранее». Один из двух постовых, дежуривших с ними, заболел чумой, а другого, который жил с заболевшим в одной комнате, взяли в карантин. Таким образом, дня два-три Марсель и Луи будут дежурить одни. Нынче ночью они сделают последние приготовления. Видимо, завтра удобнее всего. Рамбер поблагодарил. «Рады?» — спросила старушка. Он сказал, да, рад, но сам думал о другом.

На следующий день с тяжело нависавшего неба лился душный влажный зной. Сведения о чуме были неутешительны. Только одна старушка испанка не теряла ясности духа. «Нагрели мы, — говорила она. — Чего ж тут удивляться». Рамбер по примеру Марсея и Луи скинул рубашку. Но это не помогало, между лопатками и по голой груди струйками стекал пот. В полумраке комнаты с плотно закрытыми ставнями их обнаженные торсы казались коричневыми, словно отлакированными. Рамбер молча кружил по комнате. Вдруг в четыре часа пополудни он оделся и заявил, что уходит.

— Только смотри — ровно в полночь, — сказал Марсель. — Все уже готово.

Рамбер направился к Риэ. Мать доктора сообщила Рамберу, что тот в лазарете в верхнем городе. Перед лазаретом у караулки все по-прежнему топтались люди. «А ну, проходи», — твердил сержант с глазами навывкате. Люди проходили, но, описав круг, возвращались обратно. «Нечего тут ждать!» — говорил сержант в пропотевшей от пота куртке. Такого же мнения придерживалась и толпа, но все же не расходилась, несмотря на убийственную зной. Рамбер предъявил сержанту пропуск, и тот направил его в кабинет Тарру. В кабинет попадали прямо со двора. Рамбер столкнулся с отцом Панлю, который как раз выходил из кабинета.

В тесной грязной комнатенке с побеленными стенами, пропахшей аптекой и волглым бельем, сидел за черным деревянным столом Тарру; он засучил рукава сорочки и вытирал скомканным носовым платком пот, стекавший в углубление на сгибе локтя.

— Еще здесь? — удивился он.

— Да. Мне хотелось бы поговорить с Риэ.

— Он в палате. Но если дело можно уладить без него, лучше его не трогать.

— Почему?

— Он еле на ногах держится. Я стараюсь избавить его от лишних хлопот.

Рамбер взглянул на Тарру. Он тоже исхудал. В глазах, в чертах лица читалась усталость. Его широкие сильные плечи ссутулились. В дверь постучали, и вошел санитар в белой маске. Он положил на письменный стол перед Тарру пачку карточек, сказал только «шесть» глухим из-за марлевой повязки голосом и удалился. Тарру поднял глаза на журналиста и указал ему на карточки, которые веером держал в руке.

— Миленькие карточки, а? Да нет, я шучу — это умершие. Умерли за ночь.

Лоб его прорезала морщина. Он сложил карточки в пачку.

— Единственное, что нам осталось, — это отчетность.

Тарру поднялся, оперся ладонями о край стола.

— Скоро уезжаете?

— Сегодня в полночь.

Тарру сказал, что он сердечно этому рад и что Рамберу следует быть поосторожнее.

— Вы это искренне?

Тарру пожал плечами:

— В мои годы хочешь не хочешь приходится быть искренним. Лгать слишком утомительно.

— Тарру, — произнес журналист, — мне хотелось бы повидаться с доктором. Простите меня, пожалуйста.

— Знаю, знаю. Он человечнее меня. Ну пойдем.

— Да нет, не поэтому, — с трудом сказал Рамбер. И замолчал.

Тарру посмотрел на него и вдруг улыбнулся.

Они прошли узеньким коридорчиком, стены которого были выкрашены в светло-зеленый цвет, и поэтому казалось, будто они идут по дну аквариума. У двойных застекленных дверей, за которыми нелепо суетились какие-то тени, Тарру повернул и ввел Рамбера в крохотную комнату, сплошь в стенных шкафах. Он открыл шкаф, вынул из стерилизатора две гигроскопические маски, протянул одну Рамберу и посоветовал ее надеть. Журналист спросил, предохраняет ли маска хоть от чего-нибудь, и Тарру ответил: нет, зато действует на других успокоительно.

Они открыли стеклянную дверь. И попали в огромную палату, где, несмотря на жару, все окна были наглухо закрыты. На стенах под самым потолком жужжали вентиляторы, и их скошенные лопасти месили горячий жирный воздух, гоня его над стоявшими в два ряда серыми койками. Из всех углов шли приглушенные стоны, иногда прерываемые пронзительным вскриком, и все эти звуки сливались в одну нескончаемую однообразную жалобу. Люди в белых халатах медленно двигались по палате под ярким до резкости светом, лившимся в высокие окна, забранные решеткой. Рамберу стало не по себе в этой душной до одури палате, и он с трудом узнал Риэ, который склонился над распластавшейся на постели и стонущей фигурой. Доктор вскрывал бубоны в паху больного, а две санитарки, стоя по бокам койки, держали того в позе человека, подвергающегося четвертованию. Выпрямившись, Риэ бросил инструменты на поднос, который подставил

фельдшер, с минуту постоял не шевелясь и глядя на больного, которому делали перевязку.

— Что новенького? — спросил он подошедшего к нему Тарру.

— Панлю согласился замещать Рамбера в карантине. Он уже многое сделал. Теперь надо только организовать третью дружину, инспекционную, раз Рамбер уезжает.

Риэ молча кивнул.

— Кастель уже приготовил первые препараты. Предлагает испытать.

— Ого, вот это славно! — сказал Риэ.

— И наконец, здесь Рамбер.

Риэ обернулся. Разглядывая журналиста, он прищурил глаза, не закрытые маской.

— А вы почему здесь? — спросил он. — Вам полагается быть далеко отсюда.

Тарру сказал, что нынче вечером Рамбер будет далеко, а сам Рамбер добавил: «Теоретически».

Всякий раз при разговоре маска пучилась, промокала у рта. Разговор поэтому получался какой-то нереальный, как диалог статуй.

— Мне хотелось бы поговорить с вами, — сказал Рамбер.

— Если угодно, давайте вместе выйдем. Подождите меня в комнате у Тарру.

Через несколько минут Рамбер и Риэ уже сидели на заднем сиденье докторского автомобиля. Вел машину Тарру.

— Бензин кончается, — сказал он, включая скорость. — Завтра придется топтать на своих двоих.

— Доктор, — проговорил Рамбер, — я не еду, я хочу остаться здесь, с вами.

Тарру даже не шелохнулся. Он по-прежнему вел машину. А Риэ, казалось, уже был не в силах вынырнуть из недр усталости.

— А как же она? — глухо спросил он.

Рамбер ответил, что он еще и еще думал, что он по-прежнему верит в то, во что верил, но, если он уедет, ему будет стыдно. Ну, короче, это помешает ему любить ту, которую он оставил. Но тут Риэ вдруг выпрямился и твердо

сказал, что это глупо и что ничуть не стыдно отдать предпочтение счастью.

— Верно, — согласился Рамбер. — Но все-таки стыдно быть счастливым одному.

Молчавший до этого Тарру сказал, не поворачивая головы, что, если Рамберу угодно разделять людское горе, ему никогда не урвать свободной минуты для счастья. Надо выбирать что-нибудь одно.

— Тут другое, — проговорил Рамбер. — Я раньше считал, что чужой в этом городе и что мне здесь у вас нечего делать. Но теперь, когда я видел то, что видел, я чувствую, что я тоже здешний, хочу я того или нет. Эта история касается равно всех нас.

Никто ему не ответил, и Рамбер нетерпеливо шевельнулся.

— И вы ведь сами это отлично знаете! Иначе что бы вы делали в вашем лазарете? Или вы тоже сделали выбор и отказались от счастья?

Ни Тарру, ни Риэ не ответили на этот вопрос. Молчание затянулось и длилось почти до самого дома Риэ. И тут Рамбер снова повторил свой вопрос, но уже более настойчиво. И опять только один Риэ повернулся к нему. Чувствовалось, что даже этот жест дался ему с трудом.

— Простите меня, Рамбер, — проговорил он, — но я сам не знаю. Оставайтесь с нами, раз вы хотите.

Он замолчал, так как машина резко свернула в сторону. Потом снова заговорил, глядя в ветровое стекло.

— Разве есть на свете хоть что-нибудь, ради чего можно отказаться от того, что любишь? Однако я тоже отказался, сам не знаю почему.

Он снова откинулся на спинку сиденья.

— Просто я констатирую факт, вот и все, — устало произнес он. — Примем это к сведению и сделаем выводы.

— Какие выводы? — спросил Рамбер.

— Эх, нельзя одновременно лечить и знать, — ответил Риэ. — Поэтому будем стараться излечивать как можно скорее. Это самое неотложное.

В полночь Тарру и Риэ вручили Рамберу план квартала, который ему предстояло инспектировать, и вдруг Тар-

ру поглядел на часы. Подняв голову, он встретил взгляд Рамбера.

— Вы предупредили?

Журналист отвел глаза.

— Послал записку, — с трудом проговорил он, — еще прежде, чем прийти сюда, к вам.

Сыворотку Кастеля испробовали только в конце октября. Практически эта сыворотка была последней надеждой Риэ. Доктор был твердо убежден, что в случае новой неудачи город окончательно попадет под власть капризов чумы независимо от того, будет ли хозяйничать эпидемия еще долгие месяцы или вдруг ни с того ни с сего пойдет на убыль.

Накануне того дня, когда Кастель зашел к Риэ, заболел сын мсье Отона, и всю семью полагалось отправить в карантин. Мать, сама только что вышедшая из карантина, вынуждена была возвратиться туда снова. Свято чтя приказы властей, следователь вызвал доктора Риэ, как только обнаружил на теле ребенка первые пометы болезни. Когда Риэ явился, родители стояли у изножья постели. Девочку удалили из дома. Мальчик находился в первой стадии болезни, характеризующейся полным упадком сил, и покорно дал себя осмотреть. Когда доктор поднял голову, он встретил взгляд отца, увидел бледное лицо матери, стоявшей чуть поодаль; прижимая к губам носовой платок, она широко открытыми глазами следила за манипуляциями врача.

— То самое, не так ли? — холодно спросил следователь.

— Да, — ответил Риэ, снова посмотрев на ребенка.

Глаза матери расширились от ужаса, но она ничего не сказала. Следователь тоже молчал, потом вполголоса произнес:

— Что ж, доктор, мы обязаны сделать то, что предписывается в таких случаях.

Риэ старался не смотреть на мать, которая по-прежнему стояла поодаль, зажимая рот платком.

— Если я сейчас позвоню, все сделают быстро, — нерешительно проговорил он.

Мсье Отон вызвался проводить его к телефону. Но доктор повернулся к его жене:

— Я очень огорчен. Вам придется собрать кое-какие вещи. Ведь вы знаете, как все это делается.

Мадам Отон в каком-то оцепенении выслушала его. Глаз она не подняла.

— Да, знаю, — сказала она, кивнув головой. — Сейчас соберу.

Прежде чем уйти от них, Риэ, не удержавшись, спросил, не нужно ли им чего-нибудь. Мать по-прежнему молча смотрела на него. Но на сей раз отвел глаза следовательно.

— Нет, спасибо, — сказал он, с трудом проглотив слюну, — только спасите моего ребенка.

Вначале карантин был простой формальностью, но, когда за дело взялись Риэ с Рамбером, все правила изоляции стали соблюдаться неукоснительно. В частности, они потребовали, чтобы члены семьи больного помещались непременно раздельно. Если один из них уже заразился, сам того не подозревая, то не следует увеличивать риск. Риэ изложил эти соображения следователю, который признал их весьма разумными. Однако они с женой переглянулись, и, поймав их взгляд, доктор понял, как убиты оба предстоящей разлукой. Мадам Отон с дочкой решено было устроить в отеле, отведенном под карантин, которым руководил Рамбер. Но мест там было в обрез, и на долю следователя остался только так называемый лагерь для изолируемых, этот лагерь устроила на городском стадионе префектура, взяв заимобразно для этой цели палатки у дорожного ведомства. Риэ извинился за несовершенство лагеря, но мсье Отон сказал, что правила существуют для всех, и вполне справедливо, что все им подчиняются.

А мальчика перевезли во вспомогательный лазарет, который устроили в бывшей классной комнате, поставив десять коек. После двадцатичасовой борьбы Риэ понял, что случай безнадежен. Маленькое тельце без сопротивления отдалось во власть пожиравших его микробов. На хрупких суставах набухли совсем небольшие, но болезненные бубоны, сковывавшие движения. Мальчик был заранее побежден недугом. Вот почему Риэ решил испробовать на нем сыворотку Кастеля. В тот же день под вечер они сделали ему капельное вливание. Но ребенок даже не реагировал. А на заре следующего дня все собрались

у постели ребенка, чтобы проверить результаты решающего опыта.

Выйдя из состояния первоначального оцепенения, мальчик судорожно ворочался под одеялом. С четырех часов утра доктор Кастель и Тарру не отходили от его постели, ежеминутно следя за усилением или ослаблением болезни. Тарру стоял в головах, чуть нагнув над постелью свой могучий торс. Риэ тоже стоял, но в изножье, а рядом сидел Кастель и с видом полнейшего спокойствия читал какой-то старый медицинский труд. Но когда начало светать, в бывшем школьном классе постепенно собрались и другие. Первым пришел Панлю, он встал напротив Тарру и прислонился к стене. На лице его застыло страдальческое выражение, а многодневная усталость, связанная с постоянной угрозой заражения, прочертила морщины на его багровом лбу. Пришел и Жозеф Гран. Было уже семь часов, и Гран попросил извинения, что еще не отдышался. Он только на минутку, просто забежал узнать, нет ли каких новостей. Риэ молча указал ему на ребенка, который, зажмурив веки, сжав зубы, насколько позволяли ему силенки, неподвижно лежал с искаженным болью лицом и только все перекатывал голову справа налево по валику подушки без наволочки. А когда уже стало совсем светло и на черной классной доске, которую так и не удосужились снять, можно было различить нестертые столбики уравнения, явился Рамбер. Он прислонился к стене в изножье соседней койки и вытащил было из кармана пачку сигарет. Но, посмотрев на мальчика, сунул ее обратно.

Кастель, не вставая с места, бросил поверх очков взгляд на Риэ.

— Об отце что-нибудь известно?

— Нет, — ответил Риэ, — он в карантине, в лагере.

Доктор изо всех сил сжал перекладину кровати, на которой стонал мальчик. Он не спускал глаз с больного ребенка, который внезапно весь напрягся и, снова сжав зубки, как-то странно прогнулся в талии и медленно раскинул руки и ноги. От маленького голенького тела, прикрытого грубым солдатским одеялом, шел острый запах пота и взмокшей шерсти. Мало-помалу тело мальчика обмякло, он свел руки и ноги и, по-прежнему ничего не

видевший, ничего не говоривший, как будто задышал быстрее. Риэ поймал взгляд Тарру, но тот сразу же отвел глаза.

Они уже не раз видели смерть детей, коль скоро ужас, бушевавший в городе в течение нескольких месяцев, не выбирал своих жертв, но впервые им пришлось наблюдать мучения ребенка минута за минутой, как нынче утром. И разумеется, недуг, поражавший невинные создания, они воспринимали именно так, как оно и было на самом деле, — как нечто постыдное. Но до сих пор стыд этот был в какой-то мере отвлеченный, потому что еще ни разу не следили они так долго за agonией невинного младенца, не смотрели ей прямо в лицо.

Но тут мальчик, словно его укусили в живот, снова скорчился, тоненько пискнув. Так он, скорчившись, пролежал несколько долгих секунд, его била дрожь, его сотрясали конвульсии, как будто маленький хрупкий костяк гнулся под яростным шквалом чумы, трещал под налетающими порывами лихорадки. Когда шквал прошел, тело его чуть обмякло, казалось, лихорадка отступилась и бросила его, задыхающегося на этом влажном от пота, зараженном микробами одре, где даже эта короткая передышка уже походила на смерть. Когда в третий раз его накрыла жгучая волна, приподняла с постели, мальчик скрючился, забился в уголок, напуганный сжигавшим его жаром, и яростно затряс головой, отбрасывая одеяло. Крупные слезы брызнули из-под его воспаленных век, поползли по свинцовому личику, а когда приступ кончился, он, обессиленный, развел костлявые ножонки и ручки, которые за двое суток превратились в палочки, обтянутые кожей, и улегся в нелепой позе распятого.

Тарру нагнулся и отер своей тяжелой ладонью пот и слезы с маленького личика. Кафель захлопнул книгу и с минуту смотрел на больного. Он заговорил было, но в середине фразы ему пришлось откашляться, так как голос сорвался и прозвучал неестественно.

— Утренней ремиссии не было, Риэ?

Риэ сказал, что не было, однако ребенок сопротивляется болезни много дольше обычного. Панлю, устало привалившийся к стене, произнес глухим голосом:

— Если ему суждено умереть, он будет страдать много дольше обычного.

Доктор резко повернулся к нему, открыл было рот, но заставил себя промолчать, что, видимо, стоило ему немало труда, и снова устремил взгляд на мальчика.

По палате все шире разливался дневной свет. Стоны, которые шли с пяти соседних коек, где беспокойно ворочались человеческие фигуры, свидетельствовали о какой-то сознательной сдержанности. Только из дальнего угла неся крик, который через равные промежутки сменялся короткими охами, в них было больше удивления, чем страдания. Казалось даже, сами больные уже притерпелись и не испытывают страха, как в начале эпидемии. В их теперешнем отношении к болезни чувствовалось что-то вроде ее приятия. Один только ребенок бился с недугом изо всех своих сил. Ризэ время от времени шупал ему пульс, впрочем без особой надобности, а скорее чтобы выйти из состояния одолевавшего его цепящего бессилия, и когда он закрывал глаза, то чувствовал, как ему самому передается чужой трепет, стучит в его жилах вместе с собственной его кровью. В такие мгновения он как бы отождествлял себя с истязуемым болезнью ребенком и старался поддержать его всеми своими еще не сданными силами. Но проходила минута — и два этих сердца бились уже не в унисон, ребенок ускользал от Ризэ, и усилия врача рушились в пустоту. Тогда он отпускал тоненькое запястье и отходил на место.

Розоватый свет, падавший из окон на стены, выбеленные известкой, постепенно принимал желтый оттенок. Там, за оконными стеклами, уже потрескивало знойное утро. Вряд ли они, собравшиеся у постели, слышали, как ушел Гран, пообещав заглянуть еще. Они ждали. Ребенок, лежавший с закрытыми глазами, казалось, стал чуть поспокойнее. Пальцы его, похожие на коготки птицы, осторожно перебирали край койки. Потом они вползли кверху, поцарапали одеяло на уровне колен, и внезапно мальчик скрючил ноги, подтянул их к животу и застыл в неподвижности. Тут он впервые открыл глаза и посмотрел прямо на Ризэ, стоявшего рядом. На лицо его, изглоданное болезнью, как бы легла маска из серой глины, рот приоткрылся, и почти сразу же с губ сорвался крик, один-

единственный, протяжный, чуть замиравший во время вздохов и заполнивший всю палату монотонной надтреснутой жалобой, протестом до того нечеловеческим, что, казалось, исходит он ото всех людей разом. Риэ стиснул зубы, Тарру отвернулся. Рамбер шагнул вперед и стал рядом с Кастелем, который закрыл лежавшую у него на коленях книгу. Отец Панлю посмотрел на этот обметанный болезнью рот, из которого рвался не детский крик, а крик вне возраста. Он опустил на колени, и все остальные сочли вполне естественными слова, что он произнес отчетливо, но сдавленным голосом, не заглушаемым этим никому не принадлежавшим жалобным стоном: «Господи, спаси этого ребенка!»

Но ребенок не замолкал, и больные в палате заволновались. Тот, в дальнем углу, по-прежнему вскрикивавший время от времени, вскрикивал теперь в ином, учащенном ритме, и скоро отдельные его возгласы тоже превратились в настоящий вопль, сопровождаемый все усиливавшимся стоном других больных. Со всех углов палаты к ним подступала волна рыданий, заглушая молитву отца Панлю, и Риэ, судорожно вцепившись пальцами в спинку кровати, закрыл глаза, он словно опьянел от усталости и отвращения.

Когда он поднял веки, рядом с ним стоял Тарру.

— Придется мне уйти, — сказал Риэ. — Не могу этого выносить.

Но вдруг больные, как по команде, замолчали. И тут только доктор понял, что крики мальчика слабеют, слабеют с каждым мгновением и вдруг совсем прекратились. Вокруг снова послышались стоны, но глухие, будто отдаленное эхо той борьбы, которая только что завершилась. Ибо она завершилась. Кастель обошел койку и сказал, что это конец. Не закрыв молчавшего уже теперь рта, ребенок тихо покоился среди сбитых одеял, он вдруг стал совсем крохотный, а на щеках его так и не высохли слезы.

Отец Панлю приблизился к постели и перекрестил покойника. Потом, подобрав полы сутаны, побрел по главному проходу.

— Значит, опять все начнем сызнова? — обратился к Кастелю Тарру.

Старик доктор покачал головой.

— Возможно, — криво улыбнулся он. — В конце концов мальчик боролся долго.

Тем временем Риэ уже вышел из палаты; шагал он так быстро и с таким странным лицом, что отец Панлю, которого он перегнал в коридоре, схватил доктора за локоть и удержал.

— Ну-ну, доктор, — сказал он.

Все так же запальчиво Риэ обернулся и яростно бросил в лицо Панлю:

— У этого-то, надеюсь, не было грехов — вы сами это отлично знаете!

Потом он отвернулся, обогнал отца Панлю и направился в глубь школьного сада. Там он уселся на скамейку, стоявшую среди пыльных деревьев, и стер ладонью пот, стекавший со лба на веки. Ему хотелось кричать, вопить, лишь бы лопнул наконец этот проклятый узел, перерезавший ему надвое сердце. Зной медленно просачивался сквозь листья фикусов. Бирюзовое утреннее небо быстро заволакивало, как бельмом, белесой пленкой, и воздух стал еще душнее. Риэ тупо сидел на скамье. Он глядел на ветки, на небо, и постепенно дыхание его налаживалось, уходила усталость.

— Почему вы говорили со мной так гневно? — раздался за его спиной чей-то голос. — Я тоже с трудом вынес это зрелище.

Риэ обернулся к отцу Панлю.

— Вы правы, простите меня, — сказал он. — Но усталость это то же сумасшествие, и в иные часы для меня в этом городе не существует ничего, кроме моего протеста.

— Понимаю, — пробормотал отец Панлю. — Это действительно вызывает протест, ибо превосходит все наши человеческие мерки. Но быть может, мы обязаны любить то, чего не можем объять умом.

Риэ резко выпрямился. Он посмотрел на отца Панлю, вложив в свой взгляд всю силу и страсть, отпущенные ему природой, и тряхнул головой.

— Нет, отец мой, — сказал он. — У меня лично иное представление о любви. И даже на смертном одре я не приму этот мир Божий, где истязают детей.

Лицо Панлю болезненно сжалось, словно по нему прошла тень.

— Теперь, доктор, — грустно произнес он, — я понял, что зовется благодатью.

Но Риэ уже снова обмяк на своей скамейке. Вновь поднялась из самых глубин усталость, и он проговорил более мягко:

— У меня ее нет, я знаю. Но я не хочу вступать с вами в такие споры. Мы вместе трудимся ради того, что объединяет нас, и это за пределами богохульства и молитвы! Только одно это и важно.

Отец Панлю опустился рядом с Риэ. Вид у него был взволнованный.

— Да, — сказал он, — и вы, вы тоже трудитесь ради спасения человека.

Риэ вымученно улыбнулся:

— Ну, знаете ли, для меня такие слова, как спасение человека, звучат слишком громко. Так далеко я не заглядываю. Меня интересует здоровье человека, в первую очередь здоровье.

Отец Панлю нерешительно молчал.

— Доктор, — наконец проговорил он.

Но сразу осекся. По его лбу тоже каплями стекал пот. Он буркнул: «До свидания», поднялся со скамьи, глаза его блеснули. Он уже шагнул было прочь, но тут Риэ, сидевший в задумчивости, тоже встал и подошел к нему.

— Еще раз простите меня, пожалуйста, — сказал он. — Поверьте, эта вспышка не повторится.

Отец Панлю протянул доктору руку и печально произнес:

— И однако я вас не переубедил!

— А что бы это дало? — возразил Риэ. — Вы сами знаете, что я ненавижу зло и смерть. И хотите ли вы или нет, мы здесь вместе для того, чтобы страдать от этого и с этим бороться.

Риэ задержал руку отца Панлю в своей.

— Вот видите, — добавил он, избегая глядеть на него, — теперь и сам Господь Бог не может нас разлучить.

С того самого дня, как отец Панлю вступил в санитарную дружину, он не вылезал из лазаретов и пораженных чумой кварталов. Среди членов дружины он занял место, которое, на его взгляд, больше всего подходило ему по

рангу, то есть первое. Смертей он нагляделся с избытком. И хотя теоретически он был защищен от заражения предохранительными прививками, мысль о собственной смерти не была ему чуждой. Внешне он при всех обстоятельствах сохранял спокойствие. Но с того дня, когда он в течение нескольких часов смотрел на умирающего ребенка, что-то в нем надломилось. На лице все явственнее читалось внутреннее напряжение. И когда он как-то с улыбкой сказал Риэ, что как раз готовит небольшую работу — трактат на тему: «Должен ли священнослужитель обращаться к врачу?», доктору почудилось, будто за этими словами скрывается нечто большее, чем хотел сказать святой отец. Риэ выразил желание ознакомиться с этим трудом, но Панлю заявил, что вскоре он произнесет во время мессы проповедь и постарается изложить в ней хотя бы отдельные свои соображения.

— Буду очень рад, доктор, если вы тоже придете; уверен, что вас это заинтересует.

Вторая проповедь отца Панлю пришлась на ветреный день. Откровенно говоря, ряды присутствующих по сравнению с первым разом значительно поредели. Главное потому, что подобные зрелища уже потеряли для наших сограждан прелесть новизны. Да и слово «новизна» тоже утратило свой первоначальный смысл в те трудные дни, какие переживал наш город. К тому же большинство наших сограждан, если даже они еще не окончательно отвернулись от выполнения религиозных обязанностей или не сочетали их слишком открыто со своей личной, глубоко безнравственной жизнью, восполняли обычные посещения церкви довольно-таки нелепыми суевериями. Они предпочитали не ходить к мессе, зато носили на шее медальоны, обладающие свойством предохранять от недугов, или амулеты с изображением святого Роха.

В качестве иллюстрации можно привести неумеренное увлечение наших сограждан различными пророчествами. Так, весной все мы с минуты на минуту дружно ждали прекращения чумы и никому не приходило в голову спрашивать соседа его мнение о сроках эпидемии, поскольку все старались себя убедить, что она вот-вот затухнет. Но шли дни, и люди начали бояться, что беда вообще никогда не кончится, и тогда-то прекращение эпидемии

стало объектом всеобщих чаяний. Тут-то и стали ходить по рукам различные прорицания, почерпнутые из высказываний католических святых или пророков. Владельцы городских типографий быстренько смекнули, какую выгоду можно извлечь из этого поголовного увлечения, и отпечатали во множестве экземпляров тексты, циркулировавшие по всему Орану. Но, заметив, что это не насытило жадного любопытства публики, дельцы предприняли розыски, перерыли все городские библиотеки и, обнаружив подходящие свидетельства такого рода, рассыпанные по местным летописям, распространяли их по городу. Но поскольку летопись скупа на подобные прорицания, их стали заказывать журналистам, которые, по крайней мере в этом пункте, выказали себя столь же сведущими, как их учителя в минувших веках.

Некоторые из этих пророчеств печатались подвалами в газетах. Читатели набрасывались на них с такой же жадностью, как на сентиментальные историйки, помещавшиеся на последней странице в благословенные времена здоровья. Некоторые из этих прорицаний базировались на весьма причудливых подсчетах, где все было вперемишку: и непременно цифра тысяча, и количество смертей, и подсчет месяцев, прошедших под властью чумы. Другие проводили сравнения с великими чумными морами, именуемыми в предсказаниях константными, и из своих более или менее причудливых подсчетов извлекали данные о нашем теперешнем испытании. Но особенно высоко ценила публика прорицания, составленные в стиле пророчеств Апокалипсиса и возвещавшие о чередобытий, каждое из которых можно было без труда применить к нашему городу и до того путаных, что любой мог толковать их сообразно своему личному вкусу. Каждый день ворошили творения Нострадамуса и святой Одиллии и всякий раз собирали обильную жатву. Все эти пророчества объединяла общая черта — утешительность их итогов. И только одна чума не обладала этим свойством.

Итак, суеверия прочно заменили нашим согражданам религию, и именно по этой причине церковь, где читал свою проповедь отец Панлю, была заполнена всего на три четверти. Когда вечером Риэ зашел в собор, ветер со свистом просачивался между створками входных дверей, сво-

бодно разгуливал среди присутствующих. И в этом промозгом, скованном тишиной храме, где собрались одни лишь мужчины, Риэ присел на скамью и увидел, как на кафедру поднялся преподобный отец. Заговорил он более кротким и более раздумчивым тоном, чем в первый раз, и молящиеся отмечали про себя, что он не без некоторого колебания приступил к делу. И еще одна любопытная деталь: теперь он говорил не «вы», а «мы».

Но мало-помалу голос его окреп. Для начала он напомним о том, что чума царит в нашем городе вот уже несколько долгих месяцев и что теперь мы узнали ее лучше, ибо множество раз видели, как присаживалась она к нашему столу или к изголовью постели близкого нам человека, как шагала рядом с нами, поджидала нашего выхода с работы; итак, теперь мы, возможно, способны лучше внимать тому, что говорит она нам беспрестанно и к чему мы в первые минуты растерянности прислушивались, видимо, недостаточно. То, о чем уже вещал отец Панлю с этой самой кафедры, остается верным — или по крайней мере таково было тогда его убеждение. Но возможно, как и все мы — тут отец Панлю сокрушенно ударил себя в грудь, — быть может, он и думал и говорил об этом без должного сострадания. Но все же в речи его было и зерно истины: из всего и всегда можно извлечь поучение. Самое жестокое испытание — и оно благо для христианина. А христианин как раз в данном случае и должен стремиться к этому благу, искать его, понимать, в чем оно и как его найти.

В эту минуту люди, сидевшие вокруг Риэ, откинулись на спинки скамеек и расположились со всеми возможными в церкви удобствами. Одна из створок обитой войлоком двери тихонько хлопала от ветра. Кто-то из присутствующих поднялся с места и придержал ее. И Риэ, отвлеченный этим движением, почти не слышал того, о чем заговорил после паузы отец Панлю. А тот говорил примерно так: не следует пытаться объяснять являемое чумой зрелище, а следует пытаться усвоить то, что можно усвоить. Короче, по словам проповедника, так по крайней мере истолковал их про себя рассеянно слушавший Риэ, выходило, что объяснять здесь нечего. Но он стал слушать с большим интересом, когда проповедник нео-

жиданно громко возгласил, что многое объяснимо перед лицом Господа Бога, а иное так и не объяснится. Конечно, существуют добро и зло; и обычно каждый без труда видит различие между ними. Но когда мы доходим до внутренней сущности зла, здесь-то и подстерегают нас трудности. Существует, к примеру, зло, внешне необходимое, и зло, внешне бесполезное. Имеется Дон Жуан, ввергнутый в преисподнюю, и кончина невинного ребенка. Ибо если вполне справедливо, что распутник сражен десницей Божьей, то трудно понять страдания дитяти. И впрямь, нет на свете ничего более значимого, чем страдание дитяти и ужас, который влекут за собой эти страдания, и причины этого страдания, кои необходимо обнаружить. Вообще-то Бог все облегчает нам, и с этой точки зрения наша вера не заслуживает похвалы — она естественна. А тут он, Бог, напротив, припирает нас к стене. Таким образом, мы находимся под стенами чумы и именно из ее зловещей сени обязаны извлечь для себя благо. Отец Панлю отказывался даже от тех льгот и поблажек, что позволили бы перемахнуть через эту стену. Ему ничего не стоило сказать, что вечное блаженство, ожидающее ребенка, может сторицей вознаградить его за земные муки, но, по правде говоря, он и сам не знает, так ли это. И впрямь, кто возьмется утверждать, что века райского блаженства могут оплатить хотя бы миг человеческих страданий? Утверждающий так не был бы, конечно, христианином, ибо наш Учитель познал страдания плотью своей и духом своим. Нет, отец Панлю останется у подножия стены, верный образу четвертования, символом коего является крест, и пребудет лицом к лицу с муками младенца. И безбоязненно скажет он тем, кто слушает его ныне: «Братия, пришел час. Или надо во все верить, или все отрицать... А кто среди вас осмелится отрицать все?..»

У Риэ на мгновение мелькнула мысль, что святой отец договорился до прямой ереси. Но тут оратор продолжал с новой силой доказывать, что это предписание свыше, это ясное требование идет на благо христианину. Оно же зачтется ему как добродетель. Он, Панлю, знает, что та добродетель, речь о коей пойдет ниже, возможно, содержит нечто чрезмерное и покоробит многие умы, привыкшие к более снисходительной и более классической морали. Но

религия времен чумы не может остаться нашей каждодневной религией, и ежели Господь способен попустить, даже возжелать, чтобы душа покоилась и радовалась во времена счастья, то возжелал он также, чтобы религия в годину испытания стала неистовой. Ныне Бог проявил милость к творениям своим, наслав на них неслыханные беды, дабы могли они обрести и взять на рамена свои высшую добродетель, каковая есть Все или Ничего.

Много веков назад некий светский мыслитель утверждал, что ему-де открыта тайна церкви, заключающаяся в том, что чистилища не существует. Под этими словами он разумел, что полумеры исключены, что есть только рай и ад и что человеку, согласно собственному его выбору, уготовано райское блаженство или вечные муки. По словам отца Панлю, это было чистейшей ересью, каковая могла родиться лишь в душе вольнодумца. Ибо чистилище существует. Но разумеется, бывают эпохи, когда нельзя говорить о мелких грехах. Всякий грех смертен, и всяческое равнодушие преступно. Или все, или ничего.

Отец Панлю замолк, и до слуха Риэ отчетливее донеслись жалобные стоны разгулявшегося ветра, со свистом просачивающегося в щель под дверь. Но святой отец тут же заговорил снова и сказал, что добродетель безоговорочного приятия, о коей он упомянул выше, не может быть понята в рамках того узкого смысла, какой придается ей обычно, что речь шла не о банальной покорности и даже не о труднодостижимом унижении. Да, он имел в виду унижение, но то унижение, на какое добровольно идет унижаемый. Безусловно, муки ребенка унижительно для ума и сердца. Но именно поэтому необходимо через них пройти. Именно поэтому — и тут отец Панлю заверил свою аудиторию, что ему нелегко будет произнести эти слова, поэтому нужно желать их, раз их возжелал Господь. Только так христианин идет на то, чтобы ничего не щадить, и раз все выходы для него заказаны, дойдет до главного, главенствующего выбора. И выберет он безоговорочную веру, дабы не быть вынужденным к безоговорочному отрицанию. И подобно тем славным женщинам, которые, узнав, что набухающие бубоны свидетельствуют о том, что тело естественным путем изгоняет из себя сразу, молят сейчас в церквях: «Господи, пошли ему бубо-

ны», так вот и христианин должен уметь отдать себя в распоряжение воли Божьей, пусть даже она неисповедима. Нельзя говорить: «Это я понимаю, а это для меня неприемлемо»; надо броситься в сердцевину этого неприемлемого, которое предложено нам именно для того, дабы совершили мы свой выбор. Страдания ребенка — это наш горький хлеб, но, не будь этого хлеба, душа наша зачахла бы от духовного голода.

Тут приглушенный шум, обычно сопровождавший каждую паузу в проповеди отца Панлю, стал громче, но святой отец заговорил с внезапной силой и, словно поставив себя на место своих слушателей, вопрошал, как следует вести себя. Он уверен, что первой мыслью и первым словом будет страшное слово «фатализм». Так вот он не отступит перед этим словом, ежели ему дозволят добавить к слову «фатализм» эпитет «активный». Разумеется, он хочет напомнить еще раз, что не следует брать пример с абиссинцев христианского вероисповедания, о которых он уже говорил в предыдущей проповеди. И не следует даже в мыслях подражать персам, которые во время чумы кидали свое тряпье в христианские санитарные пикеты, громогласно призывая небеса ниспослать чуму на этих неверных, осмелившихся бороться против бича, посланного Богом. Но с другой стороны, не надо брать пример также и с каирских монахов, которые при чумной эпидемии, разразившейся в прошлом веке, брали во время причастия облатки щипчиками, дабы избежать соприкосновения с влажными горячечными устами, где могла притаиться зараза. И зачумленные персы и каирские монахи равно совершили грех. Ибо для первых страдания ребенка были ничто, а для вторых, напротив, вполне человеческий страх перед муками заглушил все прочие чувства. В обоих случаях извращалась сама проблема. И те и другие остались глухи к гласу Божьему. Но есть и иные примеры, какие хотел бы напомнить собравшимся отец Панлю. Если верить старинной хронике, повествующей о великой марсельской чуме, то там говорится, что из восьмидесяти одного монаха обители Мерси только четверых пощадила злая лихорадка. И из этих четверых трое бежали куда глаза глядят. Так гласит летопись, а летопись, как известно, не обязана комментировать. Но, читая хронику, отец

Панлю думал о том, что остался там один вопреки семи-десяти семи смертям, вопреки примеру троих уцелевших братьев. И, ударив кулаком о край кафедры, преподобный отец воскликнул: «Братья мои, надо быть тем, который остается!»

Конечно, это не значит, что следует отказываться от мер предосторожности, от разумного порядка, который вводит общество, борясь с беспорядком стихийного бедствия. Не следует слушать тех моралистов, которые твердят, что надо-де пасть на колени и предоставить событиям идти своим чередом. Напротив, надо потихоньку пробираться в потемках, возможно даже вслепую, и пытаться делать добро. Но что касается всего прочего, надо оставаться на месте, положиться со смирением на Господа даже в кончине малых детей и не искать для себя прибежища.

Здесь отец Панлю поведал собравшимся историю епископа Бельзенса во время марсельской чумы. Проповедник напомнил слушателям, что к концу эпидемии епископ, свершив все, что повелевал ему долг, и считая, что помочь уже ничем нельзя, заперся в своем доме, куда снес запасы продовольствия, и велел замуровать ворота; и вот марсельцы с непостоянством, вполне закономерным, когда чаша страданий бывает переполнена, возненавидели того, кого почитали ранее своим кумиром, обложили его дом трупами, желая распространить заразу, и даже перебрасывали мертвецов через стены, дабы чума сгубила его вернее. Итак, епископ, поддавшись последней слабости, надеялся найти убежище среди разгула смерти, а мертвые падали ему на голову с неба. Так и мы должны извлечь из этого примера урок: нет во время чумы и не может быть островка. Нет, середины не дано. Надо принять постыдное, ибо каждому надлежит сделать выбор между ненавистью к Богу и любовью к нему. А кто осмелится избрать ненависть к Богу?

«Братья мои, — продолжал Панлю, и по его интонациям прихожане догадались, что проповедь подходит к концу, — любовь к Богу — трудная любовь. Любовь к нему предполагает полное забвение самого себя, пренебрежение к своей личности. Но один лишь он может смыть ужас страдания и гибели детей, во всяком случае лишь

один он может превратить его в необходимость, ибо человек не способен это понять, он может лишь желать этого. Вот тот трудный урок, который я желал усвоить вместе с вами. Вот она, вера, жестокая в глазах человека и единственно ценная в глазах Господа, к которой мы и должны приблизиться. Пред лицом столь страшного зрелища все мы должны стать равными. На этой вершине все сольется и все сравняется, и воссияет истина из видимой несправедливости. Вот почему во многих церквях Юга Франции погибшие от чумы покоятся под плитами церковных хоров и священнослужители обращаются к своей пастве с высоты этих могил, и истины, которые они проповедают, воссияют из этого пепла, куда, увы, внесли свою лепту и малые дети».

Когда Риэ выходил из церкви, шквальный ветер ворвался в полуоткрытые двери, ударил в лицо расходившимся по домам прихожанам. Ветер нагнал в собор запахи дождя, мокрого асфальта, и молящиеся, еще не достигнув паперти, уже знали, каким откроется перед их глазами город. Впереди доктора шли старичок священник с молодым диаконом, оба боролись с порывами ветра, норовившего унести их шляпы. Старичок даже во время этой неравной борьбы не переставал обсуждать проповедь. Он отдавал должное красноречию отца Панлю, но его задела смелость высказанных проповедником мыслей. Он находил, что в проповеди звучала не столько сила, сколько тревога и что священнослужитель в возрасте отца Панлю не имеет права тревожиться. Молодой диакон нагнул голову, надеясь уклониться от ударов ветра, и заверил, что он часто бывает у отца Панлю, что он в курсе происшедшей с ним эволюции, что трактат его будет еще более смелым и, возможно, даже не получит *imprimatur*¹.

— Какая у него все-таки главная идея? — допытывался старичок священник.

Они вышли уже на паперть, ветер с воем накинудся на них, и диакон не сразу ответил. Воспользовавшись минутой затишья, он сказал только:

— Если священнослужитель обращается за помощью к врачу, тут явное противоречие.

¹ Разрешение церковной цензуры (лат.).

Тарру, которому Риэ пересказал проповедь отца Панлю, заметил, что он сам лично знал священника, который во время войны потерял веру, увидев юношу, лишившегося глаз.

— Панлю прав, — добавил Тарру. — Когда невинное существо лишается глаз, христианин может только или потерять веру, или согласиться тоже остаться без глаз. Панлю не желает утратить веры, он пойдет до конца. Это — то он и хотел сказать.

Возможно, замечание Тарру прольет известный свет на последующие злосчастные события и на поведение самого отца Панлю, загадочное даже для близких ему людей. Пусть читатель судит об этом сам.

Так вот, через несколько дней после проповеди отец Панлю задумал перебраться на новую квартиру. Как раз в это время в связи с усилением эпидемии весь город, казалось, менял свои привычные жилища. И так же как Тарру пришлось выехать из отеля и поселиться у доктора Риэ, точно так же и отец Панлю вынужден был выехать из отведенной ему их орденом квартиры и перебраться к одной старушке, завятой богомолке, пока еще пощаженной чумою. Отец Панлю перебирался на новое жилище с чувством все возраставшей усталости и страха. И поэтому он сразу же потерял уважение своей квартирохозяйки. Ибо когда старушка стала горячо восхвалять чудесные пророчества святой Одилии, священник выказал легкое нетерпение, что объяснялось, конечно, его усталостью. И как ни старался он впоследствии добиться от старушки хотя бы благожелательного нейтралитета, ему это не удалось. Слишком плохое впечатление произвел он тогда, поначалу. И каждый вечер, удаляясь из гостиной в отведенную ему комнату, утопавшую в кружевах, собственноручно связанных хозяйкой, он видел только ее спину и уносил в памяти сухое: «Покойной ночи, отец мой», брошенное через плечо. И одним из таких вечеров, уже ложась в постель, он почувствовал, как в висках, в запястьях, в голове забушевали, заходили волны лихорадки, таившейся в нем уже несколько дней.

Все последующее удалось узнать только из рассказов его квартирохозяйки. Утром она, как обычно, поднялась очень рано. Напрасно прождав своего жильца, она, удив-

ленная тем, что преподобный отец не выходил из спальни, решила осторожно постучать в дверь. Она обнаружила, что он не вставал после бессонной ночи. Он тяжело дышал, и лицо у него было еще краснее, чем всегда. По ее словам, она вполне вежливо предложила ему вызвать врача, но предложение это было отвергнуто с прискорбной резкостью, как она выразилась. Ей осталось только одно — уйти прочь. А через некоторое время отец Панлю позвонил и попросил ее зайти к нему. Он извинился за свою невольную резкость и заявил, что о чуме не может быть и речи, что он не обнаружил у себя ни одного из симптомов, очевидно, все дело в чрезмерной усталости, но это пройдет. На что старая дама с достоинством возразила, что ежели она и предложила вызвать врача, то отнюдь не потому, что встревожилась за себя, что бояться ей нечего, коль скоро ее живот и смерть в руке Божьей, просто она обеспокоилась состоянием преподобного отца, так как считает себя в какой-то мере ответственной за него. Но так как он промолчал, она снова предложила вызвать врача, считая, что выполняет свой прямой долг. Святой отец снова отказался, но на сей раз присовокупил к своему отказу какие-то весьма туманные, по словам старой дамы, объяснения. Поняла она как раз то, что, на ее взгляд, было непонятным из всей его тирады, а именно: святой отец отказался призвать врача, потому что это, мол, противоречит его принципам. Естественно, она сочла, что разум ее жильца несколько помутился от жара, и ограничилась тем, что принесла ему чашку лекарственного настоя.

Решившись как можно аккуратнее выполнять свои обязанности, раз уж так все получилось, квартирохозяйка заглядывала к жильцу регулярно каждые два часа. Больше всего ее поразило лихорадочное возбуждение, не оставлявшее больного в течение всего дня. Он то откидывал одеяло, то снова натягивал его, все время проводил ладонью по влажному лбу и, приподнявшись на подушках, пытался откашляться, кашель у него был какой-то странный, хриплый, сдавленный и в то же время влажный, словно все внутри у него отрывалось. Со стороны казалось, будто он старается выхаркнуть из гортани душившие его куски ваты. После этих приступов он падал на подушки,

видимо, совсем обессилен. Потом он снова приподнимался и несколько секунд смотрел куда-то в стену, и смотрел с неестественной пристальностью, пожалуй еще более лихорадочной, чем предшествующее возбуждение. Но старая дама все еще не решалась вызвать врача, боясь раздражить больного. Впрочем, эта действительно устрашающая на вид болезнь могла оказаться приступами обычной лихорадки.

Однако к вечеру она набралась храбрости еще раз поговорить с отцом Панлю и получила весьма невразумительный ответ. Она повторила свое предложение, но тут святой отец приподнялся на постели и, хотя задыхался, вполне отдельно проговорил, что не желает показываться врачам. После этих слов хозяйка решила подождать утра и, если состояние отца Панлю не улучшится, позвонить по телефону в агентство Инфдок, благо соответствующий номер десятки раз на день повторяли по радио. Все так же неукоснительно выполняя свои обязанности, она решила заходить к больному ночью и присматривать за ним. Но вечером, дав ему чашку свежего настоя, она прилегла на минутку и проснулась только на заре. Первым делом она побежала к больному.

Отец Панлю лежал без движения. Вчерашняя багровость кожи сменилась мертвенной бледностью, тем более впечатляющей, что черты лица не потеряли своей округлости. Больной не отрываясь смотрел на лампочку с разноцветными хрустальными подвесками, висевшую над кроватью. При появлении квартирохозяйки он повернул к ней голову. По ее словам, вид у него был такой, будто всю ночь его били и к утру он от слабости уже потерял способность реагировать на происходящее. Она осведомилась, как он себя чувствует. И он ответил с той же странной, поразившей старую даму отрешенностью, что чувствует себя плохо, но что врача звать нет надобности и пусть его просто отправят в лазарет, согласно существующим правилам. Старая дама в испуге бросилась к телефону.

Риз прибыл в полдень. Выслушав рассказ старушки, он сказал только, что отец Панлю совершенно прав, но что, к сожалению, его позвали слишком поздно. Отец Панлю встретил его все так же безучастно. Риз освиде-

тельствовавший больного и, к великому своему изумлению, не обнаружил никаких характерных симптомов бубонной или легочной чумы, кроме удушья и стеснения в груди. Но так или иначе, пульс был такой слабый, а общее состояние такое угрожающее, что надежды почти не оставалось.

— У вас нет никаких характерных симптомов этой болезни,— сказал Риэ отцу Панлю. — Но поскольку нет и полной ясности, я обязан вас изолировать.

Отец Панлю как-то странно улыбнулся, словно бы из любезности, и промолчал. Риэ вышел в соседнюю комнату позвонить по телефону и снова вернулся в спальню. Он взглянул на отца Панлю.

— Я останусь при вас, — ласково проговорил он.

Больной, казалось, приободрился при этих словах и поднял на доктора чуть потеплевшие глаза. Потом он произнес, так мучительно выговаривая слова, что доктор не понял, звучит ли в его голосе печаль или нет.

— Спасибо, — сказал Панлю. — Но у священнослужителей не бывает друзей. Все свои чувства они вкладывают в свою веру.

Он попросил дать ему распятие, висевшее в головах кровати, и, когда просьба его была выполнена, отвернулся и стал смотреть на распятие.

В лазарете отец Панлю не открыл рта. Словно бесчувственная вещь, он подчинялся всем предписанным процедурам, но распятия из рук уже не выпускал. Однако случай его был неясен. Риэ терзался сомнениями. Это была чума, и это не было чумой. Впрочем, в течение последнего времени ей, казалось, доставляет удовольствие путать карты диагностики. Но в случае отца Панлю, как выяснилось в дальнейшем, эта неопределенность особого значения не имела.

Температура подскочила. Кашель стал еще более хриплым и мучил больного весь день. Наконец к вечеру отцу Панлю удалось выхаркнуть душившую его вату. Мокрота была окрашена кровью. Как ни бушевала лихорадка, отец Панлю по-прежнему безучастно глядел вокруг, и, когда на следующее утро санитары обнаружили уже застывшее тело, наполовину сползшее с койки, взгляд его ничего не выражал. На карточке написали: «Случай сомнительный».

В том году День всех святых прошел совсем не так, как проходил он обычно. Конечно, сыграла тут свою роль и погода. Погода резко переменилась, и на смену запоздалой жаре неожиданно пришла осенняя прохлада. Как и в предыдущие годы, не переставая свистел холодный ветер. Через все небо бежали пухлые облака, погружая в тень попадавшие на их пути дома, но, стоило им проплыть, все снова заливал холодный золотистый свет ноябрьского солнца. На улицах появились первые непромокаемые плащи. Удивительное дело, вскоре весь город шуршал от прорезиненных блестящих тканей. Оказалось, газеты напечатали сообщение о том, что двести лет назад в годину великой чумы на юге Франции, врачи, стремясь уберечься от заразы, ходили в промасленной одежде. Владельцы магазинов сумели использовать это обстоятельство и выбросили на прилавки всякую вышедшую из моды заваль, с помощью которой наши сограждане надеялись защитить себя от бацилл.

Но как ни очевидны были приметы осени, все мы помнили и знали, что кладбища в этот день покинуты. В прошлые годы трамваи были полны пресным запахом хризантем, и женщины группками направлялись туда, где покоились их близкие, чтобы украсить цветами родные могилы. Раньше в этот день живые пытались вознаградить покойного за то одиночество и забвение, в котором он пребывал столько месяцев подряд. Но в этом году никто не желал думать о мертвых. Ведь о них и без того думали слишком много. И странно было бы снова навещать родную могилу, платить дань легкому сожалению и тяжелой меланхолии. Теперь покойники не были, как прежде, просто чем-то забытым, к кому приходят раз в году ради очистки совести. Они стали непрошеными втирушами, которых хотелось поскорее забыть. Вот почему праздник всех святых в этом году получился какой-то неестественный. Коттар, который, по мнению Тарру, становился все ядовитее на язык, сказал, что теперь у нас каждый день праздник мертвых.

И действительно, все веселее в печи крематория разгорался фейерверк чумы. Правда, смертность вроде бы стабилизировалась. Но казалось, будто чума уютненько рас-

положилась на высшей точке и отныне вносит в свои ежедневные убийства старательность и аккуратность исправного чиновника. По мнению людей компетентных, это был, по сути дела, добрый знак. Так, например, доктор Ришар считал крайне обнадеживающим тот факт, что кривая смертности, резко поднявшись, пошла потом ровно. «Прекрасная, чудесная кривая», — твердил Ришар. Он уверял, что эпидемия уже достигла, как он выражался, потолка. И поэтому ей остается только падать. В этом он видел заслугу доктора Кастеля, вернее, его новой сыворотки, которая и на самом деле в некоторых случаях неожиданно давала прекрасные результаты. Старик Кастель не перечил, но, по его мнению, ничего предсказывать еще нельзя, так как из истории известно, что эпидемия неожиданно делает резкие скачки. Префектура, уже давно горевшая желанием внести успокоение в умы оранцев, что было весьма затруднительно, принимая во внимание чуму, предложила собрать врачей с тем, чтобы они составили соответствующий доклад, как вдруг чума унесла также и доктора Ришара, и именно тогда, когда кривая достигла потолка.

Узнав об этом безусловно впечатляющем случае, впрочем ровно ничего не доказывавшем, городские власти сразу же впали в пессимизм, столь же необоснованный, как и оптимизм, которому за неделю до того они предавались. Кастель же стал просто-напросто готовить свою сыворотку еще тщательнее, чем прежде. Так или иначе, не осталось ни одного общественного здания, не превращенного в больницу или в лазарет, и если до сих пор не посягнули на префектуру, то лишь потому, что надо было иметь какое-то место для различных сборищ. Но в общем-то, и именно в силу относительной стабилизации эпидемии в этот период, санитарная служба, организованная Риэ, вполне справлялась со своими задачами. Врачи и санитары, трудившиеся на износ, могли надеяться, что уж больших усилий от них не потребуется. Им надо было только как можно аккуратнее, если уместно употребить здесь это слово, выполнять свой нечеловеческий долг. Легочная форма чумы — сначала было зарегистрировано лишь несколько ее случаев — теперь быстро распространилась по всему городу, так, словно ветер разжигал и поддерживал

пожар в груди людей. Больные, которых мучила кровавая рвота, погибали значительно скорее. При этой новой форме болезни следовало ждать более быстрого распространения заразы. Но мнения специалистов на сей счет расходились. В целях большей безопасности медицинский персонал продолжал работать в масках, пропитанных дезинфицирующим составом. На первый взгляд эпидемия должна была бы шириться. Но поскольку случаи заболевания бубонной чумой стали реже, итог сбалансировался.

Между прочим, городским властям и без того было о чем тревожиться — продовольственные затруднения все больше росли. Спекулянты, понятно, не остались в стороне и предлагали по баснословным ценам продукты первой необходимости, уже исчезнувшие с рынка. Бедные семьи попали в весьма тяжелое положение, тогда как богатые почти ни в чем не испытывали недостатка. Казалось бы, чума должна была укрепить узы равенства между нашими согражданами именно из-за той неумолимой беспристрастности, с какой она действовала по своему ведомству, а получилось наоборот — эпидемия в силу обычной игры эгоистических интересов еще больше обострила в сердцах людей чувство несправедливости. Разумеется, за нами сохранялось совершеннейшее равенство смерти, но вот его-то никто не желал. Бедняки, страдавшие от голода, тоскливо мечтали о соседних городах и деревнях, где живут свободно и где хлеб не стоит таких бешеных денег. Раз их не могут досыта накормить, пусть тогда позволят уехать — таковы были их чувства, возможно не совсем разумные. Словом, кончилось тем, что на стенах домов стал появляться лозунг. «Хлеба или воли», а иной раз его выкрикивали вслед проезжавшему префекту. Эта ироническая фраза послужила сигналом к манифестациям, и, хотя их быстро подавили, все понимали, насколько дело серьезно.

Естественно, газеты по приказу свыше действовали в духе оголтелого оптимизма. Если верить им, то наиболее характерным для години бедствия было «исключительное спокойствие и хладнокровие, волнующий пример которого давало население». Но в наглухо закрытом городе, где ничто не оставалось в тайне, никто не обманывался насчет «примера», даваемого нашим сообществом. Чтобы

составить себе верное представление о вышеуказанном спокойствии и хладнокровии, достаточно было заглянуть в карантин или в «лагерь изоляции», организованный нашими властями. Случилось так, что рассказчик, занятый другими делами, сам в них не бывал. Потому-то он может лишь привести свидетельство Тарру.

Тарру и в самом деле рассказал в своем дневнике о посещении такого лагеря, устроенного на городском стадионе, куда он ходил вместе с Рамбером. Стадион расположен почти у самых городских ворот и одной стороной выходит на улицу, где бегают трамваи, а другой — на обширные пустыри, тянущиеся до границы плато, на котором возведен город. Он обнесен бетонной высокой оградой, и достаточно поэтому было поставить у всех четырех ворот часовых, чтобы затруднить побег. Кроме того, отделенные высокой стеной от улицы, несчастные, угодившие в карантин, могли не бояться досужего любопытства прохожих. Зато в течение всего дня на стадионе слышно было, как совсем рядом проходят с грохотом невидимые отсюда трамваи, и по тому, как крепчал в определенные часы гул толпы, отрезанные от мира бедолаги догадывались, что народ идет с работы или на работу. Таким образом, они знали, что жизнь, куда им ныне заказан доступ, продолжается всего в нескольких метрах от них и что бетонные стены разделяют две вселенные, более чуждые друг другу, чем если бы даже они помещались на двух различных планетах.

Тарру и Рамбер решили отправиться на стадион в воскресенье после обеда. С ними увязался Гонсалес, тот самый футболист; Рамбер разыскал его и уговорил взять на себя наблюдение за сменой караула у ворот стадиона. Рамбер обещал представить его начальнику лагеря. Встретившись со своими спутниками, Гонсалес сообщил, что как раз в этот час, ясно, до чумы, он начинал переодеваться, готовясь к матчу. Теперь, когда все стадионы реквизируют, податься было некуда, и Гонсалес чувствовал себя чуть ли не бездельником, даже вид у него был соответствующий. Именно по этой причине он и согласился взять на себя дежурство в лагере, но при условии, что работать будет только в последние дни недели. Небо затянуло облаками, и Гонсалес, задрав голову, печально заметил, что

такая погодка — не дождливая и не солнечная — для футбола самое милое дело. В меру отпущенного ему природой красноречия он старался передать слушателям запах втираний, стоявший в раздевалке, давку на трибунах, яркие пятна маек на буром поле, вкус лимона или шипучки в перерыве, покалывающей пересохшую глотку тысячью ледяных иголок. Тарру отмечает, что во время всего пути по выбитым улочкам предместья футболист беспрерывно гнал перед собой первый попавшийся камешек. Он пытался послать его прямо в решетку водосточной канавы и, если это удавалось, громогласно возглашал: «Один ноль в мою пользу». Докурив сигарету, он ловко выплевывал ее в воздух и старался на лету подшибить ногой. У самого стадиона игравшие в футбол ребяташки запустили в их сторону мяч, и Гонсалес не поленился сбегать за ним и вернул его обратно точнейшим ударом.

Наконец они вошли на стадион. Все трибуны были полны. Но на поле тесными рядами стояло несколько сотен красных палаток, внутри которых, они заметили еще издали, находились носилки и узлы с пожитками. Трибуны решено было не загромождать, чтобы интернированные могли посидеть там в укрытии от дождя или палящего солнца. Но с закатом им полагалось расходиться по палаткам. Под трибунами помещалось душевое отделение, его подремонтировали, а раздевалки переоборудовали под канцелярию и медпункты. Большинство интернированных облюбовали трибуны. Некоторые бродили по проходам. А кое-кто, присев на корточки у входа в свою палатку, рассеянно озирался вокруг. У сидевших на трибунах был пришибленный вид, казалось, они все ждут чего-то.

— А что они делают целыми днями? — обратился Тарру к Рамберу.

— Ничего не делают.

И действительно, почти все сидели вяло, опустив руки, раскрыв пустые ладони. Странное впечатление производило это огромное скопище неестественно молчаливых людей.

— В первые дни здесь оглохнуть можно было, — пояснил Рамбер. — Ну а потом, со временем, почти перестали разговаривать.

Если верить записям Тарру, то он вполне понимал этих несчастных, он без труда представил себе, как в первые дни, набившись в палатки, они вслушиваются в нудное жужжание мух или скребут себя чуть не до крови, а когда попадается сочувствующая пара ушей, вопят о своем гневе или страхе... Но с тех пор как лагерь переполнился народом, таких сочувствующих попадалось все меньше. Поэтому приходилось молчать и подозрительно коситься на соседа. Казалось, что и в самом деле с серенького, но все же лучистого неба кто-то сеет на этот алый лагерь подозрительность и недоверие.

Да, вид у всех у них был недоверчивый. Раз их отделили от остального мира, значит, это неспроста, и лица у них всех стали одинаковые, как у людей, которые в чем-то пытаются оправдаться и мучатся страхом. На кого бы ни падал взгляд Тарру, каждый праздно озирался вокруг, видимо, страдая от все абстрагирующей разлуки с тем, что составляло смысл его жизни. И так как они не могли с утра до ночи думать о смерти, они вообще ни о чем не думали. Они были как бы в отпуску. «Но самое страшное,— записал Тарру,— что они, забытые, понимают это. Тот, кто их знал, забыл, потому что думал о другом, и это вполне естественно. А тот, кто их любит, тоже их забыл, потому что сбился с ног, хлопоча об их же освобождении и выискивая разные ходы. Думая, как бы поскорее освободить своих близких из пленения, он уже не думает о том, кого надо освободить. И это тоже вполне в порядке вещей. И в конце концов видишь, что никто не способен по-настоящему думать ни о ком, даже в часы самых горьких испытаний. Ибо думать по-настоящему о ком-то — значит думать о нем постоянно, минута за минутой, ничем от этих мыслей не отвлекаясь: ни хлопотами по хозяйству, ни пролетевшей мимо мухой, ни принятием пищи, ни зудом. Но всегда были и будут мухи и зуд. Вот почему жизнь очень трудная штука. И вот они-то прекрасно знают это».

К ним подошел начальник лагеря и сказал, что их желает видеть некий мсье Отон. Усадив Гонсалеса в своем кабинете, начальник отвел остальных к трибуне, где в стороне сидел мсье Отон, поднявшийся при их приближении. Он был одет как и на воле, даже не расстался с туго

накрахмаленным воротничком. Одну только перемену обнаружил в нем Тарру — лучки волос у висков нелепо взъерошились и шнурок на одном ботинке развязался. Вид у следователя был усталый, и ни разу он не поглядел собеседникам в лицо. Он сказал, что рад их видеть и что он просит передать свою благодарность доктору Риэ за все, что тот сделал.

Рамбер и Тарру промолчали.

— Надеюсь, — добавил следователь после короткой паузы, — надеюсь, что Жак не слишком страдал.

Впервые Тарру услышал, как мсье Отон произносит имя сына, и понял, что, значит, есть еще и другие перемены. Солнце катилось к горизонту, и лучи, прорвавшись в шелку между двух облачков, косо освещали трибуны и золотили лица разговаривавших.

— Правда, правда, — ответил Тарру, — он совсем не мучился.

Когда они ушли, следователь так и остался стоять, глядя в сторону заходящего солнца.

Они заглянули в кабинет начальника попрощаться с Гонсалесом, который изучал график дежурств. Футболист пожал им руки и рассмеялся.

— Хоть в раздевалку-то попал, — сказал он, — и то ладно.

Начальник повел гостей к выходу, но вдруг над трибунами что-то оглушительно затрещало. Потом громкоговорители, те самые, что в лучшие времена сообщали публике результаты матча или знакомили ее с составом команд, гнусаво потребовали, чтобы интернированные расходились по палаткам, так как сейчас начнут раздавать ужин. Люди не спеша спускались с трибун и, еле волоча ноги, направлялись к палаткам. Когда все разбрелись, появились два небольших электрокара, такие бываюют на вокзалах, и медленно поползли по проходу между палатками, неся на себе два больших котла. Люди протягивали навстречу им обе руки, два черпака ныряли в два котла и выплескивали содержимое в две протянутые тарелки. Затем электрокар двигался дальше. У следующей палатки повторялась та же процедура.

— Научная постановка дела, — сказал Тарру начальнику.

— А как же, — самодовольно подтвердил начальник, пожимая посетителям на прощание руки, — конечно, по-научному.

Сумерки уже спустились, небо очистилось. На лагерь лился мягкий, ясный свет. В мирный вечерний воздух со всех сторон подымалось звяканье ложек и тарелок. Низко над палатками скользили летучие мыши и исчезали так же внезапно, как появлялись. По ту сторону ограды проскрежетал на стрелке трамвай.

— Бедняга следовательно, — пробормотал Тарру, выходя за ворота. — Надо бы для него что-нибудь сделать. Да как помочь законнику?

Были в нашем городе еще и другие лагеря, и в немалом количестве, но рассказчик не будет о них говорить по вполне понятным соображениям добросовестности и за отсутствием точной информации. Единственное, что он может сказать, — так это то, что самосуществование таких лагерей, доносящийся оттуда запах людской плоти, оглушительный голос громкоговорителей на закате, стены, скрывающие тайну и страх перед этим окаянном местом, — все это тяжелым грузом ложилось на души наших сограждан и еще больше увеличивало смятение, тяготило всех своим присутствием. Все чаще возникали стычки с начальством, происходили различные инциденты.

Тем временем, к концу ноября, уже начались холодные утренники. Ливневые дожди, не скупясь, обмыли плиты мостовой, чистенькие безоблачные небеса лежали над доведенными до блеска улицами. Солнце, уже потерявшее летнюю силу, каждое утро заливало наш город холодным ярким светом. А к вечеру, напротив, воздух снова теплел. Как-то в один из таких вечеров Тарру решил приоткрыть свою душу доктору Риэ.

Часов в десять вечера, после длинного утомительного дня, Тарру вызвался проводить Риэ, решившего навестить старика астматика. Над крышами старого квартала кротко поблескивало небо. Мягкий ветерок бесшумно пробежал вдоль темных перекрестков. Старик астматик встретил их болтовней, чуть не оглушившей гостей после тишины улиц. Старик сразу же заявил, что многие не согласны, что куски пожирнее всегда достаются одним

и тем же, что повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить, что, возможно, — и он от удовольствия даже руки потер — будет хорошенькая заваруха. Пока доктор осматривал его, он болтал без умолку, комментируя последние события.

Над головой у них послышались шаги. Поймав удивленный взгляд Тарру, старушка, жена астматика, объяснила, что, должно быть, это на крыше, то есть на террасе, сошлись соседки. И тут же им было сообщено, что оттуда, с крыши, очень красивый вид и что многие террасы примыкают вплотную друг к другу, так что местные женщины ходят к соседям в гости, не спускаясь в комнаты.

— Верно, — подхватил старик. — Если хотите, подымитесь. Воздух там свежий.

На террасе, где стояло три стула, было пусто. Справа, насколько хватал глаз, видны были сплошные террасы, примыкавшие вдалеке к чему-то темному, каменистому, в чем оба признали первый прибрежный холм. Слева, бегло скользнув по двум-трем улочкам и невидимому отсюда порту, взгляд упирался в линию горизонта, где в еле заметном трепетании море сливалось с небом. А над тем, что, как они знали, было грядой утесов, через ровные промежутки вспыхивал свет, самого источника света отсюда не было видно: это еще с весны продолжали вращаться фары маяка, указывая путь судам, которые направлялись теперь в другие порты. В чистом после шквальных ветров, глянцевитом небе горели первозданным блеском звезды, и далекий свет маяка время от времени примешивал к ним свой преходящий пепельный луч. Ветер нес запахи пряностей и камня. Кругом стояла ничем не нарушаемая тишина.

— Хорошо, — сказал Риэ, усевшись на стул, — такое впечатление, будто чума никогда сюда не добиралась.

Тарру стоял, повернувшись к нему спиной, и смотрел на море.

— Да, — ответил он не сразу. — Хорошо.

Он шагнул, сел рядом с доктором и внимательно посмотрел ему в лицо. Трижды по небу пробежал луч маяка. Из глубокой щели улицы доносился грохот посуды. В соседнем доме тихонько скрипнула дверь.

— Риэ, — самым естественным тоном проговорил Тарру, — вы никогда не пытались узнать, что я такое? Надеюсь, вы мне друг?

— Да, — ответил доктор, — я вам друг. Только до сих пор нам обоим все как-то времени не хватало.

— Прекрасно, теперь я спокоен. Не возражаете посвятить этот час дружбе?

Вместо ответа Риэ улыбнулся.

— Так вот, слушайте...

Где-то, не по их улице, проехала машина, и казалось, она слишком долго катится по мокрой мостовой. Наконец шорох шин стих, но водарившуюся было тишину нарушили далекие невнятные крики. И только потом тишина всей тяжестью звезд и неба обрушилась на обоих мужчин. Тарру снова поднялся, подошел к перилам террасы, оперся о них как раз напротив Риэ, который сидел на стуле, устало привалившись к спинке. Он видел не фигуру Тарру, а что-то темное, большое, выделявшееся на фоне неба. Наконец Тарру заговорил, и вот приблизительный пересказ его исповеди.

«Для простоты начнем, Риэ, с того, что я был уже чужой поражен еще прежде, чем попал в ваш город в разгар эпидемии. Достаточно сказать, что я такой же, как и все. Но существуют люди, которые не знают этого, или люди, которые сумели сжиться с состоянием чумы, и существуют люди, которые знают и которым хотелось бы вырваться. Так вот, мне всегда хотелось вырваться.

В юности я жил с мыслью о своей невинности, то есть без всяких мыслей. Я не принадлежу к разряду беспокорных, наоборот, вступил я в жизнь, как положено всем юношам. Все мне удавалось, науки давались легко, с женщинами я ладил прекрасно, и если накатывало на меня облачко беспокойства, оно быстро исчезало. Но в один прекрасный день я начал думать. И тогда...

Надо сказать, что в отличие от вас бедности я не знал. Мой отец был помощником прокурора, то есть занимал достаточно видный пост. Внешне это на нем не отражалось. Он от природы был человек благодушный, добряк. Мать моя была женщина простая, перед всеми тушевалась, я ее любил и люблю, но предпочитаю о ней не говорить. Отец много со мной возился, любил меня, думаю, даже пытался меня понять. У него на стороне —

теперь-то я в этом уверен — были интрижки, и, представьте, я ничуть этим не возмущаюсь. Вел он себя именно так, как полагается себя вести в подобных случаях, никого не шокируя. Короче, человек он был не слишком оригинальный, и теперь, после его смерти, я понимаю, что прожил он жизнь не как святой, но и дурным человеком тоже не был. Просто придерживался середины, а к такому сорту людей обычно испытывают разумную привязанность, и надолго.

Однако имелась у него одна слабость: его настольной книгой был большой железнодорожный справочник Шэкса. Он даже и не путешествовал, разве что проводил отпуск в Бретани, где у него было маленькое поместье. Но он мог вам без запинки назвать часы прибытия и отбытия поезда Париж — Берлин, порекомендовать наиболее простой маршрут, скажем, из Лиона в Варшаву, не говоря уже о том, что наизусть знал расстояние с точностью до полукилометра между любыми столицами, какую бы вы ни назвали. Вот вы, например, доктор, можете вы сказать, как проехать из Бриансона в Шамоникс? Даже начальник вокзала и тот задумается. А отец не задумывался. Каждый свободный вечер он старался расширить свои знания в этой области и очень ими гордился. Меня это ужасно забавляло, и я нередко экзаменовал его, проверял ответы по справочнику и радовался, что он никогда не ошибается. Эти невинные занятия нас сблизили, так как он ценил во мне благодарного слушателя. А я считал, что его превосходство в области железнодорожных расписаний было ничуть не хуже всякого другого.

Но я увлекся и боюсь преувеличить значение этого честного человека. Ибо скажу вам, чтобы покончить с этим вопросом, прямого влияния на мое становление отец не имел. Самое большее — он дал мне окончательный толчок. Когда мне исполнилось семнадцать, отец позвал меня в суд послушать его. В суде присяжных разбиралось какое-то важное дело, и он, вероятно, считал, что покажется мне в самом выгодном свете. Думаю также, он надеялся, что эта церемония, способная поразить юное воображение, побудит меня избрать профессию, которую в свое время выбрал себе он. Я охотно согласился, во-первых, хотел сделать отцу удовольствие, а во-вторых, мне самому было любопытно посмотреть и послушать его в иной роли,

не в той, какую он играл дома. Вот и все, ни о чем другом я не думал. Все, что происходит в суде, с самого раннего детства казалось мне вполне естественным и неизбежным, как, скажем, праздник 14 июля или выдача наград при переходе из класса в класс. Словом, представление о юстиции у меня было самое расплывчатое, отнюдь не мешавшее мне жить.

Однако от того дня моя память удержала лишь один образ — образ подсудимого. Думаю, что он и в самом деле был виновен, в чем — неважно. Но этот человек с рыжими редкими волосами, лет примерно тридцати, казалось, был готов признаться во всем, до того искренне страшило его то, что он сделал, и то, что сделают с ним самим, — так что через несколько минут я видел только его, только его одного. Он почему-то напоминал сову, испуганную чересчур ярким светом. Узел галстука сполз куда-то под воротничок. Он все время грыз ногти, только на одной руке, на правой... Короче, не буду размазывать, вы, должно быть, уже поняли, что я хочу сказать, — он был живой.

А я, я как-то вдруг заметил, что до сих пор думал о нем только под углом весьма удобной категории — только как об «обвиняемом». Не могу сказать, что я совсем забыл об отце, но что-то до такой степени сдавило мне нутро, что при всем желании я не мог отвести глаз от подсудимого. Я почти ничего не слушал, я чувствовал, что здесь хотят убить живого человека, и какой-то неодолимый инстинкт подобно волне влек меня к нему со слепым упрямством. Я очнулся, только когда отец начал обвинительную речь.

Непохожий на себя в красной прокурорской мантии, уже не тот добродушный и сердечный человек, которого я знал, он громоздил громкие фразы, выползавшие из его уст, как змеи. И я понял, что он от имени общества требует смерти этого человека, больше того — просит, чтобы ему отрубили голову. Правда, сказал он только: «Эта голова должна упасть». Но в конце концов разница не так уж велика. И выходит одно на одно, раз он действительно получил эту голову. Просто не он сам выполнял последнюю работу. А я, следивший теперь за ходом судебного разбирательства вплоть до заключительного слова, я чувствовал, как связывает меня с этим несчастным умопомрачительная близость, какой у меня никогда не было с отцом. А отец,

согласно существующим обычаям, обязан был присутствовать при том, что вежливо именуется «последними минутами» преступника, но что следовало бы скорее назвать самым гнусным из убийств.

С этого дня я не мог видеть без дрожи отвращения справочник Шэкса. С этого дня я заинтересовался правосудием, испытывая при этом ужас, заинтересовался смертными приговорами, казнями и в каком-то умопомрачении твердил себе, что отец по обязанности множество раз присутствовал при убийстве и как раз в эти дни вставал до зари. Да-да, в таких случаях он специально заводил будильник. Я не посмел заговорить об этом с матерью, но стал за ней исподтишка наблюдать и понял, что мои родители чужие друг другу и что жизнь ее была сплошным самоотречением. Поэтому я простил ее с легкой душой, как я говорил тогда. Позже я узнал, что и прощать-то ее не за что было, до замужества она всю жизнь прожила в бедности, и именно бедность приучила ее к покорности.

Вы, очевидно, надеетесь услышать от меня, что я, мол, сразу бросил родительский кров. Нет, я прожил дома еще долго, почти целый год. Но сердце у меня щемило. Как-то вечером отец попросил у матери будильник, потому что завтра ему надо рано вставать. Всю ночь я не сомкнул глаз. На следующий день, когда он вернулся, я ушел из дому. Добавлю, что отец разыскал меня, что я виделся с ним, но никаких объяснений между нами не было: я спокойно сказал ему, что, если он вернет меня домой силой, я покончу с собой. В конце концов он уступил, так как нрава он был скорее мягкого, произнес целую речь, причем назвал блажью мое намерение жить своей жизнью (так он объяснял себе мой уход, и я, конечно, не стал его разубеждать), надавал мне тысячу советов и с трудом удержался от вполне искренних слез. После этой беседы я в течение довольно долгого времени аккуратно ходил навешать мать и тогда встречал отца. Эти взаимоотношения вполне его устраивали, как мне кажется. Я лично против него зла не имел, только на сердце у меня было грустно. Когда он умер, я взял к себе мать, и она до сих пор жила бы со мной, если бы тоже не умерла.

Я затянул начало только потому, что и в самом деле это стало началом всего. Дальнейшее я изложу короче. В восемнадцать лет я, живший до того в достатке, узнал

нищету. Чего только я не перепробовал, чтобы заработать себе на жизнь. И представьте, в значительной мере преуспел. Но единственное, что меня интересовало, — это смертные приговоры. Мне хотелось уплатить по счету той рыжей сове. И естественно, я стал, как принято говорить, заниматься политикой. Просто не хотел быть зачумленным, вот и все. Я думал, что то самое общество, где я живу, базируется на смертных приговорах и, борясь против него, я борюсь таким образом с убийством. Так я думал, так мне говорили другие, и, если хотите, это в достаточной степени справедливо. Таким образом, я встал в ряды тех, кого я любил и до сих пор люблю. Я оставался с ними долго, и не было в Европе такой страны, где бы я не участвовал в борьбе. Ну да ладно...

Разумеется, я знал, что при случае и мы тоже выносили смертные приговоры. Но меня уверяли, что эти несколько смертей необходимы, дабы построить мир, где никого не будут убивать. До известной степени это было правдой, но я, должно быть, просто не способен держаться такого рода правды. Единственное, что бесспорно, — это то, что я колебался. Но я вспоминал сову и мог таким образом жить дальше. Вплоть до того дня, когда я лично присутствовал при смертной казни (было это в Венгрии), и то же самое умопомрачение, заставшее глаза подростка, каким я был некогда, застлало глаза уже взрослого мужчины.

Вы никогда не видели, как расстреливают человека? Да нет, конечно, без особого приглашения туда не попадешь, да и публику подбирают заранее. И в результате все вы пробавляетесь в этом отношении картинками и книжными описаниями. Повязка на глазах, столб, и вдалеке несколько солдат. Как бы не так! А знаете, что как раз наоборот, взвод солдат выстраивают в полутора метрах от расстреливаемого? Знаете, что, если осужденный сделает хоть шаг, он упрется грудью в дула винтовок? Знаете, что с этой предельно близкой дистанции ведут прицельный огонь в область сердца, а так как пули большие, получается отверстие, куда можно кулак засунуть? Нет, ничего вы этого не знаете, потому что о таких вот деталях не принято говорить. Сон человека куда более священная вещь, чем жизнь для зачумленных. Не следует портить сон честным людям. Это было бы дурным вкусом, а вкус

как раз и заключается в том, чтобы ничего не пережевывать — это всем известно. Но с тех пор я стал плохо спать. Дурной вкус остался у меня во рту, и я не перестал пережевывать, другими словами, думать.

Вот тут я и понял, что я, по крайней мере в течение всех этих долгих лет, как был, так и остался зачумленным, а сам всеми силами души верил, будто как раз борюсь с чумой. Понял, что пусть косвенно, но я осудил на смерть тысячи людей, что я даже сам способствовал этим смертям, одобряя действия и принципы, неизбежно влекущие ее за собой. Прочих, казалось, ничуть не смущало это обстоятельство, или, во всяком случае, они никогда об этом по доброй воле не заговаривали. А я жил с таким ощущением, будто мне перехватило глотку. Я был с ними и в то же время был один. Когда мне случалось выражать свои сомнения, те говорили, что следует смотреть в корень, и подчас приводили достаточно впечатляющие доводы, чтобы помочь мне проглотить то, что застряло у меня в глотке. Но я возражал, что главные зачумленные — это те, что напяливают на себя красные мантии, что и они тоже приводят в подобном случае весьма убедительные доводы, и, если я принимаю чрезвычайные и вызванные необходимостью доводы мелких зачумленных, я не вправе отбрасывать доводы главных. На это мне говорили, что лучший способ признать доводы красных мантий — это оставить за ними исключительное право на вынесение смертных приговоров. Но я думал про себя, что если уступить хоть раз, то где предел? Похоже, что история человечества подтвердила мою правоту, сейчас убивают наперегонки. Все они охвачены яростью убийства и иначе поступать не могут.

Не знаю, как другие, но я лично исходил не из рассуждений. Для меня все дело было в той рыжей сове, в той грязной истории, когда грязные, зачумленные уста объявили закованному в кандалы человеку, что он должен умереть, и действительно аккуратноенько сделали все, чтобы он умер после бесконечно длинных ночей агонии, пока он с открытыми глазами ждал, что его убьют. Не знаю, как для других, но для меня все дело было в этой дыре, зиявшей в груди. И я сказал себе, что, во всяком случае, лично я не соглашусь ни с одним, слышите, ни с одним доводом в пользу этой омерзительнейшей бойни. Да,

я сознательно выбрал эту упрямую слепоту в ожидании того дня, когда буду видеть яснее.

С тех пор я не изменился. Уже давно мне стыдно, до смерти стыдно, что и я, хотя бы косвенно, хотя бы из самых лучших побуждений, тоже был убийцей. Со временем я не мог не заметить, что даже самые лучшие не способны нынче воздержаться от убийства своими или чужими руками, потому что такова логика их жизни, и в этом мире мы не можем сделать ни одного жеста, не рискуя принести смерть. Да, мне по-прежнему было стыдно, я понял, что все мы живем в чумной скверне, и я потерял покой. Даже теперь я все еще ищу покоя, пытаюсь понять их всех, пытаюсь не быть ничьим смертельным врагом. Я знаю только, что надо делать, чтобы перестать быть зачумленным, и лишь таким путем мы можем надеяться на воцарение мира или за невозможностью такового — хотя бы на славную кончину. Вот каким путем можно облегчить душу людям и если не спасти их, то хотя бы, на худой конец, причинять им как можно меньше зла, а порой даже приносить немножко добра. Вот почему я решил отринуть все, что хотя бы отдаленно, по хорошим или по дурным доводам приносит смерть или оправдывает убийство.

Вот почему, кстати, эта эпидемия ничего нового мне не открыла, разве только одно — надо бороться против нее рука об руку с вами. Мне доподлинно известно (а вы сами видите, Риэ, что я знаю жизнь во всех ее проявлениях), что каждый носит ее, чуму, в себе, ибо не существует такого человека в мире, да-да, не существует, которого бы она не коснулась. И надо поэтому безостановочно следить за собой, чтобы, случайно забывшись, недохнуть в лицо другому и не передать ему заразы. Потому что микроб — это нечто естественное. Все прочее: здоровье, неподкупность, если хотите даже чистота, — все это уже продукт воли, и воли, которая не должна давать себе передышки. Человек честный, никому не передающий заразы, — это как раз тот, который ни на миг не смеет расслабиться. А сколько требуется воли и напряжения, Риэ, чтобы не забыть! Да, Риэ, быть зачумленным весьма утомительно. Но еще более утомительно не желать им быть. Вот почему все явно устали, ведь нынче все немножко зачумленные. Но именно поэтому те немногие,

что не хотят жить в состоянии зачумленности, доходят до крайних пределов усталости, освободить от коей может их только смерть.

Теперь я знаю, что я ничего не стою для вот этого мира и что с того времени, как я отказался убивать, сам себя осудил на бесповоротное изгнанничество. Историю будут делать другие. И я знаю также, что, по-видимому, не годен судить этих других. Для того чтобы стать здраво-мыслящим убийцей, у меня просто не хватает какого-то качества. Следовательно, это не превосходство. Но теперь я примирился с тем, что я таков, каков есть, я научился скромности. Я только считаю, что на нашей планете существуют бедствия и жертвы и что надо по возможности стараться не встать на сторону бедствия. Боюсь, мои рассуждения покажутся вам несколько упрощенными, не знаю, так ли это просто, знаю только, что это правильно. Я столько наслушался разных рассуждений, что у меня самого чуть было не пошла голова кругом, а сколько эти рассуждения вскружили вообще голов, склоняя их принять убийство, так что в конце концов я понял одно — вся беда людей происходит оттого, что они не умеют пользоваться ясным языком. Тогда я решил во что бы то ни стало и говорить и действовать ясно, чтобы выбраться на правильный путь. И вот я говорю: существуют бедствия и жертвы, и ничего больше. Если, сказав это, я сам становлюсь бедствием, то по крайней мере без моего согласия. Я стараюсь быть невинным убийцей. Как видите, притязание не такое уж большое.

Разумеется, должна существовать и третья категория, категория настоящих врачей, но такое встречается редко, и, очевидно, это очень и очень нелегко. Вот почему я решил во всех случаях становиться на сторону жертв, чтобы хоть как-нибудь ограничить размах бедствия. Очутившись в рядах жертв, я могу попытаться нащупать дорогу к третьей категории, другими словами — прийти к миру».

Закончив фразу, Тарру переступил с ноги на ногу и негромко постучал подметкой о пол террасы. Наступило молчание, затем доктор выпрямился на стуле и спросил Тарру, имеет ли он представление, какой надо выбрать путь, чтобы прийти к миру.

— Да, имею — сочувствие.

Где-то вдалеке дважды прогудела санитарная карета. Разрозненный рокот голосов слился теперь в сплошной гул где-то на окраине города, у каменистого холма. Почти одновременно раздались два хлопка, похожие на выстрелы. Потом снова наступила тишина. Риэ насчитал две вспышки маяка. Ветер набирался силы, и в этот же миг дуновением с моря принесло запах соли. Теперь стали внятно слышны глухие вздохи волн, бившихся о скалу.

— В сущности, одно лишь меня интересует, — просто сказал Тарру, — знать, как становятся святым.

— Но вы же в Бога не верите.

— Правильно. Сейчас для меня существует только одна конкретная проблема — возможно ли стать святым без Бога.

Внезапно яркий свет брызнул с той стороны, откуда доносились крики, и сюда к ним течением ветра принесло смутный гул голосов. Свет внезапно погас, и только там, где последняя терраса лепилась к скале, еще лежала узенькая багровая полоска. Порыв ветра снова донес до них отчетливые крики толпы, потом грохот залпа и негодующий рокот. Тарру поднялся, прислушался. Все смолкло.

— Опять у ворот дрались.

— Уже кончили, — сказал Риэ.

Тарру буркнул, что такое никогда не кончается и снова будут жертвы, потому что таков порядок вещей.

— Возможно, — согласился доктор, — но, как вы знаете, я чувствую себя скорее заодно с побежденными, а не со святыми. Думаю, я просто лишен вкуса к героизму и святости. Единственное, что мне важно, — это быть человеком.

— Да, оба мы ищем одно и то же, только я не имею столь высоких притязаний.

Риэ подумал, что Тарру шутит, и поднял на него глаза. Но в слабом свете, лившемся с неба, он увидел грустное, серьезное лицо. Снова поднялся ветер, и Риэ почувствовал всей кожей его теплое дыхание. Тарру тряхнул головой.

— А знаете, что бы следовало сделать, чтобы закрепить нашу дружбу?

— Согласен на все, что вам угодно, — сказал Риэ.

— Пойдем выкупаемся в море. Удовольствие, вполне достойное даже будущего святого.

Риз улыбнулся.

— Пропуска у нас есть, до дамбы мы доберемся без труда. В конце концов глупо жить только одной чумой! Разумеется, человек обязан бороться на стороне жертв. Но если его любовь замкнется только в эти рамки, к чему тогда и бороться.

— Хорошо, пойдем, — сказал Риз.

Через несколько минут машина остановилась у ворот порта. Уже взошла луна. Небесный свод затянуло молочной дымкой, и тени были бледные, неяркие. За их спиной громоздился город, и долетавшее оттуда горячее, болезненное дыхание гнало их к морю. Они предъявили стражнику пропуска, и тот долго вертел их в пальцах. Наконец он посторонился, и они направились к дамбе через какие-то площадки, заваленные бочками, откуда шел запах вина и рыбы. А еще через несколько шагов запах йода и водорослей известил их о близости моря. Только потом они его услышали.

Оно негромко шелестело у подножия огромных каменных уступов, и, когда они поднялись еще немного, перед ними открылось море, плотное, как бархат, гибкое и блестящее, как хребет хищника. Они облюбовали себе утес, стоявший лицом к морю. Волны медленно взбухали и откатывались назад. От этого спокойного дыхания на поверхности воды рождались и исчезали маслянистые блики. А впереди лежала бескрайняя мгла. Ощущая под ладонью изрытый как оспой лик скалы, Риз испытывал чувство какого-то удивительного счастья. Повернувшись к Тарру, он прочел на серьезном, невозмутимом лице друга выражение того же счастья, которое не забывало ничего, даже убийства.

Они разделись, Риз первым вошел в воду. Поначалу вода показалась ему ужасно холодной, но, когда он поплыл, ему стало теплее. Проплыв несколько метров, он уже знал, что море нынче вечером совсем теплое той особой осенней теплотою, когда вода отбирает от земли весь накопленный ею за лето зной. Он плыл ровно, не спеша. От его бьющих по воде ступней вскипала пенная борозда, вода струилась по предплечью и плотно льнула к ногам. Позади раздался тяжелый плеск, и Риз понял, что Тарру

бухнулся в воду. Риэ перевернулся на спину и лежал не шевелясь, глядя на опрокинутый над ним небесный свод, полный звезд и луны. Он глубоко вздохнул. Плеск вспененной мощными взмахами рук воды стал ближе и казался удивительно ясным в молчании и одиночестве ночи. Тарру приближался, вскоре доктор различил его шумное дыхание. Риэ перевернулся на живот и поплыл рядом с другом в том же ритме. Тарру плавал быстрее, и доктору пришлось поднагнать. Несколько минут они продвигались вперед в том же темпе, теми же мощными рывками, одни, далекие от всего мира, освободившиеся наконец от города и чумы. Риэ сдался первым, они повернули и медленно поплыли к берегу; только когда путь их пересекла ледяная струя, они ускорили темп. Не обменявшись ни словом, оба поплыли скорее, подстегиваемые этим неожиданным сюрпризом, который уготовило им море.

Они молча оделись и молча направились домой. Но сердцем они сроднились, и воспоминание об этой ночи стало им мило. Когда же они еще издали заметили часового чумы, Риэ догадался, о чем думает сейчас Тарру, — он, как и сам Риэ, думал, что болезнь забыла о них, что это хорошо и что сейчас придется снова браться за дело.

Да, пришлось снова браться за дело, и чума ни о ком надолго не забывала. Весь декабрь она пылала в груди наших сограждан, разжигала печи в крематории, заселяла лагерь бездействующими тенями — словом, все время терпеливо продвигалась вперед ровненькими короткими прыжками. Городские власти возлагали надежду на холодные дни, рассчитывая, что холод остановит это продвижение, но чума невредимо прошла сквозь первые испытания зимы. Приходилось снова ждать. Но когда ждешь слишком долго, то уж вообще не ждешь, и весь наш город жил без будущего.

Коротенький миг дружбы и покоя, выпавший на долю доктора Риэ, не имел завтрашнего дня. Открыли еще один лазарет, и Риэ оставался наедине только с тем или другим больным. Однако он заметил, что на этой стадии эпидемии, когда чума все чаще и чаще проявлялась в легочной форме, больные как бы стараются помочь врачу. Если в первые дни болезнь характеризовалась состоянием протрации или вспышками безумия, то теперь пациенты яснее отдавали себе отчет в том, что идет им на пользу,

и по собственному почину требовали именно то, что могло облегчить их страдания. Так, они беспрестанно просили пить и все без исключения искали тепла. И хотя доктор Риэ по-прежнему валился с ног от усталости, все же в этих новых обстоятельствах он чувствовал себя не таким одиноким, как прежде.

Как-то, было это уже к концу декабря, доктор получил письмо от следователя мсье Отона, который еще до сих пор находился в лагере; в письме говорилось, что карантин уже кончился, но что начальство никак не может обнаружить в списках дату его поступления в карантин и потому его задерживают здесь явно по ошибке. Его жена, недавно отбывшая свой срок в карантине, ходила жаловаться в префектуру, где ее встретили в штыки и заявили, что ошибок у них не бывает. Риэ попросил Рамбера уладить это дело; и через несколько дней к нему явился сам мсье Отон. Действительно, вышла ошибка, и Риэ даже немного рассердился. Но еще больше похудевший мсье Отон вяло махнул рукой и сказал, веско упирая на каждое слово, что все могут ошибаться. Доктор отметил про себя, что следователь в чем-то изменился.

— А что вы собираетесь делать, господин следователь? Вас ждут дела, — сказал Риэ.

— Да ничего не собираюсь, — ответил следователь. — Хотелось бы получить отпуск.

— Верно, верно, отдохнуть вам не мешает.

— Нет, не для этого. Я хотел бы вернуться в лагерь.

Риэ не мог скрыть удивления:

— Но вы же только что оттуда вышли!

— Вы меня не так поняли. Мне говорили, что в этот лагерь начальство вербует добровольцев.

Следователь перекатил справа налево свои круглые глаза и попытался пригладить хохол у виска.

— Я хочу, чтобы вы меня поняли. Во-первых, у меня будет занятие. А во-вторых, возможно, мои слова и покажутся вам глупыми, но там я буду меньше чувствовать разлуку с моим мальчиком.

Риэ взглянул на следователя. Может ли быть, что в этих жестких, ничего не выражающих глазах вдруг вспыхнула нежность. Но они затуманились, они утратили свой ясный металлический блеск.

— Разумеется, я займусь вашим делом, раз вы сами того хотите, — сказал доктор Риэ.

И действительно, доктор взял на себя хлопоты по делу мсье Отона, и вплоть до Рождества жизнь зачумленного города шла своим ходом. Тарру по-прежнему появлялся повсюду, и его неизменное спокойствие действовало на людей как лекарство. Рамбер признался доктору, что при помощи братьев-часовых ему удалось наладить тайную переписку с женой. Время от времени он получает от нее весточку. Рамбер предложил доктору воспользоваться его каналами, и Риэ согласился. Впервые за долгие месяцы он взялся за перо, но писание далось ему с трудом. Что-то из его лексикона исчезло. Письмо отправили. Но ответ задерживался. Зато Коттар благоденствовал и богател на своих махинациях. А вот Грану рождественские каникулы не принесли удачи.

В этом году Рождество походило скорее на адский, чем на евангельский праздник. Ничто не напоминало былых рождественских каникул — пустые, неосвещенные магазины, в витринах бутафорский шоколад, в трамваях хмурые лица. Раньше этот праздник объединял всех, и богатого и бедного, а теперь только привилегированные особы могли позволить себе отгороженную от людей постыдную роскошь праздничного пира, раздобывая за бешеные деньги все необходимое с черного хода грязных лавчонок. Даже в церквах слова благодарственного молебна заглушала плач. Только ребятишки, еще не понимавшие нависшей над ними угрозы, резвились на улицах угрюмого, схваченного холодом города. Но никто не осмеливался напомнить им о Боге, таком, каким был он до чумы, о Боженьке, щедром дарителе, древнем, как человеческое горе, но вечно новом, как юная надежда. В наших сердцах оставалось место только для очень древней угрюмой надежды, для той надежды, которая мешает людям покорно принимать смерть и которая не надежда вовсе, а просто упрямое цепляние за жизнь.

Накануне Гран не пришел в назначенный час. Риэ встревожился и заглянул к нему рано утром, но дома не застал. Он поднял всех на ноги. В одиннадцатом часу в лазарет к Риэ забежал Рамбер и сообщил, что видел издали Грана, но тот прошел мимо с убитым видом. И тут

Рамбер потерял его след. Доктор и Тарру сели в машину и отправились на розыски.

Уже в полдень, в морозный час, Риэ, выходя из машины, издали заметил Грана, почти вжавшегося в витрину магазина, где были выставлены топорно вырезанные из дерева игрушки. По лицу старика чиновника беспрерывно катились слезы. И при виде этих льющих слез у Риэ сжалось сердце — он догадался об их причине, и к горлу его тоже подступили рыдания. И он тоже вспомнил по-молвку Грана перед такой же вот убранной к празднику витриной, Жанну, которая, запрокинув голову, сказала, что она счастлива. Он не сомневался, что из глубин далеких лет сюда, в цитадель их общего безумия, до Грана долетел свежий Жаннин голосок. Риэ знал, о чем думает сейчас этот плачущий старик, и он тоже подумал, что наш мир без любви — это мертвый мир и неизбежно наступает час, когда, устав от тюрем, работы и мужества, жаждешь вызвать в памяти родное лицо, хочешь, чтобы сердце умилялось от нежности.

Но Гран заметил его отражение в стекле. Не вытирая слез, он обернулся, оперся спиной о витрину, глядя на приближавшегося к нему Риэ.

— Ох, доктор, доктор! — твердил он.

Риэ не мог вымолвить ни слова и, желая приободрить старика, ласково кивнул ему головой. Это отчаяние было и его отчаянием, душу ему выворачивал неудержимый гнев, который охватывает человека при виде боли, общей для всех людей.

— Да, Гран, — произнес он.

— Мне хотелось бы успеть написать ей письмо. Чтобы она знала... чтобы была счастлива, не испытывая угрызений совести...

Риэ даже с какой-то яростью оторвал Грана от витрины. А тот покорно позволял себя тащить и все бормотал какие-то фразы без начала и конца.

— Слишком уж это затянулось. Не хочется больше сопротивляться, будь что будет! Ох, доктор! Это только вид у меня спокойный. Но мне вечно приходилось делать над собой невероятные усилия, лишь бы удержаться на грани нормального. Но теперь чаша переполнилась.

Он остановился, трясаясь всем телом, и глядел на Риэ безумным взглядом. Риэ взял его за руку. Она горела.

— Пойдем-ка домой.

Гран вырвался, бросился бежать, но уже через несколько шагов остановился, раскинул руки крестом и зашатался назад и вперед. Потом, сделав полный круг, упал на скованный льдом тротуар, а по грязному лицу его все еще ползли слезы. Прохожие издали поглядывали на них, круто останавливались, не решаясь подойти ближе. Пришлось Риэ донести Грана до машины на руках.

Когда Грана уложили в постель, он начал задыхаться: очевидно, были задеты легкие. Риэ задумался. Родных у Грана нет. Зачем перевозить его в лазарет? Пусть лежит себе здесь, а Тарру будет за ним присматривать...

Голова Грана глубоко ушла в подушки, кожа на лице приняла зеленоватый оттенок, взор потух. Не отрываясь, он глядел на чахлое пламя, которое Тарру разжег в печурке, кинув туда старый ящик. «Плохо дело», — твердил он. И из глубин его охваченных огнем легких вместе с каждым произнесенным словом вылетал какой-то странный хрип. Риэ велел ему замолчать и сказал, что зайдет попозже. Странная улыбка морщила губы больного, и одновременно лицо его выразило нежность. Он с трудом подмигнул врачу: «Если я выкарабкаюсь, шапки долой, доктор!» Но тут же впал в состояние протрации.

Через несколько часов Риэ и Тарру снова отправились к Грану, он полусидел в постели, и врач испугался, увидев, как за этот недолгий срок преуспела болезнь. Но сознание, казалось, вернулось, и сразу же Гран каким-то неестественно глухим голосом попросил дать ему рукопись, лежавшую в ящике. Тарру подал ему листки, и Гран, не глядя, прижал их к груди, потом протянул доктору, показав жестом, что просит его почитать вслух. Рукопись была коротенькая, всего страниц пятьдесят. Доктор полистал ее и увидел, что каждый листок исписан одной и той же фразой, бесконечными ее вариантами, переделанными и так и эдак, то подлиннее и покрасивее, то покороче и побледнее. Сплошные месяц май, амазонка и аллеи Булонского леса, чуть измененные, чуть перевернутые. Тут же находились пояснения, подчас невыносимо длинные, а также различные варианты. Но в самом низу последней страницы было прилежно выведено всего несколько слов, видимо недавно, так как чернила были еще совсем свежие: «Дорогая моя Жанна, сегодня Рождество...» А вы-

ше — написанная каллиграфическим почерком последняя версия фразы. «Прочтите», — попросил Гран. И Риэ стал читать:

— «Прекрасным майским утром стройная амазонка на великолепном гнедом скакуне неслась среди цветов по аллеям Булонского леса...»

— Ну как получилось? — лихорадочно спросил больной.

Риэ не смел поднять на него глаз.

— Знаю, знаю, — беспокойно двигаясь на постели, пробормотал Гран, — сам знаю. Прекрасным, прекрасным, нет, не то все-таки слово.

Риэ взял его руку, лежавшую поверх одеяла.

— Оставьте, доктор. У меня времени не хватит...

Грудь его мучительно ходила, и вдруг он выкрикнул полным голосом:

— Сожгите ее!

Доктор нерешительно взглянул на Грана, но тот повторил свое приказание таким страшным тоном, с такой мукой в голосе, что Риэ повиновался и швырнул листки в почти погасшую печурку. На мгновение комнату озарило яркое пламя, и ненадолго стало теплее. Когда доктор подошел к постели, больной лежал, повернувшись спиной, почти упираясь лбом в стену. Тарру безучастно смотрел в окно, будто его ничуть не касалась эта сцена. Впрыснув больному сыворотку, Риэ сказал своему другу, что вряд ли Гран дотянет до утра, и Тарру вызвался посидеть с ним. Доктор согласился.

Всю ночь он мучился при мысли, что Грану суждено умереть. Но утром следующего дня Риэ, войдя к больному, увидел, что тот сидит на постели и разговаривает с Тарру. Температура упала. Единственное, что осталось от вчерашнего приступа, — это общая слабость.

— Ах, доктор, — начал Гран, — зря я это. Но ничего, начну все заново. Я ведь все помню.

— Подождем, — обратился Риэ к Тарру.

Но и в полдень положение больного не изменилось. К вечеру стало ясно, что Гран спасен. Риэ ничего не понимал в этом воскресении из мертвых.

И между тем примерно в то же время к Риэ доставили больную, он счел ее случай безнадежным и велел изолировать от других больных. Молоденькая девушка бреди-

ла, все признаки легочной чумы были налицо. Но к утру температура упала. Доктор, как и в случае с Граном, решил, что это обычная утренняя ремиссия, а по его опыту это было зловещим признаком. Однако в полдень температура не поднялась. К вечеру поднялась всего на несколько десятых, а еще через день совсем упала. Девушка, хоть и ослабла, дышала ровно и свободно. Риэ сказал Тарру, что она спаслась вопреки всем правилам. Но в течение недели Риэ пришлось столкнуться с четырьмя аналогичными случаями.

К концу недели Риэ и Тарру, заглянувшие к старику астматику, нашли его в состоянии небывалого возбуждения.

— Ну и ну, — твердил он. — Опять лезут.

— Кто?

— Да крысы же!

С апреля никто ни разу не видел в городе ни одной дохлой крысы.

— Неужели начнется все сызнова? — спросил Тарру у Риэ.

Старик радостно потирал руки.

— Вы бы только посмотрели, как они носятся! Одно удовольствие.

Он сам видел двух живых крыс, которые преспокойно вошли к нему с улицы. А соседи рассказывали, что и у них тоже появились грызуны. Кое-где на стройках люди снова слышали уже давно забытые возню и писк. Риэ поджидал последней сводки с общим итогом — ее обычно печатали в начале недели. Согласно им, болезнь отступала.

Часть пятая

Вопреки этому непредвиденному спаду эпидемии наши сограждане не спешили предаваться ликованиям. Долгие месяцы все росла их жажда освобождения, но за тот же срок они превзошли науку осмотрительности и постепенно отучились рассчитывать на близкий конец эпидемии. Между тем новость была у всех на устах и в глубине каждого сердца зарождалась великая, потаенная надежда. Все прочее отступало на задний план. Новые жертвы чумы казались чем-то маловажным по сравнению с ошеломляющим фактом: кривая заболеваний пошла вниз. Одним из характерных признаков ожидания эры здоровья — открыто на нее не надеялись, но втайне взывали, — так вот, характерным признаком было то, что в последнее время наши сограждане стали охотно строить планы о последующем существовании, правда, внешне равнодушно.

Все сходились на том, что былая жизнь со всеми ее удобствами вернется не сразу, что легче разрушать, чем создавать. Просто считалось, что с продовольствием, во всяком случае, будет легче и что хоть одной тягостной заботой станет меньше. Но по сути, под этими внешне безобидными замечаниями бушевала безумная надежда, и так сильно бушевала, что наши сограждане иной раз все же спохватывались и выпаливали одним духом, что при всех обстоятельствах избавление — дело не завтрашнего дня.

И впрямь, чума затихла не завтра, но по всем признакам она ослабевала быстрее, чем позволительно было надеяться. В первые дни января наступили необычно упорные для нас холода и, казалось, легли над городом хрустальным куполом. И однако, никогда еще небо не было таким синим. С утра до вечера его недвижимое льдистое

великолепие заливало наш город своим неугасающим сиянием. В течение трех недель чума в этом очищенном воздухе, пройдя через несколько спадов, по-видимому, истощила себя, ограничившись сильно поредевшим строем мертвых тел. В короткое время чума растеряла почти всю свою мощь, накопленную за долгие месяцы эпидемии. Уже по одному тому, как выпускает она из своих когтей явно обреченные на смерть жертвы, скажем, Грана или молоденькую пациентку доктора Риэ, бесчинствует в некоторых кварталах в продолжение двух-трех дней, а в соседних уже исчезла полностью, как в понедельник набрасывается она еще на свои жертвы, а в среду отступает по всему фронту, уже по тому, как она запыхалась и суетится, можно было с уверенностью сказать, как она издергана, устала, в чем-то разладилась, что, теряя власть над собой, чума одновременно утеряла свою царственную, математически неотвратимую действенность, бывшую источником ее силы. Если прежде сыворотка Кастеля почти не знала удач, то теперь одна удача следовала за другой. Любое врачебное мероприятие, бывшее прежде неэффективным, стало теперь спасительным. Создавалось впечатление, будто сейчас травят уже шаг за шагом саму болезнь и что внезапная слабость чумы придала силу притупившемуся оружию, которым с ней пытались раньше бороться. Только временами чума, отдышавшись, делала вслепую резкий скачок и уносила трех-четыре больных, хотя врачи надеялись на их выздоровление. Это были, так сказать, неудачники чумы, те, которых она убивала в самый разгар надежд. Такая судьба постигла, например, мсье Отона, которого пришлось увезти из карантина, и Тарру говорил, что следователю и в самом деле не повезло, при этом никто так и не понял, что он имеет в виду — смерть или жизнь следователя.

Но в общем-то, чума отступала по всей линии, и сводки префектуры, поначалу будившие в сердцах наших сограждан лишь робкую и тайную надежду, теперь уже полностью поселили в нас убеждение, что победа одержана и чума оставляет свои позиции. Откровенно говоря, трудно было утверждать, действительно ли это победа или нет. Приходилось лишь констатировать, что эпидемия уходит так же неожиданно, как и пришла. Применявшаяся в борьбе с ней стратегия не изменилась, вчера еще бесплодная, сегодня она явно приносила успех. Так или иначе создавалось впечатление, будто болезнь сама себя исчерпала

или, возможно, отступила, поразив все намеченные объекты. В каком-то смысле роль ее была сыграна.

Тем не менее внешне город вроде не изменился. Днем было по-прежнему тихо и пустынно, вечерами улицы заполняла все та же толпа, где теперь, впрочем, преобладали теплые пальто и кашне. Кинотеатры и кафе по-прежнему делали большие сборы. Но, приглядевшись попристальнее, можно было увидеть, что лица не так напряженно-суровы и кое-кто даже улыбается. И именно это дало повод заметить, что доньше никто на улицах не улыбался... И в самом деле, в мутной дымке, уже долгие месяцы окутывавшей наш город, появился первый просвет, и по понедельникам каждый, слушая радио, имел возможность убедиться, что просвет этот с каждым днем становится шире и наконец-то нам позволено будет вздохнуть свободно. Пока еще это было, так сказать, лишь негативное облегчение, ничем не выражавшееся открыто. Но если раньше мы с недоверием встретили бы весть об отбытии поезда, или прибытии судна, или о том, что автомобилям вновь разрешается циркулировать по городу, то в середине января, напротив, такие вести никого бы не удивили. Разумеется, это не так уж много. Но на деле этот оттенок свидетельствовал о том, как далеко шагнули наши сограждане по пути надежды. Впрочем, можно также сказать, что с той самой минуты, когда население позволяет себе лелеять хоть самую крошечную надежду, реальная власть чумы кончается.

Тем не менее в течение всего января наши сограждане воспринимали происходящее самым противоречивым образом. Точнее, от радостного возбуждения их тут же бросало в уныние. Именно в то время, когда статистические данные казались более чем благоприятными, снова было зарегистрировано несколько попыток к бегству. Это обстоятельство весьма удивило не только городские власти, но и караульные посты, так как большинство побегов удалось. Но если разобраться строго, люди, бежавшие из города как раз в эти дни, повиновались вполне естественному чувству. В одних чума вселила глубочайший скептицизм, от которого они не могли отделаться. Надежда уже не имела над ними власти. Даже тогда, когда година чумы миновала, они все еще продолжали жить согласно ее нормам. Они просто отстали от событий. И напротив, в сердцах других — категория эта вербовалась в первую оче-

редь из тех, кто жил в разлуке с любимым, — ветер надежды, повеявший после длительного затвора и уныния, разжег лихорадочное нетерпение и лишил их возможности владеть собой. Их охватывала чуть ли не паника при мысли, что они, не дай Бог, погибнут от чумы, когда цель уже так близка, что не увидят тех, кого они так безгранично любили, и что долгие страдания не будут им зачтены. И хотя в течение месяцев и месяцев они вопреки тюрьме и изгнанию мрачно и упорно жили ожиданием, первого проблеска надежды оказалось достаточно, чтобы разрушить дотла то, что не могли поколебать страх и безнадёжность. Как безумные, бросились они напролом, лишь бы опередить чуму, уже не в силах на финише приноравливаться к ее аллюру.

Впрочем, в то же самое время как-то непроизвольно стали проявляться признаки оптимизма. Так, было отмечено довольно значительное снижение цен. С точки зрения чистой экономики этот сдвиг был необъясним. Трудности с продовольствием остались прежние, у городских ворот все еще стояли карантинные кордоны, да и снабжение не слишком-то улучшилось. Значит, мы присутствовали при феномене чисто морального характера, так, словно бы отступление чумы проецировалось на все. Одновременно оптимизм возвращался к тем, кто до чумы жил общиной, а во время эпидемии был насильственно расселен. Оба наши монастыря постепенно стали такими же, как прежде, и братия снова зажила общей жизнью. То же самое можно сказать и о военных, которых снова перевели в казармы, не занятые в свое время под лазарет, они тоже вернулись к нормальному гарнизонному существованию. Два эти незначительных факта оказались весьма красноречивыми знаменами.

В этом состоянии внутреннего волнения пребывали наши сограждане вплоть до двадцати пятого января. За последнюю неделю кривая смертности так резко пошла вниз, что после консультации с медицинской комиссией префектура объявила, что эпидемию можно считать пресеченной. Правда, в сообщении добавлялось, что из соображений осторожности, а это, несомненно, будет одобрено оранцами, город останется закрытым еще на две недели и профилактические мероприятия будут проводиться в течение целого месяца. Если за этот период времени появятся малейшие признаки опасности, «необходимо бу-

дет придерживаться статус-кво со всеми вытекающими отсюда последствиями». Однако наши сограждане склонны были считать это добавление чисто стилистическим ходом, и вечером двадцать пятого января весь город охватило радостное волнение. Не желая оставаться в стороне от общей радости, префект распорядился освещать город, как в дочумные времена. На залитые ярким светом улицы, под холодное чистое небо высыпали группками наши сограждане, смеющиеся и шумливые.

Конечно, во многих домах ставни так и не распахнулись, и семьи в тяжком молчании проводили это вечернее бдение, звенящее от возгласов толпы. Но и тот, кто еще носил траур по погибшим, испытывал чувство глубочайшего облегчения, то ли потому, что перестал бояться за жизнь пощаженных чумой близких, то ли потому, что улеглась тревога за свою собственную жизнь. Но конечно, особенно чурались всеобщего веселья те семьи, где в этот самый час больной боролся с чумой в лазарете, или те, что находились в карантине или даже дома, ожидая, что бич Божий покончит с ними, как покончил он и со многими другими. Правда, и в этих семьях теплилась надежда, но ее на всякий случай хранили про запас, запрещали себе думать о ней, прежде чем не приобретут на нее полное право. И это ожидание, это немощствующее бодрствование где-то на полпути между агонией и радостью казалось им еще более жестоким среди всеобщего ликования.

Но эти исключения не умаляли радость других. Разумеется, чума еще не кончилась, она это еще докажет. Однако каждый уже заглядывал на несколько недель вперед, представляя себе, как со свистом понесутся по рельсам поезда, а корабли будут бороздить сверкающую гладь моря. На следующий день умы поуспокоятся и снова родятся сомнения. Но в ту минуту весь город как бы встряхнулся, выбрался на простор из мрачных стылых укрытий, где глубоко вросли в землю его каменные корни, и наконец-то стронулся с места, неся груз выживших. В тот вечер Тарру, Риэ, Рамбер и другие шагали с толпой и точно так же, как и все, чувствовали, как уходит из-под их ног земля. Еще долго Тарру и Риэ, свернув с бульваров, слышали у себя за спиной радостный гул, хотя уже углубились в пустынные улочки и шли мимо наглухо закрытых ставен. И все из-за той же проклятой усталости они не

могли отделить страдания, продолжавшиеся за этими ставнями, от веселья, заливавшего чуть подальше центр города. Лик приближающегося освобождения был орошен слезами и сиял улыбкой.

В ту самую минуту, когда радостный гул особенно окреп, Тарру вдруг остановился. По темной мостовой легко проскользнула тень. Кошка! В городе их не видели с самой весны. На секунду кошка замерла посреди мостовой, нерешительно присела, облизала лапку и, быстро проведя ею за правым ушком, снова бесшумно двинулась к противоположному тротуару и исчезла во мраке.

Тарру улыбнулся. Вот уж старичок напротив будет доволен!..

Но именно теперь, когда чума, казалось, уходит вспять, заползает обратно в ту неведомую нору, откуда она бесшумно выползла весной, нашелся в городе один человек, которого, если верить записям Тарру, уход ее поверг в уныние, и человеком этим был Коттар.

Если говорить начистоту, то с того дня, когда кривая заболеваний пошла вниз, записи Тарру приобрели какой-то странный характер. Было ли то следствием усталости — неизвестно, но почерк стал неразборчивым, да и сам автор все время перескакивал с одной темы на другую. Более того, впервые эти записи лишились своей былой объективности и, напротив, все чаще и чаще попадались в них личные соображения. Среди довольно длинного рассказа о Коттаре вкраплено несколько слов о старичке-кошкоплюе. По словам Тарру, чума отнюдь не умалила его уважения к этому персонажу, он интересовался им после эпидемии так же, как и до нее, но, к сожалению, больше он уже не сможет им интересоваться, хотя по-прежнему относится к старику весьма благожелательно. Он попытался его увидеть. Через несколько дней после двадцать пятого января он занял наблюдательный пост на углу их переулка. Кошки, памятуя о заветном месте встреч, снова мирно грелись в солнечных лужицах. Но в положенный час ставни упорно оставались закрытыми. И все последующие дни Тарру ни разу не видел, чтобы их открывали. Из чего автор заключил, что старичок или обиделся, или помер; если он обиделся, то потому, что считал себя правым, а чума его опровергла, а если он помер, следовало бы поразмыслить о том, не был ли он святым,

как и их старик астматик. Сам Тарру так не думал, но считал, что случай со старичком можно рассматривать как некое «указание». «Возможно, — гласят записные книжки, — человек способен приблизиться лишь к подступам святости. Если так, то пришлось бы довольствоваться скромным и милосердным сатанизмом».

Вперемешку с записями о Коттаре встречаются также многочисленные и разбросанные в беспорядке замечания то о Гране, уже выздоровевшем и снова взявшемся за работу, будто ничего и не случилось, то о матери доктора Риз. Скрупулезно, с мельчайшими подробностями записаны беседы ее с Тарру, что неизбежно при совместном проживании под одной крышей; манеры старушки, ее улыбка, ее замечания насчет чумы. Особенно Тарру подчеркивает ее необыкновенную способность стушевываться, ее привычку изъясняться только самыми простыми фразами, ее особое пристрастие к окошку, выходящему на тихую улочку, возле которого она просиживала все вечера, тихонько сложив руки на коленях, чуть выпрямив стан, и все глядела, пока сумерки не затопят комнату, а сама она не превратится в черную тень, еле выделяющуюся на фоне серой дымки, которая, постепенно сгущаясь, поглотит ее неподвижный силуэт; о легкости, с которой она передвигается по квартире, о ее доброте, которой светится все ее существо, каждый ее жест, каждое ее слово, хотя непосредственно она вроде бы ничего особенного при Тарру не сделала, и, наконец, он пишет, что старушка постигает все не умом, а сердцем и что, оставаясь в тени, в молчании, она умеет быть равной любому свету, будь то даже свет чумы. Впрочем, здесь почерк Тарру становится каким-то странным, словно рука пишущего ослабла. Следующие за этим строчки почти невозможно разобрать, и как бы в доказательство этой слабости последние слова записи являются в то же время первыми личными высказываниями: «Моя мать была такая же, я любил в ней эту способность добровольно стушевываться, и больше всего мне хотелось бы быть с ней. Прошло уже восемь лет, но я никак не могу решиться сказать, что она умерла. Просто стушевалась немного больше, чем обычно, а когда я обернулся — ее уже нет».

Но вернемся к Коттару. С тех пор как эпидемия пошла на убыль, Коттар под разными выдуманскими предлогами зачастил к Риз. Но в действительности являлся он

лишь затем, чтобы разузнать у врача прогнозы насчет дальнейшего развития эпидемии. «Значит, вы считаете, что она может кончиться вот так, сразу, ни с того ни с сего?» В этом отношении он был настроен скептически или, во всяком случае, хотел показать, что настроен именно так. Но его назойливость доказывала, что в душе он не так уж был в этом убежден. С середины января Риэ стал отвечать на его вопросы более оптимистическим тоном. И всякий раз ответы врача не только не радовали Коттара, но, наоборот, вызывали в нем различные эмоции — в иные дни уныние, в иные — досаду. Потом уж доктор Риэ стал говорить ему, что, несмотря на благоприятные признаки и статистические данные, рано еще кричать «ура».

— Другими словами, — заметил Коттар, — раз ничего не известно, значит, не сегодня завтра все опять может начаться сначала?

— Да, но в равной мере может случиться, что эпидемия пойдет на убыль еще быстрее.

Эта неуверенность, причинявшая тревогу всем и каждому, явно приносила успокоение Коттару, и в присутствии Тарру он не раз заводил разговоры с соседними торговцами и старался как можно шире распространить мнение доктора Риэ. Впрочем, особого труда это не представляло. Ибо после лихорадочного возбуждения, вызванного первыми победными реляциями, многих снова охватило сомнение, оказавшееся куда более стойким, нежели ликование по поводу заявления префектуры. Зрелище растревоженного города успокаивало Коттара. Но в иные дни он снова падал духом.

— Рано или поздно, — твердил он Тарру, — город все равно объявят открытым. И вот увидите, тогда все от меня отвернется.

Еще до знаменитого двадцать пятого января все в Оране обратили внимание на переменчивый нрав Коттара. Сколько терпения потратил он, стремясь обаять весь квартал, всех своих соседей, — и вдруг на несколько дней круто порывал с ними, сиднем сидел дома. Во всяком случае, таково было внешнее впечатление, он отходил от людей и, как прежде, замыкался в своей диковатости. Его не видели ни в ресторанах, ни в театре, ни даже в любимых кафе. И все же чувствовалось, что он не вернулся к прежнему размеренному и незаметному существованию, какое вел до эпидемии. Теперь он не вылезал из дому и даже

обед ему приносили из соседнего ресторанчика. Только вечерами он пробегал по улицам, делал необходимые покупки, пулей выскакивал из магазина и сворачивал в самые пустынные улицы. Тарру случайно наткнулся на Коттара во время этих одиноких пробежек, но не мог вырвать у него ни слова, тот только бормотал что-то в ответ. Потом вдруг, без всякой видимой причины, Коттар снова делался общительным, много и долго распространялся о чуме, выводил мнение других на этот счет и с явным удовольствием смешился с текущей по улицам толпой.

В день оглашения декларации префектуры Коттар окончательно исчез с горизонта. Через два дня Тарру встретил его, одиноко блуждающего по улицам. Коттар попросил Тарру проводить его до окраины. Тарру, чувствующий себя особенно усталым после долгого дня работы, согласился не сразу. Но Коттар настаивал. Он казался неестественно возбужденным, нелепо размахивал руками, говорил быстро и громко. Он спросил у своего спутника, считает ли тот, что сообщение префектуры и в самом деле означает конец эпидемии. Тарру, разумеется, полагал, что административными заявлениями бедствия не пресечешь, но есть основание думать, что эпидемия идет на убыль, если, конечно, не произойдет чего-нибудь непредвиденного.

— Верно, — подтвердил Коттар, — если только не произойдет. А непредвиденное всегда происходит.

Тарру возразил, что префектура, впрочем, в какой-то мере предвидела непредвиденное, поскольку, объявив город открытым, предусмотрела двухнедельный контрольный срок.

— И хорошо сделала, — проговорил все так же мрачно и возбужденно Коттар, — потому что, судя по ходу событий, вполне может быть, что зря эту декларацию опубликовали.

Тарру согласился, что, может, и зря, но, по его мнению, гораздо приятнее думать, что город в скором времени станет открытым и мы вернемся к нормальной жизни.

— Допустим, — прервал его Коттар, — допустим, но что именно вы подразумеваете под словами «вернемся к нормальной жизни»?

— Ну, хотя бы начнут демонстрировать новые фильмы, — улыбнулся Тарру.

Но Коттар не улыбался. Ему хотелось понять, значит ли это, что чума ничего не изменила в городе и все пойдет, как и раньше, то есть так, словно ничего и не произошло. Тарру полагал, что чума изменила и в то же время не изменила город, что, разумеется, наиболее сильным желанием наших сограждан было и будет вести себя так, словно ничего не изменилось, и что, следовательно, в каком-то смысле ничего не изменится, но, с другой стороны, все забыть нельзя, даже собрав в кулак всю свою волю, — чума, безусловно, оставит след, хотя бы в сердцах людей. Тут рантье отрезал, что людские сердца его ничуть не интересуют, более того, плевать ему на все сердца скопом. Ему интересно знать другое: не подвергнется ли перестройке система управления и будут ли, к примеру, все учреждения функционировать, как и прежде. И Тарру вынужден был признать, что ему это неизвестно. Но надо думать, учреждения, взбаламученные эпидемией, нелегко будет снова запустить на полный ход. Можно также думать, что перед ними возникнет множество новых вопросов, а это потребует хотя бы реорганизации прежних канцелярий.

— Возможно, — сказал Коттар, — тогда всем придется все начинать с самого начала.

Они уже добрались до дома Коттара. Коттар был возбужден, говорил с наигранным оптимизмом. Ему лично видится город, начинающий всю жизнь сначала, стерший начисто свое прошлое, чтобы начать с нуля.

— Что ж, — сказал Тарру. — Возможно, в конце концов также уладятся и ваши дела. В известном смысле начнется новая жизнь.

У подъезда они распрощались.

— Вы правы, — проговорил Коттар, уже не пытаясь скрыть волнения, — начать все с нуля — превосходная штука.

Но тут в дальнем углу подъезда внезапно возникли две тени. Тарру еле разобрал шепот Коттара, спросившего, что нужно здесь этим птичкам. А птички, похожие на принарядившихся чиновников, осведомились у Коттара, действительно ли он Коттар; тот, глухо чертыхнувшись, круто повернул и исчез во мраке прежде, чем птички да и сам Тарру успели шелохнуться. Когда первое удивление улеглось, Тарру спросил у незнакомцев, что им надо. Они ответили сдержанно и вежливо, что им надо навести кое-

какие справки, и степенно зашагали в том направлении, где скрылся Коттар.

Вернувшись домой, Тарру записал эту сцену и тут же пожаловался на усталость (что подтверждал и его почерк). Он добавил, что впереди у него еще много дел, но это вовсе не довод и надо быть всегда готовым, и сам себе задавал вопрос, действительно ли он готов. И сам себе ответил — на этой записи и кончается дневник Тарру, — что у каждого человека бывает в сутки — ночью ли, днем ли — такой час, когда он празднует труса, и что лично он боится только этого часа.

На третьи сутки, за несколько дней до открытия города, доктор Риэ вернулся домой около полудня, думая по дороге, не пришла ли на его имя долгожданная телеграмма. Хотя и сейчас он работал до изнеможения, как в самый разгар чумы, близость окончательного освобождения снимала усталость. Он теперь надеялся и радовался, что может еще надеяться. Нельзя до бесконечности сжимать свою волю в кулак, нельзя все время жить в напряжении, и какое же это счастье одним махом ослабить наконец пучок собранных для борьбы сил. Если ожидаемая телеграмма будет благоприятной, Риэ сможет начать все сначала. И он считал, что пусть все начнут все сначала.

Риэ прошел мимо швейцарской. Новый привратник, сидевший у окошка, улыбнулся ему. Поднимаясь по лестнице, Риэ вдруг вспомнил его лицо, бледное от усталости и недоедания.

Да, когда будет покончено с абстракцией, он начнет все с самого начала, и если хоть немного повезет... С этой мыслью он открыл дверь, и в ту же самую минуту навстречу ему вышла мать и сообщила, что мсье Тарру нездоровится. Утром он, правда, встал, но из дому не вышел и снова лег. Мадам Риэ была встревожена.

— Может быть, еще ничего серьезного, — сказал Риэ.

Тарру лежал, вытянувшись во весь рост на постели, его тяжелая голова глубоко вдавилась в подушку, под одеялами вырисовывались очертания мощной грудной клетки. Температура у него была высокая, и очень болела голова. Он сказал Риэ, что симптомы еще слишком неопределенны, но возможно, что это и чума.

— Нет, пока еще рано выносить окончательное суждение, — сказал Риэ, осмотрев больного.

Но Тарру мучила жажда. Выйдя в коридор, доктор сказал матери, что, возможно, это начало чумы.

— Нет, — проговорила она, — это невысказано, особенно сейчас!

И тут же добавила:

— Оставим его у нас, Бернар.

Риэ задумался.

— Я не имею права, — ответил он. — Но город не сегодня завтра будет объявлен открытым. Если бы не ты, я бы взял на себя этот риск.

— Бернар, — умоляюще проговорила мать, — оставь нас обоих здесь. Ты же знаешь, мне только что вприскивали вакцину.

Доктор сказал, что Тарру тоже вприскивали вакцину, но он, очевидно, так замотался, что пропустил последнюю прививку и забыл принять необходимые меры предосторожности.

Риэ прошел к себе в кабинет. Когда он снова заглянул в спальню, Тарру сразу заметил, что доктор несет огромные ампулы с сывороткой.

— Ага, значит, она самая, — сказал он.

— Нет, просто мера предосторожности.

Вместо ответа Тарру протянул руку и спокойно перенес капельное вливание, которое сам десятки раз делал другим.

— Посмотрим, что будет вечером, — сказал Риэ, глядя Тарру прямо в лицо.

— А как насчет изоляции?

— Пока еще нет никакой уверенности, что у вас чума.

Тарру с трудом улыбнулся:

— Ну, знаете, это впервые в моей практике — вливают сыворотку и не требуют немедленной изоляции больного.

Риэ отвернулся.

— Мама и я будем за вами ухаживать. Вам здесь будет лучше.

Тарру замолчал, и доктор стал собирать ампулы, ожидая, что Тарру заговорит и тогда у него будет предлог оглянуться. Не выдержав молчания, он снова подошел к постели. Больной смотрел прямо на Риэ. На его лице лежало выражение усталости, но серые глаза были спокойны. Риэ улыбнулся ему:

— Если можете, поспите. Я скоро вернусь.

На пороге он услышал, что Тарру его окликнул. Риэ вернулся к больному.

Но Тарру заговорил не сразу, казалось, он борется даже против самих слов, которые готовы сорваться с его губ.

— Риэ, — проговорил он наконец, — не надо от меня ничего скрывать, мне это необходимо.

— Обещаю вам.

Тяжелое лицо Тарру чуть искривила вымученная улыбка.

— Спасибо. Умирать мне не хочется, и я еще побуюсь. Но если дело плохо, я хочу умереть пристойно.

Риэ склонился над кроватью и сжал плечо больного.

— Нет, — сказал он. — Чтобы стать святым, надо жить. Боритесь.

Днем резкий холод чуть смягчился, но лишь затем, чтобы уступить к вечеру арену яростным ливням и граду. В сумерках небо немного очистилось и холод стал еще пронзительнее. Риэ вернулся домой только перед самым ужином. Даже не сняв пальто, он сразу же вошел в спальню, которую занимал его друг. Мать Риэ сидела у постели с вязаньем в руках. Тарру, казалось, так и не пошевелился с утра, и только его побелевшие от лихорадки губы выдавали весь накал борьбы, которую он вел.

— Ну, как теперь? — спросил доктор.

Тарру чуть пожал своими могучими плечами.

— Теперь игра, кажется, проиграна, — ответил он.

Доктор склонился над постелью. Под горячей кожей набрякли железы, в груди хрипело, словно там непрерывно работала подземная кузница. Как ни странно, но у Тарру были симптомы обоих видов. Поднявшись со стула, Риэ сказал, что сыворотка, видимо, еще не успела подействовать. Но ответа он не разобрал: прихлынувшая к гортани волна жара поглотила те несколько слов, которые пытался пробормотать Тарру.

Вечером Риэ с матерью уселись в комнате больного. Ночь начиналась для Тарру борьбой, и Риэ знал, что эта беспощадная битва с ангелом чумы продлится до самого рассвета. Даже могучие плечи, даже широкая грудь Тарру были не самым надежным его оружием в этой битве, скорее уж его кровь, только что брызнувшая из-под шприца Риэ, и в этой крови таилось нечто еще более сокровенное, чем сама душа, то сокровенное, что не дано обнаружить никакой науке. А ему, Риэ, оставалось только одно — сидеть и смотреть, как борется его друг. После долгих месяцев постоянных неудач он слишком хорошо знал цену

искусственных абсцессов и вливаний, тонизирующих средств. Единственная его задача, по сути дела, — это очистить поле действия случаю, который чаще всего не вмешивается, пока ему не бросишь вызов. А надо было, чтобы он вмешался. Ибо перед Риэ предстал как раз тот лик чумы, который пугал ему все карты. Снова и снова чума напрягала все свои силы, лишь бы обойти стратегические рогатки, выдвинутые против нее, появлялась там, где ее не ждали, и исчезала там, где, казалось бы, прочно укоренилась. И опять она постаралась поставить его в тупик.

Тарру боролся, хотя и лежал неподвижно. Ни разу за всю ночь он не противопоставил натиску недуга лихорадочного метания, он боролся только своей монументальностью и своим молчанием. И ни разу также он не заговорил, он как бы желал показать этим молчанием, что ему не дозволено ни на минуту отвлечься от этой битвы. Риэ догадывался о фазах этой борьбы лишь по глазам своего друга, то широко открытым, то закрытым, причем веки как-то особенно плотно прилегали к главному яблоку или, напротив, широко распахивались, и взгляд Тарру приковывался к какому-нибудь предмету или обращался к доктору и его матери. Всякий раз, когда их глаза встречались, Тарру делал над собой почти нечеловеческие усилия, чтобы улыбнуться.

Вдруг на улице раздались торопливые шаги. Казалось, прохожий пытается спастись бегством от пока еще далекого ворчания, приближавшегося с минуты на минуту и вскоре затопившего ливнем всю улицу: дождь зарядил, потом посыпал град, громко барабанил по асфальту. Тяжелые занавеси на окнах сморщило от ветра. Сидевший в полумраке комнаты Риэ на минуту отвлекся, вслушиваясь в шум дождя, потом снова перевел взгляд на Тарру, на чье лицо падал свет ночника у изголовья кровати. Мать Риэ вязала и только время от времени скидывала голову и пристально всматривалась в больного. Доктор сделал все, что можно было сделать. Дождь прошел, в комнате вновь ступила тишина, насыщенная лишь безмолвным бормотом невидимой войны. Разбитому бессонницей доктору чудилось, будто где-то там, за рубежами тишины, слышится негромкий, ритмичный посвист, преследовавший его с первых дней эпидемии. Жестом он показал матери, чтобы она пошла легла. Она отрицательно пока-

чала головой, глаза ее блеснули, потом она нагнулась над спицами, внимательно разглядывая чуть не соскользнувшую петлю. Риэ поднялся, напоил больного и снова сел на место.

Мимо окон, воспользовавшись затишьем, быстро шагали прохожие. Шаги становились все реже, удалялись. Впервые за долгое время доктор понял, что сегодняшняя ночь, тишину которой то и дело нарушали шаги запоздалых пешеходов и не рвали на части пронзительные гудки машин «скорой помощи», была похожа на те, прежние ночи. За окном была ночь, стяхнувшая с себя чуму. И казалось, будто болезнь, изгнанная холодами, ярким светом, толпами людей, выскользнула из темных недр города, пригrelась в их теплой спальне и здесь вступила в последнее свое единоборство с вяло распростертым телом Тарру. Небеса над городом уже не бороздил бич Божий. Но он тихонько посвистывал здесь, в тяжелом воздухе спальни. Его-то и слышал Риэ, слышал в течение всех этих бессонных часов. И приходилось ждать, когда он и тут смолкнет, когда и тут чума признает свое окончательное поражение.

Перед рассветом Риэ нагнулся к матери:

— Пойди непременно ляг, иначе ты не сможешь меня сменить в восемь часов. Только не забудь сделать полоскание.

Мадам Риэ поднялась с кресла, сложила свое вязанье и подошла к постели Тарру, уже давно не открывавшего глаз. Над его крутым лбом закурчавились от пота волосы. Она вздохнула, и больной открыл глаза. Тарру увидел склоненное над собою кроткое лицо, и сквозь набегающие волны лихорадки снова упрямо пробилась улыбка. Но веки тут же сомкнулись. Оставшись один, Риэ перебрался в кресло, где раньше сидела его мать. Улица безмолвствовала, уже ничто не нарушало тишины. Предрассветный холод давал себя знать даже в комнате.

Доктор задремал, но грохот первой утренней повозки разбудил его. Он вздрогнул и, посмотрев на Тарру, понял, что действительно забылся сном и что больной тоже заснул. Вдалеке затихал грохот деревянных колес, окованных железом, цоканье лошадиных копыт. За окном еще было темно. Когда доктор подошел к постели, Тарру поднял на него пустые, ничего не выражающие глаза, как будто он находился еще по ту сторону сна.

— Поспали? — спросил Риэ.

— Да.

— Дышать легче?

— Немножко. А имеет это какое-нибудь значение?

Риэ ответил не сразу, потом проговорил:

— Нет, Тарру, не имеет. Вы, как и я, знаете, что это просто обычная утренняя ремиссия.

Тарру одобритительно кивнул головой.

— Спасибо, — сказал он. — Отвечайте, пожалуйста, и впредь так же точно.

Доктор присел в изножье постели. Боком он чувствовал длинные неподвижные ноги Тарру, ноги уже неживого человека. Тарру задышал громче.

— Температура снова поднимется, да, Риэ? — спросил он прерывающимся от одышки голосом.

— Да, но в полдень, и тогда будет ясно.

Тарру закрыл глаза, будто собирая все свои силы. В чертах лица сквозила усталость. Он ждал нового приступа лихорадки, которая уже шевелилась где-то в глубинах его тела. Потом веки приподнялись, открыв помутневший зрачок. Только когда он заметил склонившегося над постелью Риэ, взор его посветлел.

— Попейте, — сказал Риэ.

Тарру напился и устало уронил голову на подушку.

— Оказывается, это долго, — проговорил он.

Риэ взял его за руку, но Тарру отвел взгляд и, казалось, не почувствовал прикосновения. И внезапно, на глазах Риэ, лихорадка, словно прорвав какую-то внутреннюю плотину, хлынула наружу и добралась до лба. Когда Тарру поднял взгляд на доктора, тот попытался придать своему застывшему лицу выражение надежды. Тарру старался улыбнуться, но улыбке не удалось прорваться сквозь судорожно сжатые челюсти, сквозь слепленные белой пеной губы. Однако на его застывшем лице глаза еще блистали всем светом мужества.

В семь часов мадам Риэ вошла в спальню. Доктор из своего кабинета позвонил в лазарет и попросил заменить его на работе. Он решил также отказаться сегодня от всех визитов к больным, прилег было на диван тут же в кабинете, но, не выдержав, вскочил и вернулся в спальню. Тарру лежал, повернув лицо к мадам Риэ. Не отрываясь, глядел он на маленький комочек тени, жавшийся рядом с ним на стуле, с ладонями, плотно прижатыми к коленям.

Глядел он так пристально, что мадам Риэ, заметив сына, приложила палец к губам, встала и потушила лампочку у изголовья постели. Но дневной свет быстро просачивался сквозь шторы, и, когда лицо больного выступило из темноты, мадам Риэ убедилась, что он по-прежнему смотрит на нее. Она нагнулась над постелью, поправила подушку и приложила ладонь к мокрым закурчавившимся волосам. И тут она услышала глухой голос, идущий откуда-то издалека, и голос этот сказал ей спасибо и уверил, что теперь все хорошо. Когда она снова села, Тарру закрыл глаза, и его изможденное лицо, казалось, озарила улыбка, хотя губы по-прежнему были плотно сжаты.

В полдень лихорадка достигла апогея. Нутряной кашель сотрясал тело больного, он уже начал харкать кровью. Железы перестали набухать, они были все те же, твердые на ощупь, будто во все суставы ввинтили гайки, и Риэ решил, что вскрывать опухоль бессмысленно. В промежутках между приступами кашля и лихорадки Тарру кидал взгляды на своих друзей. Но вскоре его веки стали смежаться все чаще и чаще, и свет, еще так недавно озарявший его изнуренное болезнью лицо, постепенно гас. Буря, сотрясавшая его тело судорожными конвульсиями, все реже и реже разражалась вспышками молний, и Тарру медленно уносило в бушующую бездну. Перед собой на подушках Риэ видел лишь безжизненную маску, откуда навсегда ушла улыбка. В то, что еще сохраняло обличье человека, столь близкого Риэ, вонзилось теперь острие копья, его жгла невыносимая боль, скручивали все злобные небесные вихри, и оно на глазах друга погружалось в хляби чумы. А он, друг, не мог предотвратить этой катастрофы. И опять Риэ вынужден был стоять на берегу с пустыми руками, с рвущимся на части сердцем, безоружный и беспомощный перед бедствием. И когда наступил конец, слезы бессилия застлали глаза Риэ и он не видел, как Тарру вдруг резко повернулся к стене и испустил дух с глухим стоном, словно где-то в глубине его тела лопнула главная струна.

Следующая ночь уже не была ночью битвы, а была ночью тишины. В этой спальне, отрезанной от всего мира, над этим безжизненным телом, уже обряженным для погребальной церемонии, ощутимо витал необыкновенный покой, точно так же, как за много ночей до того витал он над террасами, вознесенными над чумой, когда начался

штурм городских ворот. Уже тогда Риэ думал об этой тишине, которая подымалась с ложа, где перед ним, беспомощным, умирали люди. И повсюду та же краткая передышка, тот же самый торжественный интервал, повсюду то же самое умиротворение, наступающее после битвы, повсюду немота поражения. Но то безмолвие, что обволакивало сейчас его друга, было таким плотным, так тесно сливалось оно с безмолвием улиц и всего города, освобожденного от чумы, что Риэ ясно почувствовал: сейчас это уже окончательное, бесповоротное поражение, каким завершаются войны и которое превращает даже наступивший мир в неисцелимые муки. Доктор не знал, обрел ли под конец Тарру мир, но хотя бы в эту минуту был уверен, что ему самому мир заказан навсегда, точно так же как не существует перемирия для матери, потерявшей сына, или для мужчины, который хоронит друга.

Там, за окном, лежала такая же, как и вчера, холодная ночь, те же ледяные звезды светились на ясном студенном небе. В полутемную спальню просачивался жавшийся к окнам холод, чувствовалось бесцветное ровное дыхание полярных ночей. У постели сидела мадам Риэ в привычной своей позе, справа на нее падал свет лампочки, горевшей у изголовья постели. Риэ устроился в кресле, стоявшем в полумраке посреди спальни. То и дело он вспоминал о жене, но гнал прочь эти мысли.

В ночной морозной тишине звонко стучали по тротуару каблуки прохожих.

— Ты все сделал? — спросила мать.

— Да, я уже позвонил.

И вновь началось молчаливое бдение. Время от времени мадам Риэ взглядывала на сына. Поймав ее взгляд, он улыбался в ответ. В привычном порядке сменялись на улице ночные шумы. Хотя официальное разрешение еще не было дано, автомобили опять раскатывали по городу. Они стремительно вбирали в себя мостовую, исчезали, снова появлялись. Голоса, возгласы, вновь наступавшая тишина, цоканье лошадиных копыт, трамвай, проскрежетавший на стрелке, затем второй, какие-то неопределенные звуки и снова торжественное дыхание ночи.

— Бернар!

— Что?

— Ты не устал?

— Нет.

Он знал, о чем думает его мать, знал, что в эту самую минуту она любит его. Но он знал также, что не так уж это много — любить другого, и, во всяком случае, любовь никогда не бывает настолько сильной, чтобы найти себе выражение. Так они с матерью всегда будут любить друг друга в молчании. И она тоже умрет, в свой черед — или умрет он, — и так никогда за всю жизнь они не найдут слов, чтобы выразить взаимную нежность. И точно так же они с Тарру жили бок о бок, и вот Тарру умер нынче вечером, и их дружба не успела по-настоящему побыть на земле. Тарру, как он выражался, проиграл партию. Ну а он, Риэ, что он выиграл? Разве одно — узнал чуму и помнит о ней, познал дружбу и помнит о ней, узнал нежность, и теперь его долг когда-нибудь о ней вспомнить. Все, что человек способен выиграть в игре с чумой и с жизнью, — это знание и память. Быть может, именно это и называл Тарру «выиграть партию»!

Снова мимо окна промчался автомобиль, и мадам Риэ пошевелилась на стуле. Риэ улыбнулся ей. Она сказала, что не чувствует усталости, и тут же добавила:

— Надо бы тебе съездить в горы отдохнуть.

— Конечно, мама, поеду.

Да, он там отдохнет. Почему бы и нет? Еще один предлог вспоминать. Но если это и значит выиграть партию, как должно быть тяжело жить только тем, что знаешь, и тем, что помнишь, и не иметь впереди надежды. Так, очевидно, жил Тарру, он-то понимал, как бесплодна жизнь, лишенная иллюзий. Не существует покоя без надежды. И Тарру, отказывавший людям в праве осуждать на смерть человека, знал, однако, что никто не в силах отказаться от вынесения приговора и что даже жертвы подчас бывают палачами, а если так, значит, Тарру жил, терзаясь и противореча себе, и никогда он не знал надежды. Может, поэтому он искал святости и хотел обрести покой в служении людям. В сущности, Риэ и не знал, так ли это, но это и неважно. Память его сохранит лишь немногие образы Тарру — Тарру за рулем машины, положивший обе руки на баранку, готовый везти его куда угодно, или вот это грузное, массивное тело, без движения распростертое на одре. Тепло жизни и образ смерти — вот что такое знание.

И разумеется, именно поэтому доктор Риэ, получив утром телеграмму, извешавшую о кончине жены, принял

эту весть спокойно. Он был у себя в кабинете. Мать вбежала, сунула ему телеграмму и тут же вышла, чтобы дать на чай рассыльному. Когда она вернулась, сын стоял и держал в руке распечатанную телеграмму. Она подняла на него глаза, но он упорно смотрел в окно, где над портом поднималось великолепное утро.

— Бернар, — окликнула мадам Риэ.

Доктор рассеянно оглянулся.

— Да, в телеграмме? — спросила она.

— Да, — подтвердил доктор. — Неделю назад.

Мадам Риэ тоже повернулась к окну. Доктор молчал. Потом он сказал матери, что плакать не надо, что он этого ждал, но все равно это очень трудно. Просто, говоря это, он осознал, что в его страданиях отсутствует нечаянность. Все та же непрекращающаяся боль мучила его в течение нескольких месяцев и в течение этих двух последних дней.

Прекрасным февральским утром на заре наконец-то открылись ворота города; и событие это радостно встретил народ, газеты, радио и префектура в своих сообщениях. Таким образом, рассказчику остается лишь выступить в роли летописца блаженных часов, наступивших с открытием ворот, хотя сам он принадлежал к числу тех, у кого не хватало досуга целиком отдаться всеобщей радости.

Были устроены празднества, длившиеся весь день и всю ночь. В то же самое время на вокзалах запыхтели паровозы и прибывшие из далеких морей корабли уже входили в наш порт, свидетельствуя в свою очередь, что этот день стал для тех, кто стонал в разлуке, днем великой встречи.

Нетрудно представить себе, во что обратилось это чувство разъединенности, жившее в душе многих наших сограждан. Поезда, в течение дня прибывавшие в наш город, были так же перегружены, как и те, что отбывали с нашего вокзала. Пассажиры заранее, еще во время двухнедельной отсрочки, запасались билетами на сегодняшнее число и до третьего звонка тряслись от страха, что вдруг постановление префектуры возьмут и отменят. Да и путешественники, прибывавшие к нам, не могли отделаться от смутных опасений, так как знали только, да и то приблизительно, о судьбе своих близких, все же, что

касалось прочих и самого города, было им неизвестно, и город в их глазах приобретал зловещий лик. Но это было применимо лишь к тем, кого за все время чумы не сжигала страсть.

Те, кого она сжигала, были и впрямь под властью своей навязчивой идеи. Одно лишь изменилось для них: в течение месяцев разлуки им неистово хотелось ускорить события, подтолкнуть время физически, чтобы оно не мешкало, а теперь, когда перед ними уже открывался наш город, они, напротив, как только поезд начал притормаживать, желали одного: чтобы время замедлило свой бег, чтобы оно застыло. Смутное и в то же время жгучее чувство, вскормленное этим многомесячным существованием, потерянным для любви, именно оно, это чувство, требовало некоего реванша — пусть часы радости тянутся вдвое медленнее, чем часы ожидания. И те, что ждали дома или на перроне, как, например, Рамбер, уже давно предупрежденный женой, что она добилась разрешения на приезд, равно страдали от нетерпения и растерянности. Любовь эта и нежность превратились за время чумы в абстракцию, и теперь Рамбер с душевным трепетом ждал, когда эти чувства и это живое существо, на которое они были направлены, окажутся лицом к лицу.

Ему хотелось вновь стать таким, каким был он в начале эпидемии, когда, ни о чем не думая, решил очертя голову вырваться из города, броситься к той, любимой. Но он знал, что это уже невозможно. Он переменялся, чума вселила в него отрешенность, и напрасно он пытался опровергнуть это всеми своими силами, ощущение отрешенности продолжало жить в нем, как некая глухая тоска. В каком-то смысле у него даже было чувство, будто чума кончилась слишком резко, когда он еще не собрался с духом. Счастье приближалось на всех парах, ход событий опережал ожидание. Рамбер понимал, что ему будет возвращено все сразу и что радость, в сущности, сродни ожогу, куда уж тут ею упиваться.

Все остальные более или менее отчетливо переживали то же самое, и поэтому поговорим лучше обо всех. Стоя здесь, на перроне вокзала, где должна была с минуты на минуту начаться вновь их личная жизнь, они пока еще ощущали свою общность, обменивались понимающими взглядами и улыбками. Но как только они заметили вырывающийся из трубы паровоза дым, застарелое чувство

отъединенности вдруг угасло под ливнем смутной и оглушающей радости. Когда поезд остановился, кое для кого кончилась долгая разлука, начавшаяся на этом самом перроне, на этом самом вокзале, и кончилась в тот миг, когда руки ликующе и алчно ощутили родное тело, хотя уже забыли его живое присутствие. Так, Рамбер не успел даже разглядеть бегущее к нему существо, с размаху уткнувшись лицом в его грудь. Он держал ее в своих объятиях, прижимал к себе голову, не видя лица, а только знакомые волосы, — он не утирал катившиеся из глаз слезы и сам не понимал, льются ли они от теперешнего его счастья или от загнанной куда-то в глубь души боли, и все же знал, что эта влага, застилавшая взор, помешала ему убедиться в том, действительно ли это лицо, прильнувшее к его плечу, то самое, о котором так долго мечталось, или, напротив, он увидит перед собой незнакомку. Он поймет, но позже, верно ли было его подозрение. А сейчас ему, как и всем толпившимся на перроне, хотелось верить или делать вид, что они верят, будто чума может прийти и уйти, ничего не изменив в сердце человека.

Тесно жавшиеся друг к другу парочки расходились по домам, не видя никого и ничего, внешне восторжествовав над чумой, забыв былые муки, забыв тех, кто прибыл тем же поездом и, не обнаружив на перроне близких, нашел подтверждение своим страхам, уже давно тлевшим в сердце после слишком долгого молчания. Для них, чьим единственным спутником отныне оставалась еще свежая боль, для тех, кто в эти самые минуты посвящал себя памяти об исчезнувшем, для них все получилось иначе, и чувство разлуки именно сейчас достигло своего апогея. Для них, матерей, супругов, любовников, потерявших всю радость жизни вместе с родным существом, брошенным куда-то в безымянный ров или превратившимся в кучу пепла, — для них по-прежнему шла чума.

Но кому было дело до этих осиротелых? В полдень солнце, обуздав холодные порывы ветра, бороздившие небо с самого утра, пролилось на город сплошными волнами недвижимого света. День словно застыл. В окаменевшее небо с форта на холме без перерыва били пушки. Весь город высыпал на улицы, чтобы отпраздновать эту пронзительную минуту, когда время мучений уже кончалось, а время забвения еще не началось.

На всех площадях танцевали. За несколько часов движение резко усилилось, и многочисленные машины с трудом пробирались через забитые народом улицы. Все послеобеденное время гудели напропалую наши городские колокола. От их звона по лазурно-золотистому небу расходились волны дрожи. В церквах служили благодарственные молебны. Но и в увеселительных заведениях тоже набилось множество публики, и владельцы кафе, не заботясь о завтрашнем дне, широко торговали еще оставшимися у них спиртными напитками. Перед стойками возбужденно толпились люди, и среди них виднелись парочки, тесно обнявшиеся, бесстрашно выставлявшие напоказ свое счастье. Кто кричал, кто смеялся. В этот день, данный им сверх положенного, каждый щедро расходовал запасы жизненных сил, накопленные за те месяцы, когда у всех душа едва тлела. Завтра начнется жизнь как таковая, со всей ее осмотрительностью. А пока люди разных слоев общества братались, толклись бок о бок. То равенство, какого не сумела добиться нависшая над городом смерть, установило счастье освобождения, пусть только на несколько часов.

Но это банальное неистовство все же о чем-то умалчивало, и люди, высыпавшие в послеобеденный час на улицу, шедшие рядом с Рамбером, скрывали под невозмутимой миной некое более утонченное счастье. И действительно, многие парочки и семьи казались с виду обычными мирными прохожими. А в действительности они совершали утонченное паломничество к тем местам, где столько перестрадали. Им хотелось показать вновь прибывшим разительные или скрытые пометы чумы, зримые следы ее истории. В иных случаях оранцы довольствовались ролью гидов, которые, мол, всего навидались, ролью современника чумы, и в таких случаях о связанной с нею опасности говорилось приглушенно, а о страхе вообще не говорили. В сущности, вполне безобидное развлечение. Но в иных случаях выбирался более тревожащий маршрут, следуя которому любовник в приливе нежной грусти воспоминаний мог бы сказать своей подруге: «Как раз здесь в те времена я так тебя хотел, а тебя не было». Этих туристов, ведомых страстью, узнавали с первого взгляда: они как бы образовывали островки шепота и признаний среди окружающего их гула толпы. Именно они, а не оркестры, игравшие на всех перекрестках, знаменовали собой

подлинное освобождение. Ибо эти восторженные парочки, жавшиеся друг к другу и скупые на слова, провозглашали всем торжеством и всей несправедливостью своего счастья, что чума кончилась и время ужаса миновало. Вопреки всякой очевидности они хладнокровно отрицали тот факт, что мы познали безумный мир, где убийство одного человека было столь же обычным делом, как щелчок по мухе, познали это вполне рассчитанное дикарство, этот продуманный до мелочей бред, это заточение, чудовищно освобождавшее от всего, что не было сегодняшним днем, этот запах смерти, доводивший до одури тех, кого еще не убила чума; они отрицали наконец, что мы были тем обезумевшим народом, часть которого, загнанная в жерло мусоросжигательной печи, вылетала в воздух жирным липким дымом, в то время как другая, закованная в цепи бессилия и страха, ждала своей очереди.

По крайней мере это первым делом бросилось в глаза доктору Риэ, который, торопясь добраться до окраины, шагал в этот послеобеденный час среди звона колоколов, грохота пушек, музыки и оглушительных криков. Его работа продолжалась, болезнь не дает передышки. На город спускался несравненно прекрасной дымкой тихий свет, и в него вплетались прежние запахи — жареного мяса и анисовой водки. Вокруг Риэ видел запрокинутые к небу веселые лица. Мужчины и женщины шли сцепив руки, с горящими глазами, и их желание выражало себя лихорадочным возбуждением и криком. Да, чума кончилась, кончился ужас, и сплетшиеся руки говорили, что чума была изгнанием, была разлукой в самом глубинном значении этого слова.

Впервые Риэ сумел найти общую фамильную примету того, что он в течение месяцев читал на лицах прохожих. Сейчас достаточно было оглядеться кругом. Люди дожили до конца чумы со всеми ее бедами и лишениями, в конце концов они влезли в этот костюм, — в костюм, который предписывался им ролью, уже давно они играли эту роль эмигрантов, чьи лица, а теперь и одежда свидетельствовали о разлуке и далекой отчизне. С той минуты, когда чума закрыла городские ворота, когда их существование заполнила собой разлука, они лишились того спасительного человеческого тепла, которое помогает забыть все. В каждом уголке города мужчины и женщины в различной степени жаждали некоего воссоединения, кото-

рое каждый толковал по-своему, но которое было для всех без изъятия одинаково недоступным. Большинство из всех своих сил взывало к кому-то отсутствующему, тянулось к теплоте чьего-то тела, к нежности или к привычке. Кое-кто, подчас сам того не зная, страдал потому, что очутился вне круга человеческой дружбы, уже не мог общаться с людьми даже самыми обычными способами, какими выражает себя дружба, — письмами, поездками, кораблями. Другие, как, очевидно, Тарру — таких было меньшинство, — стремились к воссоединению с чем-то, чего и сами не могли определить, но именно это неопределимое и казалось им единственно желанным. И за неимением иного слова они, случалось, называли это миром, покоем.

Риз все шагал. По мере того как он продвигался вперед, толпа сгущалась, гул голосов крепчал, и ему чудилось, будто предместья, куда он направлялся, отодвигаются все дальше и дальше от центра. Постепенно он растворился в этом гигантском громкоголосом организме, он все глубже вникал в его крик и одновременно понимал, что в какой-то степени это и его собственный крик. Да, все мы мучились вместе, и физически и душевно, во время этих затянувшихся, непереносимо трудных каникул, от этой ссылки, откуда нет выхода, от этой жажды, которую не дано утолить. Среди нагромождения трупов, тревожных гудков санитарных машин, знамений, подаваемых так называемой судьбой, упрямого топтания страхов и грозного бунта сердец непрерывно и отовсюду шел ропот, будораживший испуганных людей, твердивший им, что необходимо вновь обрести свою подлинную родину. Для всех них подлинная родина находилась за стенами этого полузадушенного города. Она была в благоухании кустарника на склонах холмов, в морской глади, в свободных странах и в весомой силе любви. И к ней-то, то есть к счастью, они и жаждали вернуться, с отвращением отводя взоры от всего прочего.

Риз и сам не знал, какой, в сущности, смысл заключался в их изгнании и в этом стремлении к воссоединению. Он шел и шел, его толкали, окликали, мало-помалу он достиг менее людных улиц, и тут он подумал, что не так-то важно, имеет все это смысл или не имеет, главное — надо знать, какой ответ дан человеческой надежде.

Отныне он-то знал, что именно отвечено, как-то яснее заметил это на ближних, почти пустынных улицах предместья. Были люди, которые держались за то небольшое, что было им отпущено, жаждали лишь одного — вернуться под кров своей любви, и эти порой бывали вознаграждены. Конечно, кое-кто бродил сейчас одиноко по городу, так как лишился того, кого ждал. Счастливы еще те, которых дважды не постигла разлука, подобно тем, кто до начала эпидемии не сумел сразу построить здания своей любви и в течение многих лет вслепую пытался найти недостижимо трудное согласие, которое спаяло бы жизнь двух любовников-врагов. Вот эти, подобно самому Риэ, имели легкомыслие рассчитывать на все улаживающее время; этих навеки развело в разные стороны. Но другие, как, например, Рамбер, которому доктор сказал нынче утром: «Мужество, мужество, теперь мы должны доказать свою правоту», такие, как Рамбер, не колеблясь, нашли отсутствующего, которого, как им думалось, уже потеряли. Эти будут счастливы, хотя бы на время. Теперь они знали, что существует на свете нечто, к чему нужно стремиться всегда и что иногда дается в руки, и это нечто — человеческая нежность.

И напротив, тем, кто обращался поверх человека к чему-то, для них самих непредставимому, — вот тем ответа нет. Тарру, очевидно, достиг этого труднодостижимого мира, о котором он говорил, но обрел его лишь в смерти, когда он уже ни на что не нужен. И вот те, кого Риэ видел сейчас, те, что стояли в свете уходящего солнца у порога своих домов, нежно обнявшись, страстно глядя в любимые глаза, — вот эти получили то, что хотели, они-то ведь просили то единственное, что зависело от них самих. И Риэ, сворачивая на улицу, где жили Коттар и Гран, подумал, что вполне справедливо, если хотя бы время от времени радость, как награда, приходит к тому, кто довольствуется своим уделом человека и своей бедной и страшной любовью.

Наша хроника подходит к концу. Пора уже доктору Бернару Риэ признаться, что он ее автор. Но прежде чем приступить к изложению последних событий, ему хотелось бы в какой-то мере оправдать свой замысел и объяснить, почему он пытался придерживаться тона объективного свидетеля. В продолжение всей эпидемии ему в силу

его профессиональных занятий приходилось встречаться со множеством своих сограждан и выслушивать их излияния. Таким образом, он находился как бы в центре событий и мог поэтому наиболее полно передать то, что видел и слышал. Но он счел нужным сделать это со всей полагающейся сдержанностью. В большинстве случаев он старался передать только то, что видел своими глазами, старался не навязывать своим собратьям по чуме мысли, которые, по сути дела, у них самих не возникали, и использовать только те документы, которые волею случая или беды попали ему в руки.

Призванный свидетельствовать по поводу страшного преступления, он сумел сохранить известную сдержанность, как оно и подобает добросовестному свидетелю. Но в то же время, следуя законам душевной честности, он сознательно встал на сторону жертв и хотел быть вместе с людьми, своими согражданами, в единственном, что было для всех неоспоримо, — в любви, муках и изгнании. Поэтому-то он разделял со своими согражданами все их страхи, потому-то любое положение, в какое они попадали, было и его собственным.

Стремясь быть наиболее добросовестным свидетелем, он обязан был приводить в основном лишь документы, записи и слухи. Но ему приходилось молчать о своем личном, например о своем ожидании, о своих испытаниях. Если подчас он нарушал это правило, то лишь затем, чтобы понять своих сограждан или чтобы другие лучше их поняли, чтобы облечь в наиболее точную форму то, что они в большинстве случаев чувствовали смутно. Откровенно говоря, эти усилия разума дались ему без труда. Когда ему не терпелось непосредственно слить свою личную исповедь с сотнями голосов зачумленных, он откладывал перо при мысли, что нет и не было у него такой боли, какой не перестрадали бы другие, и что в мире, где боль подчас так одинока, в этом было даже свое преимущество. Нет, решительно он должен был говорить за всех.

Но был среди жителей Орана один человек, за которого не мог говорить доктор Ризэ. Речь шла о том, о ком Тарру как-то сказал Ризэ: «Единственное его преступление, что в сердце своем он одобрил то, что убивает детей и взрослых. Во всем остальном я его, пожалуй, понимаю, но вот это я вынужден ему простить». И совершенно справедливо, что хроника оканчивается рассказом об этом че-

ловеке, у которого было слепое сердце, то есть одинокое сердце.

Когда доктор выбрался из шумных праздничных улиц и уже собрался свернуть в переулок, где жили Гран с Коттаром, его остановил полицейский патруль — этого уж он никак не ожидал. Вслушиваясь в отдаленный гул праздника, Риз рисовал в воображении тихий квартал, пустынный и безмолвный. Он вынул свое удостоверение.

— Все равно нельзя, доктор, — сказал полицейский. — Там какой-то сумасшедший в толпу стреляет. Подождите-ка здесь, ваша помощь может еще понадобиться.

В эту минуту Риз заметил приближавшегося к нему Грана. Гран тоже ничего не знал. Его тоже не пропустили; одно ему было известно: стреляют из их дома. Отсюда был действительно виден фасад здания, позолоченный лучами по-вечернему нежаркого солнца. Перед домом оставалось пустое пространство, даже на противоположном тротуаре никого не было. Посреди мостовой валялась шляпа и клочок какой-то засаленной тряпки. Риз и Гран разглядели вдалеке, на другом конце улицы, второй полицейский патруль, тоже заграждавший проход, а за спинами полицейских быстро мелькали фигуры прохожих. Присмотревшись внимательнее, они заметили еще нескольких полицейских с револьверами в руках, эти забились в ворота напротив. Все ставни в доме были закрыты. Но во втором этаже одна из створок чуть приоткрылась. Улица застыла в молчании. Слышались только обрывки музыки, доносившейся из центра города.

В ту же минуту из окон противоположного дома шелкнули два револьверных выстрела и раздался треск разбитых ставен. Потом снова наступила тишина. После праздничного гама, продолжавшего греметь в центре города, все это показалось Риз каким-то нереальным.

— Это окно Коттара, — вдруг взволнованно воскликнул Гран. — Но ведь Коттар куда-то пропал!

— А почему стреляют? — спросил Риз у полицейского.

— Хотят его отвлечь. Мы ждем специальную машину, ведь он в каждого, кто пытается войти в дом, целит. Одного полицейского уже ранил.

— Почему он стреляет?

— Поди знай. Люди здесь на улице веселились. При первом выстреле они даже не поняли, что к чему. А после

второго начался крик, кого-то ранило, и все разбежались. Видать, просто сумасшедший!

Во вновь воцарившейся тишине минуты казались часами. Вдруг из-за дальнего угла улицы выскочила собака, первая, которую Риэ увидел за долгое время; это был грязный взъерошенный спаниель, очевидно, хозяева прятали его где-нибудь во время эпидемии, и теперь он степенно трусил вдоль стен. Добравшись до ворот, он постоял в нерешительности, потом сел и, вывернувшись, стал выгрызать из шерсти блох. Раздалось одновременно несколько свистков — это полицейские приманивали пса. Пес поднял голову, потом нерешительно шагнул, очевидно, намереваясь обнюхать валяющуюся на мостовой шляпу. Но сразу же из окна третьего этажа грохнул выстрел, и животное плюхнулось на спину, как блин на сковородку, судорожно забило лапами, стараясь повернуться на бок, сотрясаясь в корчах. В ответ раздалось пять-шесть выстрелов, это стреляли из ворот и снова попали в ставню, из которой брызнули щепки. Опять все стихло. Солнце спускалось к горизонту, и к окну Коттара уже подползла тень. За спиной Риэ раздался негромкий скрежет тормозов.

— Приехали, — сказал полицейский.

Из машины повыскакивали полицейские, вытащили канаты, лестницу, два каких-то продолговатых свертка, обернутых в прорезиненную ткань. Потом они стали пробираться по улице, шедшей параллельно этой, за домами, позади жилища Грана. И уже через несколько минут Риэ не столько увидел, сколько догадался, что под аркой ворот началась какая-то суетня. Потом все вновь застыло в ожидании. Пес уже не дергался, вокруг него расплылась темная лужа.

Внезапно из окна дома, занятого полицейскими, застрочил пулемет. Били по ставне, и она в буквальном смысле слова разлетелась в щепы, открыв черный четырехугольник окна, но Риэ с Граном со своего места ничего не могли разглядеть. Когда пулемет замолчал, в дело вступил второй, находившийся в соседнем доме, ближе к углу. Очевидно, целили в проем окна, так как отлетел кусок кирпича. В ту же самую минуту трое полицейских бегом пересекли мостовую и укрылись в подъезде. За ними по пятам бросилось еще трое, и пулеметная стрельба прекратилась. И снова все стояли и ждали. В доме раздалось два глухих выстрела. Потом послышался гул голосов, и из

подъезда выволокли, вернее, не выволокли, а вынесли на руках невысокого человечка без пиджака, не переставая что-то вопившего. И как по мановению волшебной палочки все закрытые ставни распахнулись, в окна замелькали головы любопытных, из домов высыпали люди и столпились за спинами полицейского заслона. Все сразу увидели того человечка, теперь он уже шел по мостовой сам, руки у него были скручены за спиной. Он вопил. Полицейский приблизился и ударил его два раза по лицу во всю мощь своих кулаков, расчетливо, с каким-то даже усердием.

— Это Коттар, — пробормотал Гран. — Он сошел с ума.

Коттар упал. И зрители увидели, как полицейский со всего размаха пнул каблуком валявшееся на мостовой тело. Потом группа зевак засуетилась и направилась к доктору и его старому другу.

— Разойдись! — скомандовал толпе полицейский.

Когда группа проходила мимо, Риэ отвел глаза.

Гран и доктор шагали рядом в последних отблесках сумерек. И словно это происшествие разом сняло оцепенение, дремотно окутывавшее весь квартал, отдаленные от центра улицы снова наполнились радостным жужжанием толпы. У подъезда дома Гран распрощался с доктором. Пора идти работать. Но с первой ступеньки он крикнул доктору, что написал Жанне и что теперь он по-настоящему рад. А главное, он снова взялся за свою фразу. «Я из нее все эпитеты убрал», — объявил он.

И с лукавой улыбкой он приподнял шляпу, церемонно откланявшись доктору. Но Риэ продолжал думать о Коттаре, и глухой стук кулака по лицу преследовал его всю дорогу вплоть до дома старика астматика. Возможно, ему тяжелее было думать о человеке преступном, чем о мертвом человеке.

Когда Риэ добрался до своего старого пациента, мрак уже полностью поглотил небо. В комнату долетал отдаленный гул освобождения, а старик, все такой же, как всегда, продолжал перекладывать из кастрюли в кастрюлю свой горошек.

— И они правы, что веселятся. Все-таки разнообразие, — сказал старик. — А что это давно не слышать о вашем коллеге, доктор? Что с ним?

До них донеслись хлопки взрывов, на сей раз безобидные, — это детвора взрывала петарды.

— Он умер, — ответил Риэ, приложив стетоскоп к груди, где все хрипело.

— А-а, — озадаченно протянул старик.

— От чумы, — добавил Риэ.

— Да, — заключил, помолчав, старик, — лучшие всегда уходят. Такова жизнь. Это был человек, который знал, чего хочет.

— Почему вы это говорите? — спросил доктор, убирая стетоскоп.

— Да так. Он зря не болтал. Просто он мне нравился. Но так уж оно есть. Другие твердят: «Это чума, у нас чума была». Глядишь, и ордена себе за это потребуют. А что такое, в сущности, чума? Тоже жизнь, и все тут.

— Не забывайте аккуратно делать ингаляцию.

— Не беспокойтесь. Я еще протяну, я еще увижу, как они все перемрут. Я-то умею жить.

Ответом ему были отдаленные вопли радости. Доктор нерешительно остановился посреди комнаты.

— Вам не помешает, если я поднимусь на террасу?

— Да нет, что вы. Хотите сверху на них посмотреть? Сколько угодно. Но они отовсюду одинаковы.

Риэ направился к лестнице.

— Скажите-ка, доктор, верно, что они собираются воздвигнуть памятник погибшим от чумы?

— Во всяком случае, так в газетах писали. Стелу или доску.

— Так я и знал. И еще сколько речей произнесут. — Старик одышливо захихикал. — Так прямо и слышу: «Наши мертвецы...», а потом пойдут закусить.

Но Риэ уже подымался по лестнице. Над крышами домов блестело широкое холодное небо, и висевшие низко над холмами звезды казались твердыми, как кремь. Сегодняшняя ночь не слишком отличалась от той, когда они с Тарру поднялись сюда, на эту террасу, чтобы забыть о чуме. Но сейчас море громче, чем тогда, билось о подножие скал. Воздух был легкий, неподвижный, очистившийся от соленых дуновений, которые приносит теплый осенний ветер. И по-прежнему к террасам подступали шумы города, похожие на всплеск волн. Но нынешняя ночь была ночью освобождения, а не мятежа. Там, вдалеке, красноватое мерцание, пробивавшееся сквозь темно-

ту, отмечало линию бульваров и площадей, озаренных иллюминацией. В уже освобожденной теперь ночи желание ломало все преграды, и это его гул доходил сюда до Риэ.

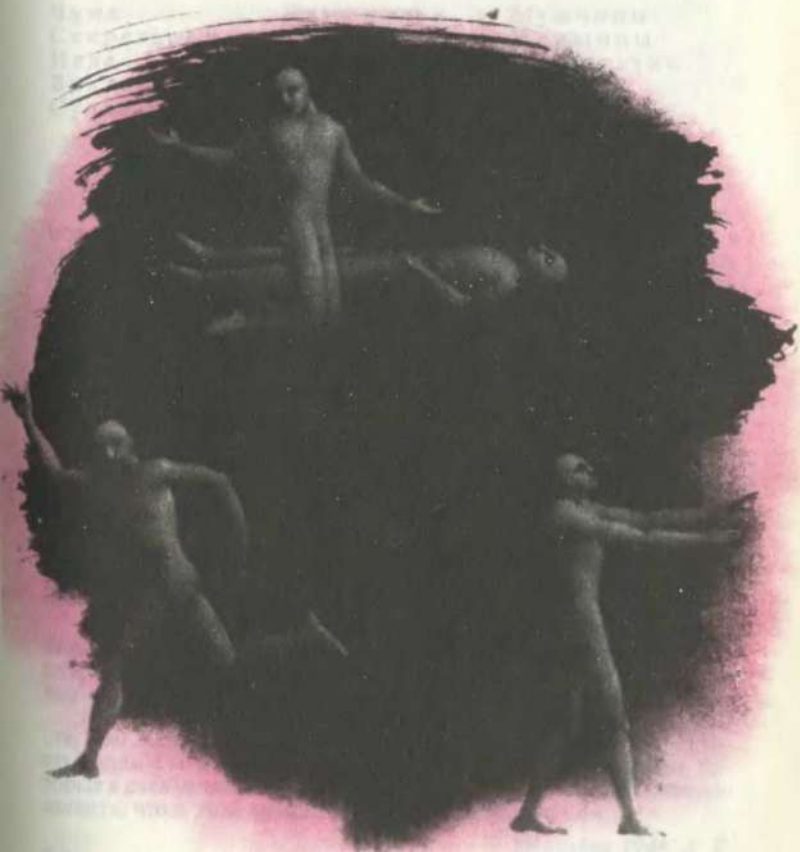
Над темным портом взлетели первые ракеты официального увеселения. Весь город приветствовал их глухими и протяжными криками. Котгар, Тарру, та или те, кого любил Риэ и кого он потерял, все, мертвые или преступные, были забыты. Старик астматик прав — люди всегда одни и те же. Но в этом-то их сила, в этом-то их невинность, и Риэ чувствовал, что вопреки своей боли в этом он с ними. В небе теперь беспрерывно распускались многоцветные фонтаны фейерверка, и появление каждого встречал раскатистый, крепнувший раз от раза крик, долетавший сюда на террасу, и тут-то доктор Риэ решил написать эту историю, которая оканчивается здесь, написать для того, чтобы не уподобиться молчаливкам, свидетельствовать в пользу зачумленных, чтобы хоть память оставить о несправедливости и насилии, совершенных над ними, да просто для того, чтобы сказать о том, чему учит тебя година бедствий: есть больше оснований восхищаться людьми, чем презирать их.

Но вместе с тем он понимал, что эта хроника не может стать историей окончательной победы. А может она быть лишь свидетельством того, что следовало совершить и что, без сомнения, обязаны совершать все люди вопреки страху с его не знающим устали оружием, вопреки их личным терзаниям, обязаны совершать все люди, которые за невозможностью стать святыми и отказываясь принять бедствие пытаются быть целителями.

И в самом деле, вслушиваясь в радостные клики, идущие из центра города, Риэ вспомнил, что любая радость находится под угрозой. Ибо он знал то, чего не ведала эта ликующая толпа и о чем можно прочесть в книжках, — что микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает, что он может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья, что он терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах и что, возможно, придет на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города.

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Драматургия



L'ÉTAT DE SIÈGE

Действующие лица

Чума	Жена судьи	Мужчины
Секретарша	Диего	Женщины
Нада	Губернатор	Перевозчик
Виктория	Алькальд	трупов
Судья Касадо	Рыбак	

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1941 году у Жана-Луи Барро возник замысел спектакля, основой которого должен был стать миф о чуме, привлекавший в свое время и Антонена Арто. Позднее Барро решил, что проще всего использовать для этой цели великую книгу Даниеля Дефо «Дневник чумного года», и набросал план постановки.

Узнав, что я собираюсь публиковать роман на ту же тему, он предложил мне написать диалоги по намеченной им канве. Я не во всем был с ним согласен и, в частности, считал, что лучше отказаться от инсценировки и вернуться к первоначальному замыслу самого Барро.

Задача заключалась, по существу, в том, чтобы сочинить миф, доступный пониманию широкого зрителя 1948 года. «Осадное положение» и есть такая попытка, заслуживающая, как я имею слабую привычку полагать, некоторого интереса.

Но:

во-первых, подчеркиваю, «Осадное положение», что бы ни говорилось на сей счет, ни в малейшей степени не является сценическим вариантом моего романа;

во-вторых, это не пьеса с традиционной структурой, но представление, где намеренно взято за принцип смешение всех драматических форм выражения — от лирического монолога до массовых сцен, включая пантомиму, обычный диалог, фарс и хор;

и в-третьих, хотя я действительно являюсь автором всего текста, имя Жана-Луи Барро должно было бы по справедливости стоять рядом с моим. Это оказалось невозможным по причинам, которые я счел уважительными. Но должен со всей определенностью заявить, что в этом смысле я остаюсь его должником.

20 ноября 1948. А. К.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Пролог

Звучит увертюра. В ней отчетливо слышна тема, напоминающая сигнал воздушной тревоги. Занавес поднимается.
На сцене полная тьма.

Увертюра кончается, но издали по-прежнему доносится тревожный вой сирены.

Внезапно справа, в глубине, появляется комета и медленно проплывает над сценой. Она выхватывает из темноты очертания крепостных стен испанского города и силуэты людей, которые, запрокинув голову, неподвижно стоят спиной к публике и смотрят на комету. Часы бьют четыре.
Диалог звучит приглушенно, неразборчиво:

- Конец света!
- Да брось ты!
- Мир гибнет...
- Брось, приятель. Мир, но не Испания!
- Испания тоже может погибнуть.
- На колени!
- Комета — знамение беды!
- Только не Испания, приятель, только не Испания!

Некоторые оглядываются. Один-два человека опасливо переходят на другое место, и снова все застывают. Сигнал тревоги раздается совсем близко, в пронзительном завывании сирены звучит угроза.

Одновременно комета начинает расти и достигает невероятной величины. Душераздирающий женский вопль. Музыка умолкает, и комета уменьшается до прежних размеров. Женщина в смятении убегает. На площади начинается суматоха. Диалог звучит резко, с отчетливым шипением и присвистом, но слова по-прежнему разобрать трудно:

- Это предвестие войны!
- Уж точно!

- Да какое там предвестие!
- Еще увидишь!
- Что вы все заладили? Это предвестие жары!
- Нашей испанской жары!
- Хватит вам!
- Эта комета слишком уж громко свистит!
- Просто оглушает!
- Она наведет на Кадис порчу.
- Ай! Порчу на Кадис!
- Тише! Тише!

Все снова смотрят на комету.

В тишине приятно звучит голос Офицера городской стражи.

Офицер. Расходитесь по домам! Нечего глаза таращить! Насмотрелись, хватит. Только галдите попусту! Много шума из ничего. Что ему сделается, вашему Кадису!

Голоса из толпы. Но ведь это же знамение! Знамений ни с того ни с сего не бывает.

— О великий и страшный Бог!

— Скоро война, вот что значит эта комета!

— Дубина ты! Кто в наше время верит в кометы! Мы, слава богу, не дураки.

— Вот-вот, такие умники, что скоро без головы останемся. Бараны безмозглые, вот мы кто. А бараны на то и есть, чтобы их резать.

Офицер. По домам! Война вас не касается. Это наше дело, а не ваше.

Нада (*калека*). Ох, если бы так! Но ведь нет же, офицеры-то умирают в своей постели, а животы протыкают нам!

Голос из толпы. Нада, Нада пришел. Придурок явился!

Другой голос. Ну, Нада, ты все знаешь. Скажи-ка нам, что значит эта комета?

Нада. Вам не понравится то, что я скажу. Вы вечно надо мной насмехаетесь. Спросите у студента, он будущий врач. А я лучше побеседую с бутылкой. (*Подносит ко рту бутылку.*)

Голос из толпы. Диего, на что он намекает?

Диего. Какая разница? Не трусьте, и все будет в порядке.

Голос из толпы. Надо спросить, что думает офицер.

Офицер. Офицер думает, что вы нарушаете общественный порядок.

Нада. Стражникам можно позавидовать. Они мыслят просто.

Диего. Смотрите, опять...

Голос из толпы. О великий и страшный Бог!

Снова слышится вой сирены. Комета проплывает второй раз.

Голоса из толпы. Хватит, хватит!

— Довольно!

— О Кадис!

— Она воеет!

— Это порча...

— На наш город...

— Тише! Тише!

Бьет пять часов. Комната исчезла. Светает.

Нада (*стоя на каменной тумбе, насмешливо*). Ну вот! Я, умнейший и образованнейший человек в городе, пьяница, потому что мне на все плевать и я брезгую вашими почестями, всеобщее посмешище, ибо я сохранил свободу открыто все презирать, — я, сам Нада, желаю после этого фейерверка сделать вам бесплатное предостережение. Итак, имею вам сообщить, что дело наше плохо и, дайте срок, будет еще хуже. Заметьте себе, что дело наше плохо уже давно. Но осознать это дано было только пьянице. Чем же оно плохо? Это уж вы, мои благоразумные сограждане, должны угадать. А я остаюсь при своих взглядах, я давно пришел к выводу, что между жизнью и смертью большой разницы нет, а человек — просто щепка, которая отлично горит в костре. Верьте мне, у вас будут неприятности. Комета — дурной знак. Это сигнал тревоги! Вам не верится? Я так и знал. Вы думаете, если вы едите три раза в день, отработываете свои восемь часов и содержите двух жен, то все в порядке. Но вы не в порядке, вы в строю! Благодушные, аккуратно построенные в затылок, вы вполне созрели для беды. Ну, люди добрые, я вас предупредил, совесть моя чиста. Впрочем, можете не

волноваться, вами наверху занимаются. Чем это пахнет, вы сами знаете: с Ним шутки плохи!

Судья. Прекрати богохульствовать, Нада! Ты уже давно позволяешь себе преступные вольности в отношении неба.

Нада. Разве я сказал хоть слово о небе, судья? Кто-кто, а я одобряю все, что оно творит. Я тоже судья на свой лад. Я читал в книжках, что лучше быть пособником неба, чем его жертвой. К тому же, небо, по-моему, тут ни при чем. Когда люди начинают крушить все вокруг, в том числе и друг друга, выясняется, что Господь Бог, который тоже мастер по этой части, по сравнению с ними просто дитя.

Судья. Вот из-за этих безбожников вроде тебя небо и шлет нам знамения беды. Ибо это и вправду предостережение. Но оно послано тем, у кого развращены души. Страшиться все, как бы на нас не обрушились ужасные бедствия, и молитесь Бога, чтобы он простил ваши прегрешения. На колени! На колени, приказываю вам!

Все опускаются на колени, кроме Нады.

Судья. Устрашись, Нада, и преклони колени!

Нада. Не могу, у меня нога не сгибается. А страшиться мне нечего, я все предвидел, даже самое худшее — я имею в виду твои поучения.

Судья. Неужели ты ни во что не веришь, несчастный?

Нада. Ни во что на всей земле, кроме вина. И ни во что на небе.

Судья. Прости ему, Господи, ибо он не ведает, что говорит, и смилуйся над этим городом, ибо в нем живут дети Твои!

Нада. *Ite, missa eat*¹. Угости меня, Диего, бутылочкой вина в трактире «Комета». И расскажи заодно, как идут твои любовные дела.

Диего. Я женюсь на дочери судьи, Нада. И прошу тебя больше не оскорблять отца моей невесты. Этим ты оскорбляешь и меня.

Трубят трубы. Входит Глашатай в окружении стражников.

¹ Идите, месса окончена (*лат.*).

Глашатай. Приказ губернатора! Всем разойтись и вернуться к своим занятиям! Хороший губернатор — такой губернатор, в чье правление ничего не случается. Наш губернатор тоже желает, чтобы в его правление ничего случилось и он оставался бы вечно хорошим губернатором, каков он и есть и был всегда. Посему гражданам Кадиса надлежит принять к сведению: ничего, что могло бы взбудоражить или напугать население, сегодня не случилось. С этой минуты всякие упоминания о какой-то комете, якобы появлявшейся над городом, объявляются ложными слухами. Каждый, кто нарушит этот приказ и станет говорить о кометах иначе, как о космическом явлении минувших или будущих времен, понесет наказание по всей строгости закона.

Трубят трубы. Глашатай уходит.

На да. Ну, Диего, каково? Здорово придумано.

Диего. Глупо придумано! Ложь — всегда глупость!

На да. Нет, это не глупость, это политика. И я за такую политику всей душой, потому что она отменяет все, что только можно отменить. Губернатор у нас — просто чудо! Если у него дефицит бюджета или жена ему изменяет, он объявляет дефицит несуществующим и отрицает адюльтер. Рогоносцы, радуйтесь, ваши жены вам верны! Паралитики, вы можете ходить! А вы, слепцы, взгляните вокруг: настал момент истины!

Диего. Смотри не накаркай беды, старый ворон! Момент истины — это момент смерти!

На да. Именно! Смерть миру! Ах, если бы я мог схватиться с миром один на один, как с быком, когда у того поддрагивают ноги, маленькие глазки налиты ненавистью, а на морде, на розовых губах — грязное кружево пены! Ай! Какая минута! Хоть я и стар, моя рука не дрогнула бы! Я бы рассек ему шейные позвонки одним ударом, и огромное сраженное мною животное падало бы и падало до скончания времен сквозь бесконечные пространства!

Диего. Ты презираешь слишком многое, На да. Побереги свое презрение, оно тебе еще может понадобиться.

На да. Мне ничего не может понадобиться. А презрения мне хватит до самой смерти. И ничто на свете — ни

короли, ни кометы, ни мораль — никогда не будет для меня выше, чем я сам!

Диего. Успокойся! Не заносись так высоко. А то тебя не будут любить.

Нада. Я выше этого, выше всего, мне ничего не надо.

Диего. Ничто не может быть выше чести.

Нада. Что такое честь?

Диего. То, что не дает мне ослабеть.

Нада. Честь — это космическое явление минувших или будущих времен. Отменяю!

Диего. Ладно, Нада, мне пора. Меня ждет невеста. Поэтому я не верю в беду, которую ты предрекаешь. Я должен заняться своим счастьем. Счастье — долгая работа, для нее нужен покой городов и селений.

Нада. Я же говорил, сынок, — наше дело плохо. Надеяться не на что. Комедия вот-вот начнется. Не знаю даже, успею ли я добежать до базара, чтобы выпить за всеобщую погибель.

Свет гаснет.

Конец пролога

Свет. На площади оживление. Актеры более подвижны, общий ритм действий не такой замедленный, как в прологе. Играет музыка.

Лавочники открывают ставни своих лавок, и тем самым убирается передний план декорации. Перед нами рыночная площадь.

Ее постепенно заполняет радостный народ. Он образует Хор, который ведут рыбаки.

Хор. Ничего не случилось, ничего не случилось. Покупайте свежую рыбу! Нам мерещилась беда, а это летняя звезда! (*Возглас ликования.*) Едва успела кончиться весна, как золотой апельсин лета, пушенный с размаху в небо, повис в зените и, лопнув, затопил Испанию медовым дождем. И сейчас же все плоды летнего мира — налитой виноград, дыни цвета сливочного масла, кровавые смоквы, пылающие абрикосы — покатались на прилавки наших братьев. (*Возглас ликования.*) О плоды! Здесь, в плетеных корзинах, завершился их долгий стремительный бег из селений, где они наливались соком и сахаром над голубыми от зноя лугами и над свежими струями тысяч блестящих от солнца ключей, орошающих землю живую во-

дой молодости. По корням и стволу эта влага находит свой путь к сердцевине плодов, питает их сладостью, как неиссякаемый медоносный родник, и они на глазах тяжелеют. Тяжелеют все больше и больше! И, созрев, опадают дождем, катятся по пышной траве, уплывают по рекам, тянутся по дорогам со всех сторон света под радостные крики народа и пение летних рожков. (*Играют рожки.*) Они приходят толпой в города возвестить нам, что земля, как и прежде, мягка, а благодатное небо, верное обещанию, явилось и в этом году на свидание с летом. (*Всеобщее ликование.*) Нет, ничего не случилось! То была летняя звезда! Лето — подарок, а не беда. Зима наступит не скоро, черствый хлеб ждет нас только потом! А сегодня — дорады, сардины, лангусты! Рыба, свежая рыба из спокойных морей! Сыр, сыр с розмарином! Козье молоко пенится, как мыло в тазу у прачки, а на мраморных прилавках кровью сочится мясо в кружевных розетках из белой бумаги: оно пахнет люцерной и дарит нашей утробе кровь, силу и солнце. Поднимем же чашу! Выпьем из чаши лета! Станем пить и забудемся! Ничего не случится!

Крики «ура!». Радостные возгласы. Трубят трубы. Музыка. На базаре разыгрываются в разных местах небольшие сценки.

Первый нищий. Подайте, добрый человек! Подайте, бабушка!

Второй нищий. Лучше рано, чем никогда!

Третий нищий. Намек ясен!

Первый нищий. Ничего, разумеется, не случилось!

Второй нищий. Но может и случиться. (*Крадет у прохожего часы.*)

Третий нищий. Однако милостыню все равно лучше подать! Будьте милосердны, на всякий случай!

В рыбных рядах.

Рыбак. Дорада, свежая, как гвоздика! Цветок морей! А вы еще недовольны!

Старуха. Это не дорада, а настоящая морская собака!

Рыбак. Морская собака? Ах ты, ведьма! Пока ты не явилась, морских собак в этой лавке не бывало.

Старуха. Ай, недоносок! Седин бы моих постыдился!

Рыбак. Пошла вон, старая комета!

Все замирают, прижав палец к губам.

Окно Виктории. За прутьями решетки стоит Виктория,
Диего — на улице.

Диего. Как давно я тебя не видел!

Виктория. Глупый, мы же расстались сегодня утром в одиннадцать!

Диего. Да, но с нами был твой отец.

Виктория. Мой отец сказал «да»! Мы думали, он скажет «нет».

Диего. Я правильно сделал, что пошел прямо к нему и честно посмотрел ему в лицо.

Виктория. Да, ты правильно сделал. Пока он размышлял, я закрыла глаза и слушала, как мчатся, сотрясая все мое существо, невидимые кони, как они приближаются все быстрее и быстрее, пока не начала дрожать всем телом. И тут отец сказал «да». Тогда я открыла глаза. Это было первое утро творения. В углу комнаты я увидела вороных коней любви, они еще вздрагивали, но уже стояли на месте. Они ждали нас с тобой.

Диего. Я не слеп и не глух. Но слышал лишь только стук крови в висках. Моя радость вдруг освободилась от нетерпения. О царство света! Тебя отдали мне на всю жизнь, до той минуты, пока земля не призовет нас. Завтра мы умчимся с тобой отсюда в одном седле.

Виктория. Да! Говори нашим с тобой языком, неважно, если другие сочтут нас безумными. Завтра ты поцелуешь меня в губы. Я смотрю на твой рот, и щеки мои горят. Скажи, это подул южный ветер?

Диего. Да, он опалает и меня. Где тот родник, который меня исцелит?

Подходит совсем близко. Просунув руки между прутьями решетки, она обнимает его за плечи.

Виктория. Ах, мне больно, так я тебя люблю! Подойди еще ближе!

Диего. Как ты прекрасна!

Виктория. Какой ты сильный!

Диего. Чем ты умываешься по утрам? Отчего лицо у тебя белое, как цвет миндаля?

Виктория. Я умываюсь только чистой водой, вся красота моя от любви.

Диего. Твои волосы свежи, как ночь.

Виктория. Это оттого, что все ночи напролет я жду тебя у окна.

Диего. Может быть, это вода и ночь подарили тебе благоуханье цветов лимона?

Виктория. Нет, это ветер твоей любви. От него я расцвела за один день!

Диего. Цветы когда-нибудь опадут!

Виктория. Тогда тебя ждут плоды!

Диего. Но придет и зима!

Виктория. Я встречу ее вместе с тобой. Помнишь, что ты пел мне в первый день? Или это уже не так?

Диего. После смерти моей через сотню лет

Если спросит меня земля,

Смог ли я наконец позабыть тебя,

Я, как прежде, отвечу: «Нет!»

Виктория молчит.

Диего. Ты молчишь?

Виктория. У меня от счастья перехватило дыхание.

В шатре астролога.

Астролог (*женщине*). Солнце, красавица моя, находилось в созвездии Весов в миг твоего рождения, поэтому твоей звездой можно считать Венеру, тем более что на тебя влияет и созвездие Тельца, а, как всем известно, Телец тоже подчиняется Венере. Значит, натура у тебя эмоциональная, любящая и мягкая. Радуйся этому, хотя Телец предрасполагает к безбрачию и есть опасность, что такие прекрасные качества могут пропасть задаром. Я вижу конъюнкцию Венеры с Сатурном, что неблагоприятно для заключения брака и рождения детей. Эта конъюнкция предвещает также необычные склонности и заставляет опасаться болезней желудка. Но ты поменьше думай об этом и стремись к солнцу, ибо оно укрепляет дух и нравы и исцеляет желудочные расстройства. Выбирай друзей среди тех, кто родился под созвездием Тельца, и не забы-

вай, детка, что расположение звезд для тебя благоприятно и может принести тебе радость. Шесть франков. (*Берет у женщины деньги.*)

Женщина. Спасибо. А ты уверен, что все так и будет, как ты сказал?

Астролог. Конечно, деточка, конечно. Правда, тут есть одно «но»! Сегодня утром, разумеется, ничего не случилось. Но то, что не случилось, может спутать весь твой гороскоп. Я не отвечаю за то, чего не было.

Женщина уходит.

Астролог (*зазывает публику.*) Хотите знать свой гороскоп? Прошлое, настоящее и будущее, predeterminedное расположением неподвижных звезд. Подчеркиваю: неподвижных! (*В сторону.*) Если в дело начнут вмешиваться кометы, работать станет невозможно. Придется сделаться губернатором.

Цыгане (*говорят все одновременно.*) Друг, который хочет тебе добра...

— Брюнетка нежная, как аромат апельсина...

— Дальняя дорога в Мадрид...

— Наследство в Америке...

Один из цыган. После смерти друга-блондина ты получишь письмо от брюнета.

В глубине сцены, на подмостках, бьют в барабан.

Актер. Обратите к нам взгляды ваших прекрасных глаз, очаровательные дамы, а вы, сеньоры, прислушайтесь! Перед вами величайшие и знаменитейшие актеры Испании, которых я не без труда уговорил покинуть королевский двор, дабы приехать к вам на базар. Они сыграют для вас священную драму бессмертного Педро де Лариба «Духи». Это удивительное сочинение, вознесенное одним взмахом крыльев гения на высоту мировых шедевров! Потрясающая пьеса, столь любимая нашим королем, что он приказывал играть ее для него дважды в день! Он смотрел бы ее и сейчас, если бы я не взял на себя труд разъяснить сей великолепной труппе, что необходимо безотлагательно представить этот шедевр на нашем базаре для услаждения публики Кадиса, самой иску-

шенной публики во всей Испании! Спешите, спешите, представление начинается!

Представление действительно начинается, но актеров не слышно, крики рыночных торговцев заглушают их голоса.

— Свежая рыба! Свежая рыба!

— Женщина-омар, полуженщина-полурыба!

— Жареные сардины! Жареные сардины!

— Сюда! Спешите видеть! Король ловкачей! Сокрушитель цепей!

— Купи моих помидоров, красавица, они нежные, как твое сердечко!

— Кружева, белье для новобрачных!

— Педро зубы рвет, как бог! Не успеешь крикнуть «ох!»

На да (*пьяный, выходит из таверны*). Давите всё! Выжмите сок из помидоров и из сердца! В кандалы короля ловкачей! Выбьем зубы Педро! Смерть астрологу, который не прочел свою гибель по звездам! Съедем женщину-омара и уничтожим все остальное, за исключением того, что можно выпить.

Иноземный Торговец, богато одетый, выходит на базарную площадь в окружении толпы девушек.

Торговец. Покупайте, покупайте ленты «Комета»!

Все. Тсс! Тсс! (*Шепотом объясняют торговцу, чем он рискует.*)

Торговец. Покупайте, покупайте космические ленты.

Все подходят и покупают.

Ликование. Музыка. Появляется Губернатор со свитой.

Все обступают его.

Губернатор. Ваш губернатор приветствует вас и выражает радость, оттого что вы собрались, как обычно, на этой площади и заняты делами, приносящими Кадису мир и процветание. Ничего не изменилось, и это прекрасно. Перемены меня раздражают, я дорожу своими привычками.

Простолюдн. Да, губернатор, ты прав: ничего не изменилось. Мы, бедняки, можем тебя в этом заверить. К концу месяца мы едва сводим концы с концами. Лук,

оливки и хлеб — по-прежнему наша единственная пища, а что до куриного супа, то мы радуемся, когда по воскресеньям его едят другие. Сегодня утром в городе и на небе был большой шум. Честно говоря, мы испугались. Испугались, вдруг что-нибудь изменится и нищим придется питаться шоколадом. Но ты позаботился о нас, добрый правитель, ты сказал, что ничего не случилось, что нам померещилось. И мы сразу же успокоились.

Губернатор. Я рад этому. От нового никогда не бывает добра.

Алькальды. Правильно говорит губернатор! От нового не бывает добра. Нам, алькальдам, удостоенным этого звания за свою мудрость и седины, хочется верить, что наши славные бедняки не иронизируют. Ирония — свойство разрушительного ума. Хороший правитель всегда предпочтет ему созидательную глупость.

Губернатор. Пусть все остановится! Я — царь неподвижности!

Пьяницы (*выходят из таверны и толпятся вокруг Нады*). Да, да, да! Нет, нет, нет! Пусть все остановится, добрый губернатор! Все кружится, все идет колесом, это настоящая пытка! Мы за неподвижность! Долой движение! Отмени все, кроме вина и безумства!

Хор. Ничего не изменилось! Ничего не происходит, ничего не произошло! Времена года движутся по кругу, а в безмятежном небе вращаются благодетельные светила, послушные законам геометрии. Им противны шальные, сумасбродные звезды, которые поджигают небесные степи своей лохматой огненной шевелюрой, расстраивают тревожным воем нежную музыку планет, поднимают ветер и нарушают вечное движение по вечным орбитам, расшатывают созвездия, порождая на перекрестках неба роковые столкновения светил. Поистине все в порядке, мир приходит в равновесие! Стоит полдень года, высокая пора неподвижности! О счастье, счастье! Лето, благодать! Что нам за дело до всего другого? Гордиться счастьем нам дано опять!

Алькальды. За то, что у неба есть свои привычки, надо поблагодарить вашего губернатора, ибо он король привычки. Он тоже не любит распущенных волос. Все его подданные гладко причесаны!

Хор. Смирение! Мы всегда будем смиренными, ведь ничто никогда не изменится. Зачем нам развевающиеся

по ветру волосы, горящие глаза и пронзительный голос? Мы будем гордиться счастьем других!

Пьяницы (*вокруг Нады*). Отмените движение, отмените, отмените! Не двигайтесь! Замрем! Пусть себе текут часы, это правление не будет иметь истории! Высокая пора неподвижности — это вечное время нашего сердца, ибо оно самое жаркое и вызывает жажду!

Музыкальная тема тревоги негромко звучит уже несколько минут. Внезапно она сменяется пронзительным воем сирены. Одновременно раздаются два глухих удара. Один из актеров, исполняющий на подмостках пантомиму, выходит вперед, шатается и падает прямо в толпу, которая мгновенно его обступает. Полная тишина.

На несколько секунд все замирают. Затем начинается суматоха. Диего пробирается через толпу, люди расступаются, и мы видим распростертое на земле тело. Появляются двое врачей, осматривают лежащего и, отойдя в сторону, начинают взволнованно совещаться. Молодой человек из толпы требует у одного из врачей объяснения, но тот качает головой, отказываясь отвечать. Юноша настаивает и, ободряемый народом, пытается заставить врача говорить. Он трясет его, припадает к нему в мольбе, и в конце концов его губы прижимаются к губам врача. Юноша шумно вдыхает, изображая, будто вытягивает ответ из уст врача. Внезапно отшатывается и с огромным усилием, будто слово столь огромно, что застревает у него в глотке, произносит:

— Чума.

Народ падает на колени. Каждый повторяет это слово все громче и быстрее. Люди начинают разбегаться по сцене, описывая широкие круги вокруг стоящего на возвышении губернатора. Они кружат как безумные, все ускоряя и ускоряя бег, и вдруг разом останавливаются при звуке голоса старого Священника.

Священник. В храм! В храм! Вот она, божья кара! Древний недуг обрушился на Кадис! Небо насылает его на развращенные города, чтобы покарать их смертью за смертный грех. В ваших лживых устах пресечется крик, и пылающая печать ляжет на ваше сердце. Молите теперь справедливого Бога, чтобы он забыл и простил! Спешите в храм!

Кто-то бросается в церковь. Остальные под звуки набата механически кружат по сцене.

Астролог (*в глубине сцены, невозмутимо, словно делая доклад губернатору*). На небе вырисовывается ковар-

ное совпадение враждебных планет. Оно предвещает засуху, голод и чуму...

Его речь заглушает болтовня женщин:

— У него на горле сидело какое-то огромное животное и сосало кровь, пыхтя, как насос.

— Это был паук, гигантский черный паук!

— Да нет, он был зеленый!

— Никакой не паук, а морская ящерица.

— Ты не разглядела! Это был спрут, огромный спрут величиной почти с человека.

— Диего, где Диего?

— Теперь мертвецов будет столько, что живых не хватит их хоронить!

— Ай! Если б только я могла уехать!

— Уехать! Уехать!

Виктория. Диего! Где Диего?

Во время этой сцены в небе появляются зловещие знамения. Сигнал тревоги звучит все громче, нагнетая ужас. Какой-то человек с просветленным лицом, словно на него снизошло откровение, выбегает из дома с криком: «Через сорок дней конец света!»

Люди в панике снова начинают бегать по кругу, повторяя: «Через сорок дней конец света!» Стражники хватают ясновидца, а в это время с другой стороны появляется Колдунья и предлагает лечебные снадобья.

Колдунья. Мелисса, мята, шалфей, розмарин, чабрец, шафран, лимонная цедра, миндальная паста... Не проходите мимо! Чудодейственные средства!

Солнце начинает клониться к западу, поднимается холодный ветер. Все смотрят на небо.

Колдунья. Ветер! Вот и ветер подул! Чума боится ветра! Все уладится, все уладится, вот увидите.

Ветер внезапно стихает. Вой сирены становится еще пронзительнее.

Раздаются подряд два глухих удара. Два человека в толпе валятся наземь. Все падают на колени и начинают пятиться от лежащих тел. Посреди сцены остается только колдунья, и у ее ног — двое лежащих мужчин с отметинами в паху и на горле. Больные корчатся и, сделав несколько движений, испускают дух. На толпу, которая продолжает отступать к краям сцены, медленно опускается ночь.

Полная тьма.

Свет в церкви и в доме судьи. Прожектор направлен на дворец. Действие разворачивается поочередно в разных местах.

Во дворце

Первый алькальд. Ваша честь, эпидемия растет с невероятной быстротой, врачи не справляются. Жилые кварталы заражены сильнее, чем люди предполагают, и, думаю, надо скрыть от них правду любой ценой. К тому же болезнь пока свирепствует в основном на бедных и перенаселенных окраинах. Это единственное, что может еще утешать нас в нашей беде.

Одобрительный шепот присутствующих.

В церкви

Священник. Подходите, и пусть каждый публично исповедуется в своих самых черных делах. Откройте ваши сердца, несчастные! Расскажите друг другу о содеянном вами зле и о зле, которое вы замыслили, иначе яд греха непременно убьет вас и отправит в ад так же верно, как ненасытный спрут чумы... Я лично каюсь в том, что не всегда был милосерден...

Три исповеди-пантомимы сменяют друг друга
во время следующего диалога.

Во дворце.

Губернатор. Все обойдется. Досадно только, что я собирался на охоту. Такие штуки вечно случаются, когда у нас неотложные дела. Как же быть?

Первый алькальд. Не отменяйте охоту, ваша честь, хотя бы для примера другим. Народ должен знать, что вы умеете встречать превратности судьбы с безмятежным челом.

В церкви

Все. Прости нам, Господи, все, что мы совершили и чего не совершали.

В доме судьи

Судья читает псалмы в окружении своей семьи.

Судья. «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится.

Говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»

Он избавит тебя от сети ловца, от губительной язвы...»¹

Жена судьи. Касадо, нельзя ли нам выйти погулять?

Судья. Ты уже достаточно погуляла в своей жизни, жена. Это не принесло нам счастья.

Жена. Виктория не вернулась. Я боюсь, не приключилось ли с ней чего дурного.

Судья. Жаль, что ты не боялась, как бы чего дурного не приключилось с тобой самой! И потеряла честь. Сиди дома, это самое надежное место среди бедствия. Я все предусмотрел. Мы запрем двери на время чумы и дождемся, пока она кончится. С Божьей помощью, мы не пострадаем.

Жена. Ты прав, Касадо. Но мы не одни. Другие страдают. Виктория, быть может, в опасности.

Судья. Оставь в покое других и подумай о семье. О своем сыне, к примеру. Вели доставить в дом столько провизии, сколько возможно. Заплати любую цену. Но запасай, жена, запасай. Настало время сберечь. *(Читает.)* «...Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю...»

В церкви

Молящиеся продолжают тот же псалом.

Хор. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень».

Голос. О великий и страшный Бог!

Свет на площади. Люди движутся по сцене в ритме коплы.

¹ Псалом 90.

Хор. На сыром песке и на море
Свое имя ты написал.
Мне осталось одно лишь горе...

Входит Виктория. Прожектор освещает площадь.

Виктория. Диего, где Диего?

Женщина. Он подле больных. Помогает тем, кто его зовет.

Виктория бежит к кулисам и сталкивается с Диего.
Он в маске врача, работающего с зачумленными.
Виктория отшатывается и вскрикивает.

Диего *(мягко)*. Я напугал тебя, Виктория?

Виктория *(кричит)*. О, Диего! Наконец-то! Сними скорей эту маску и обними меня. Прижми меня к себе, и никакая чума меня не возьмет.

Диего не двигается.

Виктория. Что-то изменилось, Диего? Вот уже много часов я ищу тебя, бегаю по всему городу в ужасе от мысли, что ты, быть может, заразился, и наконец вижу тебя в этой маске болезни и страдания! Сбрось, сбрось ее, умоляю тебя, и прижми меня к груди. *(Диего снимает маску.)* Я взглянула на твои руки, и у меня пересохло во рту. Поцелуй меня.

Диего не двигается.

Виктория *(тише)*. Поцелуй меня, я умираю от жажды. Неужели ты забыл, что мы вчера обручились? Всю ночь я ждала сегодняшнего дня, когда ты должен был меня поцеловать. Скорей, скорей!..

Диего. Я полон жалости, Виктория.

Виктория. Я тоже, но только к нам с тобой. Потому-то я и искала тебя, звала на всех улицах, бежала, протягивая к тебе руки, чтобы сплести их с твоими! *(Делает шаг к Диего.)*

Диего. Не прикасайся ко мне, отойди!

Виктория. Почему?

Диего. Я сам себя не узнаю. Никогда ни один человек не внушал мне страха, а тут я не могу с собой справиться, это сильнее меня, и даже мысль о чести не придает мне мужества. *(Виктория делает еще шаг к нему.)* Не прикасайся ко мне! Возможно, я уже ношу в себе болезнь и могу тебя заразить. Подожди немного. Дай мне перевести дух, я потрясен, мне трудно дышать. Я даже не знаю, как приподнять этих людей и перевернуть их в постели. У меня руки трясутся от ужаса, и жалость застилает глаза. *(Слышатся крики, стоны.)* Они зовут меня, слышишь? Я должен идти к ним. Но береги себя, береги нашу любовь. Это рано или поздно кончится, иначе не может быть.

Виктория. Не покидай меня!

Диего. Обязательно кончится! Я слишком молод и слишком сильно тебя люблю. Мне отвратительна смерть.

Виктория *(бросается к нему)*. Но ведь я-то живая!

Диего *(отступая)*. Стыдно, Виктория, как стыдно!

Виктория. Стыдно? Почему?

Диего. Потому что я, кажется, боюсь.

Слышатся стоны. Диего бежит в ту сторону.
Народ движется по сцене в ритме коплы.

Хор. Где правда? Где обман? Не верьте
Словам людским. Цена им грош.
Нет истины на свете, кроме смерти.
Все остальное — ложь.

Прожектор освещает церковь и дворец губернатора.

В церкви поют псалмы, молятся.
Первый Алькальд обращается из дворца к народу.

Первый алькальд. Приказ губернатора. С сегодняшнего дня, в знак покаяния перед лицом общей беды и дабы избежать опасности заражения, все публичные собрания запрещаются и всяческие увеселения отменяются. В то же время...

Женщина *(кричит из толпы)*. Ай-ай! Они прячут мертвеца! Его нельзя так оставлять! Он отравляет воздух. Позор вам, мужчины! Его надо предать земле.

Суматоха. Двое мужчин уволакивают женщину.

Алькальд. В то же время губернатор может успокоить граждан относительно дальнейшего развития неожиданной эпидемии, обрушившейся на наш город. По мнению всех врачей, достаточно, чтобы подул ветер с моря, и чума отступит. С Божьей помощью...

Два страшных глухих удара прерывают его речь. За ними следуют еще два. Оглушительно звучит похоронный звон, из церкви доносится громкое пение молящихся. Потом люди в ужасе умолкают.

В тишине входят двое незнакомцев. Мужчина и Женщина. Все взоры устремляются на них. Мужчина тучен, он в военной форме, без головного убора, с орденом на груди. На женщине тоже форма, но только с белым воротничком и белыми манжетами.

В руках она держит блокнот. Они подходят к воротам дворца и приветствуют губернатора.

Губернатор. Что вам угодно, чужеземцы?

Мужчина (*учтиво*). Занять ваше место.

Все. Что? Что он говорит?

Губернатор. Вы неудачно выбрали время для шуток, и эта дерзость может дорого вам обойтись. Но мы, вероятно, вас неверно поняли. Кто вы такие?

Мужчина. Ни за что не угадаете!

Первый алькальд. Не знаю, откуда вы явились, зато знаю, где вы кончите!

Мужчина (*спокойно*). Вы меня пугаете! Как вы считаете, друг мой, сказать им, кто я?

Секретарша. Обычно мы более церемонно знакомимся.

Мужчина. Однако эти господа очень настойчивы.

Секретарша. Возможно, у них есть на то свои причины. В конце концов, мы здесь в гостях и должны подчиниться местным порядкам.

Мужчина. Согласен. Но не внесем ли мы тем самым некоторое смятение в умы этих милейших людей?

Секретарша. Лучше внести смятение, чем быть невежливыми.

Мужчина. Убедительный довод. Но меня все-таки кое-что смущает...

Секретарша. Одно из двух...

Мужчина. Слушаю вас...

Секретарша. Или вы скажете им, или не скажете. Если вы скажете, они узнают. Если не скажете, догадаются.

Мужчина. Вы освободили меня от последних сомнений.

Губернатор. Довольно! Прежде чем принять надлежащие меры, я в последний раз приказываю вам объяснить, кто вы такие и чего хотите.

Мужчина *(по-прежнему непринужденно)*. Я — чума. А вы?

Губернатор. Чума?

Мужчина. Да, и мне необходимо как можно скорее занять в городе ваш пост. Поверьте, я очень сожалею, но у меня много дел. Если я дам вам, скажем, два часа? Вам хватит двух часов, чтобы передать мне полномочия?

Губернатор. На сей раз вы зашли слишком далеко и поплатитесь за самозванство. Стража!

Мужчина. Минуту! Я никого не хочу неволить. Мой принцип — быть корректным. Вполне понятно, что мое поведение вас удивляет, ведь вы, в сущности, меня совсем не знаете. Но я и в самом деле хочу, чтобы вы уступили мне свой пост, не вынуждая меня прибегать к доказательствам. Неужели вы не можете верить на слово?

Губернатор. Я не могу больше терять на вас время, ваша шутка затянулась. Арестуйте этого человека!

Мужчина. Ничего не подделаешь. Хотя это, право, досадно. Друг мой, не соблаговолите ли вы произвести вычеркивание?

Мужчина указывает на одного из стражников. Секретарша с нажимом вычерчивает что-то в своем блокноте. Раздается глухой стук.

Стражник падает. Секретарша подходит и осматривает его.

Секретарша. Все в порядке, ваша честь. Все наши отметины налицо. *(Присутствующим, любезно.)* Один знак чумы на теле — и вы подозрительны. Два — вы заражены. Три — приговорены к вычеркиванию. Нет ничего проще.

Мужчина. Ах, да! Я забыл представить вам свою секретаршу. Впрочем, вы с ней знакомы. Но попадается столько людей, которые...

Секретарша. Это простительно! К тому же, не бывает так, чтобы меня в конце концов не узнали.

Мужчина. Счастливым характер! Веселая, опрятная, никогда не жалуется...

Секретарша. В этом нет никакой особой заслуги. Работать всегда легче среди свежих цветов и улыбок.

Мужчина. Прекрасный принцип! Но вернемся к нашим баранам. *(Губернатору.)* Удалось ли мне доказать вам, что я не шучу? Молчите? Я, конечно, напугал вас. Поверьте, я не хотел. Я предпочел бы уладить дело полюбовно, заключить соглашение, основанное на взаимном доверии, подкрепленное вашим и моим честным словом, если можно так выразиться, договор чести. Ну ничего, лучше поздно, чем никогда. Двухчасовой отсрочки вам хватит?

Губернатор отрицательно мотает головой.

Мужчина *(поворачиваясь к секретарше)*. Как неприятно!

Секретарша *(качая головой)*. Упрямец! Очень огорчительно!

Мужчина *(губернатору)*. Мне хотелось бы тем не менее получить ваше согласие. Я ничего не хочу делать насильно, это противоречит моим принципам. Поэтому моя сотрудница произведет столько вычеркиваний, сколько потребуется, чтобы добиться от вас свободного одобрения той маленькой реформы, которую я намерен произвести. Вы готовы, друг мой?

Секретарша. Сейчас, только очиню карандаш, а то он у меня затупился, и все будет к лучшему в этом лучшем из миров.

Мужчина *(вздыхает)*. Если бы не ваш оптимизм, это ремесло было бы для меня просто невыносимым!

Секретарша *(затачивая карандаш)*. Хорошая секретарша никогда не сомневается в том, что все можно как-то уладить. Нет такой бухгалтерской ошибки, которую нельзя было бы исправить, а несостоявшуюся деловую встречу всегда можно перенести на другой день. Нет худа без добра. Война и та имеет положительные стороны. Даже кладбища могут быть выгодными предприятиями, когда приобретение участков в вечное пользование объявляется недействительным каждые десять лет.

Мужчина. Золотые слова... Карандаш очинен?

Секретарша. Очинен, можно начинать.

Мужчина. Итак! *(Указывает ей на выступившего вперед Наду, но тот раздражается пьяным смехом.)*

Секретарша. Позволю себе заметить: он явно из тех, кто ни во что не верит, а мы всегда нуждаемся в таких людях.

Мужчина. Совершенно справедливо. Возьмем тогда кого-нибудь из алькальдов.

Паника среди алькальдов.

Губернатор. Стойте!

Секретарша. Хороший признак, ваша честь!

Мужчина *(с готовностью)*. Чем могу служить, губернатор?

Губернатор. Если я уступлю вам свой пост, вы не тронете меня, мою семью и алькальдов?

Мужчина. Ну конечно, помилуйте, это было бы нарушением всех правил!

Губернатор совещается с алькальдами, затем обращается к народу:

Губернатор. Граждане Кадиса! Надеюсь, вы понимаете, что обстановка изменилась? Заботясь о вашем благе, я, очевидно, должен буду передать город в руки новой власти, заявившей о себе на ваших глазах. Соглашение, которое я собираюсь заключить с этой властью, позволит, несомненно, избежать самого худшего, и вы, к тому же, будете иметь за городскими стенами правительство, которое впоследствии может вам оказаться полезным. Должен ли я объяснять, что, поступая так, я пекусь не о собственной безопасности, но...

Мужчина. Извините, что перебиваю вас. Но я был бы рад, если бы вы публично подчеркнули, что соглашаетесь на эти полезные меры без всякого принуждения и что речь, разумеется, идет о соглашении добровольном.

Губернатор оглядывается на них.

Секретарша подносит карандаш к губам.

Губернатор. Конечно, я заключаю это соглашение совершенно добровольно. *(Бормочет что-то невнятное, пятится и убегает. Свита обращается в бегство.)*

Мужчина (*первому алькальду*). Будьте так добры, не спешите уходить. Мне нужен человек, облеченный доверием народа, чтобы я мог его устами объявить свою волю. (*Алькальд колеблется.*) Вы, разумеется, согласны... (*Секретарше.*) Друг мой...

Первый алькальд. Ну, разумеется, это большая честь для меня.

Мужчина. Вот и прекрасно. В таком случае, друг мой, вы будете передавать алькальду те наши постановления, которые надлежит знать этим добрым людям, дабы начать вести упорядоченный образ жизни.

Секретарша. Предписание, разработанное и обнародованное первым алькальдом и его советниками...

Первый алькальд. Но я пока еще ничего не разработал...

Секретарша. От этих хлопот мы вас избавляем. Помоему, вам должно быть лестно, что наши службы берут на себя труд составлять документы, которые вы будете иметь честь подписывать.

Первый алькальд. Конечно, конечно, но...

Секретарша. Итак, настоящее предписание в соответствии с волей возлюбленного нашего повелителя имеет силу утвержденного закона и включает в целях регламентации жизни, а также оказания помощи гражданам, подвергшимся заражению, перечень устанавливаемых правил и учреждаемых должностей для таких лиц, как надзиратели, охранники, палачи и могильщики, которые приносят присягу неукоснительно исполнять полученные ими указания...

Первый алькальд. Что за способ выразаться, скажите на милость?

Секретарша. Это чтобы люди не слишком вникали. Чем меньше они будут понимать, тем лучше будут подчиняться. Вот вам указы. Прикажете огласить их в городе один за другим, не торопясь, дабы любые тугодумы могли хорошенько их усвоить. А вот и наши глашатаи. Их приятные лица помогут лучше запомнить все, ими сказанное.

Появляются глашатаи.

Народ. Губернатор уезжает! Губернатор уезжает!

Нада. Правильно делает. Государство — это он, нужно же спасти государство!

Народ. Государство — это он, но он уже никто. Раз он уезжает, значит, теперь государство — это Чума.

Нада. Какая вам разница, Чума или губернатор? Государство есть государство.

Народ разбредается и явно ищет выхода из города.

От толпы отделяется глашатай.

Первый глашатай. Все зараженные дома должны быть помечены на двери черной звездой радиусом в один фут, с надписью: «Все люди братья». Звезду запрещается ликвидировать до снятия с дома карантина под страхом наказания по всей строгости закона. *(Уходит.)*

Голос из толпы. Какого закона?

Другой голос. Нового, конечно.

Хор. Наши правители обещали нам свою защиту, но они покинули нас. Зловещие туманы сгустились над городом, они поглощают ароматы фруктов и роз, гасят сияние лета, душат радость счастливой поры. Ах, Кадис, морской город! Еще вчера из-за моря прилетал к нам ветер пустыни, подхватив по пути благоухание африканских садов, он нес нежную истому нашим девушкам. Но сегодня ветер стих, а ведь только он может очистить воздух от отравы. Правители говорили, что никогда ничего не случится, но правы оказались не они, а пьяница. Что-то случилось, наше дело плохо, и надо бежать, как можно скорее, пока ворота не захлопнулись и нас не заперли наедине с бедой!

Второй глашатай. Все продукты первой необходимости будут отныне находиться в распоряжении общины, иначе говоря, будут распределяться между теми, кто сумеет доказать новому обществу свою благонадежность.

Первые городские ворота захлопываются.

Третий глашатай. Все осветительные приборы должны быть выключены в девять часов вечера. Частным лицам запрещается находиться в ночное время в общественных местах или передвигаться по улицам без спе-

циального пропуска, выписанного в надлежащей форме, который будет выдаваться только в исключительных случаях и всегда по произволу администрации. Нарушители будут наказаны по всей строгости закона.

Голоса из толпы (*все громче и громче*). Ворота закрывают!

— Их уже закрыли!

— Нет, пока не все!

Хор. Ах, бежим скорее к тем, что еще открыты! Мы дети моря. Скорее туда, в край без стен и ворот, к нехоженным пляжам с прохладным, как губы, песком, где открыты такие дали, что глаза устают смотреть. Бежим навстречу ветру! К морю! К вольному морю, к воде, смывающей все, к ветру, дарующему свободу!

Голоса. К морю! К морю!

Люди бросаются бежать.

Четвертый глашатай. Строжайше запрещено оказывать помощь пораженным болезнью лицам иначе как путем доноса властям, которые о них позаботятся. Доносы членов семьи друг на друга особо рекомендуются и будут поощряться двойным продуктовым пайком, именуемым «паек гражданина».

Вторые ворота захлопываются.

Хор. К морю! К морю! Море спасет нас! Что ему болезни и войны! Оно повидало и погребло немало правительств! Оно дарит нам лишь алые рассветы и зеленоватые сумерки да нескончаемый плеск волн по ночам, когда звезды переполняют небо. О безлюдье, пустыня, крещение солью! Остаться наконец один на один с морем, на ветру, лицом к солнцу, вырваться из городов, замурованных в камень, как склепы, не видеть человеческих лиц, запертых на засовы страха! Скорее! Скорее! Кто спасет меня от человека и его страха? Я радовался апогею года, один среди плодов, спокойной природы, ласкового лета. Я любил мир. Были только Испания и я. Но я больше не слышу шума волн. Кругом вопли, паника, бесчестье и низость, мои братья в поту и в смятении, они отяжелели и стали неповоротливыми от страха, их уже невозможно

взвалить на плечи и нести. Кто вернет мне моря, забвения, спокойные воды океана, его, текущие пути и сомкнувшиеся борозды? К морю! К морю, пока ворота еще не закрылись!

Голоса. Не прикасайся к нему, он был возле мертвецов.

— На нем знак чумы! Он меченый!

— Прочь! Прочь от нас!

Бьют меченого. Третьи ворота захлопываются.

Голос. О великий и страшный Бог!

Другой голос. Скорей! Бери все необходимое, матрац, клетку с птицами! Не забудь собачий ошейник! И горшочек с мятой! Мы будем жевать ее, пока не доберемся до моря!

Третий голос. Держите вора! Он украл вышитую скатерть, которую мне подарили на свадьбу!

Погоня. Вора догоняют и бьют! Четвертые ворота захлопываются!

Голос. Спрячь получше нашу провизию!

Другой голос. У меня нет ни крошки еды в дорожку. Дай мне хлеба, брат! Я отдам тебе взамен свою гитару с узором из перламутра.

Третий голос. Хлеба! Весь кошелек — за единственный хлебец!

Пятые ворота захлопываются.

Хор. Скорей! Только одни ворота еще открыты! Беда опережает нас. Море ей ненавистно, она не хочет нас отпускать. Морские ночи тихи, звезды скользят над мачтой. Что там делать чуме? Ей хочется держать нас в своей власти, она любит нас на свой лад. Она пытается сделать нас счастливыми, как она это понимает, но не так, как хотим мы сами. Это радость по команде, существование без тепла, пожизненное наказание счастьем. Жизнь застывает, мы больше не чувствуем на губах свежего вкуса ветра.

Нищий. Святой отец, не покидай меня, я твой нищий!

Священник пытается убежать.

Нищий. Он бежит! Бежит! Не оставляй меня! Твой долг позаботиться обо мне! Если я потеряю тебя, то потеряю все!

Священник вырывается. Нищий с криком падает.

Нищий. Христиане Испании! Вас бросили на произвол судьбы!

Пятый глашатай (*чеканя каждое слово*). И наконец, последнее.

Чума, Секретарша и чуть позади них Алькальд улыбаются, одобрительно кивают, поздравляют друг друга с успехом.

Пятый глашатай. Во избежание заражения воздушным путем — ибо даже слова способны переносить инфекцию — каждому жителю города надлежит постоянно держать во рту пропитанный уксусом тампон, который предохраняет от заболевания и одновременно способствует сдержанности и немногословию.

Все засовывают в рот носовые платки, и по мере того как количество звучащих голосов уменьшается, оркестр играет все тише и тише.

От хора постепенно остается всего один голос, а затем и он сменяется пантомимой, разыгрываемой в полной тишине: рты у людей заткнуты.

Последние ворота с грохотом захлопываются.

Хор. Горе! Горе! Мы остались одни, одни наедине с Чумой! Последние ворота закрылись! Мы больше ничего не слышим. Море недосыгаемо. Скорбь стала нашим уделом, нам остается лишь бесцельно кружить по тесному городу без воды и деревьев, с высокими неприступными воротами, запертыми на замок, по городу, где мечутся ревушие толпы, по нашему Кадису, похожему на черно-красную арену цирка, где скоро будут совершаться ритуальные убийства. Братья, бедствие страшнее нашей вины, мы не заслужили такого заточения! Наши сердца не были невинны, но мы любили землю, любили лето — это должно было спасти нас! Однако ветры застряли в пути, и небо опустело! Мы умолкаем надолго. Но перед тем как

кляп страха окончательно заткнет нам рот, давайте же в последний раз возопим в пустыне!

Стенания, затем тишина.

Оркестр смолк. Слышится лишь колокольный звон. Снова звучит тревожная музыкальная тема кометы. Во дворе губернатора появляются Чума и Секретарша. Секретарша под барабанную дробь вычеркивает на ходу одно за другим имена из своего блокнота.

Нада ухмыляется. Со скрипом проезжает первая повозка с трупами.

Чума поднимается на возвышение и делает знак рукой.

Все застывают. Полная тишина.

Чума. Я царствую, это факт, а значит — право. Право, которое не подлежит обсуждению: вам придется свыкнуться с этим.

Впрочем, не заблуждайтесь, я царствую на свой лад, точнее было бы сказать — функционирую. Все вы, испанцы, немного романтики и, конечно, предпочли бы видеть меня в облике какого-нибудь черного короля или страшного сказочного насекомого. Известное дело, вы не можете без патетики! Так вот, обойдетесь! У меня нет скипетра, и я принял вид унтер-офицера. Я сделал это нарочно, чтобы вас уязвить, это полезно: вам еще многому предстоит научиться. У вашего короля грязь под ногтями и уставной мундир. Он не восседает на троне, он заседает. Его дворец — казарма, а охотничий домик — зал суда. Город отныне на осадном положении.

Когда прихожу я, патетика уходит. Я упраздняю ее вместе с некоторыми другими бреднями, такими, как дурацкая тоска по счастью, глупые физиономии влюбленных, эгоистическое созерцание красот природы или преступная ирония. Взамен этого я несу вам порядок. Поначалу он будет вас немного стеснять, но потом вы поймете, что хороший порядок лучше плохой патетики. Чтобы проиллюстрировать эту замечательную мысль, я начну с того, что изолирую мужчин от женщин. Это будет иметь силу закона. *(Стражники выполняют приказ.)* С глупыми играми покончено! Пора стать серьезными! Полагаю, теперь вы кое-что поняли. С сегодняшнего дня вы будете учиться умирать организованно. До сих пор вы умирали по-испански, случайно, как бог на душу положит. Вы умирали, оттого что было жарко и вдруг стало холодно, отто-

го что споткнулся ваш мул; оттого что вершины Пиренеев очень уж заманчиво голубеют, а река Гвадалквивир весной притягивает одиноких или оттого что на свете существуют безмозглые грубияны, которые убивают ради денег или ради чести, хотя куда изысканнее убивать ради логики! Да, умирали вы скверно, ничего не скажешь: один там, другой сям; тот в постели, этот на арене — сплошная распушенность. Но можете радоваться, теперь это будет решаться в административном порядке. Одна смерть для всех, по списку, в порядке строгой очередности. На каждого мы заведем карточку, и никто больше не будет умирать, как ему вздумается. Судьба поумнела и завела канцелярию. Вы все будете учтены статистикой и наконец хоть на что-то сгодитесь. Да, чуть не забыл вам сказать: вы, разумеется, умрете, это дело решенное, и будете подвергнуты последующей кремации или даже предварительной — это гигиеничнее и тоже входит в программу. Испания превыше всего!

Построиться в шеренги, чтобы умереть надлежащим образом, — вот основная задача! Этим вы можете снискать мою благосклонность. Но берегитесь бредовых мыслишек, порывов души, как вы выражаетесь, легкого возбуждения, которое порождает большие мятежи! Отныне все это слюнтяйство запрещается и заменяется логикой. Я не терплю отклонений от единообразия и от разумного порядка. С сегодняшнего дня вы все будете вести себя разумно и начнете носить специальные значки. Если вы получили одну отметину, вы должны публично носить чуть ниже плеча чумную звезду — по ней в вас будут узнавать одну из ближайших жертв. Другие — те, кто, полагая, будто это их не касается, стоят в воскресенье в очереди за билетами на корриду, — станут вас сторониться, ибо вы будете в числе подозрительных. Но не огорчайтесь: их это касается. Они тоже в списке, я не забываю никого. Подозрительны все, вот из чего следует исходить.

Все это, впрочем, не мешает мне быть сентиментальным. Я люблю птичек, первые фиалки, свежие губки девушек. Временами это очень бодрит, и вообще я, по правде сказать, идеалист. Мое сердце... Но я, кажется, расчувствовался, не стоит продолжать. Давайте только подведем итоги. Я принес вам молчание, порядок и абсолютную

справедливость. Благодарности не требуется, ибо то, что я для вас делаю, совершенно естественно. Но требуется активное сотрудничество со мной. Итак, я вступаю в должность!

Занавес

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Площадь в Кадисе. Слева — кладбищенская контора.
Справа — набережная. Рядом с набережной — дом судьи.

Могильщики в тюремной одежде подбирают мертвецов. За кулисами слышен скрип повозки. Она выезжает на середину сцены и останавливается. Заключенные нагружают ее трупами. Она вновь движется к кладбищу. Звучит военный марш, и передняя стена конторы отъезжает, открывая внутреннее помещение. Контора напоминает школьный зал для игр. На возвышении восседает Секретарша. Чуть пониже расставлены столы наподобие тех, где выдаются продовольственные карточки. За одним из столов сидит седоусый первый Алькальд в окружении чиновников. Музыка становится громче. С противоположной стороны сцены стражники загоняют народ в контору, мужчин и женщин отдельно.

Прожектор направлен в центр сцены. Из своего дворца Чума отдает распоряжения невидимым рабочим, чья деятельность угадывается по движению и шуму за сценой.

Чума. Эй, вы там, живей поворачивайтесь! В этом городе все делается на редкость медленно. Ленивый народ! Сразу видно, не любит работать. Я признаю безделье только в казармах и в очередях. Такое безделье благотворно, от него мертвеют сердца и ноги. Потому что это безделье бессмысленное. Поторапливайтесь! Надо поскорее закончить строительство моей башни, наладить надежную охрану. Натяните вдоль городских стен колючую проволоку! У каждого своя весна, моя цветет железными розами. Стража! Отметьте звездами дома, которыми я собираюсь заняться. А вы, друг мой, приступайте к составлению списков и организуйте выдачу справок о существовании. *(Выходит направо.)*

Рыбак *(он же корифей)*. Справка о существовании? Это еще зачем?

Секретарша. Как зачем? Разве можно жить без справки о существовании?

Рыбак. До сих пор прекрасно жили.

Секретарша. Просто до сих пор вами не управляли. А теперь управляют. Главный принцип нашего управления именно в том и состоит, что человеку всегда требуется справка. Можно обойтись без хлеба и без жены, но без заверенной надлежащим образом справки на любой случай жизни обойтись нельзя никак!

Рыбак. Из поколения в поколение мы рыбачили и отлично справлялись с сетями без всяких бумажек, уж в этом я вам клянусь!

Голос из толпы. Я мясник, как мой отец и дед. Чтобы резать баранов, справки ни к чему.

Секретарша. Вы привыкли к анархии, вот и все! Заметьте, мы ничего не имеем против боен, как раз наоборот! Но мы усовершенствовали их работу с помощью учета. В этом наше преимущество. Что же касается сетей, то вы еще увидите, что мы тоже неплохо умеем их расставлять. Господин алькальд, у вас есть бланки анкет?

Алькальд. Вот они.

Секретарша. Стража, помогите-ка этому господину подойти к столу.

Рыбака выталкивают к столу.

Алькальд (*читает*). Имя, фамилия, род занятий.

Секретарша. Пропустите формальности. Господин заполнит эти пункты сам.

Алькальд. Куррикулюм витэ.

Рыбак. Не понял.

Секретарша. Вы должны указать главные события вашей жизни. Чтобы мы могли с вами познакомиться!

Рыбак. Моя жизнь никого не касается. Это мое частное дело. И нечего в нее лезть!

Секретарша. Частное дело! Для нас эти слова лишены всякого смысла. Речь, разумеется, идет о вашей официальной жизни. Единственной, кстати, которая допускается нашими законами. Господин алькальд, переходите к подробностям.

Алькальд. Женат?

Рыбак. С тридцать первого года.

Алькальд. Мотивы вступления в брак?

Рыбак. Мотивы! Я просто с ума сойду!

Секретарша. Здесь так написано. Это хороший способ сделать частное официальным!

Рыбак. Я женился потому, что я мужчина.

Алькальд. Разведен?

Рыбак. Вдовец.

Алькальд. Вторично женат?

Рыбак. Нет.

Секретарша. Почему?

Рыбак (*кричит*). Я люблю свою жену!

Секретарша. Странно. За что?

Рыбак. Разве можно все объяснить?

Секретарша. В хорошо организованном обществе — можно!

Алькальд. Привлекался ли к ответственности?

Рыбак. К какой еще ответственности?

Секретарша. Были вы судимы за грабеж, клятвопреступление, изнасилование?

Рыбак. Никогда в жизни!

Секретарша. Порядочный человек, я так и думала! Господин алькальд, пометьте у себя: взять под наблюдение.

Алькальд. Гражданские убеждения?

Рыбак. Я всегда честно служил своим согражданам. Я никогда не отпускал нищего без хорошей рыбины.

Секретарша. Такой ответ не принимается.

Алькальд. О, этот пункт я могу ему объяснить! Гражданские убеждения, это, сами понимаете, по моей части! Мы хотим знать, любезный, принадлежите ли вы к тем, кто уважает существующий порядок по той единственной причине, что он существует?

Рыбак. Да, если это порядок справедливый и разумный.

Секретарша. Звучит сомнительно. Запишите, что его гражданские убеждения сомнительны! И переходите к последнему вопросу.

Алькальд (*с трудом разбирая написанное*). Причина существования.

Рыбак. Пусть моя мать в гробу перевернется, если я что-нибудь понимаю в вашей тарабарщине.

Секретарша. Нас интересует, какие вы можете представить основания, чтобы оставаться в живых.

Рыбак. Основания! Какие тут могут быть основания?

Секретарша. Вот видите! Пометьте, господин алькальд: нижеподписавшийся признает свое существование необоснованным. В нужный момент это упростит процедуру. А вы, нижеподписавшийся, имейте в виду: ваша справка о существовании временная и выдается на определенный срок.

Рыбак. Временная или не временная, давайте ее сюда, и я пойду наконец домой! Меня ждут.

Секретарша. Разумеется, дадим. Но сначала вы должны представить справку о здоровье, которую вам выпишут после некоторых формальностей на втором этаже, в управлении текущих дел. Бюро волокиты, секция контроля.

Рыбак уходит. К воротам кладбища вновь подъезжает повозка с трупами. Ее разгружают. С повозки с воплем спрыгивает пьяный Нада.

Нада. Да говорю же вам, я не умер!

Его пытаются забросить назад.
Он уворачивается и врывается в контору.

Нада. Да что ж творится! Если бы я умер, сразу было бы видно. О, извините!

Секретарша. Ничего, ничего. Подойдите сюда.

Нада. Они закинули меня в повозку! Но я просто перепил, вот и все! Нет, надо упразднить!

Секретарша. Упразднить что?

Нада. Все, красавица, все! Чем больше упразднить, тем лучше. А если упразднить все, вот рай-то будет! Влюбленных, например! Вот кого не выношу! Когда они проходят мимо, я в них плюю. В спину, конечно, потому что ведь попадают склочные! И детей, разумеется. Вот гнусное отродье! Цветы с их дурацкими лепестками, реки, тупо текущие в одну сторону! О! Упразднить, упразднить! Это моя философия! Бог отвергает мир, а я отвергаю Бога. Да здравствует ничто, ибо это единственное, что действительно существует!

Секретарша. А как же все это упразднить?

Нада. Пить, пить до смерти, и все исчезнет!

Секретарша. Плохой способ! Наш лучше. Как тебя зовут?

Нада. Ничто!

Секретарша. Как-как?

Нада. Ничто.

Секретарша. Я спрашиваю: как тебя зовут?

Нада. Да так и зовут.

Секретарша. Отлично. Человек с таким именем всегда найдет с нами общий язык. Перейди сюда и сядь за стол. Ты будешь у нас государственным чиновником. *(Входит рыбак.)* Господин алькальд, будьте добры, введите в курс дела нашего друга Ничто. А стража пусть пока займется продажей значков. Не хотите ли купить значок?

Диего. Какой значок?

Секретарша. Как какой? Значок чумы. *(Пауза.)* Вы вольны, впрочем, отказаться. Это не обязательно.

Диего. Тогда я отказываюсь.

Секретарша. Превосходно. *(Подходит к Виктории.)* А вы?

Виктория. Я вас не знаю.

Секретарша. Отлично. Я только хочу поставить вас в известность, что те, кто отказывается носить этот значок, обязаны носить другой.

Диего. Какой?

Секретарша. Значок для тех, кто отказывается носить значок. Чтоб сразу было видно, с кем имеешь дело.

Рыбак. Прошу прощения...

Секретарша *(Диего и Виктории)*. До скорой встречи! *(Рыбаку.)* Что опять не так?

Рыбак *(с нарастающей яростью)*. Я был на втором этаже, и мне там сказали, что я должен вернуться сюда и взять справку о существовании, потому что без нее они не имеют права выдать мне справку о здоровье.

Секретарша. Все правильно!

Рыбак. То есть как правильно?

Секретарша. Правильно. Это свидетельствует о том, что в вашем городе наконец заработала настоящая ад-

¹ Nada — ничто *(исп.)*.

министрация. По нашим понятиям, вы все виноваты. Виноваты в том, что вами приходится управлять. Но нужно, чтобы у вас у самих появилось чувство вины. А чувство вины не появится, пока вас не измотают. Вас изматывают, вот и все. Когда вам вымотают всю душу, дальше дело пойдет как по маслу.

Рыбак. Так могу я, по крайней мере, получить эту окаянную справку о существовании?

Секретарша. В принципе нет, потому что для этого необходима справка о здоровье. Положение, как видите, безвыходное.

Рыбак. Как же быть?

Секретарша. Остается надеяться только на нашу прихоть. Но она непостоянна, как всякая прихоть. Вы получите эту справку как особую милость. Но она будет действительна всего неделю. А через неделю посмотрим.

Рыбак. Что значит — посмотрим?

Секретарша. Посмотрим, есть ли основания ее продлевать.

Рыбак. А если вы не продлите?

Секретарша. Поскольку ваше существование не будет иметь подтверждения, то, вероятно, произведем вычеркивание. Господин алькальд, распорядитесь выписать справку в тринадцати экземплярах.

Алькальд. В тринадцати?

Секретарша. Да, в тринадцати. Один для заинтересованного лица и двенадцать для канцелярии.

Свет в центре сцены.

Чума. Мы должны как можно скорее развернуть широкое строительство бесполезных сооружений. А вы, друг мой, подготовьте сводку о ходе депортации и концентрации. Ускорьте зачисление невиновных в категорию виновных, чтобы обеспечить нас рабочей силой. Всех исключительных отправьте в заключение. Скоро наверняка начнется нехватка людей! Как идет взятие на учет?

Секретарша. Как нельзя лучше. По-моему, эти достойные люди меня поняли!

Чума. Вы слишком мягкосердечны, друг мой. Вам хочется, чтобы вас понимали. В нашем деле это профес-

сиональный недостаток. «Достойные люди», как вы выражаетесь, разумеется, не поняли ничего, но это совершенно неважно! Пусть не понимают, пусть бьются и казняются, так даже лучше. Ха! Это неплохо звучит! Вы не находите?

Секретарша. Что неплохо звучит?

Чума. Биться, казниться. Эй, вы, казнитесь, казнитесь! Ну как? Чудесное слово!

Секретарша. Великолепное!

Чума. Поистине великолепное! И такое емкое! В нем присутствует и образ казни, сам по себе умирительный, и, главное, идея сотрудничества казнимого с палачом — цель и фундамент всякой прочной власти.

Шум в глубине сцены.

Чума. Что происходит?

Волнение в хоре женщин.

Секретарша. Женщины волнуются.

Хор. Она хочет что-то сказать.

Чума. Выйди вперед.

Женщина (*выходя вперед*). Где мой муж?

Чума. Вот тебе и раз! Таково человеческое сердце, как говорится! Что же стряслось с нашим муженьком?

Женщина. Он не вернулся домой.

Чума. Обычная история! Не тревожься. Он нашел себе постель потеплее.

Женщина. Он настоящий мужчина и привык вести себя достойно.

Чума. Ну, конечно, жар-птица! Разберитесь, пожалуйста, друг мой.

Секретарша. Имя, фамилия!

Женщина. Антонио Гальвес.

Секретарша заглядывает в блокнот и что-то шепчет на ухо Чуме.

Секретарша. Ну вот! Радуйся, мы сохранили ему жизнь.

Женщина. Какую жизнь?

Секретарша. Царскую, за счет казны!

Чума: Да, я отправил его куда следует вместе с некоторыми другими, которые подымали шум; но я решил их пока просто обезвредить.

Женщина (пятая). Что вы с ним сделали?

Чума (в истерической ярости). Я их сконцентрировал! До сих пор они жили рассеянно и бездумно, в некотором, так сказать, растворении. Теперь они, благодаря мне, сконцентрировались, стали тверже!

Женщина (бросается к хору, который расступается и принимает ее). О горе! Горе мне!

Хор. Горе! Горе нам!

Чума. Молчать! Не стойте без дела! За работу! Нечего хорониться друг за друга! (Мечтательно.) Люди концентрируются, казнятся, хоронятся! Отличная штука — грамматика, годится на все случаи жизни!

Яркий свет в конторе. За столом сидят Нада с Алькальдом.
Перед ними очередь из просителей.

Первый проситель. Жизнь подорожала, люди не в состоянии прожить на зарплату.

Нада. Нам это известно. Мы как раз только что приняли новое постановление.

Первый проситель. Какой же полагается процент роста зарплаты?

Нада. Все очень просто. (Читает.) Постановление номер 108. «Постановление о пересмотре межпрофессиональной оплаты труда предусматривает упразднение основной заработной платы и создание неограниченной подвижной шкалы, вследствие чего становится возможным установить максимальную заработную плату, которая будет определена в дальнейшем. Повышение за вычетом надбавок, фиктивно предоставленных постановлением номер 107, будет по-прежнему устанавливаться (за исключением изменений, относящихся непосредственно к пересмотру шкалы заработной платы) исходя из основной заработной платы, ранее упраздненной».

Первый проситель. Но на сколько же повышется зарплата?

Нада. Повышение будет позднее, на сегодняшний день мы имеем только постановление. Зарплата увеличивается на постановление, вот и все.

Первый проситель. Но что нам делать с этим постановлением?

Нада (*орет*). Можете его есть! Следующий! (*К столу подходит второй проситель.*) Ты хочешь открыть магазин? Отличная мысль, ничего не скажешь. Для начала заполни этот бланк. Обмакни пальцы в чернила. Так, теперь приложи их сюда. Превосходно.

Второй проситель. Чем можно вытереть?

Нада. Чем вытереть? (*Листает досье.*) Ничем. Это не предусмотрено уставом.

Второй проситель. Но не могу же я так ходить!

Нада. Почему не можешь? Какая тебе разница, если ты все равно не имеешь права прикасаться к жене? И вообще, тебе это только полезно.

Второй проситель. Почему полезно?

Нада. Потому! Унизительно, значит, полезно. Вернемся, однако, к твоему магазину. Что ты предпочитаешь: воспользоваться статьей двести восемь шестьдесят второго раздела циркуляра номер шестнадцать, иначе называемого Пятым Общим уставом, или же параграфом двадцать семь статьи двести седьмой циркуляра номер пятнадцать, считающегося Особым уставом?

Второй проситель. Но я не знаю, о чем в этих параграфах говорится!

Нада. Конечно, приятель! Разумеется, ты не знаешь. Я сам не знаю. Но раз уж надо на что-то решаться, давай воспользуемся обоими сразу.

Второй проситель. О, обоими сразу! Спасибо тебе, Нада.

Нада. Не за что. Ведь, кажется, один из этих пунктов дает право открыть лавку, а другой запрещает в ней что-либо продавать.

Второй проситель. Но как же так?

Нада. Таков порядок!

К столу подходит Просительница в полном отчаянии.

Нада. Что случилось, женщина?

Просительница. У меня реквизировали дом!

Нада. Хорошо.

Просительница. Его отдали под учреждение.

Нада. Само собой!

Просительница. Меня выбросили на улицу и обещали переселить.

Нада. Вот видишь, все предусмотрено!

Просительница. Да, но для этого я должна подать прошение, которое будет проходить обычным порядком все инстанции. А моим детям негде жить!

Нада. Тем более надо подать прошение! Вот, заполни этот бланк.

Просительница (*берет бланк*). Но как скоро это будет?

Нада. Скоро, при условии, что ты представишь юридические основания срочности.

Просительница. Что это такое?

Нада. Письменный документ, удостоверяющий, что для тебя вопрос особой срочности — не жить больше на улице.

Просительница. Мои дети ночуют под открытым небом! Что может быть более срочного, чем дать им кров?

Нада. Никто тебе не даст жилье только потому, что твоим детям негде жить. Тебе его дадут, если ты представишь документ, удостоверяющий, что им негде жить. Это не одно и то же.

Просительница. Я ничего не смыслю в вашем языке. Чертовщина какая-то!

Нада. Это не случайно, женщина. Это делается затем, чтобы люди перестали понимать друг друга, говоря на одном и том же языке. Можешь поверить, мы уже близки к тому идеальному положению, когда люди будут говорить, ни у кого не встречая ответа; два языка, которые схлестнулись в этом городе, взаимно уничтожат друг друга в непримиримой борьбе, и история в конце концов найдет свое полное завершение в немоте и смерти.

Два следующих монолога Просительница и Нада произносят одновременно.

Просительница. Справедливость требует, чтобы дети ели досыта и не мерзли. Справедливость требует, чтобы мои малыши жили. Я родила их на счастливой земле. Воду для крещения дало им море. Им не нужны никакие другие богатства. Я ничего не прошу для них, кроме хлеба насущного и убогого крова. Совсем немного, одна-

ко и в этой малости вы им отказываете! Но если вы отказываете несчастным в хлебе, то никаким богатством, никакими хитроумными словами или загадочными посулами вам вовек не купить прощения!

На да. Считите за лучшее жить на коленях, вместо того чтобы умирать стоя, — тогда в мире, безупречно размеченном экером виселиц, останутся лишь безмятежные мертвецы да послушные муравьи и он превратится в подобие пуританского рая, где несут патрульную службу крылатые ангелы в полицейских мундирах, охраняя покой блаженных, сытых одной лишь бумагой да питательными постановлениями, покой святых праведников, распростертых во прахе пред Господом Богом, орденоносным разрушителем жизни, не шутя задавшимися целью развеять древние бредни о слишком прекрасном мире!

На да. Да здравствует ничто! Никто больше никого не понимает! Идеал достигнут!

Освещается центр сцены. Видны очертания бараков за колючей проволокой, дозорных вышек, еще каких-то сооружений лагерного типа. Входит Диего в маске. Вид у него затравленный.

Он замечает постройки, народ и Чуму.

Диего (*обращаясь к Хору*). Где наша Испания? Где Кадис? Такие постройки не могут принадлежать никакой стране! Мы попали в другой мир, где человек жить не может. Почему вы молчите?

Хор. Мы боимся! Ах, если бы только поднялся ветер...

Диего. Я тоже боюсь. Это помогает — кричать о своем страхе! Кричите, ветер вам ответит.

Хор. Мы были народом, а стали массой! Раньше нас приглашали, теперь нас вызывают! Мы продавали друг другу молоко и хлеб, теперь мы снабжаемся. Мы топчемся на месте! (*Топчутся.*) Топчемся и твердим сами себе, что никто не может ничего изменить и каждый должен ждать на своем месте, в указанном ему ряду! Какой смысл кричать? Лица наших женщин больше не похожи на цветы, как прежде, когда мы задыхались от желания, глядя на них. Испания погибла! На месте шагом марш! О горе! Мы топчем самих себя! Мы умираем от удушья в этом наглухо замурованном городе! Ах, если бы только поднялся ветер...

Чума. Вот это, я понимаю, благоразумие! Подойди сюда, Диего, теперь, я думаю, ты все понял.

В небе сверкают молнии.

Диего. Мы ни в чем не виновны!

Чума раздражается хохотом.

Диего (*кричит*). Тебе знакомо, палач, слово «невиновность»?

Чума. Невинность? Что это такое?

Диего. Тогда подойди! Пусть тот из нас, кто сильнее, убьет другого!

Чума. Сильнее — я, невинный. Взгляни!

Чума делает знак стражникам, те надвигаются на Диего.

Диего убегает.

Чума. Взять его! Не дайте ему удрать! Тот, кто убегает, по праву принадлежит нам! Пометьте его знаком чумы!

Стражники бегут за Диего. Разыгрывается пантомима погони.

Свистки. Вой сирен.

Хор. Он бежит! Он боится. Признался сам, что боится. Он не владеет собой, он потерял голову. А мы стали благоразумны. Нами теперь управляют. Но в безмолвии канцелярий слышен нескончаемый затаенный крик разлученных сердец. Они кричат о море под полдневным солнцем, о вечернем аромате тростника, о прохладных руках женщин. Наши рты закрыты наглухо, каждый наш шаг на виду, каждый час учтен и расписан по минутам, но сердце восстает против молчания. Оно отвергает списки и номера, отвергает бесконечные стены, решетки на окнах, рассветы, ошестинившиеся винтовками. Отвергает, как этот беглец. Он бежит, спасаясь от цифр и теней, пытаясь укрыться в каком-нибудь доме. Но единственное спасение — это море, от которого нас отделяют стены. Пусть же поднимется ветер, чтобы мы смогли наконец вздохнуть...

Диего и в самом деле бросается в какой-то дом.

Стражники останавливаются перед дверью и ставят там часовых.

Чума (*орет*). Пометьте его чумным знаком! Пометьте их всех! Они не говорят ни слова, но слышно, о чем они думают! У них уже нет сил протестовать, но они очень громко молчат! Зажмите им рты! Заткните кляпом! Заставьте их учить слова-заклинания, пока они сами не начнут механически повторять одно и то же и не станут наконец благонадежными гражданами, которые нам нужны!

С колосников обрушивается дождь раскатистых лозунгов, выкрикиваемых через громкоговорители. С каждым повторением они становятся все громче и громче и заглушают умолкающий хор, пока не воцаряется полная тишина.

Чума и народ едины! Концентрируйтесь, казнитесь, хоронитесь! Одна хорошая чума лучше двух демократий! Ссылайте, пытайте — враги всегда останутся!

Свет в доме судьи.

Виктория. Нет, отец, вы не можете выдать властям нашу старую служанку под тем предлогом, будто она заразилась. Неужели вы забыли, что она меня вырастила и безропотно служила вам всю жизнь?

Судья. Я так решил, и никто не смеет мне противоречить!

Виктория. Вы не можете один решать все. У страдания тоже есть свои права.

Судья. Мой долг — уберечь этот дом от заразы. Я...

Вбегает Диего.

Судья. Кто позволил тебе войти сюда?

Диего. Меня пригнал страх! Я бегу от Чумы.

Судья. Ты не бежишь от нее, а несешь ее с собой. (*Указывает Диего на знак чумы, который появился у него под мышкой. Пауза. Вдали слышатся свистки.*) Покинь этот дом!

Диего. Позволь мне остаться! Если ты меня выгонишь, они бросят меня к остальным, в общую свалку смерти.

Судья. Как служитель закона, я не могу дать тебе приют в своем доме.

Диего. Ты служил старому закону. А новому ты служить не обязан.

Судья. Я служу закону не ради того, что он гласит, а потому что это — закон.

Диего. А если закон преступен?

Судья. Если преступление становится законом, оно перестает быть преступлением.

Диего. И в этом случае наказуема порядочность?

Судья. Да, если она имеет дерзость выступать против закона.

Виктория. Отец, тобою движет сейчас вовсе не любовь к закону, а страх!

Судья. Ему тоже страшно.

Виктория. Но он пока никого не предал!

Судья. Не предал, так предаст. Все предают, потому что все боятся. Все боятся, потому что никто не чист.

Виктория. Отец, я с вашего согласия принадлежу этому человеку. Не можете же вы отнять его у меня после того, как вчера сами нас соединили!

Судья. Мое согласие касалось не твоего брака, а твоего отъезда.

Виктория. Я всегда знала, что вы не любите меня!

Судья (*глядя ей в лицо*). Все женщины до единой вызывают у меня отвращение. (*Громкий стук в дверь.*) Кто там?

Стражник (*за дверью*). Дом этот взят под арест, здесь укрывают подозрительного. Все обитатели берутся под наблюдение.

Диего (*хохочет*). Закон милостив, конечно! Но он немного изменился, и ты с ним еще плохо знаком. Судья, обвиняемые, свидетели — все мы теперь братья.

Входят Жена судьи, его маленький сын и вторая дочь.

Жена судьи. Нам заколотили снаружи дверь!

Виктория. Дом взят под арест.

Судья. Из-за него! Но я его выдам! Тогда они нас освободят.

Виктория. Честь не позволит вам этого, отец.

Судья. Честь — дело мужское, а мужчин в нашем городе больше не осталось.

Слышатся свистки, приближается топот бегущих.

Диего прислушивается, в панике озирается по сторонам и вдруг хватает ребенка.

Диего. Смотри, служитель закона! Если ты сделаешь хоть один шаг, я ткну твоего сына лицом в знак чумы!

Виктория. Диего, это подло!

Диего. Ничто не подло в городе подлецов.

Жена судьи (*бросаясь к мужу*). Обещай, Касадо! Обещай этому сумасшедшему все, что он потребует.

Дочь судьи. Не подчиняйся ему, отец! Нас с тобой это не касается.

Жена судьи. Не слушай ее! Ты же знаешь, что она ненавидит брата!

Судья. Она права. Это нас не касается.

Жена судьи. Ты тоже ненавидишь моего сына.

Судья. Вот именно, твоего сына.

Жена судьи. О, это не по-мужски — напомнить о том, что ты давно простил.

Судья. Я не простил. Я покорился закону, по которому в глазах людей я являюсь отцом этого ребенка.

Виктория. Это правда, мама?

Жена судьи. Ты тоже презираешь меня!

Виктория. Нет. Но для меня все рушится разом. Душа теряет последние опоры.

Судья направляется к двери.

Диего. Душа теряет последние опоры, но нас поддерживает закон, не так ли, судья? Все люди братья! (*Поднимает ребенка и держит его перед собой.*) И ты мне брат, вот я и поцелую тебя по-братски!

Жена судьи. Постой, Диего, умоляю тебя! Не будь таким, как мой муж, он ожесточился сердцем. Но он смягчится! (*Бежит к двери и преграждает судье дорогу.*) Ты же уступишь ему, правда?

Дочь судьи. Почему он должен уступать? Какое ему дело до этого маленького ублюдка, из-за которого житья никому нет в доме!

Жена судьи. Замолчи, тебя просто гложет зависть, ты вся от нее почернела! (*Судье.*) Но ты! Ведь твой век уже недолог, и ты прекрасно знаешь, что ничего нет на свете достойного зависти, кроме хлеба и спокойного сна! Ты знаешь, что будешь плохо спать в своей одинокой постели, если это допустишь.

Судья. На моей стороне закон. Кто соблюдает закон, тот спит спокойно.

Жена судьи. Я плюю на твой закон! На моей стороне право, право любящих на то, чтобы их не разлучали, право виновных на прощение и раскаявшихся — на честь! Да, я плюю на твой закон! Разве ты поступал по закону, когда малодушно извинялся перед тем капитаном, который вызвал тебя на дуэль за то, что ты нечестным путем увильнул от призыва в армию? Разве закону ты служил, когда делал гнусные предложения девушке, которая судилась с негодяем-хозяином?

Судья. Замолчи, жена!

Виктория. Мама!

Жена судьи. Нет, Виктория, я не замолчу. Я молчала все эти годы. Я молчала во имя чести и любви к Богу. Но чести больше нет. И один волосок с головы этого ребенка мне дороже, чем само небо. Я не замолчу! Я, по крайней мере, скажу ему, что право никогда не было на его стороне, потому что право, слышишь, Касадо, на стороне тех, кто страдает, плачет и надеется. Оно не с теми — не может быть с теми, — кто рассчитывает и копит.

Диего отпускает ребенка.

Дочь судьи. Это право неверных жен на адюльтер!

Жена судьи (*кричит*). Я не отрицаю своей вины, я готова кричать о ней на весь свет! Но я страдала и поняла, что вина плоти — это всего лишь ошибка, зато вина сердца — это уже преступление. То, что совершается в пылу любви, заслуживает снисхождения.

Дочь судьи. Будем же снисходительны к сучкам!

Жена судьи. Да! Потому что их лоно создано для наслаждения и для зачатия!

Судья. Жена! Твоя оправдательная речь неудачна! Я выдам этого человека, который принес в наш дом раздор! Я выдам его с двойным удовольствием, ибо сделаю это во имя закона и во имя ненависти.

Виктория. Горе тебе, потому что ты сказал правду! Ты всегда судил лишь именем ненависти, которую красиво называл законом. Даже самые лучшие законы приоб-

ретали нехороший привкус в твоих устах, ибо это желчные уста человека, который никогда ничего не любил. О, я задыхаюсь от отвращения! Давай, Диего, обними нас всех, и сгинем все вместе! Но сохрани жизнь тому, для кого она — наказание.

Диего. Оставь меня! Мне стыдно за то, что мы стали такими.

Виктория. Мне тоже стыдно. Я готова умереть от стыда!

Диего внезапно бросается к окну и выпрыгивает на улицу. Судья бежит за ним, Виктория выскальзывает через потайную дверь.

Жена судьи. Настало время, когда бубоны должны прорваться. Не мы одни стали такими! Весь город в бреду.

Судья. Сука!

Жена судьи. Судья!

Темнота. Свет в конторе. Нада и Алькальд собираются уходить.

Нада. Все районные коменданты получили приказ обеспечить новому правительству победу на выборах.

Алькальд. Это не так просто. Ведь кто-то может проголосовать и «против».

Нада. Нет. Если следовать верным принципам, это исключено.

Алькальд. Что же это за принципы?

Нада. Мы исходим из того, что выборы свободные. Иначе говоря, голоса, отданные правительству, рассматриваются как свободное волеизъявление. Что же касается прочих, дабы исключить возможность скрытого принуждения, препятствующего подлинной свободе выборов, они, согласно предпочтительной системе, вычитаются из общего числа голосов и подсчитываются с помощью коэффициента, полученного в результате деления числа неподанных голосов на число бюллетеней, признанных недействительными. Вы поняли?

Алькальд. Понял... Да, кажется, понял.

Нада. Я восхищен вами, алькальд. В общем, поняли вы или нет, главное, запомните: суть этой безотказной системы состоит в том, что бюллетени, поданные против правительства, аннулируются.

Алькальд. Но вы же сказали, что выборы свободные?

Нада. Они и есть свободные. Просто мы исходим из того, что голосование «против» не является свободным. Оно продиктовано чувством и, следовательно, находится в плену страстей.

Алькальд. Такое мне в голову не приходило!

Нада. Все потому, что у вас до сих пор было неправильное представление о свободе.

Освещается центр сцены.

Диего и Виктория выбегают на авансцену.

Диего. Я хочу бежать отсюда, Виктория. Я уже не знаю, в чем состоит мой долг. Я ничего больше не понимаю.

Виктория. Не покидай меня! Долг в том, чтобы быть с теми, кого любишь. Не падай духом!

Диего. Гордость не позволяет мне тебя любить, не уважая самого себя.

Виктория. А кто тебе мешает себя уважать?

Диего. Ты, потому что ты по-прежнему безупречна.

Виктория. Ах, не говори так ради нашей любви, или я упаду перед тобой наземь, и ты увидишь все мое малодушие. Ты ошибаешься. Я вовсе не сильная. Я слабею, делаюсь совершенно беспомощной, стоит мне вспомнить о тех днях, когда я могла беззаветно тебе довериться. Где то время, когда я чувствовала, что тону, словно в океане, если при мне произносили твое имя? Где то время, когда чей-то голос кричал мне «Земля!», едва ты появлялся? Да, я беспомощна, я умираю от малодушного сожаления о прошлом. И если я еще держусь, то только потому, что сила любви толкает меня вперед. Но если тебя не будет со мной, мой бег прервется и я упаду.

Диего. Ах, если бы я мог соединиться с тобой хотя бы затем, чтобы наши сплетенные тела вместе погрузились на дно вечного сна.

Виктория. Я готова!

Диего медленно идет к Виктории, она идет ему навстречу.

Они не сводят друг с друга глаз. Они сходятся почти вплотную, но тут между ними словно из-под земли вырастает Секретарша.

Секретарша. Чем вы тут занимаетесь?
Виктория (*кричит*). Любовью, чем же еще!

Страшный грохот в небе.

Секретарша. Тсс! Есть слова, которые нельзя проносить вслух. Вам следовало бы знать, что это запрещено. Смотрите! (*Легонько ударяет Диего, и у него появляется второй знак чумы с другой стороны.*) Вы были подозрительным. Теперь вы зараженный. (*Смотрит на Диего.*) Жаль! Такой красавчик! (*Виктории.*) Извините, но я больше люблю мужчин, чем женщин, нас с ними многое связывает. Прощайте!

Диего в ужасе смотрит на новый знак чумы.
Обезумев, он бросается к Виктории и стискивает ее в объятия.

Диего. Ненавижу твою красоту, ненавижу, потому что она меня переживет! Будь она проклята за то, что послужит другим. (*С силой прижимает Викторию к себе.*) Вот так-то! Теперь я умру не один! Что мне в твоей любви, если она не сгинет вместе со мной!

Виктория (*отбиваясь*). Мне больно! Отпусти!

Диего. Ага! Испугалась! (*Хочет как безумный, трясет Викторию.*) Где же вороные кони любви? Ты влюблена, пока времена хорошие, но приходит несчастье, и кони уносятся прочь. Уми, по крайней мере, вместе со мной!

Виктория. Умереть с тобой — да! Но по своей воле! Мне противно это чужое лицо, искаженное ненавистью и страхом! Отпусти! Где твоя былая нежность? Дай мне вновь отыскать ее в тебе. Тогда сердце мое заговорит опять.

Диего (*сжимает ее уже не так крепко*). Я не хочу умирать один. Но та, что мне дороже всего на свете, отвернулась от меня и отказывается последовать за мной!

Виктория (*бросается к нему на грудь*). Ах, Диего, да хоть в преисподнюю, если нужно! Я вновь обретаю тебя... У меня ноги дрожат, когда я прижимаюсь к тебе. Поцелуй меня, заглуши поцелуем крик, который поднимается во мне и уже готов вырваться... О-о!

Диего страстно целует ее, потом отшатывается и оставляет ее одну, дрожащую, посреди сцены.

Диего. Посмотри на меня! Нет, на тебе нет никаких отметин! Никаких знаков чумы! Тебе не придется расплавляться за это безрассудство!

Виктория. Вернись, теперь я дрожу от холода! Секунду назад твоя грудь обжигала мне руки, кровь в жилах была горяча, как огонь! А сейчас...

Диего. Нет, оставь меня! Я все равно не смогу утешиться.

Виктория. Вернись! Мне ничего другого не надо, только сгореть в одном жару с тобой, страдать от общей боли и кричать с тобой одним криком!

Диего. Нет! Отныне я с другими, с теми, кто несет на себе знаки чумы! Их страдание ужасает меня, вызывает во мне отвращение, до сих пор гнавшие меня от них прочь. Но теперь у нас с ними общая беда, и они нуждаются во мне.

Виктория. Если тебе суждено умереть, то я завидую даже земле, которая обнимет твое тело!

Диего. Ты по другую сторону, ты с теми, кто остается жить!

Виктория. Но я могу быть и с тобой, если ты станешь долго целовать меня!

Диего. Они запретили любовь! Ах, всей душой я сожалею о том, что потерял тебя!

Виктория. Нет! Нет! Я поняла, чего они хотят. Они всеми средствами добиваются того, чтобы сделать любовь невозможной. Но я буду сильнее их!

Диего. А я нет! И не поражение мечтал я разделить с тобой.

Виктория. Мной владеет только любовь! Я ничего не хочу знать, кроме нее! Мне ничего не страшно. Пусть хоть небо рухнет — я погибну, крича о своем счастье, если только буду держать тебя за руку.

Слышится крик.

Диего. Другие тоже кричат!

Виктория. Я глуха ко всему на свете!

Диего. Оглянись!

Мимо проезжает повозка с мертвецами.

Виктория. Глаза мои больше ничего не видят! Их ослепляет любовь.

Диего. Но страдание разлито в самом небе, которое гнетет нас.

Виктория. Я слишком занята — я несу свою любовь! И не стану обременять себя страданием мира! Это мужское дело, одно из ваших мужских дел, пустых, бесплодных, тщетных, вы затеваете их, чтобы отвлечься от той единственной борьбы, которая действительно трудна, от единственной победы, которой можно гордиться.

Диего. Что же я должен победить в этом мире, кроме учиненной над нами несправедливости?

Виктория. Ту беду, которая у тебя внутри! Остальное получится само собой.

Диего. Я одинок. Эта беда слишком велика для меня.

Виктория. Я рядом, и у меня есть оружие!

Диего. Как ты прекрасна, и как бы я тебя любил, если бы только не боялся!

Виктория. Как бы ты был смел, если бы хотел меня любить!

Диего. Я тебя люблю. Но я не знаю, кто из нас прав.

Виктория. Тот, кто не боится. А мое сердце не трусливо! Оно все горит одним пламенем, ярким и высоким, как те костры, которыми подают друг другу сигнал приветя наши горцы. Оно зовет тебя... Взгляни же, это настоящий костер, как в праздник святого Иоанна!

Диего. Праздник посреди боен!

Виктория. Бойни или цветущие луга — какая разница для моей любви? Она, по крайней мере, никому не приносит зла, она щедра! А твоё безумие, твоё бесплодное самопожертвование — кому они принесут благо? Уж наверняка не мне, ведь ты убиваешь меня каждым своим словом!

Диего. Не плачь, мятежница! О, отчаяние! За что обрушилась на нас эта беда! Я бы выпил эти слезы, остудил губы, обожженные их горечью, я бы обрушил на это лицо столько поцелуев, сколько листьев на оливковом дереве!

Виктория. О, наконец-то я тебя узнаю! Это наш с тобой язык, ты его совсем забыл. *(Протягивает к нему руки.)* Дай мне снова почувствовать в тебе прежнего Диего...

Диего отступает, указывая на знаки чумы. Она хочет дотронуться до них, но рука ее нерешительно застывает.

Ди е го. Ты тоже боишься...

Виктория прикладывает ладонь к знакам. Ди е го пятится, потрясенный. Она вновь протягивает к нему руки.

Виктория. Иди скорее ко мне! Ничего больше не бойся!

Стоны и проклятия звучат еще громче. Ди е го озирается словно безумный и убегает.

Виктория. О! Одиночество!

Хор женщин. Мы хранительницы! Эта история выше нашего понимания, и мы ждем, когда она кончится. Мы будем хранить нашу тайну до зимы, до часа свободы, когда крики мужчин смолкнут и наши мужчины вернуться к нам, чтобы обрести то, без чего не могут обойтись: память о свободных морях, о пустынном летнем небе и вечном запахе любви. А пока мы подобны опавшим листьям под сентябрьским ливнем: минуту они кружат в воздухе, потом капли прибывают их к земле. Мы тоже прибиты к земле. Поникнув, мы ждем, когда стихнут боевые кличи, и слушаем, как внутри нас тихо вздыхает неторопливый прибой счастливых морей. Когда облетевшие миндальные деревья покроются цветами инея, мы слегка распрявимся, почувствовав первый ветер надежды, и вскоре воспрянем в этой второй весне. Тогда те, кого мы любим, двинутся к нам, как прилив к застрявшим в прибрежном песке лодкам. Остро пахнущие морем, скользкие от воды и соли, лодки встречают приближение первых волн, которые, покачивая, приподнимают их и постепенно выносят на широкий морской простор. Ах, пусть поднимется ветер...

Темнота.

Освещается набережная. Входит Ди е го и окликает кого-то, глядя в сторону моря.

Ди е го. Э-ге-ге!
Голос. Э-ге-ге!

Появляется Лодочник; над гранитом набережной видна только его голова.

Диего. Что ты перевозишь?

Лодочник. Провизию.

Диего. Ты снабжаешь город?

Лодочник. Нет. Город снабжает администрация. Карточками, разумеется. А я снабжаю молоком и хлебом. Там, в открытом море, стоят на якоре корабли. На них укрылись от чумы люди. Я вожу в город их письма и доставляю на корабли провизию.

Диего. Но это же запрещено!

Лодочник. Да, запрещено администрацией. Но я не умею читать, а когда глашатаи объявляли о новом законе, я был в море.

Диего. Возьми меня с собой.

Лодочник. Куда?

Диего. В море. На корабль.

Лодочник. Это запрещено!

Диего. Но ты же не читал закона и не слышал, когда его оглашали на улицах.

Лодочник. Это запрещено не администрацией, а теми, кто укрылся на кораблях. Вы ненадежный.

Диего. Что значит ненадежный?

Лодочник. Вы можете принести их с собой.

Диего. Кого принести?

Лодочник. Тише! *(Оглядывается по сторонам.)* Микробов, конечно.

Диего. Я заплачу сколько надо.

Лодочник. Не уговаривайте меня. Я слабохарактерный.

Диего. Любые деньги!

Лодочник. А вы отвечаете за последствия?

Диего. Разумеется!

Лодочник. Садитесь. На море спокойно.

Диего собирается прыгнуть в лодку.
За его спиной появляется Секретарша.

Секретарша. Никуда вы не поплывете!

Диего. Что?

Секретарша. Это не положено. К тому же, я вас знаю, вы не сбежите.

Диего. Никто меня не остановит!

Секретарша. Мне стоит только захотеть! А я хочу, потому что вы мой должник. Вы же знаете, кто я такая!

Она отступает на несколько шагов назад, как бы маня его за собой.
Он следует за ней.

Диего. Умереть — пустяк. Но умереть запятнанным...

Секретарша. Понимаю вас. Я ведь только исполнительница. Однако мне даны на вас права. Право вето, если угодно. *(Листает блокнот).*

Диего. Такие, как я, принадлежат только земле!

Секретарша. Именно это я имела в виду. Вы в некотором смысле принадлежите мне! Но только в некотором смысле. Быть может, не в том, в каком мне хочется... когда я на вас смотрю. *(Просто.)* Вы мне очень нравитесь, знаете. Но у меня есть указания. *(Поигрывает блокнотом.)*

Диего. По мне, лучше ваша ненависть, чем ваши улыбки. Я презираю вас.

Секретарша. Как угодно. К тому же, этот наш разговор не очень-то укладывается в уставные рамки. От усталости я становлюсь сентиментальной. Вся эта канцелярщина довела меня до того, что вечерами я начинаю распускаться. *(Вертит в руке блокнот. Диего делает попытку выхватить его.)*

Секретарша. Нет, право, милый, не надо. Да и что там читать? Блокнот как блокнот, этим все сказано, наполовину дневник, наполовину регистрационный журнал. *(Смеется.)* Заметки для памяти, вот и все! *(Протягивает к нему руку, словно хочет погладить. Диего бросается к лодке.)*

Диего. Ах! Он уплыл!

Секретарша. Надо же, и в самом деле уплыл! Еще один простак, который мнит себя свободным, не подозревая, что и он тоже значится в списках.

Диего. Каждое ваше слово двусмысленно. Вы отлично знаете, что именно этого человек и не может выдержать. Давайте кончать поскорее!

Секретарша. Но тут нет ничего двусмысленного. Я говорю правду. Для каждого города существует свой реестр. Это реестр Кадиса. Уверяю вас, что все организовано как нельзя лучше и никто в этих списках не пропущен.

Диего. Никто не пропущен, но все от вас ускользают.

Секретарша *(возмущенно)*. Ничего подобного! *(Задумчиво.)* Впрочем, исключения бывают. Изредка кто-то оказывается забыт. Но в конце концов они всегда чем-нибудь да выдают себя! Стоит им перевалить за сто лет, как они начинают хвалиться этим, глупцы. О них тут же начинают кричать газеты. Это лишь вопрос времени. Когда я по утрам за завтраком просматриваю прессу, то беру их имена на заметку, сверяю с картотекой. Мы называем это «заморить червячка». И конечно, в итоге мы их не упускаем.

Диего. Но на протяжении ста лет вас не признают, как не признает весь наш город!

Секретарша. Сто лет — ничто. Вам кажется, будто это много, потому что вы смотрите со слишком близкого расстояния. А я вижу все в совокупности, понимаете? Что значит, скажите на милость, в картотеке на триста семьдесят две тысячи имен один человек, даже если он прожил сто лет! К тому же, мы наверстываем упущенное за счет тех, кому нет двадцати. Так что в среднем ничего не меняется. Вычеркнем чуть раньше намеченного срока, и все! Вот так... *(Вычеркивает строчку в своем блокноте. Со стороны моря слышится крик и громкий всплеск.)* О, я сделала это машинально! Надо же, оказалось, лодочник! Чистейшая случайность!

Диего встает и смотрит на нее с отвращением и ужасом.

Диего. Меня от вас тошнит, вы отвратительны!

Секретарша. У меня неблагоприятное ремесло, я знаю. Очень утомительное, требует усердия. Поначалу, например, я чувствовала себя неуверенно. Теперь рука у меня твердая. *(Подходит к Диего.)*

Диего. Не подходите ко мне!

Секретарша. Скоро ошибки вообще будут исключены. Есть у нас один секрет. Новое усовершенствованное устройство. Вы увидите.

Шаг за шагом она постепенно подходит к нему почти вплотную.

Внезапно Диего хватается ее за воротник, дрожа от ярости.

Диего. Хватит! Прекратите эту грязную комедию! Чего вы ждете? Делайте свое дело и не потешайтесь надо мной, все равно я выше вас. Убейте же меня наконец, это единственный способ спасти вашу замечательную систему, где нет места случайностям. Ах, да! Вас ведь занимают только совокупности! Сто тысяч человек — вот что для вас интересно. Это ведь уже статистика, а статистика нема. Из ее данных можно выстраивать графики, чертить кривые, а? Вы занимаетесь целыми поколениями, это проще! Работа тихая, чернильная. Но, предупреждаю вас, отдельный человек — это куда беспокойнее, он кричит о своей радости и о своей предсмертной муке. Пока я жив, я буду нарушать ваш прекрасный порядок случайностью криков. Я вас отвергаю, отвергая всем своим существом!

Секретарша. Милый мой!

Диего. Замолчите! Я из породы людей, которые чтят смерть так же, как и жизнь. Но вот пришли ваши хозяйки, и с этой минуты жизнь и смерть превратились в одинаковое бесчестье...

Секретарша. По правде говоря...

Диего (*трясет ее*). По правде говоря, вы врете и будете врать до скончания времен! Да! Я раскусил наконец вашу систему. Вы заставляете людей страдать от голода и разлуки с любимыми, чтобы отвлечь их от бунта. Вы доводите их до изнеможения, пожираете их время и силы, чтобы у них не осталось ни досуга, ни энергии для ярости! Они топчутся на месте, радуйтесь! Они одиноки, как одинок я сам, хотя они — масса. Каждый из нас одинок из-за трусости остальных. Но я, такой же раб, как и они, терпящий те же унижения, объявляю вам, что вы — ничто и вся ваша власть, которая вроде бы не имеет границ и чуть ли не застит нам небо, — это всего лишь упавшая на землю тень, и ветер ярости скоро ее развеет. Вы думаете, будто можно все уложить в цифры и анкеты! Но вы забыли включить в свой прекрасный реестр дикую розу, таинственные знаки в небе, лики лета, громкий голос моря, минуты страдания и гнева людей! (*Она смеется.*) Не смейся! Не смейся, идиотка. Вам пришел конец, говорю вам. В ваших самых эффективных победах уже заложено поражение, потому что в человеке — посмотрите на меня! — есть сила, которую вам не обуздать, трезвое бешенство, заме-

шенное на страхе и отваге, стихийное и победоносное. Эта сила скоро поднимется, и вы узнаете тогда, что ваше господство — просто дым. (*Секретарша смеется.*) Довольно смеяться!

Секретарша продолжает смеяться. Диего дает ей пощечину.

Все мужчины из хора сразу же вытаскивают изо рта кляпы и испускают долгий крик ликования. Замахиваясь, Диего стер рукавом знаки чумы. Он прикасается к тому месту, где они были, и смотрит на свои пальцы.

Секретарша. Великолепно!

Диего. Что это значит?

Секретарша. Вы великолепны в гневе! И нравитесь мне еще больше.

Диего. Что произошло?

Секретарша. Вы же сами видите! Знаки исчезли. Продолжайте в том же духе, вы на верном пути.

Диего. Я выздоровел?

Секретарша. Открою вам маленький секрет... Система у них действительно замечательная, вы правы, но в этом механизме есть один изъян.

Диего. Не понимаю.

Секретарша. В механизме есть изъян, милый. Всегда, насколько я помню, достаточно было человеку преодолеть в себе страх и взбунтоваться, чтобы машина закрипела. Я не хочу сказать, что она останавливается совсем, нет-нет. Но она скрипит, а иногда может даже и вправду испортиться.

Пауза.

Диего. Почему вы мне это рассказываете?

Секретарша. Знаете, у каждого есть свои слабости, даже при таком ремесле, как мое. И потом, вы ведь сами догадались.

Диего. Вы пощадили бы меня, если бы я вас не ударил?

Секретарша. Нет. Я пришла, чтобы вас прикончить, согласно уставу.

Диего. Значит, я все-таки сильнее!

Секретарша. Вы еще боитесь?

Диего. Нет.

Секретарша. Тогда я бессильна против вас. Это тоже записано в нашем уставе. Но могу твердо сказать, что это первый случай, когда я подчиняюсь уставу с удовольствием.

Секретарша тихо уходит. Диего ощупывает место, где были знаки, снова смотрит на руку. Потом резко оборачивается, услышав стоны. Он молча направляется к больному с кляпом во рту. Немая сцена.

Диего протягивает руку к кляпу и вынимает его.

Больной оказывается знакомым нам рыбаком.

Они в безмолвии смотрят друг на друга.

Рыбак (*с трудом выговаривая слова*). Здравствуй, брат. Я так давно не разговаривал.

Диего улыбается ему.

Рыбак (*глядя на небо*). Что это?

Небо очистилось. Поднялся легкий ветерок, распахнул какую-то дверь, где-то заколыхались занавески. Вокруг Диего и рыбака столпился люди без кляпов, глядя на небо.

Диего. Ветер с моря...

Занавес

Часть третья

Жители Кадиса работают на площади. С небольшого возвышения Диего руководит их действиями. Сцена ярко освещена. Постройки Чумы теперь достроены и выглядят менее устрашающими.

Диего. Сотрите черные звезды! (*Кто-то стирает звезды.*) Откройте окна! (*Окна распахиваются.*) Воздуху! Созовите сюда больных! (*Люди собираются на площади.*) Не бойтесь, вот главное условие. Встаньте все, кто может стоять! Будьте решительнее! Подымите головы, настал час гордости! Выбросьте ваши кляпы и кричите вместе со мной, что вы больше не боитесь. (*Воздевает руки.*) О, священный бунт, живительное негодование, честь народа, дайте этим безгласным силу кричать!

Хор. Брат, мы жалкие бедняки, питаемся оливками и хлебом, мул для нас — это целое состояние, мы пьем вино дважды в год, в день рождения и в день свадьбы, и вот мы, нищие, слушая тебя, начинаем надеяться! Но застарелый страх еще не выветрился из наших сердец. Оливки и хлеб придают жизни вкус! И мы боимся потерять вместе с жизнью даже то малое, что имеем!

Диего. Вы потеряете и оливки, и хлеб, и жизнь, если допустите, чтобы все осталось по-прежнему! Вы должны победить страх, если хотите сохранить для себя хотя бы хлеб. Проснись, Испания!

Хор. Мы нищие и неученые. Но мы слышали, что чума тоже следует дорогами года. У нее бывает своя весна, когда она вызревает и прорастает, лето, когда она плодоносит. Потом придет зима, и чума, быть может, умрет. Но пришла ли зима, брат, уверен ли ты, что это зима? Верно ли, что ветер дует с моря? Мы вечно расплачивались за все нищетой. Неужели теперь мы должны платить кровью?

Хор женщин. Опять мужские затеи! Мы рядом, чтобы напомнить о минуте забвения, красной гвоздике жизни, черной шерсти овец, о духе Испании, наконец! Мы слабы, вы больше и сильнее, нам с вами не справиться. Но что бы вы ни делали, не забывайте в затеянной вами схватке теней о цветах нашей плоти!

Диего. Чума превращает нас в тени, это чума разлучает любовников и иссушает цветок жизни! С ней и надо бороться.

Хор. Разве это зима? В наших лесах дубы по-прежнему покрыты блестящими желудями, а по их стволам текут ручьи ос! Нет, зима еще не настала!

Диего. Пусть настанет для вас зима гнева!

Хор. Но найдем ли мы надежду в конце пути? Или нам придется умереть в безнадежности?

Диего. Забудьте об этом! Кляп во рту — вот что такое безнадежность. Гром надежды разрывает сейчас тишину нашего осажденного города. Молнии счастья засверкали над ним. Вставайте, говорю вам! Если вы хотите сохранить хлеб и надежду, порвите ваши справки, разбейте окна контор, покиньте очереди запуганных просителей, кричите на весь свет, что вы свободны!

Хор. Беднее нас нет никого. Надежда — наше единственное богатство. Разве можем мы от нее отказаться? Долой кляпы, брат! (*Всеобщий крик освобождения.*) Ах, словно первый дождь хлынул на потрескавшуюся от зноя землю! Вот и осень! Дует свежий морской ветер. Надежда вздымает нас, как волна.

Диего уходит в глубь сцены.

На возвышении, где стоял Диего, с противоположной стороны поднимается Чума. За Чумой следуют Секретарша и Нада.

Секретарша. Это что еще такое? Поболтать вздумали? Ну-ка извольте все вставить кляпы!

Кое-кто повинуется. Но большинство мужчин переходят на сторону Диего и спокойно продолжают работать.

Чума. Народ, кажется, зашевелился.

Секретарша. Да, обычная история.

Чума. Что ж! Надо ужесточить меры!

Секретарша. Давайте ужесточим! (*Открывает блокнот и нехотя листает его.*)

Нада. Давайте, давайте! Мы на правильном пути! Соответствие или несоответствие уставу — вот вся мораль и вся философия! Но, по-моему, ваша честь, мы недостаточно решительны в своих действиях.

Чума. Ты слишком много говоришь!

Нада. Просто я энтузиаст. И я многому научился, работая с вами. Упразднение — вот мое Евангелие. Но прежде у меня не было достойного повода. Теперь у меня повод самый что ни на есть уставной.

Чума. Устав упраздняет не все. Берегись, ты уклоняешься от правильной линии!

Нада. Уставы, заметьте, всегда были основой основ. Оставалось придумать лишь некий обобщенный устав, так сказать итоговый, где на человеческую природу наложен запрет, жизнь заменена схемой, вселенная уволена в запас, небо и земля наконец-то обесценены...

Чума. Займись своим делом, пропойца! И вы тоже, начинайте!

Секретарша. С чего же начинать?

Чума. Со случайности. Это потрясает сильнее всего!

Секретарша вычеркивает две фамилии. Раздаются два глухих удара. Двое падают. Толпа отхлынула. Работавшие в потрясении застывают. Стражники бросаются вперед, снова ставят на домах знаки чумы, закрывают окна, сваливают в кучу трупы и т.д.

Диего (*в глубине сцены, спокойно*). Да здравствует смерть! Мы больше ее не боимся!

Народ возвращается. Мужчины снова принимаются за работу. Стражники отступают. Вся пантомима разыгрывается в обратном порядке. Когда народ наступает, дует ветер, когда стражники возвращаются, ветер стихает.

Чума. Вычеркните его!

Секретарша. Невозможно!

Чума. Почему невозможно?

Секретарша. Он перестал бояться!

Чума. Ах вот как? А он знает?

Секретарша. Догадывается. (*Вычеркивает какие-то имена.*)

Глухой стук падающих тел. Толпа отшатывается.
Сцена отступления повторяется.

Нада. Великолепно! Они мрут как мухи! Ах, если бы можно было взорвать всю землю!

Диего (*спокойно*). Окажите помощь упавшим.

Толпа возвращается. Пантомима наступления.

Чума. Он много себе позволяет!

Секретарша. Да, много.

Чума. Почему вы говорите это так мечтательно? Уж не вы ли его просветили?

Секретарша. Нет. Сам, вероятно, понял. Вообще у него есть дар!

Чума. У него — дар, а у меня — возможности. Что ж, попробуем по-другому. Предоставляю действовать вам. (*Уходит.*)

Хор (*отшвырнув кляпы*). О! (*Вздых облегчения.*) Это первый просвет, гаррота чуть-чуть ослабла, небо очища-

ется, становится легче дышать. Вот уже снова слышно журчание источников, иссушенных черным солнцем чумы. Лето уходит. Больше не будет у нас винограда, дынь, зеленых бобов, свежего салата. Зато вода надежды смягчит затвердевшую почву. Она сулит нам приход спасительной зимы, жареные каштаны, первый маис с еще зелеными зернами, орехи с мыльным привкусом, молоко у огня...

Женщины. Мы неученые. Но мы знаем, что цена этих богатств не должна быть слишком высокой. В любом краю, при любых хозяевах всегда найдутся для нас свежие плоды, простое вино, сухая лоза, чтобы развести огонь в очаге и подле него переждать, пока все кончится...

Из дома судьи выпрыгивает через окно его младшая дочь.
Она бежит к женщинам и смешивается с их хором.

Секретарша (*спускаясь с возвышения к толпе*). Можно подумать, будто тут революция, честное слово! Но сами-то вы отлично знаете, что это не так! И потом, разве революции в наши дни совершает народ? Это ужасно старомодно. Для революции давно уже не нужны восставшие массы. Теперь все делает полиция, даже свергает правительства. По-моему, так куда удобнее, разве нет? Народ может не утруждаться, несколько умных голов думают за него и решают, какая доза счастья будет для него благоприятна.

Рыбак. Я сейчас кишки выпущу этой подлой щуке!

Секретарша. Ну, полно, друзья мои, давайте-ка покончим со всем этим. Менять установившийся порядок всегда чересчур накладно. Но если уж этот порядок кажется вам невыносимым, вероятно, можно будет договориться о некоторых послаблениях.

Женщина. О каких послаблениях?

Секретарша. Откуда мне знать? Но вы-то, женщины, ведь не можете не понимать, что любой переворот обходится слишком дорого и худой мир порой куда лучше доброй ссоры.

Женщины подходят к ней ближе. Несколько мужчин отделяются от группы Диего.

Диего. Не слушайте ее! Это все у них заранее придумано!

Секретарша. Что придумано? Я призываю людей мыслить трезво, вот и все.

Мужчина. О каких послаблениях вы говорили?

Секретарша. Это надо, разумеется, еще обдумать. Мы могли бы к примеру, создать вместе с вами комитет, который будет решать большинством голосов, кого следует вычеркивать. Блокнот, в котором производятся вычеркивания, перейдет в полную собственность этого комитета. Я, конечно, говорю это только для примера.

Секретарша держит блокнот в вытянутой руке и помахивает им.

Один из мужчин его выхватывает.

Секретарша *(с притворным негодованием)*. Отдайте блокнот! Вы же знаете, какая это ценность! Стоит только вычеркнуть в нем чье-нибудь имя, и один из ваших соотечественников умрет на месте.

Мужчины и женщины обступают того, кто завладел блокнотом.

Всеобщее оживление.

— Все! Блокнот наш!

— Довольно смертей!

— Мы спасены!

Внезапно появляется Дочь судьи, вырывает блокнот и убегает с ним в укромное место. Там она быстро листает его и что-то вычеркивает. В доме судьи раздается крик и стук упавшего тела.

Мужчины и женщины набрасываются на похитительницу.

Голос. У, проклятая! Тебя самое надо уничтожить!

Чья-то рука выхватывает у нее блокнот. Все вместе листают его, находят ее имя и вычеркивают. Дочь судьи падает, не издав ни единого крика.

Нада *(вопит)*. Вперед! Вперед, сплоченные уничтожением! Превратим уничтожение в самоуничтожение! Наконец-то все мы объединились! Угнетенные и угнетатели взялись за руки! Алле! Бык! Начинаем вселенскую чистку! *(Уходит.)*

Мужчина *(огромного роста, с блокнотом в руке)*. Он прав, кое-какую чистку стоит произвести! Очень уж удоб-

ный случай вычеркивать некоторых гадов, которые как сыр в масле катались, пока мы подыхали с голоду!

Возвращается Чума и, видя происходящее, раздражается громким хохотом. Секретарша скромно встает на свое место рядом с ним.

Люди на возвышении застывают и молча смотрят, как стража рассыпается по площади и восстанавливает всю обстановку и знаки чумы.

Чума (*обращаясь к Диего*). Ну вот! Они сами делают нашу работу! Ты по-прежнему считаешь, что стоит ради них так стараться?

Диего и Рыбак влезают на возвышение и бросаются на человека с блокнотом. Они бьют его и опрокидывают на землю.

Диего хватается за блокнот, рвет его.

Секретарша. Бессмысленно! У меня есть дубликат.

Диего подталкивает людей в другую сторону.

Диего. Скорей за дело! Вас обманули.

Чума. Когда они боятся, то боятся за себя. А ненавидят почему-то всегда других.

Диего (*встает прямо напротив Чумы*). Ни страха, ни ненависти больше нет — это и есть наша победа.

Стражники медленного отступают под натиском сторонников Диего.

Чума. Молчать! Я тот, кто превращает вино в уксус и иссушает на деревьях плоды. Я убиваю лозу, если на ней наливаются виноград, и покрываю ее зеленью, если она предназначена для разведения огня в очаге. Мне ненавистны простые человеческие радости. Мне ненавистна эта страна, где люди воображают себя свободными, не будучи богатыми. В моих руках тюрьмы, палачи, сила и кровь! Я смету этот город с лица земли, и на его обломках история будет агонизировать в прекрасном безмолвии идеального общества. Молчать, или я уничтожу все!

Пантомима борьбы среди ужасного грохота, скрежета гарроты, воя сирены, стука падающих тел и потока раскатистых лозунгов.

По мере того как сторонники Диего начинают побеждать, грохот стихает и звучание хора, хотя и невнятное, заглушает шумы, производимые Чумой.

Чума (в ярости). Что ж, у меня остаются заложники!

Делает знак страже. Стражники покидают сцену; сторонники Диего наводят порядок в своих рядах.

Нада (сверху, из дворца). Что-то да остается в любом случае. То, что не имеет продолжения, продолжается. И мои конторы тоже продолжают работать. Если даже рухнет город, расколется небесный свод и люди исчезнут с лица земли, конторы все равно будут открываться в положенное время, чтобы управлять небытием. Вечность — это я, в моем раю есть свои архивы и пресс-папье. (Уходит.)

Хор. Они бегут! Лето кончилось победой. Значит, бывает, что человек одерживает верх! И тогда победа облекается в плоть наших женщин под ливнем любви. Вот она, счастливая плоть, теплая и блестящая сентябрьская гроздь, где жужжит шершень. На лоно сыплется урожай винограда. Виноград пламенеет на кончиках хмельных грудей. О любовь моя, желание наливается, как спелый плод, и гордая сила тел наконец прорывается. Отовсюду таинственные руки протягивают цветы, и желтое вино течет неиссякаемыми фонтанами. Это празднество победы, пойдете же к нашим женщинам!

В тишине выносят носилки, на которых лежит Виктория.

Диего (бросается к ней). О! за это хочется убивать — или умереть самому. (Подбегает к носилкам, где лежит неподвижное тело.) О! Великолепная, победоносная, дикая, как сама любовь, обрати ко мне свое лицо! Вернись, Виктория! Не дай увлечь себя на ту сторону мира, где я не смогу быть рядом с тобой! Не покидай меня, под землей так холодно! Любовь моя, любовь моя! Держись, держись изо всех сил за этот краешек земли, где мы еще вместе. Не тони! Если ты умрешь, для меня всю жизнь будет темно в полдень!

Хор женщин. Наконец настало время правды! До сих пор все было несерьезно. Но теперь перед ним страдающее тело в судорогах боли. Сколько восклицаний, какие красивые слова: «Да здравствует смерть!» И вот она пронзает грудь той, кого любишь! Тут-то и возвращается любовь, когда уже слишком поздно.

Виктория стонет.

Диего. Не поздно, нет, она встает! Ты снова будешь стоять передо мной, прямая, как факел, с черным пламенем волос и искрящимся любовью лицом — его сияние я нес в себе во тьме схватки. Да, ты была все это время во мне, моего сердца хватало и на борьбу, и на любовь.

Виктория. Ты забудешь меня, Диего, я знаю. Твоего сердца не хватит на разлуку. Его ведь не хватило на то, чтобы справиться с бедой. Ах, это ужасно — умирать, зная, что тебя ждет забвение. *(Отворачивается.)*

Диего. Я не смогу тебя забыть! Моя память будет жить дольше, чем я сам.

Хор женщин. О страдающее тело, когда-то столь желанное, царственная красота, отблеск солнца! Мужчина просит о невозможном, женщина принимает на свои плечи все возможное страдание. Склонись, Диего! Кричи о своем горе, вини себя, настал миг раскаяния! Дезертир! Это тело было твоим отечеством, без которого ты теперь ничто! Память ничего не искупит!

Чума тихо приближается к Диего.
Их разделяет только тело Виктории.

Чума. Итак, мы отступаем?

Диего в отчаянии смотрит на Викторию.

Чума. Ты потерял свою силу! У тебя блуждающий взгляд. Зато у меня неподвижный взгляд властелина!

Диего *(после паузы)*. Оставь ей жизнь и убей меня!

Чума. Что?

Диего. Я предлагаю тебе сделку.

Чума. Какую сделку!

Диего. Я хочу умереть вместо нее.

Чума. Такие мысли могут прийти в голову только тому, кто устал. Брось, умирать совсем не так приятно, а для нее самое тяжелое уже позади. Давай поставим на этом точку.

Диего. Такие мысли приходят в голову тому, кто сильнее!

Чума. Да посмотри же на меня! Сила — это я!

Диего. Сними форму!

Чума. Ты спятил!

Диего. Разденысь! Когда представители силы снимают мундир, они оказываются в жалком виде!

Чума. Возможно. Но их сила в том и состоит, что они изобрели форму!

Диего. А моя сила в том, чтобы ее не признавать. Я настаиваю на своем предложении.

Чума. Ты хоть сначала подумай! Жизнь — недурная штука.

Диего. Моя жизнь — ничто. Важно, зачем жить. Я же не собака.

Чума. Первая сигарета — это, по-твоему, ничто? Запах пыли в полдень на насыпи, вечерний дождь, женщина, которой ты еще не знаешь, второй стакан вина — все это для тебя ничто?

Диего. Нет, но она сумеет прожить лучше, чем я!

Чума. Ничего подобного, если, конечно, ты бросишь заниматься чужими делами.

Диего. Я вступил на путь, где остановиться уже нельзя, даже если захочешь. Я тебя не пощажу!

Чума (*меняет тон*). Послушай! Если ты отдаешь мне свою жизнь в обмен на жизнь этой женщины, я вынужден согласиться, и она будет жить. Но я предлагаю тебе другой обмен. Я оставляю ее в живых и даю вам обоим возможность бежать, лишь бы вы не мешали мне навести порядок в этом городе.

Диего. Нет! Я знаю, в чем моя сила.

Чума. В таком случае буду с тобой откровенен. В моей власти должны быть все, иначе я не удержу никого. Если ты ускользнешь от меня, я потеряю весь город. Таков закон. Старый закон, сам не знаю, откуда он взялся.

Диего. Зато я знаю! Он существует испокон веков, он выше, чем ты сам, выше, чем твои виселицы. Это закон природы. Мы победили!

Чума. Нет еще! В моих руках ее жизнь, она моя заложница. Заложники — мой последний козырь. Посмотри на нее! Если есть в мире женское лицо, похожее на саму жизнь, то это ее лицо. Она достойна жизни, и ты хочешь, чтобы она жила. Я вынужден отдать ее тебе. Но только в обмен на твою собственную жизнь или на свободу этого города. Выбирай.

Диего смотрит на Викторину. В глубине сцены — невнятный ропот людей с кляпами во рту. Диего поворачивается к Хору.

Диего. Тяжело умирать!

Чума. Тяжело.

Диего. Но умирать тяжело не только мне.

Чума. Идиот! Десять лет любви такой женщины стоят дороже, чем век свободы всех этих людишек.

Диего. Любовь Виктории лежит в царстве моей собственной жизни. Здесь правлю я сам. А свобода этих людей принадлежит им. Я не могу ею распоряжаться.

Чума. Нельзя добиться счастья, не причиняя зла другим. Такова земная справедливость.

Диего. Я не так устроен, чтобы согласиться на эту справедливость.

Чума. Да кто спрашивает твоего согласия?! Устройство мира не изменится по твоему хотению! Если ты задумал его изменить, брось свои мечты и исходи из того, что есть в действительности.

Диего. Нет. Знаю я эти рецепты! Убивать, чтобы покончить с убийством, прибегать к насилию, чтобы установить справедливость! Это тянется столетиями! Столетиями владыки вроде тебя растрavляют язвы нашего мира под тем предлогом, будто исцеляют их, и продолжают как ни в чем не бывало расхваливать свой метод, потому что никто не смеется им в лицо!

Чума. Никто не смеется, потому что я добиваюсь реальных результатов. Я действую эффективно.

Диего. Эффективно! Еще бы! И надежно! Как топор.

Чума. Да ты посмотри на людей! Сразу видно, что для них хороша любая справедливость.

Диего. С тех пор как захлопнулись городские ворота, я только и делаю, что на них смотрю.

Чума. Тогда тебе должно быть ясно, что они в любой момент готовы бросить тебя одного. А в одиночку человек погибает.

Диего. Неправда! Ели бы я был один, все было бы просто. Но они волей-неволей со мной.

Чума. Вот уж, право, прекрасное стадо, только уж очень вонючее!

Диего. Да, они не чисты, я знаю. Но и сам я не чист. К тому же я родился среди них. Я живу для своих сограждан, для своего времени.

Чума. Время рабов!

Диего. Время свободных людей!

Чума. Неужели? Что-то они мне не попадают, сколько я ни ищу. Где же они?

Диего. У тебя на каторге, на твоих бойнях. А на тронах восседают рабы.

Чума. Одень твоих свободных людей в форму моей полиции, и ты увидишь, во что они превратятся.

Диего. Да, они бывают порой и ничтожными, и жестокими. Поэтому у них прав на власть не больше, чем у тебя. Нет на свете человека настолько безупречного, чтобы доверить ему абсолютную власть. Но эти люди имеют право на сострадание, в котором тебе будет отказано.

Чума. Быть ничтожным — значит быть как они, жалким и суетливым, жить, не умея подняться выше среднего уровня.

Диего. Вот такие, средние, они мне и близки. Если я не буду верен скромной правде, общей и для меня, и для них, то как же смогу я быть верен тому, что есть во мне самого высокого и неповторимого?

Чума. Единственное, чему стоит быть верным, так это своему презрению. (*Указывает на поникший хор, без сил сидящий на земле.*) Взгляни, их есть за что презирать!

Диего. Я презираю только палачей. Что бы ты ни сделал, эти люди всегда будут выше тебя. Если им и случится кого-нибудь убить, то лишь в минуту безумия. Ты же убиваешь, следуя правилам и логике. Не насмехайся над их поникшей головой — ведь из века в век над ними проносились кометы страха. Не насмехайся над их боязливым видом, потому что из века в век они гибли и их любовь разбивалась. Самое страшное их преступление всегда можно оправдать. Но нельзя оправдать преступления, которые во все времена совершались против них и которые ты в конце концов узаконил, возведя их в систему. (*Чума приближается к нему.*) Я не опушу глаза!

Чума. Не опустишь, я вижу. Что ж, тогда могу сказать тебе, что ты выдержал и последнее испытание. Если бы ты согласился уступить мне город, то погубил бы и эту женщину. и сам пропал бы вместе с ней. А так у твоего города есть все шансы получить свободу. Видишь, достаточно одного безумца вроде тебя... Безумец, конечно, погибает. Однако благодаря ему рано или поздно все остальные бывают спасены! (*Мрачно.*) Но остальные не заслуживают спасения.

Диего. Безумец погибает...

Чума. А? Уже передумал? Хотя нет, все идет как положено: классическая секунда колебания! Гордыня возьмет верх.

Диего. Я мечтал о чести. Неужели я обрету ее лишь среди мертвецов?

Чума. Я же говорил, их убивает гордыня! Но все это слишком утомительно для стареющего человека вроде меня. Готовься!

Диего. Я готов!

Чума. Вот мои знаки. Они причиняют боль. *(Диего с ужасом смотрит на знаки чумы, снова появившиеся у него на теле.)* Так! Помучайся чуть-чуть перед смертью! Таково мое правило. Когда меня жжет ненависть, чужое страдание для меня живительно, как роса. Придется немного постонать, я это люблю. Дай мне насмотреться на твои муки перед тем, как я покину этот город. *(Поворачивается к секретарше.)* Теперь дело за вами!

Секретарша. Что ж, если так надо!

Чума. Притомилась уже, а?

Секретарша кивает и в тот же миг преобразается. Перед нами старуха в традиционном обличье смерти.

Чума. Я всегда чувствовал, что вам не хватает ненависти. Зато моя ненависть требует свежей жертвы. Поторопитесь мне ее предоставить! А потом начнем все сначала в другом месте.

Секретарша. Ненависть и в самом деле не может служить мне поддержкой, она вообще не входит в мои обязанности. Но в этом отчасти виноваты и вы. Когда так долго копаешься в картотеках, пропадает всякий энтузиазм.

Чума. Это все слова! А если вам так уж нужна поддержка... *(Указывает на Диего, который падает на колени.)* Что ж, возьмите его во имя радости уничтожения. Это входит в ваши обязанности.

Секретарша. Ладно, уничтожим. Но мне не по себе.

Чума. По какому праву вы оспариваете мои приказы?

Секретарша. По праву памяти. У меня есть кое-какие давние воспоминания. До вас я была свободна и связана лишь со случаем. Тогда никто не презирал меня. Я была завершительницей судеб, придавала всякой жиз-

ни законченность, а любви — неизменность. Я всегда была верна себе. А вы заставили меня служить логике и уставу. Я потеряла сноровку, которая бывала подчас спасительна.

Чума. Кто же это просил вас о спасении?

Секретарша. Те, кто слабее своего горя. То есть почти все. С ними мне случалось действовать в согласии, эта была моя форма существования. Сегодня я совершаю над людьми насилие, и все они до последнего вздоха отвергают меня. Вероятно, поэтому я и полюбила того, кого вы приказываете мне убить. Он выбрал меня добровольно. Он меня пожалел на свой лад. Я люблю тех, кто сам назначает мне свидание.

Чума. Поостерегитесь меня раздражать! Мы не нуждаемся в жалости.

Секретарша. Кто же нуждается в жалости, как не те, кто ни в ком не встречает сочувствия! Когда я говорю, что люблю его, это значит — я ему завидую. Для нас, завоевателей, этот убогий вид любви — единственно возможный. Поэтому нас стоит хоть немного пожалеть, и вы отлично это знаете.

Чума. Приказываю вам замолчать!

Секретарша. Вы отлично это знаете! И знаете, что, когда много и долго убиваешь, невольно начинаешь завидовать невинности убитых. Ах, позвольте мне хоть на секунду отбросить надоевшую логику и представить себе, будто я обрела наконец настоящее тело. У меня отвращение к теньям. И я завидую этим несчастным, да, да, завидую — всем, даже этой женщине, которая получит жизнь лишь затем, чтобы кричать, как раненый зверь! Она по крайней мере найдет опору в своем страдании.

Диего почти упал. Чума поднимает его.

Чума. Встань, человек! Конец не наступит, если она не совершит того, что положено. А она, как видишь, расчувствовалась. Но не беспокойся! Она сделает свое дело, таковы ее закон и обязанность. Машина слегка закрипела, вот и все. Пока она совсем не испортилась, радуйся, глупец, я отдаю тебе этот город!

Хор издает возгласы ликования. Чума поворачивается к Хору.

Чума. Да, я уйду. Но не торжествуйте, я собой доволен. Здесь, как и везде, мы поработали неплохо. Я люблю, когда обо мне много говорят, и знаю, что теперь вы не забудете меня никогда. Взгляните на меня! Взгляните в последний раз на единственную подлинную силу в этом мире! Признайте своего истинного владыку и научитесь бояться! (*Смеется.*) Раньше вы якобы боялись Бога и посылаемых им случайностей. Но ваш Бог — анархист, он действовал бессистемно. Ему хотелось быть могущественным и добрым одновременно. В этом нет ни логики, ни прямоты. Зато я откровенно выбрал для себя одно могущество. Я выбрал подавление — как видите, это посерьезнее, чем его ад.

Тысячелетиями я устилал трупами ваши поля и города. Мои трупы удобряли пески Ливии и Эфиопии. Моими стараниями земля Персии и поныне тучна от кровавого пота мертвых тел. В Афинах благодаря мне не угасал очистительный огонь, я усеял пляжи сотнями погребальных костров, усыпал греческие моря пеплом человеческих тел, так что волны поседели. Бедные боги, их мутило от отвращения! А когда на смену языческим храмам пришли христианские соборы, мои черные всадники наполнили их воющей людской массой. На пяти континентах из века в век я хладнокровно убивал не покладая рук.

Это, конечно, неплохо, в этом была своя идея. Но идея, так сказать, в зародыше... Мертвец, если хотите знать мое мнение, — это, конечно, приятно, но от него нет никакой пользы. Короче, он не стоит даже раба. Идеал — получить как можно больше рабов с помощью минимума правильно отобранных мертвецов. Сегодня эта техника доведена до совершенства. Уничтожив или сломив нужное количество людей, мы поставим на колени целые народы. Никакая красота, никакое величие не в силах нам противостоять! Мы восторжествуем надо всем!

Секретарша. Надо всем, кроме человеческой гордости.

Чума. Чувство гордости может и притупиться... Человек умнее, чем кажется. (*Вдали звучат трубы и слышится шум.*) Слышите? Это идут мои благодетели. Возвращаются ваши прежние хозяева, равнодушные к чужим ранам, одуревшие от бездействия и забывчивости. Вы снова изо

дня в день будете видеть, как глупость торжествует без борьбы. Жестокость рождает возмущение, а глупость — упадок духа. Слава дуракам, ибо они подготавливают мой приход! Они дают мне силу и надежду! Возможно, наступит такой день, когда всякая жертва покажется вам напрасной и нескончаемый крик вашего гнусного бунта наконец стихнет. В этот день я воцарюсь безраздельно среди навсегда замолчавших рабов. *(Смеется.)* Нужно лишь терпение, не так ли? Но будьте покойны, у меня низкий лоб упряма. *(Отходит в глубину сцены.)*

Секретарша. Я старше вас и знаю, что их любовь тоже упряма.

Чума. Любовь? Что это такое? *(Уходит.)*

Секретарша. Встань, женщина! Я устала. Пора кончать.

Виктория встает. Диего в ту же секунду падает. Секретарша отступает в темноту. Виктория бросается к Диего.

Виктория. Ах, Диего, что ты сделал с нашим счастьем?

Диего. Прощай, Виктория. Я рад.

Виктория. Не говори так, любимый. Это мужские слова, ужасные мужские слова. *(Плачет.)* Никто не имеет права радоваться смерти.

Диего. Я рад, Виктория. Я сделал то, что должен был сделать.

Виктория. Нет! Ты должен был предпочесть меня самому небу! Между мной и всем миром надо было выбрать меня.

Диего. Я свел счеты со смертью, в этом моя сила. Но эта сила пожирает все, она не оставляет места для счастья.

Виктория. На что мне твоя сила? Я любила в тебе человека.

Диего. Меня иссушила эта борьба. Я больше не человек, и это правильно, что я умираю.

Виктория *(бросается к нему)*. Тогда возьми меня с собой!

Диего. Нет, ты нужна этому миру. Ему нужны наши женщины, чтобы снова научиться жить. А мы никогда ничего не умели, разве что умирать.

Виктория. О, это было бы для тебя слишком просто — молча любить и терпеть все, что выпало на нашу долю! Лучше бы ты продолжал бояться!

Диего (*смотрит на Викторю*). Я люблю тебя всей душой.

Виктория (*кричит*). Этого мало! О, этого мало! Что бы я стала делать с одной твоей душой!

Секретарша протягивает руку к Диего. Пантомима агонии.
Женщины спешат к Виктории и обступают ее.

Женщины. Горе ему! Горе всем, кто бежит от тепла наших тел! И мука для нас, покинутых, годами нести на своих плечах этот мир, который их гордыня силится переделать. Ах! Если нельзя спасти все, то научимся же спасти хотя бы дом, где живет любовь! Пусть приходит чума или война, мы запрем все двери и вместе с вами, плечом к плечу, будем защищаться до конца. Тогда вместо одинокой смерти, украшенной идеями, начиненной словами, вы встречали бы смерть вместе с нами в неистовом объятии любви! Но для мужчин идея превыше всего! Они покидают мать, отрываются от любимой и бегут неведомо куда, изнемогая от несуществующих ран, зарезанные без кинжала. Охотники за теньями, одинокие певцы под немым небом, вы призываете людей к недостижимому объединению и идете, каждый особняком, к последнему одиночеству, к смерти в пустыне!

Диего умирает.

Женщины причитают. Ветер начинает дуть сильнее.

Секретарша. Не плачьте! Земля мягка для тех, кто ее крепко любил. (*Уходит.*)

Виктория и женщины уносят Диего. Шум в глубине сцены усиливается. Звучит музыка. На городских укреплениях кричит Нада.

Нада. Вот они! Вот они, прежние, вчерашние, вечные, никуда не ведущие, истуканы, успокоители, любители удобств и лизания пяток — в общем, сама традиция, устоявшаяся, процветающая, свежесвыбритая. Вздохнем же

с облегчением: можно все начинать сначала! С нуля! Вот они, ловкие портняжки, умеющие кроить из пустоты! Все вы будете одеты по мерке. Но не беспокойтесь, их принцип самый верный. Вместо того чтобы затыкать рты кричащим от горя, они затыкают собственные уши. Мы были немые, теперь будем глухи. *(Фанфары.)* Смотрите все! Возвращаются творцы истории. Они позаботятся о героях. Отправят их в холодок. Под могильные плиты. Не ропщите: над плитами остается отнюдь не самое избранное общество.

В глубине сцены совершаются какие-то официальные церемонии.

Поглядите-ка! Что бы вы думали, они там делают? Награждают друг друга! Пиршество ненависти продолжается, истощенная земля покрыта лесом виселиц, кровь тех, кого вы именуете праведниками, еще пылает на стенах, а они увешивают себя орденами! Ликуйте, сейчас начнутся торжественные речи награжденных! Но пока они не взошли на трибуну, я хочу коротко сказать свою. Тот, кого я против воли любил, умер напрасно!

Рыбак бросается на Наду. Стража останавливает его.

Видишь, рыбак, правительства приходят и уходят, а полиция остается. Есть в мире справедливость!

Хор. Нет, справедливости нет, есть пределы. И те, кто якобы не ограничивает нас ни в чем, как и те, кто для всего устанавливает ограничения, одинаково переходят пределы. Распахните же ворота, пусть соленый ветер очистит наш город!

Ворота распахиваются. Ветер дует все сильнее и сильнее.

На да. Справедливость есть, та, что вызывает у меня отвращение. Да, вы начнете все сначала. Но это меня уже не касается. Не рассчитывайте на меня в качестве идеального виновника. Я не мастер постных мин. О старый мир, пора уходить, твои палачи устали, их ненависть остыла. Я знаю слишком много, даже презрение уже отжило свой век. Прощайте, добрые люди, когда-нибудь вы поймете,

что нельзя хорошо жить, чувствуя, что человек — ничто, а божий лик ужасен.

Под порывы штормового ветра Нада бежит по молу
и бросается в море. Рыбак бежит за ним.

Рыбак. Упал! Разъяренные волны бьют его и душат своими гривами. Его лживый рот заполняется солью, голос его скоро наконец умолкнет совсем. Взгляните, бушующее море окрасилось в цвет анемон. Оно мстит за нас. Его гнев — это наш гнев. Оно трубит сбор всех людей моря, сбор всех одиноких. О вода, о море, отечество повстанцев, вот твой народ, и он никогда не отступит. Высокий вал, рожденный горечью вод, унесет навеки ваши страшные города.

Занавес

МИФ О СИЗИФЕ

Впервые с проектом книги, ставшей позднее «Мифом о Сизифе», мы сталкиваемся в записных книжках Камю за май 1936 г. Находясь под сильным впечатлением от книг Мальро («Завоеватели», «Царская дорога», «Удел человеческий»), Камю замышляет «философское произведение» об абсурде и намеревается «написать однажды книгу, которая даст разъяснение». Впрочем, на подобный труд его подвигает чтение не только Мальро. В «Дневниках» — и позже в «Мифе о Сизифе» — встречаются упоминания о Монтерлане, Кафке. Камю много читает Достоевского, в книгах которого его привлекает внимание к современным корням идейного разброда и растерянности в мыслях людей: «Достоевский прежде всего восхищал меня своими открытиями глубинной природы человека» («В защиту Достоевского», 1955). Среди философов особенное внимание Камю уделяет Ницше, Киркегору, Шестову, изучает французские источники по современной немецкой философии, которые впоследствии часто цитирует в «Мифе». Камю также внимательно следит за современной ему критической литературой. Однако, работа над другими произведениями («Калигулой» и «Счастливой смертью»), журналистика и театральные постановки мешают ему вплотную приступить к написанию философского трактата и в очередной раз, среди задач на ближайшее лето, Камю упоминает об этом проекте в июне 1938 г. Впрочем, подобная задержка пойдет, быть может, только на пользу: события личной жизни Камю (болезнь, напряженность в семье) заставляют его вновь и вновь задумываться об абсурдности существования, и эти размышления и переживания — усиленные начавшейся войной — во многом определяют окончательное содержание «Мифа».

Первая часть книги была закончена в сентябре 1940 г., а 21 февраля 1941 г. — Камю находился тогда в алжирском городе Оране — дневниковая запись гласит: «Окончен «Сизиф». Все три Абсурда (также имеются в виду «Калигула» и «Посторон-

ний» — С.Д.) завершены». Камю, однако, достаточно долгое время не публикует рукопись — но и не изменяет ее; основные размышления и впечатления этого времени попадут в «Письма к немецкому другу» и «Человека бунтующего». «Миф о Сизифе» увидит свет лишь в декабре 1942 г. в издательстве «Галлимар»; это первое издание содержит четыре части — эссе о Кафке появляется лишь в расширенном издании 1948 г.

Стр. 7. *Пиа*, Паскаль — алжирский журналист, основатель газеты «Alger Républicain», позже — главный редактор газеты «Combat»; близкий друг Камю.

Пиндар (ок. 518—442 г. или 438 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик. Эти строки были использованы Полем Валери в качестве эпиграфа к его стихотворению «Морское кладбище» (1920); Камю отмечает их в дневнике за февраль 1940 г.

Стр. 8. *...как хотел того Ницше...* — Камю имеет в виду строки из работы немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900) «Несвоевременные размышления», ч. 3 «Шопенгауэр как воспитатель» (1874): «Для меня философ имеет значение настолько, насколько он может подавать примеры» (цит. по: Ницше Ф. Собрание сочинений / Пер. под ред. С.Франка и Г.Рачинского. М., 1909. Т.2. С. 193.).

Галилей, обладавший весьма значительной научной истиной... — Камю имеет в виду полупоупендарную историю об отречении Галилея (1564—1642) от концепции гелиоцентрической системы мира на суде инквизиции в 1633 г.

Ла Палис, (настоящее имя Жак де Шабанн, сеньор де Ла Палис, 1470—1525) — маршал Франции, участник итальянских войн Людовика XII и Франциска I. Солдаты сложили в его честь песенку, знаменитые слова которой — «за четверть часа до смерти он был еще живой...» — должны были воспеть безграничную храбрость Ла Палиса, однако эти стихи остались в памяти потомков скорее как символ банальности и бесхитростности, на что, видимо, и намекает Камю.

Стр. 10. *И это изгнанничество неизменно...* — Весь этот абзац пересыпан скрытыми цитатами из книги учителя Камю, преподавателя философии Жана Гренье (1898—1971) «Несчастное существование»; Гренье был близким другом Камю, ему посвящен «Человек бунтующий».

Стр. 11. *...если я принимаю критерий Ницше...* — Возможно, Камю имеет в виду следующие слова из «Антихриста» (1895): «Вот формула нашего счастья: одно Да, одно Нет, одна прямая линия, одна цель» (цит. по: Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т.2. С. 633; пер. В.Флеровой). Подтекстом же для высказывания Ницше, часто использовавшего евангельские интона-

ции, могла быть фраза: «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукавого» (Матф., V, 37).

Кириллов — персонаж романа Достоевского «Бесы» (1871—1872), покончил с собой из чистой идеи, сознавая, что Бога нет; ему посвящена отдельная глава «Мифа о Сизифе».

Перегрин, по прозвищу Протей — греческий философ-киник середины II в. н.э. Будучи изгнанным из христианской общины, скитался, покончил жизнь самоسوжением во время Олимпийских игр 165 г., подражая почитаемому киниками Гераклу. Основным источником сведений о жизни Перегриня является памфлет Лукиана «На смерть Перегриня» (Лукиан. Избранные атеистические произведения. М., 1955); не исключено, однако, что Камю был скорее знаком с трудами французского философа Анри де Монтерлана (1895—1972), прокомментировавшего это самоубийство в работах «У источников желания» (1927) и «Смерть Перегриня» (1927).

...об одном сопернике Перегриня... — Возможно, Камю имеет в виду французского писателя Андре Гайара (?—1929), покончившего с собой незадолго до выхода в свет сборника его стихов и прозы «Ничья земля».

Лекье, Жюль (1814—1862) — французский философ, представитель неокритицизма; его таинственная гибель в море при ясной погоде породила предположения о самоубийстве. О творчестве Лекье писал в своей диссертации (1936) Жан Гренье, позже опубликовавший некоторые неизданные до той поры труды этого философа, а также «Полное собрание сочинений» Лекье (1952).

...развлечения в паскалевском смысле слова. — В своих «Мыслях» Паскаль (1623—1662) говорит о развлечении как о неотъемлемой составляющей природы человека и, одновременно, доказательстве тщеты всего земного; называя развлечение «единственным благом людей», поскольку оно отдаляет «от мыслей о своем уделе» (фр. 136; пер. Ю. Гинзбург.; цит. по: Паскаль Б. Мысли. М., 1995. С. 113), он, в частности, пишет: «Если бы человек был счастлив, блаженство его было бы тем полнее, чем меньше у него было бы развлечений» (фр. 132; там же. С. 112).

Стр. 13. *Ясперс*, Карл (1863—1969) — немецкий философ, представитель религиозного экзистенциализма. Цитируемый здесь фрагмент работы Ясперса «Философия существования» (I) приводится Камю по работе Жанны Херш «Философское заблуждение» (1936).

Стр. 15. *Бывает, что декорации рушатся...* — Этот и несколько последующих абзацев, включающих размышления о «Тошноте» (1938) Ж.П. Сартра (обозначенного дальше как «один современный писатель»), почти буквально совпадают с эссе Камю о «Тошноте» (Alger Républicain от 20 октября 1938 г.).

Стр. 16. *Корнем всего служит простая забота.* — В начальном варианте этой фразы стояло «...просто «озабоченность», как говорил Хайдеггер». Озабоченность или забота — понятие философии Мартина Хайдеггера, немецкого философа-экзистенциалиста (1889—1976), впервые употребленное им в работе «Бытие и время» (1927); исходная составляющая человеческого бытия-в-мире, «стояние внутри открытости бытия, вынесение этого стояния внутри нее» (Введение к «Что такое метафизика»; цит. по: Хайдеггер М. *Время и бытие.* М., 1993. С. 31; пер. В. Библихина). Здесь и далее Камю цитирует Хайдеггера по работе французского философа русского происхождения Жоржа Гурвича (1864—1965) «Современные тенденции в немецкой философии» (1930).

Стр. 17. *А в случае со смертью возможно говорить разве что об опыте кого-то другого.* — Эта мысль, звучавшая у Киркегора («Постскриптум к философским отрывкам», 1846) и Хайдеггера («Бытие и время»), часто встречается у Камю: например, в новелле «Ветер в Джемила» из сборника «Брачный пир».

Стр. 18. *«Со всеми подобными взглядами...»* — Аристотель. *Метафизика*, IV, 8, ст. 15—20. Возможно, Камю был знаком с этой фразой Аристотеля по книге русского писателя и философа-экзистенциалиста Льва Шестова (настоящая фамилия Шварцман, 1866—1938) «Власть ключей» (1928), гл. *Memento mori* (см: Шестов Л. *Сочинения: В 2 т.* М., 1993. Т. 1. С. 193).

Стр. 19. *Парменид* из Элеи (ок. 540—470 до н.э.) — древнегреческий философ; «единое основополагающее понятие философии элейской школы, неделимое сущее, которое, за отсутствием движения, составляет единственное содержание бытия. Позже становится центральным понятием платонизма и неоплатонизма.

Стр. 21. *«Познай самого себя».* — Начертанное на храме Аполлона Дельфийского, это высказывание приписывается Сократу (ок. 470—399 до н.э.), но на деле принадлежит греческому мудрецу Хилону.

Значит, наука... кончает тем, что вызывает гипотезу... — Возможно, Камю обыгрывает здесь название работы французского философа и математика Анри Пуанкаре (1854—1912) «Наука и гипотеза» (1902).

Стр. 24. *Заратустра* (Зороастр, между X и I половиной VI в. до н.э.) — пророк и реформатор древнеиранской религии; в европейском контексте — сверхчеловек, персонаж книги Ницше «Так говорил Заратустра» (1883—1884). Камю цитирует главу «Перед восходом солнца» из III части книги Ницше; за основу взят перевод Э. Голосовкера (Ницше Ф. *Так говорил Заратустра.* М., 1994. С. 201).

Киркегор, Серен (1813—1855) — датский теолог, философ, писатель, предшественник экзистенциализма. Цитируется его работа «Болезнь к смерти» (1849), ч. I, гл. III (цит. по: Киркегор С. Страх и трепет. М., 1993. С. 259; пер. С. Исаева).

Феноменология — вначале одна из философских дисциплин, являвшаяся в классической философии введением в систему логики и метафизики; позже, в начале XX в., определяющее идеалистическое течение западной философии — исследование значения и смысла, наука о сущностях, принципы которой были сформулированы немецким философом Эдмундом Гуссерлем (1859—1938), полагавшим предметом философии лишь чистые сущности, а не реальные вещи или факты. Задачей феноменологии является обнаружение изначального опыта сознания путем исключения какого-либо суждения о бытии и достижения последнего неразложимого единства сознания — интенциональности (т.е. направленности на предмет).

Шелер, Макс (1874—1928) — немецкий философ, один из основоположников философской антропологии, аксиологии, социологии познания; испытал влияние феноменологии Гуссерля. Подробнее о Шелере Камю пишет в «Человеке бунтующем».

Стр. 25. ...*после утраты себя в безымянном «Он»*. — Употребленное Камю неопределенно-личное местоимение «он» является аналогом немецкого «Man», местоимения, обозначающего в философии Хайдеггера мир безликого неистинного существования.

...*не следует погружаться в сон, а надо бодрствовать до самого конца*. — Комментаторы отмечают богатый подтекст этой фразы, в которой сливаются библейские мотивы (Матф., XXVI, 41: «...бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна») и отголоски фразы из «Мыслей» Паскаля: «Иисус будет терпеть крестную муку до конца мира. Нельзя спать в это время» (фр. 919, пер. Ю. Гинзбург; цит. по: Паскаль Б. Мысли. С. 331), откомментированной Шестовым в его работе «Гефсиманская ночь» (1923, позже вошла в его работу «На весах Иова», 1929; цит. по: Шестов Л. Сочинения. Т. 2. С. 280).

...*утратили «наивность»*. — Ясперс, «Философия существования» (III), цитируется Камю по работе Херш.

...*творчества, отличающегося великолепной монотонностью*... — Имеется в виду «Власть ключей» Шестова.

Стр. 26. ...*приговоренного к смертной казни Достоевского*... — Как участник кружка петрашевцев Достоевский был в 1849 арестован и приговорен к смертной казни, в последний момент

замененной каторгой (1850—1854) с последующей службой рядовым.

Ибсен, Генрик (1828—1906) — норвежский драматург, на чье творчество оказали определенное влияние работы Киркегора и Ницше.

«Самый надежный вид немоты — не молчание, а речь». — Похожая мысль встречается в «Дневнике» Киркегора (19 февраля 1849 г.), однако большинство комментаторов сходятся во мнении, что Камю заимствовал эту фразу из предисловия Ж. Гато к французскому переводу «Болезни к смерти» Киркегора (изд-во «Галлимар», 1932). Ниже Камю вновь обращается к этой мысли в главе «Завоевание».

Дон Жуан познания... — Выражение Ницше («Утренняя заря», аф. 327; Ницше Ф. Сочинения. М., 1900. Т. 8. С. 258).

«Назидательные речи» — религиозные проповеди Киркегора, публиковавшиеся в 1843—1849.

«Дневник соблазителя» — повесть Киркегора (1843).

...засевшего там шипа. — Перифраз выражения «жало в плоть» (2 Коринф., XII, 7), являющегося также названием работы Киркегора (1844).

Стр. 27. *Пруст*, Марсель (1871—1922) — французский писатель, автор цикла романов «В поисках утраченного времени» (тт. 1-16, 1913—1927), во многом предопределившего развитие романа XX в.

...речь идет только о «познавательной установке»... — Гуссерль, «Философия как строгая наука» (1910—1911); с этой работой Гуссерля Камю был знаком по изложению Шестова («Власть ключей», Memento mori. См: Шестов Л. Сочинения. Т. I. С. 189 и далее).

Стр. 32. *«Разве поражение не свидетельствует...»* — Ясперс, «Философия существования» (III), цитируется по работе Херш.

Стр. 33. *Человек вспоминает о Боге...* — Шестов, «Афины и Иерусалим», ч. IV, фр. LX («Единое на потребу»); цит. по: Шестов Л. Сочинения. Т. I. С. 657.

Стр. 34. *Шестов, охотно приводящий слова Гамлета...* — «Гамлет», акт 1, сцена 5; (Шестов Л. Достоевский и Ницше. Философия трагедии. 1903).

«Движение солнечной системы...» — Гегель Г. (1770—1831), Философия истории. М.: Л., 1935. С. 12. Шестов комментирует эту фразу во «Власти ключей» («Тысяча и одна ночь — вместо предисловия»; Шестов Л. Т. I. С. 18).

Стр. 35. *Спиноза*, Бенедикт (Барух) (1632—77) — нидерландский философ.

...он тоже делает прыжок. — Прыжок, или скачок — понятие философии экзистенциализма, впервые примененное Кир-

кегором (например, в работе «Понятие страха», 1844; см.: Киркегор С. Страх и трепет. С. 135; пер. Н.Исаевой, С.Исаева); прорыв человека из окружающего его существования к высшему порядку бытия.

Лойола, Игнатий (1491—1556) — основатель ордена иезуитов (официально учрежден папой Павлом III в 1540 г.); «жертвоприношение интеллекта» — одно из предписаний, сформулированных Лойолой для членов ордена, целью которого является отречение от гордыни личностного убеждения и полное подчинение божественной воле. Это выражение Лойолы неоднократно упоминается в «Дневнике» Киркегора, Ницше использует его в начале «По ту сторону добра и зла» (1886), а Шестов комментирует «Духовные упражнения» Лойолы в «Откровении смерти» (первая часть «На весах Иова», 1929; отдельное издание — 1923) и «Дерзновениях и покорности» (вторая часть «На весах Иова»). См.: Шестов Л. Сочинения. Т. 2. С. 37, 238.

Стр. 36. «*В своем поражении верующий...*» — Схожая мысль встречается в «Молитвах и отрывках о молитве» Киркегора. Камю мог быть знаком с этой формулировкой по книге Жана Валя «Киркегоровские исследования» (гл. «Существование и парадокс», 1937).

Аббат Гальяни (1728—1787) — итальянский дипломат, писатель. Цитируется его письмо к французской писательнице, покровительнице Ж.-Ж. Руссо, маркизе д'Эпине (Луизе Тарлье д'Эскламель, 1726—1783) от 8 февраля 1777. К переписке Гальяни обращается Ницше в «По ту сторону добра и зла» («Отдел второй: свободный ум», 26; Ницше Ф. Сочинения. Т.2. С. 262).

Стр. 37. «*Чего во мне недостает, так это животного начала...*» — Киркегор, «Дневник», май 1850.

«*О, чего бы я не отдал...*» — Киркегор, «Дневник», сентябрь 1849. Обе цитаты без указания ссылок приводятся в предисловии Ж.Гато к «Болезни к смерти» («Галлимар», 1932), где их и мог найти Камю.

«*Но для христианина...*» — Киркегор, «Болезнь к смерти». Введение.

Стр. 38. *...само состояние греховности.* — Еще одна фраза из предисловия Гато к «Болезни к смерти».

«*Если бы человек не обладал сознанием вечности...*» — Киркегор, «Страх и трепет» (1843).

Стр. 40. *Я рассмотрю...* — В нижеследующем анализе Камю перенимает некоторые ключевые моменты из книги Гурвича.

Интенциональность — в феноменологии: направленность суждения на предмет, основополагающая характеристика сознания и его актов, поскольку последнее всегда направлено на что-нибудь, выступает сознанием чего-нибудь. По Гуссерлю интен-

циональность конституирует сознание, наполняя его значением и смыслом.

...если позаимствовать образ у Бергсона... — Камю имеет в виду пассаж из первой главы книги французского философа, представителя интуитивизма и философии жизни Анри Бергсона (1859—1941) «Материя и память» (1896). Внимание Камю к образу тем более значимо, что Бергсон в 1930 г. был удостоен Нобелевской премии по литературе как блестящий стилист.

Стр. 41. *Эпистемология* — теория познания.

Гуссерль говорит о «...вневременных сущностях». — Отголосок платоновского идеалистического учения о сущностях или идеях, у Гуссерля особенно заметный в цитируемых ниже «Логических исследованиях» (1900—1901).

Стр. 42. *То, что истинно, истинно абсолютно...* — Гуссерль, «Логические исследования», ч. I «Пролегомены к чистой логике» (русский перевод С. Франка. СПб., 1909); Камю цитирует по «Власти ключей» Шестова (Memento mori. См: Шестов Л. Сочинения. Т. I. С. 200).

«Если бы все тела...» — «Логические исследования» (Шестов Л. Сочинения. Т. I. С. 210).

Стр. 43. *«Если бы мы могли отчетливо наблюдать...»* — «Логические исследования» (Шестов Л. Сочинения. Т. I. С. 240—241).

Стр. 44. *...преобладают в одинаковой тоске.* — Тоска (иные традиции перевода — страх, тревога) — термин философии экзистенциализма, введенный в обиход Киркегором в его работе «Понятие страха» (1844); реакция человека при столкновении с враждебным ему окружающим миром.

Со времен Плотина... — Греческому философу, основателю неоплатонизма Плотину (ок. 204/205 — 269/270), работы которого сильно повлияли на христианское богословие, посвящена отдельная глава в дипломе Камю «Христианская метафизика и неоплатонизм» (1936, гл. III «Мистический разум»). Плотин жил и работал в Александрии, поэтому ниже Камю называет его «александрийским мыслителем».

Стр. 46. *Суметь удержаться на этой головокружительной горной гряде...* — Это выражение Гуссерля («Картезианские размышления», 1931) Камю мог встретить у Гурвича.

Стр. 48. *...возможно ли жить без зова свыше.* — Приводимые здесь рассуждения во многом напоминают мысли Мерсо в тюрьме («Посторонний»).

Тема перманентной революции... — Идея перманентной революции была сформулирована Марксом и Энгельсом в 1848—1850 гг., позже — в 1905—1907 гг. Троцкий и Парвус (настоящее имя Александр Гельфанд, 1869—1924) сформулировали цельную теорию перманентной революции; сюрреалисты, на-

ходившиеся в 20—30-е гг. под сильным влиянием Троцкого, переняли этот лозунг именно у него.

Стр. 49. *Эвридика* — в греческой мифологии жена Орфея. После ее смерти Орфей спускается за ней в подземное царство Аида, но вызволить ее может лишь при условии, что на обратном пути ни разу не оглянется на идущую позади Эвридику. Не выдержав, Орфей оборачивается, и Эвридика остается в царстве мертвых.

Стр. 56. *...греки уверяли, что люди, умирающие молодыми, любимы богами.* — Этот мотив, судя по всему, достаточно общий для античной культуры — так, в «Алкесте» Еврипида Демон смерти говорит Аполлону: «Нам жизни дар отраднее цветущей» (ст. 56, пер. И. Анненского), — мог быть знаком Камю по «Власти ключей» Шестова (см.: Шестов Л. Сочинения. Т. 1. С. 193: «Замечательный греческий поэт писал когда-то: кого боги любят, тот умирает молодым»).

Стр. 57. *Ведические учения* — одна из религиозно-философских систем индуизма.

В своей весьма значительной книге... — Книга Гренье «Выбор» вышла в 1941 г.; Камю, в частности, имеет в виду ее вторую часть: «Абсолют и мир».

«Представляется ясным...» — Ницше, «По ту сторону добра и зла», «Отдел пятый: к истории морали», 188: «Существенное, повторяю, «на небесах и на земле», сводится, по-видимому, к тому, чтобы повиновались долго и в одном направлении; следствием этого всегда является и являлось в конце концов нечто такое, чего ради стоит жить на земле, например, добродетель, искусство, музыка, танец, разум, духовность, — нечто просветляющее, утонченное, безумное и божественное». (Ницше Ф. Сочинения. Т. 2. С. 399; пер. Н. Полилова).

Ален (настоящее имя Эмиль Шартье, 1868—1951) — французский философ и педагог. Цитируется его книга «Идеи и века» (1927), т. I.

«Дух должен, однако, встречаться с ночью». — Подобные мысли встречаются в рассуждениях Шестова о Толстом и Достоевском («Откровения смерти»).

Стр. 59. *Госпожа Ролан.* — Ролан де Ла Платьер, Жанна-Мари (Манон) (1754—1793) — участница Великой Французской революции, супруга министра внутренних дел в правительстве жирондистов Ж. М. Ролана; казнена якобинцами. Речь может идти о ее «Воззвании к беспристрастному будущему, или Сочинениях, написанных во время тюремного заключения в Аббе и Сен-Пелажи» (1793).

«Все позволено». — Любопытно было бы отметить в этой связи мысль немецкого философа-младогегельянца, теоретика анархизма, исповедовавшего идеи последовательного эгоцентризма Макса Штирнера (настоящее имя — Каспар Шмидт, 1806—1856), задолго до Ницше высказанная им в программной работе «Единственный и его достояние» (1845): «Нет ничего истинного; все позволено», — и приводимая в «Выборе» Жаном Гренье. Камю посвящает Штирнеру главу «Единственный» в разделе «Абсолютное утверждение» «Человека бунтующего».

Стр. 60. *Руссо, Жан-Жак (1712—1778)* — французский писатель и философ, противопоставлявший современному ему индустриализованному обществу «естественное», с его точки зрения, первобытное состояние человека.

...*один из современных авторов...* — Вероятно, имеется в виду французская писательница и литературный критик Рашель Беспалов, высказывавшая подобную мысль по поводу героев книг Андре Мальро (1901—1976) в своей книге «Пути и перекрестки» (1938); в главе «Завоевание» Камю, во многом основываясь на наблюдениях Беспалов, подробно анализирует романы Мальро «Завоеватели» (1928), «Удел человеческий» (1933) и «Надежда» (1937).

Стр. 61. *Донжуанство.* — Комментатор Камю Луи Фокон отмечает многочисленные заимствования из книги французского историка Жоржа Жандарма де Бевота (1867—?) «Легенда о Дон Жуане» (1906, отсюда же и большинство последующих цитат) и Мишеля Лоренци де Бради (1869—?) «Дон Жуан, легенда и история» (1930).

Наконец-то, — восклицает одна из них... — Приводятся реплики из спектакля «Дон Жуан» (по «Каменному гостю» А.С. Пушкина), поставленного Камю в алжирском Театре труда в 1937 г.

Стр. 62. *...вскормленного мудростью Экклезиаста.* — В ветхозаветной книге Экклезиаста (III в. до н. э., авторство приписывается царю Соломону) подчеркивается преходящий характер и тщета всего земного.

«*Озорник.*» — Имеется в виду драма испанского драматурга Тирсо де Молины (настоящее имя Габриэль Тельес, 1571 или ок.1583—1648) «Севильский озорник, или Каменный гость» (опубл. 1630), первая драматургическая обработка сюжета о Дон Жуане.

Стр. 63. *Любич-Милош,* Оскар Владислав (1877—1939) — французский писатель литовского происхождения. *Мигель Маньяра* — герой его одноименной драмы-мистерии (1912) на сюжет о Дон Жуане.

Стр. 64. *Надо быть Вертером или ничем.* — Стендаль, «О любви» (1822).

Стр. 65. ...чем больше над ним смеются, тем четче... его облик. — Возможная отсылка к пьесе близкого одно время сюрреалистам французского писателя Жозефа Дельтея (1894—1978) «Дон Жуан» (1930), предлагавшей подобное видение героя.

Один из летописцев рассказывает... — Жандарм де Бевот.

Стр. 66. Еще охотнее я принимаю рассказ... — Любич-Мишо, «Мигель Маньяра».

Стр. 67. «Зрелище — петля...» — Шекспир, «Гамлет», акт II, сц. 2; Гамлет, как и Дон Жуан, был одним из любимых героев Киркегора («Или — или», 1843).

Если взирать с Сириуса. — Возможно, имеется в виду герой философского трактата Вольтера «Микромегас» (1752), обитатель Сириуса, с удивлением открывающий для себя земную культуру и цивилизацию.

Стр. 68. Альцест — персонаж комедии Мольера (настоящее имя Жан-Батист Поклен, 1622—1673) «Мизантроп» (поставлена в 1666 г.).

Федра — героиня трагедии Еврипида (ок. 480—406 до н.э.) «Ипполит» и Жана Расина (1639—1699) «Федра» (1677).

Глостер — Ричард, герцог Глостерский, король Англии, персонаж нескольких пьес Шекспира (например «Ричард III», 1593).

Сехисмундо — герой драмы Педро Кальдерона де ла Барка (1600—1681) «Жизнь есть сон» (1636).

Стр. 69. ...казаться — это быть... — Противопоставление, часто встречающееся в литературе — Руссо, Ницше («Человеческое, слишком человеческое», аф.51, и «Утренняя заря», аф.306), — неоднократно обыгрывается и самим Камю: ниже в «Мифе» («Творчество без будущего»), в записных книжках (20 октября 1937) и «Человеке бунтующем» («Бунт и революция»).

Стр. 71. Благословен, чьи кровь и разум так отрадно слыты... — «Гамлет», акт III, сц.2.

Протей — морской бог греческой мифологии, получивший от своего отца Посейдона в дар способность по желанию менять облик, а также предсказывать будущее.

«Важна не вечная жизнь...» — Ницше, «Смешанные мысли и изречения», фр. 408.

Лекувьер, Адриенна (1692—1730) — французская трагическая актриса, покончившая с собой и поэтому погребенная за кладбищенской оградой.

Стр. 73. ...ужасной Тридцатилетней войны. — Камю имеет в виду Тридцатилетнюю войну (1618—1648), религиозный и политический конфликт, потрясший всю Европу, основным проигравшим в котором оказалась династия Габсбургов.

Стр. 75. *Недаром... это слово изменило свой смысл...* -- Камю имеет в виду роман А.Мальро «Завоеватели» (1928) и провозглашаемый его героем Гариным курс на личный, метафизический бунт.

...начиная с... Прометей... — Миф о Прометее используется Камю во многом в рамках европейской литературной традиции, трактовавшей действия Прометейя как метафизический бунт.

...они всегда подразумевают «превзойти себя». — «Самопреодоление» (Selbstüberwindung), термин, широко используемый в работах Ницше и обозначающий рост власти над самим собой, самоутверждение.

Стр. 76. *...вот они, подлинные богатства.* — Фраза отсылает к названию книги французского писателя Жана Жионо (1895—1970) «Подлинные богатства» (1936). Луи Фокон отмечает также, что вывеска с этими словами красовалась на книжной лавке Шарло в Алжире, одном из мест встреч литераторов и издатель.

Стр. 78. *...цари тут без царств.* — Фраза, часто встречающаяся у Киркегора («Понятие страха» и «Болезнь к смерти»; см.: Киркегор С. Страх и трепет. С. 116, 300).

Один из них... — Киркегор (цитата из его книги «Понятие тоски»).

Стр. 79. *«Искусство, и ничего, кроме искусства...»* — Ницше, «Воля к власти» («Опыт переоценки всех ценностей», 1884—1888), аф. 822: «У нас искусство для того, чтобы мы не погибли от истины» (Цит. по: Nietzsche. Werke. Leipzig, 1906. Band 10. S. 76; см. также: Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 201). Аналогичные высказывания об искусстве (в частности, формулу *l'art pour l'art*, приведенную в начале цитаты Камю) мы находим в «Сумерках идолов» (1889), гл. «Набег несовременного», аф. 24.

Стр. 80. *Масличная гора.* — Гора, на которой находится Гефсиманский сад, где Иисус, бодрствуя, провел последнюю ночь перед взятием под стражу.

Стр. 82. *Достаточно отправиться в Абиссинию.* — Имеется в виду судьба французского поэта Артюра Рембо (1854—1891), оставившего занятия поэзией и занявшегося торговлей в Абиссинии.

Подлинное произведение искусства... — Весь следующий абзац встречается в «Дневниках» Камю за осень 1938 г.

Стр. 83. *Вся философия этих юношей с пустыми глазами...* — Камю приводит похожую мысль в «Дневниках» (ноябрь 1936). С точки зрения Луи Фокона, здесь возможно заимствование из «Понятия страха» Киркегора: «...греческое искусство достигает своей вершины в пластике, которой не хватает как раз взгляда» (Киркегор С. Страх и трепет. С. 183; пер. Н.Исаевой и С.Исае-

ва), или отсылка к часто встречающимся рассуждениям на эту тему в «Эстетике» Гегеля, например: «Самые высокие произведения греческой скульптуры лишены взгляда» (Гегель Г. Эстетика: В 4-х т. М., 1968—1973. Т. 2. С. 235; пер. Б. Столпнера); «...в статуях и бюстах, сохранившихся от античности, отсутствует зрачок и взор, выражающий духовное начало». (Там же. Т. 3. С. 126; пер. Б. Чернышева).

Стр. 85. «Этика» (1667) — трактат Б. Спинозы.

Мелвилл, Герман (1819—1891) — американский писатель-романтик.

...предпочтение, отданное ими письму в образах... — Ср. знаменитое изречение Камю: «Мыслить можно только образами. Если быть философом — пиши романы» («Записные книжки», I, январь 1936).

Стр. 87. Кириллов. — На следующие рассуждения Камю во многом повлияли размышления о Достоевском Андре Жида («Достоевский», 1923).

Стр. 88. ...в декабрьском выпуске 1876 года... — Неточность Камю: это рассуждение находится в октябрьском выпуске 1876 г. (Достоевский. ПСС: В 30 т. Л., 1981. Т. 23. С. 146—148), его предваряют слова Достоевского: «...рассуждение самоубийцы от скуки, разумеется, матерьялиста». Достоевский также подробно комментирует это рассуждение в декабрьском выпуске (гл. I; II, III, V).

«...такая у него мысль». — Здесь и далее цитируются «Бесы» Достоевского.

Стр. 91. Как и во времена Прометей... — Эсхил, «Прикованный Прометей», ст. 248—250: «Я от предвиденья избавил смертных//...Слепые в них я поселил надежды...» (пер. С. Апта). Эти же строки приводятся Камю в «Человеке бунтующем» («Сыны Каина»).

...слова столь же древние, как и сами человеческие страдания... — «Все хорошо», — слова, произнесенные Эдипом в финале трагедии Софокла (ок. 496—406 до н. э.) «Эдип в Колоне». Камю использует ту же фразу, рассуждая о современной трагедии в «Лекции о будущем трагедии» (1955).

Стр. 92. «Если убеждение в бессмертии так необходимо...» — Достоевский, «Дневник писателя»; эти слова принадлежат октябрьскому выпуску 1876 г., но воспроизводятся, предваряемые фразой, попавшей в скобки, и комментируются в декабрьском выпуске (Достоевский. ПСС. Л., 1982. Т. 24. С. 49). Слова о «полном метафизическом перевороте» и «протестах критиков» являются, как отмечает А. Руткевич, «неточностями», вызванными «желанием зачислить Достоевского в ряды философов и писателей-абсурдистов»: «Критика, на которую отвечал Достоевский в декабре, имела вовсе не религиозный характер (подразумева-

емый Камю) — напротив, Достоевский отвечал нигилистам... Он развил те же самые мысли... но уже в форме «нравоучения», опущенного ранее, поскольку Достоевский не предполагал, что смысл статьи может остаться непонятным» (цит. по: Камю. Бунтующий человек. М., 1990. С. 383-384).

Стр. 93. *По поводу «Карамазовых» Достоевский писал...* — Камю цитирует слова Достоевского по книге Жида, который ошибочно отнес эти слова к «Братьям Карамазовым» — на самом же деле Достоевский написал их в письме Майкову от 25 марта 1870 г. в связи с так и не оконченным романом «Жизнь великого грешника» (Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. Л., 1986. С. 117).

Один из комментаторов... — Камю цитирует работу русского литературного критика и переводчика Бориса Шлёцера (1883—1970) «Наброски „Братьев Карамазовых“», опубликованную в журнале «Mesures» от 15 октября 1935 г.

Любопытное... наблюдение Андре Жида... — «Достоевский» (гл. «Лекции в Театре Старой Голубятни», IV).

Стр. 94. «Моби Дик» (1851) — философский роман Г.Мелвилла.

...история гностических дерзаний... — Гностицизм — религиозное дуалистическое учение поздней античности (I—V вв.), синтезировавшее элементы христианского вероучения, греческой философии и восточной религии. Гностицизм оказал влияние на средневековые ереси и неортодоксальную мистику Нового времени.

...живучесть манихейских течений... — Манихейство — религиозное учение (III в. н. э.), основанное на представлении о дуализме сил добра и зла как изначальных и равноправных принципов бытия; повлияло на средневековые дуалистические ереси.

Стр. 97. *...творить — значит придавать форму своей судьбе.* — Подобные мысли Камю мог встретить в «Выборе» Жана Гренье.

Стр. 98. *Сизиф* — в греческой мифологии царь Коринфа; перехитрив богов, он дважды сумел избежать смерти и был приговорен ими за это бесконечно вкатывать на гору в царстве тень камень, который затем скатывался вниз.

Если верить Гомеру... — Весь следующий абзац заимствован Камю практически без изменений из книги П.Коммелена «Новая греческая мифология» (1909). Гомер же упоминает о Сизифе в «Илиаде» (VI, 152—154: «Есть в конеславном Аргосе град знаменитый Эфира, // В оном Сизиф обитал, препрославленный мудростью смертный»; пер. Н.Гнедича) и в «Одиссее» (XI, 593—600: «Видел я также Сизифа, казнимого страшную казнь: // Тяжкий камень снизу обеими влек он руками...»; пер. В.Жуковского).

Стр. 100. *Он крепче обломка скалы.* — Некоторые параллели наблюдаются между этой фразой и размышлениями Паскаля: «Человек — всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но это тростинка мыслящая... Но пусть вселенная раздавит его, человек все равно будет выше своего убийцы, ибо он знает, что умирает, и знает превосходство вселенной над ним. Вселенная же ничего этого не знает» (фр. 200, пер. Ю. Гинзбург; цит. по: Паскаль Б. Мысли. М., 1995. С. 136-137).

Стр. 101. *«...невзирая на столькие испытания...»* — Камю цитирует Софокла по книгам Монтерлана («Mors et vita», 1932; «Бесполезное служение», 1935).

Стр. 102. *Кафка*, Франц (1883—1924) — австрийский писатель, близкий экспрессионизму. В эссе упоминаются его романы «Процесс» (1915, издан в 1925) и «Замок» (1922, издан в 1926), рассказ «Превращение» (одноименный сборник, 1916).

Стр. 104. *«Все великие вопросы — на улице».* — Похожие мысли встречаются у Ницше в «Сумерках идолов» (аф. 34: «Только выхоженные мысли имеют ценность»; Ницше Ф. Сочинения. Т. 2. С. 561; пер. Н. Полилова) и «Веселой науке» (аф. 213: «Мудрец спросил дурака, каков путь к счастью. Последний ответил без промедления, словно бы его спрашивали о дороге к ближайшему городу: «Удивляйся самому себе и живи на улице!»; Ницше Ф. Сочинения. Т. 1. С. 614; пер. К. Свасьяна).

Стр. 107. *«...в платиновском пейзаже: это тоска по утраченному раю.»* — Возможно, Камю имеет в виду фразу из «Эннеад» Плотина «...бежим, бежим в нашу дорогую отчизну. Наша Отчизна — та страна, из которой мы пришли сюда; там живет наш Отец» (1, 6, 8), о которой, в частности, упоминает Шестов («Откровения смерти»; Шестов Л. Сочинения. Т. 2. С. 107).

Стр. 108. *«...любовь Киркегора к Регине Ольсен.»* — Эта несчастная любовь (помолвка с Региной Ольсен была расторгнута через год после заключения) чрезвычайно тяжело сказалась на душевном состоянии философа.

Стр. 109. *«Чистота сердца»* (1847) — одна из «Назидательных речей» Киркегора.

Бордо, Анри (1870—1963) — французский писатель.

Стр. 112. *Гретюизен*, Бернар (1887—1946) — французский философ и критик; цитирующееся предисловие предвляло французское издание «Процесса» в 1933 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «НЕДОРАЗУМЕНИЮ»

Предисловие не содержит даты и было обнаружено в архивах Камю.

Впервые с сюжетом пьесы мы сталкиваемся в «Постороннем» (II), когда Мерсо находит «на нарах под соломенным тюфяком» обрывок газеты, «кусоч уголовного хроники», рассказывающей фабулу «Недоразумения». Отметим, тем не менее, что подобный сюжет встречается в легендах начиная со Средних веков; позже он ложится в основу множества литературных обработок (например, «24 февраля», «трагедии рока» немецкого поэта и драматурга Захарии Вернера, 1768—1823).

Первые же непосредственные следы работы Камю над пьесой мы обнаруживаем в дневниковой записи апреля 1941 г.: «Мир трагедии и дух мятежа — Будеёвице (3 действия)». Рассказанное в «Постороннем» происшествие происходит в Чехословакии; сам Камю посещал этот город во время богемского путешествия в 1936 г. Замысел получает продолжение в августе 1942 г., когда в дневниках мы находим два фрагмента третьего действия «Будеёвице» — «после самоубийства матери». Неожиданное упоминание об этом же проекте мы обнаруживаем в ноябре 1942 г.: «Для публикации пьес: Изгнанник (или Будеёвице) — комедия». Можно по-разному объяснить подобную эволюцию названия и жанра будущей пьесы (возможно, горькой иронией, развивающей основные положения эссе об абсурде «Миф о Сизифе», о чем свидетельствует предваряющая один из августовских фрагментов ремарка «или Господь не отвечает»); нельзя, однако, не отметить чувствуемое в пьесе влияние ницшеанской концепции трагедии, напитанной чисто греческим представлением о роке («Царь Эдип», «Эдип в Колоне»).

Рукопись «Недоразумения» не содержит даты и, тем не менее, можно предположить, что драма была закончена в 1943 г. (именно эту дату приводит сам Камю в предисловии). Первое ее издание датируется 1944 г., тогда же (в июне 1944 г.) пьеса была впервые поставлена в театре на сцене Théâtre des Mathurins; с незначительными изменениями она была переиздана в 1947 г.; окончательный же вариант пьесы (1958) был сильно изменен по сравнению с изначальным: Камю стремился избавиться от чрезвычайной философской нагруженности и метафизической двусмысленности отдельных символов, одновременно оживляя диалоги и придавая им поистине трагическое звучание.

Дважды пьеса была перенесена на телевизионный экран — в 1950 и 1955 гг.

Стр. 115. *Марта*. — В изначальном варианте рукописи имена собственные отсутствовали, их заменяли простые обозначения: «сестра», «сын», «жена».

Стр. 125. *Мне тридцать восемь лет.* — Первый вариант рукописи сохранил дату — точный ответ на вопрос: «8 января 1909 г.».

ПИСЬМА К НЕМЕЦКОМУ ДРУГУ

Первое из писем, написанное в июле 1943 г., было опубликовано во 2 номере журнала «Revue Libre» за 1943 г. Второе, датированное декабрем 1943 г., в 3 номере «Cahiers de Liberation» за 1944 г.; два остальных письма (апрель и июль 1944 г. соответственно), также написанных для «Revue Libre», не были опубликованы в этом журнале и вошли в финальное издание писем, вышедшее уже после войны (Gallimard, 1945).

Стр. 163. *Лейно*, Рене (1910—1944) — друг Камю, его коллега по газете «Combat». Расстрелян гестаповцами. Камю написал предисловие к посмертному изданию стихотворений Лейно (1947).

Величие души проявляют не в одной крайности... — Паскаль, «Мысли», фр. 681. (Паскаль Б. Мысли / Пер. Ю. Гинзбург. М., 1995).

«Я слишком люблю мою страну, чтобы быть националистом». — Та же самая мысль высказывается Камю позже в его «Речи о трагедии» (1955), прочитанной в Афинах.

Стр. 173. *Они, конечно, с вами...* — Аллюзия на один из нацистских лозунгов: «С нами Бог» (Gott mit uns).

Стр. 177. *...защитников Рима...* — После периода Kulturkampf и преследования католиков фашисты перешли к воинствующей защите христианских ценностей как к последнему оплоту против большевизма, особенно во время боев в Италии.

Зигфрид (в скандинавском произношении — Сигурд) — персонаж германоскандинавской мифологии, герой «Песни о Нибелунгах». Националистическая трактовка, данная всему этому циклу немецким композитором Рихардом Вагнером (1813—1883) в оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга» (1854—1874), сделала его персонажей излюбленными героями нацистской пропаганды. Подобное прочтение сопровождало и образ Фауста.

Стр. 178. *И я мысленно совершаю вновь все паломничества...* — Камю совершил в 1936—1937 гг. целое путешествие по странам Центральной Европы, что нашло отражение в его ранних сборниках рассказов («Изнанка и лицо», 1937; «Брачный пир», 1938) и романе «Счастливая смерть» (1938).

Стр. 179. «*Оберманн*» (т. 1—2, 1804) — эпистолярный роман французского писателя-романтика Этьена Пивера де Сенанкура (1770—1846).

Первые наброски сюжета «Чумы» и выход законченной книги в свет разделяют почти десять лет: отдельные персонажи, которых мы обнаруживаем в повести, появляются в записных книжках Камю еще в 1938 г. Несомненно, одним из событий, самым непосредственным образом определившим ход работы над книгой, стала война: чуть ли не буквальные отсылки рассеяны по всей книге, да и сам Камю, настаивая на множестве возможных прочтений повести, выделял одно: «Очевидно, что «Чума» повествует о борьбе европейского сопротивления против нацизма: врага, который в книге прямо не назван, узнали по всей Европе» («Письмо Ролану Барту о «Чуме»).

Фабула, некоторые элементы которой встречаются нам в сборнике новелл «Лето» (эссе «Минотавр, или Остановка в Оране») и «Калигуле» (акт IV, сц. IX), по мере работы над книгой быстро обогащается вариантами и деталями; множество бытовых деталей были подмечены Камю во время его пребывания в самом Оране, алжирском городе на побережье Средиземного моря, — в частности, образ старика, приманивавшего кошек и плевавшего им затем на головы. Камю так и описывал свою работу над книгой: «это заранее разработанный план, который изменяют, с одной стороны, обстоятельства и с другой — сама работа по его осуществлению».

Вариант заголовка появляется в 1941 г.: «Чума или приключение (роман)», помечает Камю в записных книжках; тогда же он приступает и к изучению специализированной литературы по теме. В следующем году Камю значительно увеличивает количество четко обрисованных персонажей (так, например, появляются Коттар и старик астматик) и размышляет о возможной форме будущего произведения: он обращается к романной классике, от Мелвилла и Бальзака до Стендаля и Флобера.

Первые наброски цельной рукописи значительным образом отличаются от окончательного варианта; так, например, изменен порядок глав и отдельных описаний, отсутствуют персонажи Рамбера и Грана.

Стр. 187. *Если позволительно изобразить...* — Отрывок из книги Даниеля Дефо (ок. 1660—1731) «Дневник чумного года» (1722) (или предисловие к третьему тому «Робинзона»: «Серьезные размышления о жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо»).

Стр. 190. *Бернар Риэ.* — Здесь мы видим повторение имени, а также многих черт характера доктора Бернара из «Счастливой смерти».

Стр. 194. *Сен-Жюст*, Луи-Антуан (1767—1794) — французский государственный деятель, член Комитета Общественного Спасения Конвента (1793—1795); отличался крайней жесткостью убеждений, получил прозвище «Архангел Террора».

Стр. 215. ...по утверждению *Прокопия*... — Прокопий Кесарийский (ок. 500—ок. 562) — византийский писатель-историк; речь о Константинопольской чуме 565 г. идет во втором томе его «Войны против персов».

Кантон (Гуаньчжоу) — город на Юге Китая. Детали, касающиеся кантонской чумы 1871 г., могли быть позаимствованы Камю из книги Ашиля Адриена Пруста (1834—1903) «Защита Европы от чумы» (1897).

Стр. 216. ...зачумленные... *Афины*. — Эпидемия чумы в Афинах в 429 г. до н. э., описанная Фукидидом в «Истории Пелопонесской войны» (кн. II, гл. XLVII и LIV) и Лукрецием в «Природе вещей»; именно детали этой поэмы вспоминает далее доктор Риэ.

...марсельских каторжников, скидывающих... *труны*... — Марсельская чума 1720—1722 гг. Камю пользуется в своих описаниях трудами «О чуме в знаменательные времена этого бедствия» (1800) Жан-Пьера Папона (1734—1830), а также «Чума 1720 года в Марселе и во Франции» (1911) Поля Луи Жака Гафареля (1843—1920).

...великой провансальской стены. — Чума дважды опустошала Прованс — в XIV в. и в 1720 г.

Яффа — город в Палестине, на побережье Средиземного моря, часть современного Тель-Авива. Эпидемия чумы — 1799 г.

Черная чума. — Имеется в виду пришедшая из Китая чумная эпидемия, поразившая практически всю Европу в XIV в. и умирившая четверть ее населения.

...на погостах *Милана*. — Милан пережил две эпидемии чумы — в XVI и XVII вв. Возможна отсылка к строкам из книги барона Жана Луи Мари Алибера (1766?—1837) «Физиология страстей» (1825): «Многие миланцы предавались тогда оргиям».

...сраженном ужасом *Лондоне*. — Имеется в виду лондонская эпидемия чумы 1655 г.

Стр. 218. *Монтелимар* — небольшой французский город неподалеку от Роны.

Стр. 228. *Речь шла о молодом служащем*... — Реминисценция из «Постороннего».

Стр. 257. *Но там, где одни видели абстракцию*... — Последующая глава, включающая проповедь отца Панлю, вызвала негодование в католических кругах Франции. Сам Камю определял «Чуму» как одну из своих наиболее антирелигиозных книг (в записных книжках мы читаем: «...христианство оправдывает

несправедливость»). Начальный вариант главы содержал множество ветхозаветных реминисценций и отсылок, но позже Камю уменьшил их число.

Святой Рох (1295—1327) — католический святой, покровитель зачумленных; к нему обращаются за защитой от чумы и прочих эпидемий.

Аврелий Августин (Блаженный Августин) (354—430) — христианский теолог, один из отцов церкви; уроженец Севера Африки. Философия Августина была одной из тем диплома Камю (1936).

Стр. 260. «*Золотая легенда*» — название, присвоенное в XV в. сборнику житий святых, составленному доминиканцем Яковом Ворагинским в XIII в.

Павия — город в Северной Италии.

Стр. 262. ...*абиссинцы христианского вероисповедания видели в чуме...* — Пруст, «Защита Европы от чумы».

Стр. 263. *Марэ, Матье* (1664—1737) — французский писатель и адвокат, автор «Дневника и воспоминаний об эпохе Регентства и Людовика XV» (1720) — ценного свидетельства светской жизни эпохи. Камю сам не читал этих мемуаров и использовал их по вторичным источникам.

Стр. 271. *Бандоль* — курорт на Юге Франции.

Канн (Канны) — курорт Юга Франции на побережье Средиземного моря.

Пале-Рояль — архитектурный и садовый ансамбль XVII в. в Париже.

Пантеон — церковь на холме Святой Женеьевы в Париже, усыпальница деятелей политики и культуры.

Стр. 307. «*Больница Святого Джеймса*» (Saint James Infirmary) — английская популярная песенка, написанная в 1930 г.; она часто использовалась в бродвейских мюзиклах и интерпретировалась отдельными музыкантами (например Луи Армстронгом в 1948 г.).

Стр. 340. «*Орфей*» («Орфей и Эвридика», 1762, французская постановка — 1774) — трехактная лирическая драма немецкого композитора Кристофа Виллибальда Глюка (1714—1787).

Стр. 358. *Нострадамус* (настоящее имя Мишель де Ностр-Дам, 1503—1566) — французский астролог и врач; знаменит своими «Астрологическими центуриями» (1555), в которых предсказал ряд значительных событий будущего.

Святая Одилия (ок. 660—ок. 720) — эльзасская монахиня, покровительница Эльзаса; основала монастырь, получивший впоследствии ее имя, где, согласно поверью, верующие могли узнать свою судьбу.

Стр. 362. Орден *Мерси* («Орден милосердия») — религиозный орден, созданный в 1218 г. в Барселоне, посвятивший себя

освобождению и выкупу пленных у арабов. Матье Марэ излагает в своих воспоминаниях историю восьмидесяти монахов этого ордена, от которых после чумной эпидемии осталось только четверо; Камю же, скорее всего, почерпнул ее из книги Пруста.

Стр. 363. *Бельзенс де Капельморон*, Анри Франсуа-Ксавье де (1670—1755) — марсельский епископ, знаменит своим самопожертвованием во время марсельской чумы 1720—1721 гг. История, излагаемая отцом Панлю, встречается у Марэ и носит явный апокрифический характер.

Стр. 369. *День всех святых* — религиозный праздник в честь всех святых католической церкви, отмечаемый 1 ноября; по традиции, на День всех святых люди навешают могилы умерших родственников.

Стр. 379. *Бриансон* — высокогорный климатический курорт во Французских Альпах.

Шамоникс (Шамоникс-Монблан) — французский город у подножия Монблана, центр альпинизма и зимних видов спорта.

...отец позвал меня в суд. — Рассказ Тарру об этом слушании отсылает к описаниям судебного разбирательства в «Постороннем».

Стр. 380. *14 июля* — день взятия Бастилии (1789), национальный праздник Франции.

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Камю сам во многом рассказывает историю создания «Осадного положения» в написанном им «Вступлении» к пьесе, каковая позже была подтверждена автором постановки, французским актером и режиссером Жаном Луи Барро (р.1910). Заинтересовавшись мыслями Арто о связи театра и чумы, об очистительной роли зла в театре (см. «Театр и его двойник»), Барро в 1941 г. задумал перенести на сцену «Дневник чумного года» Даниеля Дефо. Барро был хорошо знаком с Камю (предлагавшим ему в свое время сыграть роль Калигулы в постановке «Театра Содружества») и, прочитав его «Чуму», предложил Камю написать диалоги на разработанный им набросок сюжета. Осуществленная ими постановка, однако, оказалась почти провальной. Подобный неуспех можно попытаться объяснить (как, например, это делает в своих комментариях Роже Кийо) той разницей настроений и интонации, которые привносил со своей стороны каждый из постановщиков. Барро, памятуя о лирическом настрое «Калигулы» или «Брачного пира» Камю, проводил на сцене эту линию — сам же Камю, обогащенный опытом работы над «Чумой» и журналистикой, склонялся скорее к буффонной, ироничной трактовке сюжета. Это выразилось в по-

стоянно меняющейся форме изложения, «рваном» стиле спектакля, сложном для восприятия публики (сам Камю определил пьесу как «спектакль, целью которого является смешение всех возможных форм сценического выражения»). Спектакль, впервые показанный 27 октября 1948 г., был снят из репертуара и, несмотря на желание Барро позже вернуться к постановке, из сотрудничества ничего не вышло. Возможно, Камю готовил правку или даже собирался основательно переделать пьесу — по крайней мере, размышления об этом мы находим в записных книжках; в 1956 г. он заявляет журналу «Combat» о желании поставить «Осадное положение» в Афинах на сцене под открытым небом, а годом позже в интервью театральному журналу упоминает о возможности «переписать пьесу». Ни один из этих проектов не был осуществлен.

Стр. 431. *Кадис* — город в Андалусии, на юге Испании, осн. в конце IX в. до н.э.

Нада. — Имя героя по-испански означает «ничто»; во второй части пьесы на вопрос, как его зовут, он прямо отвечает по-французски: «Ничто».

Стр. 445. «*Живущий под кровом Всевышнего...*» — Здесь и далее цитируется псалом 90.

Касадо — по-испански «женатый, семейный человек».

СОДЕРЖАНИЕ

МИФ О СИЗИФЕ. <i>Перевел В. Великовский</i>	5
Рассуждение об абсурде	7
Человек абсурда	58
Абсурдное творчество	79
Миф о Сизифе	98
Надежда и абсурд в творчестве Кафки. <i>Перевела И. Кузнецова</i> ...	102
НЕДОРАЗУМЕНИЕ. <i>Перевел М. Ваксмахер</i>	113
ПИСЬМА К НЕМЕЦКОМУ ДРУГУ. <i>Перевела И. Волевич</i>	161
ЧУМА. <i>Перевел П. Жарков</i>	185
Часть первая	187
Часть вторая	236
Часть третья	315
Часть четвертая	331
Часть пятая	395
ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. <i>Перевела И. Кузнецова</i>	427
Комментарии	505

Камю А.

К 18 Сочинения. В 5 т. Т. 2: Пер. с фр. /Художники М. Квитка, О. Квитка. — Харьков: Фолио, 1997. — 527 с. — (Вершины).

ISBN 966-03-0279-7.

Во второй том сочинений А. Камю вошли ранее публиковавшиеся «Миф о Сизифе», «Письма к немецкому другу», «Чума», «Осадное положение», а также впервые переведенная пьеса «Недоразумение».

К 4703010100—198
97 **Без объявл.**

ББК 84.4ФРА

Литературно-художественное издание

КАМЮ
Альбер

СОЧИНЕНИЯ
В пяти томах

Том 2

Главный редактор В. И. Галий
Ответственный за выпуск В. В. Гладнева
Художественный редактор Б. Ф. Бублик
Технический редактор Е. В. Триско
Корректор В. С. Цыпина

Сдано в набор 20.10.97. Подписано в печать 12.12.97.

Формат 84×108¹/₃₂ Бумага офсет.

Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 29,29. Уч.-изд. л. 30,18.

Тираж 25 000 экз. Заказ № 7-510.

«Фолио»,

310002, Харьков, ул. Артема, 8

Отпечатано с готовых позитивов
на Харьковской книжной фабрике «Глобус»,
310012, Харьков, ул. Энгельса, 11